

БАГРАТ ШИНКУБА

РАССЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ

Роман
Повесть
Рассказ

Абгосиздат
Сухум 2011

ББК 84(5Абх) 6-44
Ш 62

Шинкуба, Б.В.
Ш 62 **Рассеченный камень :** роман, повесть, рассказ.
/ Баграт Шинкуба. Переводы с абхазского. Абгосиздат.
Сухум, 2011. – 704 с.

В книгу выдающегося абхазского поэта, Народного поэта Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграта Шинкуба (1917–2004) вошли его прозаические произведения – эпический роман «Рассеченный камень», повесть «Чанта приехал» и рассказ «Старуха Расидац».

ББК 84(5Абх) 6-44

© Шинкуба Б.В., наследники, 2011
© Абгосиздат, 2011

РАССЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ

Роман

Моему внуку –
маленькому Баграту –
посвящаю

Книга первая

Детство – корень души человеческой, оно прорастает в нас характером и душой.

Ничто из того, что в ту давнюю пору запало нам в сердце, не умерло, но оно одно принялось и взошло сразу, а другое так и лежит в его глубине. Как зерно… И все, что когда-то потрясло нас, до последнего часа хранит наша память.

В сущности, весь тот мир детства, – сокровищница для души, полная неисчислимых богатств, – сколько бы мы ни черпали из нее, она не оскудеет…

О золотое детство мое! Как близко и как далеко ты одновременно, как часто тоскую я по тебе, сколько раз ты спасало меня в минуты отчаяния! Стоит только забыться нам – и тогда, как звезды в прояснившемся небе, вновь сияют мне глаза моей матери, мои вечные спутники, не дающие затеряться в человеческом море, вновь звучит во мне ее колыбельная, снова чувствую на щеке теплый солнечный луч, впервые коснувшийся меня…

Самое нежное, самое чистое, самое доброе время!

Но у каждого свое детство. Как нет на земле двух одинаковых ручейков, так нет и детства, которое бы повторило другое: для одного оно светло и безоблачно, для второго – с рождения затянуто хмурыми тучами: раннее сиротство, злая мачеха, не дающая жить постылому

пасынку... А у третьего – еще хуже: враги на глазах расстреляли мать, спалили дом, отобрали последнее. Один, холодный и голодный, идет он по дорогам, пока вместе с такими же горемыками не попадет в приют. Здесь и проводит он оставшиеся годы своего детства.

Детство… Чем дальше оно от нас, тем сильнее тоска о нем, и слезы блестят на наших глазах, и затопляют воспоминания: светлые, если детство было счастливым, и черные, если горьким. И у того, кто не знал радости, от боли сжимается сердце.

Но у многих людей ничего, кроме воспоминаний, не осталось от детства. У меня же – осталось, и поэтому я считаю себя счастливым человеком. Правда, давно уже нет моих родителей, но стоит дом, в котором родился и я, и мой отец, и отец моего отца; есть двор, по которому я бегал; сохранились деревья, по которым я лазал; не иссяк родник, поивший меня и моих предков; все так же высится вдали холм, с вершины которого впервые распахнулся передо мною мир.

Шестьдесят лет – целая жизнь уже прошла с той поры, как я оставил эти места, но волшебные нити, связывающие меня с детством, не оборвались, не ослабли, и покинутая мною земля с прежней силой влечет к себе. Когда тоска по ней становится невыносимой, я отправляюсь в путь.

…Огромное небо будто подсвечено с одного края – это от высоких снегов на гребнях гор. Широкими языками спускаются по склонам дремучие леса. Там, положив на колени гор свою голову, лежит мое село.

Странное чувство испытываю я, приближаясь к нему. Вроде бы тысячу раз видел все, но каждый раз будто впервые: зеленые валы чайных плантаций, кукурузное поле, где идет уборка, посевы табака, козье стадо вдали, извилистой цепочкой подымающееся по косогору. По обеим сторонам дороги белеют новые двухэтажные дома, зеленеют чистенькие дворики с хозяйственными постройками…

Прежде всего заезжаю в школу. Просторное каменное здание на семьсот учащихся… А в мое время она была деревянной, сколоченной из каштановых досок. И в какой уже раз становится жаль мне того старого дома, под крышей которого выучилось читать и писать не одно поколение крестьянских ребятишек, и хочется опять взойти по скрипучим ступенькам его крыльца, пройти по узкому коридору, отыскать свой класс, свою парту, сесть за нее, как когда-то, и ждать, что вот-вот влетят сюда шумною стайкой мои прежние товарищи и рассядутся по местам, а следом за ними войдут учителя, те, к кому неизменна моя

благодарная любовь. Но увы, давно нет нашей старой школы – она выполнила свое назначение, а стало быть, истек срок ее пребывания на земле, – и я радуюсь тому, что есть: звонкому гомону ребятишек, заполнившей двор.

Из школы мой путь лежит во Дворец культуры. Недавно я уже был там – с интересом слушал концерт классической музыки, на который меня пригласили его участники, учащиеся нашей сельской музыкальной школы, затем, с не меньшим интересом, знакомился с картинами, выставленными самодеятельными художниками из нашей же студии живописи, – и все равно еду с удовольствием. Мне нравится Дворец культуры, нравится бывать в нем, и наверняка мои земляки приготовили что-то новенькое. А кроме того, я лелею надежду, что мне повезет и я попаду, как попадал порою, на репетицию этнографического ансамбля: тихонько войду в зал, сяду и, замирая от восторга, буду слушать наши старинные песни. Сколько мужественности и сердечной силы в них! Потому-то, верно, они и бессмертны.

А в фойе Дворца висит картина, которую я очень люблю. Когда есть время, сажусь, чтобы никому не мешать, где-нибудь в сторонке и долго-долго смотрю на нее. Богоборец Абрскил, изображенный на ней в полный рост, стоит с мечом в руках, он поднял его над собой и глядит вверх, в небо, откуда летит на него вся в дыму и пламени каменная глыба, – еще миг, и Абрскил рассечет ее лезвием своего меча… Этот сюжет одного из сказаний о герое у нас особенно популярен.

Я часто бываю в родном селе. Поводы разные – то радостные, то печальные. Приглашают меня и на колхозные собрания. В большом хозяйстве хватает забот и трудностей, есть они и здесь, и если меня просят помочь – помогаю, чем могу… Словом, приезжаю сюда не только ради того, чтобы пройти по следам своего детства, – нет, уж коль рожден этой землей, я должен сполна отблагодарить ее, до конца выплатить свой сыновний долг.

Но и земляки следят за моим творчеством.

– Чем порадуешь нас, Лаган? – спрашивают они, и я останавливаюсь, чтобы хоть немного потолковать с ними о своей новой книге. Без этого разойтись невозможно.

Еще в городе, когда я только собираюсь сюда, со мной что-то происходит: я и видеть и слышать начинаю по-иному, воспоминания подхватывают меня и несут, как стремительный поток. А едва я ступлю на родной двор, как тут же, у ворот, меня встречает мое детство. И всякая

былинка, каждый цветок, старая дворняга, петух, воробьи, сладкий запах очажного дыма – все говорит со мной на моем родном языке, языке моего детства.

От ворот я направляюсь к нашей старинной апацхе, но по дороге задерживаюсь, присаживаюсь на скамью под белоствольным платаном, в его тени. Платан растет в самом центре двора, вокруг него ковер изумрудной, нежнейшей травы, точь-в-точь такой, на которую я падал, когда учился ходить… Передохнув, иду в апацху. Здесь все как прежде: очаг, две цепи над ним, просмоленные копотью своды. Даже очажный камень – и тот прежний. Так что мне не слишком трудно восстановить по памяти, кто где сидел, когда вся семья бывала в сборе: вот тут, на длинной скамье, обычно располагался дедушка, а неподалеку от него, возле самого очажного камня, – я…

Здесь, в этой апацхе, сделал я самые первые свои шаги. Ее стены помнят, наверное, каких усилий мне стоило это…

И вновь выхожу во двор, иду к древней ольхе, самой старой из наших деревьев. Давным-давно когда-то обвила ольху виноградная лоза, – теперь, глядя на ее ствол толщиной в бедро, трудно поверить, что она была юной и гибкой. Сколько раз я отважно взбирался по ее ветвям на самую вершину, чтобы отведать первых ягод, и какими же вкусными они были! Но сейчас ни ольха, ни лоза уже не кажутся мне такими высокими, как раньше. Неужели и деревья, как люди, уменьшаются к старости?

Простившись с ними, я оставляю двор и выбираюсь на шоссе. В мои годы это был обычный проселок, а теперь здесь асфальт, мчатся машины, убегают вдоль столбы: слева – телефонные, справа – электропередачи… Через некоторое время я сворачиваю в сторону и карабкаюсь в гору, пока не оказываюсь у цели. Вот он, прямо передо мной, тот высокий холм, что зовут у нас Холмом Рассеченного камня. В детстве он был для меня убежищем, моей смотровой вышкой. Таким и остался в памяти.

Заметил: вдали от Абхазии мне прежде всего вспоминается не родной дом, а именно этот холм. Сам не знаю почему.

Несколько лет назад я был в одной зарубежной поездке. Наш самолет уже больше часа летел над Сахарой, а я все глядел и глядел в иллюминатор, завороженный бескрайностью пустыни… Это были дни, когда вся Африка бурлила от негодования, узнав, что Франция произвела здесь испытания водородной бомбы. И я, глядя вниз, пытался пред-

ставить себе чудовищное зрелище этого взрыва. Но вместо него будто пламя, метнувшееся в глаза, предстал моему взору Холм Рассеченного камня, одинокая липа на нем, – шелестят на ветру ее листья, широко струится по склонам трава в ярких брызгах цветов… Глаз не отвести от этой мирной картины, век бы смотрел на свой милый холм.

И еще раз он явился мне на чужой земле… Да, это была Польша, город Закопане, куда мы приехали тогда. И – Освенцим. Уверен: если и впрямь существовал когда-либо ад, то он был здесь, в концентрационном лагере, где фашисты умертвили четыре миллиона человек.

Была уже ночь, когда мы вернулись с экскурсии. Я лег, намереваясь заснуть, но, видимо, от пережитых за день кошмаров беспокойно ворочался и скоро, поняв, что уснуть не удастся, встал, оделся, принялся ходить из угла в угол. Чтобы хоть немного успокоить себя, вышел на балкон подышать свежим воздухом. Прямо передо мною дыбились во тьме громады округлых гор, плыли над ними мутные лоскутья туч, но в глазах стояло одно: газовые камеры, печи, вороха свалявшихся женских волос – и кости, кости, кости…

И тут как бы воочию увидел я прикорнувший в ногах далекого Кавказа холм, мой холм. Война не дошла до него, не успела обжечь своим пламенем, его плоть не рвали снаряды и бомбы, но сколько жизней было истрачено, чтобы сберечь его покой! И он века будет нашептывать своими травами имена героев, своих спасителей, как шепчет их сегодня! Они и мертвые – с нами, в нашей жизни, в наших делах.

С такими мыслями встретил я рассвет…

Да, я счастливый человек. По сей день стоит на земле дом, где я родился и вырос, целы деревья, которые помнят меня, высится холм – приют моих игр и забав. Они одряхлели от времени, согнулись под грузом лет, но пусть мои воспоминания вернут их к жизни и к молодости – так же, как и они возвращают меня в далекие и счастливые детские годы. И если кто-то виноват в том, что мне захотелось до дна вычерпать колодец своей памяти, так это они: мой дом, мой холм, мои деревья… Вспоминая их, вспоминая детство, я понял: у меня есть что сказать читателю, – сумею ли я донести это до него – дело другое, – и я написал книгу.

В народе говорят: «Не расскажешь начала – не увидишь конца». Что ж, верно. Я же, вопреки пословице, начал с конца свою повесть. Поэтому ставлю здесь точку и перехожу к началу.

I

Я открыл глаза и увидел над собой потолок. Потолок как потолок, ничего особенного. И все-таки что-то было не так… Лежа в постели, я разглядывал его и никак не мог сообразить, что же меня смущает. Почерневшие, закопченные балки, все в лоснящихся хлопьях сажи, были знакомы мне, но… Но ведь в амхаре[1], где я живу вместе с отцом и матерью, совсем не такой потолок, он чистый, а этот… Я-то как очутился здесь? На дворе, судя по косо льющимся сквозь плетеные стены лучам, было светло. Я закрыл глаза и как будто опять задремал. Но загадка моего пробуждения в амацурте не давала покоя, и я начал по порядку припоминать все, что случилось со мной накануне…

С утра отец собрался в лес за дровами; он запрягал буйволов, а я путался у него под ногами и просился с ним. Отцу было не до меня, но я, видимо, так допек его своим нытьем, что он в конце концов согласился и посадил меня на арбу.

Приехали в лес, загрузились, отец вспрыгнул на передок, усадил меня перед собой, стиснул коленями, и мы пустились в обратный путь. А дорога раскисла от дождей, воз тяжеленный, буйволы еле плетутся, и это вывело отца из себя. Он привстал, чтобы хорошенько стегнуть их, разжал слегка колени – и в этот миг я проскользнул между ними и полетел носом вниз, под самые колеса. Помню, как зацепился буркой за дышло, пролетел мимо буйволиного хвоста и тут же плюхнулся в грязь. Последнее, что помню, – забрызганное красноватой глиной днище арбы над собой…

Очнулся я на отцовских руках. Он держал меня и, словно баюкал, дрожащим голосом умолял: «Ну посмотри, посмотри сюда, скажи, где больно?»

Позже я узнал, что после того, как я упал и потерял сознание… За какие-то мгновенья, когда колесо должно было вот-вот переехать меня, отец успел спрыгнуть на землю, ухватился за него, приподнял арбу со своей стороны и держал ее до тех пор, пока она не прошла надо мной. А ведь арба-то была не порожняя…

[1] Жилище абхазского крестьянина состояло из нескольких обособленных помещений, выполнявших различные функции. Основной дом (**акуаскьа**) служил для разного рода торжеств и многолюдных застолий, **амацурта** являлась одновременно и кухней и столовой, **амхара** – местом проживания молодой семьи. Дом строился из каштановых досок, **амхара** и **амацурта** плелись из рододендрона.

Оставив буйволов на соседского парня, собиравшего поблизости хворост, отец прижал меня к груди и бегом кинулся в село, домой. Переходя через ручей, он напоил меня из своей ладони, а когда выбрался на сухое место, попытался поставить на землю, но ноги мои подкашивались, я все время падал.

И тут у отца мелко-мелко задрожал подбородок…

Мать и сестры еще издали заметили нас и, как только отец со мной на руках показался в проулке, с воплями выбежали навстречу. А дедушка – тот даже посохом замахнулся на отца.

Меня внесли в амацурту, быстро вскипятили воды, заварили сушеной лавровишни. Подышав ее парами, я мгновенно, едва коснулся щекою подушки, уснул…

Вот, значит, почему я здесь, на дедушкиной кровати… Но что это? Я прислушался: со двора и с веранды доносилось гудение мужских голосов. Кто эти люди, что им нужно, зачем собрались сюда?!

Постепенно я начал различать голоса, узнавать их обладателей. Вот неторопливая, обстоятельная речь моего дедушки, – сидит, наверное, на веранде, как всегда опершись о свой посох. А беседует он с Саидом, нашим соседом, – конечно же это Саид, кто, кроме него, способен говорить с такой скоростью и так витиевато?.. А это, интересно, чей голос? Да это же музыкант Мамсыр, дядя моей матери! О, и Зафас тут! Узнаю писклявый голосок этого весельчака и затейника. Только что же он сегодня не позабавит народ какой-нибудь байкой?..

А вот голос Биды, от которого теплеет у меня на сердце. Ах, Бида, Бида, век бы слушал я твои сказки!..

Думая, что один, я приоткинул одеяло, повернулся к очагу и обомлел: вся амацурта, оказывается, битком набита женщинами. В ногах стояли сестры, у изголовья мать, а за нею толпились соседки…

– Наконец-то! – встрепенулась мать. – Ну как ты, как живот, не болит? – И она запустила под одеяло руку, принялась гладить меня по животу.

– Видишь, сколько людей пришло тебя проведать? – склонилась надо мною тетя Мари, сестра моего отца.

Я улыбнулся ей и, выбравшись из-под одеяла, поворотился к соседкам. Но не успел ничего им сказать, потому что увидел перед собой низенькую скамеечку, заставленную тарелками с грушами и яблоками, а между тарелками углядел нож в красном чехле – крохотный, но совсем как настоящий. Я схватил его обеими руками, прижал к груди,

отодвинулся к стенке, будто кто-то собирался напасть на меня и отобрать ножик.

– Скажи спасибо Биде, это он принес, – сказала мать.

Но я уже не слышал ее, заворожено рассматривая чудесный подарок. Вынул его из чехла, то этим боком поверну, то тем, никак не налюбуюсь.

Вдруг я почувствовал, что надо мною кто-то склонился. Я еще не увидел лица, а уже знал – кто. Только у одного человека в мире всегда была привязана к поясу апхярца[2].

– Так вот кто умудрился животом опрокинуть арбу, – проговорил Мамсыр, кладя мне на голову свою тяжелую ладонь.

– Дядя хочет осмотреть тебя, – быстро шепнула мать, он от всех болезней знает средства, слушайся его, не противься.

Мамсыр не только музыкант, но и лекарь. Он придвинул табуретку, уселся, расставив колени, и впился в меня строгим, неподвижным взглядом. Я тоже уставился на него. Лицо старика было изборождено глубокими морщинами и очень напоминало вспаханное поле…

Задрав на мне рубаху, Мамсыр твердым, как сучок, пальцем прошелся по животу. «Здесь не болит? – спрашивал он при каждом нажиме. – А здесь?» Затем осмотрел всего, ощупал руки и ноги.

Все присутствующие, затаив дыхание, ждали, какой приговор вынесет музыкант и лекарь.

Наконец Мамсыр поправил рубаху у меня на груди и снова пристально посмотрел в лицо, но теперь его черные глаза глядели ласково и добродушно.

– Все в порядке, ничего страшного. Бог пощадил этого ребенка! А сейчас, – сказал он мне, – давай-ка посмеемся, да хорошенько, чтоб и на улице услыхали! – и принялся щекотать меня.

Поначалу я крепился как мог, но потом не выдержал, рот как бы сам собой раздвинулся до ушей, и я едва не лопнул от смеха. Люди вокруг облегченно вздохнули, заулыбались.

– Слава Богу, слава Богу! – неслось отовсюду.

Но вдруг голоса смолкли, Мамсыр поднялся с табуретки, отодвинул ее, мать отступила в сторону, толпа торопливо раздалась, давая кому-то дорогу, и по стуку посоха в полной тишине я понял, что идет дедушка.

Дедушка остановился у кровати, чуть трясущейся рукой провел по моей голове и, нагнувшись, долго и пытливо всматривался в меня. Затем выпрямился и произнес:

[2] **Апхярца** – двухструнный смычковый инструмент.

– Ты – настоящий мужчина, Лаган, я верил, что ты им будешь… Когда вы ехали в лес, ты чем-нибудь рассердил злого духа, и он решил отомстить тебе на обратном пути. Да обернется против него содеянное им зло! Однако впредь и ты будь осторожнее, чтоб ничего подобного больше не случилось. – И дедушка обернулся к Мамсыру: – Так, говоришь, ничего страшного? Это правда?

– Бежан, дорогой, ты добрый человек и всегда был им. Это ради нее, твоей доброты, Бог пощадил тебе внука, – загремел в амацурте голос Мамсыра. – Поверь мне: Лаган, можно сказать, сухим из воды вышел, он цел и невредим, ни одной царапины на нем нет. А если бы в самом деле с ним стряслось что-нибудь, я бы в миг его вылечил своей апхярцой, благо она всегда со мною… Но, слава Богу, этого ему не требуется. Видишь, лежит себе полеживает, да еще смеется.

Дедушка вскинул голову, обвел взглядом всех, кто был в амацурте.

– Сегодняшняя суббота счастливая: уцелел мой внук, мой наследник, не погас очаг предков… Дайте воды, я хочу совершить омовение и принести обет Богу! – И он передал стоящим рядом свой посох и войлочную шляпу.

Моя старшая сестра Гущка приблизилась к нему с тазом и медным кувшином. Дедушка подтянул рукава черкески, ополоснул лицо и руки, не спеша утерся поданным полотенцем.

– Я хочу принести обет под открытым небом. Идите за мной все, и взрослые и дети, – сказал он и направился к двери.

Люди потянулись следом, и в амацурте остались только я да моя младшая сестра Мачич; она села рядышком и принялась развлекать меня своими игрушками.

Скоро со двора донесся протяжный дедушкин голос:

– Господи, великий и всемогущий, будь милостив к нам и благослови нас, внемли мне и услышь меня… Склоняюсь перед Тобой и смиренно прошу Тебя: пусть мой маленький, любимый и единственный внук встанет здоровым после беды, приключившейся с ним. И если Ты, Господи, сотворишь это, то я клянусь Тебе, что через одну субботу на следующую принесу Тебе в жертву пятилетнего холощенного козла и устрою молебен в честь Твою и славу. Призываю в свидетели всех присутствующих здесь ныне. Аминь!

– Аминь! Аминь! Быть по сему! – раздались возгласы.

А когда они стихли, послышался ехидный голосок, который, безусловно, принадлежал насмешнику Зафасу. Долго же он терпел, чтобы не съязвить.

– Я думаю, – сказал Зафас, – не будет большого вреда для Господа, если ты пожертвуешь своего козла в эту субботу. Сил не хватит на пустой желудок дожидаться следующей!

Кто-то приглушенно и коротко хохотнул, но больше со двора не донеслось ни звука – все понимали, что сейчас смех неуместен и может обидеть старика.

В молчании люди начали расходиться по домам. Они верили, что опасность, нависшая было над нашей семьей, миновала, и уходили успокоенные.

Когда мать возвратилась в амацурту, я сел на кровать и потребовал отдать одежду: хотелось как можно быстрее выбежать во двор и покрасоваться своим новым ножиком у пояса! Но мать принесла кашу, согнала с постели Мачич, села на ее место и принялась кормить меня с ложечки. Я с удовольствием ел и слушал, как она ласково уговаривает подождать денька два, не вставать, потому что мне вставать еще рано, нельзя, Мамсыр не велел; потом сообщила, что дядя Элизбар, брат отца, поехал верхом в лавочку грека Янко, обещал купить конфет и пряников, что вечером собирался заглянуть Бида и рассказать мне сказку, которой я никогда не слышал. И еще: скоро она заканчивает прясть и, как только наткет немного сукна, сразу же сошьет мне новую черкеску…

Под эти сладкие речи я вновь погрузился в сон.

* * *

Стоит мне задуматься о моем детстве, как перед глазами тут же возникает наша плетеная амацурта, в которой я отлеживался после падения с арбы. Она и поныне цела, стоит, навевая мысли о вечности. И когда я вхожу в нее и сажусь перед очагом, воспоминания овладевают мной и несут меня через все условные границы времени в те дни, когда я впервые увидел эту добрую хижину…

Ее построил мой прадед Азнаур, здесь проходила жизнь всей нашей семьи, здесь родился и дедушка, и мой отец, и я сам… Стены, сплетенные из рододендроновых прутьев, крыша из осоки, две тесо-

вые двери – спереди и сзади. Окон нет, да и к чему они, когда в стенах полно щелей – и светло, и продувает, сквозь них выходит наружу очажный дым; на зиму щели плотно заделывают, а к лету освобождают, и даже в самый сильный зной здесь так же прохладно, как в тенистой роще. Вдоль всего фасада веранда на четырех сваях, забранная решеткой; в конце ее широкие полати, на которые складывали топоры и цалды[3], почему-то именно здесь любил посидеть дедушка. Такие же полати и в самой амацурте, у левой стены, – на них спали мои сестры. А справа от входа – кухонное царство. И чего здесь только нет! Стол для стряпни, вдоль стены выстроились глиняные и медные кувшины и кувшинчики, покоится на дубовом кряже громадный котел, в котором варили мамалыгу на все семейство, рядом котлы поменьше, за ними и вовсе маленькие, дальше теснятся деревянные кадки, глиняные жбаны, чугунки и горшки для фасоли, над ними висят черпаки и половники, ковши и кружки, веселки, мешалки, прочая необходимая в хозяйстве мелочь. В углу, под широкой полкой, мучной ларь, а на самой полке чаши, блюда, миски, тарелки какие крупнее, плошки, сковороды, а над горами этого добра, как бледная дневная луна, висит сито.

Другой угол – дедушкин, здесь стояла его деревянная кровать, рядом табуретка, на ней коробка с табаком, трут, кремень, огниво…

Открыв заднюю дверь, попадаешь в чулан; он сбит из каштановых досок и пристроен к амацурте, сбоку в его стене прорезано крохотное оконце. В чулане мать терла аджику – на этой вот каменной плашке, придвинутой к стене, этим вот каменным пестиком. Здесь же круглый год пламенели в полутьме связки лютого красного перца, никли пучки пряных трав, все тут пропитано их душистыми запахами.

Но оставим чулан, прикроем дверь и вернемся в амацурту: ведь я еще не поведал о самом главном – об очаге…

Очаг – святыня, огонь в нем не гас с того дня, как была готова сама амацурта, и почтение к нему внушалось нам с детства. «Да погаснет огонь в твоем очаге!» Мы знали, что нет проклятья страшнее, ведь это означало, что твой род должен вымереть, исчезнуть с лица земли, должна сгинуть сама память о нем, когда некому вновь затеплить огонь. «Остыл очаг моих предков…»

Он сложен из дикого камня в середине амацурты, примерно на ладонь выше земляного пола; во главе его мощный и крепкий камень,

[3] **Цалда** – род секиры, топор с широким лезвием.

который так и зовут – очажный. На очажный камень клали дрова, а топят у нас не поленьями, а целыми лесинами, постепенно сдвигая их в огонь; сверху на нем, по обеим сторонам, несколько зазубрин – в них упирали концы вертелов, причем имелись выемки для индюшки или курицы, для шашлыка из копченого мяса, для купат, а чтобы жир не капал на угли и не чадил, подставляли широкую сковородку.

Над очагом свисают две почерневшие от копоти цепи, на одну цепляли котел с мамалыгой, на другую – с мясом или чем-нибудь иным. Ближе к входной двери спускаются с балки длинные шесты: они подвешены за деревянные крюки и могут свободно перемещаться вдоль всей балки. Снизу у шестов поперечные перекладины, на них, как на полках, стоят светильники, котел с молоком, цедилка из высушенной тыквы-горлянки...

В сущности, амацурта была и кухней, и столовой, и спальней, и гостиной – здесь готовили еду, здесь ели, здесь коротали у огня вечера. И невесту вели прежде всего сюда – обводили ее вокруг очага и тем как бы принимали в семью.

Но не только амацурту вижу я, оглядываясь на далекие годы. Вижу дедушку – вот он стоит, опершись на посох, невысокий, ссутулившийся от старости. Лет ему в ту пору было далеко за девяносто, но он сохранил и подвижность, и бодрость, и рассудительность, речь его почти всегда нетороплива, слова обдуманны и весомы.

Нос с горбинкой, округлая короткая бородка; широко посаженные глаза черны как уголь, они то зорко поглядывают по сторонам, то будто насквозь пронзают тебя; руки ловки и быстры, не знают покоя, постоянно заняты каким-нибудь делом...

В воспоминаниях дедушка неотделим от амацурты, он и она для меня – единое целое. Да так было и на самом деле. Даже овдовев, он не пожелал переселяться в дом, и тогда, чтобы не оставлять старика без присмотра, в амацурту перебрались мои сестры...

По обеим сторонам очага стояли две длинные скамьи, и каждый из нас имел здесь свое законное место. Но дедушкино место было свято, никто не смел садиться на него, разве только особо почетный гость. Даже когда дедушка уезжал куда-нибудь оно пустовало. «Как можно занять место нашего владыки?!» – остерегали старшие младших. А невестке и женам наших ближайших родственников строго-настрого запрещалось произносить не только имя дедушки, но даже и созвучные ему слова. Поэтому зайца, скажем, они называли «длинноухим». Дело

в том, что дедушкино имя было Бежан, а это несколько напоминало слово «ажьа», что значит «заяц».

Лишь мне дедушка позволял кое-какие вольности: сажал рядом с собою, следил, как я ем, подкладывал самые лакомые куски.

Ели у нас три раза на день. В обед, бывало, обходились без горячего, но на завтрак и ужин мамалыга варилась обязательно.

...Подбив с боков исходящую паром мамалыгу, мать втыкала в нее веселку и ставила на самый медленный огонь – дозревать. Затем приносила с веранды два низких длинных столика, снимала котел и, размешав мамалыгу, раскладывала ее по тарелкам. Сначала гостю, тому, кому случится зайти в дом, когда мы едим, потом взрослым и, наконец, нам, детям. А тем временем одна из моих сестер с кувшином в руке и с полотенцем через плечо становилась к тазу, и все мыли руки – первым дедушка, следом, по старшинству, остальные. Помыв руки, ставили длинные столики перед скамьями, рассаживались – тоже по порядку, причем мой отец, у которого было пять человек детей, и его сорокалетний брат Элизбар, люди взрослые, никогда не садились есть рядом со своим отцом, устраивались поодаль, и никто не брал куска прежде дедушки. А если он поднимал стакан с вином за здоровье своих сыновей, они тут же вставали и стояли до тех пор, пока дедушка не выпивал последнюю каплю. За его здоровье они также пили стоя.

После еды полагалось снова мыть руки и, кроме того, дважды прополоскать рот. Дедушка за такими вещами следил особенно строго, и если кто-то нарушал заведенный порядок или бывал не слишком опрятен, тут же при всех распекал провинившегося.

– Вы только взгляните, как он руки моет! Трепыхается будто курица, которой отрубили голову!

Но устным внушением воспитание не ограничивалось, и после провинившийся должен был определенное время стоять в полной неподвижности, а если это ему не удавалось, дедушка с презрением оглядывал его и брезгливо говорил:

– Ну что ты валишься, точно у тебя ног нет? Стой как положено, умей совладать с собою!

Дедушка мог сказать так и при гостях...

Отобедав, он брался за трубку. Я, изучивший его привычки, тут же подбегал к очагу, присматривал подходящую головешку, а когда трубка была набита, нес головешку дедушке, почтительно подавал ее и сразу же шел за посохом, оставленным у стены.

Если дедушка уходил или уезжал куда-то, нам все равно казалось, что он где-то поблизости и наблюдает за нами и что любая наша шалость станет известна ему, а поэтому частенько одергивали друг друга: «Дедушке это не понравится!»

А уж когда дедушка был дома...

– Как ты сидишь?! Сейчас же сдвинь колени! – грозно покрикивал он на меня и моих сестренок.

Он с нас глаз не спускал, замечал любую нашу оплошность, учил, как садиться и как вставать, как вести себя за столом.

Молча понаблюдав, как мы едим, дедушка начинал рассказывать нам о неком Ханашве. Позже от отца с матерью я узнал, что такого человека никогда не существовало на свете, дедушка его сам выдумал, чтоб поучать нас на его примере.

– Вот вы, молодые, не знаете, как ел Ханашва, а зря. Так что сидите и слушайте, – говорил он. Потом отламывал изрядный кусок мамалыги, показывал нам и спрашивал: – Видите?.. А у Ханашвы он еще больше, чуть не с кулак был. Отломит – и давай мять, лепить в ладонях, будто снежок. Лепит, лепит, а сам от удовольствия жмурится: ах, как, мол, сейчас вкусно будет! Потом разинет пасть – и туда его, весь комок сразу. Так и глотает, даже не прожевав как следует... За трех человек мамалыги съест, а все равно не наестся. За обжорство, за то, что поперек себя шире, и прозвали Ханашва Толстобрюхим... А может, не за это, может, за что-нибудь другое, а? Ты как думаешь, Лаган? – смотрел на меня дедушка.

Я молчал, давился мамалыгой, а он, вытерев руки о полотенце, пригладив усы, брал стакан и пил за всех нас, и больших и малых. Не помню, однако, чтобы он выпил когда-нибудь больше трех стаканов вина.

– Так отчего, спрашиваю, его Толстобрюхим прозвали, скажи нам, Лаган? – повторял вопрос дедушка и хитро улыбался. – Ведь он, бедняга, ремня носить не мог, не застегивался, а мужчина без ремня что бочка без обручей.

Дедушка показывал, сколько отламывать мамалыги, как подносить ее ко рту и как есть.

– Не говори, пока у тебя рот едою забит, некрасиво! – добавлял он и вновь поднимал стакан. – У Ханашвы, кстати, был еще один порок, – продолжал дедушка спустя некоторое время. – Как дорвется до вина, так обязательно до смерти упьется. А сам и стакан толком держать не

умел – облапит всей пятерней, будто боится, что отберут... А ну-ка, Лаган, покажи, как его брать!

Дедушка переставал есть и с нетерпением смотрел на меня.

Я брал стакан тремя пальцами, а двумя другими, мизинцем и безымянным, поддерживал его снизу, с шумом втягивал в себя глоток.

– Пить надо беззвучно, – замечал дедушка.

Я и боялся и любил дедушку, верил ему и считал, что он знает про все на свете. Да и он выделял меня из всех, и я постоянно чувствовал на себе его внимание и заботу.

– Эх, выдохся, видать, наш род, кабы не так – не остался бы Лаган без брата! – говорил он, привлекая меня к себе.

«Что значит "выдохся" и почему он так переживает из-за этого?» – одолевали меня вопросы, но я не решался сказать их вслух. Кроме того, мне казалось, будто дедушка в чем-то укоряет моих родителей, и, похоже, за дело, потому что они молчат, не оправдываются, как бы признавая свою вину. В чем она – я понятия не имел, но ведь дедушка не может быть неправым...

Как-то вечером, сразу же после ужина, дедушка, раскуривая от головешки трубку и пыхая дымом, произнес:

– Вы что, разве не видите, что Лаган вырос и стал мужчиной? До сего дня их у нас в доме было трое, теперь – четверо! Посмотрите на него хорошенько, и если не верите мне – поверьте своим глазам. – Держась за спину, он с трудом поднялся и направился к сундуку.

Этот сундук, стоявший в ногах дедушкиной кровати, для всех нас был загадкой и тайной. Меня, например, прямо-таки распирало от любопытства: что за сокровища таит в нем дедушка? Сундук никогда не запирался, на нем и замка-то сроду не было, но он оставался книгой за семью печатями, ибо никто и в мыслях не дерзал хоть краешком глаза заглянуть в него...

Дедушка откинул крышку, нагнулся и, порывшись, вытащил на свет короткий кинжал, почерневший от времени.

– Поди-ка сюда, – поманил он.

А меня второй раз просить не надо.

– С сегодняшнего дня, – объявил дедушка, – это оружие принадлежит тебе, дарю. Ты уже мужчина и должен носить кинжал. Вот и носи его с честью... А сейчас ступай к Элизбару, он покажет тебе, как выни-

мать его из ножен. – С этими словами он вручил мне кинжал и двинулся на место. – А ты, – внезапно дедушка повернулся к матери и наставил на нее свой посох, – ты слишком трясешься над своим сыном, думаешь, что он ребенок, и боишься того, чего бояться не следует. Нет, дочка, так себя вести не надо, иначе мы испортим мальчика. Своего единственного внука и наследника я хочу видеть первым во всяком деле: если он скачет на коне – то как джигит; если стреляет – то без промаха; если землю пашет – то так, чтобы никогда его семья не сидела голодной. А уж если рот откроет, чтоб слово молвить, – то пусть это слово будет как червонец... Мужчина ко всему должен быть готов, он все должен уметь: и сражаться, и работать, и песни петь. Но главное – он всегда, что б ни случилось, должен быть мужчиной, а не жалким трусом! Для этого всем нам нужно хорошо постараться... Вы слышали, что я сказал?..

Я стоял перед дядей Элизбаром; он, не спеша, чтобы я понял и запомнил, показывал мне, как браться за рукоять, как вытаскивать кинжал из ножен... Наконец, кинжал у меня на поясе. Подражая взрослым, я положил на него правую руку, вскинул голову и чуть выставил ногу вперед. В эти мгновения я казался себе неимоверно стройным, подтянутым и мужественным.

Все разглядывали меня. В родных глазах и радость, и гордость. И сам я ужасно горд сейчас, будто и впрямь уже стал настоящим джигитом.

– А теперь пусть женщины выполнят свой долг и за неделю сошьют для моего внука черкеску и другую одежду, потребную мужчине, – услышал я голос дедушки и подумал: «Вот мама-то обрадуется!»

Но мама почему-то совсем не выглядит радостной.

Теперь я понимаю – почему...

Воспитание во мне бесстрашия и других мужских доблестей, то, что я должен был пройти и освоить – стрельба, верховая езда, прыжки, плаванье, навыки рукопашной схватки и схватки с ножом в руках, – угрожали моему здоровью, а может быть, и жизни. Кроме того, это означало, что я безвозвратно покидаю насиженное и безопасное гнездышко, свитое для меня ее руками, вылетаю из-под ее крыла. Поэтому в тот вечер мать испытывала чувства, прямо противоположные моим и дедушкиным. Но разве могла она, не смеющая и слова произнести при свекре, сказать то, что лежит у нее на душе?

Отец оказался меж двух огней: с одной стороны, жена, с другой – дедушка... Конечно, он жалел мать, понимал ее, сочувствовал, но стать открыто на ее защиту не мог – боялся прослыть непочтительным сыном.

...Не было дня в моей жизни, в который бы я не вспоминал мою мать...

Высокая светлолицая женщина с каштановыми волосами, уже подернутыми сединой, – такой она была к тому времени, когда я начал осознавать себя.

В погожие дни, когда солнце горячо, а воздух чист и прозрачен, мне кажется, что я вновь вижу ее. О ней напоминают наши гордые горы с вечными снегами вершин – спокойные, умиротворенные и чуждые суете, напоминает ясное небо, схожее с материнскими глазами своей глубиной и своей синевой. А если жара, если зной и нечем дышать, и вдруг повеет откуда-то легким и свежим ветром, под которым чуть слышно зашепчутся листья деревьев, – я знаю: то дыхание моей матери.

Ее лицо светит мне и поныне; издалека, из детских лет, доходит до меня его сияние. Как живую вижу ее: то за ткацким станком, всю поглощенную работой, – ныряют, шмыгают взад-вперед узконосые челноки, то с кувшином на плече, который она придерживает рукой... А вот она в амацурте, у пылающего очага, лицо раскраснелось от веселого жара, – сыплет, помешивая лопаткой, золотую кукурузную крупу в бурлящий кипяток. Или уже в чулане – трет, по локоть обнажив белые руки, огненный перец на каменной плашке...

И всегда она вспоминается мне за работой: то пряжу сучит – вертится, крутится веретено, то хлопок вычесывает, то стирает.

Единственная картина, сохранившаяся в памяти и отличная от всех: ее упругие пальцы, перебирающие шелковые струны розоватого ачамгура[4]... А так я не помню, чтобы мать хоть на минуту забылась от дел, на это у нее просто-напросто не было времени. Она раньше всех вставала и позже всех ложилась, и дни ее, от зари до зари, проходили в бесконечных хлопотах по хозяйству; присесть было некогда. И стряпня, и стирка, и уборка – все было на ней. Она пряла и ткала, обшивала всю семью, сеяла хлопок и потом возилась с ним.

Мать моя была добрая женщина – на этом сходились все, кому повезло знать ее. Если днем ей удавалось хоть чем-то порадовать человека, то в эту ночь она засыпала счастливой. Когда кто-нибудь заходил к нам в дом – поболтать по-соседски, потолковать о том о сем, – она непременно усаживала гостя за стол и потчевала до отвала. А если он отказывался, уходил, не опробовав угощения, у нее начинало ныть сердце.

[4] **Ачамгур** – двухструнный щипковый инструмент.

К нам, кстати, часто и охотно заезжали, и гостей порой собиралось великое множество. Ясно, что в такие дни забот у матери прибавлялось, особенно если гости задерживались, но никогда она даже виду не подала, что ей невмоготу, – была приветлива, терпелива, ухаживала за всеми и каждым, стелила постели, готовила... Как у нас говорят, была свечой гостю. Мать, хотя и выглядела выносливой и сильной, была очень мягким, ранимым, жалостливым человеком. И жалостливость ее переходила иногда все границы: она даже курицу не могла зарезать. У нее кружилась голова, и она отказывалась ступить на мост, если вода в речке казалась ей слишком мутной. А уж гроза повергала ее в полнейший трепет... Заслышав дальний раскат грома, она начинала звать меня слабым голосом, шла искать, превозмогая ужас, находила, где бы я ни был, и, накинув шерстяной платок на голову, вела в амацурту, – там, забившись в угол, прижавшись друг к другу, мы и пережидали грозу.

С языка матери то и дело слетало нежнейшее: «Мой свет!» – она вплетала в свою речь слова сострадания и участия, постоянно приговаривала «Меня тебе в жертву!» или «Пусть станут моими все твои беды!». Ни разу не нарушила она законов почитания старших, ни разу не перешла дорогу свекру. Не то чтобы спиной к нему повернуться – слова не вымолвила при нем; он так и умер, не узнав, какой у нее голос. Своего деверя Элизбара она обстирывала и обштопывала до самой его женитьбы. Никто никогда не видел на нем грязной одежды, – мать любила его не меньше своих детей и ходила за ним как за сыном.

Но я для нее был дороже всех...

Наверное, она бы меньше тряслась надо мной, будь у меня крепкое здоровье. Но вот его-то как раз и не было. Прошлым летом я подцепил лихорадку, и с той поры каждый день ближе к полудню меня колотило так, что зуб на зуб не попадал; я отчаянно мерз и никак не мог согреться, и если б меня укрыли десятью одеялами, то и это не помогло бы. Все время хотелось пить, но жажды утолить не мог; затем меня бросало в жар, я бредил, стонал, исходил потом.

И зимой лихорадка не оставила меня. Чувствуя приближение очередного приступа, я заворачивался в одеяло и ковылял к очагу; от частого сидения вблизи огня ноги мои покрылись замысловатым узором цыпок. Весной стало полегче, но появилась ломота, сводило колени, кости пронзало какой-то пульсирующей болью, – она изводила меня, не давала уснуть, и я в слезах метался на постели.

Наступившее лето тоже не принесло избавления. И хотя приступы прекратились, но ломота и боль мучили по-прежнему – болезнь, по всей видимости, ушла вглубь. Я исхудал, от меня, как говорили, остались кожа да кости.

Мое состояние не могло не тревожить родных, однако они считали, что ничего опасного нет, и если кто-то затевал разговор о том, что не худо бы всерьез заняться моим лечением, дедушка недовольно ворчал:

– Подумаешь, лихорадка! Было бы о чем говорить... Да у нас, в Абхазии, чуть не каждый ею болеет, и ничего, живут...

Никто, конечно, не перечил дедушке, только мама тайком вздыхала...

Вот в это-то время я и попал под арбу.

Как вы помните, дедушка поклялся перед Богом и людьми, что принесет жертву и устроит молебен. И вот через четырнадцать дней после злополучного падения дядя Элизбар заволок во двор здоровенного холощеного козла.

На крохотном пятачке в ольшанике, где мы обычно справляли обряды, козла зарезали и сварили. Дедушка насадил на ореховый прут жертвенные сердце и печень, поставил рядом с собою меня, положил на плечо руку – и все члены нашего рода разом пали на колени.

– О Господи Вседержитель, чья слава превыше небес, – нараспев заговорил дедушка, постепенно повышая голос, как он всегда делал, когда читал молитвы, – воззри на этого маленького ангела, яви дивную милость свою... Пусть он будет как дерево при потоках вод, пусть обходят его несчастья и беды, пусть, как переспевшая алыча, осыплются с него недуги и хвори, пусть не ломится под ним сухая ветка, не гнется зеленая!.. О Господи Боже наш, да будет на нем Твое благоволение, да сопровождают его благость и милость Твоя!..

Закончив молитву, дедушка отрезал мне кусочек печени, и я отошел в сторону.

Все потянулись к костру. Получив свою долю, укладывали мясо на подстеленные листья, рассаживались на траве. Начиналась жертвенная трапеза.

* * *

По нашим обычаям всякий, кто собирается привести молодую жену, должен прежде построить себе новое жилище. Построил его и

отец в год своей свадьбы... Как и амацурта, оно было плетеным, только поменьше и круглое, с конусной крышей, и стояло за домом, в глубине усадьбы. В этой амхаре я и жил вместе с отцом и матерью, а в амацурту попал лишь на ночь – меня туда принесли после падения с арбы, уложили и не хотели беспокоить.

Как-то утром, проснувшись, я встал, оделся, вышел из амхары и пошел по двору. У коновязи заметил дедушкиного коня по кличке Гуадах; он был оседлан и терпеливо дожидался хозяина. «Наверное, на сход собрался!» – подумал я о дедушке и тут же увидел его самого: он стоял под яблоней и набивал мешок сеном. «Ага, значит, сегодня я буду учиться, как драться кинжалом!» – возликовал я и кинулся было к дедушке, но вовремя спохватился – надо было еще умыться.

Родник находился поблизости. Я живо спустился к нему, подставил под струю ладошки и, фырча, разбрызгивая воду, тщательно вымыл лицо, шею, уши. Умывшись и причесавшись, я наконец осмелился предстать перед дедушкой и пожелать ему доброго утра.

Услышав мой голос, дедушка выпрямился и, по своему обыкновению, взглянул на меня как на человека, которого как будто видел, да только вот запамятовал, где и когда. Словно силясь припомнить, кто же это стоит перед ним, дедушка вперил в меня свои угольные глаза; потом, как бы узнав – что, судя по его виду, не принесло ему ни малейшей радости, – он чуть качнул головой в знак приветствия.

– Перекуси и бегом сюда! – приказал он. И добавил: – Да кинжал не забудь!

В амацурте мать собрала мне позавтракать, и я сел за стол.

– Чего ты торопишься, будто за тобою кто гонится! – ни с того ни с сего вдруг прикрикнула она на меня, и я заметил, что мать чем-то расстроена.

А я и в самом деле спешил. Быстренько умяв все, что стояло передо мной, я выскочил из амацурты.

– Беги, беги! – шепнула мне вдогонку мать. – Он тебя еще не тому научит!

Но ничто сейчас не могло удержать меня, и я понесся в амхару, где над кроватью висел подаренный кинжал...

И вот, с кинжалом на поясе, я навытяжку стою перед дедушкой. Пока я завтракал, он туго набил мешок и повесил его болтаться на яблоне.

– Представь себе, что это, – дедушка вынул изо рта трубку и ткнул ею в мешок, – человек, который задумал напасть на тебя. Что у него

на уме, шутит он или нет – никому не ведомо. Ты идешь, а он загородил дорогу и не пускает. Что нужно сделать, чтобы заставить его уйти, уступить? А вооружен он только кинжалом, и у тебя нет иного оружия... Вчера я показывал, как нужно им действовать. Не забыл?

– Нет! – ответил я и выхватил кинжал из ножен.

– Но не жди, что он будет столбом стоять, дожидаться, пока ты его заколешь! Ты на него, а он от тебя, ты в одну сторону, а он – в другую... Он как змея начнет извиваться, сбивать тебя... А ты как поступишь, а? Я тебе говорил, помнишь?

– Конечно, помню! Я все помню!

– Ну, раз так... – И дедушка, сильно раскачав мешок, подал команду: – Бей прямо!

Сломя голову я кинулся на врага, намереваясь по самую рукоятку всадить кинжал в его грудь, но подлетевший мешок так поддал мне, что я тут же оказался на земле, а мое оружие – далеко в стороне.

– Что с тобою, братец? Ну-ка, сбоку, сбоку заходи! – подзадоривал дедушка, а сам раскачивал мешок, не давая ему остановиться.

Я был посрамлен, опозорен, раздавлен случившимся, но вновь и вновь наскакивал на врага, который становился мне все ненавистней, бил то спереди, то сзади, но всякий раз кинжал вылетал у меня из рук.

– Давай, давай, братец, не сдавайся! – подбадривал меня дедушка.

И вот мы насмерть сшиблись с моим врагом, сошлись в жестоком поединке; пот градом катит с меня, кинжал уже только мешает, я отшвыриваю эту бесполезную вещь и с кулаками набрасываюсь на проклятый мешок.

– Ну, это уже никуда не годится! – дошел до меня голос дедушки.

Он остановил схватку, оторвал меня от мешка. Я постепенно остывал, приходил в себя.

– А ты горячий, оказывается! Нет, так дело не пойдет. Кто взялся за оружие, должен владеть не только им, но и собой... Ладно, убирай кинжал, на сегодня хватит. – И, отвернувшись от меня, дедушка направился к Гуадаху.

Мимо, пряча улыбки, проскользнули сестры, – они развешивали одеяла на веранде и конечно же видели, как я не на жизнь, а на смерть бился с мешком.

«И мама видела», – с тоской подумал я и оглянулся на амацурту. Но рядом с ней никого не было. Спряталась, наверное, где-нибудь в уголке и плачет, бедная, от стыда за своего опозоренного сына.

II

Едва дедушка выехал за ворота, как мать тут же кликнула меня и, велев переодеться, торопливо сообщила, что хочет сводить к гадалке.

Мне стало не по себе. Ведь все знают: гадалка Мкыд коварна и зла, по ночам она бродит, по селу, пробирается в дома, вынимает у спящих людей их печень и съедает ее...

– Будьте дома, пока я не вернусь, да смотрите не натворите чего-нибудь! – сказала мать девочкам, сунула под мышку петуха с жарким гребнем, что уже лежал со связанными ногами, и мы вышли со двора.

В то время как дедушка воспитывал во мне бесстрашие и мужество, мать терзалась в сомнениях. Вопреки ее ожиданиям, меня и после жертвоприношения не оставили недуги и хвори, не осыпались, подобно перезревшей алыче. Даже напротив: с приближением холодов ломота усилилась, колени сводило еще больше, опять стало знобить, я окончательно потерял аппетит и сон и выглядел – краше в гроб кладут. Соседки, обсуждая мое бедственное состояние, нарочито громко, чтобы слышала мать, говорили: «Да что такое? Ребенок то под арбу свалится, то лихорадка на него нападет... Может, в нем какой-то изъян имеется или сглазил кто? Мы бы на ее месте давно бы к гадалке сходили – пусть бы раскинула на бобах...»

Мама соглашалась с ними, но воспользоваться советом не смела. Дедушка терпеть не мог гадалок, ворожей, вещуний и предсказателей всякого рода, называл их плутами и обманщиками, а тех, кто им верит, – глупцами и невеждами. И если бы он узнал, что меня водили к Мкыд, он бы разгневался, тем более что у самого Бога вымаливал для меня здоровья и благословения. Но мать все-таки отважилась...

Гадалка жила неподалеку. Мы перебрались через ручей, поднялись по косогору и по тропинке сквозь тенистую рощу дошли до ветхих ворот. Мать подобрала по дороге сучковатую палку – на всякий случай, но и с ней не рискнула войти во Двор.

– Матушка, – позвала она, привстав на цыпочки у забора. – Если есть кто дома, пусть выйдет, придержит собаку!

Никто не ответил; и дом и двор были пусты, казались заброшенными, нежилыми. Вдруг словно из-под земли перед нами возникла высокая старуха, с головы до пят закутанная во все черное. Я с трепетом догадался, кто это.

– Заходите, драгоценные, заходите, прошу вас, – заикаясь, выговорила Мкыд. – Смелее, не бойтесь, мой пес женщин не трогает.

И, повернувшись к огромной и тоже черной собаке, стоявшей позади нее, резко, будто каркнув, она произнесла какое-то слово и показала на дерево: собака покорно поплелась к нему, легла, раскинулась в тени, вывалив из пасти разовый язык.

Гадалка повела нас к дому. Остановившись у донельзя запущенной веранды, мама протянула ей петуха и сказала:

– Прими от меня, милая Мкыд. У тебя, конечно, и свои есть, но этот – особой породы, не пожалеешь...

Мкыд взяла петуха, прикинула на руке его вес, долго и придирчиво разглядывала его гребень, даже на ощупь попробовала; наконец, ни слова не сказав, небрежно сунула петуха под перевернутую корзину и зашла в дом. Мы – следом.

Я сидел, крепко прижавшись к матери, и все больше и больше ненавидел эту старуху... Стоило мне только увидеть ее еще там, у ворот, как я сразу понял, что никакая это не Мкыд, а злая колдунья Арупап. «Но почему она такая тощая, если каждую ночь ест человечью печень?» – размышлял я, исподтишка разглядывая гадалку. Платье на ней висит как на палке, колючие глазки глубоко запрятаны в темных глазницах под узкими бровями; маленькое личико испещрено морщинами. На улице солнце печет, а она в черном шерстяном платке, в суконных чувяках...

– Это тот, кто попал под арбу, не так ли? – нарушила зловещее безмолвие старуха.

– Да, милая Мкыд, это он. Значит, ты слышала о случившемся... Недавно его дед принес жертву, чтобы Бог смилостивился над мальчиком и возвратил ему здоровье, но все напрасно, он мучается пуще прежнего... – И мать заплакала. – И вот я подумала: «Может, есть иная причина болезни?» – и собралась к тебе, которая все знает и ведает... Ах, мой свет, поворожила бы ты!

Некоторое время Мкыд хранила задумчивое молчание, затем прикрыла ладонью рот и невнятно забормотала. Не вставая и не оборачиваясь, достала из-за спины черный мешочек, вытащила горсть фасоли, выбрала несколько штук и метнула на стол. И вдруг вскинулась, глянула на дверь, будто кто-то незримый только что вошел в нее, глазами проводила его через всю комнату и, удовлетворенно мотая головой на тонкой шее, уставилась в стенку.

– Так вот кто, оказывается, преследует твоего сына, житья ему не дает! Это черт, вон он, гляди! Сгинь, сгори, бесовское отродье, тьфу,

тьфу, тьфу! – три раза плюнула через левое плечо Мкыд. – Наверняка над кем-то из ваших предков тяготеет проклятье... Но это еще не все. Твой сын избежал одного несчастья, но зато его ждут два других, еще худших! Оставь все свои дела и хорошенько смотри, глаз с него не спускай, если не хочешь потерять. Тьфу, тьфу, тьфу, сгинь, сгори! – кричала она и все время вертела головой.

В груди у меня похолодело, будто я тоже увидел черта, и еще крепче прижался к матери. И в этот миг подал голос наш петух, которого мы отдали гадалке и который сидел сейчас под корзиной.

– Слышишь?! Даже твой петух и тот подтверждает мои слова! – торжествуя, объявила мерзкая старуха и погрозила пальцем.

Я задыхался в зловонном сумраке комнаты и с нетерпением ждал, когда она кончит ворожить и заклинать нечистого. Наконец гадалка встала, ладонью на ладонь смела со стола фасоль и ссыпала в мешочек. Мы вышли во двор, на свежий воздух, и я понемногу начал приходить в себя.

Мы уже подошли к воротам, когда Мкыд схватила меня за руку и рывком развернула к себе лицом.

– Смотри слушайся свою мать! – грозно провещала она, покачивая когтистым пальцем перед моими глазами. Потом склонилась к матери и зашипела ей прямо в ухо: – Только твои глаза спасут тебе сына, помни об этом, ни на миг не забывай!

Мать, слушая ее, лишь горестно кивала и всхлипывала...

Слова, сказанные гадалкой, были для нее как голос самой судьбы, и она ничуть не сомневалась, что предсказанные несчастья сбудутся. По дороге домой, не в силах более сдерживаться, мать разрыдалась и плакала до тех пор, пока у нее не разболелась голова.

Дома она созвала моих сестер, усадила их перед собой и проговорила:

– Послушайте, что я вам скажу... – Она помолчала, оглядывая дочерей покрасневшими от слез глазами, и продолжила: – Над вашим единственным братом нависла опасность, и если с ним что-то случится, свет для всех нас обернется тьмою. Ни на мгновенье не теряйте его из виду, даже когда он играет...

И мать снова заплакала.

Вечером, раздев и уложив меня в кровать, она подсела к отцу и с надеждой спросила:

Скажи мне, над кем из ваших предков тяготеет проклятье?

– Никто никогда не проклинал мой род! – обиделся отец. – Мы никогда не зарились на чужое, всегда своим жили, никому не желали зла. Уж тебе-то об этом хорошо должно быть известно...

Он укоризненно посмотрел на мать, насупился, но винить и стыдить не стал. Пожалел, видать.

* * *

Я не помню, чтобы кто-нибудь из нашей семьи хоть на час оставался без работы. Каждый еще с вечера знал, за что ему приниматься с утра, и сразу же после завтрака все расходились по своим делам.

Сегодня, например, отец со своим братом отправляются рубить дрова – поблизости от дома и хворостинки уже не сыскать. Весь вчерашний день они готовились: точили топоры, правили пилы. Торопились: ведь граб, срубленный в сентябре, еще не набрал влаги, сохнет хорошо и быстро, не гниет, и нужно за несколько дней заготовить его столько, чтобы хватило на весь год, а может быть, и больше... Они валили деревья, складывали в штабеля, а потом целый месяц вывозили бревна из леса.

Тетя Мари вместе с моими сестрами чистит орехи, целые горы орехов, затем нанизывает ядрышки на нити, чтобы позже приготовить из них аджанджух[5]. Она также варит в котле инжир и сушит его на столиках.

Мать целый день сидит на веранде и треплет шерсть, которую где-то достал дядя Элизбар. Завтра они с соседкой начнут валять бурки, и мать надеется, что уж на три-то бурки заготовленной шерсти вполне хватит.

Дедушка седлает Гуадаха, собираясь на очередной сход, – после установления у нас советской власти его выбрали членом земельной комиссии, и в последнее время он ни одного не пропускает. Не знаю, что там на них происходит, но довольно часто дедушка возвращается мрачнее тучи.

Есть обязанности и у меня. Они просты и необременительны, но наполняют меня гордостью: я тоже тружусь! Об этом позаботился дедушка... В полдень я должен напоить бычка и телят; вечером, когда их матери, покачивая выменем, возвращаются с пастбища, я обязан встретить их и загнать в хлев; во время дойки придерживаю телят, что-

[5] **Аджанджух** – лакомство из орехов, провяленных вместе с мукой, медом и вином.

бы они не рвались к соскам; я расседлываю Гуадаха, когда приезжает дедушка, и отвожу его в стойло... Между всем этим успеваю сделать и свои дела, а их у меня по горло: я то шалаши строю в укромных местах, обживаю их, то мастерю повозки, то ставлю запруды и водяные мельницы на нашем ручье, упражняюсь в стрельбе из лука. Да и за сойками, что слетаются к нашему амбару, нужно смотреть в оба, – для них у меня всегда наготове мой самострел...

Утром, когда мы позавтракали и встали из-за стола, дедушка задержал нас и произнес:

– Лаган уже мужчина, он носит кинжал, но до сих пор стреляет только из лука и самострела, иного оружия у него нет. Почему? Разве это справедливо?.. И я решил, что сегодня мой внук на глазах у всех поднимет пистолет и произведет первый самостоятельный выстрел. Но он выстрелит не просто так, он выстрелит в цель, он продырявит голову тому мерзкому черту, которого углядела рядом с ним Мкыд... Эх, Мкыд, Мкыд, сколько же тебе врать пришлось! И все ради какого-то петуха... – И дедушка невесело рассмеялся.

Потом он взял меня за руку и повел из амацурты.

В ольшанике дядя Элизбар опередил нас. Он подобрал большую щепку и пристроил ее на старой ольхе вместо мишени. Дедушка вытянул из-за пояса старинный двуствольный кремневый пистолет; он редко носил его, хранил в сундуке среди других своих сокровищ, лишь иногда доставал – чтобы научить меня, как его держать и как целиться. Сейчас мне предстояло выстрелить, и я едва сдерживался, чтобы не вырвать пистолет из дедушкиных рук.

– Пистолет держат одной рукой, – напомнил дедушка и еще раз показал, как надо стоять. – Левый глаз закрываем, а правым следим, когда цель попадет на мушку. Вот посмотри-ка... Ствол поднимаем или опускаем, когда как, и как только мушка встретится с целью – спускаем курок. Ясно?

Он протянул мне пистолет. Я схватил его, взвел курок, изготовился... Пистолет тяжелый, вытянутая рука еле удерживает его, дрожит, да и грохота, если честно, немного побаиваюсь. Короче, не успел я толком прицелиться, как грянул выстрел – и пистолет, дымясь, полетел в траву. Меня обволокло пороховой гарью, я закашлялся, на глазах выступили слезы. А щепка, конечно, даже не шелохнулась.

– Иди, подними оружие, – услышал я голос дедушки. – У него оба ствола заряжены, сделаешь второй выстрел.

На этот раз я держался уверенней, крепче стоял на ногах, пистолет, как учил дедушка, поднимал снизу вверх и, едва мишень поравнялась с мушкой, тут же выстрелил. Щепка упала.

– Да будет так же удачен каждый твой выстрел, мой дорогой! Ты насмерть сразил проклятого черта, навсегда покончил с ним! Теперь забудь о нем и даже думать не смей, что это он виноват в твоих бедах... Понял, что я сказал? – И дедушка привлек меня к себе.

Я стоял счастливый и гордый. Родные, собравшиеся посмотреть, как я стреляю, спешили поздравить меня и пожелать, чтобы мои выстрелы всегда были такими же меткими. Одна мать не радовалась моему успеху. Ей вообще не нравилось, чем я занимаюсь в последнее время, а уж стрельба из пистолета!.. Но высказать вслух свои мысли, если бы даже она получила на это право, мать никогда бы не осмелилась. Хотя и высказывать их не требовалось, каждый мог прочитать по ее лицу то, о чем она сейчас думает: «Зачем стрелять ребенку, который и так измучен болезнями? А если пистолет разорвется у него в руках? Если порохом глаза выжжет?! Разве мало выпало несчастий на его долю?»

В это время дедушка с грустью разглядывал свой пистолет.

– Появилось новое оружие, которое заряжают патронами,– как всегда, неторопливо говорил он. – Так что все, вышел срок нашим кремневкам. Но мы с ними целую жизнь прожили, и нелегко нам расстаться... Ну, на сегодня довольно, Лаган, – добавил он, обнимая меня и целуя в голову.

После мне раза два-три, не больше, довелось выстрелить из старинного дедушкиного пистолета. На смену кремневому оружию, как и говорил дедушка, пришло в наше село новое, нарезное. У дяди Элизбара был одно время револьвер системы «Смит энд Вэссон», который у нас называли «офицерским», полагая, что иметь столь роскошное оружие могут позволить себе лишь одни офицеры, и он иногда давал мне пострелять из него. Но гром того самого первого выстрела до сих пор звучит в моих ушах.

* * *

У дедушки вновь появились головные боли, и он уже несколько дней не подымается с постели. Мать смачивает ему виски чесночной настойкой и обматывает голову полотенцем.

Когда из амацурты доносятся его приглушенные стоны, мы знаем, что боль усилилась. В такие часы он никого не хочет видеть и забывает даже о трубке, – она, остывшая, сиротливо лежит подле коробки с табаком.

Ах, вот бы Мамсыр был рядом! Он отворил бы дедушке кровь, и ему сразу бы полегчало. Но Мамсыра нет, он в горах, куда подымается каждое лето, и вернется еще не скоро. А дедушка только Мамсыру доверяет такую ответственную операцию, как кровопускание. И для уменьшения страданий остается лишь одно...

У постели больного собираются соседи и всю ночь развлекают его, неторопливо рассказывая были и небылицы. Я слушаю их затаив дыхание. Пусть сто ночей длится эта ночь, я все равно не смогу уснуть!

Амацурта едва вмещала всех, кто прослышал о болезни дедушки и пришел его навестить. Только соседа Биды пока не видно. И куда он запропастился?.. Я с нетерпением ждал его прихода – у нас с ним своя, особая дружба и симпатия.

Когда сумерки сгустились, я вышел из дома и стал у ворот, надеясь первым встретить своего приятеля. Если Бида появится, я его сразу замечу – он такого роста, что его голова торчит над любым забором. В погожие дни она ярко блестит на солнце, потому что хорошо выбрита, даже можно сказать – выскоблена, а в ненастные – покрыта широкополой войлочной шляпой.

Я часто поджидаю его здесь. Едва завижу – бегу к нему со всех ног, и Бида, подкинув меня в воздух, мягко опускает на свое плечо. В его просторных карманах всегда припасен для меня какой-нибудь гостинец – то яблоко, то игрушка. А недавно он подарил мне самострел с пятью стрелами в придачу – такой, что почище иного ружья!

Но всего больше я люблю слушать его сказки, которых он знает великое множество. Мне даже не надо их клянчить, просто подсаживаюсь рядом, и Бида затягивает: «Между тем, как я шел от сказки до сказки...» И голос его, и сами сказки завораживают так, что до меня не докричаться...

Не дождавшись Биды, я оставил свой пост у ворот и возвратился в амацурту... Гудело в очаге пламя, согревало дедушку, и он с улыбкой слушал, о чем тихо переговариваются соседи у его постели, – боль, судя по всему, немного утихла, выпустила его из своих когтей.

Я пробрался поближе к очагу, туда, где лежали в куче приготовленные на растопку кукурузные кочерыжки, стал строить из них шалашики, которые тут же разваливались. Сбоку от меня, подвернув хвост, сидела на приземистой скамейке наша кошка, следила за мною дремотными глазами...

– Добрый вечер! – раздалось в этот миг, и я увидел, как Бида, низко пригнув голову, чтоб не стукнуться о притолоку, вошел в дверь.

Все встали, приветствуя его.

– Ну, как ты сегодня, Бежан? – склонился он над дедушкой.

– Не видишь разве? Какая-то безносая старуха стоит рядом, все грозит, что скоро заберет меня с собою! – шутливо отвечал тот.

Мы все уже давно поужинали, но по законам гостеприимства полагалось накормить гостя, в какое бы время он ни явился, и Биде тут же было предложено поесть. Младшая моя сестра Мачич принесла таз и кувшин, остановилась поблизости, дожидаясь, когда гость соизволит вымыть руки. Но Бида отнекивается, говорит, что не хочет есть, что он только из-за стола. Однако хозяева настойчивы, они просят не обижать их, и в конце концов Бида сдается, соглашается пропустить несколько стаканчиков за выздоровление дедушки. С кувшином вина и с подносом, по краям которого уложен нарезанный сыр со свежей аджикой, а в середине стоит стакан, старшая сестра Гущка подходит к Биде. А тот, сероглазый и рыжеусый, стоит, подпирая головой потолок, и голос его так же могуч и велик, – никого не слыхать, когда говорит Бида.

Первый стакан Бида поднимает за дедушку, желает ему здоровья и всяческих благ, потом произносит еще два-три пожелания и включается в разговор.

До прихода Биды собравшиеся сетовали на то, что до сей поры не улягутся страсти, не утихнут грабежи и разбои, но с его появлением речь заходит о разделе земли, недавно состоявшемся в нашем селе. Больше всех других в этом вопросе осведомлен дедушка, поскольку состоит в земельной комиссии и постоянно присутствует на сходах, но в эту ночь, увы, он лишен возможности побеседовать обстоятельно и ограничивается только короткими замечаниями.

«Когда кончится эта болтовня? – изнывал я от скуки. – А Бида? Неужто он так и уйдет, не рассказав сказки?» Наверное, и мои сестры думают о том же. Я уже дважды проходил мимо него, как бы намекая: в чем дело, мол, почему не замечаешь меня? Вон уже и ночь на исходе, и люди потихоньку начинают расходиться...

– Лаган! – вдруг окликнул меня Бида. – На-ка, держи!

Я мигом очутился возле него. Бида опустил руку в карман, пошарил там и достал яблоко – огромное, пламенно-алое – и положил мне на ладони.

– А скажи-ка, – спросил он, стиснув меня коленями, – у тебя и сейчас ломит в костях?

– Уж было выздоровел совсем, так нет, эта колдунья Мкыд вмешалась, напустила на него всех своих чертей! – ответил за меня дедушка. Он сидел, завернувшись в одеяло, глядел на очаг.

– Да, черти, черти... С чертями, конечно, сладить непросто, – с напускной важностью заговорил Бида. – Но мы с Лаганом, если станем плечом к плечу, наверняка одолеем всю нечисть! – И он похлопал меня по спине своей большой и горячей рукою.

– Да, черти, черти, – некоторое время спустя повторил Бида, задумчиво глядя в огонь. Потом перевел взгляд на меня и сказал: – А ведь если я не расскажу чего-нибудь ему сегодня, он всю жизнь не простит мне этого... Да, попал я в западню! Ну ладно, ступай на место и слушай.

Я отложил недоеденное яблоко, сел и радостно приготовился слушать. Дядя Элизбар поворошил прогоревшие дрова, в очаге вновь заплясало пламя, стало светлее. Все молчали, и в напряженной тишине ожидания зазвучал наконец голос Биды:

– Когда-то давным-давно жил на свете человек по имени Ажи Гыды, и не было у него ни коня, ни коровы, а была только одна коза, да и та безрогая... – Бида примолк, пересаживаясь подальше от очага, видно, его стало припекать разгоравшееся пламя, затем продолжил: – И вот как-то ночью, когда все собрались у постели больного, как вот мы сейчас, кто-то предложил Ажи Гыды: «Встань, возьми свою козу и, пока на дворе непроглядная темень, иди в крепость Чаблахан. Там зарежь свою козу, сними с нее шкуру, а мясо свари... Если ты не побоишься сделать это, то мы, все пятеро, кто спорит с тобой, отдадим тебе по одной козе каждый. Если, конечно, черти отпустят тебя оттуда с миром и ты вернешься к нам».

Ажи Гыды подумал-подумал да и согласился. Еще бы! Вместо одной козы у него будет целых пять!.. Взял он веревку, накинул на шею своей козе и с котлом на плечах отправился в Чаблахан.

А надо вам сказать, что Чаблахан, где стоят остатки крепости, место знаменитое. Оно славилось по всему Абхазскому царству, и это здесь

царица, когда гуляла по саду, увидела двух волков, спящих в обнимку, как братья... Но об этом я вам как-нибудь в другой раз расскажу... Потом на Абхазию напали враги: они пришли с моря, высадились на берег и пошли войною в глубь страны. На их пути встала крепость в Чаблахане, но чужеземцам все же удалось ее взять. Уходя отсюда, они почти до основания разрушили крепость... Долгие годы даже птицы не вили здесь свои гнезда, но потом развалины крепости облюбовали черти, и теперь они каждую ночь собираются там, устраивают пляски, пируют и веселятся как могут...

Вот, значит, в какое страшное место, да еще в глухую ночь, должен был явиться Ажи Гыды! Идет он в Чаблахан, размышляет о чертях и прочей нечисти, и у самого, конечно, поджилки от страха трясутся. Но уж так ему охота получить пять коз вместо одной!..

Ну, пришел наконец, развел большой костер, зарезал козу, содрал шкуру, а мясо бросил вариться в котел. Сидит ждет. И так его разморило у огня, что он не вытерпел, нарвал травы, наломал веток, сделал себе ложе да и завалился спать. Вода кипит, мясо варится, а Ажи Гыды знай себе спит!

Тут черти из всех щелей полезли – кто со стены спускается, кто из колючек вылазит, кто будто с неба валится... Много их вокруг костра собралось – и молодых и старых, и бородатых и безбородых, а росточку в каждом – не больше двух пядей. Расшумелись они, раскричались и разбудили Ажи Гыды. Проснулся он, увидел чертей, но хоть и испугался, даже виду не подал, как ни в чем не бывало заглянул в котел, попробовал мясо и давай накипь снимать – снимет и в чертей бросит. А те пятятся назад, боятся, что он их ошпарит, а потом снова к котлу поближе лезут. И вдруг притихли они, присмирели, расступились в стороны, и выходит к огню самый старший из них, Курмач, – видите, даже и черти без старшего не обходятся! – сам весь седой, борода по земле волочится. Вышел он, уставился на котел, а Ажи Гыды возьми да и плесни в него кипятком. «А-а-а! – завопил ошпаренный Курмач. – Горю! Горю!» И давай скакать. Скакал, скакал, да поскользнулся на траве, упал на спину, лежит и ногами дрыгает. Тут черти просто покатились со смеху. Окружили они Курмача, взялись за руки и пустились в пляс, пляшут да припевают:

Хорошо нам жить, чертям, –
Умным, хитрым, ловким, –

Люди сами водят к нам
Мясо на веревке.

Ах, как был навар горяч!
Пусть и поневоле,
Но хватил его Курмач
И завыл от боли![6]

Пляшут черти и так притопывают, что земля трясется и уши от грохота закладывает. Но Ажи Гыды по-прежнему притворяется, что ничего не видит и не слышит.

И вдруг загремел над землею страшный голос: «Если безрогая коза Ажи Гыды сварилась, выньте мясо, а в котел бросьте ее хозяина! Да поживей, а то хвороста почти не осталось!»

«Бросьте, бросьте его в котел!» – приказал и Курмач. В тот же миг все черти налетели на Ажи Гыды, повалили его, схватили за руки, за ноги и поволокли к костру.

«Ну нет, мерзкие твари, не на того напали!» – крикнул Ажи Гыды, выхватил из ножен свой верный кинжал, замахнулся им – и проснулся. Протер глаза, сел, огляделся – а уже рассвело – и ничего спросонок понять не может: где он и что тут делает? Потом увидел крепостные развалины и все вспомнил. Но что за диво? Костер давно потух, даже зола холодная, а главное, котла нет! «Ну хорошо, допустим, что мясо съели черти и шкуру они утащили. Но котел-то им зачем?!» – озадаченно подумал Ажи Гыды, почесал затылок и пошел прочь из Чаблахана.

Идет он по дороге, размышляет о случившемся и ничего понять не может, не может разобрать, что ему приснилось, а что на самом деле было. И впрямь ведь невероятная вещь приключилась с ним! Посмотрел бы я на вас, как бы вы себя повели, окажись на его месте... Наконец дошел он до своего села, подходит к дому, где лежит больной и где он спорил, а у ворот его уже дожидаются.

«Что ты как неживой плетешься, поторопись, сколько можно ждать тебя!» – крикнул ему один из тех пятерых, кто поспорил с ним, и распахнул ворота. Ажи Гыды вошел в амацурту и видит: возле очага валяется шкура его несчастной козы, за столиками сидят соседи, а перед ними уже мамалыга по тарелкам разложена. Ну, подвинулись, усадили Ажи Гыды рядышком. Когда до него дошла очередь получать свою долю

[6] Здесь и далее стихотворные строки даны в переводе Игоря Бехтерева.

мяса, все засмеялись, а кто-то сказал: «Бери, бери, не стесняйся! Коза хоть и комолая была, да тобою выращена!» – и положил перед Ажи Гыды дымящуюся козью лопатку, а потом запел, и все подхватили:

Ажи Гыды козу имел –
Одну на целом свете!
Но и ее не пожалел,
Чтоб угостить соседей!..

В общем, все0е было так же, как на развалинах в Чаблахане. Только там нечистая сила – черти потешались над бедным Ажи Гыды, а тут – люди...

На этом Бида закончил свое повествование.

Все сидят грустные, притихшие, и лишь дедушка, убаюканный его голосом, мерно посапывает во сне.

* * *

В те годы, о которых я веду речь, объявился в наших краях некий странствующий мулла по прозвищу Маленький ходжа. Он брел из села в село, заходил в дома, останавливался то у одних, то у других. Никто не знал, откуда он, из каких земель и какого роду-племени. Некоторые почитали его едва ли не за святого, называли всеведущим, ибо, по их словам, стоило ему сесть у постели больного и раскрыть свою книгу в черном переплете, как он тут же мог перечислить все причины заболевания.

Матери уже давно хотелось, чтобы и по моему поводу Маленький ходжа глянул в святую книгу, но она боялась, что это окажется бесчестием для моего дедушки: ведь и он сам, и его дети, и внуки числились христианами. Дедушка говаривал: «Что нам какой-то мулла, если мы в церковь ходим!»

А болезнь моя в последнее время обострилась. Я ведь устанавливал водяные мельницы на ручье не только при ясном солнышке, но порою и под дождем. Понятное дело, что промокал до нитки. Вот и застудился. И лихорадка с новою силой стала трепать меня, опять появилась ломота и заныли кости.

Мать места себе не находила, испереживалась вся. Если б ей указали человека, знающего верное средство, как меня вылечить, она

бы ни перед чем не остановилась, все бы для него сделала, ничего не пожалела. А кто он там будет – мусульманин, христианин или вовсе безбожник, – ей совершенно безразлично. Лишь бы исцелил ее мальчика!

В тот день никого из мужчин в доме не было. Все они – и отец, и дедушка, и дядя Элизбар – с утра поехали в ущелье щепать дрань. Мама еще со вчерашнего дня, зная, что останется сегодня одна, договорилась с соседом Кучиром, что он приведет к нам муллу.

И вот после обеда во двор к нам пожаловал Маленький ходжа, сопровождаемый Кучиром. Взглянув на муллу, я сразу понял, почему его так прозвали: он едва доставал до пояса нашему соседу, а ведь и тот был не исполинского роста. Под рукой у Маленького ходжи болталась короткая белая тросточка, и он, хотя и был не один, то и дело озирался по сторонам и приговаривал:

– Гляди, все гляди, штопь минья собак не скушал!

Гости вошли в амацурту и сели. Мама торопливо поставила перед ними столик, – она боялась, что мужчины могут вернуться прежде времени и застать муллу. Конечно, они бы не выгнали его, не сказали бы ничего лишнего, даже приличий бы не нарушили, но дедушка наверняка бы рассердился, и не на шутку.

На столике мусульманское – по маминому разумению – угощение: медовые коврижки, блины, рисовая кутья, а вместо вина – вода, подслащенная медом...

Я глаз не сводил с Маленького ходжи: не то мужчина, не то ребенок – редкие усики, тощая бороденка, черные, глубоко запавшие глаза, островерхий черный колпак, белая тросточка на ремешке, обвивающем запястье, – он не расставался с ней даже во время еды: одной рукой быстро-быстро шарил по столу, а другой заталкивал пищу в рот и смотрел так, как будто собирался все, что стояло на столе, разом запихать в свою утробу. Я слышал, как он чавкает, как безостановочно, с наслаждением глотает медовую воду. Кучир же, напротив, привык к спиртному, он с удовольствием бы опрокинул стаканчик-другой виноградной водки, но, увы, нельзя – рядом сидел мулла. И наш сосед нехотя тянул сладкую водичку.

Насытившись, Маленький ходжа разгладил усы, достал из кармана черную книжицу, раскрыл ее и, судя по вздрагивающим губам, начал читать. Мать и сестры прямо-таки остолбенели: подумать только,

сейчас вся моя судьба перед ним как на ладони! Мулла читал недолго – видимо, ему сразу стало ясно, кто я и что со мною. Он захлопнул книгу, отложил ее и вскочил. Придвинул стул и сел передо мной. Окинул меня быстрым цепким взглядом, вытянул руку, коснулся моих ног. Затем округлил щеки и принялся дуть – чуффф! чуффф! – то на одно колено, то на другое. Брызги его слюны ледяными дробинками осыпали меня, я брезгливо отстранился, и Маленький ходжа зло стрельнул в меня своими глазками. Чуффф! чуффф! – его дыхание пронзало болью мои ноги. Вдруг он пристально глянул куда-то вбок, будто что увидел там, и зашептал непонятные слова, то и дело оглаживая бороденку плоскими ладонями.

– У-у-у-у, хитрий чьерт, у-у, какой хитрий! – завопил внезапно мулла и погрозил кому-то кулачком.

Мне показалось, что это вопит сам Курмач, предводитель чертей, ошпаренный кипятком из котла, в котором варилась безрогая коза Ажи Гыды. «А может, это на самом деле Курмач?!» – похолодел я от страшной догадки. Но потом немного успокоился – у того борода была до самой земли, а у этого...

Маленький ходжа между тем достал из кармана бечевку и, пришептывая, стал завязывать на ней узелки – сделает узелок, приложит к губам, пошепчет и принимается вязать следующий. Когда вся бечевка покрылась бугорками, он пропустил ее под моими коленями и намертво затянул.

– Всье, я прогнал чьерт! Но он хитрий, его надо зажигать! – провозгласил мулла и стал лихорадочно рыться в карманах, вытаскивая из них клочки бумажек. – Его нужно зажигать! – повторил он, обращаясь ко всем.

В несколько раз сложив бумажные лоскутки и смяв их, мулла бросил комок на земляной пол, чиркнул спичкой. Затем вцепился мне в руку, потащил к этому костерку, резко пригнул меня и, накрыв мою голову маминым шерстяным платком, сунул в огонь. Пламя опалило лицо, я задыхался в едком дыму, силился поднять голову, вырваться, но мой целитель крепко держал меня. Постукивал тросточкой по спине и приговаривал:

– Гори, гори, хитрий чьерт!

Когда мне совсем стало невмоготу, я собрался, распрямился как пружина, сорвал с головы тлеющий платок, отшвырнул его и неверными шагами побрел на свежий воздух.

– Ти очень строптивий! — сказал мне вслед Маленький ходжа, не зная, куда деть попавший в него платок.

III

Из всех легенд и преданий моего народа сказания об Абрскиле стали для меня материнским молоком, они вспоили и вскормили меня, я узнал их с младенчества. И первым делом, конечно, от дедушки.

Эти сказания широко распространены у нас, любой человек хоть что-нибудь да поведает вам об Абрскиле. Но имя героя, дерзнувшего восстать против Верховного Бога, не упоминается всуе, ради красного словца. И уж если разговора о нем избежать нельзя, то первыми начинают рассказывать самые уважаемые и почитаемые люди, такие, например, как мой дедушка. И рассказывают они так, будто только вчера расстались с ним.

Сказания об Абрскиле суровы и торжественны, и рассказчик не поет и не подыгрывает себе на апхярце. Я пленялся ими, они манили меня пуститься в странствия, мое детское воображение разыгрывалось и не знало удержу. Случалось, Абрскил представал перед моим внутренним взором совсем не таким, какими рисовали его сказания. Мой Абрскил выжимал воду из камня, сдавив его в кулаке, усы у него были черны и лоснились, а его верный конь не нуждался в подстегивании, он без камчи слушался хозяина и исполнял любое его повеление. Еще мне казалось, что Абрскил любит всех смелых мальчиков (а таковым я считал и себя), ловит для них оленят и отдает им на воспитание, чтобы оленята выросли ручными и их можно было бы всегда погладить; он делает луки и стрелы, учит, как нужно стрелять далеко-далеко и как на лету ловить стрелы... Волшебный конь Абрскила виделся мне иссиня-черным, вороненым, а не вороным, но в белых чулках и с белой звездою во лбу; белоснежными были и края его крыльев. Конь Абрскила никогда не ел травы или листьев, но питался исключительно сталью...

Абрскил разбередил, взбудоражил мне душу, я ничуть не сомневался в его существовании, искал его, ждал, мечтал и надеялся когда-нибудь встретить. И в то же время тревожился: а узнаю ли? не испугаюсь ли?..

Все, что относилось к Абрскилу, – все было подернуто мраком тайны. И все-таки его любили, всем он был близок – и тем, кому было что поведать о герое, и тем, что просто носили в себе его образ. Когда люди

вспоминали об адских мучениях, на которые осудил его Бог, они погружались в скорбь, но не переставали надеяться, что рано или поздно падут сковывающие его цепи, и Абрскил выйдет на свет из темной и смрадной пещеры, и радостная весть об этом разнесется по всей Абхазии.

Подобно всем, верил в это и дедушка. Из его рассказов я знал, как процветало при Абрскиле древнее Абхазское царство, как беспощадно карал он зло, расправлялся с врагами и притеснителями. При нем никто не отваживался нападать на нас. Знал я и о том, как все постигший и всех превзошедший герой задумал в конце концов вызвать на поединок самого Бога, Творца неба и земли, и как разгневался Бог, прослышав про этот дерзкий вызов, и как послал всю свою крылатую рать схватить, наказать безумца, и каких трудов стоило его слугам исполнить Божественную волю, заковать в цепи Абрскила и его волшебного коня, заточить их в пещеру, откуда не выбраться навеки...

– ...И потерял народ служившего им беззаветно и спасавшего им отечество, и кончилась их жизнь, полная радости и довольства, и потянулись дни страха, печали и унижений. На что только не отваживались люди, чтобы вызволить из беды своего заступника, но все оказывалось напрасным, и не было у них силы. – Дойдя до этих слов, дедушка прерывал свой неторопливый рассказ и сокрушенно вздыхал.

Я был возбужден услышанным, множество вопросов вертелось у меня на языке, но я не решался отвлекать от горестных раздумий дедушку и шел с ними к матери. Если она была одна, я не отставал от нее до тех пор, пока она не усаживалась вместе со мною и не разрешала всех моих недоумений. Мать объясняла мне, что страшную пещеру, из которой невозможно выбраться, указала божьим ратникам злая ведьма, – по ее наущению они и заточили туда Абрскила. Но и ведьме не поздоровилось, – когда богоборца приковали к железному столбу, ее посадили рядом, чтобы она стерегла его; но воздух в пещере был так сперт, так зловонен, что и ведьма не выдерживала, задыхалась, – вот и повадилась она каждую ночь тайком выбираться на волю. Но тут, преграждая выход, ее подкарауливал волк, он бросался на ведьму, и той ничего не оставалось, как только вспрыгнуть ему на спину и, подгоняя его ядовитой змеей вместо плетки, скакать на волке, не разбирая дороги. В это время по всей земле гремит гром, сверкают молнии, их вспышки выхватывают из тьмы волка, несущего на себе ведьму, – и все это для того, чтобы ведьма убоялась божьего гнева и поспешила

вернуться на место, Бог не хочет, чтобы она отлучалась, он хочет, чтоб она зорко следила за узником, он боится, что враг его разорвет цепи и обретет свободу. И если это случится, то тут же оживут две половинки одного камня, что покоятся сейчас на холме, и кинутся по свету искать ту коварную ведьму, и найдут, и сдвинутся, и расплющат ее... Такой завет положил Бог, и таков должен быть конец злодею.

Только одного я никак не мог уразуметь: почему Абрскил ненавидел рыжих и сероглазых? Мать объясняла, говорила, что все они злы, что их взгляд приносит несчастье людям, но я видел перед собой рыжеусого и сероглазого Биду, и все во мне противилось этому...

У нас в селе много мест, чьи названия так или иначе связаны с именем Абрскила. Родник Абрскила, коновязь Абрскила, становище Абрскила, уже упоминавшаяся мною пещера Абрскила. Она, кстати, была неподалеку от нашего дома. А что касается холма, на котором лежит Рассеченный камень, то если крикнуть с нашего двора тому, кто стоит на его вершине, он непременно услышит. Если захочет, конечно. Меня, например, когда я заиграюсь, было не дозваться...

Холм так и называется – Холм Рассеченного камня. Издалека видна его вершина, поднимающаяся над кронами деревьев и настолько схожая с округлой каменной плашкой, на которой мать моя терла перец для аджики, что на ум невольно приходило: а уж не человеческих ли рук это дело?

На самой вершине холма, головой подпирая небо, растет древняя липа. Чисто вокруг нее, не увидишь здесь ни зарослей дикого укропа или папоротника, ни кустов бузины, – нога по щиколотку утопает в мягкой и словно бы расчесанной гребнем траве.

По словам дедушки, Холм Рассеченного камня издавна почитается у нас как святыня. Даже скот, будто понимая это, избегает пастись здесь, не спешит укрыться от палящего солнца в тени одинокой липы. Зимою в ее густых ветвях находит приют и убежище множество лесных голубей, но охотники не трогают их, считая великим грехом проливать кровь на этом священном месте.

Впервые к Рассеченному камню привел меня дедушка. Помню, осень уже стояла; цветы на лугах, которыми мы шли, успели увясть; порывами налетал сырой, промозглый ветер, сдирал с деревьев листья, и они казались испуганно мечущимися птицами... Шаркая ногами, одной рукой опираясь на посох, другою держа меня, дедушка медленно одолевал подъем. То и дело останавливаясь перевести дух, он оглядывал

дали и указывал то на море, внезапно открывшееся взгляду, то заставлял обернуться и посмотреть на тесно сгрудившиеся горы, уже надевшие серебряные шапки новых снегов.

Никогда прежде не поднимался я так высоко; мне казалось, что я парю, подвешенный под самым небом, высота и ощущение полета завораживали – ничего подобного я еще не испытывал, – но когда передо мною вырос камень величиной с амбар, я позабыл обо всем и оторопело уставился на него. Но поразили меня не столько размеры камня, сколько то, что он явно был разрублен, а не треснул сам по себе.

«Вот он, Рассеченный камень!» – пронеслось в голове.

Дедушка, видимо, понял мое состояние.

– Подойди, подойди, милый, посмотри вблизи на этот камень, – сказал он и концом своего посоха словно бы указал мне путь.

Но я по-прежнему не мог двинуться с места. «Как такая глыба смогла попасть сюда?!» – изумленно размышлял я.

– Помнишь, я рассказывал тебе об Абрскиле? – спросил меня дедушка. – Не забыл?

– Хорошо помню, – ответил я. – И про то, как его посадили в пещеру и приковали цепью к железному столбу, и про злую ведьму... Я все помню!

Дедушка довольно улыбнулся, сел под липой, привалясь спиной к стволу, уперся в посох плечом. Я понял, что он еще что-то хочет рассказать мне, и подошел поближе.

– Всех врагов, которые нападали на Апсны, – начал дедушка, – которые хотели разорить ее и ограбить, Абрскил встречал с мечом в руках и рубил их без всякой пощады. Да и не только враги боялись его, а все злые и нечестные люди: как завидят, тут же спешат убраться с глаз долой. Но напрасно – Абрскил хоть из-под земли достанет... А вот этот холм, куда мы, дорогой, с тобой поднялись, был его любимым местом отдыха. Но, как ты догадываешься, Бог и тут не давал ему покоя. Подъедет Абрскил к холму, сам уже еле в седле держится от усталости, сойдет с коня, поднимется на верх, сядет вот здесь, чтобы все подступы видеть – враги ведь в любую минуту могли нагрянуть, – и он все время должен был быть начеку... А коня своего оставлял внизу, вон на той полянке. И как только божьи ратники набрасывались на холм, чтобы окружить Абрскила, он их сразу же замечал и спускался к коню. А его конь, как ты помнишь, был крылатый, Абрскил садился на него, и они взлетали в небо... Посмотри-ка туда, видишь, там что-то блестит. Это

море, я уже тебе показывал... Так вот, Абрскил или там приземлялся, на морском берегу, или перепрыгивал через Панаю – это вон та высокая гора! – и мчался дальше, к Эрцаху... Никак не могли справиться с ним божьи слуги, не было у них силы, чтобы одолеть его, только хитростью сумели они одержать победу. Но об этом я тебе тоже рассказывал, помнишь, наверное...

И вот однажды, когда Абрскил отдыхал здесь после трудов, враги выследили его и решили схватить во что бы то ни стало. Они знали: если Абрскил успеет вскочить на коня, то тут же поднимется в небо. Вот они и договорились: раз не получается на земле, давайте попробуем в небе. Договорились – и полетели к холму, и столько их собралось, что день померк.

Не знаю, что тогда случилось с Абрскилом – то ли растерялся он, то ли уснул, и они его врасплох застали, а может, уже отчаялся, – только не вскочил он на своего крылатого коня, а поднял с земли вот этот громадный камень, который сам же принес сюда на всякий случай, размахнулся и запустил его в самую гущу небесного воинства. Камень, пока летел, такой ветер поднял, что крылатых ратников просто-напросто сдуло с неба, как мух. Испугались они и попрятались за теми вон дальними вершинами. Небо снова стало чистым, выглянуло солнце, а камень полетел вниз. Абрскил встал и занес над головою меч, дожидаясь, пока камень долетит до него. Он, понятное дело, догадывался, что божьи слуги хоть и попрятались, но следят за ним, и захотел еще раз напомнить им, с кем они задумали тягаться... И когда камень готов был уже вот-вот обрушиться на Абрскила, герой принял камень на свой меч, и меч рассек его пополам, словно яблоко, и его половины упали по обе стороны от Абрскила...

Дедушка прервал рассказ и за руку подвел меня к камню. Мы обошли его кругом, я заглянул в расселину, погладил бока среза. Да, он был рассечен, и рассечен точно пополам.

– Абрскил вложил меч в ножны, – заговорил дедушка, облокотившись о камень, – глянул на эти половинки и молвил: «Так вот распалась сегодня и моя жизнь... Это мое прошлое», – и показал на ту половинку, что упала срезом вверх, навзничь, как бы открыв лицо. А про другую, которая упала срезом вниз, ничком, словно бы спрятавшую лицо, сказал: «А вот мое будущее. И одно отделено от другого». Такими были последние слова героя. После этого он не мешкая сел на коня и пустился в путь. А божьи ратники в тот день окончательно убедились,

что одною силою им Абрскила не взять... Ну, а холм с той поры так и зовется Холмом Рассеченного камня.

Дедушка вернулся под липу, устроился в тени и закурил трубку. А я остался у камня, зачарованный увиденным и услышанным...

– Идем-ка домой, Лаган, пора! – окликнул меня дедушка, но я не тронулся с места, я был похож на человека, которого только что разбудили и он еще не может понять, где продолжается сон, а где начинается явь. И лишь когда дедушка взял меня за руку и потянул за собой, я очнулся, и для меня вокруг словно бы рассвело.

* * *

Ясным весенним утром мы выехали со двора. Дедушка верхом на своем Гуадахе, я у него за спиной, а позади нас на белолобом иноходце тетя Мари. Белолобый горяч и порывист, и тете Мари все время приходится сдерживать его, чтобы ненароком не обогнать дедушку. А я еще нигде не бывал дальше сельской конторы, даже мостовой ни разу не видел, и потому, наоборот, тороплю и подгоняю всех. Мысленно, разумеется.

Едем мы в Мокву, в тамошнюю церковь. Дедушка все-таки проведал, что Маленький ходжа побывал в нашем доме и лечил меня горящей бумагой, а про гадалку дедушка знал и раньше. Это, конечно, очень обидело его, но он пожалел мать, простил ее, даже не выбранил, хотя другому подобное так просто бы с рук не сошло.

Но однажды вечером, уже после прихода муллы, дедушка собрал всю семью и объявил:

– Ребенка нужно свозить в Моквскую церковь и там испросить для него благословения. Тянуть больше нечего, его опять каждый день знобит! Слава богу, у нас в родне есть люди, приближенные ко Всевышнему!

Никто, конечно, спорить с ним не стал, и поездка в Мокву оказалась делом решенным.

Человеком, «приближенным ко Всевышнему», был настоятель Моквского собора отец Дмитрий, Дырмит по-нашему, – он приходился родным дядей по материнской линии моему отцу, а значит, и дяде Элизбару, и тете Мари. И хотя видели мы его довольно редко, от случая к случаю, когда он останавливался у нас, разъезжая по своим делам, все мы искренне любили его. Едва Дырмит въезжал к нам во двор

на своем низкорослом муле, как все тут же высыпали ему навстречу. Статный, рослый, с округлою смоляной бородкой, он приближался к нам в длинном, тяжело колышущемся облачении, на груди остро и колюче посверкивал драгоценным огнем наперсный крест. Женщины окружали его, целовали благословляющие их руки, а мы, дети, по очереди подходили прикладываться к кресту.

Вечером в доме собирались соседи и родственники, прослышавшие о приезде Дырмита. Сидели допоздна, беседовали, но почти никогда он не заговаривал о Боге или вере, эти вопросы, казалось, совершенно не волнуют его, он оживлялся только тогда, когда речь заходила о народе, о его положении. А стоило упомянуть при нем о какой-нибудь несправедливости или беззаконии, как Дырмит буквально взрывался.

– Убивать таких надо! – кричал он и метался, не находя себе места от ярости, и тяжкий крест раскачивался у него на груди.

– Кому-кому, а тебе не пристало говорить такие слова, ты ведь служитель Божий, – тихо, не поднимая головы, пытался образумить Дырмита дедушка.

– Кто неугоден народу, тот неугоден и Богу! – обрывал его неистовый священник.

Поговаривали, что у него всегда имеется при себе оружие. Мы думали, что это досужие слухи, сплетни, но убедились, что нет, правда.

Как-то утром, когда он, переночевав у нас, уже готовился сесть на мула и отправиться в дальнейший путь, с улицы раздались крики: «Берегитесь, бешеная собака!» Дырмит мгновенно задрал подол своей рясы, вытащил из заднего кармана брюк небольшой черный пистолет, выскочил за ворота и двумя выстрелами наповал уложил стремительно несшегося вдоль дороги пса.

– Ох, сынок, ты же слуга Господень, как ты посмел взяться за оружие?! – укорила его соседская старуха.

– Бешеную собаку и Бог ненавидит, – с улыбкою отвечал тот...

Вот к этому человеку мы и едем сейчас.

Весна, придорожные акации осыпают нас душистым снегом своих лепестков. Гуадах идет не спеша, он спокоен, ничуть еще не устал; дедушка мерно, в такт его шагам кивая головою, неторопливо разговаривает со мной, и тетя Мари, которой тоже хочется послушать, равняется с нами, но дедушка будто не замечает ее, намеренно обращается только ко мне, беспрестанно оборачиваясь и спрашивая: «Тебе хорошо слышно?» – «Хорошо», – каждый раз отвечаю я, и он продолжает:

– Тому собору в Мокве ровно тысяча лет... А ты знаешь, что такое тысяча, сумел бы сосчитать?.. Так вот, тысячу лет назад построен этот собор. А построил его царь Абхазии, он строил его целых двадцать лет! Царь собрал зодчих, выбрал место, – сейчас поднимемся, и ты увидишь, – там сливаются две реки: Дваб и Моква. Царь, когда выбирал место для собора, видимо, учел, что тут самая середина Абжуи... Ты слышал когда-нибудь, как звонит соборный колокол?

Еще бы мне не слышать! Его звон до самого дальнего села доходит, не то что до нас!

А вот этого ты наверняка не знаешь... Когда в колокол ударят три раза подряд, значит, на следующий день в Мокве соберется общий сход...

Вдруг дедушка натянул поводья, остановил Гуадаха; тетя Мари тоже вынуждена осадить своего бойкого и нетерпеливого иноходца. Я выглянул из-за дедушкиной спины, надеясь увидеть впереди что-то интересное, но дедушке, оказывается, просто захотелось курить. Он вынул трубку, набил ее табаком, зажал в зубах и принялся высекать огонь; в конце концов ему удалось добыть искру, и он положил затлевший трут к себе в трубку, раскурил ее, выпуская клубы синего волокнистого дыма, медленно и прозрачно истаивающего в воздухе, затем тронул пятками коня, и мы продолжили путь.

– ...Шли годы, а зодчий все строил и строил собор, и с каждым годом тот становился выше и прекраснее. Когда до конца строительства осталось совсем немного, зодчий стал гадать, чем пожалует его царь. Он думал, что его ждут почет и слава, но его, увы, ожидала совсем иная судьба. Царь Абхазии оказался жестоким и неблагодарным. Вместо того чтобы щедро наградить зодчего, он вынудил его покончить с собой... А случилось это так. Когда царю доложили, что великий труд близится к завершению, он пошел, чтобы своими глазами увидеть то, чего ждал столько лет. Еще издали он увидел, что церковь готова, стоит, сверкая как хрусталь, только на вершине купола зодчий еще закрепляет крест. И тут в голове царя родилась ужасная мысль. «Да, это великий, непревзойденный мастер, – подумал он, – но если он встретит того, кто сможет ему заплатить больше, чем я, он сумеет построить и другой храм, еще прекраснее этого. Поэтому пусть остается там!» Так решил царь и повелел убрать лестницу, по которой зодчий взобрался на купол...

И день, и два, и три оставался зодчий на куполе, еще надеясь, что царь одумается и не станет губить его. Но когда он понял, что надеется напрасно, он примирился со своей участью и обратился к людям,

что толпились внизу. «Все мы смертны, – сказал он им, – и я, и царь. Сегодня мой черед покидать этот мир, завтра – его. Но и через тысячу лет люди, глядя на этот храм, будут вспоминать нас обоих: и того, кто сотворил его, и того, кто содеял зло. Но если имя одного будет произноситься с благоговением, имя другого – с хулой и проклятьями!» И с этими словами великий зодчий бросился вниз. Падая, он ударился головою о южную сторону храма и окрасил ее своей кровью. Вот уж сколько лет прошло с той поры, а стена до сего дня стоит красная. И в самом деле: невинную кровь никакой водою не смыть, ее не сотрет время...

Так, за разговорами, мы подъехали к броду через Дваб. Кони, ступив в реку, тут же нагнули головы и жадно припали к воде. Пока они пили, я смотрел на ту сторону, где из-за холма выглядывал соборный купол, крест на нем ярко горел в солнечных лучах.

Переправившись на тот берег, мы одолели крутой подъем, выехали наверх, и перед нами предстала громада храма, взметнувшегося ввысь подобно утесу.

– О Господи, помилуй нас и обрати к нам лицо твое, – промолвил дедушка, стянул с правой руки камчу и перекрестился.

Вслед за ним перекрестились и мы с тетей Мари.

Миновав закрытые наглухо железные ворота, мы стали медленно двигаться вдоль каменной церковной ограды. Я гляжу за нее и вижу огромный сад, где полно самых разных плодовых деревьев, а по дорожкам разгуливают монахини в черных длинных одеяниях...

Белый домик под красной крышей, в котором жил священник Дырмит, стоял сразу же за тем местом, где обрывалась церковная ограда. Мы уже подъезжали к нему, когда дедушка придержал Гуадаха.

– Что это они? Переселяются, что ли? – воскликнул он, всматриваясь вперед и пытаясь понять, что происходит.

Приглядевшись, я увидел: стоит перед белым домиком арба, а между ней и домиком снуют мужчины и женщины, выносят на улицу шкафы, железные кровати, узлы, тюфяки, прочий скарб, складывают на арбу...

Навстречу нам направился какой-то человек, я узнал Лада, старшего брата священника Дырмита. Мы спешились, и как только Лад подошел, дедушка забросал его вопросами:

– Что стряслось? Почему уезжаете? Где Дырмит? Его что, в другое место служить перевели?

Лад ответил не сразу.

– Идите-ка сюда, – сказал он и повел нас за собой к развесистой ольхе. – Посидите пока здесь в тенечке, в дом все равно не войти... Ясон! – крикнул он кому-то. – Подай сюда стулья!

Живой, расторопный парень, громыхая великоватыми сапогами, в несколько приемов принес стулья и поставил их под ольхой. Дедушка и Лад сели, а тетя Мари, из уважения к старшим, осталась стоять. Ольха росла почти над самым обрывом, под которым стремительно катил свои воды Дваб; волны его, как золотая чешуя, ослепительно блестели под солнцем, но я с такой высоты не смог долго следить за их игрою, у меня закружилась голова, и я отошел подальше.

– А теперь спокойно расскажи, что случилось, – попросил дедушка.

– Что случилось? А то, что Дырмит отрекся вчера от Бога, сложил с себя сан, побрился и подстригся, сбросил рясу...

– Да ты что?! – Дедушка даже привстал, вцепившись в пояс обеими руками.

– О Господи, что я слышу! – вырвалось и у тети. Она в отчаянье вонзила пальцы в свои щеки, словно собираясь разодрать их.

«Неужто он и крест снял? Тот, что так красиво висел у него на груди?» – подумал я, прижимаясь к ольхе с растрескавшейся корой.

– Как это произошло? Из-за чего? Кто надоумил его сделать это? – не мог успокоиться дедушка. – Хотя что я спрашиваю! Если судить по тем разговорам, которые он вел в последнее время, можно было бы и самому догадаться, что Дырмит выкинет что-нибудь в этаком роде!

Ни с кем не посоветовался, ни с нами, ни с людьми: как взбрело ему в голову, так и сделал, – сокрушенно отвечал Лад. – Я, говорит, бессилен против своего разуверившегося сердца. – Если, говорит, в сердце одно, а на языке другое, значит, ты лжец, обманщик, и люди должны презирать тебя, смеяться над тобой... Вот, значит, чем порадовал нас Дырмит.

– А где он сейчас? – спросил дедушка.

– Да тут, неподалеку, сидит у приятеля... А мы его вещи перевозим. Ему-то теперь, раз он бросил службу, нельзя больше жить в монастырском доме... Ну ничего, поживет у меня некоторое время, а там видно будет!

Эта новость, чувствовалось, совершенно выбила дедушку из колеи, он не знал, что сказать, за что взяться, то вскакивал со стула, словно порываясь куда-то бежать, то опять садился – растерянно и беспомощно.

– Дырмит человек почтенный и уважаемый, все считали, что его дела угодны Господу... Но как прикажете понимать то, что он сейчас натворил? Я – не понимаю, – признался наконец он.

Мужчины завели разговор, заспорили; тетя Мари слушает их, и на глаза у нее наворачиваются слезы, будто Дырмит помер, а не службу оставил... Мне же уже скучно, тоскливо, я подошел к ограде и стал разглядывать собор. При нем, я знал, есть женский монастырь, а среди его монахинь родственница дедушкиного брата по имени Мсыгуда. Она порой появлялась в нашем селе, приходила проведать сестру. Лишь только покажется в своем черном платье до самой земли, с головою, закутанной в черный платок, войдет, переваливаясь с боку на бок, в проулок, как мы, дети, тут же разлетаемся кто куда, но она остановит нас, подзовет к себе и то конфетою одарит, то куском сахара, а бывала, и игрушкою... И вот сейчас, прильнув к ограде, я во все глаза высматриваю ее среди монахинь, снующих по монастырскому двору, но то ли не вижу, то ли узнать не могу – так они похожи друг на друга, будто все на одно лицо.

Тем временем тетя Мари подошла ко мне, взяла за руку и повела к воротам. И едва мы вошли в них, как сразу же наткнулись на Мсыгуду.

Ребенка и утром и вечером знобит, никаких улучшений, вот и решили мы его в Мокву свозить, показать Дырмиту, пусть, мол, благословит его, а тут, видишь, какое дело! – пожаловалась тетя Мари.

– Да кто же мог знать, что он такое устроит! – как бы оправдываясь, сказала Мсыгуда и почему-то пристально посмотрела на меня.

– Но раз уж мы здесь, я хочу показать ему собор. Что у вас сегодня?

– Венчание, вот-вот начнется, идемте быстрее. – И монахиня переваливающейся походкой заспешила к собору.

Мы вошли внутрь. Тетя Мари беспрерывно крестится, жарко и трепетно пылают свечи, уже стоят на своих местах певчие; я, запрокинув голову, смотрю в высоту, под самый купол, откуда не мигая взирают на меня ангелы и херувимы... Не знаю отчего, но с меня, словно в сильный зной, в три ручья льет пот, от запаха благовоний ломит виски, но я стою, терплю и только все сильнее мну свою войлочную шапочку.

В церковь между тем ввели жениха и невесту, окруженных множеством людей, – наверное, их родственники и друзья. Священника, понятно, нет, и обряд совершал дьякон, – он, толстый и короткошеий,

огласил церковь неожиданно тонким и звонким голосом: «Господу Богу помолимся!» Хор тут же подхватил: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!»

Я крепко уцепился за тетю Мари, мне казалось: еще немного, и, если мы не выйдем наружу, я задохнусь, упаду тут, но тете Мари хотелось до конца досмотреть, как венчают молодых, а потом подвести меня к дьякону – может, он согласится окропить меня святою водой, чтоб я избавился наконец от своих болячек.

Вдруг люди, стоящие позади нас, зашевелились, забеспокоились, по церкви пронесся шепот: «Дасафия идет, мать Дасафия!» – и все принялись оглядываться и тесниться, расступаясь перед худой высокой старухой с иссохшим, изможденным лицом. Это была, как я узнал позже, игуменья моквского женского монастыря. Я оказался как раз на ее пути, – растерялся, замешкался, не успел шагнуть в сторону, слиться с толпой, и потому, верно, попался ей на глаза. Узрев меня, мать Дасафия остановилась, вскинула лорнет и сквозь него тщательно оглядела меня с ног до головы. Мой наряд сильно изумил ее – уж слишком я отличался в нем от всех богомольцев: черкеска с газырями, ноговицы, сыромятные чувяки, рука на кинжале у пояса...

– Ах ты, дьяволенок! – взвилась она, не переставая изумляться, и, выпрямившись, окинула взглядом притихших людей. – Кто это такие? Кто впустил их сюда, эту деревенщину?!

Венчание тем временем шло своим чередом.

– Это родственники отца Дмитрия, ребенка привели испросить благословения, – заикаясь, проговорила Мсыгуда и поправилась: – Бывшего отца Дмитрия...

– Как?! Родственники отрекшегося от Бога?! Этого еще не хватало! Мы прокляли богоотступника Дмитрия, посмевшего хулить Господа и святую церковь, изгнали его из нашей обители, предали анафеме самое его имя! Наверное, вся семейка в него... Что им нужно здесь? Какое им дело до Бога, что он для них?! Вон отсюда! – И Дасафия рукой указала нам на двери.

– Мы пришли не к тебе, преподобная, а к Богу, пришли за благословением, а не за проклятием! А ты в его доме как в своем собственном распоряжаешься! – гневно ответила игуменье тетя Мари, встав против нее. Затем, взяв меня за руку, она гордо вышла из церкви.

А люди со страхом смотрели нам вслед, будто мы совершили что-то ужасное.

Как только меня обдало ветерком, я мгновенно ожил и позабыл обо всем случившемся.

– Покажи мне окровавленную стену! – повис я на руке тети Мари.

Но той было не до меня, она так расстроилась, что ничего не слышала, ни на что не обращала внимания и молча тащила меня к воротам.

Выйдя из монастыря, мы вернулись к обрыву. Еще только, подходя к нему, мы увидели, что дедушка и Лад по-прежнему сидят под ольхою, а рядом с ними стоит какой-то рослый и статный мужчина со сложенной камчою в руке. Даже издалека можно было понять, что настроение у него великолепное, он улыбается, белея зубами, и, судя по всему, рассказывает что-то очень забавное.

Подойдя поближе, мы узнали Дырмита. Но выглядел он совсем не таким, каким мы привыкли его видеть: вместо мешковатой рясы на нем серая, туго облегающая стан черкеска, свежевыбритые щеки лоснятся, на шее вместо креста тоненький кожаный шнур, он тянется через всю грудь к кобуре, из которой торчит рукоятка револьвера.

Тетя Мари со всех ног кинулась к дяде, припала к нему, целовала, плакала, будто тот долгое время считался пропавшим без вести и вот, наконец, объявился.

А Дырмит стоит себе да посмеивается.

Дедушка же сердится: вертит головой, смотрит по сторонам, дергает себя за кончик уса, ерзает на стуле. А ведь сам даже и не попытался войти в церковь, посчитал: довольно и того, мол, что перекрестился на нее. И, наверное, никак не может поверить, что это Дырмит стоит перед ним – в обычной одежде, такой же, как у всех, да еще и при оружии. Дырмит, служитель божий!

– Ну что ж, прощайте, у вас и без меня сегодня достаточно дел, – коротко вздохнув, сказал он, взял со стула камчу и поднялся.

В это время к нам подбежал тот самый парень в больших сапогах, Ясон, в руках он держал чей-то портрет в пышной золоченой раме, пропылившийся насквозь, в клоках тенет.

– Вот, под домом в хламе валялся, – запыхавшись, сказал он и спросил Дырмита, показывая на портрет: – Куда его? На арбу, что ли?

– А-а, Николай Второй, поверженный во прах самодержец! Насилу и признал его, совсем уж забыл, – сказал Лад.

– Кажется, только вчера еще ни одна служба в церквах без его имени не начиналась, а сегодня уже и портрет не нужен стал... Истинно, мир – это лестница, одни по ней вверх, другие вниз... Так-то, уважае-

мые. – И с этими словами дедушка направился к тому месту, где стояли наши кони.

– Кидай его с обрыва! – Дырмит камчой ткнул в сторону реки.

Ясон послушно подошел к обрыву, встал на самый краешек, размахнулся и запустил портрет в реку. Кажется, и сейчас еще вижу, как он, поначалу крутясь и кувыркаясь в воздухе, а затем словно бы паря, снижается и вдруг, как подбитая птица, стремительно падает в бурлящую воду, тонет...

Мы возвращаемся – без разговоров, в молчании, думая о своем, – и только перестук копыт сопровождает нас всю дорогу. Я еду, покачиваясь, держась за дедушкину спину, мерный конский шаг убаюкивает меня, и тогда передо мной возникает великий мастер, в отчаянье застывший на вершине купола; потом его сменяет мать Дасафия, вновь вижу ее злые глаза, нацеленные на меня, и я вздрагиваю, стряхиваю с себя дремоту, крепче обхватываю дедушку.

Я полон впечатлений; как бы там ни было, а есть что рассказать друзьям, скорей бы до дома только добраться!

И вот наконец мы въезжаем в свои ворота, спешиваемся. Но странное дело – я бегу не к друзьям, а к Рассеченному камню, ноги сами, помимо моей воли, несут меня к нему, и оттуда гляжу на Моквский собор. Раньше я видел его только снаружи, да и то издалека, а теперь знаю, какой он и внутри.

* * *

Едва солнце пробилось сквозь щели в плетеной стене амхары и начало припекать мне щеку, я проснулся, сел, кулаками протер глаза. Сотни солнечных лучей, прямых и острых, словно мечи, насквозь, от стены до стены, пронзали комнату. «Ухватиться бы за них, подтянуться, повиснуть да покачаться, как на качелях!» – пришло мне в голову...

В амхаре было тихо – видно, мать с отцом давно уже встали и ушли в амацурту, оставив меня одного.

На табуретке возле кровати я обнаружил новенькие штаны и короткий архалук из сукна, а внизу сыромятные чувяки, которые при свете свечи сшил прошлой ночью отец. «Да ведь сегодня же праздник!» – вдруг вспомнил я, соскочил с кровати и начал лихорадочно одеваться. Я торопился, потому что боялся, что если сейчас же не выйду, то все наши уйдут и даже не вспомнят про меня. «Тук-тук-тук-тук!» – выбил

где-то за виноградником радостную дробь дятел, обещая прибавление дня. Совсем недавно зазвучала она по садам и лесам...

Я распахнул дверь и шагнул во двор. Куда идти и что делать, мне было известно, – еще в прошлом году, и даже в по запрошлом, я уже занимался этим, и сделал все так, как меня научили.

Перво-наперво я забежал в орешник, наломал молодых ветвей с пушистыми сережками и набухшими почками, потом, упираясь ногою в ствол, надрал со старой ольхи немного плюща, перевязал им ветки, разделив их поровну, и с двумя этими снопиками заявился в амацурту.

Вся наша семья уже собралась здесь: принаряженные, с улыбками на счастливых лицах, каждый спешит поздравить другого, никто никого не сердит и не сердится сам, а уж чтоб всерьез поругаться или побранить кого – об этом и речи не может быть, даже на собаку прикрикнуть и то грех. И день нынче под стать людям: легкий, праздничный, небо глубоко и ясно, воздух и чист, и свеж, и прозрачен, будто хорошо протертая рюмка.

Как только я зашел на веранду, сразу же увидел дедушку – стоит разодетый, словно на торжественный сход собрался, лишь кинжала на поясе нет, не положено в такой день быть при оружии, – а Гущка на нем черкеску застегивает.

– С праздником, дедушка! – радостно кинулся я к нему.

И тебя, мой родной, с праздником. Пусть и через тысячу лет люди радуются ему, как мы сегодня! – И он благословил меня и поцеловал в голову.

Я повесил первый из моих снопиков возле входной двери. Там уже был один, его принес мой отец, вставший ради этого раньше всех, – считалось, что ему во всем сопутствует счастье и поэтому он должен был первым встречать весну.

Цепляя на гвоздь свой снопик, я не забыл произнести положенного при этом заклинания:

Кто приходит к нам с добром,
Пусть заходит в этот дом.
Ну, а тот, кто зло несет,
Пусть запнется и уйдет!

Второй снопик я повесил у дверей дома и тоже сказал все, что нужно...

Когда я стремглав сбежал по ступенькам лестницы, то угодил прямо в объятья дяди Элизбара; он подхватил меня и принялся подкидывать вверх, приговаривая:

– Поздравляю тебя с приходом весны, вырастай вот таким, до самого неба!

Еле вырвался от него.

В другое бы время я визжал от удовольствия, надумай дядя Элизбар поиграть со мною, но сейчас мне нужно было как можно скорее вернуться в амацурту, к дедушке. Однако все, кому я попадался по дороге, норовили задержать меня. Как нарочно. Они обнимали, целовали меня, тискали, и только мать легонько чмокнула в лоб, да и то потому, что руки у нее были заняты. Мать с рассвета возится с тестом, лепит хлебцы, без которых сегодня никак не обойтись, и рядами складывает их на стол. Ни один из них непохож на другой, все разные: и плоские, и выпуклые, и продолговатые, и изогнутые, одни поменьше, другие покрупнее... Вскоре, когда необходимое количество хлебцев было готово, она покидала их в кипящую воду.

Пока хлебцы варились, мать взяла освободившийся столик, отнесла его к порогу и перегородила им проход, потом, вместе с Гущкой, расставила на нем угощение. Тут было и блюдо вареного риса, и крутые яйца, и холодная курятина, и подлива из грецких орехов, но больше всего сыра – во всех видах и всех сортов: сыр острый, с пряными травами, сыр пресный, свежий, сыр сушеный и сыр копченый, сыр как начинка в пироге и сыр как приправа к мамалыге и к чурекам. Меня, однако, больше всего прельщали фрукты, – сейчас весна, раздобыть их было нелегко, а на столике их просто изобилие: груши, гранаты, яблоки, виноград, источающая аромат айва. Где-то и тыква должна непременно быть... Я знал: когда все обряды будут соблюдены и исполнены, все, что стоит на столике, будет поделено между нами, немало и мне перепадет, но все же я не прочь и сейчас стянуть что-нибудь вкусненькое...

Но вот хлебцы сварены, и мать снова выложила их на стол. Затем принесла большую деревянную чашу и в строгой определенности разместила в ней хлебцы; подойдя к порогу, она передала чашу дедушке, и тот принял ее, исходящую паром, поставил на ладонь, пошел, не оглядываясь, прочь. Следом за ним тронулись и мы – отец, дядя Элизбар и я, – только мужчины, потому что исправление этого обряда дело не женское.

Прежде всего дедушка пошел к нашей животине, сбившейся перед хлевом; завидев нас, скот заволновался, нетерпеливо замычал, заблеял, ожидая, верно, что ему несут соль – извечное его лакомство.

Встав лицом на восход, дедушка заглянул в чашу, выудил из нее круглый хлебец и, подняв над собой, подставив солнцу, нараспев, постепенно повышая голос, начал молитву:

О Айтар, семь жизней вместивший в одну,
О Айтар, тебе мы вверяем стада,
Присмотри ты за нашей скотиной!
Присмотри, чтобы были здоровы
Наши козы, быки и коровы;
Чтобы в чаще лесной
Обходил бы их зверь стороной;
Чтобы козы козились,
А коровы телились,
Чтобы те и другие исправно доились;
Чтобы вволю бы ели,
Чтобы телом тучнели,
Никогда не болели;
Чтоб двойной каждый год
Приносили приплод,
Чтоб в потомстве их не было квелых,
Ни хромых, ни комолых...

Голос у дедушки дрожал, срывался, он так говорил, будто и впрямь видел перед собой бога Айтара. Даже животные притихли, замерли, точно вслушиваясь в слова его молитвы. А наша серая корова с белым пятном на лбу, наша любимица, которую все почитали за то, что удоиста, встала напротив старика и своими добрыми влажными глазами внимательно смотрела ему в лицо; только ее теленок никак не мог угомониться, лез под нее, расталкивая других, тянулся к вымени.

Я знал, как выглядит Айтар, хотя никогда не видел, – днем его вообще увидеть невозможно, даже если окажешься рядом с ним, – он маленький и круглый, не больше клубка. Каждую ночь он является в стадо и катается по коровьим спинам, затем усядется какой-нибудь на голову и ну ей почесывать между рогов, а корове это нравится, и она от удовольствия начинает мычать. А ее хозяин, если хочет, чтобы его

скот плодился и множился (а кто ж этого не хочет!), должен, заслышав мычание, подбодрить Айтара и сказать такие слова:

Давай-давай, скотий бог,
Давай-давай, клубок-колобок!

Опустив хлебец обратно в чашу, дедушка оставил скот и направился к огороду. У калитки он остановился, вынул другой, напоминающий женскую головку – круглое лицо, широкие брови, – протянул руку с ним к огороду. Теперь он обращался к Джадже, богине плодородия:

О богиня Джаджа, ты всесильна,
Сохрани и умножь нам посевы!
Пусть где семя падет – колос встанет,
Пусть растет до небес и не вянет;
Сделай так, чтобы ветра хватало
Лишь качать кукурузу устало;
Чтобы солнце не жгло, не палило,
Чтобы ливнем посевы не смыло,
Чтобы птицы вились над амбаром,
Чтобы жернов крутился недаром...

Дедушка говорит, а я, как наяву, вижу богиню Джаджу – вот она идет мне навстречу по цветущему кукурузному полю, невысокая, плотная, с мощными плечами пахаря, и трава, по которой ступают ее ноги, не приминается под ней, а кукурузные листья, словно боясь поранить или просто задеть богиню, опускаются, сворачиваются, услужливо пропуская ее. Воздух напоен ароматом зреющей кукурузы, легкий ветерок покачивает пышные метелки, разносит пыльцу, осыпает ею богиню...

Голос дедушки вывел меня из забытья:

– О Алыщкинтыр, охрани нас от бед и недобрых людей...

Хлебец, который он держал сейчас в руке, похож на голову собаки, – значит, дедушка теперь молился их покровителю и заступнику. Но я не мог отчетливо представить его себе, не знал, каков он из себя, и потому слова этой молитвы не запомнились...

Возвратив хлебец, посвященный Алыщкинтыру, обратно в чашу, дедушка некоторое время продолжал недвижно стоять на месте, и мне

было невдомек – то ли это просто от усталости, то ли сам обряд требует подобной задержки.

Помедлив еще немного, дедушка вытащил из чаши полукруглый, скобою выгнутый хлебец, изображающий молодой месяц, на ладони поднял его к синему небу. При этом он так высоко задрал голову, что мне совершенно не было видно его губ, я видел только, как подрагивал кончик его бороды:

О Луна, о светильник ночной, о лампада,
Ты бредущим во тьме поводырь и отрада!
Да не будет вовек обделен твоим светом
Ни один из людей – только грешник отпетый,
Тот, кто зло совершает под пологом ночи, –
О Луна, ослепи им бесстыжие очи!
А для добрых пролей золотое сиянье,
Светом душу согрей и умножь достоянье...

Вокруг ясное, солнечное утро, а у меня перед глазами – роскошная лунная ночь, но такая светлая, что хоть рассыпанные иголки собирай! Мне виделось темное небо над нашим домом, густо засеянное яркими звездами, юный месяц, тонкий и острый, как серп, я слышал, как журчит вода в ручье, опадает роса...

Мычание нашей белолобой коровы вернуло меня из ночи в день.

А дедушка поднимал уже следующий хлебец, он тянул руку с ним прямо к солнцу, запутавшемуся в кронах деревьев, еще голых и оттого прозрачных, – к солнцу, с которого стекала алая утренняя заря. «Солнечный» хлебец так же кругл, как и тот, что посвящен Айтару, но по краям у него сделаны маленькие защепы, – они, должно быть, обозначали места, из которых исходят солнечные лучи.

О наше негасимое светило,
Благослови родившихся на свет
И одари своею щедрой силой!
Тобою мир обласкан и согрет,
Ты жизнь даешь, даешь тепло и свет,
О наше негасимое светило...

Слова, которые произносил дедушка, ласкали мой слух, нежили его, и мне чудилось, что и солнце начинало с большей охотой и усердием

пригревать землю, – бархатно лоснилась дробившаяся травка, глаз не отвести от распускающихся фиалок... Хвалу за хвалой возносил дедушка «негасимому светилу», их было столько, что я успел запомнить лишь несколько; к тому же многие слова еще недоступны моему пониманию. В одном только невозможно было ошибиться: солнце любят все.

– О водяница, богиня воды! – между тем воскликнул дедушка и взял новый хлебец. Он тоже, как и для Джаджи, вылеплен в виде женской головки, только потоньше и не такой круглой.

Я знаю, кто такая эта водяница, это Дзызлан, владычица вод. Глубоко-глубоко, на самом дне, стоит ее хрустальный дворец, русалки да утопленницы прислуживают ей. Тело Дзызлан никогда не знало одежды, да она и не нужна ей – волосы у владычицы вод так густы и длинны, что в них можно заворачиваться, как в бурку. А как прекрасна она! Глаза синее горных озер, кожа белей и нежней свежего сыра, стан стройный и крепкий... Только ноги у нее пятками вперед, и потому тот, кто возымеет желание повалить Дзызлан, должен нападать на нее спереди – сзади ее не одолеть. Она любит прогуливаться по воде, и смех ее, напоминающий лошадиное ржание, далеко-далеко разносится по берегу...

– Лаган, где ты витаешь? Иди ко мне скорее, бери! – раздался вдруг голос дедушки; он стоял, протягивая мне хлебец, посвященный Дзызлан.

Я был как человек, которого подняли среди ночи, и поначалу ничего не мог сообразить, но потом очнулся, пришел в себя, выхватил у дедушки хлебец и со всех ног кинулся к нашему источнику. Спустился вниз, как со ступеньки на ступеньку прыгая по обнаженным корням старых ольх, и так разогнался, что едва успел затормозить перед самой водой, и в ней на миг отразилось мое лицо. Я бросил хлебец в воду; булькнув, он пошел на дно, а я торопливо произнес заклинание:

О водяница, богиня воды,
Нашей прими и попробуй еды.
Если пойдет угощение впрок –
Пусть не скудеет водою поток.
Только смотри, чтоб во веки веков
Не покидал он своих берегов:
Да не случится узнать нам беды
Ни от большой, ни от малой воды!

«Наверное, хлебец уже у нее в руках», – пронеслось у меня в голове, и я, не оглядываясь, что есть духу помчался наверх, – оглядываться нельзя: если я оглянусь, Дзызлан тут же выскочит из воды и утянет меня к себе. Карабкаюсь, цепляюсь за корни, а сам жду: вот сейчас она выпрыгнет из воды, вот сейчас схватит за шиворот своей мокрой и холодной рукой! – и по спине у меня между лопаток бегут мурашки...

Только во дворе я почувствовал себя в безопасности.

Отец, дедушка и дядя Элизбар стояли на том же месте, где я оставил их, дожидались моего возвращения. Боясь чем-нибудь выдать свой страх, я бодрой походкой подошел к ним и встал рядом с таким видом, будто совершил невесть какой геройский поступок. Дедушкино лицо светилось благостною улыбкой, он был спокоен и умиротворен, – иных чувств, видимо, и не мог испытывать человек, только что молившийся так горячо и искренне.

И вот, во главе с ним, мы направились к амацурте...

Как и в прошлом году, мать встретила нас на пороге, она приняла у дедушки чашу с уже остывшими хлебцами, вручила глиняный кувшин дяде Элизбару, и мы в прежнем порядке отправились в погреб, где хранилось вино, – там, в самом дальнем углу, зарыты две огромных амфоры; одна из них будет сегодня распечатана.

Мы спустились в погреб, мимо винных бочек прошли в тот угол. Здесь довольно темно, и в руке у дедушки загорелась тоненькая свечка. Дядя Элизбар как самый младший (я пока в этом деле не в счет) мотыгой разгреб землю, обнажив горло одной из амфор, снял деревянную крышку, – под ней оказалось, прослойка из листьев инжира, и дядя Элизбар осторожно отодвинул ее в сторону, потом тщательно протер горловину полотенцем. А дедушка уже держал наготове новый ковш на длинной ручке, припасенный именно для этого дня.

– О святыня Илорская, подай нам свое благословение... – начал он молитву, обращаясь к иконе Илорской Божьей матери, издавна считающейся покровительницей нашего народа – ей, кстати, и было посвящено вино в этой амфоре, – а сыновья дружно вторили ему.

Не прерывая молитвы, дедушка опустил в амфору ковш, зачерпнул вина и медленно слил его обратно, – слышно было, как лилась, журчала тонкая струйка, гулко и звонко падая в глиняный сосуд, – и весь погреб заполнился винным благоуханьем... Зачерпнув и слив еще раза два, он вынул ковш, боясь расплескать хоть каплю, поднес к губам, сделал глоток.

– Оно самое, – произнес он довольно и дал по очереди попробовать своим сыновьям.

Не забыли и про меня, я тоже коснулся, будто целуя, края влажного ковша...

И в самом деле, не знаю почему, но в этой амфоре, посвященной Илорской Богоматери, вино всегда получалось отменным. Может быть, потому, что дедушка отбирал для нее самые спелые, самые сочные грозди.

Мы возвратились в амацурту; трепетно горела свеча в руке у дедушки, на плече у дяди Элизбара полный кувшин вина. Вошли на веранду, по очереди переступили порог; сразу же за ним стоял столик, на котором была и еда, и фрукты – все, кроме мяса, потому что нельзя проливать кровь, когда молятся Айтару, богу – покровителю домашнего скота... Здесь же, на столике, рдели в чугунной сковородке угли, пылали тонкие свечи, – дедушка присоединил к ним свою, и мы все, и мужчины, и женщины, вереницей подошли к столику, бросили на угли кусочки воска. В эти мгновенья каждый хранил полное молчание: ведь это тризна, поминовение мертвых, и все, что выставлено на столике, предназначено им, а в дыму от воска, поднимающегося вверх, прячутся их души.

И на некоторое время дом погрузился в безмолвие.

IV

Как я уже говорил, у каждого из нас было за столом свое место, и мать учитывала это, когда раскладывала по мискам мамалыгу: ведь того, что хватило бы мне или Мачич, оказалось бы мало отцу или дяде Элизбару...

Поев, никто не спешил встать из-за стола, все оставались на месте и сидели, словно вслушиваясь в тишину. Первым нарушал молчание дедушка. Если ему довелось побывать сегодня на сходе, то начинал с новостей, услышанных там, но чаще он произносил традиционный зачин: «Между тем, как я шел от сказки до сказки...» – и рассказывал «Аршин атласа» – самую любимую мою сказку, которую я мог слушать сколько угодно и всегда находил в ней что-то новое.

А порою дедушка принимался отчитывать сыновей, моего отца и дядю Элизбара, и те, взрослые люди, сидели опустив головы, как на-

проказившие мальчишки, – ни разу я не видел, чтобы они пререкались с отцом или хотя бы огрызнулись.

Но, наверное, я не все замечал, ибо однажды вечером, неожиданно для меня, случилось небывалое: сыновья поссорились с отцом.

Такое бывает и в природе: ясный погожий день вдруг словно оступится, захромает – помрачнеет его чело, надвинутся грозные тучи, загремит гром и сверкнут молнии, стеной обрушится ливень, а налетевший вихрь обдерет с деревьев листву...

В тот день, о котором я только что обмолвился, дедушка вернулся со схода поздно, уже на закате, спешился, расседлал Гуадаха, вошел в амацурту, сел на свое обычное место у очага и только начал устраиваться поудобнее, как явились оба его сына. Один прислонился к стене, другой остался в дверях. Даже мне стало ясно, что они до крайности чем-то растревожены.

– Ну что, вы и завтра собираетесь делить землю? – сдвинув брови и не глядя на дедушку, спросил отец.

– Само собой. А почему ты об этом спрашиваешь? – забеспокоился тот, удивленный поведением сына.

– Заклинаем тебя всем святым, хотя бы ради нашей семьи брось это дело, не ходи на завтрашний сход! – выпалил отец.

– Это почему же я не должен на него идти? Может, прикажешь и из земельной комиссии выйти? – подбоченясь, спросил старик.

– Из-за тебя нам теперь и кусок в горло не лезет! Дождемся, что ни сегодня завтра к нам в дом абреки нагрянут! – вмешался дядя Элизбар, воздевая руки к небу.

– Кто же это вас так запугал, а? – спросил дедушка.

– Да, конечно, всем плохо без земли, все без нее мучаются, всем она нужна, но вы же никак поделить ее не можете, всегда кто-то недоволен! Вы так всех между собой перессорите, а заодно и против нас настроите! И так уже кое-кто не здоровается, – более сдержанно заговорил отец. Он взял табуретку, сел в самый дальний и темный угол, чтобы не так кидалось в глаза, как он взволнован, и, тяжело глядя под ноги, продолжил: – Земля, которую вы завтра собираетесь делить, принадлежит князьям Чачба. Мы были уверены, что никто не остался здесь, все ушли за кордон, но вот совсем недавно узнали, что один из них, Омар, объявился в Батуме. И говорят, скоро вернется и займет свое поместье...

– Как реке не потечь вспять, так и Омару не вернуть своей земли, ясно?! – вспылил дедушка.

Отец выдвинулся из угла на середину амацурты, чтобы все слышали его слова:

– Ладно, оставим Омара. Но разве он один? Если мы начнем перечислять всю родню Чачба, у нас пальцев на руках не хватит! Пусть половина из них ушла, но другая-то половина осталась! И они будут мстить нам, ведь они все сейчас подались в лес, стали абреками, настоящими бандитами, даром что благородные...

– Так что ж тогда у нас с ними общего? Размозжить им головы, да и все! – От негодования дедушка даже посохом застучал по полу.

– Если бы ничего общего не было, не было бы и разговора, – подал голос дядя Элизбар.

– А все-таки? – переспросил дедушка и вытянул шею, оглядывая своих сыновей.

На некоторое время все притихли.

Потом отец сказал:

– Послушай-ка, что передал нам вчера Бида. «Пусть, говорит, Бежан даже и не заикается о княжеской земле! А заикнется – ему же хуже будет: и дом спалят, и семью перебьют!» А Биде эти слова сказали абреки, кто именно – он не знает, не узнал никого, у них у всех лица были в башлыки закутаны.

– Вот как? – поднялся дедушка, опираясь на посох.

– Ну ничего, ничего, ты ходи себе на сходы, а мы будем с абреками воевать! – кольнул его дядя Элизбар.

– Вот как?! – повторил дедушка хриплым голосом и заозирался, словно искал кого-то глазами.

Услышав, что на нас собираются напасть абреки, мать не выдержала и застонала, а девочки заревели в голос. И меня поначалу оторопь взяла, но я опомнился, вскочил и прильнул к дедушке.

– Так чего ж вы тогда стоите как мужчины, если боитесь, что на вас нападут?! – закричал дедушка, потрясая над собой посохом. – Где ваше оружие? Или вы мотыгами собираетесь встречать разбойников? И неужели вам, двум мужчинам, не отстоять одного жилища?!

– Не доводи нас до греха, отец, ведь мы крестьяне, пойми это, не наше дело делить княжеские владения, оставь свою земельную комиссию, – попросил отец.

– Ни в коем случае! И раньше бы не оставил, а теперь и подавно! Я не сам напрашивался, меня люди выбрали, доверили мне это дело! И я

буду его делать, до конца доведу, чего бы это ни стоило! И ту пашню с кривым орехом, надеюсь, получу!

– Нам своей земли хватает, зачем нам лишние хлопоты? Все равно, даже если нам подарят ее, ни я, ни брат не пойдем туда с сохою, – сказал дядя Элизбар, почти вплотную приблизившись к дедушке.

– Вон отсюда! – зарычал тот и замахнулся на сына посохом.

Ни слова не говоря, дядя Элизбар вышел, тихо притворив за собой дверь. Чуть погодя поднялся и отец.

Дедушка как-то сразу сник, опустился на скамью, уперся в посох плечом и трясущимися руками принялся набивать трубку. Когда она была набита, я подал ему огонь. Дедушка затянулся, выпустил плотный сизый дым, и он потек, путаясь в бороде.

– Что, драгоценный мой внук, напугал я тебя, наверное? И-эх, пусть станут моими все твои беды! – И он обнял меня за плечи, прижал к себе.

Голос его показался мне слабым, обиженным, глаза влажными, а сам он таким беспомощным и беззащитным, что я в порыве жалости и сострадания обвил его шею руками.

– Сядь-ка вот здесь, – сказал дедушка. Он пододвинул мне низенькую скамеечку, усадил у ног.

Мать и сестры стояли поодаль, не смея дохнуть, и в напряженной, гнетущей тишине слышалось только, как шипит в котле, с каким-то лопающимся звуком испуская пар, уже готовая мамалыга.

Дедушка помолчал немного, подождал, пока успокоится, и заговорил:

– Если я не выполню дела, которое мне поручили, откажусь, я буду подобен тому, кто бежал с поля боя, бросив своих товарищей. Нет, мой милый, не могу я не пойти на завтрашний сход, люди соберутся, будут ждать, надеяться... Разве можно обмануть их? Как же потом в глаза им глядеть? Нет, я пойду туда, но пойду не один, я возьму с собой внука... Вы слышите меня? Невестка, дорогая, приготовь для него к утру все, что полагается: папаху, черкеску... Люди, томящиеся по земле со дня сотворения мира, завтра получат ее, и пусть свидетелем их радости будет это дитя, пусть он с малых лет узнает, что такое земля и во что она ценится, пусть научится любить ее... Пойдешь со мною, Лаган? Это здесь неподалеку, у Рассеченного камня. Ну?

– Пойду, пойду! – вскочил я и вновь кинулся ему на шею.

«Лучше моего дедушки никого нет на свете!» – одна эта мысль грела меня сейчас.

– Да снимите же кто-нибудь мамалыгу! – крикнул тот.

* * *

Утро выдалось такое туманное, что и в двух шагах от себя ничего нельзя было разглядеть, накрапывал дождик, потом налетел ветер, он разогнал туман, кое-где между тучами обозначились голубые просветы, но скоро их опять заволокло, затянуло низкими облаками.

Мелкой, шаркающей походкой дедушка шел впереди меня, тыча посохом в землю, и разговаривал с Хазаратом, нашим соседом, высоким и плотным человеком. Он, как и дедушка, тоже был член земельной комиссии и тоже направлялся на сход.

– Это ты славно придумал собраться у Рассеченного камня, – говорил Хазарат, то и дело покашливая в кулак. Горло, наверное, где-нибудь застудил.

– Ты хочешь сказать, что сегодняшний день тоже войдет в историю? – улыбаясь, спросил дедушка после некоторой паузы; мы ведь уже поднимались в гору, а он такой подъем не мог осилить за раз, ему нужно было время от времени переводить дух.

– Может быть, может быть... Но самое главное, что нам с этого холма все наделы будут видны как на ладони. Размеры; их мы знаем, а если где межу потребуется провести, то вон буйволы запряженные стоят, я отсюда вижу...

– Мне кажется, сегодняшний сход будет удачным, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. А ты как думаешь? – опять остановился передохнуть дедушка и оперся на посох.

– Что гадать, удачный или неудачный... Крика в любом случае будет достаточно.

– Почему ты так уверен в этом?

– Бывший управляющий князей Чачба явился, Арчил, вон его вороной пасется!

– Чтоб он сдох, дурноглазый! А говорили, что вроде бы в тюрьму посадили...

– Посадить-то посадили, да скоро выпустили. Родня помогла, поручилась за него... Это он слух распустил, что Омар вернулся...

Когда мы взошли на холм, под липой уже было полно народу, кто сидел, кто стоял, люди были возбуждены, шумно спорили, стараясь перекричать друг друга. Один голос выделялся особенно: «Пусть ремень на мне лопнет, а я не отстану! Сказал, не отстану, значит, не отстану!» Заметив Хазарата и дедушку, все разом встали в знак приветствия, усадили их в центре собрания. Я примостился за дедушкиной спиной.

Поодаль в одиночестве сидела женщина в трауре; опустив голову, безжизненно срывала травинки, рядом с нею стоял парнишка, года на три постарше меня. Увидев в его руке большой кожаный мяч, я начал потихоньку приближаться к нему, мне хотелось, чтобы мы поиграли вместе, пока взрослые заняты своими делами, но парнишка, хоть и глянул на меня, с места не сдвинулся, стоял, подкидывая свой мяч. Я остановился возле него, жду, а он никакого внимания на меня не обращает, будто и нет меня вовсе, подкидывает да подкидывает свой мяч – то ли дразнит, то ли хвастается: а у тебя, мол, такого нет! Я не вытерпел, выбил мяч у него из рук, чтобы не задавался, и он покатился с холма. Мы оба кинулись за ним, но хозяину удалось первым нагнать свой мяч, и он, взяв его под мышку, угрожающе стал надвигаться на меня. Тут я заметил, что парнишка-то чуть ли не на голову выше меня. Но отступать было поздно да и некуда – сам заварил эту кашу, – и я принял его вызов...

Разнял нас какой-то мужчина, он поставил нас на землю, сказал строго:

– Что ж вы, уважаемые, в такой день деретесь? Люди землю делят, а вы мяч меж собой поделить не можете. Стыдно!

Вдобавок и мать парнишки, та женщина в трауре, напустилась на меня:

– Зачем ты пристаешь к нему? Он и так еле на ногах стоит, совсем лихорадка замучила!

«У меня тоже лихорадка, и она меня тоже замучила, и утром и вечером бьет!» – вертелось у меня на языке, но я, однако, не посмел возразить и молча проглотил обиду.

Падая, я сильно зашиб ногу, но показывать этого мне не хотелось, и я, стараясь не хромать, вернулся и встал как ни в чем не бывало подле дедушки. А тот даже и не заметил моей отлучки – так захватил его разгоравшийся спор.

Мужчина с лихо закрученными усами бил по земле палкой, точно выколачивал тюфяк, и кричал:

– Я памятью своего отца Алкерыма поклялся, что не вернусь домой, пока не получу это поле с кривым орехом!

– Тебе уже дали землю! – перебивали его. – Хватит!

– Да ведь у меня семь сыновей! И все они рано или поздно захотят жить отдельно!

– Дай бог сначала дожить до этого...

– Что мы его слушаем?! Только время попусту теряем!

– Эй вы, утихомирьтесь! – громовым голосом перекрыл гул председатель земельной комиссии, могучий мужчина в черной, отливающей глянцем папахе. – Тебе дважды было сказано, дорогой Чагу, о решении комиссии, так что же ты споришь, глотку понапрасну дерешь? Вон сидит женщина, которая недавно потеряла мужа, у нее на руках осталась куча детей, мал мала меньше, и поле с кривым орехом мы передаем ей, оно поблизости от ее дома, ей сподручней будет управляться с ним!

– Спасибо тебе, дорогой, – поклонилась вдова, – но лучше бы ты эту землю записал на моего старшего, Ладико, а то я себя совсем худо чувствую, боюсь, не протяну долго, и тогда снова придется спорить из-за нее!

– На кого бы ни записали эту землю, с этого дня она ваша, и никто не отнимет ее у тебя, будь спокойна! – утешил вдову наш писарь Тамел.

Я знал его, он иногда захаживал к нам. Тамел одевался по-городскому и всегда наготове держал свой карандаш. Вот и сейчас он что-то записывал им, положив на колено листок бумаги.

– А я не отстану, не отступлюсь от этого поля, говорю вам! – по-прежнему буйствовал Чагу и бил землю палкой, словно на ней вымещая свое зло.

– Да что с тобой случилось, Чагу, что ты старшего не можешь уважить, младшему уступить, сирот пожалеть?! – вскочил дедушка и в сердцах вогнал посох в землю.

– Да ведь я к тому полю душой прикипел, понимаешь ли ты это, дорогой Бежан? Душой! Оно мне по ночам снится! – рыдающим голосом проговорил Чагу и, наконец, сломал свою палку.

В это время из толпы выбрался человек в одном архалуке, остановился перед земельной комиссией. Голова его была обрита, густая черная борода начиналась от ушей и закрывала всю нижнюю половину лица, спускалась на шею; в руках он держал сложенную вдвое камчу. Это был Арчил, бывший управляющий князя Омара.

– Я слышал, посадили его, сослали, а он опять на свободе разгуливает. Нет, видно, на таких управы, – вздохнул какой-то крестьянин в заношенной шапчонке, стоявший позади нас.

– Никто из нас ничего плохого не может сказать об Арчиле, не переносите с князей на него свои обиды, лучше послушаем, что он скажет, – заступился мужчина, закутанный в бурку, за бывшего управляющего.

– Не тебе защищать Арчила, сам такой же, чего лезешь?! – закричал на него Чагу.

– Я, уважаемые члены комиссии, – спокойно, с достоинством заговорил Арчил, едва перебранка стихла, – такой же человек, как и вы, сам вышел из крестьянского сословия. Так что и у меня кое-какие права есть... Когда его сиятельство князь Омар жил еще здесь, в своем доме, я, как вы знаете, состоял у него в управляющих, и его сиятельство за мою честную и беспорочную службу изволил наградить меня двадцатью десятинами земли, они и отсюда видны, это там, у болота, и делить их между собою – значит поступать беззаконно!

– Если он возьмет себе эти двадцать десятин, что же нам-то тогда останется? – возмутился какой-то старик с цалдой под мышкой.

– Видать, сам захотел князем стать! – поддакнул тот, в заношенной шапчонке.

– Даже приговоренному к смерти дают слово, так что дослушайте меня, не перебивайте, – попросил Арчил и взмахнул какой-то бумагой. – Вот подтверждение моих слов, если не верите. Это дарственная, собственноручно составленная князем Омаром...

– Дарственная, говоришь? Ну-ну...

– Да-да, именно дарственная, слушайте... «Я, потомок древнего славного рода князей Чачба и сам князь Омар сын Бейгуа, учитывая преданность, честность и усердие в исполнении должности, передаю в дар своему управляющему имением Мсатия Арчилу Сакутовичу из данных мне по наследству в вечное пользование земель двадцать десятин...» Тут и его роспись, и его печать, вот. Стало быть, эта земля моя и должна остаться моей!

– Это еще что за бредни? – озираясь по сторонам, недоуменно проговорил Миха, по прозвищу Доброволец.

Крестьяне расшумелись пуще прежнего.

– Нас только одно может рассудить – дыркет. Прошу его огласить! – предложил Хазарат.

«Дыркет! Дыркет!» – взметнулись, как языки пламени, одобрительные выкрики. Глядя так, точно вот-вот набросятся, крестьяне стали подступать, надвигаться, тесным кольцом окружая членов земельной комиссии. Я перепугался, сердце мое дрогнуло, и я прижался к дедушке. А он, еще больше пугая меня, крутился на месте, размахивал посохом, словно отбиваясь от наседавшей толпы, и тонким голосом кричал:

– Погодите, не надо, давайте прежде покончим с разделом!

– Дыркет! Дыркет! – не угасали крики.

– Тамел! Где ты? Читай!

Писарь, выбравшись из людской гущи, подошел к Рассеченному камню – там было посвободней, народ, в основном держался около липы, под которой заседала земельная комиссия, – вскарабкался на ту его половину, что лежала ничком, и приготовился читать. Дожидаясь, пока страсти улягутся, он нетерпеливо отбрасывал назад свои длинные волосы...

«Что же такое этот дыркет? – со смешанным чувством любопытства и страха размышлял я. – Почему его все просят? Может, он похож на камень, который запустил Абрскил в небесное воинство? А может, это какая-нибудь хищная птица? Сейчас она летит где-то по небу, но скоро опустится к нам на холм, и тогда...» Однако что будет «тогда», я как ни напрягал свой детский ум, представить себе не мог. Да и вообще ничего определенного не приходило мне в голову, ничто не связывалось с этим странным словом «дыркет».

А Тамел между тем уже развернул бумагу и начал читать, пересказывая своими словами одни места и растолковывая другие. То, что читал писарь, вносило покой и мир в измученные крестьянские души, и сколько раз после этого дня, стоило завести речь или об Арчиле, или о самом сходе у Рассеченного камня, повторяли люди услышанные здесь слова! Потому, наверное, и остались, отпечатались они в моей памяти.

– «Земля всенародное достояние, ее нельзя ни продать, ни купить, пришел конец платы за наделы. Кто в силах, каждый имеет право ее возделывать. Необходимо незамедлительно изъять земли у попов и помещиков...» – Тамел закончил читать, но остался на камне.

– Ну, почтенные, слышали, что говорит дыркет? То же самое сказал нам Нестор Лакоба в Мокве, на сходе абжуйцев. Первым делом, сказал он, нужно наделить землею бедняков! Эти его слова я до смерти не забуду! – высказался Миха-доброволец.

Он, хромой на одну ногу, сейчас даже пританцовывал от радости, будто не чувствовал никакой боли.

– И еще на этом сходе Лакоба сказал: «Руки крестьянина согревают землю», – добавил Хазарат и нагнулся, тронул ладонью землю, как бы желая убедиться, что она и впрямь теплая.

Народ застыл, потрясенный услышанным, никто слова не вымолвит, не шелохнется, только бывший управляющий князя Арчил отошел в сторонку и нервно, резко гладил себя по бритой голове, точно мух отгонял.

В толпе тем временем грудью прокладывал себе дорогу высокий жилистый человек с длинным кривым носом; на нем был надет короткий суконный архалук, во множестве мест заштопанный простыми нитками. Это был пастух Бачыр, живший на краю села и державший с полдесятка коз. Кроме них, у него ничего не было.

Тамел, дорогой, ответь на вопрос... Если у Чачба отняты земли, если они больше не принадлежат им, то имеет ли право бывший управляющий брать плату за их наем? – спросил Бачыр, окинув людей беглым взглядом.

– Ты что, оглох, что ли? Не слышал, о чем в дыркете говорится?! – возмутились все.

– То – в дыркете, а на деле... Вон, взгляните на него, на этого управляющего! Ишь какой тихий да смирный стоит, ненасытная его утроба! Заставил меня платить за надел, как при Чачба! С темным мужиком, мол, как угодно можно обойтись, мужик, мол, все снесет, все стерпит! Вот он как рассуждал про нашего брата до сего часа, но теперь – все, теперь все его хитрости вышли наружу!

И опять загудели люди. А Бачыр, пока крестьяне переваривали да обсуждали его сообщение, вихрем налетел на ничего не подозревающего Арчила, вырвал у него из рук камчу и хотел было скрыться в толпе, да передумал и кинулся туда, где был привязан вороной управляющего, мигом отвязал его, вскочил в седло и, хлеща камчой по конским бокам, ринулся с холма в долину.

– А-а-а! – дико завыл бывший управляющий: – Ну, погоди, голодранец!

И он, выхватив из ножен кинжал, метнул его вдогонку быстро удаляющемуся всаднику.

Мне кажется, я и сейчас вижу, как, блистая на солнце отточенным лезвием, длинный кинжал впивается в бедро одному из буйволов –

пара их, запряженная в плуг, стояла неподалеку, – буйвол взрезывает, рвет постромки, вскачь несется по холму, подкидывая задом и шарахаясь из стороны в сторону, а кинжал, подрагивая и раскачиваясь, торчит в его бедре.

Народ засуетился, одни навалились на Арчила, держат его, он вырывается, выкручивается всем телом, другие ловят обезумевшего от боли буйвола. А внизу, в долине, столбом поднимая за собою пыль, уносится вдаль на чужом коне пастух Бачыр...

Возвращаясь домой, дедушка недовольно ворчит: так все хорошо шло, и вот на тебе – самая настоящая свалка!

– О земля, о родимая, как добра ты и как богата! Но когда ж мы, взлелеянные тобой, угомонимся, когда насытимся? – Он останавливается и тяжко вздыхает.

А у меня перед глазами все еще стоит окровавленный буйвол, в ушах, не стихая, гремят распаленные крики: «Дыркет! Дыркет!» Я уже уразумел, что «дыркетом» называется что-то хорошее, но что именно – понять еще не могу.

Лишь много позже я догадался, что обозначало это слово. Декрет. Декрет о земле, один из первых законов Советской власти, проект которого был составлен Владимиром Ильичем Лениным. А в «дыркет» его переиначили наши крестьяне, на свой лад произнося незнакомое им слово.

V

Мы и так не томились от безделья, но осенью забот, и забот особенных, прибавлялось. А уж если погода портилась, то к заботам присоединялась и тревога.

Как-то в один из годов, уже в самом конце уборочных работ, неожиданно нагрянули холода. «Ну все, пропали мы, весь урожай погибнет!» – горевали отец с братом, жалея виноград, оставшийся неубранным из-за преждевременных дождей. А они, безучастные к людскому горю, лили и лили.

Но вот однажды утром, поднявшись на холм, дедушка увидел то, что привело его в неописуемую радость. «Идите сюда, быстрее, быстрее! – позвал он своих сыновей, и, когда те явились на его зов, показал им на вершины далеких гор: – Посмотрите-ка, они и так были белыми, а

сейчас побелели еще больше! Это оттого, что там, в горах, выпал снег. Значит, скоро и здесь погода установится... Теперь не бойтесь, не пропал урожай, готовьтесь к сбору, сыны!»

И мы стали лихорадочно готовиться к сбору винограда.

Первым делом отец и дядя Элизбар устроили смотр всем наличным корзинам, вынесли их, привели в порядок. Да и новых прибавилось – штук семь или восемь сплел потихоньку дедушка, и они, еще чистые, не замаранные, белели под верандой, насаженные друг на друга... Потом занялись бочками – выкатили во двор, подбили обручи, залили кипятком и болтали их до тех пор, покуда из них не выветрился весь винный дух. Обдали кипятком и давило, поставили на подпорки, опробовали.

В винном погребе, кроме бочек, хранились и две амфоры. Они, как вы знаете, были зарыты в самом дальнем углу... Одна из них, посвященная Илорской Богоматери, вмещала в себя семь ведер, вторая, посвященная пасхе, – девять. К осени амфоры пустели – для того чтобы тут же наполниться вновь. Но сначала их нужно было хорошенько промыть. Однако панибратство, извинительное в обращении с простыми бочками, было здесь неуместно, – амфоры словно становились частью того, чему были посвящены, а потому требовали особого к себе отношения. И дедушка, прежде чем сыновья начнут мыть и скоблить посвященные сосуды, первым подходил к ним и смиренно молил: «Вот и поспел новый урожай, и в нем ваша доля, позвольте нам приготовить вас!» И лишь после этих слов за дело принимались отец и дядя Элизбар, вооруженные длинными палками, на концы которых были прикручены пыжи из вишневой коры.

Прошло совсем немного времени, и, как предсказывал дедушка, погода установилась, потеплело. «Маленькое лето» – так зовут у нас эти ясные, звонкие дни поздней осени. Их-то и ждала наша семья, чтобы, ни часа не тратя попусту, снять виноград. Но мыслимо ли лезть на деревья, не совершив положенного обряда?

На заре долгожданного дня мать отправилась в курятник, выбрала лучшего петуха (после смерти бабушки это, как и многое другое, стало обязанностью матери) и принесла к дереву, с которого мужчины первым начнут собирать виноград, прочитала молитву...

Вот она в том виде, как запомнилась мне:

О Всемогущий, являвший нам милость всегда,
Да обойдет храбрецов наших злая беда!
Наши деревья цепляют вершинами тучи, –
Ловко ль, подумай, взбираться по эдакой круче?
Пусть же всегда, когда нужно, найдется для рук
Крепкая ветка, надежный, ухватистый сук.
Если же ветка вдруг треснет у них под ногою –
Руку подай, чтобы радость не стала бедою.
Пусть виноград, что они собирают сейчас,
Станет напитком, веселье вселяющим в нас;
Чтоб уносил он тревоги, тоску и печали,
Чтоб на пирах недостатка в нем гости не знали,
Чтобы любой, хоть изрядно уже захмелел,
Все-таки силы на песню и танец имел...
О Всемогущий, ты в милостях к нам неизменен –
Пусть храбрецы наши спустятся как по ступеням!

Держа петуха за ноги, мать описала им круг над головами мужчин, собирающихся подняться на деревья, а затем, размахнувшись, подбросила его высоко вверх, и петух, отчаянно хлопая бессильными крыльями, пролетел немного по воздуху и жестко, с костяным стуком опустился, точнее сказать – шлепнулся, на землю, побежал, заполошно крича, жаловаться своим соплеменникам и радуясь возвращенной свободе... Но участь его была уже предрешена – день, в который заканчивался сбор винограда, становился для него последним, и его жареные крылышки и ножки преподносились сборщикам...

Пока отец и дядя Элизбар лазали по деревьям и обрывали грозди, я должен был неотлучно находиться внизу, ждать, когда они на веревке спустят мне полные корзины. От этих корзин, грузно скрипящих от тяжести (кто сосчитает, сколько раз за день приходилось мне опускать и поднимать их, вываливая содержимое в другие, еще большие!), у меня отнимались руки, и поэтому в помощь мне посылали кого-нибудь из сестер.

Стоило солнцу скрыться за тучей, как у нас начинали мерзнуть руки, и мы с сестрой, натаскав хвороста, разводили костер под разлапистым деревом... По полям, с которых уже убрали кукурузу, белели, как прибрежные валуны, огромные тыквы; я шел к ним, выбирал поядреней и нес к огню. Здесь, топориком расколов тыкву надвое, я укладывал, за-

рывал ее жар и отправлялся за орехами. Пока тыква пеклась, я успевал набить ими полные карманы. Потом выгребал из костра дымящиеся, растрескавшиеся и обугленные, как каштаны, ломти, мы разламывали их и ели вприкуску с орехами. А дядя Элизбар, заметив сверху, чем занимаются его помощники, кричал: «Эй, Лаган, попробуй-ка из этой корзины – слаще меда!»

Я подбегал к дереву, принимал наполненную доверху корзину, оттаскивал в сторону, пересыпал в большую, разравнивал грозди, одновременно выбирая попавшие листья и веточки... Господи, да что же за чудо передо мной?! Тугие, плотные гроздья, ягоды будто смерзлись друг с другом, подернулись инеем, они истекают сладчайшим соком, липнут к рукам, пьянят своим запахом!..

Теперь мы с сестрой заедаем печеную тыкву не только орехами, а еще и виноградом.

* * *

Оголились поля, свезено, сметано в копны сено, опустели виноградники. В каждом доме полны кувшины и бочки, где бродит вино, вдосталь накурено водки, да такой крепкой, что птице на лету отсекает голову. Женщины насушили яблок, инжиру, груш, наготовили аджанджуха, запаслись соком дикой мушмулы. Мужчины время от времени ездят в лес, вывозят заготовленные загодя дрова, присматривают за скотом. Иных дел в селе пока нет. Крестьянин, в чьем доме ожидаются гости или готовятся к свадьбе, ни в какую другую пору не бывает столь спокоен и уверен в себе, как в эту: он знает, что все у него есть, а если вдруг чего и не хватит, соседи да родня выручат.

После окончания полевых работ, когда все труды и заботы перемещаются, как у нас говорят, со двора в дом, поближе к очагу, у крестьянина наконец-то появляется свободное время. И тут в его жизни наступает период, который, по выражению моих односельчан, составляет всю прелесть деревенской жизни.

Никто не теряет времени зря: юноша, чья свадьба уже назначена, седлает коней, снаряжает гонцов в дорогу, родные навещают родных, друзья друзей.

В эту прекрасную пору и в нашем доме, как никогда часто, появляются гости, им нет числа, они наполняют двор суетой и разноголосьем. Откуда бы ни прибыл гость, из нашего села или из чужого, не имеет

никакого значения, каждого нужно встретить как подобает, оказать почет и честь, накормить, напоить, уложить спать. И никогда, как бы долго ни задерживался у нас иной, – никогда дедушка даже намеком не даст понять ему, что пора прощаться: погостил, мол, и будет; напротив, каждое утро встречает он его улыбкой и ласковым словом. И никто из гостей ни в чем не испытывает недостатка – ни в еде, ни в месте для ночлега.

Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне видней и понятней те трудности, перед которыми ставили нашу семью осенний наплыв гостей и необходимость оказать им достойную встречу. До рассвета быть на ногах, прислуживать им, готовить лучшие блюда, пить и петь – хочешь ты того или нет – вместе с ними, и причем охотно, с желанием, порой и танцевать, если нужно, всю ночь развлекать их разговором и беседой, а если у тебя печаль или в семье неурядицы, уметь скрыть это, не подать вида – не дай бог гость заметит! – для всего этого требовались и терпение, и выдержка, и готовность жертвовать, требовались совесть и честь.

«Гость в дом – счастье в дом», «один гость семь радостей приносит»... Эти представления о госте как о вестнике счастья пережили века, а в нашей семье всегда чтили традиции; мы и помыслить не могли, что у кого-то может быть иначе.

* * *

С вечера у нас засиделось несколько соседей, говорили о том о сем. Пока проводили, пока улеглись – уже полночи прошло. На улице тьма провальная, ветер воет, скулит, с мерзлым, стуком бьет ветку о ветку...

– Эй! – загремели вдруг в ворота. – Хозяин дома?

Собаки с лаем сорвались со своих мест, скучились, беснуясь, у ворот. Отец быстро поднялся с постели, накинул на себя архалук, вышел из дома.

– Дома, дома, как же иначе! – долетел до нас его крик.

– Где ж еще быть хозяину? – послышался из амацурты голос дедушки. Он хоть и болел, тоже встал, зажег свечу, кое-как оделся.

Из дома по лестнице сбежал дядя Элизбар, и теперь со двора доносятся и его крики – это он отгоняет собак от уже въезжающих во двор всадников.

– Добро пожаловать!

– Добра вам в дом! Здравствуйте!

Хлестко ударяя о землю камчами, прибывшие спешились. Тут как раз хлынул дождь, и дядя Элизбар, чтобы не намокли седла, отвел коней под навес. А мама и девочки в это время, помогая друг другу, зажигали в зале керосиновые лампы.

Туда, прямо с улицы, и привел гостей отец.

Покуда гости, с которых ручьями стекала вода, раздевались, снимали с себя папахи и бурки, встряхивали их, пристраивали на вешалку, прихорашивались, вытирая мокрые лица, дядя Элизбар затопил камин. Когда огонь разгорелся и в зале стало светлее, гости наконец смогли рассмотреть хозяев, а хозяева гостей. И хозяева увидели, что гости к ним пожаловали весьма именитые. Им это не в диковинку, им не привыкать встречать гостей, только вот как с мясом быть? Все есть – и еда, и питье, а вот мяса нет.

Дело в том еще, что цена твоему гостеприимству тем выше, чем быстрее ты сумеешь накрыть для гостя стол. Но как его можно накрыть, да еще быстро, если в доме нет ни куска мяса?! Что ни говори, а ведь для начала нужно кого-то забить, освежевать, разделать, сварить, приготовить блюдо. Сколько времени уйдет на это! А разве гости должны тосковать в ожидании пищи, разве они виноваты, что хозяева оказались такими нерасторопными? Дедушка, правда, еще не выходил, не приветствовал гостей, а когда выйдет, то, конечно, никому скучать не даст – столько он знает всяких историй и сказок! Но ведь одними рассказами гостей не накормишь.

Из всех моих сестер только Гущка имела право, поскольку была самой старшей, выходить к почетным гостям, остальные хоть и были способны подать или принести что попросят, для этого важного и ответственного дела еще не доросли. Так что Гущке одной пришлось двигать стол поближе к камину, бегать, заставляя его тарелками с аджанджухом, сушеным инжиром, чищеными орехами – грецкими и фундуком, тонконогими стройными рюмками.

В это время хозяева, среди ночи принимающие гостей, спешно совещаются в амацурте.

Так кто же все-таки к нам пожаловал, объясните толком! – спрашивает дедушка у своих сыновей; он уже полностью одет и готов к торжественной встрече.

– Старшого из гостей зовут Чизмаа Пащ, а остальные, надо полагать, его друзья...– начал было отец, но дедушка перебил его:

– Чизмаа Пащ? О, этого человека знает вся Абжуя! А ведь он ни разу не пробовал нашего хлеба-соли... Ну, а остальные? – уже веселее спрашивает дедушка.

– Куана и Кукуана Ахсалба я знаю, а вот еще двух других – тех пока нет. Но, вероятно, тоже почтенные люди, если судить по тому, как себя ведут и в какой компании прибыли.

– Ну, разумеется! Разве стал бы Чизмаа Пащ разъезжать с кем попало! – совсем оживился старик.

– А шестого ты и сам знаешь, это наш односельчанин – Леварса, сын Даты, они случайно с ним встретились на дороге. Когда он узнал, что они ищут Бежана, он бросил все свои дела и поехал впереди них, показывая путь.

– Значит, если я правильно тебя понял, они не просто так попали к нам? Значит, они к нам и ехали?

– Все верно, – подтвердил дядя Элизбар.

– Поздравляю вас, сыны мои, это счастье, что к вам в дом приехали такие уважаемые люди и сошли с коней в вашем дворе! Скоро об этом узнают все соседи и вся родня, не жалейте ничего, ни сил, ни времени, примите их как полагается! – Дедушка встал, намереваясь идти к гостям, радостный, будто ему предстояло отправиться на праздничный молебен.

Людей подняли среди ночи, их ожидает беготня, хлопоты, у них и без гостей по горло забот, а они не дуются, не злятся, напротив – счастливы, довольны, оживлены.

– Посоветуй, что делать? – повернулся к дедушке мой отец.

– У нас есть барашки, но потчевать ими Чизмаа Паща?! Нет, надо раздобыть холощеного козла! – четко и громко объявил дедушка, желая, чтоб сыновья до конца постигли, какого гостя им предстоит принять.

– Да где ж его сейчас взять?! – изумился дядя Элизбар.

– У Чала, неподалеку отсюда, пасутся стада сыновей Мдара.

– Так ведь мы им и так должны, для позавчерашних гостей у них же козла брали. И тоже в долг! Долг к долгу...

– Как знаешь, но без козла не возвращайся! Не позориться же нам перед людьми из-за какого-то козла? Садись на коня, поезжай, не тяни время! – Дав задание младшему сыну, дедушка вышел из амацурты и пошел в дом к гостям.

Лошадь дяди Элизбара стояла под седлом, и он вскочил на нее, вылетел со двора.

А в это время Мачич, держа в руке свечу, заходила вместе с другими сестрами в курятник. С индюком они сладили быстро: прежде чем он успел подать голос, схватили за голову и выволокли вон, зато с курами пришлось повозиться; стыдно было б, если их кудахтанье услышали гости. Но, слава богу, обошлось.

Узнав, что к нам нагрянули гости, соседи тут же пришли на помощь, и каждому нашлось дело.

А разве я мог лежать в постели, когда в доме собралось столько народу? Я встал, оделся и пошел в амацурту, но здесь была такая толкучка, что я только мешал всем, и ни у кого не было времени заняться мною. Когда мне окончательно надоело путаться под ногами, я решил любою ценой попасть в дом и хоть одним глазком взглянуть на гостей, о которых успел наслушаться столько удивительного. Крадучись, я пробрался на веранду, приоткрыл дверь и юркнул в зал...

Гости подковой расположились за круглым столом возле камина; дедушка сидел напротив них, председательствовал. Все были оживлены. Двое уже спорили о чем-то, у одного из них был такой густой бас, что казалось, будто для него тесно в зале и низки потолки. «Раз я сказал, значит, так и есть, верь мне, честью клянусь!» – гудел он, и его кинжал отливал отраженным пламенем.

Я знал, что не имею права появляться перед такими почтенными людьми, но надеялся, что дедушка сегодня не будет сердиться и не погонит меня... Я бочком подошел к нему и прижался к его плечу.

– Что маешься? Сказку, наверное, хочешь послушать? – погладил меня по голове дедушка.

– Твой внук, Бежан? – спросил басовитый гость с блестящим кинжалом.

– Внук, единственный, мое продолжение и моя надежда. – Дедушка обнял меня и поставил между колен.

– Да поможет тебе Бог растить его! Да умножит он во сто крат твое потомство! – раздались восклицания гостей.

– Поди-ка сюда! – поманил меня пальцем незнакомый мужчина, сидящий с краю; усы над его толстыми губами топорщились, как кусты над обрывом. – Тебя как зовут?

– Лаган, – ответил я, не отходя от дедушки. Не знаю почему, но мне сразу не понравился этот усатый.

– Лаган, говоришь?.. Лаган, казан, ятаган, карман... – поиграл созвучиями усатый. – Ну, иди же сюда, иди, говорю, я тебе что-то дам, – и тянет ко мне руки.

– Почему ты не идешь, когда тебя зовут? – Дедушка повернул меня лицом к себе и строго взглянул в глаза.

– Не хочу! – отрезал я.

– Это почему, интересно?

– Потому что его усов боюсь – вот почему!

Тут же сухим порохом вспыхнул смех.

– Из твоего внука будет толк, Бежан, будь уверен! Сразу разобрался, что Калти не прочь лишний раз окунуть свои усы в рюмку с водкой! – захохотал могучим басом гость с блестящим кинжалом.

Не выдержал и дедушка, засмеялся, залился мелко: хе-хе-хе...

Одному лишь усатому, которого, оказывается, зовут Калти, было не до смеха. Он выпучил черные глаза, надулся, обвел застолье мутным взглядом и ни с того ни с сего взял да и опрокинул рюмку.

Обносившая гостей Гущка вызвала меня из зала, будто по делу, и увела в свою комнату. «Что с тобою сегодня, Лаган, несешь что попало!» – отчитала меня она, а потом отвела в амхару, раздела и уложила в постель. Я мгновенно уснул.

Утром меня разбудили выстрелы. Прислушавшись, я определил, что палят в зале. Потом послышалось нестройное пение и чей-то крик: «А ну-ка, поддержите, затяните “Ура!”».

«А-а, так у нас же там гости! – вспомнил я.– Наверное, они еще и не думают ложиться!» Я быстренько оделся и выбежал во двор, солнце уже стояло довольно высоко.

Первым, кого я увидел, поднявшись на веранду дома, был тот самый Калти с всклокоченными усами. Закутавшись в бурку, он сидел на полатях, спиной привалясь к перилам, и силился поднять руку, – со стороны это выглядело так, будто он сыпал зерно курам, – но удержать руку на весу был не в состоянии, и она все время падала. Калти ничего не замечал вокруг себя, даже меня не заметил. А ведь вчера приставал, напрашивался на знакомство.

Я прошел мимо него и заглянул в зал. Меня обдало едким, застоявшимся табачным духом. Гости и впрямь еще не ложились, да, видать, и не собирались, они сидели и стояли, пытаясь петь, но голоса скользили, срывались. Да, крепко они погуляли минувшей ночью!.. У дедушки имелся большой фаянсовый бокал с ручкой – его так и звали у нас: «с

ручкой», – и этот бокал пущен был сейчас по кругу; тот, чья очередь подошла пить из него, вставал, а все остальные, глядя ему в рот, затягивали «Уро!» и стреляли в потолок, – весь он, если присмотреться, был изрешечен пулями.

Недолго довелось мне любоваться этим зрелищем, – мать, пугавшаяся всякого шума, а тем более стрельбы, нашла меня, взяла за руку и увела в амацурту.

После обеда изрядно утомившиеся гости, придерживаясь друг за друга, покинули наш двор. А мать и сестры, уставшие не меньше их, сразу же принялись за уборку: вымыли, отскоблили пол в зале, расставили по местам стол и стулья, ополоснули в кипятке посуду... Тут и стемнело, дни-то уже короткие были.

Управившись с делами, все легли спать пораньше, мечтая об одном – выспаться: ведь уже сутки никто, кроме меня, не сомкнул глаз. И только задремали, только погрузились в блаженный сон, как в воротах снова раздался крик:

– Эй! Хозяин дома?

– Дома, дома, где ж ему еще быть!

И, услышав желанный ответ, новые гости вереницей въезжают во двор. Звучат приветствия, хлопают камчи, визжат и лают собаки.

– Добро пожаловать!

– И мы к вам с добром, здравствуйте!..

В амацурте, а потом и в доме, в зале, опять зажигаются свечи и лампы, опять пылает в камине огонь, опять мчится в ночь дядя Элизбар, чтобы взять в долг еще одного холощеного козла, опять срочно готовится пища, расставляются рюмки...

И так не одну ночь, не две, не три... Если б можно было труд моей матери – а именно на ее плечи падала основная работа по приему гостей – представить в виде какой-нибудь вещественной, вполне осязаемой тяжести, то, уверен, и сотни бы лошадей не хватило, чтобы стронуть ее с места!

* * *

До самого вечера я играл у Рассеченного камня, а когда вернулся домой, узнал, что у дедушки опять разболелась голова и он лежит в постели.

– Я умираю, не видите разве? А вы стоите как истуканы! Приведите ко мне Мамсыра! Мамсыра приведите, прошу! – и негодовал, и жало-

вался дедушка, а отец, мать и дядя Элизбар стояли над ним и не знали, что делать.

– Мамсыра нет и до завтрашнего вечера не будет, – осторожно сказал дядя Элизбар.

– Ах, так?! Ну, тогда все, тогда я погиб, совсем погиб! Нет, не пережить мне этой ночи! – метался дедушка, словно изнутри сжигаемый пламенем.

И до самого рассвета сидели мы с ним, никто не ушел, не прилег. Но и наступивший день не принес ему облегчения, дедушка также мучился и стонал от боли.

Только вечером к нам во двор вошел долгожданный Мамсыр. Его приход, даже если никто не болел, всегда был для нас радостью, особенно когда Мамсыр являлся вместе со своей апхярцой. Но нынче мы радовались ему вдвойне.

Мамсыр подошел к изголовью больного.

– Что это с тобою, Бежан? – спросил он.

– Кровь душит, голова раскалывается, сил нет терпеть, бога ради, Мамсыр, пусти мне кровь, только ты умеешь это делать! – умоляющими глазами поглядел снизу вверх на соседа дедушка.

– Принесите таз, вату и самую крепкую водку! – приказал Мамсыр и вынул из кармана провощенную тряпицу, в которой держал свою основную снасть – крохотную рудометку с лезвием, напоминающим топорик.

Разложив на скамье все необходимое, он смочил водкой клочок ваты, долго чистил себе руки, потом протер рудометку и дважды прокалил ее на огне. Закончив приготовления, Мамсыр усадил дедушку в постели и, перебирая пальцами по коже, принялся искать у него на лбу нужную жилу; когда рука лекаря дошла до середины лба, его пальцы замерли – видимо, они нащупали то, что искали. Не убирая их со лба, Мамсыр осторожно приставил рудометку лезвием к жиле, придавил ее левой рукой и, оттянув средний палец, с силой отпустил его. Палец щелкнул по обушку рудометки, рудометка пробила кожу – и из жилы струей брызнула кровь. Мамсыр проворно подставил под нее таз.

– Как себя чувствуешь, Бежан? Голова не кружится?

– Нет, дорогой Мамсыр, нет, золотой, дай тебе бог здоровья, легкая у тебя рука! Не жалей, пусть выйдет побольше дурной крови, авось легче станет, – сказал дедушка, оживая на глазах.

Когда крови вышло уже порядочно, Мамсыр достал какое-то черное снадобье, помазал ранку. Кровь остановилась, дедушка лег и вскоре уснул.

Если кровопускание было удачным, на следующий день он просыпался совершенно здоровым – вставал, одевался, выходил во двор и брался за работу. Но не всегда все протекало гладко, порой Мамсыр никак не мог найти нужную жилу, она, как он утверждал, пряталась от него, а порой и он сам давал промашку – неточно бил, и рудометка, скользнув по жиле, лишь слегка расцарапывала ее, отчего кровь выходила плохо, и дедушка оставался в постели один на один с головной болью. Если такое случалось, Мамсыр, как бы ни был занят, не бросал старика, сутками не отходил от него.

Когда же и кровопускание, даже удачное, не избавляло дедушку от мук и страданий, все равно на выручку звали Мамсыра.

– Ну, Мамсыр, – говорил дедушка, – не помогла твоя врачебная снасть, поможет музыкальная. Сыграй-ка что-нибудь, утешь мою душу звуками.

– Верно, Бежан, верно: рудометка выпускает старую кровь, а апхярца вливает свежую, – отвечал Мамсыр и, поставив апхярцу между колен, уточнял: – А что бы тебе хотелось послушать?

– Помнишь, Мамсыр, ту ночь, когда мы помирили две семьи, Абагба и Ахсалба? Они были в кровной вражде... Тогда ты сыграл нам одну песню, я до сих пор забыть ее не могу, она о нарте Сасрыкве, жаль только, названия не помню... Если ты понял, какую песню я имею в виду, сыграй ее!

Мамсыр пододвигал стул поближе к кровати и начинал играть, потом запевал... Все, кому хоть раз довелось услышать эту песню, навсегда попадали под ее обаяние, и когда видели апхярцу на боку у Мамсыра, подсаживались к нему и просили спеть еще раз, на что он обычно отвечал: «Нет, дорогой, нет, я ведь тоже человек, и у меня от нее сердце щемит!» Но если уж слишком долго не отставали от него, упрашивали хором, мог и согласиться.

А песня эта называется «Сасрыква и его тень». Вот она:

О Сасрыква, Сасрыква, изведавший гибельный ужас!
Были кудри твои весенней травы шелковистей,
Был ты юным и юным остался навеки,
Как иной до седин – не дожил ты до лет молодых...

Вот однажды пошел прогуляться Сасрыква, –
Следом тень, как собака, за ним побежала.

Он идет по дороге, шагает по голой равнине,
Где ни деревца нет и ни кустика даже –
Только солнце на землю взирает с высокого неба.
Вдруг внезапная молния солнечный полдень затмила,
Грянул гром, да такой, что земля содрогнулась!
Замер нарт, огляделся – как прежде, безоблачно небо,
Ярко солнце сияет... «Видать, примерещилось все мне»,–
Порешил он и тронулся было в дорогу,
Но послышался голос – неведомо чей и откуда:
– Не дивись, о юнейший из нартов, знаменью –
Не случайно оно. Приготовься и слушай, что будет:
Ныне слово судьбы для тебя прозвучит. Приготовься...
Удивился Сасрыква и грозными глянул очами:
– Кто тут шутки шутить надо мною надумал?! –
Присмотрелся и видит – о дивное диво! –
Это тень его, тень, разговор с ним ведет как живая.
– Знай, Сасрыква, – так тень ему грозно вещает, –
Нет ни друга, ни брата тебе в этом мире,
Даже конь твой и тот твоих братьев вернее...
– Будь неладна! – прервал ее гневно Сасрыква. –
Пусть уста твои кровью навек запекутся!
Ты ведь всюду со мной, так неужто еще не узнала:
Нас сто братьев, и все друг за друга погибнуть готовы!
– Да, я знаю, вас сто, – тень ответила тихо Сасрыкве, –
Только нет среди них у тебя настоящего друга.
Срок наступит – и станут твоими врагами
Те, кого ты за братьев пока почитаешь.
Ибо знай, что повсюду, как тень, неотвязно
Вслед за нартами вечно проклятье ступает, –
Наберись, если суть его хочешь узнать ты,
И терпенья, и мужества... Вот оно, слушай:
«...Чтобы с теми, кто зло им приносит, роднились,
Чтоб творящих добро принимали за недругов злейших,
Чтоб на свет вместе с ними рождались раздоры и зависть,
Чтоб всю жизнь, потешая врагов, меж собою бы грызлись,
Чтоб над лучшим из нартов другие бы нарты глумились,
Чтоб подлейший из них одерживал верх над честнейшим,
Чтобы род их пресекся, а те, кто успел народиться,

Истребили бы сами друг друга в кровавой борьбе...»
– Замолчи, моя тень! Ты меж братьями злобу
Захотела посеять?! Так на, получай же! –
Гневно крикнул Сасрыква и, меч обнажив свой,
Замахнулся на тень... В это время
Вновь внезапная молния солнечный полдень затмила,
Снова гром загремел и земля зашаталась,
Небо ясное черные тучи закрыли,
И во тьме наступившей растаяла вещая тень...

Шел Сасрыква, домой возвращаясь,
Шел Сасрыква, тревог и смятения полный,
Шел Сасрыква по голой, печальной равнине.
Никому не расскажешь о том, что сегодня увидел,
Кто поверит тому, что сегодня услышал?
«Богатырь, испугавшийся собственной тени!» –
Скажут братья и станут смеяться над братом;
Мать его пожалеет, а после добавит с улыбкой:
«Ах, сынок, напекло тебе голову, видно.
Разве тень разговаривать может? Опомнись!»

И шагает Сасрыква, тревог и смятения полный,
И шагает Сасрыква по голой, печальной равнине...

* * *

Мамсыру тогда было лет семьдесят. Несмотря на преклонный возраст, его жесткие волосы и опрятная бородка были густы, лоснились, в них не было ни единого седого волоска. Невысокого роста, может быть, только чуточку выше дедушки, но зато плотный, широкий в кости, крепкий и кряжистый, точно дуб. Глаза большие, угольно-черные, глядит так, будто хочет спросить о чем-то, и ты недоумеваешь, ждешь вопроса, а он смерит тебя взглядом с ног до головы – и в глазах промелькнет лукавство; кто не знает Мамсыра, может и обидеться, подумав, что тот насмехается над ним.

Если спросить при встрече: «Ну как живешь, Мамсыр, как дела?» – он с улыбкой ответит: «А ты у моей апхярцы спроси, она тебе лучше расскажет – у нее два языка, у меня всего один!»

Потомства Мамсыр не имел, жил вдвоем со своей старухой в пустом, безлюдном доме. Почти всю свою жизнь он провел в горах, пастушил, ходил за козами, потому, наверное, и в старости сохранил привязанность к этим животным, десяток их и сейчас держал у себя, выгонял и встречал с цалдой на плече свое небогатое стадо.

Маме Мамсыр приходился дядей по материнской линии, и она часто навещала его. Порой и меня прихватывала...

Подойдя к его дому, я замирал, дивясь на развесистые оленьи рога, прибитые сбоку от двери. А как только переступал порог, вообще не мог закрыть рот от изумления – вся комната была завешена звериными шкурами: по углам висели шкурки куниц с роскошными хвостами, над кроватью прибита шкура горного козла с позолоченными рогами, пол застелен медвежьими шкурами – одна с белым воротником, другая сплошь черная... Заворожено переходил я от шкуры к шкуре, гладил их; мне казалось, что я не в обычной крестьянской хижине, а в жилище самого лесного бога Ажвейпши, повелителя диких животных, о котором мне рассказывал Мамсыр. Он, говорил Мамсыр, живет высоко в горах, куда никогда не добраться человеку, а его дворец целиком выстроен из звериных костей и рогов и весь обшит шкурами.

На стене у Мамсыра, рядом со шкурой горного козла, висело оружие: по одну сторону кинжал и сабля, по другую – абхазское кремневое ружье в чехле. «Наверное, это им добыл он столько зверей!» – почтительно думал я. Хозяин замечал, что его юный гость не может глаз отвести от этой штуковины, и он, сняв ружье с гвоздя, вынимал его из чехла и шел к дверям, поближе к свету, подзывал к себе и показывал зарубки, которыми, как это принято у охотников, отмечались убитые животные, – все ружье было изрисовано ими, они тянулись от ствола до самого приклада. Как по буквам водя по зарубкам пальцем, Мамсыр читал мне свою охотничью повесть: короткая черточка – лань, длинная черточка – косуля, галочка – горный козел или тур, три черточки, выходящие из одной точки, – олень...

– Только волков и медведей я не отмечал, они не в счет, потому что это хищные животные, а хищные животные не входят в стада Ажвейпши, – пояснил он.

Но все это было в прошлом, и теперь его ружье без всякого дела висело на стене в своем чехле, – апхярца заменила его Мамсыру. Я сам видел, сам присутствовал при том, как к нему являлись люди и умо-

ляли пойти вместе с ними: «Больной томится по твоим песням, утешь его», – просили они. Порой даже из соседних сел приезжали.

Насколько я помню, она всю жизнь была у Мамсыра одна – почерневшая, словно закоптившаяся от времени. Только струны, сплетенные из конского волоса, приходилось менять. «Душа моя живет в этой апхярце», – любил повторять он. И для этого были основания.

Мамсыр, как и дедушка, был одним из немногих, кому удалось избежать махаджирства, кто не поднялся на борт «Махмадиа», – на этом печально знаменитом корабле едва ли не весь наш народ перевезли в Турцию. В последний момент Мамсыр сбежал, прихватив свою престарелую мать, и вместе с ней возвратился домой.

– Мы с матушкой шли по самому берегу, по гальке, – вспоминал Мамсыр о том, как заполучил апхярцу. – И вдруг вижу: висит она на сухом кусту и качается от ветра. Наверное, ее повесил здесь тот, кто сел на корабль. Он так рассудил, думаю: «Где бы и было мое тело, но душа остается здесь. А где душа, там и песня...» Вот с той поры и плачет она у меня в руках, выплакивает горе – и мое, и того, кого увезли на чужбину. – И он зажимал апхярцу в коленях и касался смычком ее струн.

Я подолгу и часто разглядывал апхярцу, висевшую на боку у Мамсыра, мне очень хотелось потрогать ее, но я не решался. Заметив мои страдания, Мамсыр ставил меня перед собой, снимал апхярцу с пояса и вертел в руках, показывая ее со всех сторон.

– Этот инструмент, Лаган, не случайно называется апхярцой, – говорил он своим певучим голосом и начинал объяснять мне происхождение названия, забыв о том, что объяснял уже неоднократно. – Давным-давно, когда воевали копьем да стрелами, выбирали у нас из всех воинов одного самого бесстрашного и неукротимого, его-то и называли «пхяца», то есть «идущий впереди». Это был обреченный человек. Когда войско не могло одолеть врага, он выходил вперед и, приставив апхярцу к груди, запевал боевую песню:

Настоящий мужчина не знает сомненья:
Лучше гибель в бою, чем позор отступленья!..

С этой песней он шел вперед, навстречу врагам и смерти, а войско, воодушевленное его игрой, шло за ним как за знаменосцем и, столкнувшись с врагом, кидалось в бой...

Когда-то в старину напали на Абхазию полчища врагов, были они чернолики, злы и алчны – ничем не брезговали, как стервятники; лили кровь, как голодные волки. Абхазы сразились с ними; в решающей битве и та и другая сторона понесли жестокие потери, никто не знал, кто одержит верх. Вот в это-то время и вышел из наших рядов пхяца, пошел на врагов, – плачет его апхярца, приставленная к груди, звучит песня... Враги заметили, что какой-то человек приближается к ним, и сотни стрел со свистом устремились к нему, но певец не упал, не остановился, не прекратил игры, а его апхярца, пронзенная, как и он, множеством стрел, запела, казалось, еще громче. «Да это не человек, а сам дьявол!» – испугались враги и дрогнули, пали духом. Этим замешательством и воспользовались абхазы, они ринулись вперед и разгромили вражеское войско – большую часть перебили, а тех, кто уцелел, взяли в плен. Идут они с победой, проходят по полю, усеянному трупами, и вдруг слышат: откуда-то, как из-под земли, доносятся приглушенные звуки апхярцы. Стали искать и наткнулись на пхяцу, – больше тридцати стрел впилось в его тело, он умирал, истекал кровью, был без памяти, одну руку уже свело, она застыла, закоченела, но не выпустила апхярцу, а другая еще жила, еще водила по струнам смычком...

* * *

«Как бы ни были хороши эти песни и сказания, но разве мог их запомнить такой маленький мальчик, да еще если слышал их всего только раз? Ну, а если и запомнил – предположим, что запомнил, – как ему удалось удержать все это в памяти? Ведь известно, что она с годами тоже слабеет, притупляется, как слух и зрение...» Такие сомнения рано или поздно могут одолеть всякого, кто читает эту книгу. Нет, брат, подумает многоопытный читатель, тут что-то не так, меня не проведешь!

Но зачем утверждать, что «всего только раз» я слышал наши песни и сказания? Сладчайший вкус воды из первого в твоей жизни родника долго остается на губах, но разве он один поил тебя? Ведь и после него ты пил воду, пил из других источников, и с не меньшим удовольствием. Все ли из них ты можешь припомнить? Вряд ли. Так и народные песни. Когда-то каждую из них я услышал впервые, но сколько еще раз потом они звучали вокруг меня и во мне самом? Сколько раз я возвращался к ним, сколько раз слышал за долгую жизнь! Я не запоминал их,

они вошли в меня, переполнили Душу, стали Моей плотью и кровью. Бывало, припомнится – неясно, смутно – какая-нибудь мелодия, а я и понять не могу, откуда она, где и когда слышал, но кажется, что вот-вот вспомню и запою...

Конечно, и случай помог сберечь услышанное мною – моя тетрадь в жестяном окладе от старой церковной книги, куда я еще школьником записывал услышанные в народе песни, сказания и частушки; сейчас я трясусь над нею как над сокровищем. Да она и впрямь сокровище. Однако и в памяти осталось немало, и если бы вдруг я утратил тетрадь, кое-что удалось бы восстановить. И чем дальше я углубляюсь в детские годы, тем все чаще и чаще набредаю на жемчужные россыпи наших песен и подбираю по зернышку оброненные кем-то богатства.

VI

– А я еду в город! – хвастаюсь я перед сестрами. Радость моя беспредельна. В короткой черкеске, в папахе, в кожаных чувяках я гордо стою среди двора.

Сестры с завистью разглядывают меня и радуются моей радости.

– Представляем, сколько ты насмотришься всего! Одно море чего стоит... А ты набрал камешков, чтобы бросить в него?

«Еще бы!» – тарахтят мои карманы...

Когда кто-нибудь из нашей семьи отправляется в дальний путь, в город или к морю, дедушка до самого отъезда беспокойно мельтешит по двору – боится, что какая-нибудь нечисть перебежит нам дорогу. А отец провожает путешественников за ворота: он, как я уже говорил, считается у нас удачливым и везучим. Но сегодня, поскольку отец сам едет, его обязанность переходит к дедушке.

– Ну, с богом, в час добрый, берегите себя! – напутствует он нас и распахивает ворота.

Тяжело, со скрипом трогается с места арба, доверху, сколько потянут буйволы, нагруженная кукурузой. А на самом верху лежит один-единственный мешок с мукой – только его мы взяли с собой на продажу, все остальное общественное, собранное односельчанами.

Помню, в те дни только и разговоров было что о голоде, охватившем Россию. Мамин брат Танас, заместитель председателя сельсовета, собрав как-то вечером жителей нашего села, сообщил, что вся Абхазия

оказывает помощь голодающим. «Я думаю, – сказал он в заключение, – что и вы не поскупились бы ради такого дела». – «Что ж скупиться, если, братья голодают, – ответили крестьяне. – Затянем пояса потуже, а с ними поделимся!»

В ту же ночь и весь следующий день сдавали они кукурузу – кто сколько мог, по своим достаткам. А когда собрали и нужно было везти ее в Очамчыру, вызвались мой отец, Бида и кто-то еще один.

После ужина вся наша семья осталась в амацурте.

– Раз уж вы едете, – повернулся дедушка к отцу, – загляните к Прокопию, потребуйте с него наконец наши деньги. Два раза уже обещал вернуть, а до сих пор ни копейки не отдал. Что с ним случилось – ума не приложу. Раньше он, помнится, такого себе не позволял.

Прокопий был мелким торговцем из Очамчыры; в прошлом году он скупил у нас весь табак и часть кукурузы, но так и не расплатился. А мы сейчас очень нуждались в деньгах, девочки росли, им нужна была новая одежда, требовалась материя для подушек и тюфяков... Да мало ли на свете вещей, которые крестьянин может только купить!

В надежде, что Прокопий на сей раз отдаст деньги и тогда придется покупать все необходимое – решено было вместе с отцом отправить в город и мать...

Сейчас она, переговариваясь с отцом, шла рядом с ним впереди буйволов по булыжному шоссе. Кстати, о шоссе. Я привык к глинистым проселкам, к их текучей пыли, в которой вязнут колеса, к почти бесшумной, мягко убаюкивающей езде, а тут стук, грохот, тряска. Да еще позади нас две арбы громыхают. Можно представить, какой шум производил наш обоз – за десять верст, думаю, было слышно.

Той, что ближе к нам, правил Бида; он сидел, поджав под себя ноги, и забавлял всех своими шутками; если бы не он, нас давно бы сморила дорожная тоска. Но вот и Биде надоело шутить, он умолк, а потом негромко, как бы про себя, запел песню аробщика:

Два вола, одна упряжка –
На двоих одна судьба.
Нелегко шагать им, тяжко,
Тяжела, как жизнь, арба.

Словно жизнь – длинна дорога...
Пожалеть бы их чуть-чуть,

Покормить бы их немного,
Дать бы им передохнуть.

Но хозяин весь в заботах,
Весь в раздумья, погружен:
Зря, выходит, он работал,
Зря пахал и сеял он.

На продажу вез он в город
Кукурузы целый воз, –
Не гуляка, не обжора,
А и горсти не привез.

«Ну умора, ну потеха!
Что случилось?»
Ничего,
Просто ехал, ехал, ехал,
Ехал – только и всего!

Будто сон одолевал певца, будто и его разморила дорога, голос его затухал, растворялся, гас и, наконец, подобно реке, затерявшейся в песках, пропал вовсе... Сейчас Бида уже не сидел, а стоял на арбе во весь свой громадный рост, и можно было только дивиться тому, как она выдерживает его; на поясе у Биды висел кинжал в черных ножнах размером с хорошую саблю, и Бида, когда нагибался, придерживал его за рукоятку. А хворостина, которой он погонял буйволов, не уступала по длине шесту.

– Послушайте, а ведь неплохо бы и перекусить, а? – предложил Бида, с высоты своего роста оглядывая спутников.

– Да ты что! Мы еще слышим, как наши петухи кричат, а ты уже проголодался! – со смехом ответили ему.

– Ну, воля ваша. – И Бида опустился, сел на передок, запустил руку в мешок, привязанный к тычку плетеного кузова, вынул чурек, лук и принялся с таким смаком уплетать их, что у меня слюнки потекли.

В сумерки, когда наш караван выехал к деревянному мосту через Мокву, мы устроили небольшой привал, выпрягли буйволов, сводили к реке, напоили. Бида взял меня за руку и по мосту перевел на тот берег. Для меня этот мост был самый громадный мост в мире, и когда я

глянул с него вниз, на воду, у меня помутилось в глазах. Сойдя с моста, мы ступили на дорогу, ведущую в Сухум, и даже немного прошли по ней. Вдоль всей дороги, по обеим сторонам, бесконечной чередой тянулись столбы, уходили вдаль.

– Это телефон, а это телеграф, – принялся объяснять мне Бида, указывая на столбы. – Ах, ты не знаешь, что такое телефон?! Но это же так просто! Скажем, какой-то сухумский начальник захотел поговорить с очамчырским; он подходит к столу, на котором стоит некая вещь наподобие утюга, снимает с него крышку, прикладывает к щеке и говорит, а тот, очамчырский начальник, который сидит на другом конце провода, отвечает: слышу, мол! И ведь впрямь слышит! Ну вот как ты меня сейчас...

Бида еще долго рассказывал мне, что такое телефон, но я, как ни старался, не мог уразуметь, что же это за штуковина, хотя и сами провода, тонко, металлически повизгивающие, казалось, шептали что-то, несли человеческий голос, а на них, как бы подслушивая, о чем говорят два начальника, длинными рядами сидели птицы...

Впрягли буйволов и вновь тронулись в путь. Когда поднялись на холм Ахыхкыра, было уже совсем темно.

– Посмотри, Лаган, вон огни Очамчыры, – сказала мне мать, протягивая вперед руку.

Я взглянул и далеко внизу увидел великое множество огоньков: они дрожали, слоились, переливались, карабкались в горы. Ничего подобного я не видел раньше.

А наши арбы все ползли и ползли. И вот, переправившись через речку Адзикву, мы оставили шоссе и поехали напрямик по равнине. То там, то здесь горели на ней костры, возле них застыли в ожидании утра арбы, буйволы, люди, – на заре все это скопище быстро поднимется и, раздирая уши скрипом несмазанных колес, заволакивая восход пылью, устремится в город, на рынок. Остановились и мы, распрягли буйволов, постелились, и я услышал море – оно волновалось, но голос его был тих, приглушен расстоянием. Я всматривался, пытаясь разглядеть, увидеть его, но всюду были ночь и мгла, лишь однажды луна выскользнула из облаков, на короткий миг осветила и землю и море, и ее отражение зыбкой дорожкой побежало по воде. Я лег головой к арбе, кинув под себя бурку, лежал, глядел на клочок чистого неба, прожженный звездами, и долго не мог уснуть. Всем телом я ощущал, как сотрясают землю темные валы, широко и шумно накатывающиеся на берег.

В шорохе морского прибоя растворялись трепетный шелест камыша и тростника с болот, еле слышная песня, прилетевшая из города...

Едва солнце глянуло мне в глаза, я тут же вскочил; мать давно встала и ждала, когда я проснусь, а наши мужчины погнали поить буйволов. Отправились и мы вслед за ними. Я шел и глядел на море, бескрайней равниной раскинувшееся предо мной, но оно уже не шумело, как ночью, даже прибоя не было слышно, а лежало спокойно и сурово и словно бы еще спало.

Тот, кто впервые встречается с морем, должен, помолившись и загадав желание, кинуть в него камешек, прихваченный из тех краев, откуда явился. И я достал камешки из кармана, которые насобирал в нашем дворе...

– Не забудь сказать что нужно, – напомнила мать.

Я подошел и встал на самой границе воды и суши, быстро, один за другим, покидал в дремотно вздыхающее море камешки, приговаривая:

Меня из горного села
К тебе дорога привела,
Твоя вода чиста, светла,
Я от тебя не видел зла,
О Хаит, бог моря!
Я рад, что встретился с тобой,
О Хаит, великий бог морской,
Пускай мой камешек простой
Монетой станет золотой, –
О Хаит, бог моря!
А ты вели, чтобы вода
Ко мне добра была всегда
И чтоб она мне никогда
Не причиняла бы вреда, –
О Хаит, бог моря!

Чуть в стороне наши поили и купали буйволов, – издали они походили на черно-бурые валуны, высовывающиеся из воды. А я и не подозревал, что эти животные умеют плавать! Позже, когда я заглядывал в их большие округлые и влажные глаза, мне почему-то всегда вспоминалось море... Рядом с буйволами плыл Бида; с его

рыжих усов, заново отросших густых волос на голове стекала вода, и вообще он весь мохнатый, даже на плечах курчавится шерсть, и потому кажется самим Хаитом, только что вынырнувшим из морских глубин.

Вскоре наши арбы вновь потянулись к городу, и через какое-то время мы въехали в него, остановились у длинного приземистого строения – зернохранилища. И хотя на дворе еще раннее утро, ворота его распахнуты настежь, а вокруг людские толпы. Но грузы принимаются без всякой волокиты, и вот уже на крыльцо выходит сухопарый чернявый человек, он от имени уездного руководства благодарит всех, кто оказал помощь голодающим и привез сюда кукурузу. «Этой же ночью мы пароходом отправляем ее в Туапсе!» – такими словами закончил он свою речь.

Мать взяла меня за руку и повела в город, уговорившись с отцом встретиться на базаре. Я держался за нее и дивился на городские чудеса. Почему так тесно, впритирку стоят здесь дома? Разве мало земли вокруг? А где дворы, где сады, огороды, виноградники? Где пасется хозяйский скот? И почему так много людей на улицах? Может быть, сегодня какой-нибудь праздник или у них всегда так?.. И вот что еще странно: все спешат, торопятся, но один бежит в одну сторону, другой в другую. Какие дела их ждут, чем они все так озабочены?

Эти мысли не давали мне покоя. У матери же в голове думы совсем об ином; она заглядывала то в один магазин, то в другой, смотрела, что там есть и чего нет, приценивалась, хотя ничего пока не могла купить. Вот если Прокопий вернет деньги, тогда, конечно, дело изменится. Но вдруг этот человек не отыщется?

В одном магазинчике я углядел на полке чудесные красные сапожки, упросил позволить примерить их; они оказались как раз по ноге, и я принялся клянчить, чтобы мать купила их.

– Да мне сейчас не то что сапоги – иголки купить не на что! Может, Прокопий, будь он неладен, отдаст деньги, тогда, сынок, обещаю, что и ты не вернешься домой без обновки. – Она обняла меня, и мы покинули магазин.

Когда я с матерью пришел на базар, отец уже продал муку и стоял, держа под мышкой свернутый мешок.

– Так и не встретил Прокопия? – догадалась мать по его расстроенному виду.

Отец покачал головой:

– Зашел к нему утром, но там или нет никого, или нарочно не открывает...

На деньги, вырученные за продажу муки, мать с отцом быстро купили самое необходимое: соль, керосин, мыло, и мы снова, уже все вместе, отправились на поиски неуловимого Прокопия. И Бида присоединился к нам – за компанию. Родители надеялись все же получить свои деньги, и мне тоже хотелось верить в это – красные сапожки так и стояли у меня перед глазами! «Эх, Прокопий, Прокопий, – мысленно вздыхал я. – И что ты за человек? Почему не отдаешь наши деньги? Посмотри, какие у меня некрасивые чувяки, а ведь и в черкеске, при папахе... Вот бы к ним эти красные сапожки!»

Мы подошли к дому, где жил наш должник. Мать и я остались внизу, а отец с Бидой поднялись по лестнице и принялись колотить в дверь. Внутри, однако, царило полное безмолвие.

На шум, поднятый у квартиры Прокопия, вышел из-за дома длинный и тощий старик – чистый скелет, да еще и на костылях.

– Чего зря гремите? В тюрьме ваш Прокопий, вчера забрали, и поделом! – сообщил он, обвиснув на костылях. – А не верите – наведайтесь туда, спросите... Я знал, что он этим кончит, спекуляция до добра не доводит, а сейчас времена строгие!

– Ну все, плакали наши денежки! – вырвалось у отца. – А мы-то на них надеялись!

Отец стоял, то и дело вытирая концом башлыка пот со лба, мать всхлипывала, Бида хмурился. И тут я, смекнув, что вовек теперь не видать мне красных сапожек, заревел в голос.

Горе мое было велико. И ничем нельзя унять его – ни угрозами, ни посулами. Люди останавливались, глядели на нас – кто с сочувствием, кто с подозрением, – им-то откуда знать, что я из-за сапожек так убиваюсь!

– Пойдем к морю, там у пристани корабль стоит. Большущий! – сказал мне Бида.

Только его одного я и мог послушаться сейчас. Он взял меня за руку и повел на берег.

Обещанный корабль действительно стоял у пристани. Большой он или маленький – я не знал, потому что никогда не видел кораблей, ни больше этого, ни меньше. Грузчиков было много, они суетились, громко кричали друг другу, с мешками на плечах спускались к фелюгам и вновь, уже порожние, поднимались на пристань.

Вдоволь насмотревшись на корабль, мы с Бидой неторопливо стали прохаживаться по набережной.

– Утром я показывал тебе вон ту рогатую вершину, узнаешь? Помнишь, как зовут эту гору? – спросил меня Бида, кивая на дальние хребты гор.

– Ерцаху! – без промедления ответил я.

– А что я тебе про нее рассказывал?

– На этой горе божьи ратники поймали бесстрашного Абрскила, они покрыли вершину коровьими и бычьими шкурами, и когда на нее опустился его волшебный конь, то он поскользнулся, упал и...

– Молодец! Вот за это я тебя еще больше люблю! – обнял меня Бида. – Запомни, Лаган: на земле нет ничего глубже моря и выше гор. А ты сегодня за один день увидел все разом: и самое высокое, и самое глубокое – море и горы. Значит, не напрасно ты побывал в Очамчыре, правда? И после этого хныкать из-за того, что тебе каких-то сапожек не купили... Ведь это глупо, не стоит.

Вот так – потихоньку, полегоньку – Бида исподволь успокоил меня и, когда я окончательно позабыл про все свои обиды и огорчения, повел обратно в город.

По дороге вошли в какой-то сад. В тени, под деревьями, сдвинув столы, обедала многочисленная группа милиционеров.

– О, Бида?! – закричали они, заметив моего приятеля. – Иди сюда, выпей с нами за нашу победу – мы вчера целую банду абреков разгромили! Никого из своих не потеряли!

Бида не отказался, присоединился к милиционерам.

Со своего места поднялся невысокий крепыш; он сидел во главе стола, наверное, командир; в одной руке у него был рог с вином, в другой пистолет.

– Пью за то, чтобы нигде в мире не оставалось абреков и прочей контры! За то, чтобы мы всегда одерживали победы, подобные вчерашней! А ну, затяните-ка «Уро», что вы сидите как дохлые?!

«Уро-о-о!» – грянуло за столами. Крепыш приставил к губам рог и одновременно принялся, не глядя, палить из пистолета. Острие рога вздымалось все выше и выше, и, словно помогая своему командиру осилить эту непомерную тяжесть, его товарищи, все, как один, дружно выдыхали громовое «Уро!». Потом к этому оглушительному пению добавился и грохот выстрелов. Я никогда не слышал такой пальбы, да еще рядом и из такого количества пистолетов и карабинов, перепугал-

ся, зажал уши, уткнулся в колени Биде, однако летевшие в траву соблазнительно поблескивающие гильзы привели меня в чувство, я кинулся подбирать их и набил полные карманы...

Отец и мать уже ждали нас. Когда они увидели, что я, которого ничто не могло утешить, возвращаюсь счастливый и довольный, то очень обрадовались.

Между тем пора было и пообедать. Аробщики договорились отправиться куда-нибудь всем вместе. Мы зашли в какую-то харчевню, сели за стол. Взрослые принялись неторопливо беседовать – большей частью о том, как, за что и надолго ли посадили Прокопия. А мне даже имя его противно было слышать; если бы не он, у меня на ногах сейчас были бы те чудесные сапожки, я бы сейчас... Боясь вновь расплакаться, я встал и вышел.

Первым на улице привлек мое внимание мальчик; он ловко катил обруч от бочки изогнутой проволокой и все время кричал: «Бип-бип!» Это, вероятно, означало «сторонись!» и относилось к бесчисленным прохожим, путающимся у него под ногами. Мальчик тоже заметил меня и тут же подкатил ко мне свой обруч. Довольно долго он разглядывал газыри на моей черкеске, потом его взгляд уперся в мой ножик в красном чехле.

– Что это? – спросил он.

– Нож! – с гордостью ответил я и, вынув его, как по оселку провел по ладони лезвием.

– Дай поглядеть, а? – вплотную придвинулся ко мне мальчик, его черные глаза бегали из стороны в сторону, так быстро, что казалось, вот-вот вылетят из глазниц; он был бос, волосы на голове встрепаны.

Я постеснялся дать ему ножик один, без всего, отвязал чехол от пояса и все вместе протянул ему. Тот взял, восхищенно завертел в руках, разглядывая ножик со всех сторон, и вдруг, ткнув рукою в небо, крикнул:

– Ух ты, смотри!

Я послушно задрал голову вверх, надеясь увидеть там нечто любопытное, и в этот миг мальчик сорвался с места и кинулся от меня наутек. Только тут до меня дошло, что меня облапошили.

– Стой! Погоди! Отдай мой ножик! – закричал я и бросился вдогонку.

Увидев, что его настигают, коварный мальчишка круто свернул в сторону и юркнул в какие-то двери, я влетел за ним и оказался в харчевне, только побогаче той, где сидели мои родители.

Толстяк в белом халате, по всей видимости буфетчик, увидев меня, изумленно вытаращил глаза.

– Гляньте-ка на него, только что, наверное, из лесу прибежал! – загоготал он, показывая на меня пальцем.

Мужчины, сгрудившиеся за столами, повернули головы и уставились на меня. А я, не обращая внимания на их смех и шутки, стоял, озираясь по сторонам, и лихорадочно соображал, куда мог подеваться мой обидчик – не провалился же он сквозь землю?!

Следивший за мною буфетчик оставил прилавок, подошел ко мне и присел на корточки:

– Ну, пастушок, расскажи нам, где ты бросил своих козочек? – И опять захохотал, распахнув перед моими глазами жаркую пасть с неровными, вытянутыми вперед зубами, и зашелся, затряс жидкими усами, выкатил розовые глаза.

И вдруг из-под прилавка вынырнул и встал рядом с буфетчиком мальчишка, тот самый, за которым я гнался. И мой ножик мне показывает, дразнится. Я налетел на него быстрей, чем ястреб на цыпленка, сшиб его с ног, покатился с ним по полу. У самых дверей чьи-то сильные руки внезапно остановили побоище, растащили, отодрали нас друг от друга. Я поднял голову и увидел Биду. Ободренный его присутствием, я вновь налетел на своего обидчика и одним махом вырвал у него ножик.

– Эй ты, столб телеграфный, чего лезешь не в свое дело? Оставь их, поглядим, кто кого! – крикнул буфетчик и упер кулаки в жирные бока.

– Помолчи,– негромко сказал ему Бида и чуть потянул за рукоять свой кинжал.

Буфетчика как ветром сдуло.

Ближе к вечеру мы покидаем город. Я лежу на арбе, почти у самого заднего края, на разостланной бурке, а отец с матерью сидят впереди, правят. Настроение у них, судя по разговору, неважное: дедушкин архалук совсем износился, а сатину на новый так и не удалось купить; Гущка уже барышня, ее на люди надо выводить, показывать на свадьбах, похоронах, поминках, а выводить-то и не в чем...

...Даже гостю нормальной постели приготовить не можем, видно, придется самим ткать – и на простыни, и на наволочки. А из чего ткать-то? Хлопок – чтоб он совсем сгорел! – почти не уродился, – тихо жалуется мать.

– Не горюй! – утешает ее отец. – Это все временно, скоро всего навалом будет – и мануфактуры, и обуви! Наши внуки и захотят сыромятные чувяки найти – да где там, нет уж, днем с огнем не сыскать!

Но временами и им овладевают тревожные раздумья, и тогда разговор совсем обрывается.

Ползет арба, плывет, раскачивается, как колыбель, и веки мои набухают сном, тяжелеют, я начинаю задремывать... И вдруг сон как рукой снимает: все, что я увидел и испытал сегодня, вновь проносится перед глазами, а мне вовсе не хочется вспоминать, каким я представлялся себе в тех чудесных красных сапожках, почти было уже моих, не хочется вспоминать противного мальчишку, так подло выманившего у меня мой ножик... У-у-у, как ненавижу я этого жирного, во всю свою пасть хохочущего буфетчика! А припомнив, как сам я, плача навзрыд, шел через весь город, мне становится так стыдно, что я со стоном закрываю лицо руками...

Вокруг уже основательно стемнело. Черное бархатистое небо унизано роями золотистых звезд, мягкий вечер укутал мир в блаженную тишину, и в ней звенит, разносится, ласкает душу голос поющего Биды:

Два вола, одна упряжка –
На двоих одна судьба.
Нелегко шагать им, тяжко,
Тяжела, как жизнь, арба...

VII

Мать и девочки собрали хлопок (тот самый, на который она жаловалась отцу, что плохо уродился), в корзинах снесли его на веранду, раскидали по полу, разровняли...

Когда через несколько дней мать на пробу распотрошила одну коробочку и убедилась, что хлопок хорошо просох, она вынесла на веранду чичигу и усадила за нее Гущку и Мачич. Сестры поочередно крутили ручку, и по одну сторону чичиги сыпались черные семена, а по другую ползло из-под валика уже готовое для пряжи волокно. Я тоже покрутил немного чичигу, но это оказалось совсем не так легко, как представлялось издали,– руку свело от напряжения, она онемела, перестала слушаться, и я отошел.

Скоро мать начнет прясть, для нее и для моих сестер уже заготовлены и веретена и прялки. Работа эта очень ответственная, да и мать строго следит, как она выполняется: ведь если нитка выходит неровной, где тонкой, а где толстой, да вдобавок еще и плохо скручена, распускается, ткать потом очень и очень тяжело, и холст получается рыхлый и бугристый. Но пока им не то что ткать, но и прясть рано, и вот они сидят на веранде и лущат хлопок, выщипывают его из коробочек.

А дедушка устроился в тени ореха за амацуртой и неторопливо плетет корзины. На сегодня он остался в доме единственным мужчиной, – отец и дядя Элизбар, прихватив с собою тетю Мари, отправились на похороны, им оттуда до ночи не выбраться.

Я подошел к дедушке и встал перед ним.

– Ну-ка отгадай, Лаган, что это значит: отец прям, мать крива, а сын безумный? – спросил дедушка, озарив меня взглядом своих добрых, полуприкрытых веками глаз.

– Лоза, взрослое дерево и вино, – без запинки ответил я.

– О Господи, Отец наш небесный, дай ему первым видеть созревающий виноград! – благословил меня дедушка, снова принимаясь за корзину.

День уже клонился к вечеру, закатное солнце золотило каминную трубу, крышу дома, верхушки деревьев...

И вот в эту-то мирную пору, когда все мы спокойно занимались своими делами, к нам нежданно нагрянула беда.

Как из-под земли выросли перед дедушкой двое мужчин. Лица их были закутаны башлыками, на груди крест-накрест пулеметные ленты, набитые патронами. Один из них, коренастый, приземистый, был вооружен винтовкой, другой, худой и длинный как жердь, – револьвером.

– Добро пожаловать! – сказал дедушка, но по тому, как он глянул на этих двоих, стало ясно, что их приход ему не по душе.

– Добро не добро, а пожаловали, встречай! – бросил ему в ответ коренастый, не поднимая головы.

– У нас к тебе дело, Бежан, но не хочется говорить о нем на улице, проводи нас в дом! – потребовал долговязый.

– Ну что ж, если так, то прошу. – Дедушка покорно встал и пошел вперед, по дороге он прихватил меня и за руку повел за собой.

Мы поднялись в дом. Дедушка вошел в зал, сел на скамью, долговязый устроился напротив него на стуле, а коренастый передернул

затвор винтовки и остался в дверях, то и дело выглядывая наружу и осматриваясь.

– Невестушка, дорогая, иди сюда, все идите, а то наши гости волнуются! – крикнул дедушка моей матери.

Перепуганная мать вместе со всеми моими сестрами тотчас явилась на его зов.

– Нам срочно требуются деньги, а времени у нас в обрез, так что пошевеливайся, – раздельно сказал долговязый.

– Какие деньги?! Да вы что! Мне соль купить не на что, а уж чтоб про запас их держать... Видать, кто-то подшутил над вами, – с горькой усмешкой начал дедушка.

– Ты нам басни не рассказывай! – перебил его коренастый и осклабился, обнажив прокуренные зубы. – Соль ему купить не на что... Да я тебе несколько человек назову, кому ты ссужал под проценты деньги! Если не хочешь, чтоб все твое хозяйство в дым обратилось, выкладывай монеты, да поживее!

– Давай, давай, не прибедняйся! Ты сейчас важная птица стал, чужой землей, как своей, распоряжаешься, раздаешь направо и налево кому вздумается!

– Мы живем так, как велит новый закон, и если мы поделили землю, то поделили сообща и честно. Разве я хоть клочок присвоил себе? – рассердился дедушка.

– Чего теперь бояться тому, кто не побоялся поднять руку на земли Чачба? – ехидно заметил коренастый.

– Ну ладно, хватит болтать... Слушай, ты, старая развалина! Если хочешь умереть своей смертью, выкладывай деньги, говорю, нам некогда с тобой шутки шутить! – И долговязый щелкнул, взводя курок.

– Эх, сынок, сынок, сам видишь, сколько я прожил, но, кроме тебя, никто еще не оскорблял меня так, – сказал дедушка, и его голова затряслась.

Девочки с плачем уцепились за мать, а я стоял у стола и не знал, куда деться. Тут мать дернула меня и спрятала за спину.

– Последний раз говорю: или раскошелишься, или тут же кончим тебя, выбирай! – Коренастый вскинул винтовку и прицелился в дедушку.

Сестры и мать заголосили.

– Если вы мужчины, то и поступайте как мужчины, незачем пугать женщину и детей! – Дедушка резко поднялся со скамейки. – Пусть они выйдут во двор, а потом стреляйте в меня! Не бойтесь, не убегу!

В этот момент произошло самое неожиданное: к нам во двор кто-то въехал – хлопнули ворота, послышался перестук копыт.

– Хозяин дома? – крикнул всадник, да так громко, что и соседи, наверное, услыхали.

– Дома, дома! – ответил дедушка.

Не обращая внимания на винтовку, направленную в него, он быстро прошел на веранду. Вслед за ним всей толпой выбежали и мы. А растерянные абреки остались в зале, не зная, на что решиться и что предпринять.

Спустившись вниз, мы узнали, что дом наш окружен милицией, давно уже преследующей этих бандитов. Вместе с милиционерами в оцеплении стояли и наши односельчане: председатель сельсовета Махаз, писарь Тамел, мамин брат Танас...

Как только всадник, гарцевавший посреди двора, увидел, что мы спустились с лестницы, он спрыгнул на землю, выхватил пистолет и стрелой промчался мимо нас в дом. «Ни с места! Бросай оружие!» – донесся из зала его голос. В тот же миг через задние двери в зал ворвались милиционеры. Абреки не успели даже глазом моргнуть, как оказались разоруженными. Им заломили руки за спины, связали и погнали по лестнице. Внизу с их голов сорвали башлыки, и все увидели их лица. До сих пор помню узкий шрам на лбу долговязого, а вот лицо коренастого не запомнилось. Наверное, без особых примет было лицо как лицо...

Вот что я узнал позже об этом деле. Два этих абрека явились сюда из чужого села, – кто-то (но кто – неизвестно) наплел им, что дедушка занимается ростовщичеством, и передал, что отец с братом и часть соседей ушли на похороны; будь они дома, вряд ли бы абреки осмелились напасть на нас. И что гадать: кто? Недовольных разделом земли было много... Спасло нас то, что чужих людей, вошедших в село с оружием, заметили и сообщили об этом в сельсовет, а там связались с Очамчырой и вызвали милицию. Тем временем, пока милиция не прибыла, за абреками была установлена настоящая слежка, руководство знало о каждом их шаге. Узнав, что они направляются к нам, подоспевшая милиция быстро окружила дом и устроила засаду. Танас и Тамел сумели пробраться во двор, сели под домом – он ведь был на сваях, не меньше чем на метр приподнят над землей, – прямо в том месте, над которым находился зал. Они слышали и разговор абреков с дедушкой. На всякий случай – если бы завязалась перестрелка – решено было удалить из

дома женщин и детей, то есть мать и меня с сестрами, для чего к нам во двор и был послан всадник, разыгравший роль гостя...

В тот вечер дедушка долго еще не мог успокоиться, метался по двору, хотя все наши давно уже дожидались его к ужину.

Улучив момент, я подбежал к дедушке и тронул его за локоть, мне хотелось, чтобы мы вместе вернулись к родным.

– А, это ты, Лаган... Что, не хочешь оставлять одного своего дедушку? – спросил он, догадавшись, с чем я пожаловал. – Ну-ка, где там твоя звезда?

Мы взглянули на небо, но не увидели ни единой звезды – вся западная половина была затянута белесыми облаками. Дедушка положил мне руку на голову и, ероша волосы, повел в амацурту.

* * *

Из разговоров я знал, что Бида чуть ли не с рождения пас коз, жил в горах, был прекрасный охотник, – когда бы и куда бы он ни отправился с ружьем, лесные боги всегда посылали ему удачу. Потом, неожиданно для всех, он вдруг сбыл с рук все свои стада, спустился с гор и с того дня ни разу не поднимался на них.

Но не лежала у него душа к размеренной крестьянской жизни, и его подлинной страстью стало объезжать лошадей. И видел, как он это делает: заведет жеребца в конюшню, изловчится, оседлает его и тут же, не дав опомниться, вспрыгнет ему на спину; жеребец крутится в тесноте, лягается, взбрыкивает, пытаясь избавиться от наездника, вырваться на свободу, но деться ему некуда, всюду стены, да и Бида крепко держится в седле и все туже натягивает поводья. И так до тех пор, пока жеребец не начнет исходить пеной. Тут Бида вылетает во двор и принимается гонять его по кругу.

Мать и сестры рвутся к нему, кричат: «Слезь, расшибешься!» – а Бида знай себе сидит да посмеивается басом.

Я уже обмолвился о той внезапности, с какой Бида оставил горы. Такой крутой поворот в его жизни вызвал, конечно, немало толков. «Не иначе как русалка его смутила, – уверяли одни. – Если б не она, разве бросил он горы? Ведь он их больше всего на свете любил!» – «Именно русалка, кто же еще! – вторили им другие. – Она и сегодня ему покоя не дает. Хоть один из вас видел, чтобы Бида полез в воду? Даже своего коня и то сам не купает, просит кого-нибудь...»

Надо сказать, что в характере и поведении Биды была некая странность – она-то и давала повод для подобных разговоров. Один, а то и два раза в год Бида неожиданно срывался и на пару недель исчезал из села; домой возвращался изможденным, с темными кругами под глазами, но где был, где пропадал и что делал – никто, включая родных, не знал и даже не догадывался; сколько бы ни расспрашивали его об этом, он молчал, будто воды в рот набрав.

Бида часто заглядывал к нам в гости, и я еще маленьким обратил внимание на пугающе резкие перепады в его настроении: вчера он был весел, оживлен, пел, шутил, смеялся, а сегодня... Сегодня он сидит мрачный, смотрит неподвижно в одну точку – и молчит, молчит...

Как-то у дедушки случился очередной приступ головной боли. В ужасном состоянии он лежал в своей постели, а вокруг стояли и сидели соседи, пришедшие облегчить его страдания. Между ними был и Бида. Настроение у него на сей раз было превосходное, он беспрестанно шутил, был остроумен и словоохотлив.

Заметив, что Бида в хорошем расположении духа, собравшиеся стали наседать на него, полушутя-полусерьезно требуя, чтобы он наконец поведал им, куда исчезает время от времени, а также про то, как повстречался с русалкой.

– Ты же с рожденья в горах, любишь их, так чего же удрал оттуда?

Не однажды приступали к нему с такими вопросами, но Бида всегда умел уйти от ответа. Сегодня, однако, он не стал отмалчиваться – должно быть, ему до чертиков надоели эти нелепые бредни, ходившие про него; он придвинул стул поближе к очагу, уселся и начал рассказывать:

– Ну, слушайте, все равно, чую, не отстанете от меня, пока всего не выпытаете... Прежде всего о русалке. Не буду настаивать, что я ее видел. Но что не видел – тоже не могу сказать. По себе, наверное, знаете: иногда сон так похож на явь, что и не разобрать, где одно, а где другое. Чаще всего такое случается в юности. Вот и со мной случилось нечто подобное...

Когда я был пастухом, я, как вы помните, всегда был со стадом, каждый год на все лето уходил в горы и так привык к такой жизни, что иной уже и представить не мог. И охотой в ту пору я очень увлекался.

Тем летом я, как всегда, был в горах, пас свое стадо. И вот однажды пошел на охоту. Выследил диких коз, иду за ними, а они словно заманивают – не уходят, но и на выстрел не подпускают. Далеко они завели

меня тогда... А уже темнело, до ночи я бы никак не успел вернуться, и пришлось мне искать ночлег прямо тут, где оказался, – среди ледников, у горного озера. Нашел небольшую пещерку поблизости, расположился. Костра разводить не стал – где там дрова найдешь? Лед да камень. И темно уже совсем. Так что я завернулся в бурку и лег спать... Конечно, если б я пораньше спохватился, я б ни в жизнь не рискнул ночевать в таком месте: здесь, в этом озере, говорят, жила сама Дзызлан, многие слышали, как она смеется, а некоторые, по их словам, даже видели ее.

Утром, едва рассвело, я проснулся и тут же услышал хохот, он несся как раз со стороны озера. Я, конечно, мигом сообразил, кто это. И так мне не по себе вдруг сделалось, что хоть ложись да помирай. Не хочу его слышать, этого хохота, затыкаю уши, норовлю в самый угол забиться, спрятаться куда-нибудь, но меня будто кто тянет из пещеры, какая-то сила... И вот я встал, выбрался наружу и взглянул на озеро. И вот что увидел... Все озеро покрыто летучим утренним туманом, а посередине его, прямо на воде, стоит Дзызлан, совершенно голая, разделила надвое свои длинные полосы, держит их в руках и то этим боком повернется, то тем; то вперед шагнет, то назад, точно танцует. И ведь не тонет, не проваливается – стоит, будто не вода под ней, а земная твердь. И смеется. Невозможно вынести этот смех... Ну, заметила она меня – и ко мне потихоньку, а сама глядит, глаз не спускает. И я к ней навстречу двинулся, не хочу, а иду. Не знаю, чем бы все кончилось, но я, видать, не совсем еще был околдован ею, соображал немного, потянулся за кинжалом, шевельнул рукой – и в тот же миг проснулся.

Или очнулся. Не знаю... Короче, пришел в себя, вижу: стою у самой воды, солнце прямо в глаза светит, слепит, озеро спокойно, чисто, только по краям еще пар клубится... Меня колотит всего, пот льет – взмок так, будто только что из воды вылез. Ну, потом встряхнулся – и бегом к стаду, радуясь, что жив остался...

Вот, пожалуй, и все; как было, так и рассказал, не прибавил и не убавил. А вы как хотите, так и понимайте. Поверите – хорошо, не поверите –тоже не обижусь. Только, уважаемые, вот что прошу заметить: не знаю, что это было на самом деле, сон или явь, но именно это перевернуло всю мою жизнь, все в ней с ног на голову поставило. Да-да, перевернуло, клянусь создателем. Пусть на теле, когда я вернулся на стоянку, ни одной раны не было, ни одной царапины, но внутри-то у меня все разладилось! Чуть стемнеет – и мне повсюду мерещится эта проклятая Дзызлан. Лягу спать, а заснуть не могу – снова ее ржанье

слышу... Но это еще не все. Меня вдруг ни с того ни с сего стали раздражать козы – блеют, суетятся, лезут куда не надо. Появился какой-то страх: иду, например, по горной тропинке – и все кажется, что вот-вот сорвется какой-нибудь камень и прибьет меня. Или встану у скалы, а скала сейчас рухнет и придавит. Или вода... Воды начал бояться! Думаю: войду в нее, а она в кипяток превратится, сварюсь заживо... Странным стал, дерганым, сам на себя не похож. Прежде я таким не был. Я с детства жил в горах, привык к ним, они для меня как родные были. Если и есть в мире что-то чистое и прекрасное, так это горы. Вот как я считал раньше. И вдруг они опротивели мне, я и их начал бояться, подозревать в хитрости и коварстве! Разве можно было оставаться среди них? Вот и пришлось мне спуститься вниз, продать стадо и поселиться в селе.

Ну, а главное, ради чего, собственно, я поведал вам свою историю, это вот что: люди, их близость, даже простой разговор с ними – целебный бальзам. Когда я оказался здесь, среди людей, я исцелился, выздоровел, меня покинули мои страхи, которые, как черные тучи, заслонили собою мир. Хотя, если честно, я и сейчас побаиваюсь, что рана, нанесенная мне в сердце у горного озера, не залечена до конца и может открыться в любую минуту. Вот почему я не хочу бередить ее лишний раз...

Бида уже давно закончил рассказ, а присутствующие все молчали, будто боясь помешать ему.

– Прими мою благодарность, Бида, за то, что был так откровенен с нами, – нарушил тишину дедушка и благословил его: – Пусть ждет тебя впереди только счастье!

Огонь в, очаге угасал, и дядя Элизбар вышел на веранду, чтоб принести дров.

– Ну, с Новым годом вас, с первым снегом! – раздался вдруг его бодрый голос.

Мы высыпали во двор. С неба густо валил снег, устилал землю ковром – нежным, чистым, на котором не было еще ни одного следа. Проваливаясь по щиколотки, мы все – и дети, и взрослые – принялись лепить снежки. Кто-то запел, но песня тут же затерялась в снегопаде, будто и ее присыпало снегом:

Снег мелькает и кружится,
Лис надумал пожениться,

А завистник – серый волк
Лишь зубами щелк да щелк!..

* * *

Голые пашни, где глазу было не за что зацепиться, кроме комьев вывернутой земли, подернуло зеленью дружно поднявшихся всходов; стоило ветру пройтись по полю, и ростки, как живые, начинали волноваться, махать слабыми листочками, будто зовя на помощь. «Быстрее, быстрее идите к нам, спасите от лютой дурной травы!» – чудилось мне в их легком шелесте.

Когда пора эта была совсем близко, дедушка, отец и дядя Элизбар доставали свои мотыги, которыми они дорожили как оружием. Даже если острие у них не слишком искрошено, все равно мотыги понесут в кузницу, чтобы там наварить на них новую сталь. Но прежде наши мужчины отправлялись в лес, жгли уголь из сухого дуба. И только потом, когда его было уже вполне достаточно, дедушка с горкой наполнял им корзину, пристраивал сверху мотыги, топоры и прочее, что требовало закалки, взваливал себе на спину эту тяжесть и шел к кузнецу Заме. А следом за ним вприпрыжку бежал и я – для меня в кузнице тоже находилась работа...

Я раздувал мехи, а передо мною бил молотом по раскаленному металлу, ворочая его на наковальне длинными клещами, кузнец Зама. Зама – настоящий мастер: стоило ему хоть разок глянуть на какую-то вещь – будь это рабочий инвентарь или даже оружие, – и он мог сделать потом точно такую же. Я всегда поражался, глядя, как играючи взмахивает он тяжеленной кувалдой и как послушно плющится под его ударами железная поковка.

Сероглазый, рыжий, густые и тоже рыжие усы залихватски закручены, мощные мышцы на груди и руках прямо-таки распирают рубаху... Но Зама, увы, калека, у него сухие ноги, и они совсем не держат его – он и на костылях-то передвигается с трудом. Пути дальше пределов кузницы для него нет...

Наварив на лезвия сталь, закалив их, мы возвращались домой и сразу же, не откладывая на завтра, насаживали мотыги на черенки. Черенки делались непременно из орешника: ошкуренные жерди для них еще осенью клали на балки, под самую крышу, и всю зиму они коптились, как сыр, в дыму очага, потом их доставали оттуда, обстру-

гивали острым ножиком – так гладко, что они, казалось, выскальзывали из рук.

«Завтра первая прополка... Вы готовы, мужчины?» – спрашивал за ужином дедушка, хотя и сам прекрасно знал, что готовы. И как только рассвет делал первые шаги по земле, они клали мотыги на плечи и шли в поле.

Порой и я увязывался вместе с ними, – у меня была своя, маленькая, специально для меня изготовленная мотыга... Мы, все четверо, становились рядом друг с другом в конце поля, как бегуны перед забегом, и готовились начать каждый свой ряд. Но первым начинал дедушка. Благословив землю, он вонзал в нее мотыгу, и мы дружно принимались за работу. Мое место было между дедушкой и дядей Элизбаром, я с наслаждением вслушивался в звуки размашисто загребаемой земли, которой окучивались кукурузные всходы, и пытался орудовать так же быстро и точно, но угнаться, конечно, не мог – руки еще плохо слушались меня, и мотыга то во влажном комке увязнет, то отскочит в сторону, чиркнув по камню, то вместо сорняка кукурузу снесет. «Ничего, не беда! Если будет расти слишком густо, хилой вырастет!» – подбадривал меня дядя Элизбар и возвращался назад, шел по моей полосе, исправляя огрехи.

Но, прогнав пару полос, мне становилось скучно, неинтересно полоть, и я отправлялся в тень одинокой ольхи. Никто не спрашивал меня ни о чем, не стыдил, не пытался вернуть. Бросив мотыгу, я доставал свой ножик и пускался на поиски подходящего материала для строительства шалаша или же подолгу наблюдал за горлицами, деловито, с чувством собственного достоинства разгуливающими по земле и непрерывно воркующими; меня завораживала их удивительно красивая и важная походка. А потом я спускался к ручью, приносил кувшин, в котором звенела вода, поил своих...

Чего мне было желать еще? Надо мною сияло безоблачное небо детства, вокруг меня блаженно раскинулся уютный мир, он слал мне, как солнце тепло и свет, одни только радости.

* * *

В пору прополки крестьяне каждый полдень собирались под липой у Рассеченного камня – там постоянно дул легкий, освежающий ветер, не было мух, а трава росла – мягче пуховой перины. Поваляются не-

много, немного подремлют, кому же не спится – болтают о том о сем, играют в ножики...

Вот и в тот день они, как всегда, сидели под липой. Только что пообедали; женщины, приносившие еду, поставив порожнюю посуду на голову, уже спускались вниз, и в это время на холме появился Зафас. Увидев балагура, крестьяне оживились, задвигались, садясь поближе к Зафасу; поднялись даже те, кто намеревался соснуть полчасика.

– Где это ты пропадал до обеда? – нетерпеливо спросили его, не дав даже устроиться поудобней.

– Два государства собрались идти войной друг на друга, да я не допустил, вызвал к себе их правителей и помирил, – охотно ответил Зафас.

– Рассиживаться нам некогда, работы еще полно, так что давай веселии нас, Зафас, не тяни время!

– Расскажи, как ты у Хилкан табак покупал!

А тому лишь бы не работать. Однако для приличия помялся немного:

– Ну, налетели, как птицы на сову... Видать, пока своего не добьетесь, не успокоитесь, да и меня в покое не оставите... – Зафас бросил окурок, растер его пяткой, оглядел всех, словно пересчитывая, и начал: – Ну ладно, слушайте... Вышло у меня однажды курево, помираю просто. Сами знаете: если хочется курить, так ничем не спасешься, как от зубной боли... Вот и пошел я к Хилкан. Прихожу и говорю: так, мол, и так, ради всего святого, со вчерашнего дня не курил, сил нет терпеть больше, дай табака! И не бойся, говорю, я же не милостыню прошу, обязательно заплачу, только вот сегодня ничего нет... Хилкан подумала-подумала да и выложила мне три свертка. А табак такой – ну прямо светится весь, пылает, красный, как губная помада, а уж запах и описать невозможно... Взял я два свертка, а третий ей возвращаю, пусть, говорю, это пока у тебя побудет вместо залога, заберу, когда деньги заплачу.

Закурил прямо тут же, при ней, и домой отправился, иду дымлю вовсю.. Ну, месяц прошел, другой, третий, а я все не несу Хилкан деньги. Как-то встречаюсь на дороге с двумя приятелями, стоим разговариваем. А у нас в селе как раз свадьбу у кого-то играют. Пойдемте, говорю, поздравим молодых, – глядишь, и нам по стаканчику поднесут. Да что ты, отвечают они, разве можно? Как идти, куда не звали?! И дальше в том же духе... Ну, заспорил я с ними, а они со мной.

Тут откуда ни возьмись Хилкан! «Слыханное ли дело! – напускается она на меня. – Табак взял, а деньги не несешь!» – «О чем ты говоришь, дорогая Хилкан? – отвечаю я. – Какие деньги? Я же тебе залог оставил! Забыла, что ли?» – «Залог?.. А ведь и впрямь забыла! Прости меня, Зафас! – сказала Хилкан и уж было отправилась восвояси, да остановилась, может, ей стало неловко, что напрасно меня обидела, и спрашивает: – А о чем вы тут так громко спорите?» Ума не приложу, зачем ей понадобилось узнавать об этом, но ведь глупость – как крутая горка: покатишься по ней – удержаться трудно. Как же не спорить, говорю, коль такая трудная задача досталась, нам троим, говорю, поручили разобраться, каких женщин на свете больше: глупых или умных? Эти двое утверждают, что умных, а я – наоборот... Как бы нам это выяснить, дорогая Хилкан? Она, как услышала такое, побагровела вся, подхватилась и прочь от меня. С той поры даже близко не подходит...

Долгое время под липой не смолкал смех. Вместе со всеми смеялся и Зафас, но я видел только, как трясутся да вздрагивают его усы, как растягиваются, округляются губы, видел его обнажившиеся зубы, но смеха его не слышал.

– Хорошо, Зафас; да мало, давай еще! – раздались голоса.

– Я бы рассказал, да боюсь – животы надорвете! – улыбался тот.

– Ну хоть про черкеску Шахана – и все, хватит на сегодня!

– Про черкеску, про черкеску давай! – посыпалось со всех сторон.

Когда наконец установилась тишина, Зафас начал новую байку:

– Все вы, конечно, хорошо помните Шахана, дай вам бог здоровья, но я все-таки напомню, как он выглядел... Если бы кому-нибудь из вас попалась на дороге сорокаведерная бочка на двух коротких ножках, то можно было бы смело говорить, что вы повстречали Шахана. Да, такой он был низкорослый и пузатый, без всяких даже намеков на талию или ее подобие.

Как-то Шахан пошил себе новую черкеску, вырядился в нее и вышел прогуляться. Идет он, встречает приятелей, стоит с ними, красуется в своей обновке, и тут, на его беду, я подхожу. «О, Зафас! – кричит он мне как лучшему другу. – Ну-ка, у тебя глаза зоркие, глянь, как на мне сидит новая черкеска!» И начинает крутиться передо мной. То так, то эдак повернется, а сам – сплошное брюхо, не разберешь, где зад, где перед. И ремень на нем – как обруч на бочке. Смотрел я, смотрел на него и говорю: «Знаешь, что тебе нужно сделать, Шахан? Ты закажи себе еще одну черкеску, напяль на эту задом наперед и вторым ремнем

подпоясайся, пряжкой на спину. Может, хоть тогда люди перестанут гадать, где у тебя зад, где перед». Ну, тут Шахан так разошелся, что даже приятели его удержать не в силах. «Да как ты посмел сказать мне такое?! Ты, гнилое брюхо!» – кричит он мне. А я в ответ: «Ха, да ведь именно это я и хотел тебе сказать! Как тебе удалось опередить меня?» Шахан совсем обезумел, рвется ко мне, вопит: «Да я тебе за такие слова глотку сейчас перерву!» А я ему совершенно спокойно отвечаю: «Ты и дотянуться-то до нее не сможешь из-за своего брюха!» Так он и остался стоять с выпученными глазами, и язык от злости проглотил...

– Однако, уважаемые, пора и честь знать – давно за полдень перевалило, – раздался вдруг голос дедушки.

Крестьяне начали подыматься с травы; опередив всех, я подбежал к липе и стал подавать каждому его мотыгу, – они стояли здесь все вместе, прислоненные к стволу, и не просто было угадать, какая из них чья.

Закинув на плечи свои орудия, переговариваясь, крестьяне спускались с холма и расходились по своим наделам. Один лишь Зафас не торопился, шел позади всех и отставал все больше.

VIII

«Вечной дойной коровой» называл огород дедушка. А для матери он был своего рода кладовкой, хранилищем всевозможных съестных припасов – всегда свежих и, так сказать, уже готовых к употреблению. Она шла сюда то за пучком киндзы, чтобы заправить сваренную фасоль, то за луком или редиской к обеду, несла отсюда петрушку, укроп, арахану для аджики. Да мало ли еще чего! За день ей приходилось не меньше трех-четырех раз наведываться в огород, и его поэтому разбивали в самом дворе, поближе к амацурте. Так что зелень и овощи были у матери под рукой.

Но на одном месте огород больше трех-четырех лет не держали, переносили на новое. Земля, считалось у нас, тоже теряет силу.

Как только весеннее солнце основательно прогревало оттаявшую землю, как только разносился по окрестным лесам и рощам оживленный перестук дятлов, радующихся прибавлению дня, в один из ближайших четвергов мать, разгоняя пар над чашей с вареными хлебцами, уже знакомыми вам, направлялась к огороду. Здесь, поставив рядом, с собой дочерей, стянув с головы белую праздничную косынку, она обращалась к Джадже:

О Джаджа животворящая,
Благослови наши труды,
Пусть взойдет и укоренится
Посеянное нами!..
Солнышком пригрей,
Дождиком полей –
Пусть всходы качаются,
Гнутся, да не ломаются,
Соками наливаются...
О Джаджа, о кормилица,
Ввек твоя милость славится:
Поглядишь – не отымется,
Не отымется, а прибавится...

Закончив молитву, мама и девочки начинали сажать и сеять...

Когда я вспоминаю наш огород, его запахи, меня охватывает такое чувство, будто я сижу за столом, заставленным множеством лакомых блюд, и вновь в мельчайших подробностях видится мне тот клочок земли, который мать умела сделать столь щедрым и изобильным... Вот ветерок шевелит, перебирает киндзу, я нагибаюсь, глажу ее густые кудри, с которых скатываются и бьются серебряные шарики росы, – она так нежна, что кажется пухом на темечке младенца. В нескольких шагах за нею – тугие зеленые стрелки чеснока, лука-порея на белых, словно из кости выточенных, ножках, дальше капуста кольраби, увенчанная коронами из широких и точно заиндевевших листьев, полосою алеют вдоль всего огорода заросли перца, каждый стручок будто пламенем налит, светит тебе как фонарик...

...Вечер. Мать копается в огороде – на сей раз он неподалеку от ворот, – пропалывает тяпкой грядки с луком; время от времени она наклоняется, выдергивает с корнем сорняки какие покрупнее, отшвыривает их к изгороди. А я, похрустывая только что сорванным огурцом, сижу на заборе и дуюсь на мать за то, что днем она не пустила меня на речку поиграть с ребятами, которые пасут там буйволов.

Раскаленное солнце погружается в море, и на мир обрушивается огненный ливень заката, в нем тонут и горы, и дом, и деревья, красной краской течет он по белым стволам платанов... Вдруг какой-то человек остановился у наших ворот; заметив мать, въехал во двор, соскочил с коня, накинул поводья на руку и смело пошел к огороду. Я не знал, кто

это, может, и видел когда, но не помню, и гляжу на него, как обычно смотрят на незнакомца. Высокий, ладный, выгоревшая черкеска до колен, на груди из-под нее выглядывает белый архалук, на поясе кинжал, – кинжал, правда, я не сразу увидел, его рукоять и ножны были так схожи цветом с черкеской, что почти сливались с ней, – руно на высокой папахе лоснится, отливает глянцем, кисточка белого, откинутого на плечи башлыка болтается между лопаток.

Когда незнакомец поравнялся со мной, я разглядел, что все лицо у него изрыто оспой.

– Бог в помощь, сестрица! – поздоровался он с моей матерью.

Я никогда не слышал, что у мамы есть такой брат, и очень удивился, но позже, когда получше узнал его, понял, что он всех людей, независимо от того, в родстве ли они с ним или нет, зовет братьями либо сестрами. «Каждый человек для меня сестра или брат!» – так это надо было понимать.

– Рада, рада видеть тебя, – приветливо ответила ему мать.

Повесив тяпку на сук, она поспешила к калитке навстречу гостю.

– Что-то совсем нас забыл, Чичин, – ласково упрекнула мать незнакомца. – Видать, дел много?

– Уж тебе ли не знать моих дел, сестрица? Что я, табуны через перевалы гоняю или барышничаю? Увы, увы... С утра до ночи кручусь по селу на своем сивом, в иные дни раз пятнадцать по одной и той же дороге проеду! Если кому взбредет в голову пройтись по моим следам, он увидит, что мой путь, как виноградные усики, – все кругами, кругами, кругами... – Незнакомец говорил, а сам, запустив руку в конскую гриву, нежно ворошил ее пальцами. – А ведь я к тебе по делу, сестра моя Чарымхан... Черкеску, которую ты мне сшила, я, как видишь, все еще ношу, хотя она уже порядочно истрепалась. А мне срочно нужна новая. Знаю, сестра, знаю, что тебе от меня, вечного скитальца никакой пользы и выгоды нет, но прошу, очень прошу, умоляю просто: сделай так – чего бы тебе это ни стоило! – чтобы завтра вечером она была готова.

С этими словами он снял сверток, притороченный к седлу, развязал его и выложил на руки матери отрез черного сукна.

– А что случилось, Чичин, радость или горе? Из-за чего такая спешка? – спросила мать, рассматривая сукно.

– Радость, Чарымхан, радость! Уговорил девушку, которая и слышать не хотела о замужестве. Скоро запоют свадебные песни!

– Это, конечно, хорошо, что еще два человека благодаря тебе будут счастливы, но не пора ли и о себе подумать, а?

– Что ты имеешь в виду, Чарымхан? – спросил Чичин и деланно засмеялся. – Ладно, ладно, сестра, не стану больше тянуть, найду себе невесту! Семь рек переплыву, семь гор перейду, а найду! Только ведь из тех краев лет десять до дому добираться... А это твой сын, если не ошибаюсь? Ну-ка, иди сюда, внук Бежана, иди, вот тебя-то я и пошлю за невестой!

Когда я встал перед ним, он взял меня за подбородок, поднял к себе мое лицо и, заглядывая в глаза, спросил:

– Ну что, согласен? Сможешь семь рек переплыть и семь гор перейти?

Я промолчал, и Чичин, отпустив и погладив меня по голове, вновь обратился к матери:

– О сестра моя Чарымхан, неужели я завтра облачусь в новую черкеску? Скажи мне, утешь меня, что я смею на это надеяться! Может, мерки с меня снимешь?

– Зачем? Сколько раз я шила тебе, и никогда не требовалось новых мерок. По-моему, ты и сейчас не изменился, все такой же, – улыбнулась мать.

– А кто это там на веранде сидит? Бежан, кажется? А разговаривает с кем? С Махазом и Танасом, если не ошибаюсь? Пойду-ка и я к ним, посижу, отдохну, послушаю умных людей. – И, взяв под уздцы своего сивого, Чичин направился к коновязи.

Отойдя на несколько шагов, он обернулся и весело прокричал моей матери:

– О сестра моя, скорей для меня черкеску сшей! Но учти: ее длина быть пристойною должна!

Намотав поводья на коновязь, Чичин двинулся к амацурте, на веранде которой сидел с гостями дедушка.

– Ну что за человек! – вздохнула мать, проводив его взглядом. – Всю жизнь мотается в седле, устраивает чужое счастье, а для себя до сих пор гнезда не свил! Так где-нибудь в чужом углу и отдаст богу душу...

С отрезом в руках мать пошла к дому. А я увязался за нею, очень мне понравился этот человек, хотелось еще что-нибудь узнать про него.

– Мама, а кто это к нам приехал? – спросил я, поднимаясь следом за ней по лестнице.

– Кто? Чины сын Чичин, музыкант и сват.

– А почему его зовут Чины сын? Это что, фамилия такая?

– Да с чего ты взял? Чина его родная мать, царство ей небесное!

– Странно, никого не зовут по матери, а его зовут. Почему?

Мать строго посмотрела на меня, ей явно не по душе пришелся мой вопрос.

– Почему, почему... Мал еще все знать, ступай лучше на веранду к дедушке, там, может, сказки сейчас рассказывают – посоветовала она, желая спровадить меня. Потом расстелила сукно на столе и вышла в заднюю дверь.

Я остался один в зале, стоял не зная что делать: то ли в самом деле пойти на веранду, то ли еще поспрашивать о Чины сыне Чичине... «Как созвучны их имена – его самого и его матери. И как ловко, как складно попросил он маму сшить ему черкеску! Да кто же он такой?!» – задумался я, а губы мои непроизвольно шептали эти сочные, перекликающиеся друг с другом слова, – будто два чирикающих воробья на веточке:

Чан-чин, чан-чин-чин,
Чина-чин, Чи-чин,
Чины сын, сын Чичин!

Один раз это вырвалось у меня чересчур громко, и я, боясь быть услышанным, зажал себе рот.

...В одном архалуке и в шлепанцах на босу ногу дедушка сидел на веранде, слушал, чуть склонив голову, Махаза, председателя здешнего сельсовета, которого одни по старинке называли старостой, другие – комиссаром. Это был рослый, смуглолицый мужчина с закрученными вверх усами; время от времени он поправлял их, разглаживал и говорил таким густым басом, что скамья под ним, казалось, ходуном ходит. Напротив Махаза расположился на табуретке его заместитель, Танас, младший брат моей матери. Глаза у него такие же синие, как у нее, волосы русые, а лицо розоватое, какое бывает у рыжих людей. Я был страшно доволен, что дядя посадил меня рядом с собою, да еще с того боку, на котором у него был наган в черной кобуре. Я украдкой любовался им и едва удерживался, чтобы не потрогать.

А на высоком стуле в углу, закинув ногу на ногу, опустив на колено сложенную вдвое камчу, сидел – неподвижно, точно перед фотокамерой, – Чины сын Чичин. Изредка он снимал с головы папаху и проводил рукой по седеющим волосам.

Уже стемнело, и собеседники едва различали друг друга в тусклом свете коптилки, вынесенной на перила.

– ...Поддержка народа нам обеспечена, а потому справиться с ними будет несложно. Давно пора очистить наше село от воров и грабителей, сколько можно терпеть их? – басил Махаз. Затем, загасив окурок, он повернулся к дедушке: – Но есть еще одно дело, прямо скажем, весьма щекотливое дело, и вот о нем-то, дорогой Бежан, мы и пришли с Танасом потолковать с тобой. Надеемся, что ты нам поможешь.

– Чем же я, дряхлый старик, смогу вам помочь? Я ведь и за ворота уже еле-еле выбираюсь. – Говоря это, дедушка выколачивал о ладонь трубку.

– Не говори так, уважаемый Бежан, не надо, твоя помощь для нас бесценна, – сказал Танас, стругая какую-то щепку ножом с белою рукояткой. – Чего за примерами далеко ходить? У всех на памяти, сколько ты сил и времени потратил на то, чтобы помирить две семьи, Абагба и Ахсалба, положить конец кровной вражде между ними. Целую неделю ходил, день за днем, но своего добился, помирил их. Кабы не ты, они давно бы друг друга со света сжили!.. А теперь нам нужна твоя помощь, Бежан.

– Сколько можно бегать в лавочку грека Янко, за любой пустяк переплачивать? Если мы найдем помещение, государство хоть завтра откроет в нем торговлю, устроит кооператив. Там все будет по твердым ценам... Так что дело сейчас только за помещением. – Махаз произнес эту речь на одном дыхании, он боялся, что начнет заикаться и не договорит. Такое бывало с ним, особенно если он начинал волноваться.

– Только-то? Да где вы найдете его, это помещение? Не думаю, что кто-то предложит вам свой дом, да еще даром. А строить самим... Нет, вряд ли вам будет это по карману, – сказал дедушка, постукивая по полу концом своего посоха.

– Да, конечно, государство пока не в состоянии помочь нам ни материалами, ни средствами. Так что ж теперь, сложить руки да сидеть ждать? По-моему, нужно самим попытаться придумать что-то.

– И что же вы предлагаете? – спросил дедушка, оглядывая сельсоветчиков.

– А вот что... Наша церковь с прошлого года на замке, ни одной живой души там не бывает, только мыши да воробьи. А ведь она из каштанового теса, материал замечательный, лучше некуда... Я тут посоветовался с одним по плотничьему делу, так он говорит, что этих до-

сок за глаза хватит для нового магазина, может, даже останется чуть... – Махаз заикнулся и сразу же замолчал.

– Думаем разобрать церковь и построить магазин поблизости от сельсовета, – продолжил его мысль Танас. – Все равно от нее никакого толка. И служить в ней некому, наш-то поп сбежал, опозорился из-за жадности, а нового все не присылают...

Наступила тишина. Чины сын Чичин замер, сидел затаив дыхание, слушал, только ноги иногда менял, перекладывал с одной на другую.

– Причем тут поп? Разве церковь виновата, что нам с попом не повезло? – негромко произнес дедушка и опустил глаза.

– А не замечал ли ты, дорогой Бежан, что люди в последнее время вообще редко ходят в церковь? Из-за попа ли, из-за чего другого, но... – И Махаз вопросительно посмотрел на дедушку, как бы предлагая тому высказаться на этот счет.

Но дедушка промолчал, только крепче прежнего стукнул посохом в пол.

– Удивительное у нас село, – не дождавшись дедушкиных слов, заговорил Махаз, то и дело останавливаясь и пережидая, когда кончит заикаться. – В одном конце церковь, в другом, поближе к горам, мечеть. Но если присмотреться повнимательней, то можно заметить, что одни и те же люди ходят и в церковь, и в мечеть. О чем это говорит? О том, что никто просто-напросто не верит в бога – ни в Христа, ни в Магомета.

– А мне жаль детей, тех, кто живут в предгорье, – вступил в разговор Танас, поддерживая своего начальника. – Школа стоит в центре села, от нее до них восемь верст! Легко ли, подумайте, ходить в такую даль детям? Да еще туда и обратно! Вот я и предлагаю закрыть тамошнюю мечеть и перестроить ее под школу.

И опять воцарилась тишина.

– Вижу, что не о себе печетесь – о людях думаете, это хорошо. Но скажу откровенно: не торопитесь! – заговорил наконец дедушка, уминая большим пальцем табак в трубке. – Церковь – святыня, и трогать ее не надо, да простит вам Бог ваши греховные помыслы!.. Когда в нашем селе еще не было своей церкви, люди ходили на богомолье в Мокву или в Илор; помню, какие толпы шли туда, особенно по праздникам. Да и я сам, как и все мои отцы, молюсь Илорской иконе, в ее честь у меня и кувшин с вином зарыт, отличное вино, хвала создателю! – И дедушка перекрестился.

– Бежан, дорогой, насколько мне известно, ты и мечеть стороной обходишь, и в церкви тебя не видели... Кому же ты молишься, а? Молчишь? Тогда я скажу. Только Джадже, Айтару, луне да солнцу – вот кому. Ну, и всем другим древним богам, – улыбнулся Танас, показывая свои белые зубы.

Дедушка огладил ладонью клинышек своей бороды и отвел глаза в сторону. Чувствовалось, что слова Танаса задели его за живое,

– Сынок, если даже дереву молишься искренне и чистосердечно, то твоя молитва все равно дойдет до истинного бога, каким бы именем ни называли его люди.

Дедушка произнес эти слова громче обычного; раскурив трубку, он сидел, пуская клубами дым. Было ясно, что им еще не все сказано, и поэтому никто, пока он курил, не нарушил молчания.

Докурив трубку, дедушка бережно положил ее на коробку с табаком, плотнее упер посох в плечо.

– Все, к чему привык народ, с чем сроднился и сжился, и все, что, как лоза дерево, обвило, опутало его душу, вы решили отсечь одним махом. И я заклинаю: не торопитесь! То, что вы задумали, может столкнуть вас с народом. Или оттолкнуть его от вас... Не забывайте, что всякого, кто решился осквернить святыню, поднять на нее руку, ждет кара, А божья ли она или народная – какая разница! Зачем вам навлекать проклятия на свою голову, ведь вы еще так молоды! – Дедушка положил посох на колени и, вскинув голову, пронзительно посмотрел на замершего Чины сына Чичина. – Ну, а ты что молчишь, как молодая невестка? Или тебя вообще не волнует то, о чем мы спорим?

Чины сын Чичин вздрогнул, встрепенулся, выкатил удивленно глаза. Он был похож на человека, который только что пробудился и вдруг обнаружил, что над ним склонились какие-то люди и чего-то требуют от него.

– Что мне сказать, дорогой Бежан? – начал оправдываться он, собирая складками полы своей черкески. – Мой бог скончался давным-давно, а точнее, когда я еще был в материнской утробе. Умирая, он ничуть не позаботился о моей судьбе. Что же я буду заботиться о его? Да и нужен ли храм человеку, у которого нет в душе бога?

– Ну, допустим, что это так, хотя зачем говорить такое?.. Но почему ты равнодушен к другим, у кого он есть? – упрекнул его дедушка.

– Бежан, дорогой, ну сам посуди: что я полезу в чужие дела, если в своих до сих пор не разобрался? – кротко ответил Чины сын Чичин и

поднял камчу на продетом в петлю пальце. Вероятно, он хотел дать понять этим, что ему время трогаться.

– Даже у птицы и у той есть гнездо, а у Чины сына Чичин – ни кола ни двора! – вмешался Махаз. – Неужели так трудно хоть ненадолго оставить сватовство да треньканье на ачамгуре и заняться устройством собственного дома? Сколько раз мы хотели дать тебе землю, звали, чтоб пришел и сам выбрал место, какое по вкусу, но ты так и не соизволил явиться. Что с тобой, почему не хочешь видеть, что сейчас другое время? Сейчас работать надо, трудиться, а не зубоскалить! Сейчас для трудолюбивого крестьянина все делается, все дороги ему открыты! – Махаз выговаривал эти слова так тщательно, будто нитку в иголку вдевал.

– Ах, дорогой Махаз, если я сын своей страны и если мне положен клочок земли, которым я вправе распорядиться по своему усмотрению, то прошу: отдай его лучше тем трудолюбивым крестьянам, о которых ты так красиво говоришь! Пусть его возьмут Бежан с сыновьями – они меня кормят, я греюсь у их огня... Гущка, сестричка моя милая! – неожиданно крикнул он, повернувшись в сторону дома, на веранде которого, белея в темноте кофточкой, стояла моя старшая сестра. – Неси-ка сюда быстрее ачамгур, быстрее неси, а то эти люди совсем засохли от своих бесконечных споров! Сыграю-ка я им что-нибудь душещипательное да и двинусь своим путем!

Гущка на мгновение исчезла в зале, вынесла ачамгур, мигом спустилась по лестнице и подала его Чины сыну Чичину. Тот положил на перила камчу, ачамгур на колени и принялся настраивать его, перебирая звенящие струны.

– Придвиньте коптилку поближе к нему! – заволновались все.

– Не стоит, спасибо, мне не нужен свет. Жана Ачба вообще был слеп, а звуки его апхярцы подымали даже мертвых. Душа, а не руки, заставляет петь и плакать ачамгур! Завтра я спешу на свадьбу, на настоящую свадьбу, хотя, как известно, свадьба свадьбе рознь. А впрочем... Что ж мне сыграть вам? Может быть, это? «Ах, что за чудо-парочка!» – объявил Чины сын Чичин после недолгих колебаний и запел, подыгрывая себе на ачамгуре:

Сын побирушки женится
На дочери бездомного,

Бродяги и приблудные
На брачный пир спешат.

Ну, видно, будет свадебка!
Вон целый буйвол жарится,
Который сам от старости
Еще вчера подох.

Ведут невесту под руки
Убогие да нищие,
Но каждый в лучшем рубище,
Какое где достал.

Невеста вашей бабушке,
Наверное, ровесница,
Ведут ее несчастные,
К несчастному ведут.

И грянул пир невиданный!
Сидят жуют беззубые,
Пустились в пляс безногие,
Немые им поют.

Слепой не налюбуется
На жениха с невестою...
«Ах, что за чудо-парочка!» –
Все гости говорят.

Закончив петь, Чины сын Чичин протянул ачамгур Гущке, чтобы она унесла его.

– Не бери у него ачамгур, пусть споет еще что-нибудь! – сказал ей Танас.

– Знаем, что спешишь, поэтому не настаиваем, а просим спеть всего только одну песню! – пробасил Махаз, будто и не он несколько минут назад убеждал певца бросить «треньканье» на ачамгуре.

– Просим, просим! – поддержали председателя остальные.

Чины сын Чичин не стал ломаться и снова положил ачамгур на колено, задумался.

– Ну что ж, спою-ка я вам «Калти Кук», – решил наконец он, и струны послушно повторили за ним: «Калти Кук».

И Чины сын Чичин тихо запел:

Раздается в полночь стук: – Калти Кук!
Жив ли ты еще, мой друг Калти Кук?
«Жив ли, нет ли – неизвестно, – Калти Кук,–
Мир велик, да мне в нем тесно!» – Калти Кук.
– Ну, коль слышу, – значит, жив Калти Кук!
Что случилось? Расскажи, Калти Кук!
«Никакого, в общем, чуда, – Калти Кук,–
Сам ты знаешь, что покуда, – Калти Кук,–
Топору работа есть, – Калти Кук, –
Топору почет и честь, – Калти Кук, –
А закончена работа, – Калти Кук, –
И заброшен он в болото, – Калти Кук. –
Так и я: моя родня, – Калти Кук, –
Позабыла про меня, – Калти Кук, –
Нужен был – меня любили, – Калти Кук, –
А не нужен стал – забыли», – Калти Кук.
Без тебя дела не шли, Калти Кук! –
Как посмели, как смогли, Калти Кук?!
«Не ругай их, друг, не надо, – Калти Кук, –
Не нужна мне их награда, – Калти Кук. –
Боль и горечь затаив, – Калти Кук, –
Я одной надеждой жив, – Калти Кук, –
Все, что сделал – рано ль, поздно ль, – Калти Кук, –
Принесет кому-то пользу...» – Калти Кук.

Раздается в полночь стук:
– Калти Кук!
Жив ли ты еще, мой друг Калти Кук?
«Жив ли, нет ли – неизвестно, – Калти Кук, –
Мир велик, да мне в нем тесно!» – Калти Кук.

Едва струны замерли, Чины сын Чичин вскочил, положил ачамгур на стул, где только что сидел, схватил камчу с перил и, не оглядываясь, стремглав выбежал с веранды. Вероятно, опасался – и не без основа-

ний, – что его станут упрашивать спеть еще одну – «хотя бы еще одну!» – песню, потом другую, и так всю ночь. Вот и удрал, торопясь как на пожар – спасать добро и людей. Никто не вышел проводить его, никто не успел подать ему поводья, придержать стремя – сам вскочил на коня и вихрем вылетел за ворота.

Так я впервые увидел и услышал Чины сына Чичина.

IX

По берегам реки Кетуан лежало множество срубленных ореховых деревьев, однако вывезти их все не удавалось. А, по словам знающих людей, государство очень нуждалось в этой драгоценной древесине.

И вот сельсовет поручил моему отцу и еще двоим из нашей округи как можно скорее доставить в Очамчыру заготовленный лес. Два дня отец готовился к этой поездке, а вместе с ним и я, поскольку, благодаря заступничеству дедушки, он брал меня с собой до реки.

Дядя Элизбар тоже собирался в путь, – на дедушкином Гуадахе он будет сопровождать табун лошадей, который завтра утром погонят в горы, на летние пастбища, там будут и наши кони. Он проводит табун до Багадского моста, а оттуда завернет к Кетуане и присоединится к аробщикам, поможет грузить тяжелые бревна. Потом заберет меня и вернется домой.

Итак, в лес – на арбе, из лесу – на коне...

Сидим в амацурте, ужинаем, я, как всегда, рядом с дедушкой; он делит копченое мясо и самые жирные, самые сочные куски подкладывает мне. Знает мою слабость.

За столом и решилось, брать или не брать меня завтра с собой. «Чего держать взаперти мальчишку, пусть едет: и сам на мир поглядит, и вам скучать не даст, будет щебетать всю дорогу», – сказал дедушка и этими словами подвел черту под обсуждением.

Я рад вдвойне: во-первых, все решилось в мою пользу, во-вторых, без долгих споров.

Лишь мать не хочет, чтобы я ехал; будь ее воля, она бы мне вообще шагу не позволила ступить одному. Поэтому и хмурится сейчас, отводит глаза в сторону, чтобы не видеть мое довольное лицо, но молчит, боится возражать при свекре. Только в амхаре, когда стали уклады-

ваться на ночь, она дала волю своему гневу и обрушила на отца все свои невысказанные обиды:

– Я давно замечаю, что всегда, когда речь заходит о нашем мальчике, ты сидишь словно воды в рот набрав, слово боишься вымолвить! А ведь знаешь, не хуже моего знаешь, что его везде подстерегают несчастья! Так почему, как ты мог согласиться взять его с собой?! Хочешь, чтобы его там бревном придавило?! Или чтоб он утонул?! Тебе мало того, что он уже свалился раз под арбу, только чудом остался жив? А ты посмотри, что за окном делается, не сегодня-завтра гроза будет, дожди пойдут, а ведь вам через реку переправляться!..

Отец, наверное, поначалу решил отмолчаться, он слушал, слушал мать, но затем не выдержал и после короткого раздумья, постукивая пальцами о пальцы, произнес нараспев:

Когда в Джмаринцару вошла вражья рать,
Сын князя с испугу залез под кровать.
Чего же он так испугался?
Чтоб княжеский род не прервался! –

И добавил: – Ты хочешь, чтоб Лаган был похож на этого княжеского сынка? А тебе известно, какими бывают растенья, если они растут где-нибудь в тихом месте, без солнца, без дождей? Вот то-то и оно... Я тоже кое-что замечаю. Я замечаю, например, что ты в последнее время всего стала бояться, даже собственной тени. Нехорошо это, стыдно. И для мальчика плохо...

А мать тем временем сидела на кровати в одной рубашке и, прижав к груди белые руки, горячо молила Бога о спасении в далеких странствиях своего единственного сына.

* * *

Солнце еще не взошло, а мы уже выехали. Для меня на арбе у Биды расстелили бурку, я сижу на ней и радуюсь. Бида примостился рядом, на деревянном обрубке; сидит, облокотясь о борт, рассеянно помахивает грабовой хворостиной. Но едва буйволы, соблазненные свежею травкой, начинают приворачивать к обочине, он тут же напоминает им, что ни на миг не спускает с них глаз.

После того случая в городе, когда я чуть было не лишился своего ножика, а Бида помог мне вернуть его, я еще крепче полюбил этого рыжеусого великана...

Впереди поскрипывает арба Хазарата, – его буйволы не слишком торопятся, и мы вынуждены подлаживаться под них. А за нами, почти уткнувшись мордами в задок нашей арбы, плетутся буйволы отца. Дорога петляет по взгорью, там и сям разбросаны по нему кукурузные поля, несется оттуда позвякиванье мотыг, рыхлящих каменистую почву...

– А вот и Птичий ключ! – воскликнул Бида, когда мы проезжали мимо какого-то родника.

– А что, разве из него только птицы пьют? – спросил я, удивленный таким названием.

– Да нет, в общем-то... Хотя зимой, когда выпадает снег, сюда действительно прилетают какие-то птицы, люди зовут их горными. У этих птиц крылья двух цветов, наполовину красные, наполовину белые, рассядутся по всем деревьям вокруг родника и все время опускаются к воде, пьют, будто помирают от жажды... И так всю зиму. Только когда снег сойдет, тогда улетают...

Скрипя, постукивая по камням, наш караван медленно продвигался вперед. Я во все глаза разглядывал новые для меня места, а Бида, не дожидаясь расспросов, рассказывал обо всем, что попадалось на пути.

– ...Это вот место называется Хуажтшара, что значит «рододендровые дебри». И впрямь, ты только взгляни, какие они здесь густые! – сказал он, когда вдоль дороги потянулись заросли рододендрона, такие густые и плотные, что, кажется, можно встать на них и, ничуть не боясь провалиться, бегать по ним сколько душе угодно. Дорога, зажатая ими с двух сторон, сузилась настолько, что арба с трудом протискивалась вперед...

К полудню мы въехали в лес и вскоре очутились в настоящей чаще. Солнце померкло, исчезло, его лучи, круто падавшие на землю, бессильны были пробить лиственный полог, наглухо задернувший небо; наступили сумерки, словно приблизилась ночь, и лишь стволы буков, тесно стоящих по обочинам, белели, светились в прохладной тьме.

Когда наконец лес кончился и солнце опять стало припекать нам головы, справа от дороги открылась скала, с которой отвесно обрушивался горный поток. Я уже видел водопады, так что поначалу не особенно удивился, но затем уловил какую-то странность. Что-то здесь было не так, чего-то не хватало – знакомого и привычного, но я никак

не мог сообразить, чего же именно. И только когда скала осталась позади, догадался: не хватало шума! Вода падала вниз беззвучно, словно там, где-то в глубине, сидело чудовище и ловило поток в свою пасть, заглатывало его...

Бида, заметив мое недоумение и угадав его причину, поспешил с объяснением:

– Слушай не слушай, ничего не услышишь! Все дело в том, что вода здесь падает в бездонную яму и только дальше выходит наружу, опять становится рекою. И вот уж там-то она ревет так, что оглохнуть можно! Если бы нам не надо было торопиться, я бы обязательно сводил тебя туда, показал то место... Там, кстати, чуть ниже по течению, есть заводь, которую зовут Форелевой колыбелью. И недаром – форели в ней видимо-невидимо. Сядешь на берегу с удочкой – за полчаса столько надергаешь; что еле до дома дотащишь...

И Бида принялся увлеченно рассказывать мне о рыбе, о ее жизни и повадках, – видать, очень любил ее. А потом вспомнил и про Абрскила:

– Давным-давно, когда Абрскил еще был на свободе и совершал бесчисленные подвиги, довелось ему как-то встретиться с одним великаном...

Дальше Бида поведал о том, какой жадный и ненасытный был этот великан, сколько бы ни ел – все ему было мало, но особенно охоч был он до рыбы: запустит руку в море, выгребет из него самых крупных рыбин, потом подымет их на ладони вверх, к солнцу, зажарит на его огне и лопает не жуя...

* * *

И вот мы выехали на берег Кетуана. Она текла бурно, стремительно, вода в ней показалась мне гораздо темнее, чем в других реках, которые я видел прежде; только в тех местах, где на ее пути вставали камни, ослепительно белела пена. От реки тянуло влажной свежестью, легкий ток воздуха тихо перебирал листву прибрежных деревьев.

Переправились на другую сторону и двинулись дальше, уже вдоль берега. Арба, в которой сидели мы с Бидой, теперь, после переправы, оказалась в хвосте нашего крохотного обоза. В таком порядке и подъехали к лесосеке... Лежали на земле огромные сухие деревья, валялись сучья, торчали пни, белея спилами; кисло пахло свежей ореховой щепой, все было засыпано корой и привядшими листьями.

На опушке, в тени ольхи, стоял оседланный конь; я узнал Гуадаха. Значит, дядя Элизбар, сопровождавший табун до Багада, успел опередить нас. А вот и он сам, разговаривает с отцом и Хазаратом.

Было уже за полдень. Солнце то исчезало в тучах, то появлялось вновь, ветер свежел, крепчал, налетал порывами, но зной не спадал, парило, дышалось с трудом. Вдобавок ко всему слепни и оводы словно обезумели, лютовали и, предчувствуя перемену погоды, жгли особенно больно.

Мужчины споро взялись за работу. Выпрягли буйволов, волоком свезли разделанные деревья поближе к арбам, стали грузить.

– Не лезь куда не надо, придавит еще бревном, чего доброго! – поймал меня Бида, поднял и посадил в развилку ветвей старого клена.

Я сидел как в седле и хорошо видел, как мужчины, подбадривая, себя криками, закатывают на арбы здоровенные лесины. «Слегу, слегу быстрее давай! Заводи, поваживай!», «Ну-ка, поднатужимся... Раз-два, взяли!», «Эх, черт, тяжелее камня!..» – неслось снизу. Особенно горячились дядя Элизбар и Бида.

Биду я все больше и больше люблю. И за сказки, и за ножик, и за то, что сегодня он взял меня на арбу, говорил со мною, не давая скучать, рассказывал всю дорогу и меня охотно слушал. И мне кажется, что он, Бида, добрее и сильнее всех, что он крепче самого крепкого орехового дерева, а его рыжие закрученные усы тверды и несгибаемы, как ореховые сучья... Таким я рисую его в воображении и горжусь своим взрослым другом.

Всякий раз, закатив на арбу очередное бревно, Бида бодро и весело приговаривает:

У нас дела простые, брат, –
Из огорода гнать телят...

И это мне тоже очень нравится...

Все были мокры от пота, красны, распарены, когда последнее бревно легло в арбу. Дядя Элизбар, ведя под уздцы Гуадаха, подошел к клену, на который меня посадил Бида, и спустил на землю.

– Как бы река из берегов не вышла, – сказал он, с тревогой поглядывая на небо.

Мы подошли к арбам, уже готовым тронуться в путь. На сей раз в голове обоза должен был ехать Бида, за ним отец, а Хазарат замыкающим.

От меня до Биды шагов пятнадцать, и мне видно отсюда, как стоит он на своей груженой арбе – высокий как столб, с могучих плеч свисают концы серого башлыка. Вот взмахнул хворостиной, стегнул легонько буйволов – и со скрипом, медленно, тяжко арба сдвинулась с места, пошла, раскачиваясь, вперед.

В это время с шумом посыпались на землю первые капли дождя, крупные, как орех; стемнело так, что я даже дядю Элизбара, стоящего рядом, едва различал. Ветер стих, ни один лист не шелохнется, деревья замерли, застыли в глухом молчании.

Бида уже миновал орех с засохшей вершиной, когда вдруг сгустившийся мрак с оглушительным треском распорола молния. Я видел, как ее голубая плеть хлестнула по самой макушке орехового дерева, отсекла ее словно кинжалом, потом, сыпля вокруг себя ослепительные брызги искр, пронзила ствол, расщепила его и, отскочив, свилась в огненное кольцо, взметнулась над Бидой и ударила, впилась в дышло его арбы. Нетерпимо тонко закричали буйволы и рухнули как подкошенные. А Биду будто кто с нечеловеческой силой толкнул в спину, в одно мгновение его сорвало с арбы, швырнуло вперед, кинуло на ярмо; ударившись об него, он перевернулся в воздухе и плашмя упал на дорогу.

В воздухе разлился удушающий запах горящей серы. Все оцепенели, неправдоподобная внезапность и быстрота того, что свершилось на наших глазах, не укладывались в голове, никто не знал, что делать. Только когда буйволы из двух оставшихся упряжек, будто почуяв недоброе, зашевелились, задвигались, стремясь поскорее убраться с этого зловещего места, дядя Элизбар бросился ко мне, ощупал с ног до головы и при этом все время спрашивал: «Ты цел, цел, скажи мне?» Потом закутал в бурку, схватил в охапку и побежал к шалашу. Тут как раз хлынул ливень.

Я был напуган до такой степени, что не мог выговорить ни слова, меня било, трясло как в лихорадке, зуб на зуб не попадал.

– Бида, Бида... Что с ним? – наконец пролепетал я.

– Ничего, ничего, все будет хорошо, успокойся, – ответил дядя Элизбар, но каким-то не своим, глухим и хриплым голосом.

Он внес меня в шалаш, усадил на обрубок.

– Сиди тут и не вздумай никуда выходить! – наказал мне дядя и бегом пустился назад.

Я остался один... Бида упал, упал на виду у всех! – это мучило меня, не давало покоя. Я метался по шалашу, страшась и одновременно же-

лая знать, что случилось. И вот не выдержал, закутался в бурку, выбрался из шалаша и подкрался к мужчинам – они стояли на дороге, глядя вниз, и не замечали меня.

А на дороге, подле буйволов, ничком лежал Бида, намертво зажав в руке грабовый прут...

Посовещавшись, мужчины склонились к Биде, перевернули его на спину, и я увидел его лицо: оно почернело от крови, казалось обугленным, открытые глаза не мигая смотрели в небо.

– Нельзя его трогать, пока не споем Песнь богов, – предупредил Хазарат и прикрыл буркой мертвого Биду. Теперь дождь не хлестал его по лицу.

Они подошли в буйволам – те как упали на подломленные передние ноги, так и застыли будто каменные, – разрезали ремни, сняли ярмо, упряжь и с трудом, упираясь в колеса, потому что передок у нее был разбит, откатили арбу на обочину. Поперек дороги, выбрасывая струйки голубоватого пламени, лежала макушка того самого ореха...

– Ну что ж, Элизбар, давай садись на коня, здесь поблизости люди живут, надо известить их о случившемся, – распорядился Хазарат как самый старший и тут заметил меня: – А-а, вот ты где, наш ангел-хранитель! По-моему, только благодаря тебе мы остались живы, но богу не угодно, чтобы ты путался у нас под ногами. А ну, брысь отсюда!

И он сгреб меня за шиворот и потащил к шалашу. А дядя Элизбар тем временем уже скакал к большаку.

Вскоре дождь перестал, небо очистилось.

Укрывшись буркой, я опять сидел в шалаше, и какое-то странное чувство овладевало мною. Я казался себе беспомощным и совершенно беззащитным, как цыпленок. Рядом смерть, и никуда не спрятаться от нее, весь я как на ладони...

Голова моя шла кругом, мысли путались, и в то же время какое-то жуткое любопытство разбирало меня, мне все хотелось видеть, во всех подробностях. Но что делать, если взрослым не до меня и я только мешаю им? Сейчас они вбивали колья, чтобы сделать помост и взвалить на него мертвых буйволов.

Стемнело, начали стекаться люди, оповещенные дядей Элизбаром. Собралось их уже порядочно, но я не слышал никакого шума: если кто и разговаривал, то шепотом, склоняясь к самому уху соседа. Запылали, освещая окрестности, два огромных костра.

Вдруг раздался голос Хазарата:

– Подойдите поближе, уважаемые, прошу! Сами видите, что стряслось... Но мы не ропщем, ибо все, что содеял Бог, есть благо. А теперь давайте ненадолго положим покойного в шалаше...

Все подошли, встали рядом с телом Биды. Но, прежде чем поднять его, Хазарат произнес нараспев:

Счастлив тот, кого Бог посещает,
Радость там, куда Бог обращает
Свой божественный взгляд,
Атлар-чопа, Темыр-куара, –
Подпевайте в лад...

И люди подхватили, запели, подняли на руки тело Биды и бережно, точно стараясь не причинить ему боль, понесли к шалашу, вошли внутрь, опустили на заранее приготовленное ложе.

Потом Песнь богов раздалась еще раз – это люди сообща поднимали убитых молнией буйволов. Не прерывая пения, как рычагами орудуя толстыми жердями, они втащили мертвых животных на помост. Теперь собаки не смогут добраться до падали. Уйдем, а буйволы останутся здесь, став добычей воронья и тленья... Пораженно разглядывал я их могучие рога, их огромные туши с уже окоченевшими, торчащими в разные стороны ногами, – такое впечатление, будто их ураганным порывом принесло откуда-то и бросило здесь на помост...

Ко мне подошел отец и, подталкивая в спину, повел к дяде Элизбару. Тот затягивал подпруги на Гуадахе.

– Давайте отправляйтесь немедленно, – сказал отец, беря коня под уздцы, – а то поздно будет, вода прямо на глазах прибывает, не переберетесь на ту сторону... А дома позовите стариков, пусть решат, как сказать родным Биды, чтоб без слез обошлось, грех слезы лить. И с носилками надо кого покрепче прислать сюда.

Дядя Элизбар кивнул, вскочил в седло, отец посадил меня сзади, на круп, и мы тронулись в обратный путь.

Совсем смерклось, когда подъехали к Кетуане. Река вышла из берегов, вода в ней казалась еще темнее, чем была днем, текла стремительней, вся она была покрыта клочьями грязной пены. Но переправились удачно, разве что ноги замочили.

То, что произошло, ошеломило всех, даже взрослых, уже видевших смерть людей; меня же бросило в такую бездну, из которой мой бедный ум никак не мог выкарабкаться... Глаза вновь слепит молния, извивающаяся огненной плетью, уши вновь слышат, как кричат буйволы, – хочу забыть это, а не могу. Гляжу вперед на дорогу – и мне мерещится, как вырастает из мрака отвесная скала, и душа замирает от ужаса: вот-вот налетим на нее и расшибемся, вот-вот споткнемся и рухнем в пропасть...

Дядя Элизбар заметил, что я стал задремывать, и пересадил меня; я быстро заснул меж его рук. Но помню, как приехали домой, как меня сняли с лошади, как принесли в амхару, раздели, как уложили в кровать...

На следующий день все село вышло на дорогу встречать Биду. Вышел и дедушка. Я тоже было увязался за ним, но вовремя спохватился, и пока меня не прогнали домой, залег в папоротниках.

И вот вдали на дороге показалась траурная процессия, медленно приближающаяся к селу. Через некоторое время уже можно было разглядеть мужчин, которые несли на своих плечах что-то длинное и черное. А когда до поджидавшей их безмолвной толпы осталось пройти совсем немного, навстречу им вышли мать и сестра Биды. Они не смели рыдать, шли как полумертвые, – казалось, ударь их, кольни чем-нибудь – ни одна не вздрогнет, ни одна не пошевельнется. Будто не люди, а призраки брели по дороге.

Увидев, что от толпы отделились и направляются к ним родственники покойного, мужчины остановились, опустили носилки на землю, отошли в сторону.

Мать Биды обернулась назад и сурово оглядела своих дочерей.

– Смотрите, чтоб без глупостей! Ничего не случилось такого, из-за чего позволительно было бы лить слезы. Бог дал, Бог и взял! – прикрикнула она на них дрожащим, срывающимся голосом. Затем подошла к носилкам, склонилась над ними, осторожно и бережно приоткрыла бурку, в которую был завернут ее мертвый сын, и так же бережно, словно боясь разбудить, подняла с его лица белый платок...

Мать гладила своего сына – его закоченевшие, каменно-холодные руки, сложенные на груди, его лицо в сгустках запекшейся крови, его шею, грудь, – и тихо разговаривала с ним:

– Эх, Бида, Бида, сыночек ты мой! Видно, это твои недруги да завистники распустили слух, что на берегу Кетуаны тебя раздавило бревном... Нет, мой милый, ты жив и здоров, ты такой же красивый, какой

был раньше. Просто ты устал, утомился, вот и прилег отдохнуть, спишь, не просыпаешься... Одно только щемит мне сердце: если твои друзья опять понесут тебя на своих плечах, как ты успеешь отплатить им добром за добро? Вставай же, мой сын, хватит спать, пробудись! Из такой дали тебя донесли, а отсюда до дома рукой подать, вставай, пойдем, дорогой мой. И своих друзей пригласи, скажи: «Добро пожаловать!»

Так причитала бедная мать и никак не могла оторваться от сына, ворковала над ним, гладила, ласкала его тело. А сестры Биды, обнявшись, поддерживая друг друга, безжизненно стояли рядом.

Слова матери надрывали душу, от них комок подступал к горлу, душили слезы. И кое-кто не выдерживал, отходил в сторону, пряча в ладони лицо. И я, боясь разрыдаться, упер подбородок в кулак.

Старуха накинула платок на лицо сына, прикрыла его буркой, позвала в последний раз:

– Пойдем, сынок, пойдем, милый. Встань впереди своих друзей, веди их всех к нам... – Она выпрямилась, с достоинством отошла от покойного и, не оглядываясь, побрела к дому. Следом, как тени, неслышно двинулись сестры.

Носилки подняли, люди в молчанье шагали за ними, слышалось только шарканье множества ног.

Вдруг позади послышалось ржанье. Все оглянулись и увидели, как вдоль дороги, нагоняя траурную процессию, несется вскачь знакомый всем белый конь Биды. Подбежав совсем близко, он закрутился на одном месте, потом остановился и резко, крупно встряхнулся всем телом. И опять заржал, будто хотел сказать своему хозяину, что заждался его, соскучился...

– Не зря, видать, говорится, что в конских жилах течет человечья кровь, – заметил кто-то в толпе и добавил: – Ох, Господи, смилуйся над нами, смертными!

Не выдержал и дедушка, горько вздохнул, произнес:

– Мать моя многострадальная, кто скажет, какой конец ждет каждого из нас?..

* * *

После похорон Биды прошло дня три-четыре...

С вязанкою на плече я шагал к Рассеченному камню, где обычно проводил время. Там, под липою, у меня когда-то стояли дом и амбар,

я сплел их из самых тонких прутьев, покрыл папоротником. Но недавно кто-то порушил все мое хозяйство, так что приходилось начинать сначала. Несколько дней я собирал необходимые материалы, собрал и вот нес их сейчас на холм...

Я почти добрался до дороги, что вела к холму, когда меня нагнали три всадника: двое мужчин и одна молодая девушка. Девушка сидела в седле по-женски, боком, две ее длинных и черных как смоль косы падали на спину лошади, лицо прикрывал траурно-черный платок. Поравнявшись со мною, она пристально посмотрела на меня и не отрывала взгляда до тех пор, пока не проехала мимо...

Почему, зачем она смотрела на меня; что хотела сказать? Вряд ли когда-нибудь я узнаю об этом... Статная, с горящим взором, чистый высокий лоб, угольные дуги бровей...

С думами о ней я и поднялся на холм. Скинул ношу с плеча, оглядел окрестные дали... На краю села белел свежей дранью навес над могилою Биды. И вдруг ни с того ни с сего я решил, что они возвращались именно оттуда. «Они» – это та девушка и два ее спутника. «Наверное, Бида сватался к ней, хотел жениться, да вот не успел, – заработала моя мысль. – На похороны она не пришла, не имела права, а сейчас, когда все осталось позади, ездила на его могилу, прощалась с ним... Вот отчего у нее такие печальные глаза и траурный платок! А смотрела она на меня потому, что Бида, наверное, рассказывал ей обо мне... Какой хороший, какой добрый человек он был!»

И на мои глаза навернулись слезы.

X

Давненько что-то не показывался у нас Чины сын Чичин. И я, и мать даже переживать начали – уж не случилось ли чего?

Но вот как-то вечером он въехал к нам во двор. Я радостно выбежал встретить его, принял коня, отвел к коновязи. Возвращаюсь, гляжу: Чины сын Чичин стоит подбоченясь на прежнем месте и с улыбкою дожидается меня.

– Лаган, – сказал он, когда я вернулся, – я знаю, что тебе нравятся мои песни. Прошлый раз ты меня дважды попросил спеть одну и ту же. Помнишь – какую?

Вопрос был задан совершенно неожиданно для меня, и я заколебался. А Чины сын Чичин пригнулся ко мне, смотрит в глаза и ждет ответа.

– Подумай, подумай, Лаган, хорошенько подумай, и ты обязательно вспомнишь. Там про одного старика речь идет...

– Вспомнил, вспомнил, это «Старик бедолага»! – завопил я.

– Ну, коль вспомнил, читай! – велел он.

Так у нас теперь было всегда. Явившись к нам, Чины сын Чичин первым делом ставил меня перед собой и заставлял повторять то, что я запомнил из его песен. Конечно, не все удавалось запомнить в точности, порой я сбивался, путался, но чаще читал без запинки.

Однако песню про старика бедолагу я знал назубок, как будто нарочно разучил ее к приходу Чины сына Чичина:

Ах, старик бедолага,
Озябший и жалкий.
Без подпорки, без палки
Не сделать и шага.

У него, бедолаги,
Ни колоса в поле.
Да и поле то, что ли?
Овраг на овраге!

Позабыт бедолага,
Заброшен он, старый,
Кинет бурку на нары
И спит как бродяга.

Ах, старик бедолага,
Он счастья не видел!
Кто его так обидел?
Поет он, бедняга:

«Годы все пролетели.
Скучна, одинока
Жизнь была – как дорога
Без смысла и цели...»

– Ну и ну! – изумленно развел руками Чины сын Чичин.

Он сгреб меня в охапку, подбросил ввысь, закрутил, завертел над собою, а потом с криком «Оп-па! Оп-па!» принялся подкидывать и ловить у самой земли. Только когда окончательно выдохся, опустил меня. И мы, смеясь, побежали вприпрыжку к амацурте.

– Я принес вам счастливую весть, радуйтесь: настанет время – и никто не сможет соперничать в пении с этим мальчишкой! – объявил Чины сын Чичин всему нашему семейству.

Дедушка от этих слов дернулся как от удара, нахмурился и отвернулся. Обычная его реакция на малоприятное известие.

– Пропали мы, если мой единственный внук пойдет по такой дорожке. – Дедушка не хотел скрывать, как огорчил его Чины сын Чичин.

– Это почему же? – удивился тот.

– Я давно заметил: кто слишком увлекается шутками да игрой на ачамгуре, тот пренебрегает трудом.

К этим последним, по всей видимости, дедушка относил и Чины сына Чичин, однако тот о себе и своем ремесле был иного мнения и потому с обидой спросил:

– Кем же, интересно знать, ты хочешь видеть своего единственного внука?

– Кем? А тем, у кого любая работа спорится в руках и у кого дом – полная чаша... Я хочу, чтобы Лаган вырос гостеприимным и совестливым, хочу, чтобы люди, среди которых ему жить, уважали бы его, считались с ним, радовались бы, глядя на него. Ну, а если пожелает учиться, то пусть учится, только как следует учится, чтоб до конца все постичь, а не одних верхов нахвататься! И пусть никогда он не окажется в таком положении, когда ни выше взлететь, ни ниже пасть... А больше всего я хочу, чтобы он адвокатом стал. Люди придут ко мне, спросят: «Бежан, дорогой, мы слышали, твой внук в адвокаты вышел, правда ли это?» А я им отвечу: «Да, это правда, мой внук – адвокат!..» Но нам, по нашей бедности, можно лишь помечтать об этом...

– Дай тебе бог порадоваться успехам своего внука! – от души пожелал дедушке Чины сын Чичин.

Легкий был человек, никогда не спорил. А если услышит такое, с чем никак согласиться не может, – лучше промолчит, заставит ачамгур говорить вместо себя. Помню, начнет играть и, пока не разойдется, сидит, свесив голову, будто пытается разглядеть что-то внутри своего инструмента. Но уж если разойдется, тогда держись – так запоет, что

со всей округи сбегаются на его голос люди! Всю свою душу он вкладывал в музыку, мог до петухов, ночь напролет петь и играть, и тогда его слушатели восхищенно шептали: «Ну, видать, Чины сын Чичин нынче в ударе!»

Пел он разные песни – и веселые, и грустные, и озорные. А язык у него был – острее бритвы! И кого только не касался им Чины сын Чичин, кого только не высмеивал! И разжиревшего лежебоку, который кажется таким же бескостным, как и слизняк; и заносчивого юнца с подвитыми усами; и лукавого пройдоху, у которого было два сына: один, родной, по имени Ложь, другой, приемный, по имени Правда; и чревоугодника, не знающего меры; и болтуна, чья речь как камень, покатившийся с горки; и неряху, лезущего в постель с немытыми ногами; и чересчур разборчивую и привередливую невесту, оставшуюся ни с чем... Конца не было этим песням!

А завершались они почти всегда таким припевом:

Всегда устроить счастье рад
Хороший, добрый сват.
А я, Чичин, хороший сват
И добрым людям брат!

Слушая их, мы едва по полу от смеха не катались, у нас начинались колики, судороги, когда не вдохнуть и не выдохнуть и на глаза выступают слезы...

Мне все больше и больше нравился Чины сын Чичин, я скучал без него, без его песен, готов был хоть сто ночей под ряд слушать их, заворожено следя за его пальцами, перебирающими струны ачамгура. Вот почему, когда он въезжал в наш двор, я с такой радостью, опережая всех, несся ему навстречу, принимал коня, отводил до коновязи. Разумеется, Чипы сын Чичин замечал, какие чувства испытываю я при его появлении, и он обнимал меня как лучшего друга и шел со мною в дом...

У меня, в моей городской квартире, хранится ачамгур, доставшийся мне от матери, – он попал к ней, когда она была совсем еще молоденькой девушкой. Я сменил на нем шелковые струны, больше ничего не трогал, и он стал почти как новый. Дерево, конечно, потускнело, потемнело от времени, лишилось своего прежнего прелестного розоватого оттенка...

Всякий раз, когда я беру в руки свой ачамгур, мне чудится, что передо мною опять сидит Чины сын Чичин, непревзойденный мастер игры на этом инструменте, и его великолепный голос, то взлетая, то опускаясь, опять начинает ласкать мой слух... Да, конечно, все это только чудится мне, но чудится неслучайно: ведь именно на этом ачамгуре, ачамгуре моей матери, играл Чины сын Чичин, приходя к нам в дом. Порою кажется, что еще можно различить на нем следы его пальцев.

В нашем селе ко всем обращались на «ты» и никого никогда не величали по отчеству. А Чины сын Чичин, как видите, не то что по отцу – по матери звали; говорят, и в церковной книге он был записан как сын Чины. Многие, услышав такое, изумлялись, начинали гадать, стороной докапываться до истины, но, естественно, ничего вразумительного узнать не могли. А когда все-таки осмеливались спросить об этом у него самого, Чины сын Чичин с неизменной улыбкою отвечал: «А в чем дело? Разве меня не мать родила?» Казалось, его ничуть не смущало, как его зовут, напротив, даже как будто гордился этим. Или делал вид, что гордился.

Кроме того, с его именем (а стало быть, и с именем его матери) неразрывно связывались такие понятия, как «сват» и «музыкант». «Сват едет!» – завидев Чины сына Чичин восклицали те, кому бракоустроительная сторона его деятельности была больше по душе; другие же, из числа поклонников его таланта, в пику им заявляли: «Нет, то не сват, то музыкант!» Но правы были и первые и вторые, ибо не ради красного словца присовокуплялись к его имени эти краткие характеристики. Все они соответствовали истине.

Идет бывало, по своим делам, а навстречу ему знакомые. И нет чтобы сказать ему «здравствуй» или «добрый день», поприветствовать как полагается, так они обязательно бросят ему с лукавой усмешкой: «Девушка тебя одна ждет, давно ей замуж пора!» – «Ну что же, – ответит Чины сын Чичин, – в таком случае и ее счастье дожидается!»

Он рано повзрослел, рано стал самостоятельным. Я застал его в той поре, когда жизнь человеческая уже переваливает за вершину, однако Чины сын Чичин был бодр, непоседлив и целыми днями мотался по селу, – только что его видели в одном конце, и вдруг, неожиданно для всех, он объявлялся в совершенно противоположном. «Он нам все дороги разбил-разъездил!» – весело ругались по этому поводу крестьяне.

А чем ему еще было заняться? Ни земли, ни дома он не имел, мать потерял в раннем детстве, рос сиротой. Износится черкеска – сердо-

больные женщины наткут сукна и сошьют новую. Прохудятся чувяки – сам стачает из сыромятины, да так искусно, что и шов не разглядишь. А конь под ним падет – тоже не беда, благодарные слушатели скинутся да и купят ему другого. И снова Чины сын Чичин, хлеща камчой по лошадиным бокам, несется вскачь по своей нескончаемой дороге...

Люди рассказывали, что в молодости он пережил страшное горе: девушка, которую Чины сын Чичин любил больше жизни, покончила с собой из-за того, что братья отказались выдать ее за любимого... Но сейчас все двери были настежь распахнуты для него, везде его ждали, везде встречали с распростертыми объятиями. Потому что вместе с ним входили в дом радость, веселье и песня – то, без чего немыслима человеческая жизнь.

В тот вечер, когда я во дворе наизусть читал про старика бедолагу, Чины сын Чичин был поначалу весел и оживлен, но потом настроение у него испортилось, он помрачнел, нахмурился, ушел в себя. Вероятно, слова дедушки все же подействовали на него, задели за живое.

И все-таки он попросил принести ему ачамгур, тихо и печально запел... Позже, когда он простился и уехал, все решили, что спетая песня сложена им о себе.

Вот как она мне запомнилась:

Он среди лучших лучшим слыл.
Завидный был жених!
Невесты сохли по нему,
И таяли при нем,
И не сводили верных глаз
С прекрасного лица –
Светилось нежностью оно,
Лучилось добротой.
Ах, как был гибок тонкий стан,
Как плечи широки!..
Невесты песни про него
Слагали в тишине:
«Ах, был бы парень крестиком
Нательным, золотым, –
На шею бы повесила,
Не разлучалась с ним!»
Но годы шли, и шли, и шли,

И что случилось вдруг –
Усы обвисли, поседел,
В очах огонь погас?..
Весна осталась позади,
Ждет впереди зима,
И счастья рубль золотой
Истерся в медный грош!
Та, по которой парень сох,
Не вышла за него,
А той, что сохла по нему,
Он сам не разглядел.
А почему? А потому,
Что не поспел Чичин,
Поспей он вовремя – уже
И дети бы росли,
И был бы счастьем полон дом,
Добром был полон двор,
Но нет Чичин – счастья нет,
Ни дома, ни добра!
Эй, вдовы и холостяки,
Невесты-женихи!
Вас днем и ночью ждет Чичин,
Зимой и летом ждет!
Он вам, как всякий честный сват,
Устроить счастье рад,
А он, Чичин, он славный сват –
Несчастным друг и брат!

XI

– Родословной только у того нет, кто в дупле вывелся... А ну-ка, Лаган, покажи нам, как ты своих предков помнишь! – говорил мне порою дедушка.

Особенно он любил задавать этот вопрос за ужином, когда вместе с нами сидели соседи или кто-нибудь из родни. Дедушке, который не прочь был прихвастнуть моими способностями, хотелось, вероятно, услышать что-нибудь вроде этого: «Ай-я-яй, вы посмотрите, какая светлая голова у внука Бежана!»

Я проворно вскакивал – и молчал, не зная с кого начать.

– Ну, имя отца-то ты, надеюсь, помнишь, – с улыбкой смотрел на меня дедушка.

– Отец – Бадра, дед – Бежан, – звонким от волнения голосом начинал я перечислять предков, – его отец – Азнаур, его отец – Хиза, его отец – Чита, его отец – Чаргиахва, его отец... его отец... – Я запинался и с ужасом чувствовал, что имя отца Чаргиахвы, моего прапрапрапрапрадеда, напрочь выветрилось из головы, как ни стараюсь, а вспомнить не могу. Рядом сидел дядя Элизбар, мог бы и подсказать, шепнуть на ухо, да где там!..

– Эх ты, позабыть имя самого достойного из нашего рода!.. Конечно, и я не был знаком с ним лично, но старшие часто рассказывали о нем, они говорили, что Куиан всегда... – Последние слова дедушка произносил чуть громче, и забытое было имя моего предка тут же выплывало со дна памяти.

– Его отец – Куиан, его отец – Квакв...

Я бойко завершал перечисление родословной, и на лбу у меня выступал холодный пот. Но праздновать успех было еще рано.

– А где они все покоятся? – вопрошал дедушка.

– Все наши предки похоронены на холме. Все, кроме одного.

– Молодец! Дай тебе бог счастливой и долгой жизни... Да-а, что и говорить, твой внук, Бежан, смышленый мальчуган, доказал нам, что не из дупла родом, – слышал дедушка то, что так хотел услышать.

А сам он до тринадцатого колена знал имена своих предков по прямой линии и сыновьям наказывал не забывать их. «Мужчина – основа рода, а посему обязан помнить свое происхождение», – говаривал он.

– А теперь, Лаган, назови того, кто похоронен на чужбине. – Задав этот вопрос, дедушка опускал голову и угрюмо глядел в пол.

– Отец моего деда Азнаур, – отвечал я без запинки, но не слишком бодро, знал, что история эта пробуждает в дедушке тяжелые и горькие воспоминания.

«Бедная моя мать, бедный мой отец, бедные мои сестры, – начинал он стонать и хвататься руками за голову, – где вы, потерянные родиной? Ничего мне не надо, только бы знать, в каком месте покоится ваш прах!»

А случилось вот что. В 1878 году происходило очередное – третье по счету и последнее на сей раз – насильственное переселение абхазов в Турцию. В списки «переселенцев» угодила и семья Бежана – его мать и отец, сам он с женой, его брат и сестры. Позднее Бежану удалось

спастись, вместе с женой он бежал, но остальные так и сгинули. Перенесенные страдания и горе вечной разлуки невыносимым бременем легли ему на сердце, не позволяя забыться даже в минуты радости и веселья.

Дедушка не любил вспоминать, как потерял родных, но если желающих послушать становилось много и они были настойчивы, он уступал. «Ну, коль вы просите, делать нечего, начну, – вздыхал он. – Хотя, если честно, для меня это то же, что тревожить могилу... Утешаюсь тем, что кому-то из вас это, возможно, пойдет на пользу». И, уперев посох в плечо, уронив на грудь голову, помолчав некоторое время, дедушка приступал к рассказу.

Повествуя о тех давних событиях, дедушка, когда доходил до описания того, как прощался со спящими родителями в ночь перед побегом, терял голос и сидел, точно язык проглотив. «Так я и стал сиротой в этом мире», – со стоном вырывалось у него. Черные глаза, в которых обычно мерцал огонь, гасли, тускнели, их застилало какою-то мутью, из них уходила жизнь, а подбородок начинал подрагивать.

В такие минуты мне становилось особенно жалко моего дедушку, а однажды я даже не выдержал и заплакал, но тут же выскочил во двор, чтобы никто не увидел моих слез. Там, во дворе, прижавшись к плетеной стене амацурты, я и дослушал, глотая слезы, его печальную повесть.

Закончив рассказывать, дедушка в продолжении всего вечера был молчалив и задумчив, поздно ложился, да и на следующий день ни с кем не разговаривал, глядел исподлобья, почти не притрагивался к еде.

Дедушка женился поздно, – ему тогда, по его словам, было около сорока лет. А через год после свадьбы разразилась русско-турецкая война.

Опасно стало жить в Абхазии, особенно на побережье. Все перемешалось в сутолоке и неразберихе военных приготовлений. По городам и селам шастало такое количество мусульманских священников, мелких торговцев и просто бродяг, какого никогда не видели раньше. И все они, проходя по нашей земле, пророчествовали, вещали, сеяли рознь и недоверие, распускали слухи о том, что турецкий султан, наместник аллаха на земле и повелитель всех правоверных, скоро высадит здесь бесчисленную рать, что русские отступят и убегут прочь и что Абхазия, когда из нее уберутся гяуры, снова станет страной ислама... Некоторые, обольщенные турецкими лазутчиками, попались в

расставленные для них сети, но большинство думало иначе. «Вот уже шестьдесят лет, как мы соединились с Россией, свыклись с русскими, научились понимать друг друга... Нет, мы не думаем, что русский закон станет карать нас... А ваше истинное лицо мы уже знаем, видели, нам уже довольно того, что вы для нас сделали, так что ступайте туда, откуда пришли, а нас оставьте в покое, надоели!» – так рассуждали и так говорили многие, споря с теми, кто жаждал крови и братоубийственной войны. При всем при том, однако, волнения в народе не прекращались, люди предчувствовали близость каких-то потрясений и с тревогою ожидали их.

И вот словно черная стая воронья опустилась на морской песок – это явилось обещанное войско султана. В его рядах служило и немало абхазов – из числа тех, кто попал в Турцию во времена прошлого махаджирства. Абхазом был и сам командующий турецким экспедиционным корпусом Маан Камлат, которого султан обещал сделать пашой, если тот вернется с победой. А правой рукой командующего был его младший брат Уазбак. Уазбак ни на шаг не отходил от Камлата и во всем был покорен его воле.

По соображениям стратегии русские не оказали никакого сопротивления туркам, сдали Сухум и отошли к реке Ингур. Но через несколько дней состоялось сражение, в ходе которого турецкие силы были разгромлены. Те, кто остался жив, тайно пробирались к морю, чтобы укрыться на кораблях, стоящих на якоре возле Сухума.

В эти дни проявилось все коварство Маана Камлата. Давно замечено: тот, кто однажды изменил своему народу, тот всю жизнь будет идти путем предательства и измены... Камлат отобрал из оставшегося у него войска всех абхазов, разбил их на несколько отрядов и разослал по селам. Он приказал им: все абхазы немедленно должны отправиться в Турцию – обетованную землю мусульман. Те же, кто осмелится ослушаться его, да будут лишены очага, и крова, и самой жизни! Выгонять их всех из домов, и старых и малых, никого не щадить! Пусть ни один, даже самый никудышный, не останется на растерзание гяурам!..

Дойдя до этого места, дедушка поднимал глаза к небу, голос его наливался тяжестью, делался жестче. Чувствовалось, что в душе у него закипает ярость.

– О Камлат, чтоб тебе и на том свете не сыскать покоя!.. А ведь и его тоже родила абхазская женщина, она вскормила его своим молоком, пела ему наши колыбельные. Он дышал одним с нами воздухом, бе-

гал, как и мы, по зеленой траве, любовался нашими горами... Так какая же бешеная собака укусила его?! Предать свой народ ради того, чтобы зваться пашой?! Будь ты проклят, Камлат, во веки веков не искупить тебе вины перед нами, пусть падет твой грех на твоих детей, на все твое потомство!

Наспех набив табаком свою глиняную трубку, дедушка делал несколько быстрых затяжек, словно хотел дымом заглушить бушевавший в нем гнев, и только после этого продолжал рассказ.

– Добрались и до нашего села посланцы Камлата, эти псы, творившие злую волю своего господина и повелителя, – уже более спокойно говорил дедушка, – и тогда весь наш род, все его ветви собрались у своих очагов, чтобы сообща решить, что нам делать... Братья моего отца Азнаура, его и их сыновья собрались у него во дворе. И как только собрались, я сразу же выступил.

«Мы у себя дома, – сказал я. – Нам некуда и незачем идти отсюда. Вооружимся все до единого и ополчимся на тех, кто пришел опустошить наш край!»

Тут встал Алгери, брат моего отца Азнаура, и прервал меня. А к его голосу у нас прислушивались, он был вторым в роду после отца.

«Эх, Бежан, Бежан, – начал он, – прямо не знаю, что и сказать... Сказать, что ты по молодости рассуждаешь так легкомысленно, было бы неправдой, и тем не менее твои слова напоминают речь не мужа, но мальчика. У людей Камлата полно оружия и припасов, они разом перестреляют всех нас, и мужчин и женщин, а младенцев запорют штыками. Потом дома подожгут, пеплом развеют по ветру все наше достояние... Так что выбирать нам не приходится, да и не из чего. Остается одно: покориться неизбежному, таков уж, видать, наш удел. Давайте, уважаемые, простимся с родною землей и, не мешкая, тронемся в путь, не будем дожидаться еще худшего!»

Все молчали, опустив головы. И это означало, что с Алгери большинство согласно. Молчал пока и мой отец, выжидал. Так что я, пользуясь этим, высказался еще раз:

«Пусть меня убьют, но я ни шага не сделаю из своего дома! Да, да, пусть убьют, пусть! И если мне суждено погибнуть, погибну дома, а не под чужим забором!»

Последние слова я выкрикнул как безумец и встал рядом с братом.

«Что с тобой, уймись! – осадил меня отец и, когда я немного пришел в себя, сказал: – Сейчас и другие наши сородичи обсуждают то же, что

и мы: оставаться здесь или идти на чужбину. Наш брат Ханаш пошел узнать их решение, мы ждем его с минуты на минуту...»

Едва отец успел выговорить это, как в ольшанике на холме прогремело два выстрела подряд. Стрелял Ханаш. Во весь голос он закричал нам с холма:

«Давайте быстрее к морю! Все уже собрались и вот-вот двинутся! Не теряйте времени – того, кто останется, ждет самый жуткий день в его жизни! Князь Дзадзыкур поведет нас!»

Вот так все и началось... Видели вы, как вода прорывает плотину? Как струйки ее, промыв насыпь, сливаются в потоки и устремляются вниз? Так тронулись и люди – вниз, к морю. Со всем своим скарбом, сколько уместилось на арбах. Псы Камлата с оружием в руках врывались в дома, подгоняли, покрикивали: «Живее, живее! Чего ждете?!» Моя мать, царство ей небесное, зная, какой у меня крутой и вспыльчивый нрав, подбежала ко мне, обхватила руками и поклялась, что покончит с собой, если я не пойду вместе со всеми. Так что хочешь не хочешь, а пришлось мне смириться. Ведь мне еще и о молодой жене надо было думать, не мог же я ее одну оставить, в такое ужасное время?

Быстро покидали на арбу все, что попалось под руку, главным образом еду, кое-что из одежды, постели. А котлы, другую утварь, мечи, кинжалы, ружья наши – чего-чего, а оружия у нас, слава богу, хватало! – пришлось оставить. Отец и еще два старика снесли его в одну пещеру, неподалеку от дома, припрятали там. Несчастные, они еще надеялись вернуться! Но никто больше не увидел своего добра...

И вот, наконец, тронулись мы в путь. Вышли за ворота, гоним впереди себя скотину, а псам Камлата все мало, все торопят, все подгоняют, не дали даже с родными могилами попрощаться, в последний раз по комнатам пройтись, двери за собою прикрыть как следует. Идем и слезы глотаем...

Я имею право говорить всю правду об этом переселении. Конечно, большого подвига я не совершил, но я все претерпел, все вынес, чтобы вернуться, и я вернулся, не осквернил предательством родную землю, не дал пропасть наследству моих отцов, не дал погаснуть огню в их очаге... Там нас пугали: в Сибирь, мол, сошлют, на каторгу! Ничего подобного. Я снова пустил корни, врос в родную землю, дети пошли – росли, прибывали, как день весною. И если уж говорить начистоту, без ложной скромности, благодаря таким, как я, и сохранился, уцелел наш народ, не обезлюдела наша земля.

Мы цепко держались за родину, помнили о ней и при первой же возможности вернулись в свои дома. Но будь проклят тот день, когда мы оставили их, будь он проклят, обрекший нас на муки и унижения!..

Когда-то, в незапамятные времена, Абрскил рассек надвое известный вам камень, – так и нас, абхазов, разрубило надвое уготованное нам махаджирство, и одна часть осталась на этом берегу, а другая попала на тот, и между нами простерлось море, непереходимое и никому не подвластное...

Дедушка вновь замолчал. Пока он рассеянно набивал трубку, заговорил наш сосед, старик Саид, тоже переселенный в Турцию, но сумевший вырваться из мусульманского «рая».

– Прости, дорогой Бежан, – начал, заикаясь, Саид, – я знаю, что ты еще не закончил своей повести, но позволь сделать небольшое к нему добавление... Когда мы, и стар и млад, унесенные на чужбину мутным потоком махаджирства, терпя страдания, годами бродили по берегам моря и мерли, как отравленный скот, сколько раз вспоминали мы тебя, о Бежан! «Мы все опозорили себя, один лишь Бежан поступил достойно!» – говорили наши братья, тоскуя о своих домах. Ты сиял для нас путеводной звездой, чей свет пробился сквозь черные тучи, ты вселял в нас надежду, подавал нам пример, ты звал нас на родину. Мы верили, что ты не дашь нарасти травою нашим домам, и нам, стало быть, есть куда возвращаться… Я говорю правду: многие мои друзья и родные пробирались на родину, ничего не имея за душой, кроме той надежды – надежды на то, что ты их ждешь и хранишь их дома. Если бы не это, мало бы кто из нас достиг родных мест. Да я и сам только благодаря тебе выжил, меня окрылил твой пример, Бежан! Спасибо тебе за это от всех нас!

– Да благословит тебя бог, дорогой Саид, что ты помнишь об этом, спасибо, спасибо тебе... – растроганно произнес дедушка. – Так на чем я остановился? Ах да, мы вышли за ворота... Итак, мы вышли за ворота, прошли село, держим путь на Сухум. Я иду за арбой, гляжу себе под ноги, и вдруг на меня точно ледяным ветром дохнуло. Оглянулся назад, смотрю на горы и не узнаю: вчера еще они ослепительно сверкали под солнцем, а нынче стоят точно в трауре. Седые головы закутаны в хмурые тучи, лики печальные, и как будто слезы по ним струятся. «Ну как, – словно бы спрашивают они меня с обидой, – легко ли расставаться с нами?..» Не выдержал я и отвернулся, еще ниже голову опустил.

Идем дальше. И чем дальше идем, тем все труднее и труднее идти. Народу на дороге столько, что ногу поставить некуда, все забито – скотом, повозками… Наконец, через десять дней пути, после разных мытарств и мучений, вышли на берег Келасура, расположились на ночлег. Нашей семье досталось место под стенами крепости, у самого берега.

А на берегу-то что творилось, Господи! Людей, повторяю, столько, что пройти невозможно, все кричат, возмущаются, а куда идти и что делать дальше – не знают. А тут еще скот, целые стада, все ведь со скотиною шли, верили, что позволят взять с собою, а теперь для скота ни корма, ни места, он бродит где попало, голодный да безнадзорный, падеж начался, зловоние, дышать нечем, собаки из-за падали грызутся, воют, нажравшись... Ад, одним словом.

Посмотрел я на все это, подумал хорошенько обо всем, что увидел и что еще предстоит увидеть, и решил: нет, надо бежать, надо домой возвращаться! Но легко сказать, а как сделать?.. Попытался своих уговорить – ни в какую. «Куда все, туда и мы», – отвечают. И отец уже пал духом, покорился судьбе, на все рукой махнул. Да и братьев ему бросать стыдно... Только жена поддержала меня. «Если погибать, так с тобою», – сказала она. А я, кроме этого, еще по берегу бродил, присматривался к людям, искал себе товарищей. Немало оказалось таких; которые думали, как и я, и мечтали о том же, но, к сожалению, бежать можно было только поодиночке, а вместе – никак: те, что нас охраняли, быстро бы сообразили, в чем дело, и тут же переловили бы всех.

Три недели просидели мы на берегу, и не было для нас пути ни вперед, ни назад. Но вот и наша очередь подошла – завтра утром мы должны были взойти на корабль.

Той же ночью я отозвал жену в сторонку и шепнул: «Приготовься, на рассвете бежим. Но смотри, чтоб никто ничего не заметил!»

На исходе ночи, когда все переселенцы еще спали мертвым сном, мы с женой тихонько оделись. Я осторожно, чтобы не разбудить спящих, прокрался к отцу и к матери, наклонился и поцеловал стопы их ног, обращенных к еще не погасшему костру. Затем за руку взял жену, и мы с ней растворились в предутренней мгле. Дойдя до реки Мачар, мы довольно долго шли вдоль берега, а потом повернули на восток. Села, которые попадались нам по пути, были как будто убиты горем – поля и дворы заросли бурьяном, на всем лежала печать запустения и гибели. Одиннадцать лет назад и здесь прокатилось махаджирство, гася родовые очаги и вынуждая крестьян бросать свои дома, подавать-

ся в Турцию. И вот теперь, через одиннадцать лет, ничто вокруг уже не радовало взора... Неужели и наши дома ждет подобная участь?

Мы прибавили шагу и вскоре вышли к реке Кодор, к тому месту на ней, где была паромная переправа. Но паром, увы, стоял у другого берега. А как раз перед этим несколько дней подряд лили дожди, река взбухла, разлилась, бушевала, так что и думать было нечего перейти ее вброд. Я стал звать паромщика, кричал, свистел, руками махал, но напрасно, он даже и ухом не повел.

Что мне оставалось делать? Снял я с себя все, одно только нижнее белье оставил, обмотал вокруг головы да и прыгнул и воду, там ухватился за веревку, по которой ходил паром, и кое-как перебрался через реку, вскарабкался на берег... В крайности человек со всем готов распроститься, лишь бы сохранить одно, самое дорогое для него. А мне тогда и отдавать было нечего, кроме абхазского пояса с серебряными накладками. Вот им-то я и расплатился с паромщиком за то, что он перевез мою жену.

От реки Кодор мы направились к Овечьим тропам, – есть в горах такое место, оттуда хорошо видать море. Дошли до Овечьих троп, огляделись и увидели, как уплывают вдаль большие корабли. И показалось нам, что на одном из них наша семья, которую мы бросили и даже не простились. Не выдержал я, сдернул башлык с головы, кинул его на землю, жена с себя свой платок сорвала. Я себя в грудь бью, она себе лицо раздирает, и кровь, и слезы текут. Стоим так оба и родителей оплакиваем, будто они уже умерли.

Кто-то, возможно, скажет: «Чего же это вы их в лесу оплакивали? Пришли бы домой да устроили бы все по-людски, как положено!» А какая, собственно, разница? И дома бы лились те же самые слезы, которые мы проливали в лесу. Да и что бы мог я сделать, придя домой? Оповестить близких о случившемся? Пригласить соседей на тризну? Я бы пригласил, да кто бы пришел? Ведь вокруг все вымерло, ни одной живой души не осталось!

Какие бы села ни проходили мы – Атару, Кутол, Джгерду, Гваду, – все они стояли пустыми, ни над одним из домов не вился очажный дым. Не ржали кони, не лаяли собаки, не слышалось петушиного крика – было тихо как на кладбище. И казалось, что над всем белым светом нависла такая же мертвая, неживая тишина...

Солнце уже коснулось верхушек деревьев, когда, наконец, на следующий день мы вошли в родной двор. Сиротливо стояли в нем ра-

зоренные, брошенные жилища. Никого и ничего. Только на веранде, свернувшись в клубок, лежал наш рыжий куцый пес Пакиа, – это было единственное живое существо, оставшееся от прежней жизни. Увидев нас, Пакиа заскулил, замахал обрубком хвоста, заковылял было навстречу, но он так ослаб от голода, что не сделал и трех шагов, упал на землю.

Не помню, говорил ли я вам, что все это случилось весною? Да, была весна, кукуруза шла в рост, а алыча созрела настолько, что ее уже можно было есть. Поразительно, но прилетевшие ласточки, застав пустые дома, не стали лепить под их крышами свои гнезда, а повернули и улетели. Не знаю, где они в тот год вывели свое потомство...

Я сел у холодного очага моих предков, стукнул о кремень кресалом, высек искру, запалил огонь. Потекла над кровлею бледная струйка дыма... С того дня и до этого горит тот огонь, который недобрые люди обрекли на угасание. И я молю создателя, чтобы он не дал никогда погаснуть ему, пусть греет его пламя и детей моих, и внуков, и правнуков!

Дедушка встал, сложил на груди руки и долго молился. Все молчали. Потом он о ладонь выбил трубку, сунул ее в нагрудный карман чубуком вверх и вернулся к прерванному рассказу.

...В тот вечер, когда супруги вернулись в оставленный дом, они не нашли в нем ни крошки съестного. Нарвали алычи, натолкли ее в ступе, из которой еще не выветрился запах аджики, и поужинали.

На другой день, выйдя во двор, дедушка заметил, что где-то у самого подножия Панаюа поднимается к небу столбик голубоватого дыма. Недолго думая он оделся и пошел в ту сторону. Иного выхода у него и не было – или идти, или помирать с голоду.

У Панаюа он встретил пастуха Гыда, мужа своей тетки. Услыхав о предстоящем переселении, тот укрыл семью в надежном месте, а сам со своим стадом подался в лес. Так и спаслись... Гыд видел, в каком состоянии его гость. Ни слова не говоря, он вывел из стойла ишака и стал взваливать ему на спину круги сушеного сыра, копченое мясо, бурдюки с мукою и медом. Потом накинул веревку на шею дойной козы с козленком...

Перед заходом солнца дедушка вернулся домой, ведя за собой навьюченного ишака и козу с козленком.

Едва дедушка с женою оправились от пережитого, они решили навестить тестя, – тот, как и Гыд, укрывался в лесу от Камлата, а когда

опасность миновала, вернулся домой. Каким-то образом до него дошли слухи, что его дочь и зять не смогли избежать общей участи, попали в тот страшный водоворот и сгинули. Он даже и оплакать их успел со своими домашними. И вдруг к нему во двор входят дочь с мужем живые и невредимые. Второй свадьбы по этому поводу, конечно, не было, но погулять погуляли.

Когда дочь и зять, нагостившись, собрались к себе, щедрости тестя не было границ. Он подарил им пару буйволов, арбу, дойную корову с теленком, кучу постельного белья, множество посуды, – короче, все то, с чем можно снова было начинать жизнь. Погрузив на арбу все эти богатства, тесть благословил своих детей и пожелал доброго пути...

Рассказывая, дедушка часто прерывался, умолкал, сидел в никем не нарушаемой тишине, потом, поначалу запинаясь, словно разучился говорить, но понемногу оживая, вновь продолжал свою повесть, рассказывал, как взялся за хозяйство после возвращения, как тупым топором выкорчевывал кустарники, освобождая под посевы землю, как мотыгою вспахивал поле...

– Земля благословила меня, и через несколько лет у нас было все, чтобы не умереть от голода и холода. Но сами мы за это время одичали, превратились в медведей, которые живут в своей берлоге и никого не видят, – у нас не было ни одного соседа, везде было пусто, тихо и безлюдно. – И у дедушки, как всегда, когда он возвращался в те годы, голос опять зазвучал глуше. – Шло время, а в домах наших братьев, живших когда-то совсем рядом, гулял только ветер... «Если море не поглотило их, то кто-то, может, вернется?» – нашептывала мне надежда, и я надеялся, поглядывал на дорогу. Кроме того, мы с женой наведывались в брошенные дома, не давали им окончательно прийти в упадок, выпалывали бурьян во дворах, обрывали хмель, опутывавший очажные цепи. Раз в год устраивали поминки, поминали соседей и братьев, молились за их упокой.

Наконец, через четыре года вернулся мой двоюродный брат Билал, а еще через год – сосед Саид. Потом возвратились еще две или три семьи, принялись налаживать Жизнь. Но об остальных из нашего рода по-прежнему не было ни слуху ни духу, лишь о моем младшем брате Шахане дошли до меня нерадостные вести. Те, кто вернулся недавно, рассказали мне, что Шахан осел в каком-то турецком захолустье и зарабатывает себе на хлеб тем, что пасет скот у одного купца. А купец тот столь жаден, сколь и богат.

Услышав такое, я решил любою ценой возвратить брата.

Я ничего не пожалел – ни скота, ни денег, сколько просил с меня перекупщик Казанджи-оглы, взявшийся исполнить мое дело, столько и дал. Казанджи-оглы сдержал обещание, вернул мне брата, хотя и позже того срока, который сам же назначил.

Когда Шахан немного отдышался и пришел в себя, я выбрал место, где он будет жить, женил его и думал, что худшее для брата уже позади. Но Шахан недолго протянул, он умер, не успев оставить ни одного потомка... Бедный, только тело свое он доволок до родины, а душа была вся истрачена в каменистых пустынях Турции!..

И опять дедушка вздыхал, и опускал голову, и ежился, будто от холода... Но вдруг, словно стряхнув с себя дрему, он вскидывал голову и говорил сыновьям:

– А ну-ка подбросьте дров в огонь! – и весело оглядывал собравшихся, точно только что вошел в дом.

Заметив, что и я тут, он пальцем подзывал меня к себе, и я, только того и дожидавшийся, тут же мчался к нему, придвигал маленькую скамейку, садился у его ног, клал свои руки ему на колени. Дедушка склонялся надо мной, и клинышек его бороды слегка щекотал мою щеку. Чувство жалости и сострадания, переполнявшее меня, готовое в любой миг излиться горячими слезами, понемногу растворялось, пока не наступало состояние полного блаженства.

Дедушка дотягивался до очага посохом, ворошил им золу, под которой жарко горели угли, подобные золотым слиткам. Тихо, как будто, кроме нас двоих, никого не было в амацурте, говорил:

– Взгляни на огонь, Лаган, ведь он чудо, настоящее чудо! На свете только один огонь способен вечно хранить свою красоту... А вот какой-то мальчик очень обрадовался, когда впервые увидел огонь, и подумал: «Ого, какая прекрасная штука! Надо скорее положить ее в матушкин сундук – там он целее будет!» Но этот мальчик был еще маленький, он не знал, что может натворить огонь, если его запереть в сундуке. А ты уже не маленький, ты можешь и должен все понимать... Запомни: огонь согревает не только того, кто разжег его, а всех, кто сидит поблизости. Для огня все равны! Так и человек – он тоже должен согревать людей своим теплом, своими словами и своими делами. Если абхаз хочет проклясть кого-то, он говорит: «Да погаснет огонь в твоем очаге!» И нет для него страшнее проклятья... Когда человек живет, а согреть никого не способен, грош цена и ему, и его жизни, да такому и жить-то неза-

чем! Если бы я отправился в Турцию вместе со своим отцом, не было бы огня в этом очаге. Но он есть, Лаган, он ярко горит – огонь твоих предков. Дай бог, чтобы он и впредь никогда не погас, чтобы всегда горел так же светло, как сегодня. Все ли ты понял, Лаган?

Дедушка сурово смотрел на меня, а я стоял в каком-то оцепенении и, не зная, что ответить, кидал беспомощные взгляды то на него, то на гостей, то на ярко пылавший очаг.

XII

– Гляньте-ка, Дубоног идет!

– Где твой мяч, Дубоног?

– Спел бы нам, Дубоног, что-нибудь, а? Ты ведь все песни, какие Чины сын Чичин поет, знаешь...

Да, именно так – Дубоног – называли меня соседи, когда я зачем-либо являлся к ним. Поначалу я не придавал никакого значения, что меня зовут этим нелепым прозвищем, но позже, когда повзрослел немного, задумался. Осмотрел свои ноги и не нашел в них ничего, что напоминало бы о дубе или ином каком дереве. Ноги как ноги, такие же, как у всех, не хуже, не лучше. Так почему же их сравнивают с теми сухими чурками, которые дедушка каждый вечер раскалывает на лучины, чтобы следующим утром без помех затопить очаг?

С подобными вопросами я приставал к матери, но она тут же спроваживала меня к тете Мари. Но и та пыталась отмалчиваться. Только когда я проявил настойчивость, возможно показавшуюся назойливостью моей тетушке, она открыла мне тайну происхождения этого прозвища.

...Одним весенним днем, когда солнце поднялось уже так высоко, что даже самый ленивый не мог его не заметить, нашим проулком скакал верхом некий крестьянин Ятма, прославленный своей бедностью. Проезжая мимо ворот, за которыми жило семейство старого Бежана, Ятма с высоты своей клячи заметил во дворе какую-то подозрительную суету. Приостановившись и подъехав поближе к забору, он разглядел и подробности. Например, то, что особенно много народу, в основном женщин, крутилось возле амацурты.

– Да что там у них стряслось такое? Неужто кто заболел? Вечером проезжал – все живы-здоровы были, – высказал Ятма свое недоумение выходившим из наших ворот соседям.

– Ты что, даже выстрелов сейчас не слышал?! Радость в доме! – ответили ему. – У Бежана внук родился, которого он так ждал!

– Слава Богу! Я рад, что в этой семье родился мальчик, но позвольте полюбопытствовать: а имя ему нашли или же еще нет?

– О чем ты спрашиваешь, Ятма?! Подумай сам, ведь он только что появился на свет, когда б успели найти для него имя?

– Ну вот и прекрасно! У меня для него славное имечко имеется, надеюсь, не утаите, передадите кому надо... Всем ведомо, какие труженики в семействе Бежана, они и старые поля в порядке содержат, и о новых пекутся, расчищают от зарослей, да так, что ни веточки не найдешь! Вот и новорожденный тоже, когда подрастет, возьмет топор и пойдет на своих крепких, как дуб, ногах крушить деревья, а посему нарекаю я его Дубоногом...

Вот так в первый же день своего пребывания на земле я приобрел имя, а виновник этого отправился дальше по своим бедняцким делам.

Когда соседи донесли нашим о разговоре с Ятмой, ликование в семье сменилось гневом и негодованием. Особенно разъярилась тетя Мари, она подхватилась и тут же понеслась к Ятме. Хозяина, однако, не застала, он собирал хворост, но его домашние были на месте. Им-то тетя Мари и выложила все, что она думает об этом человеке.

– Наверное, у Ятмы с головою не все в порядке, раз он дает, такое дурацкое имя тому, кого ждала вся семья! А ведь этот мальчик, настанет час, весь наш род, может быть, прославит, станет гордостью своего народа! Как ему жить тогда с этим именем?! – сказала в заключение тетя Мари и, отведя душу, возвратилась домой.

Дедушке, конечно, не по нраву было, что первый день моего существования ознаменовался скандалом, но он предпочел не вмешиваться.

Когда мне исполнилось три недели, зарезали молодого бычка, пригласили родных, знакомых, соседей и устроили маленькое семейное торжество. Дедушка, держа в одной руке заостренный ореховый прут с дымящимися на нем сердцем и печенью теленка, а в другой полный стакан искрящегося на свету вина, встал над моей колыбелью.

– Сегодня впервые мы пьем за тебя, наследника и продолжателя нашего рода! Пока ты не имел даже имени, но отныне пусть все называют тебя Лаган! Я слыхал от своих отцов, что когда-то, давным-давно, был в нашем роду человек с таким именем.

Он был храбр и отважен и, кроме того, умел говорить на редкость красиво и складно. Дай бог, чтобы новый Лаган во всем превзошел

старого, был бы славен мужеством, силою духа и другими добродетелями. Да будет он благословен и дважды и трижды!.. А теперь неплохо бы послушать стрельбу по этому поводу. – И дедушка поднес стакан к своим губам.

Пока он пил, над всем селом гремела радостная пальба.

С этого дня я и стал Лаганом, но был, конечно, слишком мал для того, чтобы оправдывать свое имя. Пока только мать проявляла силу духа и другие добродетели, заботясь обо мне. На день она укладывала меня в колыбельку и все время тряслась, что я простужусь или, не дай бог, со мной случится что и похуже, а на ночь брала с собою в постель. Из всех ее детей я был единственным, первым и – замечу, забегая вперед, – последним сыном, все остальные были девочки. Мачич, самая младшая, была на четыре года старше меня.

Когда я немного подрос, мать стала оставлять меня одного, распеленав и уложив лицом к огню. Я лежал у плетеной стены и сквозь щели в ней созерцал мир. В лунные ночи на дворе было светло и призрачно, пятнами обозначались тени, загадочно шевелились... «Цирр-цирр-цирр», – стрекотали сверчки, и под их монотонный звон я засыпал... Зимою меня стал занимать огонь. Просыпаясь, я уже слышал, как весело потрескивает он в очаге, а по запахам, наполнявшим все помещение, угадывал, что пекут тыкву. Когда она, порубленная на куски, бывала готова, мать очищала мякоть от кожуры, опускала ее в горшок с молоком буйволицы, добавляла сливок и принималась толочь, потом присаживалась рядом и кормила с ложечки...

А весною меня будили голоса птиц, я садился в постели и долго слушал, как распевают они где-то в зеленой гуще на краю двора... Одевшись, я переступал порог – и сотни жарких и ярких солнечных стрел впивались в меня, я шел по двору, утопая в мягчайшем ковре изумрудной прохладной травы, разбрызгивая осколки хрустальной росы. Воздух был чист и свеж, и хотелось взлететь, плавать в нем – только бы чувствовать, как ласкает он тело. А цветов-то, цветов сколько! Больше, чем звезд на небе! Красные, желтые, синие, белые... Каких только нет! Рву их и вдруг замечаю бабочек, – их бархатные крылышки словно расшиты бисером, я еще никогда не видел таких красавиц. Гоняюсь за ними, кидаюсь из стороны в сторону, вот-вот накрою шапкой, но они, посидев, покачавшись на одном цветке, тут же перепархивают на другой. Точно дразнят.

– Ой! неожиданно вскрикиваю я от боли и, упав на траву, реву что есть мочи.

Перепуганная мать со всех ног летит на мои вопли и стоны.

– Господи, да что с тобой?! Ах, да это пчела тебя ужалила!.. Ну, не плачь, не плачь, погоди, сейчас я вытащу жало, не бойся, это не больно, пчелиный укус полезен, теперь ты никогда не заболеешь лихорадкой, – успокаивает, утешает меня мать и берет к себе на колени...

Она души во мне не чаяла, берегла меня, тревога за своего единственного сына ни днем ни ночью не давала ей покоя. Она боялась всего, все внушало ей страх и опасения, как будто мир состоял из одних опасностей и все случаи, которые время от времени происходили в нем, были только несчастными. Но я никогда не слышал, чтобы мать – как бы порой я ни огорчал ее – ругалась бы или кричала на меня. За редкими исключениями все свои обиды она, переживала молча, про себя, и скорее могла разрыдаться, чем высказаться вслух или, тем паче, опуститься до брани и ссоры. Поэтому отец и говорил про нее, что «у нашей матери глаза на мокром месте».

– Мама, спой мне колыбельную, – бывало, подходил я к ней, когда она сидела за ткацким станком.

– Да что ты, Лаган? Колыбельную поют совсем маленьким детям, а ведь ты у нас уже взрослый парень...

Но я был простодушен до глупости и упрям, а потому, если что втемяшивалось мне в голову, стоял на своем до конца и не отходил от нее до тех пор, пока она не соглашалась удовлетворить мою прихоть. Когда я окончательно надоедал ей со своей колыбельной, она бросала работу, брала меня на колени и, баюкая как младенца, запевала:

Щищ нани, уа нани,
Поскорей, малыш, усни.
Завтра будет день опять,
И пойдем с тобой гулять.

Щищ нани, уа нани,
Поскорей, малыш, усни.
Спит фазан, и спит сурок,
Засыпай и ты, сынок.

Щищ нани, уа нани,
Поскорей, малыш, усни.

Спи, как спит могучий лес, –
Станешь ростом до небес.

Щищ нани, уа нани,
Поскорей, малыш, усни.
А я рядом посижу,
На сыночка погляжу.

Щищ нами, уа нани,
Поскорей, малыш, усни.
Встанет солнце над землей –
И проснется мальчик мой...

* * *

После первых неудач, постигших меня на военном поприще, я наконец начал делать определенные успехи в обращении с оружием. Дедушка, мой строгий наставник в этом искусстве, предсказывал даже, что скоро я смогу одним ударом кинжала рассечь плотно свернутую бурку, подвешенную на суку.

И в стрельбе я был не самым худшим. Когда дедушка протягивал мне свой заряженный пистолет, я вскидывал его и стрелял, почти не целясь. И уже не мазал.

Но все-таки я не расстался со своим самострелом, который недавно смастерил для меня дядя Элизбар. Ствол, приклад, даже затвор – все как у настоящей винтовки. Натягиваешь тетиву, прицеливаешься, нажимаешь на спусковой крючок – и стрела на глазах исчезает в синеве небес, порою и не заметишь, куда потом упала. В эти минуты я сам себе казался Сасрыквой, сумевшим из лука сбить звезду с неба...

Пристрастился я и к верховой езде, круглый год, исключая зиму, гоняя нашего смирного Гуадаха на водопой. А летом, встретив дедушку, вернувшегося с собрания, я расседлывал его коня, садился на него и рысью ехал в поля. У меня появилась сноровка, я уже умел ловко садиться верхом, правильно держаться и правильно спешиваться, знал, как нужно править, натягивать поводья и как обращаться с камчой. Короче, я знал все, что должен знать настоящий джигит, и тем не менее еще не имел права ездить в седле. Только без седла. «Не горюй, и этот день недалек, – утешал меня дедушка. – И оглянуться не успеешь, как вырастешь!»

Вечерами дедушка любил прогуливаться по двору. Часто, ведя меня за руку, он поднимал лицо к бездонному небу и пристально всматривался в звезды, словно ждал, что они вот-вот поведают ему свои тайны. Затем бормотал что-то про себя и начинал урок астрономии.

– Вон та звезда называется Вечерней, – говорил дедушка, указывая пальцем на яркую звездочку. – Среди звезд, что выходят на небо в сумерки, она самая яркая и самая большая... А когда Вечерняя звезда заходит, что бывает в конце ночи, перед самым рассветом, на смену ей спешит Утренняя звезда. Если она перед этим умылась в росах, то будет гореть еще ярче...

Дедушка рассказывает, я слушаю, и так мы ходим по всему двору – до ворот и обратно.

– Видишь вон те три звезды? – останавливает он меня. Я слежу за его пальцем и говорю, что вижу.

– Первая звезда, – это тот, кто тянет за собой на веревке корову, а две других – это два его брата, они подгоняют корову. Поэтому эти три звезды так и зовутся – Ведущие корову... А вон ту дорогу, что лежит через все небо, зовут Овечьим Путем... Есть еще созвездие Ецваджаа, и Звезда абазина, и Звезда Сасрыквы, в которой застряла стрела героя, но она очень редко появляется в небе, вот и сейчас – смотрю-смотрю, а ее нет... Не устал еще, Лаган?

– Нет, я хочу смотреть звезды!

– Ну тогда взгляни вон туда, на те звезды, что стоят над вершинами гор. Не нравится мне что-то их цвет сегодня – будто ветром угли в костре раздувает. Значит, завтра вечером или, в крайнем случае, послезавтра будет дождь. Ох как некстати.

Дедушка знал множество примет, умел предсказывать погоду. Увидит, например, тонкий серп молодого месяца и долго стоит, смотрит, молится про себя. По его словам, если взглянуть на него через только что распустившуюся ветку, то весь этот месяц тебе будет сопутствовать удача. Если молодой месяц всходит на небо рожками вверх – жди засухи, а если вниз – дождей...

Как-то весной – не помню точно, какой это был месяц, – я заметил, что дедушка чаще обычного обращает лицо к небу и внимательно разглядывает одну и ту же звезду. Она всходила на западе и горела высоко-высоко, почти над головой.

– Взгляни, Лаган, и запомни: это твоя звезда! – торжественно говорил мне дедушка и вел туда, откуда она лучше видна.

Поставив меня впереди себя, он клал мне на плечи руки и, глядя на звезду, начинал молиться. Его слова и до сих пор ласкают мой слух, как нежный звон колокольчиков. Не все их я помню, но то, что помню, вот:

Взгляни на небо, где звезда мерцает, –
Она тебя, мой внук, благословляет:
Чтоб шел по жизни с песней, а не с плачем,
Чтоб спутником была тебе удача,
Чтоб в темноте с дороги не сбивался,
Чтоб всякий раз до цели добирался,
Чтоб не имел ты равных по сноровке
В труде, в охоте, в пляске, в джигитовке,
Чтоб мог всегда за ветку удержаться,
Коль угораздит с дерева сорваться;
Чтоб с хлебом ты вовек не знал заботы,
Чтоб множились и козы и коровы,
Чтоб сыты были, целы и здоровы;
Чтоб обзавелся вовремя семьею,
Чтоб жил сто лет и был богат роднею,
Чтоб никогда проклятий ты не слышал,
Чтоб человек тебя не сглазил рыжий...

Благословляя меня, обращаясь к звезде, дедушка выговаривал слова с таким звуком, будто чистил орехи... Я как вкопанный стоял впереди него, не двигаясь и не шевелясь, а он неотрывно глядел в небо, будто хотел воочию убедиться, что его мольбы достигли светила и услышаны им...

Высоко, очень высоко над нами горит, сверкает, переливается моя звезда, – она, может быть, только чуточку ярче и крупнее других звезд, а в общем-то ничем не отличается от них. Но скольким людям она светила, скольких обнадеживала!

* * *

Опять у дедушки – в который уже раз! – болит голова, и опять он, страдая и мучаясь, лежит в постели, окруженный соседями.

И вдруг появился Зафас. Все тут же накинулись на него, с нетерпением ожидая, что тот угостит их какой-нибудь байкой.

– Человеку не всегда хочется говорить, оставьте меня в покое, у меня нет никакого желания забавлять вас сегодня! – упрямился Зафас.

Но собравшиеся не отступали:

– Расскажи о своем разговоре с князем Хрипсом, и мы больше не тронем тебя!

К Зафасу тянулось множество рук, его дергали, усаживали, удерживали на месте.

– Где это видано, чтобы силой заставлять рассказывать смешные вещи?! – отбивался Зафас. – Разве можно заставить курочку снести яичко?!

– О курочке ты, Зафас, не беспокойся, ей уже не надо думать об этом, скоро ты увидишь ее перед собой на вертеле!

– Ну да, от вас дождешься... Ладно, ваша взяла, сопротивление, я вижу, бесполезно, так что бог с вами, слушайте.

В амацурте мгновенно стихло.

– Значит, о Хрипсе... – начал Зафас. – О Хрипсе так о Хрипсе... Князь Хрипс был у нас как царь – всякое его повеление должно было быть исполнено в точности и незамедлительно. А свою единственную дочь он почитал за наследницу престола, не меньше, в таком духе и воспитывал...

И вот объявил он однажды сход. В назначенный день и час все село собралось под липой, стоят ждут, когда князь явится. А его все нет и нет. Да лучше бы и вообще не приходил, все знают, зачем он сход собрал: накануне задумал он у нас барщину ввести, да никто не захотел даром спину на него гнуть, вот он и взъярился, решил проучить нас, показать, почем фунт изюму...

Наконец является, подъезжает на своем муле. Все засуетились, бросились к нему толпой, рвут друг у друга стремя, сойти толком на землю не дают. Один я как стоял, так и стою, ни шагу не сделал, курю свою трубочку да в сторону поплевываю.

Хрипс, разумеется, тут же обратил на это внимание и подошел поближе.

«Что это ты, говорит, Зафас, даже обернуться не соизволил? Хотя бы просто посмотрел, кто приехал. Стоишь с таким видом, будто государственные дела обдумываешь!»

«Что мне какие-то государственные дела, ваше сиятельство! У меня сейчас более интересное занятие есть, я сейчас сон вспоминаю, который вчера приснился, удивительный сон, прямо скажем...»

«Что за сон, о чем?» – заинтересовался Хрипс.

«Да о том, ваше сиятельство, – отвечаю я, – как мы с вашей дочкой всю ночь в каком-то саду прохлаждались: целовались да обнимались, ну и прочее... Хорошо-то как было, век не забыть!»

Хрипс прямо-таки позеленел от злости, а сделать ничего не может. С кулаками на меня он, естественно, не бросится: ему же это унижение большое – с мужиком-то драться, но и вид сделать, что ничего не случилось, тоже не может – народ вокруг стоит, слушает да за животики держится. Так что сел он на своего мула и отправился восвояси.

А я благодарности принимать стал. «Ну, Зафас, спас ты нас, пронесло грозу стороной!» – вот что говорили мне в тот день...

XIII

Вечер. Мы только что отужинали, сейчас убирали со столон. Тетя Мари и девочки помогали матери: кто посуду мыл, кто полотенцем насухо вытирал, кто крошки у очага заметал. Потом осторожно, чтобы не поднимать пыль, прошли смоченным веником по всему полу...

Наконец женщины закончили дела, и все мы рассаживаемся по своим местам, молчим некоторое время, будто обдумываем что.

Первым запевает дядя Элизбар – тихо, как бы про себя. Через некоторое время песню подхватывает Гущка, а от нее она переходит к отцу. Потом и остальные присоединяются.

И мы с Мачич не сидим как немые, наши голоса тоже вливаются в общий хор...

В такие минуты дедушка не спешил уединиться. Чувствовалось, что ему по душе это ладное семейное пение, он поднимал голову, внимательно вслушивался, потом начинал негромко подтягивать. И вдруг зычно заводил какую-нибудь старинную песню, – голос его звучал сильно и чисто, как у молодого парня.

Этот перепев мог длиться сколько угодно – до тех пор, пока не вспоминали про ачамгур. И тогда какая-нибудь из девочек бежала из амацурты в дом, приносила ачамгур и клала его матери на колени, поскольку мать была его хозяйкой.

Рассказывая о Чины сыне Чичине я уже упоминал об этом ачамгуре, говорил, что он достался моей матери, когда она была совсем молоденькой девушкой. Да, давным-давно, задолго до ее замужества, его подарил ей какой-то юноша – он сам и сделал его. Когда мать вышла

замуж, ее родители первым делом, еще до того, как выделили ей приданое, переслали ей этот ачамгур.

Мать умела играть, и неплохо. И сейчас, натерев шелковые струны воском, пройдясь по ним пальцами, привычно взялась за настройку: вслушиваясь в звук, покручивая колки, она подтянула одну струну и ослабила другую.

И молча заиграла, – могла бы и запеть, да не смела в присутствии свекра. А потом, также не осмеливаясь при свекре из рук в руки передать ачамгур мужу, протянула его дочери, и та отнесла инструмент отцу.

У отца слух был неважный, но, невзирая на этот недостаток, он смело ударял по струнам и затягивал свою любимую:

На том берегу заметит –
На этот перенесет.
А если на этом встретит –
Переправит на тот.
Спорить с ним бесполезно –
Неумолим, как судьба...
В честь невесты поется песня,
В честь невесты гремит пальба!..

От отца ачамгур переходил к Гущке, и все с нетерпением ждали этого; ее тонкие пальцы обвивались вокруг длинной, изящной шеи ачамгура, звенел, рассыпался бубенчиками ее голос, и в амацурте сразу же становилось веселее и как-то праздничней. Широкой и просторной песне скоро становилось тесно в четырех стенах, она выплескивалась во двор, выливалась за ворота... Заслышав ее, прохожие, шедшие нашим проулком, останавливались и нередко до конца дослушивали концерт. А он мог завершиться и поздней ночью.

Никто из нас, как бы ни устал, не торопился уйти спать; для взрослых, работающих от зари до зари, песня была отрадой, отдушиной в нелегкой жизни; она умиротворяла их души, да и сон после нее делался спокойнее и глубже.

Последним номером нашей программы обычно бывали танцы, причем солировать должны были самые младшие – Мачич и я. Но, прежде чем нам появиться на сцене, а точнее – на земляном полу амацурты, оживившийся дедушка лихорадочно отдавал необходимые распоря-

жения. Он приказывал разворошить угли, чтобы стало светлее, или как можно ниже поставить коптилки, чтобы всем, а в первую очередь нам самим, было видно, что и как мы танцуем.

Не скажу, что я очень радовал дедушку своим мастерством в этом виде искусства, но он мне ничего не говорил и не делал никаких замечаний. Только потом, когда к нам являлся Мадгуа, мой учитель танцев, дедушка, не дав человеку поздороваться как следует, прямо у дверей начинал пенять ему:

– Нет, уважаемый, не нравится мне, как танцует твой ученик. Руками машет так, будто от пчел отбивается. Боится встать на носок, боится себе палец сломать, смелости не хватает! А. ведь сколько раз я повторял тебе:

Повинуйтесь такту в танце,
Не сутультесь, подтянитесь
И уверенно, как горцы,
От земли взлетайте ввысь!
Не топчитесь, как медведи,
Не скачите, как бараны,
Пусть и много вас, но все вы
Как один должны плясать!

Эти стихи и я знал, знал наизусть, но не придавал им значения. Однако для моего учителя Мадгуа они, по всей видимости, были чем-то вроде краткого руководства или наставления, учебного пособия. Он поднимался со мною в дом, расстилал в зале ковер ручной работы и, отбивая ладонями такт, наедине, с глазу на глаз объяснял и показывал мне самое основное: как подогнуть большой палец ноги, чтобы можно было пройтись на носочках, как держать руки и не гнуть спину, как отдать поклон девушке, вышедшей танцевать в паре с тобой, как, танцуя, обойти ее кругом, но при этом не забежать вперед... Не дожидаясь приглашения, я шел следом за учителем и старательно повторял все его движения...

Вот так проводили мы свои вечера, веселясь и радуясь от всего сердца, пока не случилось то, что всегда случается внезапно.

Черной тучей опустилось на наш дом горе. Под черным платком сокрыл свой лик висевший в углу зала ачамгур. Соседи, приходившие

со словами утешения, были печальны и серьезны. Дедушка реже стал посещать свои собрания, и никто не ставил ему это в вину. Похолодало, но дрова, пылавшие в очаге, грели почему-то хуже, чем раньше. И глуше звучал лай нашего дворняги Пакиа, и в перекличке петухов слышалось рыдание...

Но почему на мать, державшую на своих плечах целый дом, все хозяйство, воспитывающую детей, почему именно на нее снежной лавиной обрушилось горе?

...Это произошло во второй половине дня. Мать в это время вместе с девочками мотала во дворе пряжу, у нее было ее мотков пять или шесть. Шагах в пятнадцати друг от друга были вбиты в землю два колышка, и мать с Гущкой с мотками в руках ходили от одного к другому и наматывали на них пряжу...

Вдруг в воротах возник Кача, мой двоюродный брат, мой сверстник, сын Алмы, одного из маминых братьев. Запыхавшийся Кача подбежал к моей матери и скороговоркой выпалил, что его отцу внезапно стало худо, он слег, лежит, не может подняться и потому просит сестру срочно прийти к нему.

– Да что с ним? – побледнела мать. – Вчера вечером он был здесь, выглядел прекрасно, смеялся, пел...

Она бросила работу, наспех собрала пряжу, занесла в дом, повесила на гвозде. Быстро переобулась, набросила на голову платок и вышла за ворота.

Домой мать ночевать не пришла, осталась у брата.

На следующий день навестить больного отправился дедушка, он взял с собой и меня.

Во дворе у Алмы было настоящее столпотворение. Дедушка прошел в дом, в ту комнату, где лежал Алма, а я остался в дверях, прислонился к косяку и разглядывал его... Алма лежит на спине, подбородок задран вверх, будто какая-то сила не дает ему поднять голову, оторвать ее от подушки. Грудь ходит часто, дыхание хриплое, прерывистое. Возле него стоит мать, в руках у нее стакан с водою; время от времени она смачивает ольховый лист и прикладывает его ко лбу своего брата.

– Фельдшера привезли! – крикнули со двора.

Все оживились. Еще бы! Фельдшер, один-единственный на пять-шесть сел, ценился здесь как самый лучший специалист...

За ним, оказывается, ездил отец. Он помог фельдшеру спуститься с коня, провел в дом.

– Кто знает, может, он еще успеет спасти ему жизнь? – с надеждою обронил кто-то поблизости от меня.

– Дай-то бог, – ответили ему.

А мать, увидев входящего фельдшера, кинулась к нему как к самому дорогому родственнику, покрутила рукой перед ним, разгоняя злых духов, приложилась к груди.

– Жизнь моего брата в твоих руках, спаси его, умоляю! – произнесла она жалобным голосом и отступила в сторону.

Фельдшер зашел в комнату, снял пальто, облачился в белый халат, достав его из сумки, и сразу же – долговязый, худой – стал напоминать высохшее на корню дерево, заметенное снегом. Он откинул одеяло, присел на кровать рядом с Алмой и сунул ему под мышку градусник. Потом молча занялся осмотром больного, а когда осмотрел, вымолвил:

– Высокая температура, дыхание затруднено... Давайте-ка ему пить вот эти порошки, они, возможно, собьют жар... Но лучше бы пригласить врача, ведь я, как ни крути, всего-навсего фельдшер. Да, нужен врач, и как можно скорее!

Он встал, выложил на стул обещанные порошки, оделся и удалился...

– Фершал дал нам понять, что спасти больного невозможно, – печально заключил тот, кто совсем недавно надеялся на благополучный исход.

И в самом деле, промаявшись еще три дня, Алма скончался. Ни лекарства не помогли, ни врач, которого, кстати, так и не дождались. Его неожиданная смерть никого не оставила равнодушным: он был единственным кормильцем в семье, жил трудно, едва только начал вставать на ноги, выбиваться из нужды, у него были дети. Теперь они – сироты...

Моя мать не знала, как пережить все это. Она до того дошла, что ее только по глазам и можно было узнать; на расцарапанных щеках и на лбу чернели запекшейся кровью ссадины, она сорвала голос от беспрерывного крика, не прикасалась к еде, лишь воду пила – жажда мучила.

На похороны меня не пустили: рано, мол, еще, подрасти сперва! Но я обманул бдительность моих сестер, приставленных стеречь меня, прикинулся, что иду поиграть во двор, а сам прямиком отправился к дому Алмы. Там, едва не заблудившись в толпе, разыскал мать, скользнул к ней, прижался. И мать без сил приникла ко мне.

Я видел, как она измучена, и сердце мое сжималось от жалости.

– Идем домой, – потянул я ее за руку.

– Да как я могу уйти отсюда, дорогой ты мой? – с трудом выговорила мать.

К этому горю – как будто его одного было мало! – прибавилось еще одно: вспыхнул спор из-за того, где хоронить покойного. Жена Алмы, а вернее, уже его вдова, тесть со всеми своими родственниками, моя мать и ее брат Танас хотели, чтобы могила была возле дома, а братья Алмы, их сестра, еще кое-кто из их родни требовали положить его у подножья горы, там, где покоится прах его родителей. Спор разгорелся не на шутку, в него оказалось втянуто множество людей, потому что у каждой партии нашлись свои сторонники и сочувствующие, пошли слухи и толки, достигшие ушей тех, кому совсем необязательно было знать об этом.

И тогда, чтобы прекратить раздоры, встали друзья и товарищи Алмы и сказали свое веское слово. «У покойника, царство ему небесное, – сказали друзья, – есть сыновья. Ничего, что они еще маленькие, ведь и мы не сразу стали взрослыми. Мальчики скоро вырастут, обзаведутся семьями, будут жить на той земле, по которой ступали их предки. И чтобы родная земля крепче держала их, Алму нужно похоронить в таком месте, чтобы дети каждый день могли бы видеть могилу своего отца, это поддержит и придаст им уверенности и сил. Да и Богу будет угодно такое».

На том и порешили. Братьям Алмы и их сторонникам пришлось смириться, и страсти потихоньку улеглись. Алму похоронили на вершине холма, где высились развалины древней крепости, неподалеку от дома...

После похорон мать под руки привели к нам соседки. Дня три она лежала, не в силах подняться, потом две недели постилась, не ела ничего молочного. И сорок дней ложилась спать не в кровать, а прямо на голый пол. Мать говорила: «Как я могу нежиться в мягкой постели, когда брат мой зарыт в холодную землю?!»

И дома, и на людях она появлялась с ног до головы закутанная в траур, безмолвная и бледная как тень. Силы ее – и духовные и телесные – были надломлены.

Иногда, утром или вечером, она садилась на веранде, ставила перед собою портрет брата, обвитый по рамке черною лентой, долго вглядывалась в него, а потом, медленно раскачиваясь и ударяя себя по голове, начинала причитать сквозь рыдания:

Как мне жить без тебя, о надежда моя,
о мой брат?
Разве лишним ты был в этом мире,
мой брат?
Разве жалости не было в сердце твоем,
о мой брат,
Что ушел и детей без защиты оставил,
мой брат?
Без тебя опустеет навеки твой дом,
о мой брат!
Для того ли его ты построил,
мой брат?..

Я слышал голос моей страдающей матери, и мне начинало казаться, что незыблемая прежде земля, воистину бывшая твердью, колеблется, уходит у меня из-под ног и что мир вокруг, такой прочный, надежный и ясный раньше, рушится... Усилием воли я стряхивал с себя это наваждение и решался подойти поближе к матери, взойти на веранду к ней и хоть чем-то утешить. Но в горле застревал какой-то комок, он жег меня, прожигал насквозь. Боясь не выдержать и заплакать – а мои слезы еще больше бы растревожили мать, – я, еле сдерживая их, убегал за дом. И уж там-то плакал взахлеб.

Дедушка, очень переживавший за свою невестку, услышав причитания, несшиеся с веранды, шел туда и, опершись на посох, останавливался поблизости.

– Дорогая, успокойся, не губи себя, не убивайся так, по думай о детях, ведь и они плачут, когда видят твои слезы, пожалей их, очнись от горя! – уговаривал он мать.

Никогда раньше мать не позволяла себе провести в праздности хотя бы час, у нее на это просто-напросто не было времени. Встав с зарею, она до поздней ночи, пока усталость не сваливала ее с ног, хлопотала по хозяйству, разрывалась на части, верша черную и неблагодарную домашнюю работу, и успевала сделать столько, что и перечислять долго. Нужно было как следует встретить и принять гостей, которые не переводились у нас, накормить, напоить каждого, одному подать то, другому это, третьему принести чего он и сам не знает, нужно было заботиться о детях и взрослых, готовить для них, стирать на них, шить им, ткать. А огород? А цыплята с индюшатами? А прочая живность? А

сколько сил и времени уходило на то, чтобы запастись водой на один только день!..

Летом на веранду, зимой в амхару выставляла мать свой ткацкий станок. Натягивала основу, усаживалась перед ним, опускала ступню на топтальце и принималась ткать, – не успеешь глазом моргнуть, а челнок уже перекочевал у нее из одной руки в другую. И сколько раз за ночь просыпался я от стука ее станка! Помню, как однажды, окружив себя зажженными свечами, ткала она до самого рассвета...

Готовое полотно мама с девочками везла на реку Чал, там они полоскали его, сушил и на солнышке, отбеливали.

В память врезалась и такая картина: свежим снегом белеет на изгороди уже высохшее полотно, мама собирает его, горкой складывает на стульях, а в сторонке стоит дедушка, с уважением смотрит на свою невестку. «Устала, милая, всю ночь не спала, работала, иди отдохни хоть немного...» – ласково говорит он.

Теперь же, после смерти брата, мама забросила, запустила все дела.

Беда, как говорится, одна не ходит.

В могиле Алмы, на самой вершине холма, обнаружилась вода. Это все равно что еще раз умереть.

Вся родня устремилась к холму. Опять слезы, опять рыдания. Как порох, вспыхнула старая обида. Те, кто был против захоронения покойного здесь, и злорадствовали, и возмущались одновременно, во всех грехах обвиняли тех, кто все-таки настоял на своем:

– Вам ли не знать, что сыну надлежит покоиться рядом с отцом! Но вы не пожелали этого, и вот сбылось ныне на нас проклятье...

«Чтоб вам заново хоронить своих мертвецов!» – это они имели в виду. Одно из самых страшных проклятий.

Но спорь не спорь, возмущайся не возмущайся, а всем было ясно, что перезахоронения не избежать. Едва удерживаясь над заново отрытой могилой, с трудом подняли со дна уже разложившийся труп, опустили его на провощенную простыню, запеленали в новый саван, переложили на носилки. Когда их уже понесли с холма, Мамсыр обернулся к зияющей смрадной яме и громко сказал:

– Пойдем, дорогой, пойдем туда, где суждено тебе пребывать во веки веков и где ждут тебя отец с матерью!

Держа в руках моток ниток, он опустил в могилу один конец и, разматывая их, двинулся вслед уходящим. Делалось это для того, чтобы

дух Алмы, покинув место прежнего погребения, без помех нашел по ним новое.

С голосом Мамсыра мешались причитания моей матери:

Брат мой, брат! Как оплачу тебя я,
мой брат?
Что я ныне скажу у могилы твоей,
о мой брат?
Если б ты на охоте разбился в горах,
о мой брат,
Как оплакать тебя – я бы знала,
мой брат!
Я б нашла, что сказать на могиле твоей,
о мой брат,
Если б враг твой заклятый тебя поразил бы,
мой брат!
Но какие слова я сегодня скажу,
о мой брат,
Если гнев свой земля на тебя обратила,
мой брат!

* * *

Мы с дедушкой стоим в холодке под липой, шатром раскинувшейся у Рассеченного камня... Погожий летний день, свежий ветер обдувает лицо, шелестят, бормочут, трепещут листья...

Дедушка отходит в сторону, прикладывает ладонь к уху и замирает, вслушиваясь в звуки.

– Ну, слава богу, не ушла далеко, здесь где-то, – радостно сообщает он и садится под липу на принесенный кем-то обрубок.

Дедушка имеет в виду нашу буйволицу. Она на днях должна отелиться, и дедушка очень беспокоится за нее. Потому и ходит чуть ли не по пятам за ней, присматривает. А заодно и меня с собой прихватывает. Мы сразу определяем, где она пасется. По ее боталу. У этого ботала голос низкий, басовитый, ни у кого больше нет такого!

Из-за буйволицы мы и сегодня пришли сюда, к Рассеченному камню...

Выкурив трубку, дедушка снимает с головы войлочную шапку и кладет на колено.

– Лаган, ты, по-моему, сюда бегаешь играть, да? – спрашивает он.

Я вижу, что дедушке охота поговорить, и подсаживаюсь поближе.

– Хожу. Здесь и шалаш мой стоит, – показываю я на молодую ольху, притулившуюся на самом венце.

– Третий раз я поднимаюсь с тобой на холм... А помнишь, как кричал здесь народ: «Дыркет! Дыркет!»? А бывший княжеский управляющий грозил нам... Теперь ни князей нет, ни их управляющих, теперь вся земля, все, что ты видишь вокруг – и леса, и поля, и горы, – все отошло народу по этому мудрому закону. И всех нас кормит земля своим молоком... Правда, не всем оно идет впрок, некоторые и захлебываются от жадности. Вот Арчил, например... – вполголоса, будто разговаривая с самим собою, произносит дедушка.

Я жду продолжения, но дедушка умолкает, встает, прохаживается по вершине, опираясь на посох.

– Молодец, Лаган, что приходишь сюда, – этот холм возвышает душу, дает крылья... «Смотри и вдаль, и под ноги, узри невиданное, узнай неузнанное, запомни услышанное!» – вот что говорит он, если хорошенько прислушаться. Когда ты идешь сюда, ты поднимаешься ввысь... Так и добро – оно тоже возвышает человека...

Дедушка резко поворачивается лицом к северу и выбрасывает руку вперед, по направлению к горе, которая, как в ладонях, держит наше село; покрытая густой зеленью, резко очерченная на синеве небес, она напоминает округлый конский бок.

– Это Панаю, я знаю! – восклицаю я.

– Панаю-то Панаю, да на нем много разных мест, и каждое имеет свое название. Ты уж не маленький, должен их знать...

Дедушка грудью наваливается на посох и, тыча указательным пальцем в сторону Панаю, принимается рассказывать:

– Запоминай... Недалеко от вершины есть место, которое зовут Ачимуадзмах, а чуть пониже – Апслапхара, там такой студеный родник, что руки сводит... А теперь посмотри вон туда, севернее, видишь, скала выглядывает? За ней Панаю горбится, будто на него седло накинули... Видишь? Эта скала называется Ашицвра. Дальше идут Ашбаарха, Чегем...

А я думал, это не скала, а дворец, где волшебники живут... – разочарованно тяну я, поглядывая на гору, высвеченную солнцем до последнего камушка. – Вон как у них стекла в окнах блестят!

– Может быть, может быть, – усмехается дедушка, – на Панаю все может быть... Если бы ты знал, как богат он! Из его недр бьют целебные

источники, текут по земле, возвращают здоровье людям, там начало многих рек, которые не в какую пору не иссякают, век за веком спешат к морю. Запоминай их имена: Тоумыш, Дгамш, Кетуан, Кумарча, Дваб, Дзиква, Улыс... А какие щедрые эти реки, какой рыбы в них только нет! А сколько там зелени, сколько деревьев, сколько каштанов, плодов... Но деревья не просто украшают землю, они еще и службу несут – и днем и ночью стоят как часовые, берегут покой родников, чтобы не замутились их чистые очи...

Дедушка возвращается под липу, садится в тенек и смотрит на море, потирая глаза.

– Я пока еще не жалуюсь на зрение, но вот моря уже разглядеть не могу... А ну-ка, посмотри туда, у тебя глаза молодые, зоркие. Что-нибудь видишь?

– Вижу, вижу! Что-то черное, как ворона... Вон, вон! – показываю я дедушке, забыв, что он плохо видит вдаль.

– Ну, это, должно быть, пароходы. Если на запад правят, значит, идут в Сухум, Туапсе и дальше, а если с запада, то первым делом зайдут в Очамчыру, потом к Батуму спустятся... Ну, теперь ты понял, сколько всего интересного показал нам сегодня наш холм? По одну сторону море, по другую горы... Ты только подумай, Лаган, меж какими двумя силами живешь!..

Разговоры, которые вел здесь со мною дедушка, еще больше сблизили меня с Холмом Рассеченного камня, породнили с ним. Этот холм стал для меня как отчий дом, где я родился и рос. Если я шел на его вершину с радостью, там моя радость становилась полнее, если с горем – обретал силы, чтобы справиться с ним. На его склонах искал я цветные камни, собирал полевые цветы или взбирался на молодую ольху, вставшую над откосом, раскачивался на ней, обдавая себя шумом и ветром, или строил в ее тени шалаши...

Сколько раз, раскинувшись на мягкой траве неподалеку от Рассеченного камня, я глядел в небо, любуясь игрой «шлаков, клубящихся надо мною, сколько раз засиживался допоздна, очарованный зрелищем гор, в закатном пламени купающих свои седые вершины!

XIV

На краю двора, в издавна облюбованном уголке, я, присев на корточки, старательно возводил шалаш. Дело близилось к завершению, и, как

всегда, я настолько увлекся, что даже не заметил, как хлестнули по мне первые капли дождя, не услышал, как звала меня мать. Я пришел в себя лишь после того, как она подбежала ко мне и резко дернула за руку.

– Вставай! Ты что, не видишь, гроза на носу! Вон уже и молнии полыхают! – выпалила она и с тревогой добавила: – Как бы урагана не было, все небо – как запекшаяся кровь...

В самом деле, опрокинутая чаша неба была залита багровым мраком, время от времени его кое-где прошивали голубые струйки молний, где-то ворчал гром.

Когда мы вошли на веранду, дедушка сидел на полатях и пытался раскурить трубку при помощи кремня и кресала.

– Не бойся, милая, не будет большого дождя, да и грозы не будет, погремит да пройдет стороной! – успокоил он мать, опуская в трубку кусочек затлевшего трута.

Дедушка неспроста заговорил с невесткой: он прекрасно знал, какой ужас внушает ей гроза, а после гибели Биды мать стала еще больше пугаться ее. Едва заслышав громовый раскат, она торопилась наглухо закрыть все окна и двери, разыскивала меня, покрывала своим черным платком и забивалась со мной в самый дальний угол. Когда молния, ослепляя нас, вспыхивала совсем рядом и тут же, почти одновременно с нею, раздавался могучий удар грома, я, подражая матери, закрывал глаза и затыкал уши...

Вопреки предсказанию дедушки, дождь хлынул как из ведра. Крестьяне, возвращавшиеся с прополки кукурузы и застигнутые по дороге ливнем, увидев на веранде Бежана, всем гуртом завернули к нам. Ввалились со смехом и топотом, расселись, едва уместясь, закурили и стали требовать, чтобы дедушка что-нибудь рассказал им, – все равно, мол, сейчас делать нечего, хочешь не хочешь, а сиди пережидай, пока дождь пройдет...

– День добрый! – раздался в это время знакомый голос, и я увидел Мамсыра.

Мать пошла встретить дядю, приняла мокрую бурку, которой он с головой укрывался от дождя, повесила на стену. Мамсыр вышел вперед, и все заметили, что на боку у него висит апхярца.

Это было и странно, и неожиданно. Конечно, Мамсыр и после смерти Алмы захаживал к нам, но только сегодня прихватил с собою свой инструмент. Как давно уже не звучали в нашем доме ни песня, ни ачамгур, ни апхярца!

Но, видно, не просто так зашел к нам Мамсыр, не от ливня укрыться, и совсем не по рассеянности оказалась при нем его двухструнная певунья. Может, он что-нибудь хочет сыграть нам? Вовремя или не вовремя, но кто знает: а вдруг его игра исцелит мою мать от скорби и она перестанет плакать?.. И я жду с надеждою и нетерпением.

– Дорогой Бежан, позволь мне в присутствии всех собравшихся здесь сказать несколько слов Чарымхан, твоей невестке и моей племяннице, – сказал Мамсыр и, подняв голову, обвел взглядом сидящих на веранде крестьян, словно и у них хотел попросить разрешения.

– Говори, Мамсыр, говори, дорогой, ты же знаешь, что ты для меня дороже всех моих родственников, – отвечал ему дедушка, попыхивая трубкой.

Услышав, что Мамсыр собирается обратиться к ней, мать вышла на веранду и застыла в почтительном ожидании. Да и могла ли она вести себя по-иному, когда говорит брат ее матери?

– Большое горе постигло тебя, дорогая, – начал Мамсыр, величаво и прямо держась на стуле. – Ты потеряла брата... Кто утешит тебя и что заглушит боль, пронзившую сердце? Мне ли не понять тебя, мне ли не знать ответа на этот вопрос, ведь и я, одновременно с тобой, пережил горе. Ты потеряла брата, а я потерял свою опору и единственную надежду, моего племянника. Кто мог подумать, что мужчина, которого не страшили ни скалы, ни горные тропы, будет в считанные дни скручен и побежден болезнью? Но мы бессильны перед смертью, она ждет каждого, и, стало быть, такой конец уготовила ему судьба... Ты знаешь, что бог не дал мне детей, и Алма, мой племянник, был мне как родной сын. Когда я умру, надеялся я, он похоронит и оплачет меня, и люди не скажут, что я безродный. Ничего, однако, не вышло, тщетными оказались мои надежды...

Но не будем, племянница моя милая, предаваться одному лишь горю, утешимся! Ты конечно же слышала такие слова:

Отдайся теченью –
И вынесет в море.
А горю отдайся –
Ждет горшее горе.

Почтим же и поблагодарим наших родных и близких, разделивших с нами горе. Ты, племянница, живешь в семье, глядя на которую раду-

ются все соседи. Здесь, рядом с нами, сидит уважаемый всеми Бежан, твой свекор, чистый и святой человек, здесь твой супруг, здесь твои дети. Все они с болью и состраданием смотрят на тебя, переживая вместе с тобою, они не смеют улыбнуться, когда им этого хочется, потому что твое горе – это их горе и твои слезы – их слезы. Да вернутся отныне в ваш дом прежнее веселье и прежняя радость! – И Мамсыр встал, подошел к матери и поцеловал в голову.

– Спасибо, Мамсыр. Я всегда ценил твое сердечное отношение к нашей семье. Но сегодня ты превзошел самого себя, спасибо, – сказал дедушка и тоже встал, положил ему на плечо руку.

Мама, прижав ладони к груди, неподвижно стояла на прежнем месте. Не знаю, может быть, ей и хотелось что-нибудь сказать в этот миг, но знаю, что, если бы и хотелось, она все равно ни слова не посмела бы вымолвить.

Остальные тоже молчали, глядели на Мамсыра, ожидая, что он еще скажет.

– А знаешь, Бежан, как я завещаю устроить себе похороны? Там будет так: если кто-то, когда я умру, пойдет впереди моего гроба, наигрывая на апхярце, с музыкой проводит меня до могилы, тот, значит, по-настоящему любил меня и хотел, чтобы я попал в рай. Ну, а того, кто будет блеять, как старая овца, бить себя в лоб и рвать на себе рубашку, того и считаю лицемером и думаю, что он старается не для меня, а чтобы свое благочестие выказать да приличия соблюсти, – неторопливо проговорил Мамсыр и осторожно, следя за тем, чтобы не выныряла из рук, отвязал апхярцу от пояса. Потом положил ее на ладонь и качнул, словно прикидывая вес. – Ну, дорогая моя певунья, – обратился он к апхярце, – сегодня ты должна показать нам все, на что способна. Видишь, сколько людей желают тебя послушать?

С этими словами Мамсыр стиснул в коленях апхярцу, легонько тронул струны смычком – и душа у каждого замерла в предчувствии восторга. Но музыкант отложил смычок и заглядывался, будто кого-то искал. И точно: увидев меня, подмигнул и объявил:

– Сегодняшняя моя песня посвящается единственному мальчику в этой семье – тебе, Лаган, – дай бог, чтоб у тебя не меньше сотни потомков в роду было! Учти, эту песню я пою нынче впервые, так что получше запоминай ее слова!.. Хотя, уважаемые, я считаю, что звуки апхярцы не очень-то вяжутся со всякими там припевками и разными несерьезными песенками, для них есть Чины сын Чичин, который ни

на что не способен, как только горло драть да на своем ачамгуре тренькать, но и я вам сегодня исполню шуточную песню. В ней все перепутано, да не все выдумано, а если поглубже вникнуть, то и поучительного можно немало найти. Называется она «То ль быль, то ль небылица». Пусть она, как солнышко в пасмурный день, осветит улыбками ваши лица!

Мамсыр опять тронул смычком струны – и, уже не прерываясь, полились звуки, легкие и чистые. Его голос, когда он запел, был под стать его апхярце, в глазах сияла радость, он часто посматривал на меня, – наверное, хотел определить по моему лицу, как мне эта песня – по душе или нет.

Дай Бог вам всем, друзья мои,
Удачи и здоровья!
А мне позвольте рассказать
То ль быль, то ль небылицу...
Пасу я как-то раз в горах
Свою козу с козленком, –
Коза безрогая была,
А козлик был хромой, –
Так вот, пасу, а заодно
На всякий случай сено
Всю ночь кошу: не ровен час,
Ледник огнем займется,
А под рукою ничего,
Чем затушить пожар...
Кошу и вижу: по камням
Парнишка чей-то скачет
И мне кричит, что у меня
Отец сейчас родился!
Ну тут на радостях я вмиг
Взобрался на козленка
И, чтобы к небу ближе быть,
На рожки перебрался,
Привстал на цыпочки, и вот,
Немного поднатужась,
Я для мальца сорвал звезду
За доброе известье!

Отдал ему, а сам домой
Пошел с веселой песней –
Иду пою, не чуя ног
От радости великой!
Вхожу в село, а у ворот
Стоят толпой соседи
И с новорожденным меня,
Завидев, поздравляют:
«Хвала тебе, счастливый сын,
Отца себе родивший!
Устрой на радостях гульбу
И угости нас медом...»
Я угостить, конечно, рад,
Да где я мед достану?
Быть может, стоит поискать
В лесу у диких пчел?..
Пошел я в лес. Иду – и вот
Дуплистый куст увидел,
А меж ветвей его снуют
С гуденьем злобным пчелы.
Хотел взобраться я на куст,
Да не дают колючки;
Хотел срубить его – топор
Я дома позабыл.
Добро, что рядом рос лопух,
Развесистый, как клюква.
Я по нему полез наверх
И на макушку вылез,
И уж примерился на куст
Я перепрыгнуть лихо,
Да подломился вдруг лопух,
И рухнул я в болото.
Но, слава богу, не завяз,
Поскольку изловчился
И не в трясину угодил,
А на спину лягушке.
Та с перепугу прыг да скок,
Взвилась, как птица, в небо,

И через миг я глянул вниз,
А подо мною – море...
Свалился в воду я с нее;
Поплыл, волной гонимый, –
Она несла меня, несла
И к берегу прибила...
Когда же я в себя пришел,
То, зная, что целебна
Вода морская, я водой
Набил свои карманы:
Мол, ворочусь к себе домой
И в ней отца-малютку
Велю смыть... И вот плетусь,
От тяжести шатаюсь,
А солнце сверху так и жжет,
И ветер с ног сшибает.
Совсем я выбился из сил,
Присел в изнеможенье –
Да и заснул, и спал три дня,
Ну а проснулся, вижу:
Лежу в тени я под кустом,
Без головы лежу!
«Эй, что случилось тут со мной? –
Я завопил от страха. –
Где голова моя теперь?
Чем есть и думать буду?»
Ответа не было... И вот
Воткнул я в землю посох,
А сверху шило прикрепил,
Чтобы повыше было.
Затем вскочил на острие,
Ладонь ко лбу приставил,
И все края, какие есть,
Обвел я долгим взглядом:
Быть может, голову свою,
Коль повезет, увижу...
Глядел, глядел и, наконец,
Заметил вдалеке я,

Как волк моею головой
Играет будто в мячик.
Спустился с посоха я вниз
И кинулся за волком:
Иду, спешу – за каждый шаг
Семь верст одолеваю.
Ну, по пути домой зашел –
Родных своих проведал,
Отца в кроватке покачал,
Слил воду из карманов
И снова в путь... И вот уже
Я по горам шагаю...
А там, в горах, – беда! пожар!
Там ледники пылают!
Объял меня великий страх,
Но я не испугался,
Я смело кинулся назад,
Поймал мгновенно волка,
Схватил за хвост, швырнул в огонь –
И он сгорел, бедняга!
Все хорошо, да вот беда –
Упала вниз с обрыва
И полетела голова
Прямехонько к земле!
Ну тут я даром не терял
Ни часа, ни минуты.
Я мигом пояс подтянул,
Переобулся мигом,
И за своею головой
Я прыгнул камнем вниз
И на лету ее настиг,
Схватил, прижал рукою.
И вместе с нею у ручья
На землю опустился,
Потом немного отдохнул,
Патом в ручей, забрался,
И в ледяной его воде
Я голову промыл,

Прополоскал и просушил
И вновь приставил к шее,
А чтоб держалась крепче, я
Из сучьев сплел веревку,
И той веревкой прикрутил
Я голову к плечам.
Потом принялся за пожар,
Кидая в пламя сено,
Я быстро справился с огнем,
Но чуть не угорел...
Огонь погас – и ожил мир,
Засеребрились горы,
И солнце вышло из-за туч,
И ветер дым развеял.
Запели птички в вышине,
А туры и олени
Опять спокойно на лугах
За подвиг мой, за то, что я
С огнем на славу бился,
Решил мне дать Жвеипширкан
Волшебных пчел в награду
И улей их среди цветов
Поставил на поляне,
И с той поры я позабыл
Нужду, лишенья, бедность;
Не знал я с пчелами хлопот,
Всего и дел-то было:
Пересчитать их поутру,
Когда летят из улья,
А также вечером, когда
Спешат домой вернуться.
Но как-то раз считаю, глядь –
Одной-то не хватает!
Не то медведь ее задрал,
То ль в тучах заблудилась...
И вот, тревогой обуян,
Я двинулся на поиск.
Зову, кричу – ответа нет,

Нигде следов не видно.
Уж ночь настала... Наконец
Крестьянина встречаю, –
Пахал он поле... Но на ком –
Никто не угадает!
В одной упряжке у него
Моя пчела и буйвол!
Ну, я, конечно, не стерпел
И за кинжал схватился,
И с гневным криком на него
Накинулся... Но тут
Я вдруг услышал голоса,
Знакомые с рожденья:
«Чего ты так вопишь, сынок?
Живот болит, наверно?»
Открыл глаза я – надо мной
Отец и мать склонились,
А сам я в комнатке своей
Под буркою лежу...
Но с этих пор я сам не свой,
И не могу понять я:
Во сне ль все это снилось мне
Иль было наяву?

Ну вот и все, друзья мои,
Дай бог вам всем здоровья,
И чтоб столы у вас в домах
Без мяса не бывали!
И пожелаю вам еще,
Чтоб эту небылицу,
Когда ей сбыться час придет,
Мы б вместе посмотрели!

Мамсыр старался петь и не слишком громко, и не слишком быстро, чтобы все могли разобрать каждое слово, а порою, сделав паузу, он переходил на речитатив.

Но вот апхярца умолкла, затих голос певца. У всех, кто был сейчас на веранде – у мужчин, у матери, у моих сестер, как мотыльки на свет,

слетевшихся на песню, – лица сияли от удовольствия, они блаженно жмурились, будто в глаза им светило солнце.

Я стоял, прильнув к опоре, обнимая, стискивая ее все крепче и крепче, – вероятно, от избытка чувств, потому что услышанное ошеломило меня.

Потом я еще несколько раз слышал от Мамсыра эту песню, и все равно мне вряд ли удалось бы удержать ее в памяти, если бы не мать. Оказалось, что она в детстве выучила ее наизусть от своего дяди и помнит так, словно это было еще вчера. Чтобы отвлечь меня от какой-нибудь дурацкой затеи или хоть ненадолго удержать подле себя, она садилась рядом и запевала «То ль быль, то ль небылицу»...

Моя надежда, что апхярца Мамсыра исцелит мать и вернет ей душевный покой, сбылась. Тот день возвратил в нашу семью веселье и радость, почти уже забытые. Снова по вечерам, когда мы заканчивали ужинать, в нашем доме звенели песни. Запевал, как повелось, дядя Элизбар, его поддерживала Гущка, а там и мы вступали. Песням не было конца, они шли по кругу, всех увлекая за собой. И пришел день, когда Гущка встала, сходила в дом и принесла ачамгур. Вынув его из черного платка, в который тот был закутан, мать натянула новые струны, и его нежный голос сладко отозвался в наших сердцах.

* * *

Когда у Зафаса кончалась кукуруза, он брал плетенку и шел по соседям. Нет, он не просил, не клянчил – просто ставил корзину возле амбара, и хозяин, ни слова не говоря, доверху наполнял ее початками. Зафас молча взваливал ее себе на спину и возвращался домой. Сегодня к одному зайдет, завтра к другому, послезавтра к третьему... Тем и жил.

Как-то утром Зафас наведался и к нам. Но, прежде чем зайти в дом поздороваться, он, по укоренившейся привычке, сразу же пошел к амбару, снял пустую корзину, болтавшуюся у него за плечами, поставил к порогу, а уж потом только спокойно направился к амацурте.

Когда он зашел на веранду, дедушка, как всегда, был там. Зафас поприветствовал старика, тот в ответ привстал, но глянул на гостя не слишком любезно. Не потому, что ему жалко было корзины кукурузы, просто он был сердит на Зафаса, и совсем по другому поводу.

– Накормите его, да побыстрее, у меня к нему разговор имеется! – крикнул дедушка моей матери, хлопотавшей у очага.

У Зафаса было правило, которого он строго придерживался: раз уж явился к соседу, нужно заодно и поесть, уважить хозяина. Поэтому сейчас он охотно прошел в амацурту, сел, и мать поставила перед ним тарелки с едой.

Я всегда с удивлением и недоумением глядел на этого странного и непонятного человека, он мне почему-то казался полным каких-то тайн и загадок. Сегодня, как только я заметил, что Зафас входит во двор, я со всех ног кинулся в амацурту, где можно было без помех наблюдать за ним, и вот теперь сижу смотрю, как он ест. А ест Зафас с таким усердием, что пот катится по его лицу и он то и дело вынужден отрываться от тарелки, чтобы утереться концом серого суконного башлыка, закинутого за плечи. Я давно обратил внимание на эту его особенность: какая бы ни была погода на улице, пусть даже и стужа, но стоит Зафасу приняться за еду, как он тут же вспотеет»

Зафас ел, пил и явно не торопился покидать гостеприимную амацурту. «Как же так? – мысленно удивлялся я, сидя у очажного камня и украдкой следя за гостем. – Разве он позабыл, что дедушка дожидается его на веранде?»

Я знал, за что дедушка сердится на Зафаса. «Вы только подумайте: деньги, которые дало ему государство на обзаведение, он потратил на поющий ящик! Это все равно что в огонь их швырнуть!» – возмущался он вчера, когда зашел разговор о нашем неунывающем соседе. И, вероятно, предчувствуя, что разговор с дедушкой не сулит ничего доброго, Зафас нарочно затягивал с едой. Но всему на свете бывает конец, и вот он поднялся из-за стола, поблагодарил хозяйку, вымыл руки и сел на веранде.

Разговор дедушки и Зафаса начался.

– В последние дни, Зафас, у тебя в доме постоянно царит веселье – поют, танцуют. Настоящая свадьба! Люди, проходя мимо, спрашивают друг друга: «Что за праздник, которого мы не знаем? По какому такому поводу веселятся у Зафаса?» – и не знают, что ответить... А может, ты и в самом деле справляешь свадьбу? Тогда, во-первых, прими мои поздравления, а во-вторых, выслушай, что я скажу: ты, наверное, единственный человек в мире, который не пригласил на свадьбу своих соседей!

– Да какая там свадьба! Что ты, Бежан?! Это все он, граммофон, который вы все зовете поющим ящиком. Но он хоть и впрямь не больше ящичка, зато внутри у него сто человек помещается. Ни кормить их не

надо, ни поить, только ручку покрути – и они для тебя все что хочешь споют в любое время!

– Ты, Зафас, никогда ничьих советов не слушал, делал так, как в голову втемяшится! – уже резче заговорил дедушка. – Государство ссудило тебе эти деньги на дело, на хозяйство, а ты их на что извел, а? Вместо того чтобы купить одежду детям, из которых пока ни один не может позаботиться о себе сам, ты покупаешь поющий ящик! Да еще с какими-то проходимцами всю ночь кутишь в ресторане! И скажи мне, была ли необходимость в том, чтобы подкатывать к сельсовету в пролетке, на четверке лошадей? Ты что, не мог вернуться из Очамчыры, как все люди?

– Ох, ругай меня, дурака, Бежан, ругай, крепче ругай! – прикидываясь простачком, заныл Зафас.

– Да что тебя ругать? Тебя ругать мало, на тебя нужно заявление писать да посылать куда следует. Жаль только, что ниже моего достоинства писать доносы да жалобы... В доме у тебя ни горсти муки нет, ходишь по соседям, побираешься, а потом «Ерашу» затягиваешь! Как так можно? Взгляни на Миху-добровольца – нищим был, а теперь? Но он работает, он трудится, он землю, которую ему государство дало, не бросил, как ты, травой зарастать, хотя у него, а не у тебя, нога искалечена. Он деньги, которые опять же государство ему дало, не прогулял, не прокутил, не выбросил на ветер, нет, он купил на них буйволов да корову! А ты чем в это время занят, какие подвиги совершаешь? Сидишь да своему ящику подтягиваешь?

– Ладно, Бежан, не злись, чего ты, в самом-то деле? Я же ничего дурного не сделал. Ну да, люблю я музыку слушать, люблю. И пусть у меня ни слуха, ни голоса, но мне нравится, когда поют, век бы сидел да слушал! – Зафас, чем больше распалялся дедушка, становился все спокойнее и спокойнее; разговаривая, благодушно посмеивался.

– Неужели ты всерьез думаешь, что от песен твои дети станут меньше хотеть есть? – бросил дедушка.

– Конечно, песней брюха не набьешь, это точно. Ну да все же с ней легче, чем без нее, – она и успокоит, и утешит, и развеселит, под нее все горести свои забываешь. А кроме того, песня еще и воспитывает!

– Скоро весна, а на чем ты пахать думаешь? На своем поющем ящике?

– Для песни все равны – и кто пашет, и кто не пашет. Ты, Бежан, человек умный и уж в таких-то вещах должен бы разбираться...

Дедушка, по всей видимости, собирался еще больнее высечь Зафаса, к тому дело шло, но, услышав эти слова, он умолк, будто подавился. А тот спокойно сошел с веранды, дошел до амбара, закинул за спину наполненную уже корзину и как ни в чем не бывало отправился к себе домой.

* * *

В начале лета тетя Мари вышла замуж и жила теперь вдали от нас – в другом селе, у самых гор. Уже зима, а мы ни разу не виделись с ней и очень соскучились. Особенно Мачич и я: ведь нас тетя Мари воспитывала наравне с матерью. Хотелось бы, чтобы она приехала к нам, погостила, но дедушка молчит, и никто не смеет затевать разговор об этом...

Но однажды вечером дедушка заявил: «Стосковался я что-то по дочери, глянуть бы на нее». Но что значит «глянуть бы»? Просто высказанное вслух желание – и все. Тетя Мари замужняя женщина, и ей негоже без веских на то причин покидать свой новый дом, даже и ради того хотя бы, чтоб повидать родителей. Поэтому отец и дядя Элизбар, обрадованные признанием дедушки, немедленно созвали к нам в дом родных и соседей и в тот же вечер договорились устроить торжество – назначили срок, условились, кто поедет развозить приглашения и кому. Учитывая, что и зять не приехал бы один, без приличной свиты, его известили прежде всех, чтобы у него было время приготовиться и предупредить друзей.

Несколько дней наша семья с помощью соседей самоотверженно готовилась принять многочисленных гостей. В трудах и хлопотах время летело незаметно, и вот, оказывается, уже завтра гости начнут съезжаться. Но сегодня, пока еще никого нет, мать должна успеть сделать несколько покупок. Поэтому где-то в полдень она отправилась в лавочку грека Янки, а я, как всегда, увязался за нею.

Выпавший ночью снег был свеж и чист, почти не примят, не истоптан, набивался в чувяки. Злыми порывами налетал ветер, раскачивал запорошенные деревья, стряхивал с них иней, но я одет хорошо, легкие чувяки из сыромятной кожи плотно сидят в меховых ноговицах; они выстланы изнутри мягким горным мхом, штанам и черкеске из домотканого сукна не страшны никакие морозы и вьюги; на плечах у меня короткая бурка, на голове мохнатая папаха из овчины.

Чем дальше мы уходили от дома, тем шире становилась дорожка, протоптанная в снегу... Вскоре мы вышли к центру села. И видим: вереницами тянутся к сельсовету и пешие и конные, мужчины и женщины. Все они чем-то сильно расстроены – настолько, что не хотят даже приостановиться и поговорить с матерью.

– Что случилось, дорогой, куда вы все спешите, собрание какое будет или что? – окликнула мать размашисто шагавшего парня, когда тот поравнялся с нами.

– Да вы что, ничего не слышали, что ли? Ленин умер! – ответил он и прибавил шаг.

– Как?! – Мать обмерла и принялась судорожно разматывать платок, словно ее внезапно кинуло в жар.

– Кто умер? – спросил я, дергая ее за руку.

– Ленин, сынок, Ленин.

– Ленин? А кто это?

– Ленин? – переспросила мать и растерялась, но потом объяснила как могла и что знала: – Ленин, сынок, это тот, кто установил на земле новый закон и всех наделил землею. Ленин любил людей и хотел, чтобы они все были сыты и жили в тепле.

– Он наш родственник, да? – не унимаюсь я.

– Он родственник всем, кто своим трудом зарабатывает себе на хлеб.

– А я его видел? Он приходил к нам в гости?

– Нет, сынок, нет, не приходил. Скорее всего, ему вообще не довелось побывать в Абхазии...

Сельсовет и школа у нас были деревянные, из каштановых досок, стояли поблизости друг от друга. Взглянув туда, мы увидели у их дверей склоненные траурные флаги. Но люди шли только в сельсовет. Пошли и мы за ними, протиснулись в зал, встали к женщинам, сбившимся в одном углу.

– Ленин! – сказала мать и кивком показала вперед. В конце зала, над столом, за которым сидело множество людей с черными повязками на рукавах (среди них я узнал только маминого брата Танаса и Куасту, сына Саида), висел портрет лобастого человека с усами и короткой бородкой, убранный по краям черной лентой. Лобастый человек, прищурясь, глядел в зал светлыми глазами, словно хотел получше рассмотреть каждого из собравшихся.

К столу вышел какой-то немолодой крестьянин по имени Алхас. Плечистый, кряжистый, с густыми черными усами, он взглянул на портрет и обратился к нему, как к живому:

– Уважаемый Ленин, ты герой из героев, тебя не сломали темницы, ты терпел холод и голод, не берег свое здоровье, всего себя отдал, чтобы наш народ был счастлив. И дело свое ты довел до конца, сорвал звезду с неба, как нарт Сасрыкуа!.. Уважаемые, о загробной жизни я говорить не буду, потому что такие, как Ленин, не умирают. Как неразделимы солнце и свет, так и он неразделим с народом, с его счастьем и будущим!.. Ты, уважаемый Ленин, нам, жителям горного села, так же дорог, как всему народу. И ты всегда будешь снами!

Так сказал Алхас и неспешно вернулся на свое место.

Из дальнего угла, не спрашивая слова, вышел высокий худой старик. Он встал поближе к портрету, стянул с головы башлык, обнажив белопенную седину, скрестил на груди руки и произнес:

– Я, уважаемые, скажу одно: совсем некстати явилась к Ленину смерть, когда он ковал народное счастье... Все вы знаете, как дорога человеку его жизнь, но каждый волен распоряжаться ею по собственному усмотрению. Так вот, я, старик, которому перевалило за сто лет, без раздумий бы отдал свою душу, если бы знал, что это вернет его нам!

После старика говорила пожилая женщина в большом черном платке, но что она говорила – я не разобрал ни слова, потому что она только и делала что всхлипывала, вздыхала и вытирала слезы.

Выступали и совсем молодые люди. Но их я тоже не понял, хотя они говорили громко, даже на крик порою срывались, – уж слишком много было в их речах слов, которых я никогда не слышал. Знакомы были только эти: партия, республика, Совет. Думаю, и остальным тоже.

А вот то, что в дни всенародной скорби сказали крестьянин Алхас и столетний старец, дошло до сердца многим и многим запомнилось; их слова не забывались долгие годы, повторялись даже теми, кого не было тогда в зале. Вероятно, поэтому и не изгладились они из моей памяти, и не изгладятся уже никогда...

Траурный митинг закончился, мы вышли на улицу. Народ расходился печально и безмолвно, даже плетки проезжавших мимо всадников не посвистывали в воздухе. Валил снег, короткий зимний день клонился к вечеру. Оттого ли, что стельки в моих чувяках отсырели, ноги стали зябнуть, меня познабливало.

Лавка грека Янки оказалась запертой, и мы с мамой повернули к дому.

А дома у нас чуть ли не все соседи собрались, они битком набились в амацурту, сидели, плотным кольцом окружив дедушку, курили, лица их были строги и серьезны, как на похоронах, головы опущены словно под тяжестью дум, никто не смел нарушить скорбную тишину. Если огонь в очаге начинал угасать, кто-нибудь шел на веранду и приносил охапку дров.

– Скажи нам что-нибудь, Бежан, не таись, открой свои мысли, в которые ты так глубоко погрузился, – вымолвил наконец Саид.

– Даже и не знаю, что сказать вам, почтенные, – после некоторого молчания тихо ответил старик. – Эта черная весть вышибла меня из седла...

Он протянул к очагу посох, железным его наконечником разворошил жар и заговорил снова:

– Мне вспомнилось одно событие... Это было в первый год после установления Советской власти, в Очамчыре тогда собрался общий сход...

(Здесь я, не нарушая последовательность дедушкиной речи, прерываю ее, чтобы отметить: слова, сказанные в тот вечер Бежаном, крепко врезались в память односельчан, они вспоминали их и тогда, когда его уже не было в живых.)

– ...собрался общий сход, выступал Эфрем Эшба. Я спросил, чей он сын, мне ответили: сын Алыксы. А я Алыксу хорошо знал, он из села Бедия был родом, а это же рядом, по соседству. Тогда я стал слушать еще внимательнее. Оказывается, Эфрем Эшба встречался в Москве с Лениным, говорил с ним от имени абхазов, и Ленин дал нам, абхазам, государственность. Об этом Эфрем рассказывал особенно подробно и обстоятельно... Вот с того дня Ленин навсегда поселился в моей душе, я стал часто думать о нем.

Раньше, когда я размышлял над судьбою нашего народа, мне казалось, что она подобна судьбе Абрскила: не успеем мы от одной напасти оправиться, как нас уже новая настигает. Абрскил расшатал железный столб, к которому его приковали много веков назад, еще чуть-чуть – и он выдернет его. Но в этот миг какая-то крохотная синяя птичка залетела в пещеру и уселась на столб. Она трещала без умолку и, наконец, вывела из себя Абрскила, да так, что он, не в силах более сдерживаться, схватил кувалду и в страшном гневе запустил ею в эту маленькую

негодницу! Но птичка вспорхнула и улетела, а кувалда со всего маху ударила по столбу и вогнала его обратно в землю. И весь его упорный многолетний труд в одно мгновение пошел насмарку... Но, оказывается, на земле есть сила, способная снять с героя древнее заклятие, и вот благодаря Ленину Абрскил выдергивает из земли железный столб, сбивает с себя оковы!.. Однако сейчас, уважаемые, вы видите, какое несчастье случилось. Умер Ленин. Умер... И пока не похоронят человека, по которому горюет весь народ, я не могу веселиться и петь. Так что, уважаемые мои соседи, пир я отменяю, вернее, откладываю, знайте об этом!

Потом дедушка сказал, что он в тот же час, как услышал о смерти Ленина, послал к зятю своего младшего сына Элизбара, а к остальным – соседского парня Аксента. Они должны были известить всех, что торжества переносятся на другие дни... Не думайте, что дедушке было легко решиться на такое. Чтобы верно оценить его поступок, нужно учесть, что на пир было звано больше четырехсот человек и что все уже было готово к их приему – и наварено, и нажарено...

Около полуночи соседи разошлись по домам. Я лежу в своей постели, ворочаюсь, никак не могу заснуть. Только прикрою глаза – и сразу же вижу зал сельсовета, траур, скорбно молчащих людей. Да и дедушкины слова не выходят из головы, не дают покоя, мне больно, что он так расстроен. Но, сколько я ни думаю, все не могу понять, почему эта смерть так потрясла людей – ни с кем из наших Ленин не состоял в родстве, никто не был знаком с ним, никто даже не видел его! Значит, решаю я, он был очень добрый и хороший человек и как, наверное, славно было дружить с ним. И я начинаю воображать, как прихожу к нему в гости, как он встречает меня, сажает у своего очага...

Так вот, в те дни, когда в Москве, в Колонном зале, стоял гроб с телом Ленина, где-то в Абхазии, в ногах убеленных снегами гор, лежал без сна в плетеной крестьянской лачуге деревенский мальчик, сын неграмотного пахаря, и думал о великом человеке, и по-своему переживал его смерть.

XV

Мамина родня жила в нашем же селе, только в другом его конце – у горы Панаю, в самом ее подножье. Когда мать, соскучившись по своим, отправлялась навестить их, она брала с собой и меня. Предстоя-

щее свиданье переполняло ее радостью, и эта радость в полной мере передавалась мне.

А чего стоило то, что мы видели и встречали по дороге! Мимо нас проносились конные, прокатывались арбы, ослепляли, как маленькие солнца, ярко-желтые цветы азалии по обочинам. Большак вился, огибал косогоры, сплошь покрытые непроходимыми зарослями; я поднимал голову, чтобы хоть взглядом пройтись по ним до вершины, и видел, как, распластав могучие крылья, парит в небесах орел, как текут облака, обволакивая, цепляясь за горные кручи. Порою нам попадались выходы сланца, и мы останавливались, искали подходящие куски. Тащить их с собою в гости мы, разумеется, не собирались и поэтому прятали где-нибудь в приметном месте, чтобы захватить на обратном пути. Дома отец обтачивал их, ровнял, высверливал дырочки в середине, делал пряслица для маминых веретен. А я из этих каменных пластин вырубал маленькие жернова для своих водяных мельниц.

Идем, продолжаем свой путь, и вдруг мой слух начинает улавливать какое-то приглушенное урчание. Я перебегаю дорогу и останавливаюсь над крутым обрывом, под который гремит река. Это Пал. Сразу же бросаются в глаза огромные, не меньше амбара, каменные глыбы, загромоздившие русло; одна половина у них голая, черная, другая бархатисто-зеленая, поросшая мхом, – между ними, как сквозь частый гребень, и продирается река. Неужели это она принесла их пода? Вряд ли, как бы она сдвинула их с места?.. И чем дольше глядишь на них, тем все больше и больше веришь, что и впрямь когда-то, в незапамятную старину, накидал в реку эти камни могучий великан, чтобы по ним перейти на другую сторону. На них, говорят, даже следы его видны…

И вот мы ступаем на берег Пала. В этом месте через него переброшен висячий мостик для пешеходов, а конные перебираются вброд, – он где-то поблизости, вон дорожка бежит туда вдоль берега, заросшего густым самшитом.

Перед мостиком в тени клена сидит на разостланной бурке тщедушный, в чем только душа держится, старик по имени Куатащ, – летом, когда ни приди, он всегда здесь. Завидев путника, Куатащ поднимается с бурки и приветствует его с такой искренней радостью, будто встретил самого дорогого родственника, потом расспрашивает о делах, о том, что нового в мире, приглашает присесть рядом с ним, отдохнуть в

холодке. Всякий понимает, что старику просто поговорить хочется, и если согласится принять приглашение, то беседа затянется на неопределенное время.

И сейчас, не слушая уговоров моей матери не вставать, пощадить свои старые кости, Куатащ поднимается, подпирает себя посохом и стягивает с головы дырявую войлочную шляпу.

– Чарымхан, дорогая моя, как я рад видеть тебя! Как поживаете, все ли у вас живы и здоровы? А этот мальчик, должно быть, твой сын? Дай бог тебе, милый, доброго здоровья!

– А как твое здоровье, дедушка? – спрашивает мать. Она знает: если Куатащ заведется, его потом долго не остановишь, а задерживаться нам не с руки. Но ей не хочется обижать старика.

– Какое в мои годы здоровье! Сижу вот на ветерке, дышу, только им и жив...

Пока мать разговаривает с Куатащем, я спускаюсь поближе к воде. Из земли торчит полусгнившая свая, подхожу и от нечего делать бью по ней палкой.

– Ага, вот что значит родная кровь – узнает, тянет! – восклицает старик, направляясь ко мне. – Ведь эту сваю вбили братья твоей матери, когда строили мост через нашу реку. А мост они строили не потому, что не знали, куда деньги девать... Но нет, пусть он лучше из твоих уст, дорогая Чарымхан, услышит об этом. Рассказанное тобой запомнится ему крепче. Скажу только, что очень был тогда благодарен народ твоим братьям. Хоть и недолго простоял их мост, но он сблизил людей, что жили на разных берегах одной реки, многим жизнь спас. Пал – коварная река, всякие беды случались по его милости.

Пророчество старого Куатаща сбылось: через несколько лет мать поведала историю этого моста, и она глубоко запала мне в душу. Его и впрямь построили ее братья только ради нее, своей сестры. И вот после чего.

Шел когда-то свататься к моей матери некий юноша по имени Гидж, родом из Адзюбжи. Шел тем же путем, каким и мы ходили к ее родне, и вышел к реке Пал. Только он ступил в воду, чтобы перейти на другой берег, как внезапный паводок сбил его с ног, и никто никогда не видел больше Гиджа. Наверное, не знал он коварного нрава реки, не знал, как часто бывают здесь паводки, обманулся ее мирным видом. Так или иначе, но человек погиб, пропал навсегда.

«А может быть, в этой реке утонуло счастье нашей дочери?» – задумались как-то отец с матерью. Услышав такое, братья сообща построили мост, чтобы река не была преградой для счастья их сестры.

И случилось невероятное: когда мой отец уводил свою невесту, мою будущую мать, к себе в дом, он и его друзья с песнями и стрельбой благополучно прошли по этому мосту, а через несколько дней он рухнул, его снесло новым паводком. Мост словно ждал замужества той, ради которой был построен, и вот дождался...

Мать еще разговаривала с Куатащем, а небо между тем обложили тучи, стал накрапывать дождик. Мать забеспокоилась и, полюбезничав еще немного, чтобы старик не обиделся, взяла меня за руку и перевела на ту сторону через качающийся, пружинящий мост. Идем торопимся под моросящим дождем, и вот, когда уже вошли в какой-то проулок, с обеих сторон стиснутый заборами, на нас со страшным шумом обрушился ливень. Порывами налетал ветер, валил с ног, крупные капли, как пули, сшибали с деревьев листья, и они устилали землю.

Распахнув первые же ворота, которые нам попались, мы проскочили двор и вбежали в амацурту, над которой стлался сизый, прибитый дождем дымок. Хозяева встретили нас радостными возгласами, подвели к очагу. Видно, здесь жили старинные приятели моей матери, они сердечно поприветствовали друг друга, сели, оживленно заговорили о чем-то.

На одной скамье рядом с ними горбился какой-то плешивый старик с короткою темной бородкой; узкими, тонкими полосами, нарезанными из опойника, он прошивал сыромятные чувяки и почти не вмешивался в разговор.

С двумя хозяйскими мальчишками, моими сверстниками, я вышел поиграть на веранду. В это время множество людей хлынуло во двор, один среди них был верхом на коне. Потом я заметил белую козу, которую они тащили за собой на веревке. Укрываясь от дождя, прибывшие забились под навес поблизости от ворот, и только двое из них остались с всадником, помогли ему спуститься на землю, укрыли буркой и под руки повели в амацурту.

С первого взгляда было ясно, что это очень больной человек. Несмотря на бурку, он мерз, его лихорадило. Пододвинув скамейку к очагу, он сел и протянул к огню высохшие, костлявые руки. На щеках резче обозначились глубокие провалы, слезящиеся глаза слипались, и не было у него сил раскрыть их пошире.

– Что, Чагу, нездоровится тебе? – спросил плешивый старик, откладывая чувяки в сторону.

– Ах, Сагум, Сагум, пропал я, пропал, – с трудом выговорил больной.

– Сагум, дорогой, слава богу, что мы застали тебя дома, без твоей помощи нам никак не обойтись, – оставаясь стоять, заговорил один из тех двоих, что привели больного Чагу. – Мы пришли помолиться в твоей святой кузнице и попросить об отпущении грехов. Но не думай, мы не с пустыми руками, мы белую козочку привели, на ней ни одного черного волоска не найти, вот увидишь!

– А что случилось? – спросил старик, одновременно прислушиваясь к чему-то. – Говорите же, не бойтесь, здесь чужих нет.

– Сагум, дорогой, год назад в это же время Чагу был у тебя в кузнице и поклялся при всех, что он честный человек и никакого отношения не имеет к той краже, в которой его подозревают. В тот же вечер он захворал, по сей день не может подняться с постели. Но мы выяснили причину его недуга, и вот пришли к тебе...

– Ах, Сагум, Сагум, пропал я, ни есть не могу, ни спать, прикрою глаза – и слышу, как грозит мне золотой бог Щащвы. Как молот по наковальне, так и его голос стучит я моих висках. Просыпаюсь в поту от страха, жар, горю весь, сгораю, одни кости остались, а плоть растаяла... Знай, клятва моя была ложной, признаюсь в этом, сведи меня в кузницу, дай замолить грех, спаси мою душу, Сагум, заклинаю тебя! – Чагу жадно выхлебал полный ковш воды, придвинулся еще ближе к огню и подставил ему стынущую грудь.

– Ну что ж, отправляйтесь в кузницу. Позовите и тех, кто может поручиться за него. – Сагум встал и вышел из амацурты.

Следом за ним повели Чагу.

– Хочешь взглянуть на кузницу? – шепнул мне, боясь, что услышит мать, один из мальчишек.

– Еще бы! – искренне ответил я.

– Тогда ступай за мной, – приказал мальчишка.

Он спустился с веранды и вдоль стены, прижимаясь к ней, чтобы не слишком мокнуть, прокрался до угла, обогнул его и шмыгнул в заросли. Я не отставал от него.

На краю двора, у самого забора, стояло приземистое убогое строение, крытое дранью. Это и была кузница. Пригибаясь, чтобы взрослые ненароком не заметили нас, мы подобрались к ней вплотную. Через

щель в стене, которую великодушно предложил мне мой новый приятель, я заглянул внутрь. На самой середине кузницы, на земляном полу, стояла наковальня, укрепленная на толстом дубовом кряже, рядом лежали два молота, один большой, другой поменьше, громоздились кучи железного хлама.

– А почему горна нет? – поинтересовался я шепотом.

– Ты что, думаешь, это взаправдашняя кузница? Нет, здесь не работают, здесь молятся, ведь это святилище Щащвы! – так же шепотом ответил мальчишка и приставил палец к губам.

Я понял, что надо помалкивать. Как раз в это время в кузницу вошли люди, встали поодаль от наковальни. Плешивый старик, оказавшийся жрецом, поднял большой молот и зарокотал:

– О Щащвы, золотой владыка, бог-кузнец, услышь меня, ложно клявшийся твоим именем признал свой грех, отпусти ему вину его, будь милостив к нему, молю тебя ради него!

Ударив по наковальне два раза, жрец положил молот на пол молотовищем к Чагу. Тот, и без того бледный, побледнел еще больше. Еле держась на ногах от слабости, Чагу вытянул дрожащие руки и поднял молот.

– О Щащвы, золотой владыка, услышь меня, снизойди ко мне, смиренно умоляю тебя: прости меня, грешного, признаюсь в том, что клятва моя была ложной, – заговорил он рыдающим голосом, обратив свой взгляд вверх. – Полюбилась мне лошадь моего соседа Чагица, сплю и во сне вижу, но Чагиц отказался продать ее, и тогда я решился украсть ее – и украл. Чагиц справедливо обвинил меня в воровстве, но ровно год назад я пришел сюда, встал у наковальни и поклялся твоим именем, что не сводил с его двора эту лошадь. Теперь я вернул ее хозяину, между мною и Чагицем больше нет обиды, он простил меня, да будет благословенно его ими! Вот он сам стоит здесь и может подтвердить мои слова... О Щащвы, золотой бог, всю душу свою я открыл перед тобой, обнажил ее дно и очистил ее признанием, прости мое прегрешение, исцели меня, верни здоровье, как я вернул лошадь хозяину, дай вырастить детей! А в благодарность я жертвую тебе белую козу без единого черного волоса!

Чагу обращался к Щащвы голосом, сдавленным от рыданий, да, кроме того, ему, наверное, вообще было трудно говорить. Закончив молитву, опустил молот на землю и преклонил колени перед наковальней. Он глядел вниз, и по его впалым щекам, похожим на осевшие, про-

валившиеся могилы, текли слезы. Двое мужчин, те, что сопровождали Чагу, приблизились к наковальне.

Мы клялись, что ручаемся в невиновности Чагу, однако он оказался виновен, и стало быть, наши клятвы тоже были ложны. Прости нас за наши грехи, о Щащвы, золотой владыка!

И два клятвопреступника, поочередно каясь в содеянном, тоже брались за молот.

– Чагиц! И тебе, уважаемый, положено сказать несколько слов, – раздался голос жреца.

Чагиц прислонил к стене посох, откинул за спину черный башлык, под которым оказалась совершенно лысая голова, и подошел к наковальне. Но к молоту он, в отличие от других, даже не притронулся.

– Моя совесть чиста – и перед Богом, и перед людьми, и ничего не крал и не давал ложных клятв. А тот, кто год назад ложно клялся здесь в своей невиновности, так он уже достаточно наказан, Щащвы. Золотой владыка, бог-кузнец приковал его к постели черною немочью. А я на него не таю ни зла, ни обиды, лошадь украденную он вернул, и если хочет, чтоб в дальнейшем мы жили с ним как добрые соседи, то что ж, я не против, – сказал Чагиц и отступил назад.

Вдруг кто-то дернул меня за плечо, я оглянулся и увидел мать.

– И не стыдно подглядывать? А если кто увидит? Пойдем, дождя уже нет, – сказала она.

Мы вышли из ворот. Вдоль дороги катились мутные дождевые потоки, доносился обвальный гул паводка, – воды в реке видать, прибыло, и немало: зеленые склоны гор облепили клочья облаков.

Я шел под впечатлением того, что увидел в кузнице, это зрелище потрясло меня, я до сих пор слышал рыдающий голос Чагу, видел его слезящиеся, умоляющие глаза.

– Если Чагу простили, значит, он выздоровеет? – спрашиваю мать.

Но та ничего не отвечает, идет молча, будто и не слышит вовсе. И вдруг останавливается, и, глядя поверх моей головы, точно обращается не ко мне, а к кому-то другому, кто стоит за моей спиной, говорит:

– Вся семья Чагу померла от чахотки. Сначала мать, потом сестра. Сейчас, видно, его черед. И никакие прощения и отпущения грехов уже не спасут его. У него легкие насквозь прогнили, а он, бедняга, думает, что из-за ложной клятвы страдает. Даже и не догадывается, что его чахотка точит... Покаялся принародно, признался, что он лжец и

вор, оставил по себе худую славу – только и всего, чего он добился перед смертью.

* * *

Мы поднялись на холм – и глазам открылся родной двор моей матери. Места здесь, у самого подножия, более возвышенные, а потому и более прохладные, чем у нас, снега выпадает больше, зима держится дольше. Поэтому, наверное, жилища у них не плетеные, как на равнине, а бревенчатые... Сейчас над деревянной амацуртой курился синеватый дым, паслись поодаль от нее телята.

Там, во дворе, заметили наше приближение, и всем гуртом высыпали навстречу. Целуют, обнимают, словно сто лет не виделись, словно не в одном селе живем, а за морями да за горами. Бабушка Квараса рукой описывает круг над моей головою, заклинает: «Чтоб на мою голову пали все твои болезни и беды!» – и крепко прижимает к себе. Младший брат матери Танас, гибкий и стройный, как молодое ореховое деревце, отнимает меня у бабушки, кидает себе на плечи и, смеясь и дурачась, везет до самой амацурты. Здесь нас нагоняет бабушка Квараса, и я вновь перехожу к ней в руки. Сухонькая, проворная, легкая, волосы словно снежком припорошены... Она заводит меня на веранду, усаживает перед собой, глядит и наглядеться не может, без конца расспрашивает обо всем. Я тоже соскучился по бабушке, ни на шаг не отстаю от нее, куда она, туда и я.

Бабушка подходит к древнему сундуку, стоящему в дальнем углу веранды, откидывает крышку – и невыразимо прекрасный запах окутывает меня! Она достает аджанджух, орехи, витые кружочки сушеного сыра и все это складывает мне в ладони. А я стою, радостный, изумленный, и мечтаю хоть одним глазком заглянуть в его волшебное нутро. Сколько всего самого вкусного, должно быть, схоронено в нем! Даже и сегодня, закрыв глаза, я, как наяву, вижу этот сундук, окованный медью, позеленевшей от времени, слышу его запах...

Вечером в дом собираются соседи, и мужчины, и женщины. Узнав, что мама здесь, они пришли справиться о ее здоровье... Сколько уж лет с той поры кануло в небытие, а их лица все не забываются! Мужчины входят, приветствуют собравшихся, усаживаются один за другим. За редким исключением это были рослые, крепкие и красивые люди, они говорили громко и внятно, а уж если хохотали, так посуда ни столах

подпрыгивала! И развлечения у них были своеобразные: сначала добродушно подсмеивались друг над другом, потом по кругу рассказывали короткие и забавные побасенки. Все принимали в этом участие, побасенки сыпались на них одна за одной, но до слез рассмешить умели, конечно, немногие.

За этим увлекательным делом никто не заметил, как Танас встал и вышел. Только когда он вернулся в косынке бабушки Кварасы, все вопросительно взглянули на него. И тут Танас разыграл перед нами самое настоящее представление. Подражая какой-то старой кокетке, он говорил тоненьким голосочком, сюсюкал, крутился перед зеркалом, показывал, как та собирается на свидание, волнуется, опаздывая, строит глазки своему кавалеру, жеманится, смущается, смешно семенит ножками, а закончил тем, что произнес любимое бабушкино выражение: «Эх, пропустить бы мне глоточек за твою душу!»

Все, и в том числе бабушка, весело смеялись.

– Твоя очередь, Дзадзала, ждем! – раздались голоса. А тот, кого называли Дзадзала, сидел в это время у очажного камня и крутил рыжеватые усы.

– Ну что ж мне рассказать вам? – задумчиво спросил он, обводя глазами сидящих.

– Расскажи о том, как попал в княжеские хоромы!

– Ну коль вы просите... – Дзадзала встал, с хрустом потянулся всем телом, прошелся по амацурте, разминая затекшие ноги, и вернулся на место. – Ну слушайте... Когда скончался наша надежда его сиятельство князь Хрипс и весть об этом дошла до нас, его сирот, мы со всей родней поспешили в княжеское поместье, чтобы проводить усопшего в последний путь и отдать ему положенные почести, – повел Дзадзала рассказ, изображая при этом, как все было на самом деле. – Идем, мужчины бьют себя в грудь, кулаков не щадят, женщины дерут себе лица кукурузными кочерыжками и тыквенными листьями, чтобы сильнее выразить свое горе... Так, обливаясь слезами и кровью, да вдобавок еще босые, мы и ступили на княжеский двор. А как раз в этот день погода испортилась, снег пошел... Сели мы вместе со всеми скорбящими у тела, дрожим от холода, да и есть хочется, потому как с той минуты, как узнали о кончине князя, ничего, кроме вареной фасоли, в рот не брали...

Не помню уж зачем, но понадобилось мне княгиню повидать. Встал я и пошел в хоромы. Являюсь... В зале камин затоплен, тепло, светло,

сухо, за огромным столом множество важного народу сидит – сама княгиня, рядом дочь ее, зять, княжеские братья. Словом, вся родня усопшего. Сидят обедают... А не желаете ли спросить меня, что едят? Да все! Белый хлеб, плов, рыбу вареную и жареную, фрукты, овощи всякие, соленья, копченья, вино пьют, водку виноградную, некоторые даже чай... Может быть, вы думаете, что княгиня с княжной, потерявшие своего единственного, бесценного, незабвенного супруга и родителя, сидят с окровавленными лицами? Да ничего подобного! Щечки у них гладкие, напудренные, губки напомажены, бровки выщипаны. Целый день, наверное, перед зеркалом провели... Тогда, скажете вы, быть может, его братья сидят за столом босые, как и мы, несчастные? Как бы не так! Все как один, в хромовых сапожках, а уж сапожки-то начищены – смотреться можно!

Честно говоря, я, когда увидел все это, и удивился, и возмутился, и обиделся. «Да как же так?! – говорю я им. – Вы, самые близкие люди покойному, сидите здесь и пируете в тепле, а мы, как глупцы, морим себя и холодом и голодом?!» Повернулся и вышел, даже спросить забыл о том, ради чего и приходил. Вышел, иду туда, где свои чувяки припрятал; обуюсь, думаю. Прихожу, смотрю – один чувяк на месте, другого нет. Видать, пес какой-то, чтоб его их собачий бог покарал за то, польстился на сыромятину! Искал, искал, да где там... Тогда, чтоб хоть второй не пропал, я в него сена натолкал да и обул. Возвращаюсь к своим, а там уже оплакивание идет. Ну и я подошел, одна нога в чувяке, другая босая, побил себя в грудь, порыдал и домой отправился...

Когда смех утих, а смеялись не только над рассказом, но и над тем, как здорово изображал Дзадзала и себя, и других действующих лиц, он громко запел распространенную в те годы песню:

На новый путь страна встает,
Все беды в прошлом оставляет.
Над нами чистый небосвод
И солнце ясное сияет!..

Сначала песню подхватили все, но потом голосов поубавилось, и допевал ее, как и запевал, один Дзадзала.

Кончив петь, он вытянул из кармана увесистую трубку, долго набивал ее, долго раскуривал, а затем сказал Наси, младшей сестре моей матери:

– Подобно тому, как хороший башлык нуждается в хорошей окантовке, так и нашу сегодняшнюю встречу нужно обрамить звуками ачамгура.

– Правильно, правильно! Ждем тебя, Наси, ждем! – поддержали Дзадзалу. – И прежде всего «Птичий перепляс» покажи, наш племянник на всю жизнь такое запомнит!

Наси встала. Это была хрупкая и ладная девушка, черноволосая, белолицая, с красиво изогнутыми бровями. Она не ломалась, не кокетничала, зашла в пристройку, вынесла корзину, в которой сидели две маленькие птички. Привязав к их лапкам шелковые нити, она высыпала на дощечку горсть пшена, пересадила на нее птиц, а сама взяла ачамгур и села в сторонке на высокий стул. А концы шелковых нитей она намотала себе на пальцы правой руки. Настроив ачамгур, подтянув струны, Наси заиграла: перебирает правой рукой струны, нити натягиваются, дергают птичек за лапки – и те, поклевывая пшено, скачут будто бы в такт музыке. Кто не знает секрета, и впрямь, глядя на них, поверит, что птички ученые.

Я не знал, на кого смотреть – то ли на пляшущих птичек, то ли на Наси. Она играла с таким искусством, что ачамгур казался живым, и я боялся, что он вот-вот выпорхнет у нее из рук. Мужчины подпевали девушке, и меж их могучими голосами ее звенящий голосок струился подобно чистому лесному ручью:

По дороге всадник едет,
Разодетый как на праздник:
В белоснежном архалуке,
В сапогах из мягкой кожи,
За спиной башлык из шелка –
Кисточка по ветру вьется;
Словно ночь черна черкеска,
Газыри горят как звезды;
Белый конь под ним ступает
Горделивою походкой...
–Кто такой, куда он едет?
– Едет он к своей любимой.
– Что везет?
– Любовь, конечно!
Разве трудно догадаться?

– Ну, а что ему ответит
Та, которую он любит?
– Та, которую он любит,
Нынче так ему ответит:
«Милый мой, храни надежду,
Но сегодня – уходи!»

* * *

Двор, где жила мамина родня, в общих чертах напоминал наш. Но и различия кое-какие имелись. Во-первых, как я сказал, все постройки были не плетеные, а деревянные. Во-вторых, дымник на доме очень сильно выступал над крышей. И в-третьих, поверхность двора была очень покатой, даже, точнее сказать, крутой. Возьмешь, например, камень, толкнешь его легонько, и он катится через весь двор, пока в забор не ткнется. Поэтому все постройки здесь приподняты с одного края, а дом – настолько, что под ним и верхом можно проехать.

Ночевать нас положили в доме. Утром мама встала раньше меня и ушла в амацурту. Я тоже не захотел нежиться в постели, оделся и пошел на веранду.

Утро выдалось ясное. Панаю, который вчера к вечеру затянуло облаками, сейчас был открыт, его снежная шапка нестерпимо сверкала на солнце. А снизу доносился мерный рокот Пала...

Обнаружив, что я проснулся, бабушка поднялась на веранду, ласково провела рукой по моей голове, расспросила, как спалось и что снилось, а потом увела в амацурту, посадила за стол и принялась кормить. Она поставила передо мной полную миску дымящегося айладжа, кислое молоко, мед, свежий сыр, вареники – то, что я любил больше всего, – и не отошла от меня до тех пор, пока я не съел все.

В амацурту заглянула принарядившаяся мать, и я сразу же вспомнил, что в пятницу она собиралась зайти в мечеть. А сегодня как раз и была пятница.

– И меня возьми, и я хочу! – вцепился я в нее.

– Ты же вчера заявил, что не пойдешь со мной, будешь с бабушкой, а нынче-то что изменилось?

– Только с тобой! – был ответ.

Чтобы показать матери, что ей не придется из-за меня задерживаться, я тут же встал у дверей, готовый немедленно тронуться в путь.

– Ты же не молиться в мечеть идешь, а родных повидать, так что ничего страшного, если и ребенка с собой захватишь. Пусть и они на него глянут, – вступилась за меня бабушка.

– Да уж конечно не молиться. Отцы наши и те в мечеть раз в год по обещанию заглядывали. Да и другие тоже – как молились всем богам разом, так и сейчас молятся, – сказала мать, закалывая на затылке узел волос.

– Верно, верно. Вон Хфар с братьями, наш сосед, пока здесь – так иногда захаживает в мечеть, благо что она рядом, и как спустится на равнину, так обязательно в церковь зайдет, – говорила бабушка, сметая со стола крошки.

Мы уже выходили за ворота, когда нас догнал ее крик:

– Долго не задерживайтесь!

...Двор, где находилась мечеть, был довольно просторен и не так покат, как у бабушки; из земли кое-где торчали обломки камней. Людей не было, было пусто и тихо. Только по краям двора, обсаженного молодыми деревцами, смирно стояло на привязи несколько оседланных лошадей.

Я обошел мечеть кругом. Она была обшита каштановыми досками, чуть приподнята над землею с одного края и покрыта щепой. Но ни веранды, ни галереи не было. И лишь на крыше виднелось нечто похожее на дымник.

– Что это? – спросил я мать, показывая пальцем на странный выступ.

– А-а, это... Туда выходит мулла, когда читает молитву – объяснила она, прогуливаясь по двору в ожидании конца службы.

И вот наконец дверь мечети распахнулась, и наружу повалил народ. Нас с матерью тут же обступили со всех сторон. Начались поцелуи, объятья, расспросы.

Не забывали и про меня.

– Посмотрите-ка на этого мальчишку! Какой путь отмахал, чтобы только взглянуть на своих родных! Сразу видно – наша кровь, наша! – говорили они.

Меня целовали, тискали, хлопали по плечу, подкидывали ни руках...

Двор уже почти опустел, когда неподалеку от нас грянул выстрел. Мой дядя Ламшац стоял с револьвером в руке, а у его ног валялась на земле трепыхающаяся ворона.

– Кто стрелял здесь? – раздался за спиной чей-то скрипучий голос.

Я оглянулся и на пороге мечети увидел муллу. Он был в белой чалме и одной рукой прижимал к груди какую-то книгу в черном переплете.

– Эта гнусная ворона осмелилась каркать над головами правоверных, за что и понесла суровую, но справедливую кару, – ответил Ламшац. Ствол его револьвера еще дымился.

– Как ты смел стрелять перед мечетью?! Чья бы ни была кровь, но ты пролил ее, пролил сразу же после святого намаза! Хаи, аблис, аблис! – воскликнул мулла и скрылся внутри мечети, затворив за собою дверь.

Только тут Ламшац заметил нас с матерью.

– О-о! Добро пожаловать в родные края! Ну и вырос же ты, племянничек, в такую даль пускаешься на своих двоих! Ну, тогда слушай: этот выстрел я делаю в твою честь!

И над опустевшим двором прокатился гром еще одного выстрела.

Из мечети снова выглянул мулла, но на этот раз Ламшац даже взглядом его не удостоил. Он подошел ко мне, присел, долго и пристально смотрел в глаза, затем вытащил из-за пояса сложенную вдвое камчу, протянул мне и повел за руку туда, где стоял на привязи его конь. Мать шла следом за нами.

На краю двора Ламшац поднял меня и посадил в седло, взял в руку поводья.

– Попозже будут скачки. Может, останемся? – спросил он у матери.

– Нет, домой пора. Слава богу, вас хоть повидала. Если б ты знал, как я иногда скучаю по нашему дому!.. А ты что, так при оружии и творил намаз?

– Мое оружие никому не мешает – ни людям, ни Аллаху, – шуткой ответил Ламшац.

Мать с братом, спокойно разговаривая, приближаются к дому, я шагом еду позади них, и, хотя не прислушиваюсь, мне слышно все, о чем они говорят.

– Хотел поджигитовать сегодня, да передумал, и вот почему… – произносит Ламшац, закладывая руки за спину и глядя себе под ноги. – Сегодня сумел вырваться сюда только потому, что уговорил одного парнишку присмотреть за моими козами. Но разве же это дело: я здесь на коне скачу, а они там без меня, как сироты блеют? Нет, не дело это... А вообще-то надоело мне с ними по лесу блукать, может, разогнать их к чертовой матери, да и дело с концом, а, сестра?..

– Поступай, как тебе сердце подсказывает, в наше время для человека возможностей много, – отвечала ему мать.

К нашему приходу Танас уже вернулся из сельсовета. Он сидел в амацурте и, разложив перед собою бумаги, увлеченно писал. Его длинные ноги не умещались под низеньким столиком, большим рукам не хватало места, локти спешивались, задубелые от работы пальцы не могли сладить с выскальзывающим карандашом, – Танасу легче было дикого быка удержать за рога, чем вывести одну-единственную буковку.

– Ну что ты поделаешь: никак он не хочет поддаваться мне, не желает – и все тут! Но и я не из тех, которые поддаются! – говорил он, пристраивая непокорный карандаш между пальцами.

В семье моей матери никто и никогда, ни в одном поколении, не умел ни читать, ни писать. Танас первым взялся осваивать грамоту. Вечерами он ходил на занятия ликбеза, а днем, если удавалось выкроить время, усаживался за книги, которые брал там. Иногда читал вслух – ни для кого, для себя. Был уверен: чем громче читать, тем легче выучить.

А Ламшац наотрез отказался учиться. «Умею пахать, умею сеять, да и коз своих пасти тоже умею. Чего ж больше? Мне и этого достаточно! А если все возьмут в руки книжки, так кто же тогда будет в поле работать, вас, умников, кормить?» – говорил он Танасу, когда тот донимал его со своим ликбезом.

Сейчас Ламшац сидел на веранде, протирал и смазывал разобранный револьвер, из которого палил сегодня. В другое время меня от него за уши бы не оттащили, но теперь в доме было куда более занимательное и захватывающее зрелище – то, чем занимался Танас в амацурте за низеньким столиком. Все мы – и я, и мать, и бабушка Кварасa – толпились вокруг него и смотрели, как он пишет.

– С чтением-то у меня ничего, терпимо, так и в ликбезе сказали. – Танас отложил карандаш и взял донельзя замызганную книгу. – Этот «Анбан» листало множество рук, вот почему он кажется таким старым, – показал он букварь и, раскрыв его, начал читать, водя по строчкам указательным пальцем: – «Это мать, это мать Арланов...» Видите? Так что чтение я, можно сказать, освоил, а вот с письмом... Не дается, проклятое, хоть убей! И пальцы не гнутся... Ну ничего, осилю, не сдамся!

И он снова опустил голову над тетрадкой...

Когда я прохожу сейчас мимо какой-нибудь школы, откуда доносится щебет первоклашек, память моя тут же воскрешает растрепанный букварь и слова, которые Танас по слогам разбирал в нем когда-то:

«Это мать, это мать Арланов...»

XVI

На краю нашего двора, в самом дальнем его углу, давным-давно присмотрел я себе для игр одно укромное местечко. Во все дни, кроме тех, когда я уходил играть к Рассеченному камню, меня всегда можно было найти здесь – тут я вел свое «хозяйство», и так увлеченно, что порой не слышал, как меня кличут мать или сестры...

Однажды дедушка привез мне из кузницы топорик, ножовку, долото, стамеску и клещи. Сейчас я понимаю, что он не просто хотел сделать мне приятный подарок, нет, он хотел исподволь, неназойливо приохотить меня к труду, воспитать в том же духе, в каком воспитал своих сыновей, – любящим землю и работу на ней, хозяйственным... Инструменты были крошечные, точь-в-точь по моей руке, но настоящие. Как и ножик в красном чехле, подарок несчастного Биды, он всегда был со мной, отточенный как бритва.

При помощи этого инструмента я и стал обзаводиться хозяйством в своем укромном уголке... Сначала определил, сколько земли удастся выкроить под усадьбу, потом обозначил границы своих владений, провел межу и по ней огородил свой маленький двор крепким частоколом. Предусмотрел и ворота.

Так, двор есть. Двор есть, а жить негде. Но ведь это так просто – взять да построить дом! Тем более что сюда прямо-таки просится какой-нибудь небольшой уютный домик. Мог ли я после этого не выстроить его? Заготовил материал, изучил устройство амацурты, сооруженной прадедушкой, и приступил к работе: вбил колья, сплел стены, поднял на опоры веранду, из белой гальки сложил очаг. Можно и стропила устанавливать. Установил. Теперь крыша. Но из чего ее сделать – ума не приложу! Лучше всего, конечно, из соломы тогда моя хижина ничем бы не отличалась от прадедушкиной, но солому взять негде. И пришлось мне крыть обычной травой.

Но крестьянину одного жилища мало, нужны подсобные помещения, и прежде всего амбар, где он хранил бы собранную кукурузу... И я сколотил амбар из обрезков досок, довольно высоко приподняв его над

землею – чтоб зерно не мокло, не гнило и чтоб мышам было потруднее добраться до зерна, – и тоже покрыл травою, хотя на нашем старом амбаре крыша из драни. Но где бы я мог достать дрань?.. С кукурузою теперь, можно считать, все в порядке, но куда девать шелуху, отруби и другие отходы, которые всегда пригодятся в хозяйстве? Разумеется, в сарай. Построил и сарай, покрыл папоротником.

А где держать скот, спохватился я, без которого невозможно представить жизнь крестьянина? Летом хорошо, летом он пасется себе на лугу и горя не знает, а зимой? Так что я быстренько соорудил для своих воображаемых коровок и козочек хлев из хвороста, утеплил его папоротником и папоротником же покрыл...

Я видел, что дедушка внимательно следит, как идут дела в моем хозяйстве, как я потихоньку обстраиваюсь и все крепче становлюсь на ноги. Иногда он подходил к моему двору, останавливался у частокола и разглядывал то, что я построил. Уходил, однако, не сказав ни единого слова. «Наверное, потому, – гадал я, – что у меня еще не все готово».

Но вот как-то мне разонравился мой амбар, я сломал его, выдернул колья и начал строительство в другом месте. В это время, опираясь на посох, подошел дедушка.

– Бог в помощь, крестьянин! – приветствовал он меня и прошел в мой двор, присел на доски, расположился поудобнее.

А когда дедушка вытащил трубку и стал набивать ее табаком, мне стало ясно, что уйдет он не скоро. И не ошибся.

Дедушка курил, поглядывая то на меня, то на мои постройки, а я выжидающе смотрел на него и думал: «Когда же наконец он скажет, как у меня получается?»

– Да, не легко было обзаводиться таким хозяйством, да еще в одиночку, без всякой помощи, – начал вскоре дедушка, но не шутливо, как я предполагал, а совершенно серьезно, даже с некоторым сочувствием, как будто и впрямь беседовал с настоящим крестьянином, устраивающимся на новом месте. – Вижу, сколько ты сил положил, сколько труда затратил. И не только пот проливал, как я погляжу, вон и палец где-то рассадил, лоскутом обмотал... Ну ничего, ничего, до свадьбы заживет, а если всего бояться да сидеть сложа руки – разве что доброе будет?.. Посмотри-ка на пчелу, – тут дедушка посохом показал на цветок, в который только что забралась пчела, – посмотри-ка на эту труженицу, целый день от зари до зари работает она, не зная отдыха, перелетает с цветка на цветок. Но если б она не трудилась, кто бы дал мед человеку?

Некоторое время дедушка молчал, пальцами расчесывая бороду и приглядываясь к моим постройкам.

– Нет-нет, я не смеюсь над тобой, ты многое успел сделать без всякой помощи. Сам, своим умом, до всего доходил. Так уж, видать, заведено: человеку мало того, что у него есть, хочется большего... А сейчас я должен сказать тебе, какие ты допустил промахи. Наверное, ты огорчишься, даже обидишься на меня, но, если я промолчу, пожалею тебя сейчас, ты меня за это сам, когда вырастешь, ругать станешь... Когда ты строил амацурту, то подражал моему отцу, это с первого взгляда ясно. Но ты не обратил внимания вот на что. Посмотри на наши жилища – с утра до вечера их веранды освещает солнце. Ты поставил амацурту так, что она глядит на север, на горы, на ее веранду солнечный луч даже случайно не попадает. А ведь на земле все живет только благодаря солнцу... Хлев ты построил прямо около жилья. Зачем? У тебя что, земли не хватает? Да нет, двор у тебя, слава богу, просторный, есть где развернуться... А из хлева всегда будет нести навозом, да от мух летом отбоя не будет. Хлев должен стоять как можно дальше от дома, где-нибудь на краю двора, а всего лучше – за забором: огородить его поскотиной, навесить другие ворота... Кстати о воротах. Место для них ты выбрал неправильно, ворота и дверь дома должны быть на одной линии. Да и что это за ворота? В них же два человека разойтись не смогут! На карликов ты рассчитывал, что ли? Не обижайся, но твой двор похож на двор сыновей Хаса, жили на земле такие скряги. Ворота у них были маленькие-маленькие, и где-то сбоку, в самом незаметном месте, чтобы пореже прохожим на глаза попадались. А коновязи и вовсе не было. Ну вот точно как у тебя. Где твоя коновязь, как ты без нее будешь? Приедут гости, спешатся, ты их встретишь, поздороваешься, примешь у них поводья. А дальше что станешь делать? Куда отведешь коней, к чему привяжешь? Так и будешь посреди двора с ними стоять?.. А сад? Где он? Что-то я не вижу его. А ведь всем известно, как ты любишь фрукты.,. Ну ладно, до сада, положим, у тебя еще руки не дошли, но ведь в твоем дворе даже простого дерева не найти! А между тем, когда печет солнце, ты бежишь в тень как ошпаренный... Видишь, достопочтенный Лаган, сколько нужно знать крестьянину и сколько у него всяких забот? Только поворачиваться успевай! Выколотив о ладонь пепел из трубки, дедушка сунул ее в нагрудный карман, встал и прошелся по моему дворику. Затем остановился и произнес:

– У настоящего крестьянина не только хозяйство должно быть исправным, но и его конь. И ездить на нем он обязан так, словно врос в седло... Я хочу, чтобы ты завтра сел на коня, Лаган, на оседланного коня, пора уже. Я и пришел сказать об этом…

Дедушка повернулся и пошел через двор к воротам – решил, наверное, зайти к Саиду, навестить его. Занемог что-то наш сосед, лежит, не вставая.

«Завтра! Завтра я сяду в седло!» – ликовал я, еще не представляя, что меня ждет. Правда, я и до этого много раз ездил верхом на смирном дедушкином Гуадахе и на водопой, и на мельницу, и буйволов на нем в лес гонял. Но все это было не то, все это было детской забавой. А вот завтра...

* * *

Гнедой отцовский жеребец стоял у коновязи. Он попал к отцу не объезженным, тот сам приучал его ходить под седлом. Конь был хороших кровей, рослый, широкогрудый, с высокими желтыми копытами «стаканчиком». Сколько бы он ни пасся на свежей траве, у него никогда не раздувало живот. «Заняться бы им по-настоящему, то-то бы славный скакун вышел!» – нередко приходилось мне слышать.

Я сошел с веранды и встал поближе к коновязи. На мне архалук, черкеска, цапаха, за плечи спущен белый башлык, завязанный спереди на шнурки, – все как у заправского джигита.

Дедушка еще раз придирчиво осмотрел меня с ног до головы.

– Ну-ка, покажи нам, как надо садиться верхом! – сказал он, опираясь на посох.

На правой руке у меня висит камча, конец ее волочится по земле, и я сгибаю ее вдвое. Подхожу к коню, перекидываю поводья на левую сторону, осматриваю, подтягиваю подпруги – трудновато, слишком я еще мал ростом, но все равно стараюсь. Стремена высоки для меня, но я отказываюсь от помощи. Ставлю в стремя левую ногу, левой рукой, в которой у меня аажаты поводья, берусь за переднюю луку (правая в это время должна оставаться свободной), делаю рывок – и я в седле!

Жеребец, почувствовав у себя на боках мои пятки, берет было с места, но я натягиваю поводья, осаживаю его, разворачиваю к воротам, а сам поглядываю на дедушку: ну как, мол, все правильно? Тот молчит, но вид у него спокойный. А в сторону амацурты лучше не смотреть –

около нее сейчас в черном платке стоит мать, следит за мною полными слез глазами и со страхом ждет, что жеребец вот-вот сбросит меня с себя.

Я гикнул, и конь стремительно понесся к воротам. А ворота закрыты, и отец, и отец хоть и стоит рядом с ними, даже попытки не сделал распахнуть их. Почему? Может, ему не хочется, чтобы я покатался немного на его жеребце? Жалко ему, что ли?.. И я сам открываю ворота, вылетаю со двора.

– Придерживай его на скаку, а то понесет! – кричит вдогонку отец.

Нет, он не против моей прогулки, оказывается, но теперь я и сам знаю, что мне делать, теперь я вольная птица и обойдусь без подсказок...

Свернув в узкий проход между двумя заборами, конь остановился, заупрямился. Я ожег его камчой, гнедой возмущенно дернулся, подкинул задом, но с места не сдвинулся. Тогда изо всех сил я стал натягивать поводья, то влево тяну, то вправо, и вот, взмахивая головой, выворачивая шею и кося на меня лиловым глазом, он наконец ступает вперед. Соседи, заслышав свист и щелканье моей камчи, высыпали на улицу, глядят во все глаза. А дедушка наверняка приговаривает про себя: «Да-да, этот лихой наездник – мой внук!..»

Я переправился через шумную речушку и выехал на взгорок. Уходила вдаль дорога, взбегала на холм, вдоль нее – деревья, по сторонам пашни, пастбища... Я поднял голову, посмотрел в бездонное небо – жаркий денек будет, с утра печет.

Гнедой нетерпеливо перебирал ногами, приплясывал, встряхивал головой, тянул поводья из рук, будто хотел сказать: «Не знаю, как ты, а я бы сейчас с удовольствием пробежался немного!» И впрямь, что за радость ехать шагом? «Нет, эта езда не зачтется мне, если я не крикну “чоу!”» – подумал я, ерзая в седле: и хочется, и боязно.

«Ну, будь что будет!» – решился я и, ослабив поводья, всадил пятки в конские бока, огрел жеребца камчою.

Неужели все это время ветер где-то прятался от меня? Безжизненно свисавший с плеч башлык вдруг наполняется воздухом, словно парус, бьется сзади, хлопает, стегает по щекам своими концами, давит шнурками на шею, деревья бросаются мне навстречу, бегут и не желают сворачивать я сторону. «Сейчас столкнемся!» – мелькает мысль, но деревья уже проносятся мимо и остаются далеко позади. А впереди горы, их синева отражается в небе, мне кажется, что они привстали

на цыпочки, смотрят и гадают: кто это там мчится по дороге? Потом я вижу, что они растут, огромной стеной преграждают путь и вдруг внезапно начинают уменьшаться, становятся все ниже и ниже, будто проваливаются, тонут в глубине земли, – это дорога, шедшая сперва под уклон, пошла на подъем.

А гнедой все поддает и поддает ходу, он уже не скачет, а летит, как волшебный, его копыта уже не касаются земли. Я тоже лечу, я приникаю к его холке, я сливаюсь с ним и чувствую, что он и я – одно существо, и душу мою захлестывает счастье.

Но с каждым мгновением держаться все труднее и труднее, и я уже не испытываю чувства полета, а просто боюсь вылететь из седла. Рука моя впивается в переднюю луку, другая судорожно рвет на себя поводья, но гнедой не слушается, не сбавляет скорости. Я не знаю, что делать, у меня нет времени думать, – вылетев к болотистой лощинке, заросшей камышом, конь внезапно останавливается – и я через его голову лечу вниз...

Когда я пришел в себя, голова кружилась и звенела, правый бок и правая рука онемели, были как не мои, я даже боль не сразу почувствовал. Да и не боль беспокоила меня, сейчас больше всего я боялся, что кто-нибудь видел, как лихо сбросил меня жеребец. «А где он, кстати?» – опомнился я, встал, сделал несколько шагов, огляделся... Ага, вон у поворота, идет по дороге, волоча по земле поводья, и время от времени оборачивается, будто хочет узнать, не слишком ли круто он обошелся со мной...

XVII

Отношение ко мне в нашей семье всегда было особое, все меня берегли и лелеяли. Не из-за личных моих достоинств, а потому, что я, во-первых, был самый младший, последыш; во-вторых, я был единственным сыном, а значит, единственным наследником и продолжателем рода; в-третьих, я долго болел лихорадкой; в-четвертых, я свалился с арбы и лишь чудом остался жив. И в придачу на моих глазах убило Биду, когда мы ездили за ореховым лесом.

Эти обстоятельства неприступной стеной отгородили меня от мира, и при всем желании я не смог бы перелезть через нее. Я, конечно, навещал соседских ребят, играл с ними, мне даже позволялось уходить к Рассеченному камню, но о том, чтобы отправиться без присмотра

куда-нибудь дальше, – об этом и речи быть не могло. Из головы у матери не выходили слова гадалки Мкыд: «По пятам за твоим сыном крадутся несчастья и беды, глаз с него не спускай, если не хочешь потерять его!»

Но всему свой срок, и я подрос – а рос я так, что одежда, год назад бывшая мне впору, на другой год оказывалась мала, – а когда подрос, то однажды спокойно вышел со двора, и никто не остановил меня.

Однако не только возраст способствовал обретению самостоятельности, но и моя первая поездка на гнедом отцовском жеребце. Когда я победителем въехал во двор на гарцующем коне, дедушка воскликнул: «Все, Лаган, детство твое осталось позади, ты ускакал от него на этом жеребце, и отныне наши ворота всегда открыты для тебя!»

И в самом деле, ворота теперь всегда были открыты для меня, я мог беспрепятственно выходить со двора и идти куда вздумается, но далеко пока не уходил, некуда было, да и незачем. Разве что до Чала добирался.

Привольно на его берегах, по обеим сторонам луга, рощи, пастбища. Летом у воды собирались не только пастухи, присматривающие за буйволами, норовящими полакомиться кукурузой, но и наши сельские ребята постарше – искупаться, поиграть, развести костер. Когда они шумной ватагой высыпали на берег, я с тоскою следил за ними с Холма Рассеченного камня. А они перебрасывались в мяч, бегали наперегонки, прыгали, скакали или садились где-нибудь в теньке, сдвигали головы и начинали играть в ножички. Я тоже умел играть в эту игру. Суть ее в том, что надо исхитриться так подбросить ножик, чтобы он, падая, воткнулся в землю. Если ты проигрывал, то в наказание должен зубами вытянуть забитый в землю колышек.

Возглавлял эти счастливые походы на речной берег Руша…

Руша был ненамного старше других, на его щеках только-только начинал пробиваться пушок, но он строил из себя взрослого, отчаянного парня. Он любил верховую езду, отлично держался в седле. Не расставался с пистолетом, всегда держал его при себе. Ездил с крестьянами в город, в одиночку заготавливал дрова... «Молодой да ранний!» – отзывались о нем с редким единодушием.

Однажды я, как обычно, поднялся к Рассеченному камню и стал наблюдать за ребятами. Ничего вокруг не замечаю, только на них и смотрю. И душою я уже там, с ними. На этот раз они обратили на меня внимание – какой-то парнишка выскочил вперед и свистнул мне. Я

свистнул в ответ, и тогда они все, как один, засвистели, замахали руками, зовя к себе. «Иди к нам, чего один сидишь? Не бойся, мы не кусаемся!» – вот что говорили мне их руки.

И тотчас будто какая-то сила подхватила меня, понесла вниз, огромными прыжками я сбежал с холма и остановился в тени развесистой ольхи, под которой сидели ребята. Руша лежал чуть в стороне, подперев голову рукою.

– А, цыпленочек явился! Сбежал, надоело сидеть под крылышком у своей мамочки! – бросил он вместо приветствия и хмуро оглядел меня.

Все громко и охотно засмеялись.

Коренастенький, плотный парнишка, которого звали Мага, – весь в веснушках, с круглыми лягушачьими глазами – подскочил ко мне и, вместо того чтобы позвать в свой круг и усадить как подобает хозяину, ни с того ни с сего пихнул в грудь кулаком. Я не мешкая ответил ему тем же, и мы сцепились.

– Мага, на место! – скомандовал Руша, и Мага покорно оставил меня.

Руша рывком поднялся с травы, вынул из чехла нож, срезал ветку и затесал ее, потом вбил в землю так, что только кончик остался торчать, и рядом кинул свой нож. Потом подозвал меня и Магу, положил нам руки на затылки и объявил:

– Сейчас вы сыграете в ножики! Тот, кто проиграет, вытащит этот колышек зубами. – И, крепко столкнув нас лбами, отпустил.

Мы с Магой сели на землю друг против друга и начали играть. Руша, картинно подбоченясь, стоял над нами. Все с нетерпением ждали исхода поединка, но никто не сомневался в победе Маги. Я впервые играл при таком большом числе зрителей, волновался, но, когда заметил, что Мага чересчур нервничает, успокоился и почувствовал себя уверенней. Он бросил нож, потом я, затем снова бросает Мага. И случилось то, чего никто не ожидал: я выиграл. И пришлось Маге ложиться на траву и зубами тащить из земли колышек. Вытащил его, поднялся – красный, все губы грязные.

– Еще раз играйте! Только ножи сначала поменяем, – сказал Руша.

Опять он вбил колышек, опять мы с Магой сели друг против друга. Кто-то дал нам свой нож, и мы начали... На сей раз Мага играл более внимательно, старался, уж больно ему хотелось, чтобы я тянул из земли колышек зубами. Но когда бросали ножик с головы, Мага опять

опозорился – брошенный им нож ударился о землю рукояткой и отлетел далеко в сторону. Мага с ненавистью взглянул на меня, будто я виноват в том, что нож не воткнулся в землю.

– Ладно, хватит, идем купаться, – неожиданно остановил поединок Руша. Кто, кроме него, мог еще сделать такое?

Обгоняя один другого, мы кинулись к заводи, а Руша не спеша, чинно следовал за нами.

Заводь, к которой мы бежали, называлась Цакязтоу, что значит «Скалистое дно». Когда вода была чистой, на дне, кажущемся эмалированным, можно было разглядеть острые скалистые камни. Особенно много их было у противоположного берега, высокого и обрывистого. Заводь была такой глубокой, что и взрослый ушел бы под воду «с ручками». Те, кто не умел плавать, даже и близко сюда не подходили.

Мы уже разделись, сидели на берегу, поглядывая на блаженно искрящуюся под солнцем реку, но пока не прозвучала команда «Купаться!», поданная нашим предводителем, никто не решался лезть в воду.

– Мага, ты прыгнешь с обрыва! И ты, Лаган, но после него, – распорядился Руша, раздеваясь и складывая одежду на большой горячий камень.

Мне стало тревожно, но отказаться не хватило духу, и я поплелся вслед за моим нечаянным соперником.

Мы перешли вброд реку, обогнули лощинку и поднялись на высокий берег, встали, голенькие, на самом краю. Наверное, Маге не впервой было нырять отсюда, он не казался пи растерянным, ни испуганным. Даже примериваться не стал, сразу зажал нос, оттолкнулся и полетел вниз. Описав дугу, он врезался в воду и скрылся из глаз. Долго его не было видно. Лишь немалое время спустя он вынырнул далеко ниже по течению.

Теперь пришел черед прыгать мне. Я встал над обрывом, глянул вниз – и обмер, голова закружилась. Если даже я и прыгну – если осмелюсь, если заставлю, пересилю себя, – то рискую, не долетев до воды, расшибиться о скалистую стену обрыва, а если не расшибусь, благополучно достигну воды, тоже хорошего мало – плавать я почти не умею... Так и стою, ни туда и ни сюда.

– Ну давай, давай, не тяни! Или у тебя душа в пятки ушла? Эх ты, трус! – кричит мне Руша с того берега.

Его подчиненные скачут по берегу, смеются надо мной, свистят презрительно, а Мага – тот прямо беснуется от радости, подпрыгивает, бьет в ладоши и блеет: «Проиграл, проиграл!»

Подавленный, посрамленный, не поднимая глаз, я вернулся к тому месту, где лежала моя одежда. Руша в это время плыл по заводи, мощно загребая руками, и они, влажно блестящие, мелькающие в воде, напоминали огромных лососей. Остальные ребята тоже были в реке, плавали, держась поближе к своему атаману, ныряли, барахтались, брызгались, топили друг друга. Короче, развлекались как могли.

После купанья все опять собрались под ольхой. Руша наломал веток, сделал подстилку и вытянулся на ней, по своей привычке подперев рукою голову.

– А ну, Мага, прокатись-ка! – повелел Руша, пальцем показывая на буйвола, пасшегося поблизости.

Мага послушно подбежал к буйволу, потрепал его по шее, почесал за ухом и между рог, погладил бока. Тому это, видно, понравилось, он перестал жевать, поднял голову и стоял, ждал, еще ласки просил. Мага изловчился и взлетел ему на спину. Посидел немного, поднялся, встал во весь рост, болтая руками, чтобы удержать равновесие. Буйвол медленно тронулся с места, и Мага поехал на нем. Когда ему надоело кататься стоя, он лег и вытянулся у буйвола на спине. Я думал, буйвол не стерпит такой наглости, стряхнет непрошеного наездника, но тот шел себе по полянке и безмятежно пощипывал траву.

«Выходит, этот Мага и в самом деле чего-то стоит», – решил я, удивленно наблюдая за ним.

Наконец Мага спрыгнул на землю, еще раз потрепал по шее буйвола и с довольным видом направился к нам.

– Ну, Лаган, теперь ты. Иди же, не заставляй буйвола ждать, – сказал Руша.

– Я не умею так, – признался я. И в самом деле, я ездил верхом и на дедушкином Гуадахе, и на гнедом отцовском жеребце, но вот на буйволе не доводилось ни разу.

– Я же не говорю, чтобы ты ухватил его за рога и кинул через себя, чего боишься? – прикрикнул на меня Руша.

А Мага, видя мой новый позор и новое унижение, снова заплясал от радости:

– Проиграл, проиграл!

– Буйвола в арбу нужно запрягать, а не верхом на нем ездить. Верхом на коне ездят! – Я хотел уколоть Магу, сделать ему больно, но, как на грех, ничего толкового придумать не мог.

– Все равно проиграл, сам сдался! – скакал тот и бил в ладоши.

– Ну и что, что проиграл? А ты подвиг как будто совершил... И ворона иногда садится ему на спину! – вяло защищался я.

– Чего ты попискиваешь, цыпленочек? – не унимался мой мучитель.

Сидящие под ольхой ребята покатывались со смеху. Единственный, кто молчал, – это сам Руша. Он искоса оглядывал нас с Магой, будто прикидывал наши силенки и бойцовские качества. По-моему, он хотел по-настоящему стравить нас с Магой.

А я и сам был не прочь подраться с ним – так он допек меня за это время. Я даже уже сделал несколько шагов к нему, подобрался весь для прыжка и вдруг неожиданно для всех, и прежде всего для самого себя, бросил в лицо Маге неизвестно откуда взявшиеся слова:

Мага –
Чушка,
Мага –
Хрюшка,
Мага –
Глупый как лягушка!

Магу словно ледяной водой окатили – стоит онемев и только еще больше глаза пучит. А ребята, которым лишь бы посмеяться всласть, тут же подхватили:

Мага –
Чушка,
Мага –
Хрюшка,
Мага –
Глупый как лягушка!

– Эй, Лаган, беги домой! Гроза идет! – услышал я знакомый голос, оглянулся на него, смотрю – Мачич стоит на склоне холма и рукою машет.

И только сейчас я заметил, как испортилась, переменилась погода, – не до нее было. Солнце скрылось, вдоль реки дул холодный пронзительный ветер, он выворачивал изнанкой листву деревьев, рябью покрывал заводь. А на западе уже громыхало и молнии прожигали громады студеных, каких-то мерзлых на вид туч.

Ребята со всех ног пустились к заброшенной мельнице, а я побежал навстречу сестре. И в тот же миг как из ведра хлынул дождь.

– Под граб, под граб заворачивай! – крикнула сестра, спускаясь с холма.

До кривого граба, что рос у самого подножия Холма Рассеченного камня, было отсюда рукой подать, и мы почти одновременно заскочили под него. «В граб молния не бьет, под грабом безопасно!» – успокаивал я себя, но картина гибели Биды стояла перед глазами. Вдруг я ощутил знакомый запах, напоминающий запах горящей серы, испуганно прижался лбом к стволу дерева, закрыл глаза, и все равно молния ослепила меня.

Сестра, как и я, уткнувшаяся головою в ствол, стояла рядом, касаясь меня, слышно было, как она дышит. Всякий раз, когда вспыхивала молния, Мачич поворачивала ко мне лицо и успокаивала: «Не бойся, Лаган, молния в граб не бьет, не бойся!»

Не помню, сколько времени мы простояли так. По замшелой, древней коре уже текли струйки воды, мочили, холодили лоб дождевые потоки, покатившиеся по склонам, заглушили шум уходящего ливня.

– Эй, гроза, спасибо, что не тронула нас! – крикнула Мачич и похлопала меня по плечу: – Идем, а то мама волнуется.

* * *

Все взрослые, в том числе и Гущка, отправляются на похороны. Вернутся только вечером.

Кони уже оседланы, стоят у коновязи. Вот и отъезжающие выходят, идут к ним.

Согласно правилам, первыми должны садиться женщины.

Вынесли высокий стул, поставили по левую от коня сторону. Мать встает на стул, вдевает в стремя левую ногу и боком садится в седло.

Теперь Гущка подводит к стулу своего коня. Она сегодня впервые едет верхом, и все ждут, как она сядет. Но никто ничего не успевает рассмотреть толком, как Гущка уже в седле. Осаживает коня, тот мотает головой, фыркает. Гущка отъезжает в сторону, дожидаясь остальных. Плетка с белою рукоятью висит на ее пальцах, словно стекает с них.

Отец и дядя Элизбар ведут Гуадаха. Придерживая стреми, помогают дедушке взобраться на Него. Потом на своего Гнедого жеребца садится

отец. И только у дяди Элизбара случилась заминка – что-то заартачился его белолобый, при-Шдоев повозиться. Но вот и он в седле.

Н распахнул ворота, и под цоканье копыт всадники и всадницы вереницей покинули двор. Первым дедушка.

– Сбегаю искупнусь немного, – говорю я Мачич, едва они скрылись. – А задержусь – не переживай!

– Отец никому не велел выходить из дому, – возражает та.

Но разве может что-нибудь удержать меня сейчас? Я отмахиваюсь от Мачич и сломя голову бегу к реке.

Мы с моим приятелем Ясой – он слева, я справа – сидим на суку полувысохшего дерева. Под нами тихая чистая заводь с зеркально гладкой водой. Если хорошенько вглядеться, то можно увидеть, как кружит там форель.

А чуть дальше от нас другая заводь – болото, можно сказать; дно в нем илистое, вода мутная, мелкая, а потому очень теплая. Только что оттуда выбрались пять-шесть чрезвычайно довольных купаньем буйволов... Лягушек там обитает неисчислимое множество, и все они стараются перещеголять друг друга своим кваканьем. Одну мне и отсюда видно – вылезла на корягу, выпучила глаза и заливается. Остальные подпевают. Еще одна лягушка, сидящая на отшибе, так надрывается и стонет, словно с ней несчастье стряслось, и вот она рыдает, зовет кого-то, жалуется на судьбу, и если ей сию же минуту не откликнутся – она умрет от тоски и горя...

Мы с Ясой давно уже сидим здесь. Вечереет, солнце клонится к западу. Все груши, которые принес с собою мой приятель, съедены, в один прием выпита прихваченная из дому вода. Делать нам совершенно нечего, и скука начинает нас гнать с дерева, а та, кого мы ждем, все не появляется.

Ждем мы змею, но не простую, а волшебную – змею с серьгой. Как уверял нас всезнающий Руша, летом, в самый зной, она всегда появляется у реки. А живет за болотом, под скалой, где вечный сумрак и непролазные заросли колючего терновника. Там, говорят, есть глубокая пещера. Вот оттуда и должна приползти змея...

Мы живо представляем ее себе: вот она ползет, извивается, огромная, толстая, противная, а на голове между глаз – волшебная серьга, которая днем при солнце блестит серебром, а ночью сияет как звезда.

Весной, как только земля отойдет, прогреется, змеи выползают из своих нор, а когда задуют теплые ветры, многие начинают линять, сбрасывать старую кожу. Сбрасывает ее и змея с серьгой. И день, в который происходит это, самый для нее счастливый. Она подкидывает свою серьгу вверх, и пока та не упала, змея становится на хвост и исполняет танец, который, по словам Руши, столь же прекрасен, как ужасна сама змея: тот, кто ее увидит, не сможет глаз отвести, как зачарованный будет стоять. А потом змея ловит серьгу в пасть и, насвистывая песенку, уползает к себе в пещеру.

Но змея с серьгой терпеть не может зноя, не переносит духоты, вот почему ее в жару можно встретить у реки, у какой-нибудь тихой заводи, где она купается. Но, прежде чем сунуться в воду, змея ищет на берегу подходящий камень, снимает серьгу и кладет на него и уж только потом ныряет и плавает. Вот в это-то время и можно похитить серьгу. Однако змея хитра и коварна, она тебе и шагу не даст сделать, тут же пустится вдогонку, рассказывал Руша, как будто сам на себе испытал это, и, как бы ты быстро ни бежал, если бы даже на коне был, она все равно настигнет – выгнется как лук, натянется как тетива и пронзит тебя как стрела!

Но если знать один секрет, тогда можно смело хватать серьгу – змея никогда не сможет тебя догнать! Вот этот секрет: схватив серьгу, ты должен немедленно кинуться в реку и переплыть ее в семи разных местах. Если сумел – спокойно иди домой и ничего не бойся. Конечно, змея бросится за тобой в погоню, но доползет до берега и спросит у волн: «Волны, волны, не видели ли вы того, кого я ищу?» А волны ответят: «Нет, мы никого не видели!» Потому что те волны, которые все видели, уже давно пропали. И так змея будет спрашивать у реки семь раз, а потом вернется в пещеру, начнет горевать да плакать, а потом скажет: «Была у меня серьга – и была у меня радость в жизни, но не стало серьги – и не стало радости... А зачем мне жизнь без радости, к чему?» И ударится головой о камень, и убьет себя.

А у человека, сумевшего похитить серьгу, будут кучи денег, потому что змеиная серьга обладает свойством умножать богатство. Для этого нужно сделать вот что: взять шкатулку и ровно полночь положить в нее деньги, сколько есть – рубль так рубль, пять рублей так пять, тысячу так тысячу, – а сверху на деньги опустить серьгу и оставить до утра. Утром открываешь шкатулку, а денег там ровно в два раза больше.

Если положил рубль – достанешь два, если пять – достанешь десять, а положил тысячу – целых две тысячи возьмешь! Словом, никаких тебе хлопот и забот, а денег столько, что и считать не надо, сколько хочешь, столько и черпаешь из шкатулки.

«Эх, мне бы эту серьгу хоть на месяц!» – вздыхал Руша, рассказывая нам о волшебной змее...

Вот и сидим мыс Ясой у чистой заводи, поджидаем змею с серьгою.

– Если бы ты достал эту серьгу, ты бы дал ее кому-нибудь, а? – спрашиваю я.

– Нет! Никому! – горячо отвечает Яса. А подумав, тихо добавляет: – Нет, маме бы дал, нас у нее четверо, отца нет... Отдохнула бы, а то и день и ночь работает... А если у тебя будет куча денег, ты что купишь?

– Я?.. Ну, сначала ружье, буду зимой голубей стрелять, а потом... потом... А потом я куплю себе красные сапожки! – вспоминаю я о своей заветной мечте. Она бы и без волшебной серьги давно бы исполнилась, кабы не Прокопий из Очамчыры, зажиливший наши денежки и попавший в тюрьму за спекуляцию.

– Тссс! – зашипел на меня вдруг Яса и, привстав на суку, стал вглядываться в тень под крутым берегом.

Оттуда вылетел черный дрозд, крикнул что-то по-своему и скрылся в лощине. Вслед за ним появился еж. Когда он показался на берегу болотистой заводи, лягушки начали дружно плюхаться в воду и их болтовни поубавилось.

– Ох и дураки мы с тобой, столько времени просидели здесь... Где еж живет, там змеи не водятся, они враги! – сказал Яса, стоя на суку. – Пойдем, а то совсем стемнеет.

И он, цепляясь за ветки, полез вниз. А за ним, после недолгих колебаний, и я.

* * *

Стоял на краю нашего села заброшенный двор. Когда-то вдвоем с единственной дочерью жила в нем одна вдова, но болезнь унесла их жизни, и двор опустел.

Вдова эта была знахаркою и, говорят, умела лечить многие болезни, даже костный туберкулез. Когда ни приди – всегда у нее полон дом больных. Многих она сумела поставить на ноги своими отварами да припарками, но сама уберечься не смогла, заразилась, а вместе с нею

и дочь. После нескольких лет жестоких мучений девушка скончалась. Вдова ненамного пережила ее.

Соседи сообща похоронили и оплакали покойниц, а на деньги, вырученные за продажу имущества, устроили поминки. Только вот дом не удалось продать, не находилось на него покупателей – и ветхий был, и слава дурная, а пуще всего боялись, что зараза, которая свела в гроб хозяев, не выветрилась, а сидит в стенах.

О вдове после ее смерти вспоминали по-разному. Одни, те, которые лечились у нее, или их близкие, – с благодарностью, другие – с презрением. «Жадная была до Денег, никак насытиться не могла, больше о мзде думала, чем о больных. Вот потому и не замечала, что единственная дочь в могилу смотрит!» – говорили они. А находились и такие, которые считали вдову колдуньей или ведьмой, знавшейся с нечистой силой, и утверждали, что она наводила порчу на соседский скот: «Мы сами, своими глазами видели, как она у нашей коровы молоко из вымени высасывала!»

Такого рода слухи о бедной вдове держались упорнее всего. Более того, они становились все многочисленнее и с каждым годом обрастали новыми подробностями. И попробовал бы хоть кто-нибудь усомниться в их достоверности! Его бы тут же подняли на смех, а «очевидцы» стали бы бить себя в грудь и божиться, что говорят одну только правду.

А рассказывали они, например, следующее... В полночь над могилой вдовы загорается голубой огонек, и в тот же миг появляется призрак: белее савана, он бродит по двору и не может найти себе места. Затем раздается оглушительный свист, и из дома доносятся мучительные стоны и вопли. «Хаи, аблис, неужели нет никого вокруг?» – страдальчески спрашивает кто-то, судя по голосу – сама вдова, и дом начинает трястись, ходуном ходить, как при землетрясении. И всю ночь слышны невнятные разговоры, бормотание, вздохи, всю ночь хлопают двери, впуская и выпуская незримых гостей...

Как я уже говорил, у каждого в нашей семье были свои обязанности. Были они и у меня. Одна из них такая: каждый вечер, согласно дедушкиной воле, я должен был отгонять на пастбище наших буйволов. Дело сугубо мужское, я садился на Гуадаха и гнал буйволов к ручью; всю ночь они паслись на его берегу, а утром сами возвращались домой.

Путь к этому ручью пролегал как раз мимо заброшенного двора... Все бы ничего, но леденящие душу рассказы, которых я наслу-

шался, сделали свое дело: во мне поселился суеверный страх. Из-за него я однажды так крепко осрамился перед отцом, что потом неделю носа не показывал на улицу, боясь, что соседи станут смеяться надо мною, – отец, конечно, не мог утерпеть, рассказал им во всех подробностях.

Случилось это в тот самый день, когда взрослые уехали на похороны, а я сбежал на Чал и до заката просидел с Ясой на старой раките, подкарауливая змею с серьгой. Вернулся домой поздно, когда солнце уже село, и, как вы знаете, с пустыми руками. Наши были дома. Настроение у меня было паршивое, я чувствовал себя преступником, потому что за весь день не сделал ни одного из дел, которые обязан был сделать – не напоил телят, не выпас их, другое разное по мелочи, – и очень боялся, что отец задаст мне трепку. Но, на мое счастье, его не оказалось дома, он ушел искать нашу свинью, которая должна была скоро опороситься, – та еще со вчерашнего вечера куда-то запропастилась.

Правда, одно дело – отвести на пастбище буйволов – я еще мог и должен был успеть сделать. Обычно я садился на коня и ехал, но сегодня Гуадах очень утомился, и его раньше времени поставили в конюшню. Пришлось идти пешком.

Я подобрал прут подлиннее и погнал буйволов. Уже совсем стемнело, моросил дождик. Вздрагивая от каждого шороха, я с замирающим сердцем миновал заброшенный двор, оставил буйволов на лугу и повернул обратно. Иду и ног под собою от страха не чую. Если бы я был сейчас на Гуадахе, я бы хлестнул его как следует, и он галопом проскочил зловещее место. Но Гуадаха, увы, нет, я пеший.

Вот и опять заброшенный двор, сейчас нужно будет пройти совсем близко от старого дома. Иду и только равняюсь с ним, как отчетливо слышу протяжные страдальческие стоны, от которых кровь застыла у меня в жилах, стою – ни рукой, ни ногой двинуть не могу. И вот уже какой-то слабый огонек замаячил впереди, и что-то мертвенно-бледное стало надвигаться на меня. «Фьюууу!» – раздался оглушительный свист, и чьи-то ледяные руки ухватили меня сзади. Я чуть рассудка не лишился от ужаса, рванулся, побежал, спотыкаясь и падая. Куда бегу – неважно, лишь бы подальше отсюда, от этих мертвецов, обступивших меня: со всех сторон несутся их стоны, жалобные вопли, от неумолкающего свиста больно в ушах. Нет, это не птица свистела, птичий свист мне хорошо знаком, он ласкает слух, а этот... Этот свист напоминал визг, в нем было что-то зловещее, беспощадное, враждеб-

ное всему живому! Свист оглушал меня, валил с ног, раздирал уши. Это было невыносимо.

Как я выбрался на большую дорогу – не представляю. И вдруг, будто из-под земли, передо мною вырос отец.

– Куда торопишься? – спросил он, с первого взгляда поняв, что я до крайности напуган.

– Там, в старом доме... стоны... там призрак... и свист... Слышишь? – задыхаясь, выговорил я.

– А ты слышал такое: у страха глаза велики? Ну-ка, идем со мною, – сказал отец и за руку потянул меня туда, откуда я только что убежал.

Я упирался, твердил, что сам видел и слышал, но отец, никак не обращая внимания на мой лепет, тащил меня к заброшенному двору.

Мы пошли в пустой дом. Даже присутствие отца рядом не избавило меня от страха, сердце колотилось; это мрачное, заброшенное жилище, где жила и умерла злая ведьма, внушало мне смертельный ужас.

Отец чиркнул спичкой, и тут же с визгом и хрюканьем вскочила с пола наша свинья, окруженная крошечными поросятами. Вот где она, оказывается, пряталась все это время!

– А ведь ты не соврал, Лаган, ты и впрямь слышал стоны, – сказал со смехом отец.

* * *

Дедушка собирался на сход. Гуадах, на котором он поедет, стоял у коновязи, обмахивался хвостом. По привычке я подбросил травы в ясли к телятам, хотя сами они были на выгоне, и вышел во двор.

В это время, описав круг над нашими головами, на самую середину двора опустился удод, сел, покачивая хохолком на головке.

Дедушку очень раздосадовало появление этой птицы в нашем дворе, да еще так некстати, перед самым его выездом. Теперь, боялся он, дороги не будет...

– Эх, подстрелить бы тебя, дьявольское отродье! – пригрозил он удоду, но тот, будто понимая, что сделать это сегодня некому, не проявил ни малейшего беспокойства.

Я не мог оставаться в стороне, нужно было покарать эту птицу, испортившую настроение дедушке. Быстро сообразив, что предпринять, я повернулся и побежал в хлев, взял охапку прошлогоднего папоротника, обложился им спереди и сзади, прикрыл голову и пошел обратно

во двор. Прихватив по пути сачок для ловли бабочек, я встал на четвереньки и осторожно пополз по траве, приближаясь к удоду. Ползу и тихо приговариваю про себя:

По волнам корабль плывет,
Соль он белую везет...

И младенец знает, что эти слова действуют на удода усыпляюще. И чем ближе я подкрадывался к нему, тем все чаще и чаще повторял:

По волнам корабль плывет,
Соль он белую везет...

Удод хорошо знаком с морем: ведь чтобы попасть в наши края, он обязательно должен пересечь его. И корабли он наверняка видел, а может, даже и присаживался на мачты, отдыхал. Поэтому мой расчет на папоротник прост: увидев меня, удод подумает, что я – это не я, а корабль, и не испугается. А там я его быстренько сачком прихлопну. Но если даже он увернется, то все равно беду и горе, которые всякий удод таит у себя под крыльями, ему придется унести обратно, ведь я все время упоминаю про соль, а где соль – туда черту путь заказан!

По волнам корабль плывет,
Соль он белую везет...

А удод спокойно разгуливал по земле и ничего не боялся, даже меня; хохолок на голове у него то раскрывался, то складывался. Как зонтик...

В это время послышалось тонкое дрожащее ржанье – это Гуадах дал нам знать, что он чем-то сильно напуган. Приседая на задние ноги, вздрагивая, он стал пятиться, а потом взвился на дыбы.

– Да что с ним, что он вытворяет?! – заволновался дедушка и торопливо пошел к Гуадаху, но не успел: тот оборвал уздечку и вскачь пустился по двору. Пробегая под яблоней, он зацепил седлом за ветку, а подпруги были не затянуты, и седло съехало ему на живот. Это еще больше испугало коня, он забился, пытаясь избавиться от того, кто вцепился ему в брюхо, высоко подпрыгивал, мотал головой, лягался. Все, кто был сейчас во дворе, кинулись ловить ополоумевшего Гуадаха,

но тот и близко никого к себе не подпускал. А как увидит меня, с ним вообще что-то непонятное делается: дрожит, встает на дыбы, фыркает...

Только тут поняли, кого он испугался: меня, укрывшегося папоротником и на четвереньках ползущего по траве. А когда я уразумел, что сам виноват в этом переполохе, то горько заплакал и принялся ругать себя.

Дедушка, заметив, как я убиваюсь, подошел ко мне, положил руку на голову и сказал:

– Не расстраивайся, Лаган, не плачь, здесь не ты, а я виноват: не остерег тебя, старый... Ну ничего, как бы там ни было, а ты своей цели достиг – удод перепугался и улетел. Теперь здесь и духу его не будет!

* * *

Дядя Элизбар был на охоте. Шагая по лесу, он заметил взлетающего фазана и выстрелил. Подбитая птица упала в кусты на берегу ручья. Продравшись сквозь колючие заросли, дядя Элизбар нагнулся за добычей, и тут его взгляд упал на ствол молодого каштана, росшего поблизости. Дядя Элизбар так обрадовался, что сразу же забыл об охоте и поспешил домой.

– Ну и повезло же нам! – ликовал отец, выслушав брата.

Оказывается, они еще с прошлого года искали подходящее дерево, которое бы годилось на соху, но так и не находили.

На следующий день рано утром они отправились туда, где дядя Элизбар обнаружил свою диковинку. Только вместо ружей на их плечах лежали топоры. Там, на берегу ручья, они свалили каштан, обрубили сучья, отсекли вершину и корневище и ту часть ствола, которая лишь и годилась на соху, на себе притащили домой и поставили к сараю. Прослышав про находку, во двор к нам потянулись соседи; они шли к сараю и дивились, будто видели перед собою подстреленного тигра. Их поразило это дерево, согнутое не руками человека, а самой природой так, словно она от рождения назначила ему быть сохою.

Заготовку для сохи, колодку, ровнехонько оструганы, оскоблили – ее свилеватые узоры стали еще заметнее и как бы заиграли, засветились изнутри, – а потом положили на потолочные балки в амацурте. Ранней весной, незадолго до пахоты, колодку, уже хорошо просохшую, сняли и стали ладить соху. Дядя Элизбар долотом вырубил сошник из шелковичной плахи, отец и дедушка помогали ему чем могли, а потом

все вместе принялись крепить его на колодку. Дело было серьезным и ответственным, требовало особой внимательности, поэтому они время от времени отходили в сторону и оценивающе оглядывали свою работу. Распоряжался здесь дядя Элизбар, он кружил вокруг сохи, приседал, осматривал и спереди, и сзади, и с боков, устанавливал сошник по высоте, проверял, нет ли перекосов. И глядел при этом так, будто целился из ружья, – прищурив левый глаз. Когда все неполадки были устранены, он насадил на сошник железный лемех, только что привезенный из кузницы после закалки.

– Вот теперь как настоящий газырь! – удовлетворенно заключил он, оглядывая готовую соху.

Дядя Элизбар был плотник, и, насколько я понимаю сейчас, очень искусный. Он делал арбы, ставил мельницы. Не только соседи, но и все село шло к нему с просьбами и заказами. Поэтому, если дядя Элизбар сказал «как газырь», значит, никаких доработок больше не требовалось. Так я, по крайней мере, понял смысл этого изречения.

* * *

– Вставай, Лаган, вставай! Или ты забыл, о чем мы вчера договаривались? – услышал я сквозь сон.

Открыл глаза и увидел дядю Элизбара – он стоял надо мной и улыбался. Но дожидаться, пока я оденусь, не стал, пошел в амацурту.

«Сегодня же будут новь подымать!» – вспомнил я и заторопился. Вместе с дымным предрассветным светом в комнату просачивался счастливый птичий щебет, славящий весеннее утро, и в этом звонком благовесте я с волнением различал голос дятла. День прибывает!

Когда я вошел в амацурту, дядя Элизбар сказал:

– Поспешай, Лаган, у нас с тобою есть срочное дело. Мы во что бы то ни стало должны управиться с ним, пока наши не приехали на поле.

Вымыв руки, дядя Элизбар сел за завтрак, приготовленный моей матерью. Он и мне сделал знак, чтобы я садился вместе с ним, да поживее.

Дядя Элизбар ел быстро, но красиво и опрятно, так же, как работал, – терпеть не мог, когда копаются за столом, да еще чавкают или причмокивают. Я знал об этом и потому старался не отставать от него.

Когда с завтраком было покончено, мы встали и пошли – впереди дядя Элизбар с острой цалдой на плече, а за ним я. Восток так пламенел, будто где-то там, за горами, покрытыми снегом и льдом, вспыхнул

и разгорается какой-то невероятный, чудовищный пожар. Значит, вот-вот покажется солнце.

Мы вышли на дорогу, ведущую через холм.

– Давай наперегонки? – предложил дядя Элизбар.

И мы побежали. Но мне ли состязаться с ним? Бегает дядя Элизбар дай бог каждому! Когда играют в мяч, все хотят заполучить его в свою команду. Поэтому сейчас он не бежит, а трусит рядом со мною, да и то еле-еле, чтобы не обогнать ненароком. А я выкладываюсь полностью, и мне кажется, что теплый встречный ветер подхватил меня и несет над землею...

Мы спустились к ручью. По его берегам густо и тесно, как конопля, растут грабы, их ветви спутались, переплелись друг с другом, – через такой потолок ни один солнечный луч не пробьется. Светлые, почти белые стволы будто в испарине, кое-где роса уже скатывается по ним, сливаясь в извилистые струйки... Мы углубились в лес, и в его гулкой тишине звук наших шагов показался оглушительным. Такое ощущение, будто попали в огромный пустой дворец. Где-то пел соловей, да так звонко и заливисто, будто горстями сыпал на каменный пол золотые бубенчики.

– Знаешь, кто это поет? – приостановился дядя Элизбар и, взмахнув цалдой, срубил колючую ветку, перегородившую путь.

– Соловей, – ответил я.

– Верно. Он поет всю ночь, до самого рассвета. А если он перестанет петь, знаешь, что с ним случится тогда?

– Тогда у него из горла прорастет хмель. Соловья поэтому так и зовут – хмель-птица.

– А о чем он поет, знаешь? – спросил дядя Элизбар, откинув голову и разглядывая меня.

Я растерянно молчал, не зная, что сказать.

– Вижу, не знаешь... Тогда слушай, – И он пошел вперед, раздвигая ветки. – Жил-был когда-то некий человек по имени Гвагва Цацва. И занимался он тем, что ловил птиц, – везде, где мог, расставлял на них силки и сети. И однажды попался к нему в западню соловей. Все знают, что большой грех обижать эту птицу, ведь она создана только для пения! Знал и Цацва. Но то ли у него ум за разум зашел, то ли еще что, не знаю, а только решил он этому соловью открутить голову и уж взялся было, да зазевался, и соловей выпорхнул у него из рук. Один лишь пух оставил Цацве на память. Потом сел на ветку и запел как ни в чем

не бывало. – Тут дядя Элизбар снова махнул цалдой и снес еще одну колючую ветку. А я в это время прислушался и заметил, что соловей, перестал петь: наверное, испугался наших голосов. – Прошла весна, потом лето, на зиму соловей улетел в теплые края, где никогда не бывает снега, но, когда настала новая весна, он вернулся. А Гвагвы Цацвы и в помине уже не было, скончался, несчастный. Тогда соловей узнал, где он похоронен, полетел к нему на могилу, сел рядом на граб и запел:

Гвагва-цви,
Гвагва-цви,
Умер Цацва, не воскреснет.
Пусть без пуха мы остались –
Новый вырастет взамен!
Гвагва-цви, Гвагва-цви,
Умер Цацва, не воскреснет,
Жизнь – не пух, и он другую
Не поручит никогда!

Эту песню люди до сих пор забыть не могут, запомни и ты ее, не забывай, – добавил дядя Элизбар, проворно пробираясь вперед; его белые чувяки так и мелькали впереди. Извилистый ручей он перепрыгнул не глядя, словно через палку перешагнул.

Разводя руками ветви, то пригибаясь, то отклоняясь, дядя Элизбар переходил от граба к грабу, но что-то в них его не устраивало. Наконец, облюбовав один, он пристально оглядел ствол, будто прикидывая, куда выстрелить, и вдруг подпрыгнул и резко взмахнул цалдой. Поймал на лету отсеченную ветку, очистил ее от листьев, срезал кончик.

– На, лови! – крикнул дядя Элизбар, перебрасывая мне уже готовый прут.

Я подхватил его и положил на плечо, зная, что эти прутья будут теперь лететь ко мне один за одним. Для того он и пришел сюда спозаранку вместе со мной, чтобы успеть как можно больше нарезать грабовых прутьев, упругих и гибких, как хорошая плетка.

– Это два!.. Это три!.. – громко считал дядя Элизбар, срезая прутья, и через мгновение они падали к моим ногам.

– Ну что, как, по-твоему, хватит? – спросил он немного погодя, хотя лучше моего знал, хватит или нет. Спрашивал, чтобы я не чувствовал себя только носильщиком, лицом второстепенным.

– Но мне хотелось показать, что и я не так-то прост.

– Прутьев уже предостаточно! Если даже половину из них измочалить о буйволов, то они, боюсь, не выдержат! – сказал я дяде.

– Эх, Лаган, Лаган, не набил ты еще себе мозолей сохою, вот что! Говорить-то легко, а ты попробуй сам, на деле. Это тебе не в ножички играть! Много должно обломиться прутьев, прежде чем те, на ком ярмо, поймут, чего от них требуется. За это время голос от крика сорвать успеешь...

Но прутьев уже и в самом деле с избытком, и скоро мы пойдем на новое поле, которое сегодня впервые распашут. Это недалеко отсюда, за ручьем, на косогоре.

Солнце уже вышло из-за гор, вершины грабов жарко горят в его лучах, но внизу под ними прохлада и сумрак. «Ку-ку! Ку-ку!» – разнеслось вдруг по лесу. Кукушка! Но для нас это уже не новость, три дня назад мы уже слышали ее.

Дядя Элизбар послушал кукушку и негромко подхватил:

Ку-ку, ку-ку! –
И здесь, и там.
Это весна
Поет по лесам.

Ку-ку, ку-ку! –
Весна пришла.
Пахарям всем
Честь и хвала!

Завтра с утра
В поле идти.
Солнце, земле
Подольше свети!

Дядя Элизбар пел, а сам смотрел на меня и головою кивал: дескать, ты-то что не поешь? Подпевай! И я тоже запел:

Ку-ку, ку-ку! –
И здесь, и там.
Это весна
Поет по лесам!..

Как отрадно петь в утреннем свежем лесу, подтягивая весенней вестнице! Наши голоса летят по всему лесу, от опушки до опушки, множатся, будто сотни людей, оставаясь незримыми, поют вместе с нами. И вот уже не мы птицам, а птицы подпевают нам и, забыв свой страх, слетаются поближе. И звенит наша общая песня, и, вслушиваясь в нее, застыли в изумленном молчанье белоствольные грабы...

Мы идем к полю. Еще чувствуется утренний холодок, и в нем остро, пряно и сладко пахнут распускающиеся листья.

* * *

От ручья до самого холма еще год назад тянулись непроходимые заросли. Но этой весной дедушка, отец и дядя Элизбар выжгли их, готовя землю под пашню, и сейчас она, еще твердая, плотная, сплошь была усеяна угольками, обгоревшими ветками, повсюду валялись головни, чернели кое-где обугленные пни, которые мы так и не смогли выкорчевать, тянуло гарью...

Отец перебрал принесенные прутья, выбрал один, показавшийся ему надежнее прочих, и пошел к своей упряжке, взялся за рукоятки новой сохи. Мы встали рядом с ним – дедушка и дядя Элизбар по бокам, а я сзади.

Но прежде, чем отцу провести первую борозду, дедушка с трудом, пересиливая себя, нагнулся, ковырнул, поддел уголком цалды пригоршню перемешанной с пеплом и золою земли, стиснул в кулаке, словно хотел согреть ее, потом вытянул вперед немощно дрожащую руку и раскрыл ладонь. Мы торопливо сняли войлочные шапки.

– Господи всемогущий, – громко начал дедушка, глядя в прозрачное и чистое небо, – не обделяй нас твоими милостями, да будет благоволение твое на нас... О земля, кормилица наша, вся семья с надеждой глядит на тебя, благослови нас, дай нам радоваться плодам своего труда!..

Когда дедушка кончил молитву, отец замахнулся на буйволов и произнес:

– Ну, с новым урожаем!

Так он обычно начинал пахоту... Буйволы взяли с места, соха дернулась, лемехом углубилась в землю и легко пошла вперед.

– Эх и хороша землица! Рассыпается что жареный каштан! – Отец обернулся, глянул на борозду.

– Ор, хи, лак-лак! – послышалось через некоторое время покрикиванье дяди Элизбара.

Я подбежал и пошел впереди его пары буйволов. Дяде Элизбару очень досаждал один из них – рябой, с обломанными рогами, который все время норовил свернуть с борозды куда-нибудь в сторону, в папоротники или в кусты. Потому-то и нужно было идти впереди.

Дедушка, как всегда, тоже нашел себе дело, хотя и отец, и дядя Элизбар отговаривали его, упрашивали поберечь свою старость. Он оттаскивал с поля корни, вывернутые сохами, рыхлил мотыгой землю вокруг пней, куда с буйволами было не добраться, вырубал под деревьями молодые побеги и кусты... И с таким усердием, с таким вкусом он работал, что всякий, кто увидел бы его, непременно позавидовал бы старику, его молодой жадности к работе...

В нашей семье сеяли кукурузу обычно двух сортов. Какой сорт на каком поле сеять, какой раньше, а какой позже – все это дедушка решал сообща с моим отцом и дядей Элизбаром. Хорошо помню тот весенний день, когда в поле он подозвал к себе своих сыновей и, держа в руке суму, стал горсть за горстью черпать из нее семена и тонкой струйкой ссыпать обратно, обращаясь к богине земли и плодородия:

О Джаджа, о заступница наших полей,
Дай почувствовать сладость заботы твоей!
Чтоб всегда были всходы густы, словно шерсть,
Чтоб один урожай за три года не съесть,
Чтоб росой обернулся полуденный зной,
Чтоб стояли их стебли могучей стеной,
Чтоб злой ветер, запутавшись в них, угасал,
Чтоб кусок заработанный – добрым бы стал...

Дедушка шел по пашне, разбрасывая правой рукой семена, и, пройдя ее из конца в конец, призвал к себе одного из сыновей:

– Да хранит тебя Джаджа! Смени-ка меня, сынок, сей равномерно, чтоб не густо, но и не пусто. – И, передав суму с семенами сыну, устало пошел в тень...

Когда поле бывало засеяно, начинали боронить. Запрягали буйволов, цепью крепили к ярму плетеную борону с торчащими деревянными зубьями, кто-нибудь вставал на нее, отец или дядя Элизбар, брался

за веревку, привязанную прямо за рога буйволов... Этого мгновения я и ждал! Я радостно подбегал к бороне и устраивался между ног того, кто стоял на ней. Если пашня была особенно комковатой, тогда для тяжести на борону клали камни или наваливали земли. «Лак-лак!» – и вот мы уже рванулись вперед, подгоняя буйволов, в прах дробя комья, взвивая за собой пыль, и кажется, что ветер свистит в ушах, и чудится, что летим и взмываем в небо...

* * *

Скоро полдень, и я мчусь домой – надо помочь матери нести в поле обед.

У нее, когда я вбегаю в амацурту, уже все готово, мамалыга сварена и доходит в котле над едва теплящимся огнем, – она собрана горкой, оглажена, а сверху воткнута веселка.

– Наконец-то, – с улыбкой говорит мать и поднимается со стула, достает широкое деревянное блюдо, в котором мы носим обед своим.

Блюдо ставится на стул, на нем появляется горшок с вареной, источающей дразнящий аромат фасолью, приправленной пряностями, пучки зеленого лука, только что промытого и оттого как бы в росе, бордовый кочан соленой капусты кольраби, круг свежайшего сыра, еще исходящего белесым соком, отдельно соль, аджика, сбоку кладется несколько – по числу едоков – костяных ложек и одна большая, деревянная. Быстро и ловко мать снимает с цепи котел, переносит его на треногу, круто размешивает веселкой мамалыгу, раскладывает ее по тарелкам – мне, как всегда, первому, потом мужчинам, потом сестрам. Но сестер сейчас нет в доме, они на речке, стирают белье, и мать убирает их тарелки в кухонный шкафчик.

– Может, здесь поешь? – вопросительно глядит она на меня.

– Нет! – вспыхиваю я. – Поем в поле. С мужчинами... – До каких пор она будет считать меня ребенком?!

– Ну, как знаешь. Не хочешь в животе еду нести – понесешь на спине...

Мать кольцом скручивает полотенце, кладет его себе на макушку, ставит сверху блюдо со снедью. Придерживая блюдо за край, берет свободною рукою сумку, где стоит деревянный жбан с простоквашей. Я поднимаю кувшин с вином, несу его, часто меняя руки...

Мать идет впереди меня; она шагает легко, держится прямо, будто на голове у нее не увесистое блюдо, а только всегдашний платок. Я смо-

трю на нее, и мне стыдно жаловаться, что кувшин, в котором звонко плещется вино, слишком тяжел для меня.

* * *

Неуловимо, враз – так с алычи осыпается перезревшая ягода, – оставила меня моя лихорадка, мучительные приступы которой повторялись ежегодно. С каждым днем я креп, набирался сил, суставы обретали былую гибкость, на бескровных прежде щеках заалел румянец, вновь потянуло к забавам и играм. Некогда дедушка пристрастил меня к стрельбе из лука и пистолета, теперь пытался приохотить к танцам.

Искусству танца обучал меня Мадгуа, я уже упоминал о нем. Тот, кто хоть раз увидел его, не смог позабыть никогда. Костлявый, длинный, невероятно узкий в плечах и бедрах, живые, юркие глаза черней пистолетного дула, а голос такой пронзительный и тонкий, что, казалось, насквозь протыкает любые стены и торчит снаружи, как гвоздь. Но Мадгуа, между прочим, был очень известный у нас танцор и комедиант.

Когда Мадгуа взялся за мое обучение, он первым делом собственноручно сшил для меня чувяки из выделанной кожи, в которых было очень удобно передвигаться на кончиках пальцев, а также наколенники – без них нелегко бы было падать на колени и быстро вскакивать.

– Ну, как дела? – спрашивал, бывало, дедушка, поднявшись в дом, где проходили наши занятия.

– О, этот парень далеко пойдет! – с гордостью отвечал мой учитель.

Так что к первому успеху в верховой езде прибавились и успехи в обучении танцам. Да и стрелял я уже метко и неплохо орудовал кинжалом. Все шло хорошо. Но черт, видать, не дремал – из-за угла следил за мною да посмеивался тихонько...

Неожиданно Мачич заболела корью, а на третий день и я.

– Корь – болезнь божественная, да будет ее воля на том, кого она посетила. Нам надо оказать ей достойную встречу! – сказал дедушка.

Как только на теле у меня показалась сыпь, мать порылась в сундуке и достала маленький плоский камень с дырочкой посередине, сквозь которую была продернута черная тесьма.

– Этот талисман, сынок, перешел ко мне от моей бабушки, я очень дорожу им, потому что он – лучшее средство от кори. Носи его не снимая и скоро поправишься!

Она благословила меня, через голову накинула на шею тесьму – и холодный камень лег мне на грудь.

Но лучшее средство от кори не принесло мне избавления, я сгорал от жара и таял на глазах.

Заходили соседи, сидели у моей постели, сочувственно вздыхали.

Жизнь, конечно, не замерла из-за моей болезни, не остановилась. Гости, например, приезжали по-прежнему часто, и надо было оказывать им достойную встречу, кормить, развлекать. Вот на днях приезжали одни... Я лежал в амхаре, и до меня доносились звуки их отчаянного веселья, я слышал, как они пели, хохотали и даже пальнули пару раз.

На следующий день, когда гости отправились восвояси, ко мне зашел дедушка.

– Пришлось заколоть для гостей овечку, пролить кровь, когда в доме у нас божественная гостья – корь, – заговорил он, словно оправдываясь, и поднял глаза к небу. – Но это не по неведенью моему или небреженью, а потому, что гости были издалека, не мог я опозориться перед ними... О Белая Ханиа, мать Золотого Зосхана на золоченом коне, не лишай больного ребенка своего благоволения!

Сотворив молитву, дедушка вышел во двор, но долго еще не мог успокоиться и все проклинал себя за содеянное.

Я задремал, забылся, но сквозь непрочный сон слышал, как тихо переговаривались у моего изголовья мать и соседка Лиза.

– Корь чаще всего приходит в тот дом, где нарушают запретные дни, – назидательно говорила соседка.

– У меня запретный день суббота, но клянусь тебе – я ни разу не нарушила ее! – возражала ей мать.

– Так-то оно так, да ведь мы же вечно в делах, крутимся с утра до вечера, мудрено ли забыть порою... Не мешало бы на всякий случай покаяться и дать зарок Богу...

– Нет, Лиза, нет, не могла я нарушить запретный день! В нашем роду испокон веков запретный день суббота, у меня уже в крови это, я скорей согрешу, чем изменю ей! И сто раз я уже тебе рассказывала, как погибла у нас одна девушка...

Разволнованная вздорным подозрением соседки, мать стянула с головы белый платок, разложила на коленях и принялась сосредоточенно разглаживать его ладонью, успокаивая себя.

Я знал, как погибла девушка, о которой упомянула мать: ее унесло черное облако в наказанье за нарушение запретного дня. Внушая моим

сестрам свято блюсти субботу, мать часто рассказывала эту историю: вот, мол, что может случиться с ослушницей... Оттого ли, что жар у меня спадал и голова работала лучше, я вдруг до необычайности зримо представил себе, как все произошло...

Вот она сидит на веранде, юная и прелестная, чем-то похожая на младшую сестру матери Наси, шьет себе башмачки из сафьяна. День субботний, но она то ли забыла об этом, то ли пренебрегла. Внезапно солнце померкло, стало темно, как ночью, и черное облако, клубясь, обступило веранду. «Господи, как темно!» – испугалась девушка, отрываясь от работы. Она вскочила, и сшитый башмачок упал с колен на пол, но второй так и остался в ее руках. И вот стоит она с этим башмачком, тонкая, стройная, беззащитная, испуганная неизвестно откуда взявшейся тьмой, а черное облако уже обнимает ее, обхватывает как крыльями и взвивается вместе с ней в небо... С той поры о девушке не было ни слуху ни духу, а у родителей остался только этот башмачок, оброненный дочерью...

Такая вот рисовалась картина в моем воображении. Я думал об этой унесенной облаком девушке, жалел ее, мечтал спасти, пока меня не сморил сон. А когда проснулся, увидел склонившегося надо мной Чины сына Чичина, давно дожидавшегося моего пробуждения. Заметив, что я открыл глаза, он вынул из кармана два больших алых яблока и положил на скамью возле моей кровати.

– Ну, Лаган, ты, я гляжу, совсем молодцом? Скоро поправишься, если будет на то ее воля, – сказал он, разумея «божественную гостью», и сел на предложенный ему стул. Мне сразу словно бы полегчало, когда я увидел Чины сына Чичина. Быть такого не могло, чтоб он ушел, не спев мне какой-нибудь песенки!

– Ну, что тебе сыграть, мой маленький друг? – посмотрел на меня Чины сын Чичин, улыбаясь одними глазами.

Как великолепно подчеркивали белые газыри разворот его широких плеч, как шел к тонкой талии кинжал у него на поясе, как красиво сочетались с ачамгуром его длинные чуткие пальцы, – казалось, они увянут, не ласкай он ими шелковых струн...

– Позволь мне развлечь тебя немного перед уходом... И вы, уважаемые, кто пришел навестить больного, да падут на меня ваши горести, послушайте об одном юном франте...

И вот запел ачамгур, и с его голосом слился голос Чины сына Чичина:

Молодой еще, юный,
А усы – будто струны!
Оттого-то, наверно,
И глядит он надменно.

Щеголь, франт, хвастунишка,
Лежебока, трусишка,
Да и глупый к тому же...
Ну кому такой нужен?

Вот и нет у зазнайки
Ни добра, ни хозяйки, –
Есть лишь сбруя гнилая
Да кобылка хромая.

Хвастовство – не работа,
Ну, а есть-то охота, –
И идет без стесненья
В дом чужой к угощенью.

Но уходит от всех он,
Провожаемый смехом...
Слушай, брось-ка зазнайство
Да берись за хозяйство!

* * *

Чины сын Чичин не любил вспоминать о том, что, как он выражался, «преждевременно состарило его». Он избегал расспросов и, как бы его ни упрашивали, отказывался наотрез: «Для меня это все равно что соль на рану сыпать!»

Но иногда, когда выпивал больше обычного, начинал рассказывать сам, без всяких уговоров и просьб; говорил шепотом, как бы только тебе одному, сидел неподвижно, точно изваяние, и, скрестив на груди руки, глядел в одну точку. Лицо его, обычно веселое, лицо острослова и шутника, преображалось: мрачнело, на глаза набегала тень...

О том, что за всеми его припевками, шутками да прибаутками скрывается тоска, неутихающая боль, я и сам догадывался, а позже,

значительно позже – Чины сын Чичин жил долго, – узнал от него самого.

Сколько раз бывало, что слушаешь кого-нибудь – и оторваться не можешь, так интересно! Но проходит день-другой, и лишь приблизительно можно вспомнить, о чем тебе рассказывали. Не так было с Чины сыном Чичином, его повесть глубоко запала в душу, я отчетливо помню ее до сегодняшнего дня – и словечки его излюбленные помню, и даже интонации. Хочу передать ее вам и попробую это сделать его же словами.

– ...Ее, мою горемычную, звали Хшяса, двадцать один год ей было. Высокая, ладная, лицо белое, глаза голубые, а из них свет какой-то льется – прямо в душу тебе... По тем обстоятельствам, когда я впервые ее увидел, можно было догадаться, что ничего хорошего не ждет нас впереди.

У Хшясы было три брата. Младшего из них звали Сунар, и он утонул в реке Пал... В тот день как раз выманивали из воды его душу, и все, кому было положено быть, собрались на берегу. Я тоже подъехал, спешился, присоединился к ним. Мать Сунара и его сестра шли вдоль реки... У матери через руку перекинуты черкеска и архалук, а у сестры – башлык. Это были вещи Сунара... «Сунар, сынок, идем домой!» – звала мать, а дочь ей вторила.

В тот день было очень жарко даже у воды, девушка откинула черный платок с лица, чтобы освежиться, вдохнуть речного воздуха, и тут наши взгляды встретились. Я вспыхнул как дерево, в которое попала молния, запылал, и все воды реки, которая унесла жизнь ее брата, не смогли бы потушить огонь в моем сердце.

С того дня я с коня не слезал, ездил по ее следам, все искал случая увидеться и поговорить с нею.

Как-то их соседи справляли по кому-то поминки. Я не был зван, но завернул туда – якобы с кем-то срочно увидеться. Ну, нашлось и для меня местечко за поминальной трапезой, сел, сижу. Хшяса разносила водку. Когда подошла ко мне – я даже стопку с подноса взять не мог, будто какой-то столбняк на меня нашел. «Может быть, выпьешь за упокой?» – спросила она. Я очнулся, взял водку и шепнул ей: «Надо сказать тебе кое-что, приходи туда-то». Она пришла, и с того дня мы стали тайно встречаться – около их дома, на краю виноградника.

Неожиданно и мне сверкнул лучик надежды. Однажды на свидании Хшяса подошла ко мне, застегнула у меня на груди архалук и сказала:

«Не хочу скрывать: с того дня, как я увидела тебя, я тоже потеряла покой». Мы полюбили друг друга до боли и тоски, и разве могло быть иначе?

Вскоре она согласилась выйти за меня, и мы в тот же день договорились о сроке. Когда мы расстались, Хшяса, не умея скрыть своей радости, помчалась вприпрыжку, как птенчик, который учится летать. Если б я знал, к кому она мчится!.. Хшяса прибежала поделиться своей радостью к Пембе, своей тетке, которая жила одна в доме утонувшего Сунара. Хшяса была намного моложе ее, но все равно они дружили, были близки, и Хшяса поверяла ей все свои тайны.

Хшяса не знала, что в мире есть не только любовь, свет и правда, а еще и коварство, лицемерие, зависть, ложь. Она выложила своей тетке все – и о нас, и о нашем разговоре, – что должна была хранить на самом дне своей души. «В ночь на субботу ухожу из дома. А чтобы братья не переживали и не думали, что я пропала, скажи им, что я вышла замуж. А за кого и почему – ты теперь знаешь!» Вот так Хшяса вручила свою и мою судьбу в руки Пембы.

Если змея обовьется вокруг шеи ребенка, разве он будет знать, что это змея? Нет, он будет думать, что это бусы, которые матушка дала поиграть и повесила ему на шею!

Так случилось и с Хшясой.

«Милая, да как ты могла скрывать от меня, твоего друга, что у тебя на сердце?! Ну, теперь все, теперь ни о чем не заботься, ни о чем не тревожься! Желаю тебе счастья в новой жизни!» Вот какие слова говорила Пемба, и ласкала, и обнимала свою племянницу, а утром чуть свет вонзила в нее свое ядовитое жало. Пемба пришла к ее братьям и сказала: «Эй вы, толстокожие, чья кровь в жилах давно остыла, дрыхнете тут и не знаете, что ваша единственная сестра, которую вы холили и лелеяли, собралась опозорить вас!» – «Как?! В чем дело?!» – встревожились братья. «Да так, – подлила масла в огонь Пемба. – В ночь на субботу ваша сестра уходит из дому, сбегает с одним проходимцем!» Она усадила братьев и рассказала им все, что узнала от Хшясы. Но как рассказала! Поистине, злое слово – первое оружие человека, замыслившего недоброе... Чего только Пемба не наговорила про меня! «Ни кола ни двора! Кроме смазливой внешности – ничего за душой нет! Чья речь длинна и красива, а честь коротка и худа! Да если бы знал он свой род, разве бы звали его по матери?..» Хотя бы на этом успокоилась, так нет! Оказывается, у меня чахотка, все легкие

сгнили, да еще дурная болезнь в придачу, от которой, мол, вся наша семья вымерла!..

Братья взбесились от гнева, кликнули сестру, а когда Хшяса явилась, они вытащили свои кинжалы, наставили ей в грудь и спрашивают: «Сестра, ты зачем нам глотки тупым ножом перерезала?» А Хшяса моя спокойно отвечает: «Да стану я жертвой за вас, братья! Чем провинилась я перед вами, почему так жестоки ваши слова, а взгляды злы? Я не совершила ничего постыдного, я люблю этого человека, и для меня лучше его нет никого в целом свете! И знайте: или я выйду замуж за него, или ни за кого и никогда!»

Братья заперли Хшясу в комнате и стали ее караулить.

Так прошло несколько дней. А Пембе все мало. Снова является она к братьям и говорит: «До каких пор вы будете держать ее взаперти? Вы что, не знаете, что если девушка решится, так она хоть из хрустального замка сбежит!» – «Так посоветуй нам, что делать?» – спрашивают те. И Пемба им посоветовала. «А вы, говорит, опередите ее, выдайте замуж за другого человека!» Вот что она посоветовала, старая ведьма, затеявшая злое дело.

Братья подумали, подумали и согласились. Вспомнился им тогда некий дворянин родом из Мархяул, вдовец лет шестидесяти, который в прошлом году сватался к их сестре, но безуспешно. Тут же снеслись с ним, дали знать о своем решении, договорились обо всем. Тот, конечно, обрадовался такому повороту событий, стал срочно готовиться к свадьбе, а братья пришли к Хшясе и объявили ей, что завтра вечером она должна стать женой дворянина из Мархяул... А дворянин – вдовец, старик, старше ее втрое, да и не видела она его ни разу... У Хшясы в голове помутилось, где стояла, там и села, бедная, глаза забегали как у безумной, вцепилась ногтями в свои щеки, ни слова не произнесла, ни есть, ни пить не стала, от всего отказалась... «Ничего! – решили братья. – Девичьи слезы что роса...» Заперли ее и ушли.

Братья были неженаты, жили втроем, они да сестра, а мать уж померла к тому времени. Утром приготовили завтрак, понесли ей, отомкнули дверь, а Хшяса уже холодная...

Ни царапины, ни синяка – ничего не нашли у нее на теле. «Наверное, от разрыва сердца умерла», – решили все, кто сбежался на крики братьев. И больше ничего не говорили о неведомой смерти Хшясы.

Не стану, да и не могу, сил нет рассказывать, что творилось со мной... Когда Хшяса не пришла в условленное место в ночь на субботу я по-

нял, что стряслось что-то ужасное, но, как ни старался, свидеться с ней не удавалось, всех, кого я подсылал к ней во двор, братья гнали прочь. А тут смерть... На похороны я не пошел, даже не попытался, семь дней и семь ночей пластом лежал в своей развалюхе, что от деда досталась, не пил и не ел, только курил. И обвинял себя в гибели той, чье сердце было переполнено любовью. И сам помышлял о смерти, но у человека душа робкая, вот и не отважился, живу.

Как-то вечером, в сумерки уже, поднялся я, вышел точно тень из дома, вскарабкался на коня. Проживи я втрое больше – не забыть мне той мертвой весенней ночи, когда я одиноко стоял у могилы моей Хшясы, перед надгробным камнем, и сам был как камень. Могилу еще не успели огородить, только земляной холмик да надгробье указывали, где она зарыта. Мой приход сюда этой ночью оказался началом тропки, которой суждено было пролечь через всю мою жизнь. Я стал постоянно приходить на могилу Хшясы. Когда я был рядом с ней, меня, как пьяного, оставляло горе, но стоило сесть на коня и удалиться прочь, я ощущал свое одиночество в мире и бродил как неприкаянный.

Во вторник погребли ее, чья доля была жестока, и поначалу каждый вторник я приходил туда, потом раз в месяц, потом на годовщину. Я убирал могилу Хшясы, проводил возле нее бессонную ночь... Как и мои отцы, я молился прежде Илорской богоматери, правда, не часто бывал в церкви. Теперь она и вовсе стала не нужна мне, ее заменила могила моей Хшясы. Мне казалось, что, приходя сюда, я замаливаю свой грех перед ней – грех, который как камень давил мне на шею. Братья, разумеется, заметили, что какой-то человек под покровом ночной темноты приходит к могиле их сестры, и стали подкарауливать его. А когда обнаружилось, что это я, они горько покаялись и заплакали так, как плакали в день ее смерти. Неизбывная вина перед сестрою перевернула их души...

Братья так и не женились, жили в своем доме, одиноко старели. И Пембы уже не было в живых. Когда я сходил с коня и шел к могиле, они, поддерживая друг друга, ковыляли мне навстречу, а потом приносили еду и кормили тут же, на могиле. Иногда я принимал их приглашение и шел к ним в дом, мы садились друг перед другом и молча, не произнося имен Хшясы, пили за упокой ее души.

Я не слышал, чтобы где-нибудь еще случалось подобное – впрочем, наш жестокосердный мир хранит немало тайн, – но отношения между мной и братьями сложились такие, что мы уже не могли друг без друга.

Словно бы Хшяса вдруг встала со своего смертного ложа, поставила нас троих рядом и заставила поклясться, что отныне мы – побратимы. Нам трудно стало не видеться подолгу. Я, как всегда, не мог сидеть на месте, ездил по делу и без дела, и, если от меня несколько дней не было вестей, они тревожились и находили способы известить меня, что необходимо срочно встретиться. И тогда я бросал свои дела и мчался к ним, а когда влетал на коне во двор, они встречали меня, глядели в глаза и спрашивали: «Здоров ли ты, дорогой? А то нам дурные сны виделись... Не уезжай далеко, пожалей нашу старость, один ты у нас остался!» И плакали, и вели в дом, и подсаживались ко мне.

Ах, если бы в ту пору, когда мы с Хшясой сгорали от любви друг к другу, случился бы рядом добрый человек, который был посвящен во все наши заботы и тревоги! Может, мы бы избежали тогда великого несчастья. Он знал слова, которые дошли бы до сердца ее бесчувственных братьев, он нашел бы средство обезвредить злодейку Пембу... Но нет, не было такого человека, да мы и думать не могли, что он может понадобиться. И мы ли одни? Разве мало таких, кто любит страстно и искренне, как любили мы, но нет поблизости нужного человека, и разбивается их любовь, как стеклянный сосуд...

Такие мысли посещали меня, когда я коротал ночи у этой могилы. И вдруг я услыхал голос, который шел из глубины земли: «Тот, кто устроил счастье двоих, и сам будет счастлив!» У меня мороз пробежал по коже: это говорила Хшяса! Но сейчас ее голос звучал властно, а не ласково и нежно, как в прошлые ночи. И пошел я, и оседлал коня, и пустился в путь, и стал, званый и незваный, являться на свадьбы и поминки, на торжища и собрания, сопровождал путешествующих и ищущих, был товарищем жениху и наперсником невесте.

Чтобы еще глубже проникать в человеческое сердце, я выучился играть на ачамгуре, узнал множество песен, постарался не показывать на людях свою печаль и прослыл весельчаком. Куда бы я ни пришел, мне всегда подносят ачамгур. За редким исключением я почти не пою грустных песен, не хочу вводить в тоску и уныние людей, у которых и без того немало горя в жизни. И я тешу их припевками, забавляю шутками.

Сколько встречал я людей, у которых сердце так же глухо, как у братьев моей Хшясы, скольких я спас от несчастья! Сколько раз метким словом обезвреживал яд, пущенный такими, как Пемба! Скольких, у которых не было больше сил бороться, вернул на дорогу, ведущую к свету!

Да, многих я соединил для счастья. Потому и встречают меня с радостью в любом доме, и я радуюсь, глядя на счастливые семьи, на послушных и здоровых детей, и поднимаю стакан, и пью со словами: «Да множится ваша семья!» Кто-то скажет мне: «Посмотри, как износилась твоя черкеска!» – и сошьет мне новую, другая – архалук, третья – башлык. А я не привередлив и не горд, я с благодарностью принимаю их дары... Никогда я не сокрушался, что беден, а когда умру – пусть хоть под деревом оплачут, всех предают земле, и меня где-нибудь зароют. А если положат в головах простой черный камень, то это будет для меня лучшим надгробьем. Но пока мне еще идти да идти по бесконечной дороге. И я спешу... Кто знает, может, где-то двоим, без памяти любящим друг друга, срочно требуется моя помощь?

XVIII

Август, но жара еще держится, ни один лист не шевельнется в знойном, пахнущем медом воздухе...

Как-то вечером к нам во двор пожаловал сосед Миха. Когда он и выходивший встречать его отец переступили порог амацурты, все, кто был здесь – а были мы да наши соседи, зашедшие поболтать после дневных забот, – дружно привстали, приветствуя гостя, и усадили его между собой.

В нашем селе многие звались Михами, и люди, чтобы хоть как-то различать их, прибавляли к имени каждого определенное прозвище; оно указывало или на какую-то особенность его внешности («Миха-большой», «Миха-маленький», «Миха-носатый»), или же на его местожительство («Миха-заречный», «Миха-нижний», «Миха-верхний», «Миха из долины дичков»). Наш сосед был единственным исключением из этого правила. Невзирая на то, что одна нога у него не сгибалась, его звали не «Миха-хромой» или «Миха-одноногий», как можно было бы предположить, а «Миха-доброволец».

Само слово «доброволец» было взято из русского языка, и звучало у нас как «дабрауец». И у людей, как я узнал позже, были причины присовокуплять его к имени нашего соседа. Когда началась Первая мировая война, Миха добровольно (откуда и прозвище) ушел на фронт и был зачислен в состав Кавказской конной дивизии, которая в обиходе именовалась «дикой». В стычке с противником, еще на границе с Австро-Венгрией, пуля раздробила ему правую ногу. Рана зажила, но

колено с тех пор перестало сгибаться, и Миха ходил, приволакивая за собой прямую ногу. Сколько раз, когда меня за чем-нибудь посылали к Михе, я видел висевшую у него на стене черкеску – над ее белыми газырями сверкали боевые награды, – а рядом с ней шашку в черных потертых ножнах... Когда Миха сел, дедушка обратился к нему:

– Миха, дорогой, все мы радуемся, видя, как ты хозяйствуешь. У своего отца ты был единственный сын, а у тебя вон сколько их, сыновей, и каждый – золото!

– Да, Бежан, да, почтенный, – кивал Миха-доброволец, – чего ж мне не жить? Новая власть дала мне землю, дала пособие, как всем беднякам. Пусть у меня только одна нога здоровая, но я должен стараться, как же иначе!

– Я слышал, – заговорил дедушка, нетерпеливо постукивая посохом по земляному полу, – что ты был в городе. Не привез ли нам свежих вестей?

Миха внимательно оглядел собравшихся; чувствовалось, что он, во-первых, в хорошем расположении духа, а во-вторых, и впрямь хочет сообщить что-то новенькое. Помолчав еще немного для пущей важности, Миха горделиво вскинул голову и глянул на дедушку:

– Помнишь ли, достопочтенный Бежан, кто тебе первым дал знать, что в Абхазии установлена советская власть?

– Как не помнить, дорогой?! Разве такое забывается!

– Так вот, и сегодня я принес тебе замечательную новость.

– Да встречает тебя всюду радость, дорогой Миха! – Дедушка сложил руки, словно собирался молиться на своего соседа.

– В добрый час приехал я вчера в Очамчыру... Я привез оттуда настоящего учителя! – торжественно объявил Миха-доброволец с таким видом, как будто никто, кроме него, не смог бы этого сделать. – Теперь у него и у твоих сверстников, Лаган, есть человек, который наставит вас на путь знания!

– Да что ты?! Неужто у наших детей будет учитель? Уж третий год как школа закрыта! – заговорили все вразнобой, одни с надеждой, другие с сомнением.

– А я о чем вам толкую? Вы меня знаете, если я рад чему-то, так, значит, дело стоит того!

И Миха-доброволец поведал, как он познакомился с учительницей и привез ее к нам; этот рассказ разошелся по всему селу, и его еще долго потом пересказывали...

...Неподалеку от очамчырского базара стояла под сосной высокая светлолицая женщина, а рядом с ней – белобрысый мальчик лет восьми.

Это была Вера Николаевна Волгина. Издалека занесло ее к нам... Как выяснилось позже, она родилась в Петербурге, там же прошли ее детство и юность. Отец у Веры Николаевны был учителем, и дочь, желая пойти по стопам отца, поступила на курсы. После окончания учебы Вера Николаевна вышла замуж. Муж ее, офицер, дворянин, воевал на фронтах Первой мировой войны, сошелся с революционно настроенными солдатами, а после победы Октябрьской революции открыто встал на сторону советской власти. Вера Николаевна, разделявшая его взгляды и убеждения, поддержала его выбор. Но прежние друзья и товарищи, офицеры, не смогли простить и забыть измены, как они выражались, «своему сословию». Поначалу они пытались миром вернуть «заблудшего» под свои знамена, а когда это не получилось, убили его – предательски, из-за угла. С того часа и над Верой Николаевной нависла угроза расправы. Дома оставаться было опасно, и она с четырехлетним сыном на руках побрела по России. А там гражданская война, разруха, холод и голод... Спасая себя и сына, Вера Николаевна двинулась к югу. Ростов, Астрахань, Пятигорск, Краснодар, Туапсе... Из Туапсе она и попала в Абхазию, где ни разу не была до этого, но о которой много слышала. Слышала, в частности, что молодой республике не хватает учителей, а ведь у нее диплом... Конечно, ей, интеллигентке и горожанке, было бы легче и привычней жить в Очамчыре, куда ее прибило великими потрясениями, – какой-никакой, а все ж таки город! – но она выбрала наше затерянное в горах село, где у Веры Николаевны не то что родни, а и просто знакомых не было и быть не могло.

И вот к этой женщине, стоявшей в тени сосны, подошли двое мужчин. Один из них, в вылинявшей гимнастерке, был заведующим отделом просвещения Очамчырского уездного исполкома, второй, хромой, разумеется, Миха-доброволец.

– Уважаемая Вера Николаевна, познакомьтесь, пожалуйста: это Миха из того горного села, про которое я вам говорил, он берется довезти вас до места, – сказал заведующий и смущенно добавил: – Только не посетуйте, что на арбе, другого транспорта нет и не предвидится.

– Ну?! Какая прелесть... Ни разу не ездила на арбе! – с улыбкой ответила женщина.

И вскоре арба, в которой сидели Миха-доброволец и Вера Николаевна с сыном, выехала из города и направилась в сторону белевших

под небом гор. Мальчик удивленно разглядывал широкие и крутые рога неведомых ему зверей, влачивших повозку, и заметно побаивался их, а те лениво переставляли ноги, глухо бухая по пыльной дороге широкими, разбитыми копытами, пережевывали свою жвачку да то и дело хлестали себя по бокам тугими хвостами.

Арба тащилась с такой скоростью, что ее мог бы обогнать и дряхлый старик. Миха-доброволец сидел впереди и одну за одной тянул бесконечные дорожные песни, а Вера Николаевна с удовольствием вслушивалась в звуки незнакомой речи.

Когда петь надоело, Миха повел с учительницей беседу. И хотя запас русских слов у него был весьма скуден, да еще почерпнут, в основном, из казарменного солдатского лексикона, им все же удавалось понимать друг друга. Правда, начав беседу на равных, Михе очень скоро пришлось только отвечать, а не спрашивать, потому что гостья буквально засыпала его вопросами. Спросила она и о том, как его ранило в ногу.

Миха напряг память, чтобы ни одно русское слово, которое он знал, не отсиделось бы где-нибудь в уголке, и приступил к рассказу:

– Это было там, где горы Карпат. Была весна, повсеместно таял снег. Я входил в абхазскую сотню. Мы держали фронт на две версты и еще немного...

Вера Николаевна, вдова боевого офицера, слушала и понимала Миху с полуслова. И она представила себе, как однажды утром, на том участке фронта, где стояла абхазская сотня, австро-венгерские войска перешли в наступление. И хотя противник имел огромный перевес в живой силе и артиллерии, никто не помышлял об отходе. Жестокий бой длился с утра до вечера, люди глохли от грохота орудий, «пылал адский огонь», но абхазские воины не дрогнули – «стоймя стояли» – и ни на пядь не сдали своих позиций. В одной из вылазок пуля угодила Михе в колено, под ним был убит конь.

Когда Миха воротился с войны, отца и матери уже не было в живых и двери его ветхой, покосившейся лачуги, крытой папоротником, были заколочены наглухо... В дороге, когда Миха ехал домой, его рана загноилась, так что он целый год пролежал в постели. Соседи навещали его каждый день, приносили еду, ухаживали за ним. Так и выходили... Но ничего, кроме нужды и бедности, не ждало его впереди.

– Когда я встал на ноги, было худое житье. Земля плохая, урожаи маленькие. Ни скотины, ни буйволов – ничего не осталось... Если бы

не подоспела советская власть, я был бы нищий, – рассказывал Миха, оборотись к учительнице.

Он говорил ей о том, что новый закон дам землю всем крестьянам, ни для кого не сделал исключения, а самые бедные получили и деньги на обзаведение хозяйством. Так что жить можно, хотя и трудностей хватает: не изжито воровство, грабежи, нет того, нет другого. Вот учителей тоже нет, третий год детишки не ходят в школу...

– Но не только дети ждут тебя, драгоценная Вера Николаевна, – говорил Миха, настегивая буйволов, тебя ждут все крестьяне, ждут как самого близкого родственника... У нас есть пословица: ученье – свет, а неучей тьма. И наш народ хочет учиться. И знай, дорогая гостья, воспитавшая чужого ребенка, у нас в великом почете! Ты будешь наставницей наших детей...

День был жаркий, солнце палило так яростно, что, казалось, вот-вот испепелит самое себя. Буйволы совсем притомились, шли, еле передвигая ноги, задыхались, сопели, и Миха, как только арба поравнялась с известным ему родничком, остановил их.

Родничок бил под акацией, – туда, в ее тень Миха и привел дорогих гостей. Вера Николаевна зачерпнула воды кубышкой, сделала глоток, ополоснула лицо и руки. Миха тем временем насобирал листьев, выстелил ими землю в тени акации, а на листья выложил из мешка сухой кукурузный чурек и копченый сыр. Потом достал огурцы, помидоры, нарезал их, разложил на единственной тарелке.

– Этого, конечно, и птицам поклевать не хватит, но не взыщите – чем богаты... Угощайтесь, долгожданные, прошу, не побрезгуйте нашим хлебом-солью! – пригласил он за «стол» ребенка и женщину.

Но Вера Николаевна, изголодавшаяся в долгих странствиях, взглянула на эту простую еду, от чистого сердца предложенную крестьянином, и сказала, что ничего в жизни не знала вкуснее.

* * *

Дома лишь дедушка да я. И я страшно рад – вдвоем с ним намного вольготнее. Сейчас он сидел и доплетал корзины, время от времени окликая меня: «Ты где, Лаган?» – «Здесь, дедушка!» – отзывался я, и это его вполне удовлетворяло. Как, впрочем, и меня, избавленного от мелочной опеки и лишних вопросов.

С той поры как я переболел корью, мать стала еще больше тревожиться за мое здоровье. Особенно она боялась, что я полезу в воду и простужусь. Ей и в голову не приходило, что я просто изнываю от скуки, – все мои приятели, с которыми я играл, уже ходили в открывшуюся школу. Свое уединение и вынужденное затворничество я переживал мучительно и страдал не меньше, чем от настоящей болезни. И вот, воспользовавшись тем, что ни мамы, ни сестер не было сегодня дома, я вытащил припрятанные части водяной мельницы, обернутые свежей корой, и вышел за ворота. Кое-где вдоль дороги с тихим журчанием струились ручейки, стояли лужи.

Первым делом я прорыл канал и по нему отвел из ручья воду, потом устроил запруду, а перед ней укрепил желобок из каштановой коры, по которому бы вода лилась на мельничное колесо. Затем на его вал насадил шестерню, подвел ее под вытесанный из сланца жернов, а под жернов поставил сусек. Вот и готова моя мельница! С бьющимся сердцем подошел я к запруде, поднял заслон – и вода, пенясь, устремилась по желобку, упала на лопасти, и колесо завертелось так, что глазами нельзя было поспеть за ним.

Стремительно крутится колесо, вращает жернов, и я, счастливый, довольный, подбрасываю и подбрасываю ему горсть за горстью сырую комковатую землю, и та, тонко «перемолотая», струйкой сыплется в сусек.

Вдруг кто-то похлопал меня по плечу концом камчи. Я встрепенулся, поднял голову: надо мною, держа коня под уздцы, стоял какой-то мужчина в черной лоснящейся бурке, в усах его, в бороде серебрилась проседь. Опять я так увлекся, что не заметил, как ко мне подъехали на коне.

Мужчина перевел взгляд с меня на мельницу.

– Кто тебя, почтенный, научил ставить мельницу? – спросил он.

– Дядя Элизбар, – ответил я.

– А жернов-то отец, наверное, смастерил, а? – И мужчина концом камчи указал на стремительно вращающийся жернов.

– Нет, я сам! Научился и сделал. Я и песнь Саунау знаю! – похвастался я.

– Как-как?

– Песнь Саунау!

– Ни разу не слышал. Может, споешь? – предложил мужчина и на пару шагов отвел коня, подступившего слишком близко к моей мельнице.

Вращая рукой так, как будто бы я крутил ручную мельницу, я начал:

Саунау, Саунау,
Ты работаешь на славу:
Горсть даю тебе зерном,
Две мукой беру потом!

Растирая в пудру зерна,
Ты крутись быстрее, жернов, –
Чтоб мука рекой текла,
Чтоб как снег была бела!

Мужчина молча глядел на меня, о чем-то напряженно размышляя. Ясно было, что мою песню он пропустил мимо ушей. Потом быстро наклонился ко мне, заглянул в глаза и попытал:

– Ты ведь внук Бежана?

– Да, – ответил я.

– Пойдем-ка со мной. Кажется, твой дед как раз сидит сейчас на веранде.

Он взял меня за локоть и повел рядом с собою. Зашли в ворота. Конь шел сзади, подергивая поводья.

Заметив нас, дедушка отложил недоплетенную корзину, сошел с веранды и пошел навстречу.

– О, Хабыдж! Добро пожаловать! – воскликнул он, узнав мужчину в бурке, и приказал мне: – Возьми у гостя поводья да отведи коня...

– Нет-нет, Бежан, не надо, я на минутку, спешу, и очень рад, что застал тебя. Ты мне нужен.

– Как бы ты ни спешил, но в дом-то зайдешь? Присядешь там и расскажешь о своем деле.

Но Хабыдж наотрез отказался зайти и заговорил во дворе:

– Не обессудь, досточтимый Бежан, но до сих пор я считал тебя мудрым человеком, а сегодня убедился, что зря...

– Господи, Хабыдж, да что случилось?!

– Ты, Бежан, слишком жаден стал, не прочь весь холм распахать – и по ту сторону, и по эту. Когда тебе не хватает дня, ты встаешь в полночь и снова берешься за мотыгу. Ты и детей такими же воспитал, а теперь за внука принялся. Не знаешь и, видно, знать не хочешь, что в мире есть еще кое-какие вещи, кроме мотыги да сохи...

– Да о чем ты, уважаемый Хабыдж? Никак в толк не возьму, куда ты клонишь! – заволновался дедушка.

– Единственный наследник у тебя, ты с него глаз не сводишь, ему оставишь свое хозяйство... Так почему же не хочешь настоящего счастья для своего внука? Почему не позволишь ему узнать и кое-что иное, помимо того, как строить мельницы или распевать деревенские песни? Если пошлешь его в школу, ты поставишь его лицом к свету, ведь учение – это тот же свет! Он, может, всему народу пользу принесет, если выучится, а ты препятствуешь…

– Для того чтобы строить мельницы, тоже надо учиться, дорогой Хабыдж! – резко перебил его дедушка.

– Не обижайся, Бежан, но эти слова ты сказал, не подумав… Ты вот сидишь, да корзины плетешь, как всю жизнь плел, а внуку твоему из-за этого теперь посреди дороги в лужах ковыряться, да мельницы из всякого хлама строить!? Обижайся не обижайся, но ты в старине как в болоте завяз. Но бог с тобой, тебя уже ничто не исправит, но зачем ты внука-то за собой тянешь, выбраться ему не даешь? Нет, дорогой, уж коль ты взялся его учить, так учи до конца, а не можешь сам – отдай людям, которые смогут, которых для того и самих учили! Не слышал разве, что в Сухуме открылась абхазская школа?

– Ну, Хабыдж… Ты же знаешь, он у нас единственный, как мы сможем отпустить его в такую даль?!

– Сейчас я проезжал мимо вашей сельской школы, из ее окон неслись голоса детей, которые постигают азы наук… Не хочешь ли сказать, что и эта школа слишком далеко от вашего дома, Бежан?

– Лаган только что от кори оправился! И если он без всякой школы не даст погаснуть огню в очаге его предков, мне и этого будет вполне достаточно!

– Тебе, но не ему! Подумай хорошенько, что я сказал, а мне к этому прибавить нечего! – крикнул Хабыдж и, перекинув поводья через голову коня, резко вскочил в седло. – Подумай, Бежан, пока не поздно. Чтобы не настигло тебя и на том свете проклятие внука! Счастливо оставаться!

И Хабыдж, стегнув коня, вылетел за ворота, а дедушка приложил ладонь ко лбу, словно последние слова странного гостя ожгли его подобно плети. Ссутулившись, стоял он среди двора и молчал, потом, заложив руки за спину, принялся из конца в конец мерить его шагами, как делал всегда, когда слышал что-либо малоприятное для себя или был слишком озадачен. К работе он так сегодня и не вернулся.

* * *

Вечер, в который решилось, идти или не идти мне в школу – решилась, в сущности, моя судьба, – навсегда врезался в память. Как сейчас вижу лица всех, кто был тогда в амацурте, слышу их голоса…

Вот мать стоит в углу, насухо вытирает перемытую посуду, – двигаются только руки, а взгляд застыл, замер, сосредоточившись на какой-то одной точке, видимой только ей, веки опущены, будто она не в силах поднять их. Нет, мать не против, чтобы я учился, просто она боится, что со мной стрясется какое-нибудь несчастье – пока я иду в школу, когда возвращаюсь из нее.

Прислонясь к стене, сидит на высокой скамье отец. Ему и жену жаль, но и сына хочется выучить, и он молчит, ждет, какой приговор вынесет дедушка. Напротив отца устроился дядя Элизбар, он тоже сидит молча и тоже ждет, что скажет дедушка, а так бы он давно ушел, завалился спать. Он клюет носом, и глаза у него слипаются, он вымотан до предела, – всю последнюю неделю они на пару с отцом от зари до зари работают в лесу, заготавливают дрова.

Наконец раздается голос дедушки.

– Я сегодня ходил в калас, познакомился с новой учительницей, что прислали в наше село. Даже поговорил с ней немного, – писарь Тамел, да хранит его бог, был нам за переводчика. Миха-доброволец прав, она и мне показалась весьма достойным человеком. – Железным наконечником дедушка разровнял в очаге золу и бог весть для чего начертил на ней несколько полос. – Когда я сказал, что у меня есть внук, который мог бы ходить в калас, учительница расстроилась и заявила, что мы никакого права не имеем удерживать мальчика дома, что он и так уже больше года потерял… Что же получается? Выходит, мы уже над своим ребенком не властны?! Недавно Хабыдж на меня напустился, сегодня учительница… Да что они, в самом деле? Зачем нам их советы? Мы пока и сами, слава богу, можем разобраться, что к чему. Завтра же Лаган отправится в калас!

Не зная, как выразить свою радость, я живо подбежал к дедушке и встал рядом, надеясь, что но, как обычно, позволит мне взять скамеечку и устроиться у него в ногах. Но дедушка только скользнул по мне взглядом и продолжал:

– Приготовьте к утру одежду для него, все, что положено. Нынче я виделся в сельсовете с Куастой, говорил с ним, и завтра утром он зайдет к нам и проводит Лагана в калас. – Дедушка положил посох на

колени и обернулся к моей матери: – Невестка, дорогая моя, я вижу твою тревогу и понимаю ее, ты боишься за единственного сына, не хочешь отпускать его далеко от себя… Успокойся, не мучь себя понапрасну. Что с ним случится плохого среди его сверстников? Но мы не отпустим его одного, пусть рядом будет Мачич: она постарше его да поумней малость, присмотрит за ним... А если Лаган и драться научится – тоже не беда!

Возражать и перечить дедушке никто не стал, и участь моя была решена. И не только моя, но и Мачич, – неожиданно для всех она тоже будет ходить в школу!

Когда мы пришли к себе в амхару, отец, хоть и устал смертельно за эту неделю, ложиться не торопился. Он вынул дратву, шило, разгладил на колене лоскут коровьей шкуры, загодя отмоченной в воде матерью, острым ножом соскоблил с него шерсть, потом раскроил по моей ноге и, придвинув поближе коптилку, стал шить новые чувяки. А мать тем временем занялась моей одеждой. Она осмотрела рубашку и штаны из серого домотканого сукна, еще сравнительно крепкие, залатала прорехи, какие нашла, вдернула новую опояску и аккуратно сложила на стул у меня в изголовье.

Примерно то же самое происходило в доме, где жили девочки. Когда все наряды Мачич были осмотрены и починены, Гущка уселась за зингеровскую швейную машинку и хотела сшить для нас торбочки. Однако из ее затеи ничего не вышло: Гущка не знала, какого размера они должны быть. Но разве она виновата, что в нашем доме отродясь не водилось книг?

Думая завтра встать пораньше, я пораньше лег. Но напрасно: сна ни в одном глазу, ворочаюсь, терзаю постель, мечусь из стороны в сторону, словно у меня жар, думаю о завтрашнем дне, пытаюсь представить его, но он словно грозовыми тучами от меня закрыт. И ни единого просвета! Я даже каласа, куда должен прийти, ни разу не видел, знаком с ним лишь по рассказам соседских ребят. Это, если им верить, такая большая комната, куда ученики заходят и сидят до тех пор, пока им не разрешат выйти...

Не знаю, когда я заснул. На рассвете пригрезилось: стою на самой вершине огромного дерева, держусь за ветки, и вдруг дерево внезапно пошатнулось, стало валиться вниз, на землю, я лечу вместе с ним, вижу под собою стремительно приближающийся Рассеченный камень – сейчас врежусь и расшибусь в лепешку, – врезался, упал на гладкий срез,

но ничего, боли нет, не чувствую ее, приземлился как в мягкую перину... И тут проснулся.

– ...Вставай, сынок, вставай, в калас опоздаешь! – трясла меня мать за плечо.

Когда я, поспешно одевшись, вошел в амацурту, Мачич, нарядно одетая, была уже там. А пока мы завтракали, появился и Куаста.

Это был единственный грамотный человек из нашей родни. Куаста учился в Сухумской учительской семинарии, – правда, не окончил ее, ушел, когда заболел «испанкой», и сейчас жил в селе у родителей, руководил ликбезом, был вожаком местных комсомольцев.

Вся семья вышла за ворота проводить нас, словно мы отправлялись в далекое и опасное путешествие. Дедушка поставил перед собою меня и Мачич, воздел руки вверх, поднял голову.

– О Господи всемогущий и праведный, – начал он крепнущим голосом, глядя в небо, – дорогу, по которой никто и никогда не ступал из моих отцов, ныне собираются осилить два этих младенца. Будь милостив к ним, не лишай их своего благоволения!

И мы тронулись в путь следом за соседскими ребятами...

– Вот и школа, – показал Куаста на деревянное здание, которое я много раз видел до этого.

– А где же калас? – удивился я.

– Тут же, – усмехнулся Куаста и дал понять, что именно школу я и зову каласом, как почти все наши крестьяне.

Во дворе стоял невообразимый гвалт: малыши толкались, боролись, гонялись друг за другом; ребята постарше, разбившись на кучки, пели, тянули кто во что горазд, и только девочки, сбившись на крыльце, держались тихо и опасливо следили за происходящим.

«Почему они не входят в калас?» – думал я, продираясь вместе с Куастой и Мачич сквозь эту толкучку и разглядывая своих будущих товарищей.

Сестра осталась на крыльце, а мы с Куастой вошли в комнату, заставленную рядами парт. За столом, окруженная учениками, сидела красивая светлая женщина; это и была, по всей видимости, учительница Вера Николаевна, которую Миха-доброволец назвал нашей наставницей.

Куаста с порога направился к ней и о чем-то заговорил по-русски. Учительница слушала его, а сама поглядывала на меня, и дуги ее бро-

вей время от времени удивленно вскидывались вверх как будто что-то во мне или в рассказе Куасты казалось ей странным.

Заметив, что большой палец у меня обмотан тряпочкой, она подняла свой и спросила:

– Что с ним? Порезался?

– Да, когда мельницу строил, – ответил я.

– Мельницу? – И брови у Веры Николаевны опять поползли вверх.

Но Куаста с улыбкой объяснил ей, что мельница пока что еще не настоящая, а игрушечная, хотя и сделана по всем правилам.

– И она работает? – Поясняя свой вопрос, Вера Николаевна покрутила по столу указательным пальцем.

– Еще как! Вертится так, что и не уследишь! А ведь на колесо еще и жернов одет, тяжелый, из камня, я его сам вытесал. Вместо зерна я туда землю сыплю, но он и землю перемалывает! Мелко-мелко…

Учительнице, наверное, понравилось, что я отвечаю бойко и без смущения, и она закивала головой.

– А что ты еще умеешь делать? – Она взяла меня за локоть и приблизила к себе. Только теперь я заметил, какие у нее голубые глаза – как озера.

– Шалаши, арбы... Маленькие, конечно.

– А мне, если попрошу, сделаешь арбу? – снова улыбнулась учительница.

Куаста перевел мне вопрос, и тут я впервые замешкался, потому что не понял, шутит она или говорит серьезно.

Вера Николаевна встала и подошла к партам, которые в ряд стояли у правой стены.

– Вот здесь будет твое место, – показала она мне на вторую парту.

Я подбежал к ней, откинул крышку и немедленно уселся. «Как удобно! Даже вставать не хочется!» – подумал с восторгом.

Вдруг со двора донесся приглушенный звон, и через мгновенье шумной гурьбой, тесня друг друга, застревая в дверях, ребята ринулись в класс. Заметив, что учительница здесь, они мигом утихали, стаскивали шапки и молча расходились по своим местам.

Мальчишка – живой, смуглый, с рыскающими черными глазками, может быть, только чуточку старше меня – подошел к моей парте и с размаху опустился рядом.

– Новенький? Давай знакомиться. Меня зовут Нар, – шепнул он мне на ухо, словно боясь, что его подслушают.

Нар оказался страшный непоседа, он и минуты не мог высидеть спокойно: толкал в спину девочек с первой парты, оборачивался, задевал мальчиков за нами. Но делал он это скрытно, когда учительница не глядела в нашу сторону.

Как я узнал позже, Нар в прошлом году, пока не схватил воспаление легких, успел с полгода проучиться в Моквской школе и потому, полагая, что превзошел все науки, вел себя соответственно и держался хозяином.

Нару скоро стало неинтересно приставать к тем, кого он уже знал, он оставил их в покое и переключился на меня:

– А где твоя торбочка? Что, ни книжек нет, ни тетрадок? – Не дожидаясь моих ответов, он заглянул под крышку и конечно же ничего не обнаружил.

– Я вижу, ты сюда в гости явился, – снисходительно усмехнулся Нар и, повернувшись, сказал, указывая на меня пальцем: – К нам гость пожаловал, а вы даже не поприветствовали его!

И захихикал, прикрывая ладошкой рот, чтобы не услыхала учительница. А та неторопливо прохаживалась по классу, о чем-то рассказывала и время от времени задавала вопросы.

Нар не унимался. Едва Вера Николаевна успевала спросить о чем-нибудь, обращаясь ко всему классу, он тут же тянул вверх руку и нетерпеливо выкрикивал: «Я! Я! Я!»

Понаблюдав за Наром, я засомневался в правильности своего поведения. «Может, так и надо себя вести, как Нар? А то сижу как истукан... – подумал я и твердо решил: – Нет, хватит, буду все делать, как он! Тут же выбросил вверх руку и заорал: «Я!» Даже не удосужился дождаться, когда учительница закончит рассказ и станет задавать вопросы.

Ошеломленная Вера Николаевна на полуслове оборвала урок и спросила:

– Что «ты»?

А что я? Я ведь даже о смысле этого «я» не догадывался, когда поднимал руку. Встал и стою как столб, и если бы столбы могли разговаривать, заговорил бы и я. Но увы...

Дружный смех, раздавшийся в классе, больно кольнул меня в самое сердце. Я ничего не понял, кроме того, что совершил какую-то глупость. «Это все Нар, Нар подстроил!» – рвалась наружу обида, но я не мог и слова выдавить из себя.

Вера Николаевна подошла ко мне, положила руку на плечо и заставила сесть. Слезы подступили к горлу, того и гляди – разревусь. «Домой бы...» – с тоской подумал я, и эта мысль выманила меня вон из школы, повела к дому, во двор, где так хорошо было строить шалашики. Взять бы сейчас цалду, закинуть за плечо и пойти по откосу вниз, нарубить лозняка, потом сидеть да плести ловушки для вальдшнепов...

Глаза мои смотрят на учительницу, следят, как она ходит перед партами, как открывается и закрывается у нее рот, но сам я далеко-далеко отсюда – во дворе, на реке Чал, у Рассеченного камня.

Вот так прошел мой первый школьный день, и, возвращаясь домой, я не испытывал ни восторга, ни радости, а одну лишь печаль.

* * *

– Чего ты такой унылый? Может, козочки не все с пастбища вернулись? – опять цепляется ко мне Нар.

Но сегодня мне нет никакого дела ни до Нара, ни до школы, я сижу, уставившись в одну точку, и сердце сжимается от страха, что в любую минуту меня могут поднять и спросить о чем-нибудь и я опять буду стоять столбом и молчать, не зная, о чем говорить, а класс будет дружно покатываться от хохота, тыча в меня пальцами... То и дело я поглядываю в окно, за которым мерещится мать: сегодня она привела нас с Мачич и сейчас где-то во дворе дожидается конца урока, чтобы поговорить с Верой Николаевной, – утром я заявил, что ноги моей никогда больше не будет в школе.

– Тебя так и будут за ручку водить? Сегодня мать, завтра отец, послезавтра соседи, да? – пристает Нар и, раздосадованный тем, что никак не удается ему вывести меня из себя, дергает за рукав: – Ты что, заснул?

Я не хочу связываться с ним, ничего не хочу, хочу на улицу, домой, где никто не мучает меня, не издевается, где ждут меня игры, где я волен делать все, что душе угодно, – хоть из самострела стреляй, хоть на траве кувыркайся! А здесь мне душно, тягостно...

Наконец-то звонок! Я срываюсь с места, но выбежать из класса не успеваю – Вера Николаевна перехватывает меня и просит зайти к ней.

Когда я вошел в комнату, где вместе с сыном жила наша учительница, там уже сидела моя мать и через Куасту разговаривала с хозяйкой.

– Пойми, он один у меня, дрожу над ним, сама не своя, и ты, драгоценная, не спускай с него своего ласкового взора, прошу тебя! Он нигде не бывал, ничего не видел, вот и стесняется, – старалась мать внушить свою тревогу учительнице.

– Разве он один у вас? – удивленно спросила Вера Николаевна, выгнув дугой брови. – Но ведь у него, насколько я знаю, еще сестры есть, а одна из них, Мачич, даже учится с ним вместе. Да и сиротой его не назовешь – отец и мать живы, дедушка, другие родственники... Вот я вам покажу сейчас одинокого человека... – Она обернулась и позвала: – Кока!

На пороге тотчас встал мальчик, мой ровесник, веснушчатый, белобрысый, волнистые волосы зачесаны набок. Штаны на нем были короткие, до колен, и я с удивлением уставился на его голые ноги, – в ту пору в нашем селе и слуху не было о шортах.

– Это мой сын, кроме него, у меня никого нет, – сказала Вера Николаевна, обнимая Коку, – и я у него одна на всем белом свете. Отца убили, родные кто с голоду умер, кто сгинул неизвестно где...

– Славный у тебя мальчик, дай бог ему здоровья, – сказала моя мать и тоже обняла Коку.

– Но зачем, спрашивается, ему быть одиноким? Как у вас, абхазов, говорят: только сейчас пробился родник, из которого будет дано ему пить. Так, кажется? – Вера Николаевна говорила, а Куаста тут же переводил. – Нам с ним сразу же полюбилось ваше село, и мы благодарны судьбе, что она занесла нас сюда. Мой сын должен найти здесь настоящих друзей... А почему бы им с Лаганом не подружиться, а? Ну-ка, иди познакомься! – И Вера Николаевна подтолкнула Коку ко мне.

– Николай, – представился он, подходя ко мне и протягивая руку.

Я пожал ее и назвал себя, думая, как у одного человека может быть сразу два имени: и Кока, и Николай?

– Так что не беспокойтесь за своего сына, – сказала учительница, и они с матерью тоже обменялись рукопожатиями.

В это время как раз дали звонок на урок, но Вера Николаевна, взяв классный журнал, остановила меня:

– Нет, Лаган, ты побудь здесь, поиграй со своим новым другом. – И она отправила нас с Кокой в другую комнату. Мы расположились у окна, за треугольным столиком, на котором россыпью лежали цветные карандаши. Кока придвинул к себе лист бумаги с каким-то наброском

и, меняя карандаши, принялся его дорисовывать. Я не отрывал взгляда от учительского сына. До сей поры мне не то что рисовать, а притрагиваться не приходилось к бумаге и карандашам. С каждой минутой рисунок под рукою Коки приобретал все большую определенность; уже можно было понять, что изображено на нем: бушующее море, огромный пароход, острым носом вспарывающий волны; на носу и корме парохода мачты, между ними ряд труб, из которых густо валит дым; какой-то человечек на палубе – очевидно, капитан, отдающий приказания матросам... Мы с Кокой быстро нашли общий язык, хотя не сказали друг другу ни единого слова. Он молча положил передо мною точно такой же лист, дал карандаш. Всякий бы догадался, что ему предлагают тоже нарисовать что-нибудь. Я с радостью взялся за карандаш, но он, как я ни старался, все время проскальзывал между пальцами. «Не так, не так, вот как!» – подсказывал Кока, но мои пальцы почти не гнулись, и стоило мне ткнуть карандашом в бумагу, как он тут же ехал куда-то в сторону.

Я сгорал от стыда, но отступать и сдаваться не думал, да и злость брала: он может, а я нет?! Чем я хуже? И руки мои не такие уж неуклюжие, они мастерят мельницы и тележки, возводят шалаши, они умеют держать пистолет и самострел, я с первого раза попадаю в цель. Так что и карандаш подчинится мне, обязательно подчинится, я заставлю его! И тогда я нарисую Рассеченный камень, свой любимый холм, я нарисую тот день, когда здесь толпился народ и возбужденно кричал одно только слово: «Дыркет!..»

Так прошел и закончился мой второй школьный день.

XIX

Выглянет солнце, пригреет землю – и снег начинает таять, плавиться, растекаться ручьями. Только в оврагах, куда солнце никогда не заглядывает, он еще долго будет лежать ноздреватыми комьями...

Не могу вспомнить все свои школьные дни, они забылись, вернее, слились в один сплошной длинный день, и лишь несколько крупинок из тех драгоценных воспоминаний еще не потерялось в закоулках моей памяти, не ушли в песок прожитых лет, не истаяли, как весенний снег. А тот день, когда я впервые увидел перед собою буквы и попытался, шевеля непослушными губами, произнести их названия, и подавно невозможно забыть.

Только что прозвенел звонок, ученики с треском и грохотом рассаживались по своим местам, но вошла Вера Николаевна – и воцарилась тишина. Учительница поставила на стол красную коробочку, которую несла прижимая к груда, и несколько ребят радостно завопили: «Буквы! Буквы принесли!» Но ни крики, ни сама коробочка ничего еще не сказали мне, и я только глядел на всех жалобным взглядом.

– Так ты ни одной буквы не знаешь? – дернул меня за рукав Нар.

Я ничего не ответил, потому что с тех пор, как он выставил меня на посмешище, не хотел не только говорить, но и вообще иметь с ним ничего общего. Но если бы мы даже и помирились, все равно промолчал бы, потому что сказать мне было нечего: я и в самом деле не знал ни одной буквы.

– А я целых пятнадцать знаю, а может, и того больше! – похвастался Нар, искоса поглядывая на меня.

– Сегодня мы начинаем учить азбуку, – подождав, пока установится тишина, сказала Вера Николаевна. – Азбука состоит из букв. Не зная их, вы не сможете ни читать, ни писать... Итак, каждое слово состоит из отдельных звуков, а каждый звук при письме обозначается определенной буквой...

Объясняя, учительница прохаживалась по классу, пытаясь понять, доходят ли до нас ее объяснения, а я, с удивлением рассматривая Веру Николаевну, вдруг заметил, что сегодня она выглядит еще красивее, чем всегда, и одета наряднее обычного. Как на праздник... «Поскорее бы хоть одну буковку увидеть!» – волновался я и мысленно подгонял учительницу.

И вот Вера Николаевна достала из коробочки ровный листочек плотной бумаги и приподняла над собой.

– «А»! «А»! «А»! – раздались голоса, один из которых, разумеется, принадлежал Нару.

– Правильно, это буква «А», она стоит первой в алфавите, – подтвердила учительница.

Поставив карточку с буквой на доску, она назвала для примера несколько слов, начинающихся на «А», и подошла ко мне.

– Сможешь повторить, как называется эта буква? – спросила Вера Николаевна, указывая на доску.

– Эта буква называется «А»! – выпалил я и сам испугался, что у меня так ловко вышло. Вдруг и завтра меня попросят назвать ее, а я

уже забуду? Ведь я никогда не видел этой буквы и даже не знаю, с чем ее сравнить...

И вдруг словно пелена спала с моих глаз, и я увидел, как два товарища, встретившись после долгой разлуки, кинулись друг к другу, стиснули руки, уперлись головами лоб в лоб да и замерли так... Ну чем не заглавная буква «А»?

С этого дня все буквы, какие показывала и называла нам учительница, представлялись мне в виде какой-нибудь картинки или житейской сценки. Но в них должен был и звук заключаться соответственный. Скажем, буква «Б» походила в моем воображении на дым, «бульбочками» валящий из трубы; «Д» – на дедушку, бредущего по дороге в деревянных башмаках; «В» – на ворота, и так далее... Сколько раз с той поры облетали и вновь зеленели деревья, но и сегодня при виде заглавных букв оживают связанные с ними картинки, светят в глаза сквозь мутный дым забвения.

* * *

Зашел к нам в село мелочной торговец – приплюснутый, безбородый, косноязычный; «хытрад» говорил он, разумея «тетрадь», и мать выменяла у него на жирную индюшку четыре карандаша и четыре тетради для меня и Мачич – по две штуки, товара на каждого. Торговец взглянул на нас и добавил еще по конфете. А когда отец собрался в Очамчыру, мы наказали ему привезти чернила и ручки и даже пояс ему завязали, чтоб не забыл. Но чернил отец найти не смог, купил только ручки, да и то без перьев. «Как же нам быть?» – обиделись мы, но он успокоил: «Ничего, не расстраивайтесь, сохи у нас уже есть, теперь буду искать к ним железные лемеха!» Я пошел за коровник, где густо росла бузина, нарвал самых спелых, почерневших уже ягод, а Мачич надавила из них соку, процедила его. Это и были нам чернила на весь школьный год... Бузиновые чернила сохли плохо, и надо было постоянно держать под рукой промокашку. Но промокашку достать было не легче, чем все остальное, и вместо нее в ходу у нас была самая обыкновенная зола, – присев у очага, мы набирали ее в спичечные коробки или в тряпочки и несли с собой в школу. Этой золой присыпали свежие, только что написанные строчки, а потом сдували – так чернила сохли скорее.

Помню, какая неприятность произошла со мной из-за этой золы... Была контрольная по арифметике, до конца урока оставались считанные минуты, а моя задачка так и лежала передо мной нерешенной, я никогда – и тогда, и теперь – не блистал способностями в этой науке, и в особо ответственные моменты на помощь мне приходил Каласа, сидевший позади. Вот и сейчас, отчаявшись уже собственными силами свести концы с концами, я повернулся к Каласе и угодил как раз в то мгновение, когда он изо всех сил дунул на золу. До задачи ли мне было после этого? Глаза резало, жгло как огнем, и только на перемене, когда я промыл их, немного полегчало...

Вере Николаевне, пока не было второго учителя (его ждали со дня на день почти целый год), приходилось туго: она вела два класса одновременно, занимаясь с обоими в одном помещении, – одни, скажем, читали, другие писали. Прибавляло хлопот и то, что на ее попечении оказалось много переростков. Конечно, Вера Николаевна могла бы, имела право облегчить себе жизнь, – для этого ей стоило только сказать, что им, в сущности взрослым людям, нечего делать в школе, для них существует ликбез, но она делала все, чтобы эти ребята продолжали учиться, относилась к ним с подчеркнутым уважением, помогала, если они начинали отставать, но так, чтобы не задеть их самолюбия. Наша учительница понимала, что не их вина, если при меньшевиках школа почти три года стояла с наглухо заколоченными окнами и дверями, – даже ласточки избегали селиться здесь. «Дети-то причем?» – защищала она своих великовозрастных воспитанников.

Мои товарищи – те, с которыми я ходил в школу, – помнят, наверное, Рушу и Адгура, самых ярких из наших переростков. Что касается меня, то я их очень хорошо помню, даже мелочи – кто, как и во что был одет, например. О Руше я уже рассказывал немного: я впервые столкнулся с ним на реке Чал, где он верховодил ребятами. Высокий, стройный, всегда нарядно, даже изысканно одетый, он был полной противоположностью Адгуру – тот ходил небрежный, был низенький и плотный, непокорные волосы вечно торчали в разные стороны. Но оба они были превосходными наездниками. Сколько раз появлялись они на состязаниях – в красных рубахах, на великолепных скакунах, с гиканьем проносясь по кругу, – столько и взяли призов. Юный наездник всегда, пришел ли он нынче первым или нет, привлекает к себе внимание, вызывает разговоры, – верится, что у него все еще впереди, что он может много достичь... Наверное, поэтому и Руша, и Адгур так

высокомерно и заносчиво держались с нами. Но им прощалось все, да и кто бы осмелился восстать против них, у кого бы хватило дерзости затеять с ними спор да еще надеяться выйти из него победителем?

На переменах они часто стравливали нас, мелюзгу, друг с другом, а сами, в то время как мы мутузили друг друга, стояли в стороне, снисходительно наблюдая за схваткой, подбадривая своих любимчиков.

– Чего ты с ним нянчишься! Врежь как следует! – кричал Руша.

– Подножку дай, подножку! – вторил ему Адгур.

А после поединка, который точнее было бы назвать побоищем, Руша становился под яблоней в школьном дворе и заводил песню. Школяры с восторгом окружали его, подтягивая и отбивая ладонями такт, но куда было их голоскам до чистого и сильного голоса Руши, их мучителя и кумира!

А пока Руша пел, Адгур, не дожидаясь приглашения, упирал руки в бока и лихо пускался в пляс: шел на носках по кругу, падал на колени, стремительно вскакивал. А если к нему выталкивали какую-нибудь девчонку, он прямо-таки неистовствовал.

На следующей перемене эти взрослые дети скрывались в густом орешнике за школой, изобилующем укромными местечками, и наспех сворачивали цигарки. Закурив, доставали из карманов любовные послания, адресованные своим подружкам и над сочинением которых они корпели ночь напролет, и громко читали друг другу, мало обращая внимания на нас, крутившихся у них под ногами. Послания эти, как правило, целиком были составлены из песен Чины сына Чичина, а потому и запомнились:

Ты солнца луч, ты нежный лунный свет,
Другой такой на свете больше нет.

Твои глаза для глаз моих услада,
Взгляну я в них – и нету с сердцем сладу.

На этом ли, на том ли берегу –
Лишь там, где ты, я жить теперь могу!

Сколько раз, бывало, прослушав звонок, они с опозданием являлись в класс. Вера Николаевна, и не подозревавшая о том, чем так были увлечены ее питомцы, принималась отчитывать их, а Руша и Адгур,

потупив очи, смиренно выслушивали все упреки и молча шли за свою парту, которая, как водится, стояла на самых задах. Однако надо отдать им должное: на уроках они были тише воды ниже травы, внимательно слушали, ловили каждое слово, стараясь с первого раза запомнить все, потому что ни о каких домашних занятиях, конечно, и речи быть не могло.

Но тишь да благодать держались недолго. Однажды на уроке, когда второклассники, прилежно склонив головы, что-то писали, а кто-то из первоклассников читал по букварю, стоя у доски, и в классе было так тихо, что слышалось, как поскрипывают перья, вдруг что-то тяжелое с громким стуком упало на пол. Мы подскочили от неожиданности, оглянулись на звук и видим – на полу валяется черный пистолет, тот самый, который Руша всегда носил при себе. Когда он нагнулся, чтоб поднять оружие, из его нагрудных карманов с мелким звоном посыпались патроны.

– Подними то, что уронил, и положи на стол! – дрожащим от испуга голосом приказала Вера Николаевна.

Руша поднял пистолет, поспешно собрал патроны и направился к учительнице, но, сделав два-три шага, повернулся, выхватил из парты сумку, кинулся к окну, толчком распахнул его, перемахнул через подоконник и скрылся в густом орешнике.

Вера Николаевна заметалась по классу, не зная, что предпринять, и вдруг заплакала, – видно, все, что приходилось ей и прежде терпеть от Руши, копилось в душе, и вот – прорвало. Она прикрыла лицо платком, надеясь остановить слезы, но не смогла и выбежала из класса.

Но Вера Николаевна, как бы ни обидел ее Руша своей выходкой, никогда не мстила ему, не грозила, не призывала на его голову все земные и небесные кары, наоборот, хотела, чтобы он вернулся в школу, доучился, а когда у нее ничего из этого не вышло, попросила поговорить с Рушей председателя сельсовета Махаза. Однако Руша в школу так и не возвратился.

Правда, один раз он все-таки появился...

В тот день встречали Первомай. Принаряженные ученики с флажками и плакатами в руках стояли на школьном дворе, ожидая сигнала, чтобы построиться и колонной двинуться к сельсовету – там должен был состояться праздничный митинг. Вдруг на белом коне подлетел Руша, на всем скаку перемахнул через забор и встал как вкопанный перед учительницей.

Смотрелся он великолепно: в белой черкеске, в белой папахе, на белом скакуне...

– Я тот самый Руша, для которого ты сделала много хорошего, но из которого ничего не вышло. Прости меня, Вера Николаевна, что я тебя так расстроил тогда, прости!

Произнеся эту краткую речь, Руша молодцевато проехал перед нами, вытащил из кармана свой неразлучный пистолет, пальнул несколько раз в воздух, снова перемахнул через забор, хотя ворота были распахнуты, и был таков.

А Адгур, оставшись один, благополучно доучился до конца года, перешел в третий класс. Но осенью и он не пришел в школу.

* * *

Тхуазба Зитбей тоже был переростком, но совершенно иного рода. Необычно было его появление...

Урок шел полным ходом; Вера Николаевна с выражением читала рассказ, а мы, раскрыв рты, внимательно слушали. Вдруг дверь отворилась и на пороге возник невысокий щуплый парень. На нем была короткая вытершаяся бурка, сыромятные чувяки, суконные ноговицы, из-за плеча выглядывал ружейный ствол. Никто из нас никогда не видел его и не знал, но все враз догадались, что этот человек, вошедший в класс без стука и разрешения, только что заявился из лесу...

– День добрый, – приветствовал он нас и стянул с головы баранью шапку.

Мы от изумления ни слова не могли вымолвить, не могли даже ответить на его приветствие. «Кто он? Что он задумал? Почему с оружием?» – вот какие мысли одолевали нас. Молчала и побледневшая Вера Николаевна.

– Я, дай бог тебе здоровья, Зитбей Тхуазба, это меня зовут так. Вот надумал учиться. Оставил своих коз и пришел в калас, – обратился к учительнице парень и поклонился.

Затем он скинул с плеча ружье, завернул в бурку и поставил в угол.

– Я, уважаемая, пришел сюда, как уже сказал, учиться, – опять начал Зитбей и опять замолчал, затоптался, одергивая на себе широкую суконную рубаху, совершенно не принимая в расчет, что прервал урок, что отвлекает учителя, который стоит и ждет, пока он выскажется.

Между тем те из нас, что лучше других освоили русский язык, поднялись и стали переводить ошеломленной учительнице то, что говорил этот дикий пастух, а ему – слова учительницы.

– Я, многоуважаемая, ни в чем не виноват, если перерос калас, – сунув под ремень руки, вновь заговорил Зитбей, и мы почувствовали, что он волнуется. – Хотя я вижу здесь и своих ровесников... Сразу скажу: я не лентяй, три года пас коз и в горах, и на побережье, по моей вине ни один козленок не захромал, не было такого. В горах меня все называли светлою головою... Ну так вот, коль уж речь о горах зашла. Значит, повстречался мне там один человек, очень грамотный был, да и вообще человек хороший, он камни искал, знал о них все, понимал их, можно сказать – разговаривал с ними... К чему это я? А вот к чему. Когда тот человек вернулся к себе в город, он прислал мне это. – И Зитбей, сунув руку за пазуху, извлек оттуда помятую книгу и протянул Вере Николаевне.

Та, приняв ее и увидев, что это букварь, улыбнулась и совсем другими глазами взглянула на парня. Зитбей, словно боясь, что она не даст высказаться ему до конца, торопливо продолжил:

– Учительница, почтенная, если ты поможешь мне поступить в калас, я ведь чему-нибудь научусь здесь, правда? И эту книгу сумею прочесть... Я на себя надеюсь, да и сообразительности у меня хватает, нашим бы врагам столько же, чтоб они все передохли! Я сказки знаю, много сказок, с утра до вечера, с вечера до утра буду рассказывать, я пою громко, я пляшу на кончиках пальцев. А нрав у меня, дорогая учительница, что у ягненка!..

– Хорошо, хорошо, – остановила его Вера Николаевна, – приходи завтра утром в школу. Только вот это, – она показала в угол, где стояло завернутое в бурку ружье, – сюда приносить нельзя, ученикам не разрешается ходить с оружием.

– Спасибо тебе, дорогая, поняла ты меня, уважение сделала одичавшему человеку, пока жив, не забуду этого! – И сияющий Зитбей низко поклонился Вере Николаевне. – А насчет ружья... Конечно, зачем оно мне теперь? Здесь нет хищных зверей. Я уже ходил в управу, хотел его сдать, но не нашел никого, на обратном пути к старосте зайду, ему отдам пусть берет! Скажу: выбрал калас вместо коз, променял ружье на ручку!

– Значит, до завтрашнего утра. – Вера Николаевна вежливо дала понять гостю, что и так потеряла из-за него слишком много времени.

– Завтра само собой, уважаемая, а сегодня позволь мне посидеть немного в твоем каласе? – Зитбей топтался в дверях и мял, выкручивая, шапку, словно отжимал из нее воду.

– Ну что с тобой делать? Иди садись, задняя парта свободна, – вздохнула Вера Николаевна и рукой указала Зитбею куда ему идти.

Едва Вера Николаевна успела сказать это, как Зитбей уже взгромоздился за парту. Комната явственно наполнялась козьим духом.

Вера Николаевна попыталась возобновить прерванный урок, попросив нас не отвлекаться, потому что мы все время оборачивались назад, разглядывая этого невероятного человека, и снова принялась за чтение. Постепенно мы втянулись, увлеклись, опять заслушались рассказом, как вдруг дверь со скрипом отворилась и в класс вошел огромный пятнистый пес – ростом с теленка, вислоухий, черномордый, с мерцающими кровавым светом круглыми глазами. Он глянул на нас и зарычал, обнажив могучие желтые клыки.

Вера Николаевна попятилась назад, прихватив стул, – она была готова защищать себя и нас от этого чудовища до последней капли крови.

– Назад, Дамшв, назад! Назад, тебе говорю! Или ты боишься, что меня отнимут у тебя? – закричал на пса Зитбей и стал гнать его вон из класса. – Не сердись, уважаемая, никак не можем сегодня выбраться отсюда...

Взяв в одну руку ружье и бурку, Зитбей другой рукой ухватил за загривок пса и вытолкнул из класса, поволок его, упирающегося, за собой. Потом из коридора донесся его призывный свист...

Утром Зитбей явился в школу раньше всех, но одет был так же, как и вчера, – бурка, чувяки, войлочные ноговицы, баранья шапка. Только ружья и собаки не было. Счастливым оказался для него этот день... Учился Зитбей очень старательно, ни одного слова не пропускал мимо ушей. Если чего-то не понимал, то начинал ерзать по скамье, беспрерывно спрашивал, уточнял, не боясь показаться тугодумом до тех пор, пока все ему не становилось ясно. После уроков не шел домой, а запирался в классе и начинал готовить задание на завтра, потому что дома для этого у него не нашлось бы ни места, ни времени.

И во время каникул Зитбей каждый день приходил в школу, наверстывая упущенное. Вера Николаевна охотно помогала ему, ибо видела, что не из прихоти покинул он лес и ушел от своих коз, угадывала в нем большие способности...

Зитбей почти не помнил ни отца, ни матери – они умерли, когда он был еще совсем маленьким. Осиротевшего мальчика приютил у себя дядя, брат отца, определил пасти коз, и жизнь его потекла в трудах и заботах, без всяких детских радостей. Когда Зитбей подрос, он вместе со стадом стал уходить далеко и надолго – летом в горы, зимою к морю, осенью в долины Чала. И повсюду он был одинок, каждый день слышал только одно: «Сделай то, сделай это!» – и никто никогда не спросил его: «О чем думаешь, сынок? Что болит у тебя?» Спал на старой шкуре, донашивал вещи с чужого плеча.

Но живость, любознательность да врожденная сообразительность не дали ему затеряться в этой жизни. Когда осенью Зитбей, как всегда, пригнал своих коз в долину, он услышал здесь взволновавшую его новость. Люди с равнины сообщили ему, что в нашем селе открылась школа, что туда ходит много детей, что у них хорошая учительница, которая помогает всем, кто хочет учиться. И парень, с детских лет лишенный радости, в тот же день принял твердое решение идти учиться. Это изменило всю его жизнь.

...На состязаниях скакуны стоят по одной линии, они одновременно срываются с места, и только чистое поле покажет кто чего стоит. Вот один из них, самый горячий и нетерпеливый, вырвался вперед, бежит, обгоняя ветер; другой норовит свернуть в сторону, сойти с дорожки, никакого внимания не обращает на плеть, которой безжалостно хлещут его, он знает, что быстрый бег для него подобен смерти; а третий, резко пробежавший две-три версты, начинает вдруг отставать, выдыхаться и вот уже еле бредет, пошатываясь из стороны в сторону...

Так же примерно и мои школьные товарищи. Не все пришли к цели и не все достигли того, о чем когда-то мечтали. Одни из нас не сумели одолеть даже нашей трехклассной школы другие одолели, справились, но дальше не пошли, и только единицы вырвались на простор, в чистое поле. Среди этих последних был и Зитбей Тхуазба. Год он учился в Очамчыре, потом поступил в Сухумский педагогический техникум, а после него в институт, на исторический факультет.

XX

Сладко спится на весенней заре! Утренний сон словно ласковая парная вода, погружаешься вглубь – и никаких сил нет по собственной воле вынырнуть из него... Но сегодня вопреки обыкновению, я почему-

то проснулся сам. Встал, оделся, распахнул дверь – и сотни солнечных лучей с ног до головы окатили меня жарким светом. В винограднике весело гомонили, на все лады распевали птицы, и только ольхи еще дремали, завернувшись в свои зеленые бурки. «Стыд-срам! Стыд-срам! – послышался голос веснянки. – Хватит спать, сони, день на дворе!» – отчитывала она недвижные деревья.

Когда я, свежий и бодрый, как это молодое звонкое утро, вбежал в амацурту, вся семья была уже там, обступив полукругом широкую дедушкину кровать.

– Хозяину плохо, – шепотом сообщила мне Мачич. «Хозяином» иногда называла дедушку мать, а вслед за ней и мы между собою. Сейчас он лежал, с головой укрытый одеялом, из-под которого доносилось беспрерывное глухое покашливание.

– Помогите мне сесть, – раздался его слабый голос.

Отец, взяв старика под мышки, приподнял его, усадил, закутал в одеяло, а мать, поставив скамеечку, опустила на нее дедушкины ноги.

– Как она скрутила меня, чтоб весь род у нее погиб! – пожаловался он. – И на сердце жмет, и на печень, да так, что дышать невмоготу!

Дедушка взял у меня посох, который я держал наготове, и упер его в плечо.

– Набейте мне трубку, – потребовал он.

– Потерпел бы, вредно ведь натощак, – заметил отец.

– Я сказал: набейте мне трубку! – повторил дедушка голосом, не допускающим возражений.

И отец, не смея ослушаться, покорно набил табаком дедушкину трубку, подал ему и выхватил из очага пылающую головню.

– Крепко прихватило меня, дорогие. Совсем худо... И сдается мне, что это она пришла, та, которую я уже давно дожидаюсь, – произнес дедушка и улыбнулся. – А скот со двора выгнали или нет еще? Смотрите, скоро рябая корова телиться должна, вы уж присмотрите за ней, бога ради!

– Не волнуйся, отец, присмотрим, и за коровой присмотрим, и за всем скотом, – успокоил его дядя Елизбар.

Но дядю Едизбару впору было самого успокаивать, да и на всех неожиданное ухудшение дедушкиного здоровья подействовало угнетающе, каждый понимал, что это не простое недомогание и Мамсыр тут бессилен.

– Послушайте-ка, что я вам скажу. – Дедушка, тряся головой, обвел нас взглядом. – Что-то мне все хуже и хуже... Постелите мне в доме, в зале. Если будут приходить люди, там нам удобнее будет. Да и не хочу, чтоб вас потом упрекали: уморили, мол, старика на сквозняках, даже помереть в доме не дали!

Отец и дядя Елизбар приподняли его под руки, дедушка сунул ноги в чувяки, встал, опираясь на посох, и они втроем медленно двинулись к выходу.

– Погодите! – попросил старик, когда поравнялся с очагом.

Его повернули лицом к огню, и дедушка, чуть склонившись, заглянул в его глубину так, точно хотел что-то найти в нем, потом погладил надочажные цепи, еле видные сквозь дым, приподнял голову, оглядел закопченные балки, плетеные стены... Предчувствуя неизбежное, он прощался со всем дорогим для себя.

– Ведите, – глухо сказал дедушка, вонзая посох в земляной пол.

И сыновья повели его к двери...

Возвратившись из школы, мы нашли дедушку уже в доме.

Он лежал на просторной кровати, выдвинутой на самую середину зала, был обложен множеством подушек, отчего казалось, что он сидит. На улице было тепло, да и в доме не холодно, но в зале пахло дымом, пылал камин, – его затопили, как только дедушка сказал, что любит глядеть на огонь. На каминной полке стояла бутыль с мерцающим на свету вином, рядом стакан, – их тоже принесли по его просьбе. Наверное, вино и огонь о многом напоминали старику.

Сейчас у его постели сидел Саид, о чем-то рассказывал, подергивая себя за кончик уса. Едва он примолк, я, долго дожидавшийся этого момента, проскользнул в зал и встал перед дедушкой.

– Давно вернулся? – спросил он меня.

– Да нет, только что, – ответил я.

– Ну, с кем сегодня подрался?

– Вот еще! Чего мне драться?

– Запомни: того, кто ударил тебя раз, ударь дважды. Понял? Ну, а теперь ступай, сейчас у всех работы много, помоги им, ты ведь уже не маленький. – И дедушка вновь обратился к Саиду: – Саид, дорогой, умоляю, присмотри тут за моими... Эх, было бы у меня в молодости столько земли, как сейчас! Может, и не стал бы обзаводиться таким хозяйством, но поработал бы всласть! Дел на земле много... Собрался

было вырубить ольшаник за оврагом, каштаны посадить, да вот, как видишь... А жаль, скоро совсем переведутся каштаны в Апсны...

Превозмогая боль, дедушка говорил о прожитой жизни, о том, что хотел, да не успел сделать, а зал наполнялся соседями, узнавшими о болезни старого Бежана. Они уже не вмещались здесь, сидели на веранде, на ступеньках лестницы, курили, негромко переговаривались или просто молчали, думая о чем-то, подперев руками головы и уставясь в пол. А в ворота то и дело входили все новые и новые люди – соседи, односельчане, родственники, – шли наверх, в зал...

Пришла и тетя Мари с мужем, поднялась к отцу, встала в изголовье, готовая исполнить любую просьбу.

Смеркалось; мать пошепталась с девочками, и те сняли висевшую под потолком в зале большую керосиновую лампу, протерли стекло, заправили, чтобы хватило на всю ночь, почистили и другую лампу, поменьше, стоявшую на камине, – это была воля дедушки, он хотел света. Но этим приготовления к ночи не ограничились, нужно было еще принести восковые свечи, чтобы с двух сторон поставить у входа, залить фонарь, подвесить у коновязи. Идущий по дороге, завидев столько огней, непременно остановится и спросит: «Что тут у нас, почтенные, беда или радость?» И когда услышит, что с Бежаном плохо, обязательно зайдет к нам во двор.

Вечером дедушке стало еще хуже, ничего не ест и даже не курит; подносили к губам разбавленную водой простоквашу – отказался, не стал пить. Лежит неспокойно, обо всем расспрашивает, хочет знать, кто пришел, кто ушел.

Вдруг в дверях показался Мамсыр. Заметив, что он с апхярцей, я твердо решил не ложиться до тех пор, пока не услышу его игры... Все, кто был в зале, привстали, приветствуя музыканта.

– Сидите, многоуважаемые, сидите, – попросил он и несколько раз качнул сверху вниз ладонью, как бы подкрепляя этим жестом свои слова, потом направился к дедушке.

– Что с тобой, Бежан? Ты сам на себя не похож – сник, притих. Или случилось что?

– А, это ты, Мамсыр... Если б ты знал, как я ждал тебя!

– Нет такого человека, который был бы совершенно здоров, у всех что-нибудь да болит. Так что давай поправляйся, не пугай нас!

Мамсыр, конечно, видел, в каком состоянии находится старик, но не замечать этого, делать вид, что все хорошо, а будет еще лучше, зна-

чило поддержать в больном его дух. Разумеется, и дедушка понимал истинный смысл сказанного Мамсыром.

– Не стоит задерживаться в этом мире. Зачем? Чтобы надоедать ближним? – с трудом проговорил он.

– Хотелось бы развлечь тебя, Бежан, да не знаю, с чего начать, – словно бы не расслышав дедушкиных слов, сказал Мамсыр и провел смычком по струнам.

Дедушка, едва его коснулись звуки апхярцы, встрепенулся, заворочался на постели, пытаясь подняться.

– Спой мне песню про того, кто не был сожжен слезами горя и не носил траура. Слышишь, Мамсыр? – попросил дедушка.

Те, кто стоял рядом, недоуменно переглянулись – никто и не подозревал, что существует такая песня.

– С удовольствием, Бежан, потерпи немного, – ласково обнадежил старика Мамсыр.

Зажав инструмент в коленях, он принялся настраивать его, подтягивая струны, и чем крепче натягивались они, тем напряженнее делалась тишина вокруг, пронизанная ожиданием. И в это мгновение, словно нарочно угадав его, на веранду взлетел наш белый петух, вывернул шею, заглядывая в зал, и во всю мочь кукарекнул. Всех раздосадовал и встревожил этот неурочный крик, прозвучавший так некстати, перед заходом солнца. Но никто еще не успел и рта раскрыть, как Мамсыр, прижав апхярцу ладонью, уже пел:

– Эй, петух-петушок,
Алый гребешок!
Что там пророчишь?
Добра ли нам хочешь?
Если добра – повтори, я молю.
Если же зла – то сварить повелю!
Вон котел над огнем –
Буль-буль-буль!
И вода уже в нем –
Буль-буль-буль!

Потом, помолчав немного, подождав, пока смех уляжется, Мамсыр начал песню, о которой просил дедушка. Голос певца слился с голосом апхярцы, а сам Мамсыр, казалось, стал неотделим от своего инстру-

мента: его ноги притопывали, отбивая такт, быстрые движения пальцев, перебиравших струны, водивших смычком, были слаженны, и он, объятый радостью, носился в ней, как птица в небе, и одним крылом его была апхярца, а другим песня.

– Посадите меня, – немощно произнес дедушка, когда Мамсыр умолк.

Тетя Мари и дядя Елизбар, стоявшие рядом, тут же приподняли его под руки, помогли устроиться поудобнее, поправили одеяло и подушки.

– Вы знаете, что мои отец и мать, все мои сестры пропали за морем,– беспрерывно кашляя и жалуясь на свою слабость, заговорил дедушка. – Только брату удалось вернуться, да и тот умер, никого не оставил после себя... Из всей семьи я один лишь и уцелел. Что поделать, если люди и рождаются в разное время, и в разное время умирают... Охо-хо, дорогие мои, как тяжко, как тяжко! Дайте-ка мне глоток воды... Но если бы и я поддался на уговоры родных и отправился с ними за море – а легко ли, родимые, навсегда оставлять отца с матерью? – не было бы этого очага и не было бы вас, мои дети. Да, я не ушел в махаджирство, не бросил родину, и за это, наверное, родная земля воздала мне сторицей, я крепко зажил на ней, пустил корни, и они, мои сыновья и дочери, у которых уже у самих есть потомство, слава богу, все целы. Ни по одному из моих детей не пришлось мне носить траура, ни по кому из них не сжигали меня горькие слезы. И в мир иной я отхожу, зная, что все они живы и здоровы, и знаю также, что мой последний приют будет на родной земле. А что, как не это, и есть счастье?.. Поняли теперь, почему я попросил Мамсыра спеть мне про того, кто не был сожжен слезами горя и ни разу не надевал траура? Поняли, о ком она?.. Помогите мне, что-то опять голова закружилась…

Дедушку снова уложили, и он успокоено прикрыл глаза.

Песню, о которой говорил дедушка, я слышал в тот вечер первый и последний раз, больше не довелось, и потому слова ее не сохранились в моей памяти, но вот мелодия и до сих пор отзывается в моем сердце, щемит его сладкою болью.

Вчера вечером я до глубокой ночи сидел в зале, слушал Мамсыра, лег поздно и потому проснулся, когда солнце уже вышло из-за гор, а разбудить меня вовремя было некому. Досадуя, что проспал и теперь наверняка, спеши не спеши, опоздаю в школу, я начал торопливо одеваться.

В это время в амхару вошла мать.

– Совсем ему плохо, – сказала она. – Не надо бы сегодня ходить в школу.

Мать добрела до своей постели и устало опустилась на нее. С того дня, как заболел дедушка, она с утра до ночи была на догах, не знала ни минуты покоя, спала урывками.

– Утром бабушкины братья приехали, фельдшера привезли, пусть посмотрит старика, когда тот проснется. Только под утро забылся, бедный…

Мать говорит, а у самой глаза слипаются; вижу, уходилась она за последние дни, как хочется ей прилечь, уснуть хоть ненадолго, и я без лишних слов выхожу во двор, тихо притворив за собою дверь.

Когда я поднялся в зал, фельдшер в белом халате уже сидел у постели больного.

– Отец, это фельдшер, мои дядья привезли, позволь ему посмотреть тебя, – склонился над дедушкой мой отец.

– Знаю, что не должен бы отказываться, а то и его, и вас всех обижу, но зачем мне лекарь? Я сам поправлюсь, без всяких лекарств, вот возьму завтра и встану, пойду с мотыгою в поле! – пошутил тот.

– Сколько тебе лет, любезный? – поинтересовался фельдшер.

– Откуда ж мне знать? Знаю только: как родился, так и хожу с той поры по земле. Но, думаю, не слишком много, меня, того и гляди, еще в армию призовут.

Многие из присутствующих заулыбались, и фельдшер, поняв, что задал умирающему праздный вопрос, смущенно отвернулся.

– Возвращайся к себе, дорогой, делай свои дела, а здесь тебе уже нечего делать, поверь мне! – примирительно сказал дедушка.

Дочь, сыновья, родственники, старики – все, кто был в зале, – стали умолять дедушку образумиться, дать осмотреть себя, но на него никакие уговоры не действовали – он и близко не подпустил к себе фельдшера. Недовольно ворча, тот удалился, а дедушка впал в забытье.

– Ахмат, где ты? Здесь ли? – неожиданно позвал дедушка.

– Здесь я, Бежан, здесь, дорогой мой, – откликнулся Ахмат и резво, как юноша, вскочил со своего места.

Этот Ахмат был единственным сердечным приятелем старого Бежана, они души не чаяли друг в друге. Жил он в соседнем селе, и дедушка посылал за ним лично, прося прибыть, навестить и проститься… Вижу его, словно вчера расстались: рослый, широкоплечий, на груди

лопатой лежит густая, лоснящаяся смолью борода, сквозь нее посверкивают, когда заговорит, крупные щербатые зубы.

– Плохо, если желание умрет в душе, да Ахмат?

– Пусть Бог даст достичь тебе желаемого, Бежан, а я тебя слушаю.

– Ну, коли слушаешь, тогда вот… – Дудушка снова зашелся кашлем. – Да что он, совсем меня задушить собирается, что ли? Слушай, Ахмат: пусть рядом с моей постелью поставят столы, накроют их, а вы, мои друзья-товарищи, сядете за них. Неплохо было бы назначить тамадой Дырмита, брата моей жены, лучше его никто не сможет вести застолье… Да, сядете вы за столы и заведете «Песню мужества», а я подпою… Если помнишь, что и у тебя была мать, устрой мне это, Ахмат, прошу…

– Это успеется, не торопись, Бежан. Нехорошо так, – ты лежишь, а мы сидим. Вот когда поправишься, мы тогда такой пир закатим! Посадим тебя во главе стола, на самом почетном месте, сами рядышком пристроимся.

– Нет, Ахмат, нет, не думай, что я это в шутку тебе говорю! Что плохого в том, что проводите меня, спев напоследок «Песню мужества»?.. А вы что стоите? Или не слышите, что отец говорит?!

– Как не слышим?! Что ты! – Братья уже кинулись было резать барана, но старик не позволил им: они видели, в каком состоянии Бежан.

– Кто там пришел? – спросил дедушка, заслышав шаги в дверях.

– Это я, Аксент, отвозил фельдшера в Мокву, только что вернулся, – ответил соседский парень, держа в руках сложенную камчу.

– Ты на коне, дорогой?

– Да, на коне.

– На своем вороном?

– Точно!

– Что-то сегодня никто не желает меня слушаться, даже родные дети. Надеюсь, хоть ты, дорогой, не обойдешься со мной, как они... Так вот, Аксент, прошу: сядь на коня, крикни «чоу!», пройдись разок по двору. Хочу услышать, как свистит камча в руке настоящего всадника. Ну же, Аксент, вперед! Вперед, ради бога!

– Бегу, – живо ответил Аксент.

Он в один миг скатился по лестнице, вскочил на своего вороного коня, еще разгоряченного дорогой в Мокву и обратно, шагом, сдерживая его, доехал до ворот, гикнул, проскочил весь двор, круто развернулся на самом краю, фонтаном взметнув землю, и, со свистом рас-

секая камчою воздух, подлетел к дому. Он мог бы и еще поскакать, но счел, что этого достаточно: неприлично джигитовать там, где лежит умирающий.

Едва со двора донесся звонкий цокот копыт, дедушка напрягся, вслушиваясь в эти чудесные звуки, а когда послышался свист камчи, затрепетал, приподнял бескровную руку, словно желая сам взмахнуть плетью!..

Когда Аксент возвратился в зал, дедушка радостно сказал:

– Спасибо, милый, уважил старика... И-ех, а ведь и я, было времечко, гарцевал когда-то – лягу спиной на седло, задеру ноги вверх... Но послушай, Аксент, что сказал мне стук копыт твоего вороного: на одну из задних ног он плохо ступает, что-то мешает ему. Ты пойди проверь.

– Вчера подковал... Может, гвоздь не так вошел? – призадумался парень, смущенно теребя камчу, – сам бы должен был заметить такое...

Еще некоторое время после этого дедушка был в сознании, но внезапно ему стало плохо, он всхрапнул, начал давиться хрипом. «Где вы были до сих пор?» – спросил он у кого-то в бреду.

Тетя Мари не удержалась, всхлипнула, слезы как бы сами собой полились из ее глаз. Не в силах более видеть отца в таком состоянии, она убежала в заднюю комнату, и оттуда послышались приглушенные причитания:

Ты главою был рода целого,
Его сердцем был и наставником,
Как теперь, скажи, без тебя нам жить?..
При тебе обид мы не ведали,
За тобою жили как в крепости.
Что теперь нас ждет без тебя, отец?..

Всхлипывала и мать с девочками. И у меня, стоящего у окна, засвербило в носу, стало покалывать веки, свело горло. Боясь разреветься, я принялся ожесточенно щипать себя.

– Прекратите, дорогие, успокойтесь! Больной очнулся, может, пожелает что-нибудь сказать, – проговорил, выпрямляясь, Саид, внимательно наблюдавший за стариком.

– Сыны, дочь, невестки, где вы? Ахмат, Саид, Хазарат... Подойдите, хочу сказать несколько слов, – позвал дедушка.

Все подошли и встали у его изголовья.

– Дети мои, и оплакивание, и похороны устройте по христианскому обряду, а место для моей могилы вы знаете, я показывал. – Дедушка замолчал, утомленный, сглотнул воду, которую на ложке поднесли к его губам. – Знаю, что поминки все равно будете справлять, так что прошу: не приносите в жертву моей душе ни корову, ни быка, но только овцу, потом поймете почему...

Но и сейчас было ясно, в чем заключалась дедушкина хитрость: из овцы не приготовишь обильной поминальной трапезы.

Дедушка забился в кашле, а когда немного отдышался, продолжил:

– Сыны мои, вас у меня двое, двое братьев, и когда вы останетесь одни, вы захотите жить порознь, начнете делиться... Сокровищ я не скопил, только хозяйство завещаю вам, оставляю его с чистым сердцем. – Дедушка попросил воды, сделал глоток, и голос его слегка очистился от хрипа. – Невестка, подойди поближе, милая... Вот, взгляните на нее, это добрая и совестливая женщина, и пусть она разделит то малое, что я нажил своим трудом. Если будете слушать ее, между вами не вспыхнут раздоры, не будет вражды, а если поссоритесь между собой, то знайте, что и у меня нет покоя на том свете!.. Где мой внук, где Лаган?

Мне дали дорогу, подтолкнули к дедушке. Я встал перед ним, взял его трясущуюся руку, которую он протянул мне – пальцы были холодные и твердые, будто окостеневшие, жизнь уже ушла из них, – и опустился на колени...

– Если нужно будет все продать, что у тебя есть, если даже по миру придется пойти, – дедушка прокашлялся и уже невидящим взглядом посмотрел на моего отца, – но коль уж отправил сына учиться, то дай ему, любою ценою дай возможность дойти до конца по дороге знаний. А если не получится, помешает что-то, сделай из него настоящего крестьянина, доведи хоть это дело до конца, а то будет он ни то ни се... Знаю, что и у моего внука есть своя звезда, пусть она ярко горит, да будет с тобою мое благословение...

Дедушкин голос звучал все слабее, все тише, а сам он принялся вдруг глотать воздух, будто его сделалось мало...

– Вам говорю, сыны! Земли мои, которые я расчистил своим топором, которые полил своим потом, берегите, не раздавайте кому попало! – И он умолк. Его стиснутые зубы скрипнули, грудь резко опала, безвольно опустилась рука, которой он водил по одеялу...

Дедушка больше не стонал, не охал, не кашлял, с выражением бла-

женства и покоя на лице он отошел, погрузился в нечто, напоминающее сладостный сон, и уже не вернулся оттуда.

XXI

Минул год с того дня, как зажгли по дедушке поминальную свечу. Амацурте не подобало пустовать по ночам, и, чтобы не погас огонь в родовом очаге, после смерти отца в нее, как повелось исстари, полагалось перебраться старшему сыну. Отец мой так и поступил, и сейчас мы все втроем жили в амацурте.

Дядя Елизбар, как предсказывал дедушка, отделился от нас, приискал место неподалеку от родительского дома и уже начал строиться. Не желая, чтобы его брат со своею женою трудились в одиночестве, отец, мать и кто-нибудь из девочек попеременно ходили к нему, помогали чем могли.

Все, что оставил им после себя отец – скотину, поля, жилые и хозяйственные постройки, рабочий инвентарь, – все это братья тихо и мирно разделили между собою, не было ни споров, ни недоразумений. Так что ни у кого из нас даже сомнений на этот счет не возникло.

Единственное, что беспокоило теперь отца и мать, был их сын: через какой-нибудь месяц я заканчиваю нашу трехклассную школу – и все, мне здесь учиться больше негде. И отец с матерью давно уже гадают, как им быть со мною: оставить дома – забуду и то, чему успел научиться; отправить куда-нибудь – да куда ж меня отправить? С Мачич решилось быстро: она поедет в Очамчыру, поступит в тамошнюю школу, а на житье определится у Дырмита, бабушкиного брата. Бывало, поужинаем, уберем со столов, и отец с матерью, сев у очага друг против друга, заводят бесконечный спор о моей судьбе. А я лежу в постели и будто сплю, а сам ни одного слова не пропускаю.

– Да нет, нет, я понимаю, что ты хочешь сказать, но пойми и ты меня, – говорит мать, подпирая лицо рукой, поставленной на колено. – Знаешь ведь, что за Лаганом все несчастья увязываются, куда он, туда и они. Сколько лет его малярия мучила, извела вконец! Да и маленький он еще, нигде не бывал один, не привык. Как же отпустить от себя такого?

– Это все верно, конечно, но подумай вот о чем: если мы его не отпустим, то ученье-то само к нему не придет! А тогда как быть с завещанием? – возражает ей отец, не поднимая головы от работы, – он или

чувяки шил, или выстругивал веретена, веселки, в общем, никогда не сидел сложа руки, всегда находил себе дело.

– Пусть хоть еще подрастет немного, ума наберется. Вырастет – наверстает, куда торопиться?

– Не знаю, правда ли, нет ли, но люди рассказывали, что абхазская школа в Сухуме просто чудо, – раскуривает отец трубку от уголька. – Встретил на днях в сельсовете сына Чанты, он как раз в той школе учится, здоровый, румяный, серая шинелька с блестящими пуговками – загляденье, а не парень! И, между прочим, ровесник Лагану.

– О чем ты говоришь! В Сухуме у нас никого нет, ни родных, ни знакомых, кто там присмотрит за нашим мальчиком, кто поможет ему, кто услышит? Да он от одной казенной еды ноги протянет!

– Что будут есть его товарищи, то съест и он. Что он, из другого теста, что ли? – говорит отец так, словно хочет раздразнить мать.

– Ох, ну почему ты такой бессердечный? У тебя что, много сыновей? Сколько их, а? Один, всего-навсего один! – И мать плачет, обливаясь слезами.

Отец, очевидно пожалев ее в душе, откладывает в сторону работу, помешивает головней угли, потом садится, печально глядя в очаг.

– Ты думаешь, что у меня сердце на месте? Ошибаешься, и я боюсь...

– Ты боишься?! – перебивает его мать рыдающим голосом. – Ой, не смеши меня, тебя ничем не проймешь!

– Да, и я боюсь, – гнет отец свое. – Но боюсь совсем не того, чего ты боишься. Я боюсь, что если Лаган пойдет и дальше по дороге знаний, то он в конце концов так далеко уйдет от нас, что уже никогда не вернется. А это обязательно случится.

– Ты что, Бог, что ли, – знать, как случится: так или эдак? – всхлипывает мать.

Но отец, точно не слыша ее, задумчиво продолжает:

– Да, не вернется... А без наследника к чему мне все это хозяйство? Ради кого я горблюсь тогда с утра до ночи?..

– Ну тогда отправь своего сына пасти буйволов, пусть он всю жизнь ходит за ними! – сердито обрывает его мать.

И опять отец, не обращая внимания на ее слова, досказывает свое:

– Не понимаю, ей-богу, кто же будет держать мотыгу, если все побегут учиться? Крестьянин столько лет мечтал о земле – и вот, слава богу, получил, работай только!.. И если ты скажешь мне, что земля может захиреть, я полностью соглашусь с тобой...

Слушая их, я постепенно забывался крепким и сладким сном, а они, то споря, то соглашаясь друг с другом, засиживались порой до утра.

* * *

Ночь на исходе, рассеивается тьма, окутывавшая землю. Неграмотный крестьянин начинает медленно прозревать и прислушиваться к биению нарождающейся жизни. И спешит на собрание тот, кто прежде избегал всяческих сходок, и робевший когда-то вымолвить слово при посторонних держит с трибуны речь, и тот, кого раньше ничто не интересовало, кроме собственного огорода, рассуждает о государственных делах и проблемах, а плакавший от бессилья выбран ныне в Совет...

Первым заведением, открывшимся при новой власти, стала в нашем селе школа, три года до этого стоявшая пустой. Потом появился магазин, – на него пошел материал разобранной церкви (помните, я рассказывал, как приходили к дедушке Махаз и Танас советоваться по этому поводу?). А вслед за ними и клуб, построенный исключительно силами местных комсомольцев.

Приземистое здание бывшей сельской управы, теперь сельсовета, внутри было разделено перегородкой на две неравные части. В меньшей располагался сам сельсовет в лице его председателя Махаза и писаря, а точнее, секретаря Тамела. Тамел постоянно был на месте; как ни зайдешь, всегда он, склонив голову, сидит за скрипучим столом и что-то старательно пишет, время от времени встряхивая чернильницу. А вот председателя Махаза, называемого то старостой, то комиссаром, застать тут было непросто: только он снял с себя папаху и бурку, только повесил на гвоздь, через минуту глядишь – ни его самого, ни папахи, ни бурки. С утра до позднего вечера председатель мотался на коне по селу, находил нужных ему людей, а те, кому он был нужен, искали его сами. А если требовалось собрать всех, провести сход, место для этого всем было известно с давних времен: под липой у Рассеченного камня.

Другая часть сельсовета была гораздо просторнее первой, настоящий зал, только без окон, без дверей и даже без пола. Здесь и решили комсомольцы устроить свой клуб.

Разбившись на группы, ребята обошли все село, собрали досок, купили в складчину гвозди, а рабочих рук и у самих было достаточно.

И вот строительство началось. Первым делом в самом дальнем конце зала сколотили дощатый помост высотой около метра, протянули над ним веревку, повесили занавес. Это был, как сейчас помню, домотканый ковер с изображением бегущих оленей. Потом принялись за пол. Но досок на него не хватило, и тогда на землю рядами уложили крупные плоские камни и на них поставили скамьи, сбитые из разнокалиберных обрезков. Теперь можно было сидеть, хотя ноги по-прежнему утопали в пыли.

Несмотря на существенные, но извинительные недоделки, открытие клуба состоялось вовремя, и в нем ключом забила жизнь. Здесь комсомольцы проводили свои собрания, здесь репетировал ансамбль песни и танца и даже разучивались и ставились пьесы. Случалось, что и нас, школьников, комсомольцы подключали к своим делам.

* * *

В одно из воскресений, когда до окончания третьего класса оставались считанные дни, нас срочно собрали в школе и сообщили, что будут сегодня принимать в пионеры. Порядок такой: сначала здесь, в школе, на общем собрании нам повяжут на шею алые галстуки, а затем мы строем отправимся в клуб, где состоится праздничный концерт, в котором трое из нас тоже примут участие. Этими тремя оказались я, Нар и Сергей – мы должны будем прочитать по стихотворению.

Учитель абхазского языка Тарас Сабыдович отозвал нас в сторону.

– Не волнуйтесь, когда будете читать со сцены, не торопитесь... Ну как, справитесь? – спросил он, поигрывая свернутой камчой.

– Справимся! – дружно ответили мои товарищи.

А я молчу, и слезы блестят на моих глазах.

– Что с тобой? Случилось что-нибудь? – учитель нагнулся и глянул мне в лицо.

– Голова что-то раскалывается, не по себе как-то, домой надо, – боясь расплакаться, ответил я.

– Не выбрали барабанщиком, вот и голова разболелась! – выдал Нар тайну моего недомогания.

– Не выбрали, говоришь? Так-так. – Тарас Сабытович притянул к себе Нара. – Ну-ка, расскажи поподробней.

– Сегодня Лаган должен был барабанить, а эта приезжая, Нина Мшвелидзе, сказала, что Джота больше похож на настоящего барабанщика, вот он, мол, пусть и будет им!

– Ну и что с того, что похож? Подумаешь! Зато Лаган лучше барабанит! – добавил Сергей.

Учитель выпрямился и довольно долго в упор разглядывал меня, чуть покачивая камчой, свисающей с его пальцев.

– Так-так... Все дело в том, ребята, что у нас всего один барабан, поэтому вы и ссоритесь из-за него. А будь их дюжина – вы, пожалуй, даже смотреть на них не захотели... Нет, Лаган, тут я тебя оправдать не могу. Сегодня, когда тебя собираются принять в пионеры, когда тебе повяжут красный галстук и ты дашь торжественное обещание, что будешь примером для всех ребят, ты в такой день способен расстраиваться из-за какого-то пустяка! Мне даже поверить в такое трудно, Лаган.

Вот так, спокойно, не вникнув в мое горе, даже не посочувствовав, поговорил со мною мой учитель. А я так надеялся на его помощь!

«Почему, ну почему Тарас Сабытович не заступился за меня? Ведь ему стоит только слово сказать – и барабан сию же минуту отберут у Джоты... Я считал, что он ценит меня, а он, оказывается, ни в грош меня не ставит!» – пронеслись у меня в голове горестные мысли.

– Люди уже собрались в клубе, ждут вас. Смотрите не подведите ни меня, ни себя, чтоб не пришлось нам краснеть потом! А сейчас, извините, спешу – вызывают зачем-то в Очамчыру. Счастливо вам! – И учитель оставил нас.

«Неужели он так и уедет, ничего никому не сказав обо мне?» – с испугом подумал я, провожая его глазами: вот он спустился во двор, вышел за ворота, пошел вдоль ограды туда, где у него был привязан конь, вскочил в седло. Уехал... И какая-то жаркая волна прошла по мне, обдала, захлестнула с ног до головы, чувствую, что горю весь, пылаю, что уши мои и щеки наливаются пламенем. И тут я заметил во дворе Джоту: стоит довольный, пялится на барабан, который висит у него на груди, и небрежно постукивает по нему пальцами. А если кто из ребят пробует тоже постучать, не дает, отталкивает!

И снова обдало меня жаркой волной, и какая-то злая сила зашептала в уши: «Домой, домой!» – и подхватила меня, погнала прочь со школьного двора. Я и о собрании забыл, где будут принимать в пионеры, и о выступлении в клубе – обо всем, кроме своей обиды.

– Ты куда? – услышал я сзади голос Мачич. Заметив, что со мной творится что-то неладное, она принялась наблюдать и следить. Выследила!

Не обращая на нее внимания, я выскочил за ворота и пошел к Чалу.

– Подожди! – крикнула она и, судя по топоту, припустилась за мной вдогонку.

Не оглядываясь, я зашагал еще быстрее. Мачич догнала меня, когда я уже ступил на мост, схватила за локоть, держит так, что не вырвешься. В это время подбежали и Нар с Сергеем.

– Вера Николаевна видела, что ты уходишь! – выдохнул запыхавшийся Нар.

– Тебя же в пионеры не примут, если не явишься на собрание, – вытирая шапкою пот с лица, предупредил Сергей.

– Чего ты так переживаешь? Ну не сделали тебя барабанщиком, ну и что? Подумаешь, важность какая! А если дома узнают, что ты сбежал из-за этого, знаешь, как все расстроятся? Особенно мама, – вторила им Мачич.

Она как вцепилась мне в локоть, так и не отпускала, боялась, что сбегу и не приду на собрание. Знала, что и ей несдобровать, если такое случится, – пойдут разговоры о моем поведении, дойдут до родителей, а те в первую голову напустятся на нее: дескать, ты же старшая, чего плохо за ребенком смотрела?

И, как я ни упорствовал, как ни сопротивлялся, они сообща почти силком притащили меня назад.

...Когда мы пришли в школу, собрание уже началось. Ребята, кого вызывали, подходили к столу, на котором стопкою лежали красные галстуки.

Возле стола стояла та самая девушка, Нина Мшвелидзе. Может быть, потому, что ее фамилия перекликалась со словом «амш» (день), наши односельчане сократили ее и говорили просто: Нина Мшидзе. Называли Нину и Большеглазкой. Но кто бы и как бы ни называл ее, все относились к ней с неизменным уважением, ценя в девушке доброту, отзывчивость и справедливость. Как сейчас помню: стоит у стола – в коротких сапожках, в рубашке и юбке цвета травы, на поясе ремень с портупеей, волосы коротко подстрижены... Нина Мшвелидзе была инспектором пионерского отдела при уездном комитете комсомола и приехала сегодня специально ради нас, чтобы собственноручно повя-

зать нам красные галстуки. Подошла и моя очередь выходить к столу. Вышел, встал перед Ниной и все время, пока она завязывала галстук, с явной обидой смотрел в ее большие черные глаза, надеясь, что Нина поймет, как виновата передо мной, раскается, попросит прощения и отберет у Джоты барабан. Но та ничего не сказала, только улыбнулась и протянула сверкающий эмалью значок.

После собрания нас построили во дворе. Самым первым стоял Джота, на груди у него барабан, лишивший меня покоя, в руках палочки – вот-вот он выбьет ими залихватскую дробь... Да, конечно, скрепя сердце вынужден признать я, он и впрямь больше всех из нас похож на настоящего барабанщика: красные сандальки, светлые короткие штанишки, рубашка одного цвета с ними, новенький, аккуратно выглаженный галстук, на голове панамка...

– Шагом марш! – раздалась команда. Мы дружно шагнули, но тут же сбились: Джота так лупил по барабану, что нам никак не удавалось подладить под него свой шаг. Нина остановила колонну, подошла к Джоте, показала ему, как нужно бить. Джота кивнул: понял, мол. Снова мы тронулись и снова остановились – ничего не получается у Джоты, еще хуже барабанить стал, А времени ждать, пока он научится, у нас нет – в клубе давно собрался народ, там все наше сельское руководство, Вера Николаевна, почетные гости.

– Лаган! – окликнула меня Нина.

Ноги сами понесли меня к ней, я даже не успел подумать, чего это вдруг понадобился ей. Когда я остановился рядом, Нина сняла с Джоты барабан и перевесила на меня. Джота, не глядя, протянул, мне палочки и отправился в хвост, а я занял его место во главе отряда.

– Шагом марш! – прозвучала команда, и мы наконец вышли со школьного двора.

Я тоже, как и Джота, не-родился барабанщиком, но шел, громко и четко выбивая: тра-та, тра-та, тра-та-та-та-та-та! И, подлаживаясь под эту дробь, все нога в ногу шагают, за мной. А я иду впереди и от неожиданно свалившегося на меня счастья обливаюсь холодным потом, и хорошо, что нет у меня крыльев, – иначе бы я мгновенно взмыл в небо от радости. «Тра-та, тра-та!» – выколачиваю и сам себе диву даюсь: как это у меня так ловко получается? Как это я до сих пор не сбился с ритма?

Нина затягивает пионерскую песню, мы подхватываем, и наши голоса костром взвиваются к самым вершинам гор.

* * *

Клуб битком набит, повернуться негде. Я стою на сцене, скрытый от глаз публики домотканым занавесом, и с нетерпением жду, когда же наконец объявят мой выход. И вот постепенно все расселись, утих шум и гам, и в живой тишине зазвенел голос:

– Стихотворение Дырмита Гулиа «Весна» читает ученик третьего класса.

Не успели еще имени моего назвать, а я уже был на сцене. Ничуть не волнуюсь, не дрожу, не испытываю никакого страха – и мысли нет, что могу споткнуться, забыть слова, совершенно уверен в себе и собираюсь, как выражается Зитбей Тхуазба, «прочитать лихо».

Алая заря
Появилась рано утром,
Туча густая
Наплыла, темная...

И вдруг голос мой, словно перерезанный кинжалом, пресекается, строка, которую я только что собирался выдохнуть, испаряется с губ, и я напрочь забываю все стихотворение, которое минуту назад знал назубок. В голове пустота, будто из нее ветром все выдуло.

Зал забеспокоился, зашевелился, послышались выкрики: «Да подскажите ему, подскажите кто-нибудь!» И мне подсказывают, шепчут со всех сторон, но я ничего не слышу, стою как оглушенный, все в моих ушах сливается в ровный, однообразный шум. Оттого ли, что этот день бросал меня из крайности в крайность – низвергал и возносил, то в кипяток окунал, то в ледяную воду, – но память моя закупорилась начисто.

Вздрогнув, словно бы стряхнув с себя сон, я опрометью бросился со сцены, заскочил в боковую комнатку, откуда можно было незаметно для всех улизнуть, – барабан, из-за которого я недавно жизнь был готов отдать, стоял на столе, но мне до него не было сейчас никакого дела, – прострельнул по коридору, выбежал во двор. Он был пуст, только вдоль ограды стояли на привязи лошади, дожидаясь своих хозяев; остро пахло свежим конским потом, навозом, лошади то и дело всхрапывали, переступали ногами...

Поначалу я направился к дому, побрел, не разбирая дороги, но на полпути заколебался: что я скажу, чем оправдаюсь, если сам во всем

виноват? И я свернул к школе, встал под яблоней, обнял ее... Не хочется ни думать, ни вспоминать о случившемся; как злую собаку, гоню от себя все мысли о своем позоре.

Я поднял голову и посмотрел в сторону гор. На склоне Панаюа, синеватой тушей громоздящегося над селом, кто-то развел костер, и голубоватый дым тонкой струйкой течет в небо. «Эх, хорошо тому, кто сидит сейчас у этого огня!» – с завистью подумал я и вдруг почувствовал на своем плече чью-то теплую руку. Обернулся – Нина Мшвелидзе, Большеглазая Нина...

* * *

Меня перевели в четвертый класс, и, следовательно, с учением в нашей сельской школе было покончено. Особенными успехами я похвастать не мог, но арифметика, за которую трясся больше всего и за которую никогда не получал оценки выше «посредственно», была сдана. И то слава богу.

Еще недавно я думал: «Как же счастливы те, кто распрощался со школой!» И вот сам такой, и вроде бы счастлив, но куда себя деть и чем заняться – не ведаю. Детство, однако, брало свое, и все лето, пока мои сверстники не разъехались, я провел вместе с ними у Чала. Здесь мы состязались в прыжках и в беге, играли в бабки, в ножики, гоняли мяч, а набегавшись и напрыгавшись, шли купаться. Но и на реке не могли угомониться: прыгали с крутого берега, ныряли на самое дно за мечеными камушками, топили друг друга, брызгались, и шум, который мы поднимали, слышно было, наверное, за версту.

Но вот лето прошло, прошмыгнуло, и незаметно наступило первое сентября. Школяры достали припрятанные учебники, сложили их в торбочки, – теперь им снова каждое утро вставать ни свет ни заря, аккуратно одеваться, наспех завтракать и с волнением бежать знакомой дорогой.

Из тех, что окончили третий класс вместе со мною, в селе почти никого не осталось, все разъехались. Одних, как Мачич, дорога увела в Очамчыру, других в Сухум, а двух или трех даже в Гагру. А моя дорога вернулась в наш двор и тут оборвалась...

Отец и мать, чтобы никто из соседей не стал рядить да судить, отчего со мной получилось так, а не иначе, сказали: мальчик еще слишком мал, да и со здоровьем у него неважно, одного отпустить не можем,

пусть пока годик побудет дома. С этим приговором некому было спорить, и он остался в силе. Был бы дедушка жив, он бы нашел выход, посоветовал бы что-нибудь, но дедушки нет и уже не будет никогда...

Ничего другого мне не оставалось, как только в одиночестве бродить по двору. Не было Мачич, с которой мы находили общий язык, а соседским ребятам, товарищам моих летних игр, было теперь не до меня: каждое утро они спешили в школу, а возвратившись, готовили задания на завтра.

Скучно мне, грустно, слоняюсь из угла в угол, мои шалаши и мельницы ждут меня, но я уже охладел к ним, не лежит душа тешить себя детскими забавами. Вот, оказывается, я уже и перерос их, и сам не заметил когда...

Открываю ворота, понуро бреду по дороге. Может, к Рассеченному камню сходить?

Взбираюсь на холм, карабкаюсь, сам не знаю для чего, на липу, сажусь на самой макушке, тихо раскачиваюсь и смотрю в сторону моря, – туда, к его побережью, к городам на нем протянулись дороги моих школьных друзей, поехавших учиться. Я тоскую по ним, мне плохо без них. А им без меня? Может, и забыли уже? Наверняка забыли. До меня ли им в шумном городе, где столько людей и множество развлечений. Сколько всего они насмотрятся за один только день! Захотят – и пойдут на пристань, полюбуются на громадные пароходы, которые так ревут, что и здесь слышно. Или в цирк отправятся. А может, и в кино, – мне рассказывали об этом чуде.

А я? Где-то у подножья каких-то гор зачем-то сижу на липе... И вспомнилась дедушкина поговорка: «Улетающая стая отстающего не ждет!» Лишь сейчас дошел до меня ее горький смысл.

Смотрю на море, до слез вглядываюсь в его синеву, и начинает казаться, что это уже и не море вовсе, а огромный-преогромный город, и вот-вот, чудится, выбегут на его улицы мои товарищи...

* * *

С тех пор как начались занятия в школе, мать каждый день упрашивает меня вернуться туда, снова учиться в третьем классе. Она ходила к учителям, разговаривала с Верой Николаевной с Тарасом Сабыдовичем, и у всех получила согласие на мое возвращение. По ее словам, меня там прямо-таки с распростертыми объятиями ждут. «Если не

вернешься, сынок, то и те крохи, что получил, растеряешь», – этим она заканчивает все увещевания. Но я не соглашаюсь с ней, начинаю спорить: чего мне плестись в третий класс, который только что окончил, я ведь не второгодник какой-нибудь! То, что предлагает мать, представляется мне какой-то постыдной сделкой...

– Если вы уж так обо мне печетесь, чего ж не отправили в город? Или я хуже всех, кто уехал? – восклицаю я.

– Ну зачем ты говоришь такое, сынок? Мы же с отцом только ради тебя стараемся, спины гнем... А ты мал еще, один у нас, не приведи господь случится что! – И мать со слезами на глазах обнимает меня.

Но не так-то просто смягчить мое гордое и оскорбленное сердце.

– Вот ты говоришь: мал... А Гач меньше меня на целых три года, и то его родители отпустили в Сухум!

– У Гача три брата, а ты у нас один...

– «Один, один»... Только и слышу это с утра до вечера, надоело! Не пойду в школу! – не давал я матери ни вздохнуть, ни выдохнуть, а сам, чтобы не видеть больше ее слез, уходил и прятался где-нибудь, чтобы меня не нашли, оставили в покое.

Отец некоторое время молчал, не вмешивался, полагая, что мать сама управится с этим делом, но когда узнал, что я уперся и нипочем не желаю идти в школу, однажды после ужина сказал мне:

– Чего упрямишься, а? Вся семья чуть ли не на коленях упрашивает, учителя ждут, а ты как осел...

– Да не пойду я в школу, ведь я уже окончил ее! – вспыхнул я.

– Не хочешь учиться – паси буйволов! Сгони в кучу и наших и соседских, ходи с ними по бережку да посвистывай! – Чувствовалось, что отец теряет терпение.

– Я ведь уже вырос, чего ж мне с малышней сидеть?

– «Вырос»!.. Можно подумать, совсем взрослый, усы до пупа! То-то до мельницы дойти вечером боишься... Чтоб завтра утром взял книги и отправлялся в школу!

Я заметил: матери не по нраву, что отец так груб со мною, и это придало мне уверенности.

– Сказал: не пойду, значит, не пойду! Хоть убейте! – начал я пререкаться с отцом, чего никогда не случалось в нашем доме.

А в тот день чьи-то буйволы забрались к нам на поле, потравили кукурузу, так что отец и из-за этого был уже достаточно зол, а тут еще

сын со своим вздорным упрямством. Поэтому ничего удивительного, что он совсем вышел из себя, едва лишь я начал показывать зубки.

– Пойдешь, еще как пойдешь! – закричал он и бросился на меня с кулаками.

– Да ты что?! – вскинулась мать и загородила меня собой.

Никогда прежде отец не бил меня, даже пальцем не трогал, и то, что сейчас он поднял на меня руку, соединившись со всеми моими обидами, заставило меня совершить непозволительное: я не дождался конца разговора и выбежал во двор.

Уже стемнело. Я ринулся на край двора, где росло много шелковиц, мигом вскарабкался по лозе на самое густое и ветвистое дерево, сел, свесив ноги, на развилистый сук. «Попробуйте-ка поищите меня теперь!» – злорадствовал я.

Но пока никто не думал меня искать. Когда же я и через час не явился с повинной, из амацурты выскочила Гущка, обошла кругом дома, звала меня, но ей, разумеется, никто не откликнулся. Потом Гущка отправилась к дяде Елизбару, привела его к нам, вдвоем они зашли в дом, в амхару, заглянули, вероятно, во все углы, затем обшарили все постройки, но опять-таки, разумеется, никого не нашли. Да и где им было найти меня!

Уже почти вся семья занималась моими поисками, а я сидел на дереве да поглядывал сверху, как они суетятся там, внизу.

Вот и мать вышла во двор, соседи явились, бегают, ищут, кричат.

– Лаган, миленький мой, выходи, никто тебя не тронет! – плачет Гущка, который уже раз проходя мимо моей шелковицы.

Но я непреклонен, я хочу, чтобы они еще помучились, попереживали – пусть-ка получше прочувствуют, как несправедливы ко мне! Я-то ни в чем не виноват перед ними, это они не отпустили меня в город, как будто я хуже своих товарищей, а теперь заставляют ходить в школу, которую я уже окончил. А разве это не стыд и позор для меня?..

И вдруг мать заголосила:

– Ой, нет в живых моего сыночка! Неспроста, видать, снились мне дурные сны нынче ночью! Говорят, какие-то люди сегодня вечером проезжали по нашему селу, таились чего-то, это они украли его!..

– Мы не слышали, чтоб в наше время похищали кого-то. Да и кто сейчас отважится на такое? – успокаивают ее соседи.

– Да кому он нужен, чтобы красть его? Тоже мне, нашли сокровище... Притаился где-нибудь, как перепуганный заяц, да и сидит ждет.

Ничего, спать захочет – выйдет, никуда не денется! – слышу я голос отца.

– Ты всегда был бессердечный! Нет, чует мое сердце: беда с нашим мальчиком, беда! Несчастного своего отца видела я во сне! – причитает мать.

– А вы бы поменьше его пилили да говорили, что он маленький! Разве он виноват, что остался, а товарищи разъехались? Ему же это обидно... Вот и рассердился, показал нам всем, какой он маленький! – неожиданно заступился за меня дядя Елизбар и, позвякивая уздечкой, пошел седлать коня, чтобы ехать в погоню за моими похитителями.

Захлебываясь слезами, мать остановилась как раз под той шелковицей, на которой сидел я.

– Ох, Лаган, ох, сыночек, только я одна во всем виновата, меня одну казните! – И она зарыдала пуще прежнего.

Тут мое сердце не выдержало, я не мог больше видеть, как она страдает, и решил сдаться.

– Не плачь, мать, здесь я, сейчас слезу, – выдавил я из себя.

Все столпились вокруг шелковицы, смотрят вверх, тянут руки, будто желая спасти, удержать меня, если я вдруг сорвусь и полечу вниз.

И я начал спускаться.

* * *

Когда я, с торбочкой за плечами, переступил порог класса, место мое оказалось занято, но мне непременно потребовалось сесть именно там. Две девчонки, рассевшись за моей партой, застенчиво поднялись под моим суровым взглядом и безропотно перешли на другую. Расположившись на своем привычном месте, я позвал к себе Сергея, и он со своими вещами перебрался ко мне, устроился рядом.

С Сергеем мы были ровесниками, вместе пошли в первый класс и вместе должны были бы кончить третий, но из-за смерти матери он пропустил год. Так что снова встретились – он с радостью, а я с грустью. «О, ты ради меня вернулся!» – закричал Сергей, когда увидел меня в школе. Мы выделялись из всех ребят, были выше и сильнее их и сами теперь смахивали на переростков.

Но я вернулся в школу не ради Сергея, а ради матери, из жалости к ней, и не думал учиться всерьез. Я не обременял себя приготовлением домашних заданий, довольствовался тем, что помнил с прошлого года.

Изменился и мой характер, я стал непокорным и дерзким, ни дня не проходило, чтобы я не сотворил бы какую-нибудь пакость, о которой потом долго говорили в школе.

Во втором классе учился один переросток, рослый, но тихий и какой-то забитый парень, не из нашего села, и я почему-то особенно невзлюбил его, стал цепляться к нему по всякому поводу, а чаще всего без всякого повода. Однажды, когда мне показалось, что он толкнул меня в дверях, я набросился на него, и только подоспевший Тарас Сабыдович сумел разнять нас.

В другой раз, когда Вера Николаевна, закончив урок, встала и вышла, прижимая к груди классный журнал, мы с Сергеем заступили дверь и никого не выпустили, так что одноклассникам пришлось воспользоваться окном в качестве запасного выхода.

Или еще вот. Какой-то красавчик повадился чересчур часто навещать Веру Николаевну в ее комнате, что нам, ее ученикам, казалось и обидным и оскорбительным. «Неплохо бы проучить его, да так, чтобы он навсегда позабыл сюда дорожку!» – всякий раз, завидев этого человека, говорил Сергей. И когда тот в очередной раз появился у школы, сошел с коня и, накинув поводья на колья ограды, пошел к нашей учительнице, я, ни слова не говоря, подошел к ограде, у которой густо росла крапива, сорвал одну покрупнее, свернул, зажал ее, как в клещах, двумя палками и подобрался к лошади, мирно обмахивающейся хвостом. Вот под него-то я и сунул, улучив момент, клубок из крапивы. В лошадь будто пулю всадили, она подпрыгнула, взвилась, заржала испуганно, оборвала поводья и пошла скакать по селу... От наказания меня спасло то, что никто из взрослых не понял, чего так испугалась лошадь, а мои товарищи, бывшие свидетелями этой проделки, не выдали.

Но и этого мне было мало, я уже не мог остановиться. Может потому, что до поры до времени все сходило с рук. Однако, как говорится, нет ничего тайного, которое бы не стало явным...

Неподалеку от школы стояла наша сельская кузница, оттуда непрерывно доносился звон молота: кую! кую! кую! На переменах я частенько забегал туда, мне нравилось смотреть, как старый Зама плющит на наковальне раскаленную добела поковку.

В тот день и Сергей пошел вместе со мною. Зама не заметил нас, увлеченный работой. К сваям крыльца, и с той и с другой стороны, прислонены были два арбишных колеса, которые кузнец должен был

обтянуть железными шинами. Не знаю, что меня толкнуло, но я взялся за одно колесо, Сергей, подражая мне, – за другое. А за кузницей был довольно крутой спуск к реке, вот я и пихнул с него свое колесо, – оно покатилось, и чем дальше, тем все быстрей и быстрей, но, не достигнув берега, стало разваливаться на ходу, обод распался, и оголившиеся спицы ткнулись, зарылись в землю. Ребята, что наблюдали за нами со школьного двора, восторженно свистели и улюлюкали, а мне вдруг стало до омерзения ясно, как гадко я поступил, и я стремглав кинулся в густой орешник позади школы.

Эта выходка получила, не в пример прочим, огласку и вызвала скандал; сам председатель сельсовета Махаз приезжал полюбоваться на мою работу.

Вера Николаевна вызвала меня и разговаривала, очень огорченная случившимся.

– Ты раньше такой тихий был, такой славный, будто ягненочек... И как же ты изменился за каких-то три месяца! – сказала она напоследок и оставила наедине с Тарасом Сабыдовичем, моим классным руководителем.

Тот долго поучал меня, читал наставления, беседовал – медлительно и спокойно, по своему обыкновению, не ругаясь и не повышая голоса.

Конечно, я бы так легко не отделался, если бы не Зама. Узнав, кто сотворил такую пакость с его колесом, он пожалел меня и сказал: «Из уважения к памяти его деда прощаю ему эту дурацкую шалость». И не пожаловался отцу, чего я больше всего боялся.

Однако история с колесом имела и последствия, неожиданные и весьма серьезные. Я вдруг заметил, что у меня стало меньше свободного времени, которое я разбазаривал как хотел, в основном на озорство и пустяки. Очевидно, оба учителя, переговорив между собою, пришли к какому-то общему решению и объединили свои силы. Меня стали задерживать в школе после уроков, давать задания по программе четвертого класса, даже учебники достали. Дел у меня прибавилось.

Но все-таки переломный возраст еще не кончился, и я вновь сорвался.

XXII

В богатом убранстве, обильная и щедрая подступила к нашим предгорьям осень. Сбор винограда еще не начался, только самые нетерпе-

ливые снимали на вино первые грозди, зато сбор каштанов был в полном разгаре. В селе только и разговоров было что об этом.

– Никогда такой прорвы не видел – по колено, буквально по колено!

– Что, своими глазами видел?

– Не то что видел, а столько набрал – вдвоем унести не смогли, пришлось за ослом спускаться. Весь чердак завалили, теперь до весны будем каштаны щелкать! А вы-то чего ждете?

– Ну, коли так, сегодня пойдем, мешки готовы.

– Поторапливайтесь, зверь ждать не будет – скоро все растаскает.

И нас захватила эта лихорадка. «Нас» – это, значит, меня и Сергея. Кроме того, что и я, как все, не прочь был полакомиться жареными каштанами, у меня была еще одна, личная причина отправиться за ними в лес. Мне надоела каждодневная присказка: «Ах, мой маленький, ах, мой единственный!» – и я жаждал совершить что-нибудь такое, чтобы все потом только бы руками разводили: «Видите, а говорили, что маленький! Один сходил в лес и вернулся, да еще и каштанов сколько принес! И ничего с ним не случилось. Зря так дрожат над ним его родители, Лаган уже вполне взрослый и самостоятельный человек».

И вот в воскресенье мы с Сергеем отправились в лес, идем, обгоняя друг друга, по дороге, вьющейся вдоль Чала. По обоим его берегам растут огромные деревья, поражающие воображение, невозможно не засмотреться на них. «Глядите, глядите, – свысока шепчут они, – видите, какие мы могучие? Любой ураган нам – как вам ветерок, не более...» Их мощные, толстые корни выпирают из-под земли, бугрятся под ней, как мышцы, оплетают обрывистые берега.

У поворота высится стройный граб, прямой и почти голый, как столб. Проходишь мимо – и он скрипучим голосом обращается к тебе: «Не удивляйся, что нет на мне почти ни одной ветки, – торопился вырасти, тянулся вверх, хотел, чтобы солнце раньше всех освещало меня и только меня!»

То там, то здесь непролазные заросли рододендрона. Выше по склону белеет стволами буковая роща, и кажется, что от нее в мире стало еще светлее и радостней...

Так мы и шли с моим товарищем, глазея по сторонам, как вдруг, будто из-под земли, перед нами вырос Руша, которого мы не видели года два, с тех пор как он удрал из школы.

– Ну, оболтусы, куда путь держите? – высокомерно спросил Руша.

Мы не ответили, растерялись.

– Раз у вас мешки, стало быть, за каштанами... В таком случае вам крупно повезло: я знаю места, где их по колено!

Руша заметно повзрослел и возмужал за это время. На нем белый архалук, сафьяновые сапоги с узким голенищем, русые усы тщательно закручены, пистолет, который он в школе носил в кармане, теперь висит у него на поясе, в кобуре, на правом боку... Но с какой стати он так вырядился, идя в лес? Мы, конечно, не осмелились задать ему этот вопрос, а сам он откровенничать с нами не стал...

Руша пошел впереди, мы за ним. Чувствовалось, что настроение у него превосходное, он то свистеть принимался, то звонким голосом затягивал песню:

Белей папируса египетского кожа,
Сама с цепочкою серебряною схожа,
Мысль соколу по резвости подобна,
А голос поразит кого угодно...

Держа руки за поясом, Руша внезапно обернулся и подозрительно оглядел нас, словно только что заметил:

– Вы как идете: тайком или отпросились?

– Сегодня воскресенье, в школу не надо, а прогуляться нам никто не запрещал!

– Правильно, вы уже не дети. – Руша прислушался: откуда-то донесся приглушенный собачий лай. – Вот что. Мы путники. А что в первую очередь требуется путнику? Отвечаю: путнику в первую очередь требуется отдохнуть и хорошенько подкрепиться. За мной!

И Руша, совершенно не вникая, желаем мы того или нет, повел нас прямо на собачий лай.

Вскоре мы пришли в чей-то двор. Я и Сергей кляли себя на чем свет стоит, что не сумели вовремя отделаться от Рушит а сейчас уже поздно.

Хозяин, вышедший встретить нас, помнится мне по сию пору: долговязый, рыжий, в сером суконном архалуке, то и дело степенно поглаживает лысину, всю в коричневых старческих пятнах. Следом за ним появилась хозяйка; она подошла к нам, обняла, и меня обдало крепким духом киндзы, – вероятно, готовила аджику до нашего прихода. Несмотря на жаркий день, на ней была ватная душегрейка, лицо до глаз закутано в черный платок, да и вообще, судя по всему, на ней много

всего было надето и поддето, отчего она, и так невысокая и полненькая, казалась небольшою копною сена.

– А вот моя племянница Цута, дочка сестры, да падут на меня ее беды, приехала погостить, утешить нас, а то мы тут вдвоем совсем одичали, – протараторила хозяйка и представила нам худющую и вертлявую девчонку.

Руша, как только увидел Цуту, враз переменился, и по тому, как он церемонно поздоровался с ней – поклонился, прижал руку к сердцу, – без ошибки можно было сказать, что это и есть та самая, у которой «белей папируса египетского кожа».

А Цута порхала, носилась, словно бы ее ветерком подгоняло, размахивала тощими ручонками и чем-то напоминала легкокрылую бабочку.

– Они хоть и дети, но гости, – сказал жене хозяин, старик Саат, указывая на меня и Сергея.

Той этого было вполне достаточно, и очень скоро мы, как почетные гости, уже сидели за накрытым столом.

И когда же они успели наготовить столько всего? Айладж, в тарелке крупно нарезанный копченый сыр, свежайший сулугун, в больших красных чашах стоит пузырится простокваша из козьего молока, и вдобавок ко всему этому – белоснежные ломти сотового меда на плоском блюде...

– Не стесняйтесь, всем хватит, уважаемые, кушайте на здоровье, сегодня утром вырезал из одного улья, – сказал старик, ложкой подцепил сот и положил к себе в простоквашу; соты, лежащие на блюде, полны были светлого, румяного меда, схожего с цветом его тщательно выбритых щек.

Мы с Сергеем едим, но в меру, не налегаем особенно, стесняемся, даже на мед, хотя у нас от одного его вида слюнки текут, не налетели, удержались. Что ни говори, а с нами сидит старик, ровесник наших дедов, ухаживает за нами, прислуживает, а хозяйка, пожилая женщина, даже присесть не решается в нашем присутствии.

– Если не хочешь за стол, уважаемая, то хоть где-нибудь, только сядь, – несколько раз попросил ее Руша, и лишь тогда она согласилась присесть на краешек скамьи.

А у Цуты ни минутки покоя нет: она порхает перед нами, уносит одно, приносит другое, а ее лукавые глазки обшаривают нас, будто стараясь вызнать, кто мы такие и что из себя представляем.

– У нас только водка медовая, но сегодня не взыщите: ни капли нет, – оправдывается перед нами старик.

– Что говорить об этом, уважаемый Саат, – промокнув полотенцем губы, важно произнес Руша. – Не в первый раз я у тебя в доме, слава богу, и чего только не ел и не пил! Но ты посмотри, дорогой Саат, кому ты хочешь предложить водки, это же еще дети, они не то что пить – они и запаха-то ее не знают! .

Руша говорил так, будто сам он все на свете испытал и испробовал. Мы знали, что он всегда любил задаваться, строил из себя невесть что, так что не особенно удивились. Но нынче его бахвальство переходило все границы.

– Не так давно, дорогой Саат, случилось мне побывать в Самурзаканском крае, навещал там родных, а когда возвращался, купил себе жеребца... Цута, уважаемая, сядь где-нибудь, ради бога, целый день на ногах! – И, слегка привстав, Руша с поклоном указал на свободный стул. – Так вот, купил я там, значит, жеребца... Он пока еще не легчен, но сразу видно – прирожденный скакун, сейчас готовлю его: весной в Лыхны будут скачки, хочу попробовать на нем взять главный приз... А все это я к тому говорю, дорогой Саат, что пропал мой жеребец, со вчерашнего дня не найду нигде? Я и подумал: а не занесло ли его сюда, в ущелье? Пошел искать. Иду и вот этих двоих, встречаю – за каштанами собрались. А когда проходили мимо тебя, не смог не зайти, не навестить, сам зашел и ребят привел. Теперь вот переживаю, что хлопотать заставил...

Саат ел, опустив глаза в тарелку, пальцем выскребая из нее айладж, и пытался сдержать улыбку, слушая брехню Руши.

Я наступил на ногу Сергею: пора, мол, и честь знать. Мы встали из-за стола и сели поодаль.

А Руша вообще, видно, не собирался вставать – сидел, ел да болтал. Вот пододвинул к себе чашу с простоквашей и набросился на мед, будто его век не кормили.

– Говоря по правде, я уже наелся, но не могу не попробовать твоего меда, дорогой Саат, чистый нектар, сытый станет есть – не оторвется! – говорит Руша, а сам все наворачивает да наворачивает ломоть за ломтем.

– Кушай, дорогой, кушай, мед – лекарство, сколько ни съешь – вреда не будет. – А что еще сказать хозяину, который видит, как разыгрался аппетит у его гостя?

– Собираюсь в путь, дорогой Саат, хотелось бы посоветоваться с тобой перед отъездом, – сказал наш провожатый, облизывая ложку.

– Да будет он добрым для тебя, дорогой! А куда собираешься?

– Перейду Панаю, пройду ущельем Дала, подойду к перевалу Нахар, спущусь в Карачай, а там и до Кабарды рукой подать! Дел у меня там не слишком много, можно бы и подождать, да охота на мир посмотреть, говорят ведь: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

– Но знаешь ли ты, в какие края отправляешься? Ведь там, по слухам, и с абреками недолго повстречаться... Не опасно ли одному? – Старик закончил есть, но не поднимает взгляда, боится не вытерпеть и расхохотаться.

– Мне Северный Кавказ что свое село, каждый год там бываю! В прошлом году действительно было дело, чуть не погиб – наскочил на абреков, перестрелка завязалась... Но их-то много, а я один. Только тем и спасся, что бросился в Кубань да вплавь на ту сторону.

Теперь не только Саату, но и Цуте смешно – стоит в дверях и делает вид, что во двор смотрит, чтобы не выдать себя.

– Нет, Творцом клянусь, нигде я не пробовал такого меда, как у тебя, Саат! Разве что на Северном Кавказе. У тебя, наверное, ученые пчелы, ничего, кроме нектара, не тащат в улей! Ну, спасибо, дай бог вам счастья! – Руша наконец насытился и вышел из-за стола.

– Да будет во благо то, что вкусил, дорогой! – Будто очнувшись, старик поднял голову и с трудом встал.

Цута слила нам на руки, подала полотенце. Возвращая его, Руша задержался возле девчонки, стоял, сдвинув каблуки, приложив руку к сердцу, улыбался и что-то нашептывал ей на ухо. Не знаю, что уж там говорил он и дошли ли его слова до сердца Цуты, только глаза ее, пока она слушала, так и бегали из стороны в сторону. Саат проводил нас до ворот:

– Руша, дорогой, если хотите побыстрее набрать каштанов, поднимайтесь по восточному склону, там их сколько угодно. – И старик вытянул руку, указывая направление, которого нужно держаться. – Только смотрите, день на исходе, как бы вас в лесу ночь не застала, здесь она быстро наступает. Да и под дождь можете попасть. Так что не задерживайтесь особенно... И будьте осторожны: здесь полно хищных зверей, – добавил он.

– Ничего, пусть только попробуют сунуться, их тут же «пять братьев» встретят! – успокоил его Руша, гулко похлопав по кобуре своего пятизарядного пистолета.

* * *

О многом нам хотелось поговорить с Сергеем – и о том, что увидели в гостях, и как Руша переглядывался с Цутой, а больше всего – о его бахвальстве. Но мы обо всем забыли, увидев красоту, окружившую нас. Спешим, карабкаемся вверх, аукаемся, будто потерялись, и каждый крик по нескольку раз возвращается к нам, отражаясь от прибрежных скал. Деревья растут густо, часто: каштан, бук, граб – все вместе, вперемежку, и каждый из нас шутя выбирает себе по самому красивому.

– Чур, мое! – кричу я, обнимая еще одно дерево.

– Да бери, бери, не жалко! Нужна мне твоя коряга, у меня в сто раз лучше, до самого неба достает! – кричит мне в ответ Сергей и тоже обнимает еще одно приглянувшееся ему дерево.

Так, смеясь и дурачась, мы взошли на холм, а когда стали спускаться, тут-то и напали на залежи спелого каштана: наклонись, разметал палую листву – и вот он, перед тобой, чистенький, новенький, будто только что отлакированный. Не сходя с места, целый мешок набрать можно! Сергей так обрадовался, что попробовал запеть, забыв, что нет у него ни слуха, ни голоса.

«А где же Руша?» – спохватился я, не видя и не слыша нашего «командира». Обернулся, а он прислонился к стволу ореха, пригнул голову, и сумка у него в руках пустая – как достал, так и держит.

«Может, меду переел?» – ехидно подумал я и снова взялся набивать мешок каштанами.

– Эй, бога ради, сюда кто-нибудь, помогите, быстрее, быстрее! Да бросьте вы эти каштаны!

– Что с тобой?! – испуганно спросили мы с Сергеем, сбежавшись на истошные крики Руши.

Руша стоял, держась одной рукой за орех, его рвало, корчило, выворачивало наизнанку, по лицу, в котором ни кровинки не было, скатывались крупные капли пота.

– На беду свою поел я сегодня меду, он же дурной был! Отравился, мутит, плывет все, еле на ногах стою. А если и у вас такое начнется, кто найдет нас в лесу? Звери от нас только косточки оставят... Ах, дурак я, дурак, и сам погиб, и чужих детей погубил! – И вдруг дико закричал: – Эге-ге-гей!

Сколько лет кануло с тех пор в темные глубины времени, а у меня и сейчас – горячо и жутко – отдается в ушах этот вопль, этот отчаян-

ный крик о помощи, оставшийся без ответа. Подняв над собой пистолет, Руша дважды спустил курок, и дважды его «пять братьев» дали осечку.

– Что вы стоите?! Кричите, свистите, пойте, может быть, кто-нибудь услышит! – приказал нам Руша, а сам, оттолкнувшись от дерева, побрел, шатаясь как пьяный, вверх по склону. Его заносило, кидало из стороны в сторону, ноги заплетались, он спотыкался, падал, полз, хватаясь за ветви, и все время страшно и жалобно выл.

Пока мы, обгоняя и толкая друг друга, бежали за ним, Руша уже взобрался на холм, где рос одинокий дуплистый бук.

– Все, не могу больше, – выдохнул он и, покачавшись, рухнул на землю.

Кому не везет, тому не везет. О таких говорят, что их и ночь застает на каменистом берегу... Так и у нас: внезапно потемнело, да так быстро, будто кто-то небо над нами захлопнул, надвинулись тучи, посыпался мелкий колючий дождь.

– Тут, у меня в карманах... поищите... Быстрей, а то отсыреют... – пролепетал Руша, к великой нашей радости еще сохранивший способность хоть немного соображать; это мы поняли тогда, когда выудили из его кармана коробок спичек. – А теперь к Чалу, там кривой каштан есть, под ним отсидимся... Только не бросайте меня, богом заклинаю, не бросайте!

Мы подняли Рушу, взяли его под руки и стали спускаться по склону. Мрак стоял стеной, ничего нельзя было разобрать, даже деревьев не видать, идем на ощупь. Вспомнить ли теперь, о сколько валежин мы споткнулись, на сколько стволов наскочили лбами, сколько колючек впилось в нас... Мы падали, роняли Рушу, оступались, скользили, ползли на четвереньках, волокли его, правя на шум реки.

Мы сами были не лучше Руши, когда добрались до Чала и без сил вытянулись под кривым каштаном. Не знаю, сколько времени пролежали мы, приходя в себя, и сколько бы пролежали еще, если бы вдруг совсем рядом не затявкали лисы. Близкая опасность подстегивает, пробуждает силы, которые смогут противостоять ей, и мы с Сергеем, неспособные до этого, казалось, ни рукой, ни ногой двинуть, подскочили как ужаленные. Руша был без сознания, лежал, судорожно подрагивая всем телом. Не сговариваясь, мы бросились в разные стороны – Сергей вниз, а я наверх, – но с одною и тою же мыслью: побыстрее разжечь огонь.

Хворосту вокруг было навалом, так что очень скоро мы уже сидели вокруг пылающего костра и с изумлением разглядывали друг дру-

га. Все лицо Сергея было исцарапано в кровь, он вывалялся в грязи, волосы спутались, в них торчали сухие веточки, – мать родная, будь она жива у него, не узнала бы своего сына. Вероятно, и я выглядел не лучше.

Густо сеется дождь, холодный ветер гудит, пронзая лес, полощет верхушки деревьев, но кривой, раскидистый каштан над нами подобен крыше, и дождь, слава богу, еще не мочит нас. Горит костер и должен гореть до утра, до рассвета, и всю ночь нам, не смыкая глаз, подкармливать его. А там, может, Руша очнется, все легче.

Мы уже понемногу приходили в себя, успокаивались, когда раздался леденящий душу вой. Шакалы! Страх, который я пережил в те мгновения, шрамом остался в памяти, и, когда я вспоминаю об этой ночи, у меня по коже вновь бегут мурашки.

Я и Сергей приподнялись, напряглись, упираясь в землю руками, будто кто-то хотел сшибить нас лбами, и ошарашенно уставились друг на друга. Боясь расплакаться, мы не смели раскрыть рта. А Руша лежит рядом как неживой.

Сергей свистнул, словно подзывая свору своих собак, заулюлюкал, выхватил из костра пылающую головню и метнул ее в темные заросли рододендрона, из которых доносился звериный вой; я тоже последовал его примеру. Но за нашими спинами, чего мы вовсе не ожидали, заскулил другой шакал, и в непроглядном мраке тлеющими углями замерцали его глаза. Шакалы шли, крались по пятам за нами, привороженные запахом немощи и бессилия, распространяемым Рушей, и теперь окружили, замкнули в кольцо, и вот-вот, накинутся, на клочки разорвут нас!.. С ног до головы, меня затопила ледяная волна страха, я задрожал, застучал зубами. Острой болью пронзила меня мысль о моей обманутой матери, – сидит сейчас где-нибудь в уголке, накрывшись черным платком, и горько плачет о своем пропавшем сыне, а отец стоит перед нею и во всем обвиняет ее: дескать, ты отпустила нашего мальчика! А ей и сказать нечего в свое оправдание.

«Мы всем классом идем в поход к ущелью, и Тарас Сабыдович с нами, а на обратном пути еще и каштанов наберем!» – вот что сказал я ей, вот какой ложью успокоил ее сердце и ушел из дома. Куда она завела меня, моя ложь?..

Вдруг кто-то заскулил совсем рядом, и волосы у нас встали дыбом. Но это оказался Руша, он очнулся, тянул ко мне руки, точно хотел, чтобы я помог, ему подняться.

–Не кидайте меня тут, пожалейте! – чуть не плача простонал он. – Никто не любит меня, мачеха ненавидит, – отцу до меня никакого дела нет. Одна Цута болеет за меня душой, но если она узнает...

– Да что ты, опомнись! Как мы тебя бросим?! – склонился я над Рушей.

Тот обнял меня и прижал к своей груди.

– Никто не любит меня, – повторил он, – И ты тоже, Лаган. Почему?

Прижимаясь к Руше, я чувствовал, что его колотит озноб, он замерз, был как ледышка, губы едва выговаривали слова.

– С чего ты взял, что я тебя ненавижу? – спросил я, впервые ощутив жалость и сострадание к нему.

Того, кто несколько часов назад с самодовольным видом восседал за столом у Саата и бесстыдно врал о жеребце, о Северном Кавказе, о перестрелке с абреками, кто переплывал Кубань, – того Руши больше не было, сейчас передо мною лежал совершенно другой человек: страдающий, беспомощный и жалкий, у которого никого в мире не было роднее и ближе, чем я и Сергей. И этот новый, незнакомый мне дрежде Руша прижимал меня сейчас к своему сердцу...

То ли сон сморил его, то ли, он опять впал в беспамятство, только Руша вдруг выпустил меня из рук, обмяк, отвалился. Оставив его, я присоединился к Сергею, направо и налево раскидывавшему головешки, – рассыпая искры, они исчезали во тьме, а он свистел и кричал им вдогонку.

И тогда, словно бы в ответ ему, снизу, из долины Чала, донесся пронзительный свист, а потом крик:

– Эге-ге-гей, где вы там?

– Ого-го-го! – завопили мы вдвоем, и в наших голосах страха, наверное, было столько же, сколько и радости: мы же не знали, что это за люди.

Пока суетились, метались вокруг костра, из темноты в освещенный пламенем круг выехали два всадника и прямиком направились к нам, но кто это был, мы еще узнать не могли.

– Чтоб вам в аду гореть синим пламенем, ну и заставили же вы поволноваться нас сегодня! – послышался голос Сережиного отца.

А второй всадник – я узнал его по белому пятну на голове лошади – оказался дядей Елизбаром.

Спрыгнув на землю, они подошли и встали над Рушей:

– Ну, что тут у вас приключилось, разбойники?

И мы наперебой принялись рассказывать о том, что нам пришлось пережить. Но это, наверное, и без слов – по одному нашему виду было ясно.

XXIII

По неизвестным причинам подробности нашего похода не сразу стали достоянием молвы, а в школе, по-моему, вообще никто не знал, как мы с Сергеем обманули родителей и отправились в лес, как встретили по дороге Рушу, как сидели в гостях у Саата, потчевавшего нас медом, как отравился им Руша и как мы тащили его на себе, как всю ночь жгли костер и отбивались от шакалов, как потом нашли нас родные и на своих конях привезли домой, даже о том не знали, что мы не только без каштанов вернулись, но и без мешков... Короче, ни о чем не знали наши товарищи, а если и знали, то помалкивали. Мы с Сергеем были, конечно, довольны, только вот никак не могли понять, известно ли учителям про наши похождения.

Но прошел первый урок, и никто пока не заикнулся об этом. Прошел второй – то же самое. А, к концу третьего, когда прополз слух, что Тарас Сабыдович собирается провести сегодня очередные «художественные чтения» (его выражение), я и сам позабыл все свои тревоги. Словно бы солнечный луч заглянул ко мне в сердце, осветил и согрел. Я возликовал. Здорово, если это правда!

Время от времени Тарас Сабыдович устраивал такие чтения на каком-нибудь уроке, выкроив для них несколько минут. Благодаря им мы уже познакомились со стихами Дырмита Гулиа «Ходжан большой», «Пистолет Ешсоу», с поэмами Акакия Церетели «Воспитатель» и «Дева гор» Самсона Чанбы...

Вот, наконец, и третий урок. Сижу, жду с трепетом, сбудется или нет пущенный кем-то слух, и если сбудется то, что прочитает сегодня наш учитель?

Тарас Сабыдович вошел в класс. Он был невелик ростом, но хорошо, соразмерно сложен, подвижен, быстр, говорил ясно и обстоятельно и всегда по делу.

Урок уже подходил к концу, когда он положил на свой стол книгу и молча оглядел класс.

– Сегодня я прочту вам поэму Иуа Когониа «Хмыч-охотник», это одно из самых моих любимых произведений, – сказал он и, переждав, когда восторги улягутся, стал читать наизусть.

Мы замерли, завороженные звучными строками. Тарас Сабыдович уже закончил чтение, а мы не смели пошевелиться. Даже вечный его залад был словно пригвожден к парте. А Нуцу как взялась за косичку, так и сидит держит ее, забыв убрать руку. Зазвенел звонок, и в другое бы время ученики с грохотом ринулись из класса – домой! на улицу! кто быстрее! – но сейчас ни один из них даже встать не попытался. В классе царило полное безмолвие.

– Разбор и обсуждение завтра, – сказал Тарас Сабыдович, и только тут класс словно бы пробудился, ожил, и все, разобрав торбочки, двинулись к двери. Но сегодня не тряслись стены, не дрожал пол, не собирался обрушиться потолок от нашего топота и крика.

Учитель пока оставался на месте.

– Задержись-ка ненадолго, Лаган, – остановил он меня у выхода.

«Ну все, сейчас начнется “разбор и обсуждение”», – обреченно подумал я, подходя к учительскому столу.

– Скажи мне, в чем дело? Почему вы до сих пор не поставили «Освобожденного Кучиту»? Ведь вы же собирались?

– Не могли роли распределить, – осторожно ответил я, ожидая подвоха.

– А почему? Что помешало?

– Да никто не захотел быть попом и князем, только – Кучитой. И я тоже, – сознался я.

– Так-так... Это хорошо, что вы хотите быть героями, но что делать – жизнь порою распределяет роли, не спрашивая наших желаний... Ну ладно, встретимся завтра, прочтем пьесу, тогда и роли распределим.

– И все? – Я подозрительно посмотрел на Тараса Сабыдовича.

– На сегодня все, – спокойно ответил он.

И я радостно, с легкой душой отправился домой...

Иду один по дороге, и чудится, будто Тарас Сабыдович еще продолжает читать нам поэму о Хмыче-охотнике. Иной, не виданный доселе мир открывается передо мною, и мнится, что это не Хмыч, а я сам стою на высокой скале, – земля просторно распахнулась передо мною, небо необъятно, но совсем близко, рукою потрогать можно, ни тени не видать вдали. Теснятся по сторонам угрюмые горы, клубятся под ногами

туманы, а в самом низу, еле видимая отсюда, синеет зеркальная гладь глубокой заводи...

Образ скалы в поэме не дает мне покоя, тревожит чем-то, беспокоит, да и само слово «ахра» (скала) выделяется из всех других, оно часто встречается в поэме, и его рокочущие «х» и «р» навевают мысли о бурях и ветрах, завывающих в щелях наших плетеных хижин.

...Так узка там тропа между скал –
Человек на коне не поднимется.
Что ни шаг – то завал,
Что ни шаг – то обвал,
А оступится – в пропасть низринется!

Неотвязно стоит в глазах охотник Хмыч в затейливо завязанном башлыке. «Озираясь, пошел вдоль потока, на цыпочках крадучись...» Высоко поднялся Хмыч, но не удержался, сорвался, полетел вниз со скалы, упал в синюю заводь, на мелкие осколки разбив ее зеркальную гладь, и вода поглотила его. Такой человек, как Хмыч, конечно же умел плавать, и он бы обязательно выплыл, спасся, но обвалившиеся камни, посыпавшиеся за ним, погубили охотника. Может быть, и до сих пор кружит по заводи его шерстяной, шитый золотом башлык и лежит на скале оставленная им абхазская кремневка, которую он всегда держал наготове... О, как жаль мне охотника Хмыча, всем сердцем жаль!

«Он скрыт на дне заводи...»

Когда я вошел в свой двор, навстречу мне выбежал наш буйволенок, уставился на меня большими ласковыми глазами, словно бы желая сказать: «Брось, не тужи ни о чем, живи проще, как я, и в душе у тебя всегда будет покой и блаженство!» И я растроганно обнял его.

* * *

В то время как я и Сергей волокли на себе по лесу отравившегося дурным медом Рушу, а потом коротали ночь у костра на берегу Чала в окружении шакалов, дома у нас царили растерянность и паника. Отец уже побывал в школе, узнал, в какой «поход» мы отправились. Поэтому, когда дядя Елизбар привез меня к нам во двор, отец первым делом захотел поучить меня уму-разуму.

– Ну, я тебе покажу сейчас, как самовольничать! От горшка два вершка, а уже матери в глаза лжет! Что с тобой дальше будет, когда вырастешь?! – кричал он, размахивая хворостиной.

Спас меня дядя Елизбар, укрыв за своей спиной...

Долго еще после этого в семье у нас не могли наладиться мир и согласие, но постепенно вина моя перед родителями не то чтобы забывалась, а отступала, отдалялась, уносимая прочь ветром времени, и сквозь редеющие хмурые тучи обид и слез все чаще проглядывало солнце улыбок. Даже соседи, в первые дни проходу мне не дававшие, с ухмылкой спрашивавшие при встречах: «Ну-ка расскажи, как дело было?» – даже и соседи перестали ко мне цепляться. Только в школе, как я уже сказал, наши приключения никогда не становились предметом для зубоскальства.

Но, как говорится, нет худа без добра: после этого случая я почувствовал себя взрослее, старше, начал строже судить себя, стал прислушиваться к советам и замечаниям, не пропускал их мимо ушей, как раньше. Да к тому же и дело у меня появилось.

Возвратившись из школы и перекусив на скорую руку, я теперь тут же бежал к Куасте, в доме которого располагался ликбез. Куаста представлял в своем лице и администрацию, и преподавательский состав, а я был у него на подхвате.

– Молодец, Лаган, что пришел пораньше, поможем друг другу, – говорил он, лишь только я входил в зал.

Когда Куаста основал в селе ликбез и за отсутствием помещения стал проводить занятия у себя в доме, его отец Саид поначалу часто бранил сына: «Ты чего это вытворяешь! Я тут почетных гостей принимаю, а ты игрища устраиваешь! Не позволю!» Но позже, когда ему объяснили, что такое ликбез и зачем собирается у них столько народу, Саид заговорил по-другому: «Ну, добро, для такого дела не только зал, а и всех комнат отдать не жалко, лишь бы учились!»

Вечером, перед началом занятий, Куаста и я готовили зал, преображая его в класс, расставляли столы, стулья, раскладывали карандаши и тетради. Потом Куаста собственноручно принимался чистить и заправлять керосиновые лампы, не доверяя мне этого ответственного дела, опасался, что я по неосторожности разобью драгоценное ламповое стекло. Затем, когда все было готово, он уходил в заднюю комнату переодеваться. Кажется, и сейчас вижу, как он выходит оттуда: степенно, с достоинством, в широченных черных галифе с цветным кантом,

с объемистыми карманами, набитыми скомканной бумагой, для того чтобы эти чудовищные штаны казались еще более широкими и выпуклыми, в узких красных сапожках, в белой сорочке со стоячим воротником, туго перехваченной в поясе тонким кожаным ремешком. В этой одежде Куаста, высокий и стройный парень, выглядел довольно нелепо, но то ли мода была тогда такая, то ли ему самому нравилось так ходить, а скорее всего – подражал какому-нибудь очамчырскому начальнику, поразившему его воображение...

– Думаешь, вовремя соберутся сегодня наши бородатые ученики? – тревожился Куаста, стоя перед зеркалом и зачесывая на сторону чуб.

Для его тревоги и в самом деле были основания. Помимо молодежи, ликбез посещали и вполне взрослые люди, мужчины и женщины. Их, весь день надрывавшихся в поле, и дома ожидала куча дел, нужно было управиться со скотом, накормить и обиходить семью. Да мало ли забот у взрослого человека? Разумеется, что не всем и не всегда удавалось поспеть к началу занятий.

Но и собравшись у Куасты, не сразу они брались за карандаши, отходили душой от будничной житейской обстановки, перекидываясь шуточками и новостями, выкуривая по трубочке или цигарке.

– Попрошу внимания! – восклицал наконец Куаста и, не желая терять понапрасну время, читал какое-нибудь стихотворение или интересное сообщение из газеты.

Потом приступали к занятиям... Но и здесь не все ладилось: кто-то забывал название буквы, мялся, затем, приговаривая: «Сейчас курну разок, может, вспомню», – начинал вертеть самокрутку; другой, перебравший вина за ужином, внезапно впадал в сон, третий отбрасывал карандаш и заявлял, что больше не может писать, сил нет как устал. Куаста не терял терпения, он расхаживал по залу, подсаживался к своим ученикам, помогал, объяснял, подсказывал.

Девушки учились гораздо прилежней и охотней, чем ребята, были внимательней и собранней, всегда выполняли домашние задания, и с ними он почти не знал хлопот. Единственное, чем досаждали они Куасте, так это тем, что за глаза звали его «куколкой».

Порой занятия прерывались вмешательством со стороны: вдруг во дворе появлялась процессия стариков, которые, уступая друг другу дорогу, направлялись к дому. Старикам непременно именно в это время требовалось услышать от Куасты все последние новости, случившиеся «на широких просторах Абхазии».

Первым всходил на веранду Зафас. Встав у окна, он заглядывал в зал и прислушивался к тому, о чем там шла сейчас речь, и, улучив минутку, обращался к Куасте:

– Послушай, дорогой, не скажешь ли, когда наконец у нас настоящий ликбез откроют? Мы тоже хотим учиться!

И, слушая Зафаса, невозможно понять: шутит он, как всегда, или же вправду не знает, что такое ликбез?

Старики, жаждущие знать обо всем, не довольствовались газетой: они засыпали Куасту десятками вопросов, требуя разъяснить им смысл и значение того или иного события, сообщения. Куаста подробно и обстоятельно отвечал, а если чего-то не знал, честно признавался в этом.

– Да мы и сами видим, что не знаешь, – с удовлетворением заключал Зафас и задавал какой-нибудь особо каверзный вопрос, такой, например: – А вот скажи нам, сделай милость, в чем отличие между Аллахом и Богом?

Куаста не мог дать ответа на такой вопрос, и Зафас, подождав еще немного, с довольным видом принимался сосать свою трубку. Табак у него был такой злой и едкий, что даже испытанные курильщики, стоявшие поблизости, не выдерживали и начинали отворачиваться и чихать.

– Может, настрочишь мне прошение, когда освободишься? У тебя рука легкая! – говорил Зафас Куасте таким тоном, словно бы делал тому одолжение. Однако не слишком громко, чтобы не привлекать внимания.

– Что еще за прошение?

– Ну, насчет пособия для бедняков.

– Опять?! Ты же дважды в этом году получал его, сколько можно, это ведь не оклад, – морщился Куаста, ему явно не хотелось писать для Зафаса очередное заявление на выдачу денежного пособия, и он не скрывал этого.

– Оклад, как я слышал, даже служащим выдается всего два раза в месяц, а Зафас его каждый день хочет получать, – заметил Рашид, строгающий палочку, сидя на ступеньках.

– Вот человек! Живет и не знает, что сейчас все для бедняков делается! – кивнул Зафас на Рашида.

– В прошлом году ты получил пособие. А на что истратил? По ветру пустил! – не унимался Рашид. – Купил поющий ящик, а что осталось

– в ресторане прогулял! На что тогда тебе деньги, позволь полюбопытствовать? Что ты на них еще собираешься приобрести, какую новинку?

– Волшебную мельницу, я думаю! – объявил Миха-доброволец и сам первый же посмеялся своей шутке. – Крутнет в одну сторону – тут ему яства всякие, одежда; крутнет в другую – серебро да золото посыплются, денежки бумажные. А он заведет свой ящик и песенки будет слушать.

Старики заулыбались, и Зафас с ними. Не обидчивый был.

– Что бы вы без меня делали, над кем бы подшучивали? – произнес он с напускной серьезностью и вдруг заметил меня: – А, вот ты где, гроза шакалов! Ну, расскажи нам, как ты им головешками глаза выжигал? Надо же, меду объелись!

И я, не в силах вынести его насмешек, скатился с лестницы и кинулся со двора.

* * *

Солнце закатилось, но было еще довольно светло. Налитая жидким, прозрачным светом, вышла из-за гор полная луна, – я любовался ею, стоя около ворот... Ни облачка в небе, то там то тут вспыхивают, разгораются звезды, луна все больше, все ближе, и на ее лике явственно проступают очертания нарта Сасрыквы. Это его мать Сатаней-Гуаша на веки вечные запечатлела на ночном светиле облик своего сына, погубленного родными братьями. «Доколе будет сиять в небе луна, доколе не сорвется и не рухнет в море, – сказала Сатаней-Гуаша, – пусть всякий, кто подымет голову, видит на ней моего сына, тебя, богатырь Сасрыква, равного которому нет и не будет в мире...» Как сказала мать, так и сталось: вон он стоит, чуть отставив ногу, держит за повод коня Бзоу, друга своего и помощника, а к ногам его ластится верный пес. Но невесел нарт, тяжкие думы клонят вниз его голову: сбылись, вещими оказались слова, сказанные ему собственной тенью...

Мои размышления прервал чей-то окрик, донесшийся с улицы. Вглядевшись, я различил всадника, явно направляющегося к нам, и чуть позже по остроконечной папахе узнал Чины сына Чичина. Его появление всегда было для меня радостью, и я весело кинулся навстречу, распахнул ворота. Чины сын Чичин на полном скаку влетел во двор, и только у коновязи я догнал его, принял поводья, придержал стремя.

Сойдя на землю, он подхватил меня, подкинул вверх и, как было заведено между нами, принялся кружить и раскачивать.

Луна, стоявшая над самой густой шелковицей – той, где я не так давно скрывался от родителей, – ярко освещала веранду. Там, прислонившись спиной к перилам, сидел на скамье Чины сын Чичин. Он и не скрывал от нас, что был под хмельком: сидел поникший, сонный, рассеянно следил за пятнистыми тенями на траве двора.

Мало-помалу все наши собрались у веранды, расселись кто где. Пришел и отец, прислонился к перилам рядом с гостем.

– Что-то, гляжу, усталый ты какой-то сегодня. Где был? – спросил он.

– Где был? – переспросил Чины сын Чичин, перекладывая камчу с колен на перила. – Да разве можно мне задавать такие вопросы? Об этом спрашивают у того, кто вернулся в свой дом... А я... Я как ветер – везде и всюду, сегодня здесь, завтра там. И как я скажу, где был... – Чины сын Чичин задумался, помолчал и, оглядев нас, произнес: – Где ж мне быть... Был там, куда каждый год приезжаю в это же время, – у двух престарелых братьев, на одной могилке...

Чины сын Чичин рассказывает, а нам кажется, что он вот-вот расплачется. Звучит в ночи его голос, жалуется, скорбит, и мы словно наяву видим, как два этих брата, совсем уже одряхлевшие под тяжестью горя и вины, встречают вечного жениха своей мертвой сестры, ведут к могиле – ухоженной, чистой, пригретой весенним солнцем. Они усаживают его под надломленным грабом, говорят, что уже двадцать лет прошло с того дня, как их несчастная сестра покинула их...

– Они, старики, не сбились со счета, я же давно, лет десять назад, перестал считать годы – на что мне они?.. Ну, зарезали овцу, накрыли поминальный стол, никого не приглашали – были только два соседа да еще пара каких-то случайных людей... А когда я уже садился на коня, они сказали: «Нам не на кого надеяться в этом мире, никого у нас нет в нем, один ты. Похорони нас, когда умрем, рядом с нашим сокровищем: одного по эту сторону, другого по ту...» Вот что мне завещали ее братья... – А впрочем, вам, наверное, все это кажется сказкою, выдумкой? Но нет, не сказку я вам рассказываю, а быль. Прожил жизнь, а счастья так и не видел, не нашлось, не хватило его, видать, для меня в этом огромном и просторном мире... Душно мне, ачамгур дайте, ачамгур!

И Чины сын Чичин замолк, ожидая, пока исполнят его просьбу.

Гущка, при свете керосиновой лампы кажущаяся смуглее копченого сыра, принесла и подала мамин ачамгур певцу. Тот снял папаху, положил рядом с собою, устроил ачамгур на колене, подкрутил колки... И вот вспорхнула его рука, тонкие пальцы тронули шелковые струны, а сам он, будто вслушиваясь в то, о чем они говорят ему, склонил, чуть повернув, голову и, невидяще глядя вдаль, тихо начал:

Плачьте, струны, горько плачьте, струны,
Я в проклятый день на свет родился.
Утром я из дому вышел юный,
Вечером седой я возвратился.

Ни любви, ни счастья не дождался
И пустился в путь по белу свету.
Перед тем как сесть в седло, поклялся:
Радость будет там, куда приеду...

Мать, потом Гущка, а вслед за ними и отец начали негромко подпевать ему, – видно, песня эта была им знакома. И в самом деле, позже они не раз исполняли ее на наших «музыкальных вечерах» после ужина. Потому и запомнил слова:

Чины сын Чичин, еще немного –
И как тень под солнцем он растает.
– В никуда ведет моя дорога,
И конец в могиле исчезает.

Сколько лет ему, какие годы
Голову покрыли сединою? –
Час мой близок, просто я невзгоды
Прочь гоню и песней и игрою.

Плачьте, струны, плачьте, мои струны,
Я в проклятый день на свет родился.
Утром я из дома вышел юным,
Вечером седой я возвратился.

Первые строчки каждого куплета он выдыхал с мучительным стоном, как бы от своего сердца отрывал их, голос напоминал рокот водопада, который отдалялся все больше и больше...

Когда песня угасла, Чины сын Чичин передал ачамгур Гущке и сел, скрестив на груди руки, затем вскочил – прямой, стройный, – будто его печали были мелкой заводью, из которой ему ничего не стоило вынырнуть. Так, со скрещенными на груди руками, он дошел до конца веранды и остановился, безучастно глядя перед собой. Лунный свет затоплял мир, было пронзительно тихо, и лишь где-то в ветвях ольхи, стоявшей за домом, кричал филин. Только что спетая песня, еще отдававшаяся в моих ушах, и этот одинокий голос ночной птицы удивительно дополняли друг друга.

Чины сын Чичин круто повернулся, нахлобучил папаху и, схватив с перил камчу, торопливо сбежал по лестнице.

– Куда ты? Ночуй здесь, завтра поедешь! – попытался удержать его отец.

– Куда я? В путь по дороге, по которой нельзя пройти вспять... – ответил Чины сын Чичин. – А медлить не могу, прости, меня ждут... Живут на свете юноша и девушка, они сохнут друг по другу, умирают с тоски, но между ними мутный поток, и они – на разных берегах. Могу ли я оставаться спокойным, глядя на них? Прощайте, спокойной ночи! – Его камча со свистом рассекла воздух, и Чины сын Чичин пропал в темноте. Но еще долго наш слух тревожила его песня, долетавшая издалека:

Утром я из дому вышел юный,
Вечером седой я возвратился...

* * *

Заучивать стихи наизусть было для меня радостью и наслаждением. Больше того, с недавних пор мне стало даже нравиться, если кто-нибудь слушал, как я их читаю, – забылся прошлогодний позорный провал в клубе...

Заметив это, Вера Николаевна принялась опекать меня: приглашала к себе, давала книги, учила декламировать стихи. А если у нас организовывался какой-нибудь вечер или концерт, просила обязательно выступить.

Мои родные любили слушать, как я читаю, но не было среди них никого, кто мог бы, обратив внимание на мою склонность к литературе, развить ее, воспитать, помочь приобрести нужные знания. Но разве они виноваты в этом? Никто из них сроду не знал ни одной буквы, да и книги никогда не держал в руках, – в нашем доме они появились тогда, когда мы с Мачич пошли в школу.

Сколько лет прошло, а все равно, стоит лишь прикрыть глаза – и вновь вижу, словно только что вышел оттуда, скромное жилье Веры Николаевны. Как отрадно мне было бывать здесь! Посередине комнаты, где мать моя когда-то впервые разговаривала с учительницей, стоял небольшой стол, покрытый белоснежной скатертью, на нем до зеркального блеска начищенный самовар, исходящий клубами горячего пара. У окна – другой стол, письменный, на котором всегда, сколько бы раз я ни заходил к Вере Николаевне, высились стопки наших тетрадок, лежали ручки, карандаши, корабликом покачивалось пресс-папье. А на стенах, некогда украшенных прихотливым узором, а теперь выцветших, поблекших, висели портреты незнакомых мне мужчин.

– Это все ваши родственники? – спросил я как-то.

– Нет, Лаган, нет, – улыбнулась Вера Николаевна, – не родственники и даже не знакомые. Но я их всех очень люблю, хотя и в глаза никого не видела. Они всегда и везде со мной, где бы ни была, без них я не мыслю своей жизни... Это писатели, Лаган, великие писатели. Вот скажи-ка мне, кто написал стихотворение «Зимний вечер», которое мы недавно учили?

– Александр Пушкин! – бойко ответил я.

– Правильно. А хочешь посмотреть, как он выглядел? Взгляни. – И она показала на самый крайний портрет, висевший ближе других к двери.

Я взглянул и сразу почувствовал в этом смуглолицем человеке что-то знакомое, он был так же густоволос и кучеряв, как мой одноклассник арапчонок Чаква.

– А это Тургенев, который написал «Муму», вот Чехов, который написал про Ваньку Жукова, – продолжала показывать портреты Вера Николаевна. – А вот их сочинения...

Она брала с полок книгу за книгой, передавала мне, а я, разглядывая и возвращая их, с почтительным ужасом думал: «Надо же написать столько! Тут страницу перепишешь – и то рука отваливается... Как же они смогли?!»

Однажды в воскресенье я пришел навестить своего друга Коку, сына Веры Николаевны. Он учился в Сухуме, в каком-то интернате, приехал на несколько дней погостить у матери, и скоро ему уже обратно... Сначала мы спустились с ним к Чалу, посидели на берегу с удочками, потом, ближе к вечеру, вернулись к школе, в сад, стали играть в мяч. Была весна, пышно цвели груши...

Вдруг я заметил, что с лестницы спускается Вера Николаевна, идет к нам, а в руке у нее небольшая книжка. Я оставил игру и пошел ей навстречу.

– Что за красота, Лаган, эти весенние закаты! – сказала она. – Все преображается: и горы, и небо, и вся природа. Неповторимо!.. В России эти вечера тоже прекрасны, но совсем по-другому, по-своему... Хочешь взглянуть на них? – Вера Николаевна посмотрела мне в лицо и показала какое-то стихотворение в принесенной книжке. – Как видишь, это не картинка, но если я начну читать, ты сразу же представишь себе все, про что тут написано...

Она объяснила мне значение некоторых слов, которые могли быть для меня не совсем понятны, а потом выпрямилась и начала:

В синем небе плывут над полями
Облака с золотыми краями.
Чуть заметен над лесом туман,
Теплый вечер прозрачно румян.

Вот уж веет прохладой ночною;
Грезит колос над узкой межою,
Месяц огненным шаром встает,
Красным заревом лес обдает.

Кротко звезд золотое сиянье,
В чистом поле покой и молчанье;
Точно в храме, стою я в тиши
И в восторге молюсь от души.

Поля, равнины, нигде ни одной горы, только лес высится вдали зубчатой стеною, тонкие перья облаков плывут над ним, их края просвечены закатным пламенем, будто оплавлены; самого солнца уже не видно, оно тлеет где-то там, за лесами, за полями; воздух чист и прозрачен,

я растворяюсь в нем, взмываю ввысь, и меня влечет легким потоком над вершинами деревьев...

Строки стихотворения лились так естественно и плавно, что мне чудилось, будто это ручеек звенит на мелких камешках.

Я до сих пор помню это стихотворение, оно вошло в мою плоть и кровь, стало частичкой меня самого. И когда мне случается проезжать великими российскими пространствами, на память вновь приходит тот чудесный весенний вечер, и сами собой выпеваются эти строки – много позже я узнал, что написал их русский поэт Иван Саввич Никитин, – и я вновь вижу свою первую учительницу, и как стоит она, высокая и светлая женщина, под цветущими грушами, и вновь слышу ее голос...

Так – понемногу, по капле – собирались у меня книжные знания. Но чтение было только одним из притоков (и не самым крупным), напитывающих душу живительной влагой, – был другой, гораздо более мощный, который помог мне вкусить сладость художественного слова. Иначе говоря, литературное образование я получил в таком учебном заведении, где преподавал сам народ, в нем не читали и не писали, но занятия шли круглосуточно, без всяких перемен и каникул; они начинались едва ли не с пеленок и заканчивались вместе с жизнью; там не ставили отметок за усвоенный материал. День и ночь впитывал я знания, собирая в сокровищницу памяти жемчужины родных сказаний, но еще не знал, что делать с ними. Не знал до тех пор, пока однажды не стал свидетелем удивительного, чудесного события. Именно оно подсказало мне, как быть и что делать с накопленными богатствами.

XXIV

С утра старик Мамсыр работал в поле. К обеду выпряг буйволов и погнал их к грабовой роще, хотел дать им свежей листвы. Подрубил одно дерево, да, видно, не слишком удачно, и оно легло не на землю, а на другое, соседнее. Пока Мамсыр и так и эдак пытался стряхнуть подрубленное дерево, оно соскользнуло и ударило старика по бедру. На его пронзительные крики сбежались все, кто был поблизости, они подняли пострадавшего и на руках отнесли домой.

Весть о случившемся быстрее ветра разнеслась по селу, и люди, огорченные несчастьем, которое стряслось с великим мастером игры на апхярце, нескончаемой чередой потянулись к его воротам.

Мать, как только узнала об этой беде, в тот же час поспешила к Мамсыру и осталась при нем. А на следующий день и я по дороге из школы завернул к его дому.

Я появился в тот момент, когда приглашенный к Мамсыру искусный костоправ попытался лечить раздробленное бедро. По его указанию на изувеченную ногу Мамсыра накинули веревочную петлю, конец вывели наружу, продели сквозь перила, и кто-то уже что есть мочи начал тянуть на себя веревку. Мамсыр лежал на постели, лицом вверх, и, чтобы его самого не вытянули во двор, несколько человек крепко держали его под мышки. Боль, несомненно, была адская, но он и звука не издал, только зубами скрипел да лицо у него сделалось словно бы каменное. И вдруг, когда, наверное, силы уже оставляли его, он, возвысив свой чистый и стройный голос, запел. Это была «Песнь ранения», и все, кто был в комнате, подхватили ее. Сколько раз мне и прежде доводилось слышать от Мамсыра эту песню, и она всегда восхищала меня, но сегодня, когда я видел его страдания и слышал его мужественный голос, «Песнь ранения» по-настоящему потрясла меня:

Неспроста говорится, видно:
Для мужчины боль – испытание.
От кинжала рана мучительна,
От обиды – еще больнее.

Но терпи, если ты мужчина,
Зубы стисни, но боль не выдай!
И не стоном глуши страдания,
А спокойной и звонкой песней.

Пусть покажется потом горьким
Кровь твоя, что из раны хлещет.
Злая пуля, тебя сразившая,
Пусть покажется мелким зернышком...

* * *

Время шло, а Мамсыру не становилось лучше, нога болела, и он по-прежнему не мог встать с постели. Поэтому соседи и родственники ни на минуту не оставляли его одного. А уж помочь старику скоротать

бессонную ночь собирались многие. И из нашей семьи кто-нибудь непременно присутствовал, – как-никак, а ведь Мамсыр был матери родным дядей. Ходили по очереди: в один вечер отец с матерью, в другой – дядя Елизбар с кем-нибудь из моих сестер. Только мне одному по моему малолетству не позволялось еще принимать участие в этих ночных бдениях, из-за чего я страшно переживал и завидовал взрослым: знал ведь, сколько всего увлекательного можно увидеть и услышать там. Поэтому, едва наши возвращались домой, я изводил их вопросами.

– А сказки были? – допрашивал я.

– Еще бы! До самого утра рассказывали! – отвечали мне, словно бы дразня. Но ведь я-то знал, что это чистейшая правда!

– И загадки?

– Конечно.

– И песни были?

– И песни были, и на апхярце играли. Сначала сам Мамсыр, а после другие. Двое, например, прямо настоящее состязание устроили. А потом комедиант выступал – вот это было зрелище!

И я со слезами на глазах слушал о том, как комедиант, напялив на себя медвежью шкуру, потешал всех своей пляской...

Подобные рассказы еще больше разжигали мое любопытство и желание попасть на эти посиделки, однако меня все равно не пускали к Мамсыру.

Но вот как-то вечером, приготовив и собрав для дяди ужин, мать, отправляясь к нему, взяла с собой и меня. Подойдя к дому Мамсыра, она велела мне подняться и сесть, затаиться где-нибудь в уголке, чтобы ни слуху ни духу не было, а сама направлялась в амацурту.

Я перемахнул через перила, пробрался сквозь толпу гостей и, как велела мать, устроился в уголке на крохотной скамеечке…

Старик, сжимая в руке посох, лежал на деревянной кровати, отодвинутой от стены, чтобы к нему можно было подойти с любой стороны, глаза были прикрыты, густые усы и окладистая бородка без единого седого волоса на белизне подушки казались еще чернее, чем были, большой выпуклый лоб блестел, как речной валун. Какой-то парень, невысокий, худенький, стоял в его изголовье и то и дело подносил к губам больного стакан с водою.

На двери позади кровати я заметил висящую на гвозде апхярцу, ту самую, чьи звуки не раз кидали меня в озноб восторга. Сейчас она выглядела какой-то заброшенной, одинокой и словно остывшей…

– Ах, чтоб им пусто было! Черви, что ли, завелись у меня в бедре? – простонал старик.

Он с усилием приподнял голову и, оглядев собравшихся, вновь откинулся на подушку, закрыл глаза, лежал молча, поглаживая бороду.

– Дайте-ка мне, – неожиданно попросил Мамсыр.

– Что? Что дать? – склонился к нему парень.

– Дайте, кому говорю! – тот требовательнее.

– Сейчас, сейчас, – засуетился парень и поднес к его губам стакан с водою.

– Я не прошу воды, я прошу то, что утоляет боль и укрепляет сердце, – жестко сказал Мамсыр и отстранил стакан.

– Апхярцу он просит, апхярцу! – заговорили вокруг.

Какой-то мужчина, лысый и толстенький, но оказавшийся проворнее всех, подскочил к двери, снял с гвоздя апхярцу и опасливо, точно боясь уронить и разбить, на вытянутых руках понес ее хозяину. Остальные тем временем усаживали больного поудобнее, повыше, подкладывая ему под спину подушки. Когда все было готово, Мамсыр принял апхярцу, на мгновение замер, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя, и, наконец, коснулся струн. Апхярца вскрикнула, ожила, заговорила, в ее чистому голосу присоединился голос певца; поначалу он был слаб, негромок, но постепенно, как бы кругами, набрал высоту и вознесся туда, где ослепительно сверкали под солнцем ледяные вершины гор.

Слушая Мамсыра, трудно было поверить, что это поет старый, больной, измученный человек, надолго, если не навсегда, прикованный к постели. Он не плакал, не жаловался – вместо него стонала, страдала его апхярца, и все, кто слушал сейчас эту песню, подхватили ее, поддержали, не дали упасть, вознесли еще выше.

Не помню, сколько длилась она, эта песня, но ее сила сотворила то, что и за сто ночей не сумел бы сделать человек. На моих глазах произошло чудо – так, а не иначе оценил то, что случилось, мой детский ум… Люди, набившиеся в комнату, и я в том числе, словно бы оседлав волшебного коня, облетели на нем мир: мы то опускались в морские пучины, то поднимались над горными кручами, пока не оказались над широкой долиной, по которой бешено струилась могучая река, яростно бившаяся о камни и скалы на всем своем пути; потом перед нами очутилась просторная поляна, где нарты любили играть в мяч. Но сейчас нарты, девяносто девять братьев, едут сюда не играть, а сражаться,

они вооружены, пыль клубится за ними следом, застилает небо, как черным дымом. А навстречу им на своем верном Бзоу выезжает их сотый брат, Нарт Сасрыква, – конь бьется по ним, рвется вперед, и юный нарт не в силах сдержать его…

И вот встретились братья, обнажили мечи, и блеск их затмил сияние солнца, засвистели, понеслись свирепые стрелы, замелькали подобно пчелам.

«Что стряслось, что случилось? Зачем они мчатся навстречу друг другу, размахивая мечами? – вопрошает весь мир, замерший в испуге. – О, это не враги, это братья сошлись в жестокой сечи, и не испытать желают они друг друга, но погубить!»

Одна за одной разворачиваются перед нашими взорами картины побоища, и наши сердца сжимаются от горя и негодования, то ликуют в надежде, что опомнятся братья и кинутся в объятия друг другу и придет конец вражде, злобе и ненависти.

Слушая Мамсыра, мы порой не могли сдержать слез. Но вот он запел тише, глуше, голос его задрожал – сейчас он поведает нам о чем-то скорбном… И в самом деле, Мамсыр начал о том, как Сасрыкву, богатыря из богатырей, превзошедшего всех своим мужеством и отвагой, погубили коварством родные братья.

Вот он лежит, юный нарт, истекая кровью, и до бедра отсеченная нога лежит рядом с ним. Идут к нему люди и звери, сокрушенные горем, вся природа скорбит, и в последние мгновения своей жизни герой видит над собой кружащихся голубей, светлых и чистых, как само небо, с которого они спускаются. Голуби садятся рядом с умирающим Сасрыквой, в потоки его крови, и он спрашивает их: «Милые голуби, что привело вас ко мне за миг до моей смерти?» А те отвечают: «Мы прилетели сюда сказать, что по всему свету разнесем правду о тебе и твоих братьях и не успокоимся, не оставим неба до тех пор, пока не наступит предел человеческой вражде, – знай это, Сасрыква!» Вот что сказали герою голуби. Потом они с шумом вспорхнули и улетели, скрылись в небе. До сего дня, не зная покоя, эти чистые птицы рассказывают всем о мученическом конце юного нарта.

Заключительные строки этого гимна добру и миру я запомнил на всю жизнь, и протекшие годы не сумели их смыть из моей памяти:

Сасрыква храбрый, Сасрыква юный,
Ушел от нас он, заснул навеки.

Теперь земля вся – Сасрыкве ложе,
Теперь все небо – Сасрыкве полог.

А звезды ночи – его лампады.
Несут известие о смерти нарта
По свету птицы, и, им внимая,
Поникли в скорби леса и травы!

Апхярца умолкла, затих голос певца. И только тогда я очнулся, пришел в себя и заметил, что уже не сижу на скамеечке, а вскочил вместе со всеми и стою, сжимая в руках войлочную шапку. В комнате царило полное безмолвие, никто даже восхищения не выражал – любые слова показались бы сейчас кощунственными. Мамсыр лежал, откинувшись на спину, обнимая покоящуюся на груди апхярцу, всем своим видом выражая облегчение и умиротворенность. Ему дали стакан с водою.

Утолив жажду, старик приподнял голову и виновато посмотрел на нас, точно желая попросить прощения, что так расстроил нас своей песней.

Отдохнув, Мамсыр вновь повел смычком по струнам, но теперь его голос был весел и беспечен, а звуки апхярцы полны задора. Люди, все еще находившиеся под обаянием скорбной и мужественной песни о гибели Сасрыквы, недоуменно переглянулись и посмотрели на старика, потом кто-то не выдержал, прыснул, за ним, вслушиваясь в слова песни, засмеялись другие, и через минуту весь дом трясся от безудержного хохота. Вряд ли, конечно, настроение у измученного Мамсыра соответствовало сейчас его разудалой музыке, просто ему захотелось оживить, расшевелить своих закручинившихся гостей. Спев несколько озорных песенок, Мамсыр заиграл плясовую, и голос его звенел, как у молодого:

Листья с травами в обнимку,
Хромой пляшет со слепым,
Ну а мы – в ладони дружно
Станем такт им отбивать!

И пошли отбивать такт, хлопая в ладоши. Потом вытолкнули на середину комнаты какого-то рослого парня, в котором я узнал Рушу и подивился, что до сих пор не разглядел его, не заметил здесь. Под одо-

брительные возгласы Руша, танцор известный, на носочках прошелся по кругу, но, понимая, что не место и не время сейчас для настоящего веселья, скоро опять затерялся в толпе. Хлопки почти мгновенно прекратились, но апхярца еще звучала, только все тише и тише, будто тот, кто играл на ней, медленно удалялся...

Но вот и апхярцы уже не слышно. Мамсыр отвернулся к стене, прикрыл глаза. Парень, неотлучно находившийся при больном, бережно взял инструмент с груди старика и повесил на прежнее место. Люди зашептались, потянулись к выходу.

– Утомился, спать захотел. Пора, пойдемте...

И мы с матерью вышли вместе со всеми.

Было уже за полночь, когда все спустились во двор и пошли к воротам. Луна сияла так ярко, что можно было бы углядеть и самую крохотную иголочку. И чем ближе мы подходили к воротам, тем все отчетливее слышали доносившийся до нас из густой, темной зелени поразительно жизнерадостный свист двух соловьев; один из них, скрывавшийся в ветвях где-то поблизости, был особенно неутомим. Соловьиные голоса колокольчиками звенели в ночи, залитой серебряным лунным светом, но в моих ушах звучал голос страдающего Мамсыра, и сам я был еще весь во власти его песни о нартах.

Впереди всех ступал старик Мадж – голенастый, высокий, широкий в кости; его посох был столь же бел, как и его густая седая борода. Внезапно он остановился, обернулся к идущим следом и, опершись грудью на посох, поднял руку. Все замолчали, ожидая, что скажет Мадж.

– Какая все-таки это великая сила – песня! – воскликнул он. – Ей ничего не стоит заставить нас то смеяться, то плакать. Только что довела всех до слез, растрогала дальше некуда, а чуть повернулась другой стороной – и мы уже скакать готовы, смеемся, как дети... А ведь она еще и лечит, вспомните-ка, как успокоился Мамсыр, когда выплакал в ней свое горе. Даже про боль позабыл, а ведь его не комар укусил... И сейчас вот – вышли, а нам соловьи поют, остановиться не могут, точно и впрямь боятся, что у них хмель в горле вырастет. Их песня – тоже сила, под нее вся земля, вся природа после зимы оживает... Так что, уважаемые, сами можете судить, что это за вещь такая – песня... Нука, подойди сюда, внук Бежана! – неожиданно позвал меня Мадж. Я поспешно встал перед ним, и старик положил мне на плечо тяжелую, огрубевшую от работы руку. – Я гляжу, ты весь вечер в уголке просидел и домой не просился... Слушал нас? Молодец! Слушай, запоминай:

того, что узнал в детстве, до смерти не позабудешь!.. Ты видел сегодня, какие чудеса творила песня, видел ее силу, так вот запомни, что я тебе скажу: конечно, одними песнями сыт не будешь, но и жизнь без песни тоже не жизнь. Запомни это, мой мальчик, хорошенько запомни! – И Мадж вновь двинулся дальше, сбивая с травы росу, опираясь на посох, ослепительно белеющий в ночи.

XXV

Эта удивительная ночь у постели больного Мамсыра запомнилась, – верно, что-то было в ней такое, иначе бы давно она ушла из моей памяти, просочилась, вытекла, как вытекает вода из рассохшейся бочки.

Песни, которыми унимал он свою нестерпимую боль, кровавый раздор между братьями, гибель лучшего из них, светлые, чистые голуби, несущие по миру весть о смерти юного и прекрасного богатыря Сасрыквы, и рядом с этим – одухотворенная весенняя ночь, полная лунного блеска, свежести, безоглядно счастливого соловьиного пения, мудрые слова голенастого Маджа, словно заклинающего меня: «Запомни: без песни нет жизни!..» Все это так не вязалось одно с другим, вызывало такие противоречивые чувства, догадки и мысли, что в голове моей все смешалось и спуталось – там словно неслыханный ураган пронесся.

Но именно эта ночь и все, что я увидел тогда, пробудили во мне не осознанное еще, робкое и смутное чувство, в котором я в ту пору не только разобраться не умел, но и как назвать-то не знал: чувство поэзии...

После той ночи я, хоть и не сразу, начал замечать, что со мною что-то творится, что-то происходит, я сам на себя непохож стал, меня мучили какие-то неясные желания, стремления, чего-то хотелось, но чего – я и сам понять не мог. Сон стал до крайности беспокоен, я проводил ночи в каких-то странных грезах и видениях, слышался, как наяву, голос Мамсыра: «Что стряслось с нартами? Лучший из них лежит в пустом поле, беспомощный, одинокий, а его девяносто девять братьев скачут от него прочь и радуются!..»

«И у Мамсыра перебита нога, кто знает, поправится ли он? – думаю я. – И Бида убит, и дедушка умер. Почему именно самые лучшие уходят от нас? Они умирают – и будто свечи гаснут...»

Мне стало явно не хватать ночи, чтобы выспаться; я ходил рассеянный, отрешенный от всего. Просыпался и шел к Рассеченному камню – только рядом с ним мне становилось немного спокойней.

Я поднимался на холм, оглядывал дали, и на память мне – может быть, потому, что отсюда, с его вершины, хорошо были видны дороги, – приходили мои товарищи, уехавшие учиться. «А вдруг и мне придется уехать на следующий год? – текли мысли. – Как я оставлю все это – и холм, и звонкий Чал, и ручьи, где так весело было ставить мельницы? А мать, а отец, а сестры? А наш дом? Легко ли мне будет без них, а им без меня?»

Никогда раньше такие вопросы не приходили мне в голову, и я замирал перед ними, как перед пропастью, и, не найдя ответа, пускался в обратный путь. Быстро добежав до дома, садился за уроки, но долго не мог сосредоточиться и рад был любому поводу, чтобы отвлечься.

* * *

Воскресенье, близится вечер, за окном моросит дождь, и мне слышно, как поют капли, срываясь с крыши: кули-чли, кули-чли... Разложив перед собой учебники, я сижу за столом в зале, где обычно готовлю уроки. Дело почти не продвигается, ничего не идет мне в голову. И вдруг я срываюсь с места...

На день рождения дядя Танас подарил мне общую тетрадь, совершенно новую, и я очень дорожу ею, берегу, даже прячу на всякий случай. А чтобы она не трепалась, я вложил ее в жестяной оклад от какой-то старой церковной книги с выдавленным на обложке огромным крестом. Оклад попал ко мне давно, еще в те времена, когда церковь разбирали на магазин, – тогда много повыбрасывали таких книг, везде они валялись...

Вот эту тетрадь я и вытаскиваю из тайника, кладу на стол, раскрываю на первой странице, берусь за ручку... Взгляд мой падает на ковер, сотканный матерью, на висящую черкеску дедушки со светлыми газырями, на его суковатый посох, сиротливо стоящий в углу, на окно, за которым серо и сыро. И словно бы голос дедушки зазвучал в ушах: «А помнишь, как я тебя учил, что говорить в такие вот дождливые дни?»

«Конечно, помню!» – отвечаю я ему. И задумываюсь... «А чего, собственно, я жду? Возьму сейчас да запишу!» Я склоняюсь над тетрадкой, обмакиваю перо в чернила и вывожу первую строчку: «Уходите в Ца-

бал, снега и дожди. Теплое солнышко, к нам приходи!» За ней – другие... Когда дошел до конца и перечитал написанное, стало так радостно, будто заимел что-то такое, чего у меня прежде не было.

«И впрямь помнишь, молодец! – снова я слышу ласковый голос дедушки, – Ну, а мои молитвы?»

Дедушка молился раза два-три в год, так что все, что произносилось им в таких случаях, крепко врезалось мне в память. Вот, скажем, Джаджа... И передо мною тут же возникает образ богини земли и плодородия; я вижу, как идет она, невысокая, тучная женщина, по спеющему кукурузному полю; острые, шершавые листья не касаются ее, раздвигаются сами собой в стороны, давая дорогу; осыпается на темные волосы богини золотая цветочная пыльца.

«О богиня Джаджа, ты всесильна, сохрани и умножь нам посевы...» – принимаюсь я писать и записываю столько, сколько могу припомнить.

После Джаджы особенно почтительно обращался дедушка к Айтару, владыке домашнего скота: «О Айтар, семь жизней вместивший в одну, о Айтар, тебе мы вверяем стада, присмотри ты за нашей скотиной...»

«А что еще!» – задумываюсь я и хоть гляжу при этом на потолок, мне кажется, будто вижу звездное небо: «Взгляни на небо, где звезда мерцает, она тебя, мой внук, благословляет...»

Пока я старательно записываю все, что приходит мне на память, в зале становится совсем темно. Сестры, вернувшиеся с прополки табака, весело смеются, переговариваются, моя руки возле амацурты. Я встаю из-за стола и чувствую в себе какую-то необъяснимую легкость, будто скинул с плеч тяжкий груз, давивший на меня все эти дни. Я радуюсь освобождению, но тут же, не сходя с места, даю себе слово никому ни о чем не говорить.

* * *

Быстро перекусив после школы, я сажусь в зале и выкладываю на стол свою тетрадь в жестяном окладе. Вот уже неделя, как я каждый день, не поднимая головы, записываю в нее все, что когда-то слышал. Я так увлекся этим, что и про уроки позабыл; даже ради того, чтобы сбегать с друзьями на речку, и то не могу оторваться – все бы сидел да писал. Вчера и позавчера, например, я до самой темноты вызволял из глубин своей памяти строки песен, петых Мамсыром под свою апхярцу, записал его «Небылицу», потом потрясший меня разговор Сасрыквы с собственной тенью.

Сегодняшний день я решил посвятить Чины сыну Чичину. Но, прежде чем приступить к работе, перелистал написанные страницы и с удовлетворением отметил, что сделал уже немало. Это еще больше воодушевило меня, рука сама потянулась к перу... Итак, Чины сын Чичин. Я отлично помнил его песню «Плачьте, струны, горько плачьте, струны», которую он совсем недавно спел нам, когда вернулся с могилы Хшясы. Вот с нее-то я и начну...

На крыльце, прямо под окнами, сели и завели разговор мать и соседка Лиза. Они очень дружны, жалеют и помогают друг другу чем могут, делятся своими думами. Они разговаривают и одновременно прядут, растопырив и приподняв локти, на которые намотана шерстяная пряжа; она как бы стекает с их рук между пальцами, ловко вытягивающими, свивающими ее в одну нить, на конце которой висит веретено и быстро-быстро крутится. У обоих веретена уже растолстели, раздались в боках, а мать и Лиза, как ни погляжу, все прядут и прядут, не опуская локти. И как только терпят, ведь устали, наверное?.. «И мне не надо замечать усталости!» – решаю я и склоняюсь над тетрадью, и вновь из-под моей руки нитью тянутся строки. Но пишу, а сам невольно прислушиваюсь к разговору на улице.

– Лаган – он сейчас в зале сидит за книжками, не хочу, чтобы слышал, – какой-то другой стал, не знаю, что с ним случилось, – тихо жалуется мать. – Еле уговорили пойти в школу, а теперь так пристрастился к учебе – из-за стола не выходит, все пишет, и пишет, и пишет! Только вот есть меньше стал да сон потерял...

– Ну, про это ты кому-нибудь другому рассказывай, а мне не надо, – с улыбкой замечает Лиза, раскручивая веретено. – Думаешь, я не понимаю, в чем дело? В этом году он еще раз школу заканчивает, вот ты и ищешь предлог, чтоб опять не отпустить его от себя!

– А если и заснет, то ворочается все время, вздыхает, бормочет что-то, – продолжает мать, не уловив насмешки в словах подруги. – Раньше как, вырвется из дому, уйдет гулять, так не докричишься, а теперь – никуда, сидит за столом и пишет, про все позабыл. К чему бы это, а?

– Он у вас единственный, вот вы и трясетесь над ним. Но не слишком ли? Ты, наверное, думаешь, что он еще ребенок, а ведь Лаган уже настоящий парень, ты посмотри, какой вымахал! И не беспокойся ты за него, ради бога, не переживай, мальчик растет, значит, меняется. У них в эту пору даже голоса другими становятся.

– Ах, как трудно, милая, когда у тебя один-единственный сын!

– Да кто ж с этим спорит! Конечно, трудно. Только я вот что тебе должна сказать: сами же потом жалеть будете, что не дали ему образования. Вырастет – проклянет вас, скажет: это они во всем виноваты, это они не позволили мне учиться!

– Так я же не против образования, Лиза, и отец не против, просто мы сына боимся потерять... Его дед даже расписаться не умел, а ведь как его уважали!.. Сама знаешь: легче реке потечь вспять, чем возвратиться назад тому, кто получил большое образование. А если и вернется... Ну что ему здесь делать? В селе-то? Правда, у нас и девочки есть, но они, голубушка моя, срок придет – разлетятся, никто не останется. Дочки уйдут, сын не вернется, и будем мы вдвоем со стариком век коротать, у очага лбами сталкиваться. Пока силы да здоровье есть – все ничего, проживем как-нибудь, переможемся, ну а как силы-то больше не будет? Кто тогда присмотрит за нами, кто воды подаст? Да и на земле мы не вечно, рано или поздно придется уйти, и кому тогда все наше хозяйство достанется? А ведь сколько из-за него пота пролито! И очаг родовой погаснет, следов не найдешь. Вот ведь что получается, Лиза. И чуть задумаюсь об этом, у меня руки опускаются, зачем же, думаю, ради кого тогда мы копаемся, спины гнем от зари до зари?! Свекор мой покойный, мир его праху, мудрый был человек, далеко смотрел и видел, а перед смертью тоже об этом же говорил. Предчувствовал, верно, что-то... – Голос у матери задрожал, она всхлипнула и замолчала.

– Побойся бога, дорогая моя! Как можно лить слезы, когда ничего не случилось? И о сыне грех думать такое. – Лиза, бросив прясть, вскочила, обняла, притиснула к себе мать.

Вскоре они распрощались. Лиза ушла, а мать загремела посудой в амацурте, готовя ужин. Я же по-прежнему продолжал сидеть за столом, писал, мимоходом удивляясь тому, что разговор целиком был посвящен моей особе, а я слушал его так, будто говорили не обо мне, а о ком-то постороннем. Даже слова матери, что для них неученый сын лучше ученого, которые бы раньше наверняка больно задели меня – я, может быть, даже выбежал бы на улицу, стал спорить, доказывать, что это не так, – даже эти слова, определяющие мое будущее, оставили меня совершенно равнодушным. Я их просто-напросто мимо ушей пропустил: не до вас, мол, занят!

Почему? Неужто я стал таким бесчувственным?

* * *

Третий день суета и столпотворение у наших соседей – доконало все-таки Мамсыра разбитое бедро! В день похорон, ближе к вечеру, я тайком пробрался к нему во двор. Народу здесь собралось столько, что можно было заблудиться словно в лесу. Спрятавшись за деревом, я наблюдал за происходящим.

Перед самым домом сооружен был навес, под него поставили гроб; за гробом, в его изголовье, лежал на скамье башлык с черной каймой, расстелена была черная черкеска с блестящими газырями, за ней ноговицы, чувяки, – казалось, будто это сам Мамсыр лежит в обычной своей одежде. Тут же стоял его вороной конь в полном снаряжении, с черным траурным покрывалом на крупе, с притороченными к седлу кремневым ружьем, кривой саблей и абхазским кинжалом; коня держал племянник Мамсыра, – он, одетый в траур, с черной повязкой на лбу, рыдал и бил себя в грудь. Поодаль сидели в ряд мужчины, наиболее близкие покойному, они скорбно молчали, курили, а когда к ним подходили с соболезнованием, разом поднимались и слушали; среди них я заметил отца – он стоял, опустив голову и сумрачно глядя вниз. Напротив них расположились женщины; когда мужчины вставали над мертвым Мамсыром и, выражая свое горе, били себя по голове и в грудь, они шли вокруг них. Там же, как велел обычай, была и моя мать.

Но что особенно поразило меня (и что, может, более всего остального передавало всю непоправимость случившегося), так это посох Мамсыра – его воткнули в землю перед гробом, а сверху повесили известную всем и каждому апхярцу; перекинутый через нее смычок тихо раскачивался под ветром. Причитания и плач женщин мешались с горестными восклицаниями мужчин, и все эти скорбные звуки отдавались в апхярце, она словно бы отзывалась на них и жалобно стонала.

Солнце уже близилось к закату, когда родственники по старшинству начали подходить и прощаться с Мамсыром. Дождавшись конца оплакивания, на середину двора вышел голенастый Мадж, поставленный распоряжаться траурной церемонией, и объявил народу: «Поднимаем покойного!» Родные подняли гроб, понесли к воротам, по пути трижды опуская его на землю. Перед воротами остановились опять. Старик Куамгяс, маленький, как подросток, снял с посоха апхярцу и выбрался вперед.

– Пойдем, Мамсыр, пойдем, дорогой, к твоему новому жилищу. Мы были с тобой ровесники, вместе трудились, дружили, позволь мне исполнить твою последнюю волю!

Куамгяс приблизился к гробу, встал у изголовья и тронул смычком струны.

Зазвучала щемящая душу «Песня скорби», но тут же потонула в рыданиях женщин.

Первым, ведя за поводья вороного коня, двинулся за ворота племянник Мамсыра, следом за ним, и на ходу не прекращая играть на апхярце, старик Куамгяс. И вот, чуть покачиваясь, поплыл над головами гроб с телом Мамсыра. Трудно было удержаться от слез, слыша плач осиротевшей апхярцы.

Вскоре процессия остановилась у свежевырытой могилы. Между сгрудившимися вокруг нее людьми я проскользнул поближе, чтобы все видеть и слышать.

Куамгяс оборвал игру, склонился над Мамсыром и бережно положил апхярцу на грудь хозяину. Потом громко, чтоб всем было слышно, заговорил Мадж:

– Мамсыр, друг, ты из тех, чья дорога ведет прямо в рай, ступай по ней с богом. Но ты не хотел уйти один, не хотел разлучаться со своей верной апхярцей. Вот она, мы кладем ее рядом с тобой, а у нас остаются твои бессмертные песни, они будут с нами от колыбели и до могилы! – И Мадж умолк, грудью опершись на посох.

Вдруг кто-то вполголоса окликнул меня и стиснул плечо. Я обернулся – отец. Не ослабляя хватки, он вывел меня из толпы, отошел со мной в сторону, отчужденно и холодно сказал:

– Сию же минуту иди домой – тебе еще нечего делать на похоронах.

XXVI

Когда ведро, которым черпаешь из колодца воду, начинает с гулким стуком задевать дно, значит, иссяк колодец и теперь только мутную жижу будешь поднимать из него.

Вот уже и у моей памяти близится дно, слышу, кажется, звонкий его отголосок, но постараюсь, не замутив, зачерпнуть ту малость, что еще плещется в ней.

Это случилось на уроке абхазского языка. Тарас Сабыдович прочитал из учебника рассказ и предложил нам изложить его содержание

своими словами. Письменно, разумеется. Рассказ назывался «Шахсмел и араб Амбер», я его почти наизусть знал. Завижу, бывало, иноходца, и тут же вспоминается скакун из этого рассказа. Скакун принадлежал Амберу, у него была такая поступь, что «сядет больной – исцелится».

Так что задание не испугало меня, скорее – обрадовало. С жаром я принялся за работу, пишу, стараюсь, и вдруг срочно потребовалась промокашка. Перелистал тетрадку – нет, у Сергея тоже. Что делать? И тут я вспомнил, что сам же сунул ее в свою «жестяную» тетрадь, а она у меня со мной, в торбочке. Достал тетрадь, вытряхнул промокашку, положил под руку и дальше пишу. А «жестяная» тетрадь так и осталась на парте.

Тарас Сабыдович между тем прохаживался по классу, останавливался, смотрел, как идут наши дела. Подошел ко мне. И разве мог он не обратить внимания на жестяной переплет с выдавленным на обложке крестом? Любой бы заметил. Учитель, думая, что это книга, взял ее, с удивлением полистал, затем вернулся за свой стол, сел и там, гляжу, тоже переворачивает страницы. Видать по всему, читает. У меня душа ушла в пятки. «Дернула же меня нелегкая вытащить ее! – проклинаю себя. – Сейчас столько ошибок найдет – стыда не оберешься! Знать бы, что так получится, я бы повнимательнее писал, проверял, исправлял бы... Или скажет: «Ага! Вот ты как, значит, учишься? Сказочки да молитвы записываешь?! А ну, признавайся, кто тебя надоумил!» Чтоб она сгорела, та промокашка... Ну что ж, если спросит, врать не стану, скажу как есть: никто не надоумил, сам виноват...»

Предчувствуя скорую расплату за содеянное, я кое-как дописал изложение. Тут как раз и звонок дали. Тарас Сабыдович позвал меня и сказал:

– Твою тетрадь я возьму к себе, почитаю на досуге. «Это еще зачем?» – испугался я, и все внутри меня оборвалось. Но не говорить же учителю: «Отдай, не твое!»

Встревоженный, с самыми худшими опасениями вернулся я домой. Ночью спал плохо, ворочался с боку на бок...

На следующий день, едва войдя в школу, я тут же наткнулся на Тараса Сабыдовича. Не знаю, по какому поводу, но одет он был сегодня в новый полосатый костюм, какого я никогда не видел на нем, на груди струился, переливался, как пламя, шелковый галстук, заколотый сверкающей булавкой. Эта булавка всегда почему-то завораживала меня, на уроках я глаз от нее отвести не мог, как ни взгляну – сразу же

вспоминаются ночное небо, звезды, дедушка, наши с ним гулянья по двору...

Тарас Сабыдович поздоровался со мной и прошел мимо. «Наверное, руки еще не дошли до моей тетради», – предположил я и вздохнул посвободней.

Миновал этот день, миновал другой, миновал третий, а учитель ни словом не обмолвился о моей тетради, как будто ее и вовсе не существовало. Я переживаю, места себе не нахожу, но спросить стесняюсь да и боюсь.

Не помню уж точно, сколько времени я промучился в неизвестности и ожидании, но однажды все разрешилось.

Последний урок вел Тарас Сабыдович; он рассказывал нам о временных формах глагола. Ближе к концу стал вызывать к доске, проверять, как усвоен материал, заставлял писать примеры. Вызвал и меня. Пишу, а у самого сердце ноет, все о своей тетради думаю.

Когда прозвенел звонок и все приготовились рвануться вон, Тарас Сабыдович велел задержаться. В это время в класс вошла Вера Николаевна, в руках у нее была моя «жестяная» тетрадь. Наверное, они заранее обо всем договорились.

– Видите? – Тарас Сабыдович взял у Веры Николаевны «жестяную» тетрадь и приподнял ее над собой. Потом подозвал меня, поставил рядом и продолжил: – Но это не просто тетрадь, как вы бы могли подумать, это рукопись. Он делает хорошее дело: сюда, в эту тетрадь, он записывает то, что услышал от народа, – частушки, песни, сказки, предания... Мы, учителя, посоветовались между собой и решили, что в школе стоит организовать литературный кружок: кто знает, может, кто-то из вас, начав собирать устное народное творчество, станет писать потом собственные стихи и рассказы?.. А теперь, Лаган, прочти-ка нам что-нибудь – что хочешь, на твое усмотрение. – И он протянул мне «жестяную» тетрадь.

– Не надо, я и так все помню, – ответил я, и тетрадь осталась у учителя.

Раздумывать было некогда, и я стал читать то, что знал лучше всего. Это была одна из песен Чины сына Чичин; я подозревал, что он о себе ее сочинил:

На вид он вовсе не старик
Да и здоров еще как бык,

А вот ни в чем достатка нет –
Он хуже нищего одет.

Всегда и всюду одинок,
Ему что запад, что восток:
Какой ни шел бы стороной –
Везде он свой и всем чужой.

Весна и солнце – позади.
Зима и холод – впереди.
Хотел бы выпить он вина,
Да все уж выпито до дна.

Захочет поле он вспахать –
Сохи не может отыскать.
Найдет, пройдется раз-другой –
И больше в поле ни ногой.

Когда ж наступит время жать,
Не может поля отыскать:
Как лес, дремучий и густой,
Там сорняки стоят стеной.

Его лачуга у болот.
Ее он чинит круглый год,
Хотя давно пора на слом
Пустить убогий этот дом.

Есть у него в хозяйстве конь –
Дрожит, шатается, чуть тронь,
Но этот конь – весь скот его,
А кроме – нету ничего.

Вот так живет он... Почему?
Что поломало жизнь ему?
Об этом пусть, мои друзья,
Вам сердце скажет, а не я!

Прочитал я, на свой собственный взгляд, неплохо, разве что запнулся пару раз. Но у Тараса Сабыдовича было на этот счет иное мнение.

– Так-так... Нет, не позволю охладить интерес к этому! – весело сказал он и, раскрыв тетрадь, стал читать сам. Прочитал сначала «Небылицу», Мамсыра, потом «Сасрыкву и его тень», в конце – дорожную песню Биды.

Я сидел, слушал и поражался, как замечательно читает наш учитель, каким звучным, полновесным, каким прекрасным кажется в его, устах слово! Мои одноклассники завороженно внимали Тарасу Сабыдовичу, и мне вспомнилось, что они точно так же слушали его, когда он читал про Хмыча-охотника. Голубоглазая Ната с первой парты замерла, прижав карандаш к губам; непоседа Лад затаился, притих, ушки на макушке; только мой друг Сергей нет-нет да и бросит на меня укоризненный взгляд: как, мол, посмел я утаить от него такое чудо?

– Кто хоть раз познал вкус народной песни, никогда не забудет его – он подобен вкусу земляники. А того, кто станет собирать их, можно сравнить только с собирателем жемчуга, – раздался голос Веры Николаевны. – Ну что ж, очень доброе, очень полезное дело ты затеял, Лаган. Не знаю, как сложится твоя судьба, может быть, ты сам станешь писать стихи, но как бы она ни сложилась – не бросай, продолжай записывать!

На этом все разошлись, а я остался. Учителя сидели за столом и говорили, говорили, а передо мною лежала моя «жестяная» тетрадь; она была раскрыта, и я видел, что Тарас Сабыдович все-таки прошелся по ней красным карандашом, подчеркнул все мои ошибки. Сейчас он растолковывал мне, как нужно правильно записывать стихи – не подряд, как у меня, а каждую новую строчку отдельно и с большой буквы.

Когда Тарас Сабыдович умолкал, начинала говорить Вера Николаевна и тоже давала полезные советы. Потом опять говорил Тарас Сабыдович:

– Поверь, Лаган, мы очень хотим, чтобы ты получил хорошее образование, и будь спокоен – сделаем все, что от нас зависит. На днях я поеду в Сухум, уточню там, куда тебе лучше поступить. А как вернусь, мы с Верой Николаевной сходим к тебе домой, поговорим с твоими родителями.

– Да-да, а то опять получится, как в прошлом году, – добавила Вера Николаевна.

Я и без того чувствовал себя счастливым, но эти слова окрылили меня...

Школьный двор был пуст и безлюден, но для меня в мире не существовало теперь пустоты, все было наполнено жизнью и светом, все казалось новым и праздничным. Солнце, ослепившее меня, когда я вышел на крыльцо, увидело мою радость и умерило свой пыл; дорога, по которой помчался я к дому, припрятала все свои ухабы и кочки, понесла меня на себе, как на ладони, а придорожные тополя тихо шептали под ветром: «Мы рады, мы рады...»

Навстречу мне попался всадник. Когда я, уступая ему дорогу, снял шапку и шагнул в сторону, он кивнул мне и поехал было дальше, но, наверное, лицо мое лучилось таким счастьем, что невозможно было равнодушно проехать мимо, и мужчина оглянулся, с улыбкой благословил меня: «Да хранят тебя боги, малыш!»

Не помня себя от радости, я вбежал в наши ворота и сразу же услышал раздраженный голос отца, покрикивающего на буйволов. Часть двора была у нас отведена под хлопок, огорожена, и как раз там работал сейчас отец, пахал. То ли от зноя, то ли еще от чего, но буйволы в тот день ленились, не слушались, норовили завернуть в тень, и он, чувствовалось, начинал уже выходить из себя.

– Хи-и, лак-лак! Чтоб вы издохли, проклятые, куда вас опять несет! – злился отец и ломал прутья о буйволиные спины.

– Дома, кроме него да матери, никого не было – сестры ушли полоть табак и еще не вернулись.

– А, явился наконец! – заметил меня отец. – Нет чтоб отцу помочь, шляется где-то... Или для тебя что ни день, то праздник?

– В другой раз я мигом бы скинул торбочку и пошел впереди буйволов, но после его слов всякое желание пропало помогать отцу. «Ему до меня никакого дела нет. Что ему моя радость, даже не спросил ни о чем!» – надулся я и пошел в амацурту.

Мать была в чуланчике, готовила аджику.

– Что-то ты поздно сегодня, – обронила она, когда я просунул в дверь голову. – Иди обедай, там тебе оставлено, под полотенцем. Наверное, еще не остыло.

– А меня сегодня перед всем классом похвалили! – начал я, не в силах более сдерживать свою радость. И с кем же мне было еще поделиться ею, как не с матерью, самым близким для меня человеком?

– Кто похвалил? Ну, говори скорей! – Мать обеими руками держит камень, которым растирала на плите перец и пряности; рядом, на ска-

мье, большое плоское блюдо, на котором горкой высится уже готовая аджика, дух от нее такой – насквозь пронимает.

– Ну как – кто? Наши учителя, Вера Николаевна и Тарас Сабыдович!

– Видать, хорошо к урокам подготовился, молодец!

– Да нет, вовсе не за уроки.

– А за что же еще?

Таиться мне было больше незачем: если мои записи читали перед всем классом, то от матери их совсем уж грешно скрывать. Я сбросил с плеча торбочку, вытащил «жестяную» тетрадь.

– Вот, – сказал я, протягивая ее матери, – вот за что меня похвалили – за все, что я написал тут.

– Ах, сынок, сынок, ты что ж, думаешь, я возьму ее и тут же узнаю, что в ней написано? Нет, мой милый, неграмотный что слепой, давай уж сам. – Мать с любопытством глянула на тетрадь, оставила аджику в покое и приготовилась слушать.

– Да тебе тут почти все знакомо! – утешил я ее, предвкушая еще одну радость и еще одну похвалу. – Вот песни, которые пел Мамсыр, его «Небылица», «Песнь ранения», а вот песни Чины сына Чичина – «Завидный жених», «Ах, что за чудо-парочка!»... А здесь, на этих страницах, записаны дедушкины молитвы и заклинания. Помнишь, как он обращался к Джадже:

О Джаджа всемогущая,
Ввек твоя милость над нами,
Не лишай покровительства нас!..
Там, где семя упало.
Чтоб колосом встало,
Чтобы зрели початки
Увесисты, сладки –
В два локтя длиной,
В один – толщиной...

Или вот к Айтару:

О Айтар, семь жизней вместивший в одну,
О Айтар, тебе мы вверяем стада,
Присмотри ты за нашей скотиной...

Прервав чтение, я взглянул на мать, чтобы насладиться ее радостью, и обомлел: она пораженно, с каким-то испугом, даже ужасом вглядывалась в меня. Вдруг мать со стуком выронила пест и стала медленно приподыматься, на глазах изменяясь в лице.

– О Господи, что я слышу! Уж лучше бы мне умереть, чем слышать такое... Сорока дней не прошло, как похоронили дядю, а тут его песни. Да как у тебя язык повернулся говорить за мертвого?! А эти молитвы и заклинания, которых ты наслушался от дедушки... Да знаешь ли ты, что лишь избранным дозволено произносить такие слова?! О ужас! Да что же теперь будет, Господи? Ведь не оставят его теперь в покое несчастья, снова привяжутся, в гроб сведут!

– Да здесь не только это записано, здесь и твое, чему ты меня научила. Вот колыбельная, вот «Саунау, Саунау», – попытался я хоть как-то успокоить мать, но она и слушать меня не захотела:

– То-то, гляжу, все таился чего-то, прятался, уединения искал, вон оно в чем дело-то, оказывается!.. Господи, да зачем тебе понадобились все эти песни, все эти признания, исповеди? От них же ничего, кроме гибели для себя, не дождешься! Помню, был в соседнем селе один, имя только забыла, тоже учился, учился, да заучился, видать, увлекся песнями и погиб раньше срока, съела его чахотка! И ты этого хочешь? Зачем?.. Кто тебя подучил этому, а? Ведь не сам же ты додумался до такого! Ну ладно, не хочешь говорить – и не надо, молчи, только никому больше не рассказывай, пусть все в этих стенах останется, не хочу, чтобы знали, а тетрадь я спрячу, дай мне ее, дай сюда, дай немедленно!

И мать непременно вырвала бы у меня тетрадь, да руки у нее были перемазаны в аджике, и потому она действовала ими не слишком уверенно.

Слова матери подействовали на меня как пощечина, я отшатнулся от нее, перебежал амацурту, спустился во двор, побрел, шатаясь, к воротам. Жаркая волна подымалась во мне, поднялась, достала до горла, мешая дышать, глаза застилали слезы. Я не глядел по сторонам, меня не трогали распаленные крики отца, погоняющего буйволов; горькие мысли роились в моей голове, жалили подобно пчелам: «Как же так, почему? За одно и то же учителя похвалили меня, а мать отругала... Никогда не видел ее такой, даже в лице переменилась, словно я преступление совершил... Может, и впрямь несчастья идут за мной по пятам? Ведь все, чего ни коснись, все для меня выходит боком!.. Конечно, отец и мать любят меня, я это знаю, но они ни в чем не доверяют мне,

за каждым шагом следят, они думают, что я, как цыпленок: стоит отпустить одного, как тут же потеряюсь! Или коршун, утащит». До каких пор они будут опекать меня? Моим товарищам хорошо – учатся себе в городе, а скоро и новые разъедутся, пойдут своими дорогами. А я... я опять останусь здесь... Почему, чем я хуже?

Учителя, чужие люди, заботятся обо мне больше, чем свои, родные, которые ждут да помалкивают, притворяются глухими и слепыми. "Научился писать и считать – и слава богу, этого вполне достаточно для жизни!" – вот как они рассуждают...»

Я вышел за ворота, и ноги сами понесли меня к Рассеченному камню – возле него мне всегда становилось легче, он словно впитывал в себя все мои слезы и огорченья. Может, и в этот раз я найду рядом с ним утешенье и успокоюсь, отойду, позабуду свои обиды.

Нынешний день был самым счастливым в моей жизни, никогда еще не испытывал я такой радости. И вот что из этого получилось... А ведь мог же отец, когда я вернулся, хоть на пару минут оставить своих буйволов, подойти ко мне, расспросить, приласкать, поздравить! А мать? Что она, Богу обет дала – именно сегодня покончить с аджикой? Неужели что-то изменилось, если б она отложила это дело? Я ждал, что она порадуется вместе со мной, сядет рядом, обнимет и скажет: «Ах, как я рада, сынок, как счастлива! Прочти мне что-нибудь из твоей тетрадки». А она вместо этого напустилась на меня... Но, может, я просто-напросто обманываю себя, может, и хвалить-то меня не за что было? Что я, в конце концов, сделал выдающегося? Записал песни, которые у нас в селе каждый знает? Так ведь я же не придумал их, просто на бумагу перенес... Но тогда почему и за что хвалили меня Тарас Сабыдович и Вера Николаевна?..

Раздираемый противоречивыми думами, я добрался до холма... Склон, по которому мне предстояло подняться, напоминал ковер, сотканный из одних лишь цветов, кое-где только чуть-чуть разбавленных зеленою травкой. Пылающее, нестерпимо яркое солнце тихо шло на убыль, высоко в небе – чистом, без единого облачка – с пронзительным щебетом носились ласточки...

Я лез по склону, и меня настигали звуки, которых не было слышно внизу, в долине. Вот тяжело ухнуло несколько раз подряд – это в Ткуарчале, там, говорят, отыскали настоящий подземный клад, залежи каменного угля, и сейчас динамитом прокладывают новые дороги; скоро Ткуарчал станет городом. А со стороны Двана доносится мерное

урчание – это тракторами выкорчевывают папоротники, на их месте посадят чай, невиданное доселе у нас растение.

«Эй, эй, поднажмем!..» – поют крестьяне на том берегу Чала: сегодня они первый раз в этом году вышли пропалывать свои наделы. А внизу, подо мною, на зеленом лугу пасется белоснежное облако – это овцы; у одной из них на шее висит колокольчик и позванивает тихо и нежно.

Вдали серебрятся под солнцем горы, и каждая будто говорит: «Не думайте, что согнули и придавили нас зимние снега, ничего подобного! Это мы сами надели их на себя, как белые бурки, и скоро сбросим со своих плеч!» Но более всего поражает море – кажется, что оно подступило к самому холму, плещется в его подножье, неоглядное, знойно слепящее, словно тающее у горизонта...

Все выше и выше поднимаюсь я на холм, и все шире и шире раздвигаются зримые границы мира – он распахивается передо мной, вбирает в себя все больше новых красок и звуков, и то, что раньше было само по себе, становится только черточкой одной великой картины... «Как я мог раньше не замечать этого?» – думаю я, крепко прижимая к груди тетрадь, которой едва не лишился. Сейчас она нагрелась и от меня, и от солнца, и я как будто птенца несу за пазухой, ощущая его тепло.

Я уже был на самой вершине, когда вдруг – не знаю почему, но причин достаточно: и зной, и подъем, а главное, все, что я пережил сегодня, – у меня помутилось в глазах и почудилось, будто холм дрогнул, как от землетрясения, и две половинки Рассеченного камня подскочили в воздух и тут же с гулом упали на прежнее место.

Сердце мое колотилось; я не смел верить своим глазам и в то же время знал, что я это видел – я видел, как зашевелился и поднялся в небо Рассеченный камень...

«Если зашевелились, пришли в движение куски камня, некогда рассеченного Абрскилом, – вспомнился мне дедушка, его голос, рассказанная им легенда о могучем богоборце, – значит, пришла пора его освобождения, и он в этот миг, как гнилые веревки, рвет цепи, которыми опутали его. Потом он выберется из пещеры, и к нему с громким ржаньем подбежит его крылатый конь; Абрскил снова, как в прежние времена, сядет на него, поднимется в небо, мелькнет по нему яркой звездою и опустится у моря, а отсюда во весь опор помчится к Ерцаху, чтобы снова совершать свои подвиги. А когда он еще только будет выбираться из пещеры, сверкнет небывалая молния, загремит небывалый гром...»

– Мама, я здесь, не бойся! – кричу я, зная, что напуганная грозой мать уже ищет меня, и оглядываюсь на дорогу.

Но дорога пуста, и все так же тянут крестьяне свою песню, белея рубахами на склоне холма напротив, и все так же пасутся на лугу овцы и звенит одинокий колокольчик. А ведь внезапный гром среди ясного неба должен был бы встревожить их, но никто даже головы не поднял.

Испугавшись, что я проглядел Абрскила и он уже скрылся в небе на своем волшебном коне, я запрокинул голову и стал всматриваться в синеву. Смотрел до тех пор, пока наконец не заметил какую-то точку, но она была черной, а не светлой и издавала гудение... Да, конечно, это был аэроплан; в последнее время они часто летают здесь, проносятся то с востока на запад, то с запада на восток. И все, кроме аэроплана, ничего больше не было в небе, даже самой легкой тучки.

Не в силах понять, что стряслось со мною, прижимая к груди тетрадь, я стоял между двух глыб, бывших некогда единым камнем, а мой взгляд уже уводила за собой дорога, далеко внизу извилисто бегущая к морю.



Книга вторая

Часть первая

Не в силах понять, что стряслось со мною, прижимая к груди тетрадь, я стоял меж двух глыб, бывших некогда единым камнем, а мой взгляд уже уводила за собой дорога, далеко внизу извилисто бегущая к морю.

Так завершается, если помнит читатель, первая книга этого романа. Таким же загадочным, уходящим за горизонт, представлялся и мой жизненный путь, на который я, тринадцатилетний деревенский подросток, намеревался вступить. Интуитивно я ощущал, что он будет долог, а отрадные ребячьи надежды расцвечивали его всеми цветами радуги. Я и думать не думал, что моя дорога протянется над бездонными провалами, пройдет по отвесным скалам, по ущельям, каменистым почвам и все время будет натыкаться на препятствия, чье преодоление потребует неимоверных усилий.

Мои юные ожидания полнились светлыми мечтами. Не я один, все мое поколение с радостным энтузиазмом смотрело в будущее. Определить границы и дерзновенных мечтаний не представляется возможным – столь они были и обширны.

Меня вместе с моими сверстниками приняли в пионеры. Трудно передать, какая гордость обуяла нас, когда нам повязали на шею алые галстуки. Следующей мечтой, исполнения которой ожидали с трепетом, было вступление в комсомол. Комсомольцы активно включались

в борьбу за ликвидацию безграмотности, организовывали для этого специальные кружки, которые сокращенно назывались – ликбезы. Широко проводили комсомольцы и антирелигиозную пропаганду, вряд ли нашелся бы среди моих сверстников храбрец, который осмелился бы посетить службу в храме или войти в мечеть. На дворянство поглядывали с недоверием. Молочные братья князей предпочитали забыть о том обстоятельстве. Между тем, согласно обычаю, княжичи с рождения и до определенного возраста росли в крестьянских семьях. Кормилица одновременно вскармливала и княжича, и свое чадо. Таких детей называли молочными братьями и считались они родичами.

К дням минувшим людям возврата нет,
В бездну – прошлое, пусть воссияет свет!

Из тех песен, что мы распевали в ту пору, прославляя новое время, в памяти остались только эти строки.

Но не забылось жесткое противостояние старых устоев и новых веяний. Правда, силы были неравны. Молодой энтузиазм, желание перемен заражало и людей постарше. Повальная жажда образования, охватившая молодежь, находила отклик и в сердцах родителей. Даже в тех крестьянских семьях, где подрастал единственный сын – будущий пахарь и кормилец – и того – не отставать же от соседей и от требований нового времени – снаряжали в путь-дорогу, в город, чтобы и он получил образование.

Новое время вернуло абхазам утерянную государственность, хотя и установились иные, чем прежде, законы. В застольях словославили Ленина: «Счастье и надежды принес великий Ленин нашему народу, пережившему бездну невзгод. Теперь под светлым его оком поднимется наша Абхазия, укрепится, и навеки сохранятся наши обычаи, душа наша». Крестьяне всем сердцем верили, что не на словах, а на деле наступила эра трудящихся, и старались, возделывая поля, не только помочь семье своей, но и укрепить силы молодой республики. Они и не подозревали, что уже начались необратимые процессы по урезыванию прав Абхазии, как не подозревали, что и трудовой энтузиазм выйдет им боком. Неожиданно самых работящих и соответственно зажиточных крестьян стали объявлять чуждым элементом, лишать их права голоса, отправлять в ссылку и торопливо создавать колхозы на осно-

ве вновь отобранных у крестьян земель, владением которых они и не успели насладиться. В эту смутную пору я отправился в город Сухум. Я был полон молодого энтузиазма, замечал лишь радужные верхи перемен, по юной незрелости не мог разглядеть, что кроется за позолотой происходившего. А между тем в глубине уже пришло в волнение море жестких решений, невзгод, столкновений, и недалек был тот час, когда море вовсю заштормит и оно, выйдя из берегов, поглотит миллионы лучших сыновей и дочерей страны, вобравшей в себя к тому времени бездны земель и народов.

А какая судьба была уготована мне лично?

Всю доброту, нежность, радость бытия, счастья каждого дня, незамутненное восприятие красоты родимых мест я оставил детству. Юношеству моему досталась иная участь: нужда, душевная смута, вкус предательств, разочарования, чувствительные постижения новых реалий.

Детство мое – свет безоблачного дня. Юность – ночь безлунная, блуждание в потемках. Но вершилась моя юность отнюдь не на необитаемом острове. Я был то школьником, то студентом и всегда пребывал в гуще людей. Жизнь припасла мне разные встречи: радость узнавания единомышленников, горечь разочарования в прежних друзьях. Жестокое время перекраивало людей, ломало их. Многие приспосабливались к нему, меняли свои принципы в соответствии с его условиями, иные ушли в себя, не причастились ни к добру, ни к злу, были и те, которые с энтузиазмом толкали в пропасть своих соотечественников. Попав в водоворот событий, я не отдался течению и, хотя мой жизненный опыт был скуден, здоровое врожденное начало заставляло меня изо всех сил сопротивляться навязываемому извне и выбраться к берегу, мной избранному, а не к тому, куда река жизни возможно когда-то и выбросила бы меня.

Семидесятилетний мой путь не пролегал по ровному ландшафту, ласкающему взгляд и тешащему душу. Он проходил над пропастью. В юности, когда сомнения и раздумья жестоко раздирали меня, откуда-то звучал мне оберегающий голос, указывающий направление к спасительному берегу. Когда я проходил по отвесным скалам и мысль о том, что вот-вот сорвусь, была нестерпимо горяча, кто помогал мне найти ногами прочный уступ? Но он находился. А на крутом перевале путеводная звезда указывала мне в тумане заветную тропку, бегущую над пропастью, но оберегающую от нее.

И кто же окликал меня сильным голосом: «Не поддавайся унынию!», когда в минуты отчаяния я готов был свести счеты с жизнью и покинуть опостылевший мир?

Я возвращался в город по той дороге, по которой давным-давно уехал из родного дома – можно сказать, жизнь назад. Три дня я провел в усадьбе, в которой родился, в доме детства. И само детство неотступно следовало за мной все эти дни. Оно водило меня своими тропами. Я поднялся на холм, встал как в детстве между глыбами Рассеченного камня, загляделся на дорогу, которая увела меня, юного, из дома и бросила в водоворот немилосердных жизненных событий.

Неужто миновала моя жизнь, подобно быстрой весенней грозе? И многие ли запомнили ту грозу? Возможно, найдутся и такие, но не счесть и тех, чьего уха не коснулся даже ее отзвук.

Наверное, самая большая несправедливость из всех несправедливостей заключается в том, что мы покидаем этот мир раньше, чем успеваем огласить все то, что мы успели постичь за время бытия.

Рассказать о светлом времени детства, пусть и не богатого событиями, не наполненного счастьем первых нехитрых открытий, дело нетрудное, да и начало юности, новые впечатления отпечатались в памяти как бы большими буквами точно в букваре. А молодость моя тяжкая, зрелость? Здесь нет ровной линии воспоминаний. В мозгу, утомленном перипетиями нелегкой жизни, минувшие события высвечиваются яркими вспышками, томя и волнуя. Читатель может почерпнуть много интересного из описания долгой и непростой жизни во времена тоже совсем непростые, какие выпали мне. Главное, достойно рассказать о них...

I

Собрались мы в путь ранней ранью. Над росным двором только рассеивался утренний туман. И над горой лишь показался край солнечного диска. Отвозил меня в город мамин брат. Должно быть, из уважения к нему мать не дала пролиться слезам, дрожавшим в ее зрачках, обняв меня, поцеловала в макушку, шепнула: «будь умницей, нан[7]» и подтолкнула вослед дяде, который уже шел по двору. А у ворот нас встречал отец. В округе считалось, что встреча с ним приносит удачу, доброта его, как охранная грамота. С любовью глядя на нас, он распахнул нам ворота. И услышали мы слова заклятия, призванные оградить от зла:

[7] **Нан –** обращение пожилой женщины к младшим по возрасту.

В глаз дурной летит стрела,
Пес пятнистый палкой бит,
Горе травка заплела,
И проклятье прочь бежит.

– Теперь черный глаз вам не повредит! – посулил отец и обратился, стоя посреди распахнутых ворот, к Богу:

– Да ниспошли, Господь, им добрую дорогу. Даруй моему сыну свое благословение.

Мы двинулись по проселочной дороге в сторону сельской конторы. Дядя мой Танас рассчитывает, что возле конторы нам удастся сесть на фаэтон, на котором сможем проехать часть пути, а то и добраться до Сухума.

Дурная примета – оглядываться, выйдя за ворота, на дом свой. Именно это останавливает меня, а то уже десятки раз обернулся бы. Хотя я и без того явственно, будто подсматриваю, укрывшись за дверью, представляю все оставленное. И точно знаю, кто, чем занят. Мать моя быстрым шагом вошла в летнюю кухоньку, села у очага, накинув на голову старый платок, и наконец-то дала волю слезам. Теперь они щедро орошают ее щеки. Отец же, не входя в кухоньку, поднял возле дома топор или цалду и садится поодаль возле точильного камня и принимается направлять лезвие. Неважно, что топор и без того острый – он хочет матери дать выплакаться без помех. А мои сестры побежали на крыльцо дома на сваях и там напрягают зрение, чтобы подольше нас провожать взглядом. Они тоже плачут, но ни за что не хотят показать свои слезы матери, чтобы она не расстраивалась еще из-за того, что мои сестры плохо переносят разлуку со мной.

Мне нравится мой дядя и рад, что именно с ним я пустился в путь. С гордостью поглядываю на него. На Танасе ладно сидит черная черкеска, из-под которой выглядывает белоснежный архалук, застегнутый у горла на мельчайшие пуговки, на ремне, перетягивающем стан, – кинжал со щедрой серебряной отделкой. От солнечных лучей, играющих на рукояти и ножнах, кинжал как бы вспыхивает многочисленными искорками. Мне кажется, что они слегка укоряют меня, что я не поспеваю за широким шагом дяди. Танас года три как возглавляет сельсовет. Он уважаем в округе, и если меж сельчанами возникает спор или иное недоразумение зовут его. К слову Танаса прислушиваются. Дядя мой высокий, статный, в его рыжеватых волосах

и бороде – ни одной седой волосинки, а глаза, как и у моей матери, ярко голубые.

Издали мы заметили, что возле здания сельсовета под раскидистой липой стоит фаэтон. Мы прибавили шагу, и в это время перед нами как из-под земли вырос Зитбей Тхуазба. Мы учились в одной школе, но он был постарше и после завершения учебы я не видел его где-то с полгода, но за столь короткое время он настолько изменился, что я с трудом его узнал. Вместо чувяков из сыромятной кожи на его ногах красовались настоящие туфли кирпичного цвета, серая шляпа, низко надвинутая на лоб, заменила знакомую войлочную шапку. Одет был Зитбей в брючную пару. Он даже был при галстуке, пестром, как крыло сойки.

Сначала Зитбей обменялся чинными приветствиями с моим дядей и только потом обратился ко мне:

– Ты-то мне и нужен, я как раз намеревался зайти к вам домой! – и вновь обращаясь к моему дяде, пояснил: – Я знаю, что ты мечтаешь продолжить образование. А тут как раз в Сухуме при абхазском педагогическом техникуме открыли подготовительные курсы. Вот я и приехал по поручению дирекции набирать слушателей на курсы. Как ты на это смотришь, Лаган? Кстати, твоя сестрица Мачич, студентка техникума, хотела бы видеть тебя на подготовительном курсе, попросила меня поговорить с вашими родителями.

Предложение для меня было столь неожиданным, что я растерянно глянул на Танаса в ожидании его совета и поддержки.

– Да падет на меня твоя головная боль, Зитбей! Кто знает, может, и счастливый случай свел нас сегодня. Но не скрою, я везу племянника в Сухум для учебы в абхазской средней школе имени Нестора Лакоба.

– Так вы припозднились! Уже двадцать три дня с учетом нынешнего, как там начались занятия!

– Знаем... Но весь месяц Лагана трепала малярия, не более недели, как он оправился. Парень он смышленый, сам знаешь, быстро догонит в учебе сверстников, лишь бы приняли... Я собираюсь о нем хлопотать от лица села.

– Нужна крепкая рука, чтобы пошли вам навстречу! Или справка, что он из семьи бедняков.

– Но его отец Бадра не бедняк, а середняк! – немного удивившись, напомнил Танас.

– Что ж, желаю удачи! – Зитбей коснулся пальцем края шляпы и зашагал прочь.

– Погоди, Зитбей, да возьму на себя твою головную боль, – окликнул его дядя и даже сделал несколько шагов в сторону уходившего.

Тот остановился и тоже двинулся навстречу.

– Если что-то помешает нам устроить Лагана в школу, можем ли мы определить его в техникум? – справился дядя. – Могу за него поручиться, он справится с учебой.

– Так ведь я того именно и желаю. Но, узнав, что у вас другие виды на племянника, не стал вас отговаривать. Остановитесь в общежитии техникума, с Мачич повидаетесь. Лаган оглядится. А я не позднее послезавтрашнего дня приеду с будущими слушателями курсов. Соберу ребят, сколько смогу, и привезу.

– Я не могу на несколько дней задерживаться в Сухуме, – огорчился дядя. – Достоин я того или нет, но поставлен во главе большого села и дел здесь невпроворот. Если со школой у нас выйдет осечка, то я оставлю Лагана на попечении его сестры. А ты уж, Зитбей, по возвращению позаботься об его устройстве, прошу тебя, как от своего, так и от имени его родителей.

– Сделаю все, что я смогу, уважаемый Танас! – заверил Зитбей и пошел своей дорогой.

Танас некоторое время еще стоял в раздумьях. Затем он взял меня за локоть и ласково улыбнулся:

– Нам открывается и другой путь. Где-нибудь да что-то у нас получится. Похоже, удача на нашей стороне.

Быстрым шагом он повел меня к фаэтону и первым посадил в него меня, а затем и сам занял сиденье рядом. Еще четыре незнакомца уселись на свои места. Фаэтонщик зычно прикрикнул на лошадей, взбодрил их кнутом, и мы двинулись в путь.

II

Я тогда впервые ехал на фаэтоне, и мне казалось, что он не тарахтит по ухабистой дороге, а птицей летит. Так мы и долетели до моста через реку Басла. Здесь мы сошли с фаэтона. Сначала Танас спрыгнул наземь, а потом, подхватив меня, спустил с фаэтона. В моей голове гудело то ли от избытка впечатлений, то ли из-за недавно перенесенной малярии. Ноги слушались плохо, но я виду не подавал, не хотел, чтобы дядя за-

метил мою слабость. Мы прошли совсем немного, когда дядя подошел к чистильщику сапог на обочине дороги и сел к нему. Дядя считал, что его мягкие кожаные сапоги должны быть начищены до зеркального блеска. Пока ему наводили глянец на обувь, я прошелся по мосту, облокотился на металлические поручни и загляделся на реку. Неспешным беззвучным было течение Баслы, вода в ней оказалась не прозрачной, а цвета сыворотки. Устье реки было совсем близко, и я мог разглядеть, где она вливается в море... если вливается. Казалось, что река не двигается, стоит как зачарованная. Зато сновали по ней множество лодок, соперничая по количеству с рыбацкими сетями в реке. «Неужто в этой мутной воде водится рыба? – удивился я про себя. – И, наверное, даже немало рыбы, раз расставлено так много сетей».

Тут меня хлопнули по плечу, заставив резко обернуться. Это был Танас. Сейчас на мосту он мне показался еще выше ростом, возможно, из-за серой смушковой шапки с высоким верхом. Вот какой у меня дядя – стройный, с перетянутым тонким станом, со смеющимися голубыми глазами. Я гордился им.

– Не забыл тетрадку? – спросил он. – Сейчас мы прямиком направимся в ЦИК, нам надо с Алиасом Шаматовичем повидаться. Лаган, мы должны настоящему писателю показать твои стихи.

– Может, не стоит? – засомневался я, хотя тетрадь, конечно, была со мной, держал ее за пазухой. – Такой известный человек, и тут моя писанина...

– Два лучших ваших учителя – они же не фасоль лущат, а в своем деле разбираются, – сказали, что у тебя есть дар. К тому же, мы с тобой уже договорились показать твои опыты Алиасу Шаматовичу. Не будем заново рядить-судить, а пойдем к нему немедля.

Он скорым шагом пошел по улице, а я двинулся за ним, озираясь по сторонам.

Я знал, что ЦИК – это Центральный комитет исполнительной власти, – главной власти – а значит, он должен располагаться в здании, превосходящем всех по виду и размерам, в особенной постройке. Ничего похожего пока не попадалось, но и без того глаза разбегались – ведь я впервые был в Сухуме. Я засматривался то на проезжающий автомобиль, то на двухэтажный дом или замысловатую вывеску над магазином. Так как я все глазел по сторонам, а не прямо, то и дело наталкивался на встречных прохожих. На мой взгляд, их было больше,

чем надо. Танасу не нравилось, что я все время плетусь позади, и он то и дело окликал:

– Прибавь шагу!

Я поначалу ускорял шаг, но потом вновь отвлекался. Алиаса Шаматовича, человека, с которым мы связывали наши надежды и к кому торопились в тот день, и мне посчастливилось увидеть однажды. Случилось это весной в прошлом году. Под одинокой ольхой возле здания сельсовета собралось множество народу. Мы, школьники, были наслышаны, что приезжает известный писатель и именно он проведет собрание, и как только закончились занятия, мы стремглав ринулись к сельсовету. Но пробиться через толпу нам не удалось. Некоторые ребята заняли места на пустой арбе, стоявшей возле конюшни, и оттуда смотрели на собравшихся. Я же с другом Сергеем взобрался на крышу конюшни. Отсюда все просматривалось отлично. Возле стола стоял гость и держал речь. Он был невысокого роста, большеглазый, с блестящими темными волосами. По обе стороны от него сидели мой дядя Танас и Леуарсан – председатель только-только сколоченного колхоза. К тому времени, когда мы с другом заняли свой наблюдательный пост, больше всех было слышно женщин.

– Ты и сам, нан, из семьи крестьян! Не понаслышке знаешь о нашей горькой доле и бедах. Не затягивайте нас без разбору в ваш «комхоз». Дайте раз отдышаться, дайте подумать! – пронзительный голос говорившей женщины отчетливо доносился до нас.

– Дайте раздышаться! – вторили ей и другие женщины.

Гость, выслушав, стал что-то отвечать, но вот беда: говорил он негромко. Мы с крыши конюшни ничего не могли разобрать, хотя тишина стояла мертвая. Наверное, он говорил удивительные вещи, раз ему внимали в такой тишине, но нам с Сергеем не повезло – слова гостя разминулись с нами.

Сейчас, следуя за дядей, я заново переживал тогдашнюю нашу досаду. Вдруг Танас остановился возле нарядного двухэтажного дома и сказал:

– Это и есть ЦИК.

Привычным жестом, должно быть, он бывал здесь не раз, Танас толкнул входную дверь и первым пропустил меня вовнутрь. Мы поднялись на второй этаж, где в длинном коридоре сидело множество людей в ожидании приема. Танас усадил меня на свободный стул, велел никуда не уходить, а сам зашел в один из кабинетов, потом – в

другой, так он побывал в нескольких и, выйдя, огорченно сообщил мне:

– Сегодня Алиаса Шаматовича не будет. Вечером он едет по делам в Тбилиси. Если мы не перехватим его дома, считай, упустили. Идем.

Мы торопливым шагом двинулись по улице.

– Смотри, Лаган, это Ботанический сад! – показал дядя, когда мы проходили мимо самшитовой ограды, и я успел разглядеть несколько, невиданных до того мной, причудливых деревьев, но ни одной плодоносящей.

«Что за сад без фруктов?» – удивился я, но расспросить дядю о том я не успел. Он как раз свернул в улочку, поднимавшуюся в гору. И тут мы издали увидели арбу, запряженную буйволами. Их погонял высокий крестьянин с узким лицом и седыми, топорщившимися по сторонам усами. Он нес на плече, как топор, прут, которым погонял буйволов. Араба доверху была заполнена мешками. Наверное, крестьянин привез кукурузу на продажу и сейчас направлялся на рынок. В этом не было ничего удивительного. Но то, что рядом с ним ступал Алиас Шаматович и оживленно о чем-то с ним разговаривал, показалось удивительным. Судя по тому, что крестьянин шел по улице, на которой проживал Председатель ЦИКа, возможно, он и на ночлег останавливался у него. Но для того, чтобы продать кукурузу на рынке неужто требовалось вмешательство самого Алиаса Шаматовича? Или попросту их связывали дружеские отношения? Вдруг к необычной этой паре подошел милиционер, отдал честь, и Алиас Шаматович, указывая на своего спутника, что-то ему сказал. Милиционер, почтительно кивнув, зашагал рядом с крестьянином. Видать, все-таки понадобилась и в простом, как продажа кукурузы, деле участие Председателя ЦИКа. Алиас Шаматович попрощался со своим спутником, и мы опомниться не успели, как откуда-то к нему подкатил черный автомобиль. Он уселся в него и промчался мимо нас.

– Вот те и на, упустили как голубя из силка! – огорченно проговорил дядя, повернул обратно и неспешным шагом двинулся по улице. Я молча шел рядом.

На перекрестке он положил мне руку на плечо и, когда мы оказались на другой стороне улицы, тихо сказал:

– Ты заметил, Лаган, как Председатель ЦИКа, известный писатель, держался с простым погонщиком буйволов? Как с равным! И все оттого, что, несмотря на образование, на высокую должность, он не забыл,

откуда он родом. Этот человек не отделяет себя от своего народа. Чем дольше он будет на своей должности, тем лучше для Абхазии. Думаешь, все люди на него похожи? Вон Руша... Всего лишь в Очамчыре в милиции служит, а важничает, что твой генерал. Считает, наган на боку – показатель его человеческого достоинства, толком не поздоровается, если встретишь ненароком на проселке. Он думает, раз он при оружии, так односельчане с перепуга должны ему кланяться. Дай таким людям власть и народ слезами изойдет.

Мы отправились в Народный комиссариат просвещения Абхазии. Находился он тоже в двухэтажном здании. Поднялись на второй этаж. Пройдя узким коридором в самый его конец, мы вошли в небольшой кабинет. Приветствуя нас, из-за стола вышел хозяин кабинета – худой изможденный мужчина с белой шапкой седых волос. Одет он был в костюм серого цвета. Он тепло поздоровался с Танасом. Видимо, их связывали давние добрые отношения. Звали его Миха Шагувич и, как я узнал позже, он заведовал в Комиссариате просвещения одним из отделов.

После взаимных расспросов о близких и дальних, Миха, усадив нас, поинтересовался:

– Какая забота привела вас ко мне?

Танас неторопливо обстоятельно стал рассказывать обо мне, что я его племянник, закончил в родном селе три класса. Сестры у меня есть, а вот братьев нет, из мальчиков я один в семье. Родители и не хотели со мной расставаться. Мне же до того нравится учиться, что я напросился и на следующий год в школу, чтобы еще раз проучиться в третьем классе, хотя я и в первый раз закончил лучше всех. Учителя находят меня очень одаренным, и родители решили не брать греха на душу – не заступать мне дорогу к знаниям. На семейном совете было решено, что отпустят меня в Сухум для учебы в десятой школе...

– Да возьму на себя твою головную боль, Миха, не думай, что я не знаю, что мы припозднились с приездом. Всему виной малярия, которой переболел мой племянник. Учителя в нашем селе в один голос твердят, что мальчику непременно надо учиться, помимо прилежания на уроках, он еще стихи пишет. И я, и его родители хотим по возможности определить его в десятую школу. Но если это невозможно, то, как я узнал, идет набор на подготовительные курсы в абхазский педагогический техникум... Тебе об этом известно больше чем мне, подсоби нам, Миха, помоги устроить мальчика.

Миха Шагувич молча перелистывал мои документы, которые положил перед ним Танас.

– Застали бы на месте Алиаса Шаматовича, дела наши приняли бы другой оборот! – досадливо проговорил дядя. – Надеялись его дома перехватить, да опоздали, уехал в Тбилиси.

Хозяин кабинета поднял глаза от документов и проговорил:

– Положение Алиаса Шаматовича сильно пошатнулось, похоже, он останется не у дел.

– Такой человек и не у дел? – поразился Танас и вскочил на ноги. – Не может быть такого!

– Не только он, все абхазское правительство в растерянности. Нашу советскую республику Абхазия превращают в автономную...

– Вот новости так новости! А мы там у себя в деревне ничего о том не слышали! – Танас взволнованно заходил по кабинету. – Как же так?

– Да вот так... Совета народных комиссаров не будет, автономии не положено, останется один ЦИК, права власти будут урезаны, само собой.

– Какому дьяволу, выжги его глаз, попались мы на зуб? Кто решил с нами так обойтись? – не находил себе места дядя.

– Подождите меня здесь, пойду, поговорю с народным комиссаром, если вы понадобитесь, позову! – с этими словами хозяин кабинета вышел.

– Сглазил, сглазил нас кто-то сегодня, чтобы он на собственный дом глянул дурным оком! – воскликнул дядя и, обхватив голову руками, уселся на один из свободных стульев в углу.

А я подошел к окну. Желая отвлечься от грустных мыслей, от тревоги, что и в этом году мне не суждено попасть на учебу, я глянул наружу. Внизу в маленьком сквере, в тени стройной ели два старика играли в нарды, о чем-то весело переговариваясь. Поодаль на качелях раскачивалась маленькая девочка. Один из стариков, наверное, ее дед, что-то сказал, и она звонко рассмеялась. Смех ее донесся и до меня.

«Вот счастливцы, никаких забот и тревог!» – позавидовал я праздным старикам и маленькой девочке.

В это время в кабинет вернулся Миха и с порога сообщил:

– В этом году о приеме в десятую школу и речи не может быть, классы переполнены в интернате, при школе ни одного свободного места. Это я вам передаю слова комиссара.

– Грустно будет парню ни с чем возвращаться домой! – тихо проговорил Танас, он старался на меня не смотреть.

Но я из приемной комиссара переговорил с директором техникума! – сказал Миха. – Завтра с утра вас ждут в приемной с этими документами. – Он протянул Танасу бумаги, что держал в руках. – Теперь главное – сдать мальчику экзамен.

Дядя мой оживился и рассыпался в благодарностях, принимая документы:

– Спасибо тебе, Миха, за помощь, храни тебя Господь. Заботу твою ни я, ни его родители век не забудем.

Мужчины обменялись рукопожатиями, и мы направились к двери. Мы собрались идти в общежитие техникума, к моей сестре.

* * *

Ближе к вечеру сестра повела меня в общежитие для мальчиков, не спать же мне было в девчачьей комнате. Общежитие для мальчиков находилось за углом на соседней улице. Привела меня Мачич к своим однокурсникам старшей, как они назывались, группы. Они уже учились на третьем курсе. Сестра загодя договорилась с одним из однокурсников по имени Карбей, что он меня приютит на первых порах. Я его тоже знал, так как он был из нашего села.

Оставив меня у Карбея, сестра ушла.

– Устраивайся здесь! – указал мне Карбей на свободную койку. – Вообще-то это место Джата, но он не появлялся с начала учебного года в общежитии, как и в техникуме. Родители его тяжело заболели, и он не может их оставить.

Я положил свои документы на тумбочку возле койки, и заветную тетрадку, достав из-за пазухи, пристроил рядом с ними.

Комната была рассчитана на пять человек, посередине стоял большой четырехугольный стол с пятью – по числу студентов – стульями возле него.

У меня слегка кружилась голова то ли от усталости, то ли от избытка впечатлений и я, отодвинув один из стульев, сел за стол, невольно ища в нем опору.

Студенты оставили свои занятия и тоже уселись за стол, с любопытством поглядывая на меня. Или так они проявляли уважение ко мне, как гостю, несмотря на то, что мой юный возраст давал им возможность отнестись ко мне с взрослой небрежностью.

Карбей рассказал, пересыпая свою речь шутками, что я брат Мачич и сам парень не промах, как и все молодые люди, подрастающие в том селе, ведь мы с ним односельчане. Дом мой стоит на холме в стороне, именуемой «Рассеченный камень». Не забыл он добавить и то, что в семье я один – продолжатель рода, других братьев нет, только сестры. Мне показалось недостойным самому сидеть молча, будто язык проглотил, и добавил к сказанному, что сегодня мы с дядей Танасом приехали в Сухум с намерением устроить меня в абхазскую школу, но... Очевидно, сожаление о неудачах, преследовавших нас в Сухуме, проскользнуло в моем тоне. Во всяком случае, мне показалось, что слушали меня с сочувствием...

– Обратись мы вовремя в школу, может, и приняли бы, да только малярия загнала меня в постель, только неделю назад поднялся, – сказал я, упреждая возможный вопрос, почему я так припоздился с приездом.

– И что же ты теперь намерен делать? – поинтересовался один из студентов по имени Ахра – он сидел во главе стола. – Вернешься в село, позабудешь и то, чему обучили, не пойдешь же в третий раз в третий класс!

– Оказывается, при вашем техникуме открыли подготовительные курсы. В народном комиссариате нам и посоветовали обратиться туда. К тому же, утром, перед отъездом, мы встретили Зитбея Тхуазба, он как раз приехал набирать на курсы учеников.

– Но по возрасту тебе полагается учиться именно в средней школе! – пояснил Карбей, шумно захлопнув лежавшую перед ним толстую книгу.

– Верно, ты опоздал к началу занятий, но ведь не по своей вине. Классы сформированы, это – да. И все же какое-то исключение должно быть для ребят из отдаленных сел! – пробасил Ахра и поднялся на ноги.

Несмотря на густой голос, он был тонкокостный и довольно высокий.

– Будь у меня справка, что я из семьи бедняков, может, помогло бы, двое из нашего села были приняты по тем справкам... – под сочувственными взглядами я растаял и, похоже, стал себя жалеть.

– Так зачем дело стало? Разве твой дядя, председатель сельсовета, не может дать тебе такую справку? – удивился Кан, широкоплечий парень с беспокойными пальцами – он все время барабанил ими по столешнице – и насмешливо улыбнувшись, провел пятерней по коротким волосам.

– Мой отец – середняк! – коротко сказал я, не вдаваясь в подробности.

– Уже один наш сосед присоветовал моим родителям взять у Танаса справку, что я из семьи бедняков. Родители мои и слышать о том не захотели: «наш сын не выйдет в люди сложными справками!»

– В конце концов, если парень способный к знаниям, не все ли равно сын он кулака, середняка или бедняка! – все с той же насмешливой улыбкой проговорил Кан.

– Забыл, что нам твердят денно и нощно? «Главное – классовый подход!»

– И что это значит, по-твоему? – понизив голос, осведомился Карбей.

– Да будет тебе! Вы думаете, что в абхазской школе другие порядки? И вообще человек намерен поступать на подготовительные курсы техникума. Для того он и здесь. А вы ему голову морочите!

– Беда в другом, – вмешался в разговор Ахра, который по-прежнему ходил взад-вперед по комнате, будто избавляясь от избытка энергии, – в техникуме пока отсутствует серьезная, обоснованно утвержденная, программа. Учат нас по верхам, бессистемно, торопятся скорее выпустить нас из техникума, кстати, дав в руки свидетельство всего лишь о среднем образований.

– Тебя никто силой не тащил в техникум, Ахра! – уколол его Кан.

Но тот не обратил на его слова внимания.

– Дорогие друзья, вы, кажется, упускаете один важный момент! – вступил в разговор Карбей. – А именно то, что многие сельские школы там, у гор, построенные крестьянами сообща, пустуют из-за отсутствия учителей. Пока мы здесь системно, неторопливо будем постигать науки, никто тех школ не откроет, и дети вырастут, грамоты не зная. Вот в чем дело, Ахра! – обернулся он к своему другу.

– Ну да, ну да! Будут нас здесь кое-как учить, а мы в свою очередь вкладывать кое-какие знания в головы сельской детворы, а они затем ринутся сюда в техникум, где опять пробегут по бестолково составленной программе. Такой вот круговорот в природе! – не сбавляя шага, кинул Карбею Ахра.

– На этом прекращаем дискуссию! – поднялся с места Карбей. – Иначе проговорим до первых петухов! Не надо забывать: у Лагана сегодня был трудный день. Он по деликатности помалкивает, а то наверняка давно хочет спать. Так что давайте ложиться.

И спор, который грозился затянуться, тут же затух, как затоптанный уголек. Все разбрелись по своим местам. Я раньше всех разделся и юркнул в постель. Вскоре в комнате слились темнота и тишина. Я быстро задремал, но вскоре пробудился и заворочался в постели. Все пережитое за долгий день, разнообразие впечатлений гнали сон от меня прочь. Сначала я с огорчением думал только о том, что мне не повезло, не попаду в среднюю школу. Потом я стал обдумывать все, о чем говорили студенты, чьим гостем я в тот день оказался. Кто из них ближе к правде и в чем она, правда? Разобраться в том, как я ни старался, ума не хватало. Мысли мои путались, трепыхались, будто на них, как на птицу, кто-то накинул ловчую сеть, вот-вот задохнусь под сетью. К счастью, усталость все-таки победила мое тревожное состояние и я провалился в глубокое забытье.

III

Вот уже два месяца как я занимаюсь в педагогическом техникуме. Поступить в него оказалось много легче, чем я предполагал. Я сдавал экзамены вместе с односельчанами, которых привез Зитбей Тхуазба. Вопросы экзаменаторов были несложными, но из шести человек, составлявших нашу группу, прошли испытание только трое, в том числе и я. К занятиям на подготовительном курсе приступило тридцать человек, но в течение двух месяцев семь человек отсеялись по разным причинам: кто-то не потянул учебу, кого-то забрали родители, кто-то заболел.

У меня самого не все было ладно со здоровьем, постоянно мучила жажда, знобило. К вечеру лихорадило, а по ночам, возможно, поднималась температура. Я понимал: это малярия по-прежнему треплет меня, но тщательно от всех скрывал свое состояние, боялся, что отчислят из-за плохого здоровья. Тяжелее всего я выносил ночи в спальной комнате общежития. Комната была обширной, но с низким потолком и одним единственным подслеповатым окном, которое, к тому же, открывалось с трудом. В комнате почти впритык друг к другу стояло 25 коек.

Когда все укладывались на ночь, мы гасили лампу, и тяжелая темнота воцарялась в спальне. Я ворочался в постели, чувствовал, что начинаю задыхаться, меня, привычного к горному ветру, задувавшему во все окна и щели отчего дома, затхлый неподвижный воздух помещения вкупе с давящим низким потолком приводил в такое состояние,

что случалось, я ночи напролет проводил сидя в постели без сна и моля о скорейшем наступлении утра.

Не одного меня досаждала наша спальная комната. Пятеро из наших даже ходили в дирекцию с прошением перевести нас в другое, более приспособленное для сна, помещение. «Иначе все мы задохнемся в этой душегубке!» – так заканчивалось наше обращение. Дирекция пообещала разобраться и принять меры, но мы как жили в ужасных условиях, так и продолжали в них пребывать. Ничего бы, верно, не изменилось, если бы ни одно печальное событие.

Двое учащихся – моя койка как раз стояла между их ложами – сильно занемогли. Некоторое время они отлеживались в спальной комнате и врачи не спешили к ним, но мы каждый день донимали дирекцию, прося помочь нашим больным товарищам. Наконец врачи навестили больных, и вот тут-то поднялся страшный переполох. Оказалось: у обоих ребят открытая форма туберкулеза. Их немедля отвезли в больницу. Одного из них – он заболел первым, светлокожего улыбчивого Симона спасти не удалось, к весне он умер. Другого – его звали Камуг – подлечили и отправили на поправку в туберкулезный санаторий в Гулрыпше. К учебе он больше не вернулся.

Что касается нашей спальной комнаты, санэпидстанция тщательно обработала ее, как и наши личные вещи, но врачи вынесли вердикт, что проживание в ней чревато новыми вспышками инфекции. Нас расселили по пять человек по разным комнатам.

Между тем, я попал под пристальное внимание врачей из-за того, что моя койка стояла впритык к постелям больных. Я больше, чем кто-либо из остальных ребят, ухаживал за лежачими, вел себя, как говорится, по-соседски. Я приносил им еду, мыл за ними тарелки и стаканы, а также тазики, в которые они сплевывали мокроту. И в голову не приходило самому беречься от болезни. К тому же, я не знал, что они больны туберкулезом, и что болезнь эта опасна и заразна. Но если бы и знал, не мог же я их бросить на произвол судьбы! Врачи сказали, что я подверг себя большому риску, и взяли мое здоровье под строгий контроль. Они обязали меня ходить в поликлинику на обследование, я сдал все анализы, сделали мне рентгеновские снимки и даже прописали какие-то общеукрепляющие инъекции... Три месяца я находился под неусыпным вниманием врачей и то ли благодаря их стараниям, то ли по воле небес, но в моих легких палочкам Коха не удалось угнездиться.

По принципу: не было счастья, да несчастье помогло, благодаря вспышке туберкулеза в нашей спальной комнате, вопрос жилья счастливо разрешился. Но я мучился и другим обстоятельством, которое не так-то легко было разрешить. Стоило мне перешагнуть через порог столовки при техникуме, как меня начинало подташнивать. Я не был в состоянии проглотить ни жирный борщ, ни редкий суп, ни черствые котлеты. Обходился тем, что запивал чаем кусок черного хлеба или кукурузного чурека, с завистью поглядывая на товарищей, за обе щеки уплетавших все, что давали в столовке.

– Не знаешь настоящего голода, потому харчами перебираешь! – подтрунивал надо мной Сатбей, один из моих соучеников. Он раньше всех справлялся с едой и потом на сытый желудок принимался поддразнивать меня.

Не смейся, сейчас ему принесут кое-что получше! – вмешался в разговор долговязый паренек по имени Смел, который всегда любил усаживаться во главе стола, и кого прочили в поэты. – На серебряном блюдечке с золотой каемочкой поставят перед ним горячий айладж[8] – где мамалыги чуть-чуть, зато свежий тянущийся сыр лезет из всех пор. А к блюду с айладжем подадут глубокую тарелку с мацони из молока буйволицы – белоснежное, густое, ложка колом в нем стоит. И это не все! – изощрялся Смел – еще поставят перед Лаганом тарелку с нарезанным копченым сыром и свежим сулугуни. Да и на этом не остановятся – как же можно обойтись без тарелки со светящимся через соты густым горным медом?!

Под конец и сам Смел сглатывал набежавшую слюну, что уж говорить обо мне!

Я молча доедал свою черную краюху и выходил из столовки. За короткое время я сильно осунулся. Это не могло ускользнуть от внимания Мачич. Сестра, очередной раз принеся мне выстиранную и выглаженную сменную одежду, пристально глянула на меня:

– Лаган, ты опять похудел! – озабоченно сказала она. – Скажи, что происходит?

– Да нет, это тебе показалось, я чувствую себя отлично! – возражал я, опасаясь, что она прознает о том, что я сам себя изнуряю голодом, не в силах преодолеть отвращение к общепитовской еде.

[8] **Айладж** – горячее блюдо, кукурузная каша, замешанная со свежим сыром.

IV

Здание техникума стояло в старинном уголке города, неподалеку от морского порта и потому улица, на которой оно располагалось, называлась Портовой. На фасаде здания значилась дата его постройки – 1904 год. По рассказам старожилов, дом был построен неким купцом. В более просторной и солнечной части здания он проживал со своей семьей. В темных комнатах с голыми стенами обитала прислуга, а еще одна часть помещения предназначалась для хранения товаров, которые он доставлял из-за моря.

Все неудобства, связанные с размещением учебного заведения здесь, объяснялись тем, что планировка здания, приспособленная к нуждам частного лица, не соответствовала требованиям, предъявляемым к учреждению.

Техникум был открыт лишь за три года до моего поступления в него. Споров вокруг него было много, и речь шла не только об учебном процессе, львиная доля нареканий приходилась на долю здания, отведенного под него.

– Те, кому было поручено дело, поторопились расположить техникум в частном доме, – сетовали одни. – Общежитие и собственно учебная часть мешают друг другу, надо им отвести разные здания. Этот дом можно рассматривать лишь как временное пристанище.

Были и другие, настроенные и того хуже:

– Зачем в одном небольшом городе открывать два педагогических техникума? – говорили они. – Не лучше ли их объединить и расширить?

Так, впрочем, и произошло позже.

Впритык к зданию техникума располагался лимонадный завод, огороженный четырехметровой стеной. Над стеной возвышалась высокая труба, и когда она начинала дымить, все женщины близлежащих дворов кидались снимать белье с веревок, растянутых во дворах. Иначе все старания прачек пропали бы втуне – на белье осыпалась сажа, выходящая из труб с дымом, и произвольно пятнала стираные вещи антрацитовой краской.

Грохот постоянно въезжавших на территорию завода грузовых машин, перезвон множества пустых бутылок из-под лимонада, гул голосов, сердитые наставления начальников, ругань работяг – все это не смолкало ни на минуту. Я поначалу диву давался, как можно выносить постоянную какофонию звуков, но мало-помалу свыкся и перестал раздражаться.

Сызмала я наблюдал за тем, как давят виноград, как разливают молодое вино, как выгоняют водку, заготавливая для этого брагу из виноградного жмыха, но совершенно себе не представлял, как получают лимонад. Разумеется, мне очень хотелось знать, что делается за высокой стеной – на лимонадном заводе, откуда выезжали машины, груженные ящиками с красивыми бутылками, в которых был разлит вкусный напиток. Иногда, после занятий в техникуме, я подходил к проходной завода. И каждый раз натыкался на сторожа – старика Джарму. Был он невысокого роста с белоснежной коротко подстриженной бородой и вислыми усами. Он все время держал при себе тяжелую палку, утолщающуюся кверху, к набалдашнику, правда, я ни разу не видел, чтобы он на нее опирался. Впрочем, я видел Джарму лишь в коморке у проходной, расположенной впритык к железным заводским воротам. Дверца в это узенькое помещение всегда была настежь распахнута. Сторож сидел, прислонясь к стенке своего узкого помещения и прикрыв глаза, точно подремывал, но стоило мне замаячить у порога, как слышал от него:

– Что, опять пришел? – правда, так он заговорил и с первого моего появления, будто сразу ему смертельно надоел. – Небось, любишь лимонад? Но если угощать прямо на заводе всех, кто его любит, что же мы будем отправлять в магазины? Да и выгоняют лимонад из пара. Зачем тебе напиток на пару, а? – Он лукаво усмехался. – Толку от него никакого! Лучше я расскажу тебе про Тамакуа – и сторож принимался за историю, которую он мне много раз разжевывал. – Бедолага Тамакуа живет бобылем, в хозяйстве у него одни коты да кошки, аж пятнадцать штук, смотрит он за ними исправно, они никогда не мяукают, потому что он их сытно кормит. Иной живностью Тамакуа не обзавелся, зато обзавелся килой. Тяжко ему приходилось с недугом, и какие-то бездельники посоветовали ему любое питье заменить лимонадом, мол, тогда кила втянется в брюхо и он горя не будет знать. Несчастный Тамакуа отказался от любого питья, дует только лимонад, и что же? Кила, как была, так и осталась, вот так-то... – старик нехотя усмехался и, поудобнее прислоняясь к стене, закрывал глаза, давая мне понять, что к сказанному он больше ничего не добавит.

Но я медлил уходить. Старик мне чем-то напоминал моего собственного деда Бежана. Я по нему тосковал и часто он снился мне по ночам. Внешне они не были схожи, но каждый раз, отправляясь к проходной завода, я втайне рассчитывал, что на этот раз сторож встретит меня

приветливо и расскажет, как это часто делал мой дед, какую-нибудь занимательную историю, случай из жизни народных героев, а то и притчу. Но старик иногда, случалось, бывал поприветливее со мной, чем обычно, но не снисходил до пространных разговоров, видать, смотрел на меня как на несмышленыша.

Но однажды, подойдя к проходной, я увидел, что сторож не один. Возле него стоял мой сокурсник Закан. Старик, заметив меня, неожиданно оживился:

– Иди-ка сюда, дад[9], познакомься, это мой единственный внук! – он указал на моего сокурсника.

– Мы знакомы, учимся вместе, на подготовительном, – сообщил я.

– Мы не просто знакомы, мы – друзья! – добавил Закан.

– Друзья, говоришь? – отчего-то подивился Джарма, он вышел из своей коморки и стал взволнованно прохаживаться перед воротами. – Как у вас быстро получается. Знакомы без году неделя и уже друзья. А ведь это непросто стать настоящими друзьями, дружба многого от каждого требует.

– Лучшего друга, чем Закан у меня нет! – признался я. – И до чего хотелось бы поселиться в одной комнате с ним, но он не живет в общежитии.

– Не может же парень деда одного бросить! – сказал на это Джарма. – Мы живем вдвоем, кроме него кто же за мной, стариком, присмотрит? А вдруг мне ночью станет худо или еще что? Но я рад, что вы друзья, рад...

Старик вернулся в свою коморку, уселся на привычное место, а мы с Заканом с двух сторон прислонились снаружи к двери.

– Лаган почти каждый день бывает у меня, заглядывает сюда чаще, чем ты, – сказал он внуку. – И коли вы – друзья, не мешает ему побольше знать о нас. Твой друг – сирота, Лаган. Мой единственный сын, его отец, умер в одночасье. Я хотел уберечь внука от сиротской доли, работал, засучив рукава. В чужие амбары с зерном не заглядывал с надеждой на помощь – своего хватало, и недостатка в домашней скотине не было. Да, видать, черти насмехались над моими стараниями. Я не орал на каждом перекрестке, что в колхоз не вступлю, я только сказал: «прежде, чем сваливать все в одну кучу, надо хорошенько подумать». И того хватило! Я понял, что меня ожидает, опередил их на полшага, не дал заклеймить себя ку-

[9] **Дад** – обращение старшего к младшему.

лаком и перекрыть будущее внуку. Я сам распродал всю живность, кроме единственной дойной коровы, коня под седлом и того не пощадил, да уехал из села. На хозяйстве осталась моя невестка – его мать, – он кивнул на Закана, – а я приобрел кое-какое жилье, и вот с мальчиком мыкаемся здесь. Какую большую должность я в городе заполучил и сам видишь... И невестка там одна с трудом справляется с хозяйством, еще и учительницей работает... так и живем... – Он вновь посмотрел на внука и добавил:

– Дад, приводи к нам домой своего друга, разносолов не обещаю, но хотя бы лимонадом угощу.

С того разговора дед стал мне много ближе. Чаще стал появляться у его коморки то с Заканом, то сам. И каждый раз на мой вопрос, как он себя чувствует, старик бодро отвечал: «Неплохо, дад, да возьму на себя и твои горести». И глядел улыбчивыми глазами.

Перед нашим общежитием – двор, если его можно назвать двором, немалый по размерам. Но деревенские дома стоят на земле с густой травой, здесь же все вымощено булыжником. Но в сторонке с краю булыжника поднималась одинокая чахлая ель – то ли кто-то ее когда-то посадил, то ли росток сам пробилась наружу, найдя расщелину меж камней. Когда я в грусти возвращался откуда-нибудь в общежитие, то непременно подходил к хвойному деревцу и стоял, прислонившись к его стволу, будто сил набирался. Потихоньку начинала рассасываться грусть, и я ощущал будоражащее чувство душевного подъема словно переносясь под сень памятной липы, которая поднималась там, у нас на холме «Рассеченный камень». Накапливавшаяся с каждым днем тоска по дом иногда кидала меня в водоворот такого отчаянья, что я задавался вопросом: «Зачем я здесь мучаюсь, кто меня насильно удерживает, почему бы мне не вернуться домой?».

Тоска, подобно огромному орлу, вонзала в меня когти, подхватывала, множа мою боль, переносила в мечтах к родным местам. И я внутренним взглядом видел, как босиком иду по густой траве, а на склоне горы пасется белоснежная отара овец. На шее вожака отары – колокольчик, и в моих ушах явственно звучит его перезвон. Я с трудом удерживаюсь от слез, иногда случается, что я обливаюсь ими. Но я упорно продолжаю мое мысленное путешествие. Сейчас я спущусь к полноводной нашей реке, а следом появятся мои друзья. С каждым из них я обнимусь, каждый увидит как я ему рад, как я соскучился. Вольно, как и раньше, мы расположимся в тени старой ольхи, затеем игру в

ножики, или какую другую, солнце припечет – бросимся на перегонки к реке Гуаб. Оттого, что ее название созвучно слову «акуаб», то есть котел, мы любим говорить про нее – «река, где спрятан котел»! Как замечательно было бы нырнуть в тот котел...

– Ты что, зачарованную воду увидел?! Зову, зову тебя, а ты не откликаешься?!

Я резко обернулся. За спиной стоял Закан и улыбался. Он и не догадывался, что своей расхожей шуткой попал прямо в цель.

– Пойдем. Посидим.

Закан потянул меня к скамье с облупленной краской под чахлой елью. Мы устроились на скамье рядышком друг с другом. Хотя и Закан был родом из деревни, он так остро не скучал по дому, как я. Спасало, очевидно, что здесь он не пребывал один-одинешенек. То, что он жил вдвоем с дедом со многим его примеряло. Закан не отличался легким характером, близких друзей среди однокурсников не заводил. Многих обижала его прямота – все, что ему было не по душе, он высказывал в открытую, в лоб, не боясь кого-нибудь задеть резким словом. Потому-то сокурсники и дали ему кличку: «Рот нараспашку!» Закан был старше меня на три года, учился он лучше всех на курсе, но держался со мной как с равным. Никогда не замечал за ним никакой заносчивости ни по поводу старшинства, ни по поводу превосходства в знаниях. Я гордился дружбой с ним.

Меж нами не было тайн, мы всем делились друг с другом. И я знал, как моего друга мучает то, что его мать одна живет в селе. Он с дедом часто ездил к ней – помогали, чем могли, по хозяйству и дому. Но матери все равно приходилось совсем несладко. И, несмотря на то, что учеба давалась Закану легко, он многократно принимал решение уехать к ней насовсем. От осуществления своего решения его удерживал страх перед осуждением матери: «Ты свернул с того пути, что я для тебя выбрала, не оправдал надежд, посрамил меня меж людьми. И что я возражу, если скажут: “Как нам доверять тебе воспитание наших детей, если ты не сумела и единственного сына вырасти достойным?”»

Я редко встречал Закана без книги в руке, читал он запоем и не только то, что требовалось по программе. В тот день он тоже был с книгой.

Я пожаловался ему, что совсем заела тоска по родному дому.

– С ней надо бороться! – решительно сказал Закан. – Искать лекарства от нее. Вот одно из лекарств. – Он протянул мне книгу.

– Что это? – я недоверчиво взял ее в руки. На обложке значилось: «Фенимор Купер. Последний из могикан».

– Прочтешь, скажешь, помогло или нет!

Он поднялся и, попрощавшись, ушел.

V

Оказывается, любовь к чтению прилипчивее всякой заразы. И неизлечима. В тот день мой друг наградил меня вирусом запойного чтения на всю жизнь. Вскоре и я стал пропадать в библиотеке. В читальном зале, в уголочке, в стороне от других столов, стоял столик, за который всегда садился Закан. Теперь и я устраивался рядом с ним, но в зале мы никогда не отвлекались на общение друг с другом, даже шепотом не перебрасывались парой фраз, с головой погружались в чтение.

Как помнит читатель, я вырос в доме, где я не раз и не два слушал народные сказания и не мог не проникнуться их духом. Покидая отчий дом, я взял с собой, и это был мой самый важный багаж, – бережно сохраненные в памяти сказания о великих Нартах, об Абрскиле, истории о народных героях.

В общежитии, ворочаясь в своей тесной кровати, я перебирал в памяти все, что знал о могучих Нартах. И больше всего меня волновала судьба младшего, но самого бесстрашного и благородного из Нартов – Сасрыкуа. Он был лучшим из лучших, но это не уберегло его от суровой доли. Мысленно я шел следом за ним, от одного его подвига к другому.

Занимала меня и участь другого бесстрашного, как Сасрыкуа, и столь же безупречного героя – Абрскила. Да, он заключен в глубине пещеры и привязан стальными цепями к стальному столбу, но раскачивает этот столб днями, неделями, месяцами и вот-вот выдернет его из земли и выберется на белый свет могучий, непобежденный. Под ним гарцует преданный ему конь – златокрылый араш с белыми копытами. Сколько раз под эти счастливые видения я погружался в сон...

А поутру видения покидали меня, точно стайка птиц. И мне казалось: я бросил, ушел от истоков народных сказаний. В городе мне не увидеть Мамсыра, не услышать Чины сына Чичина. Здесь я не увижу, как проводят смычком по апхярце, не услышу извлекаемые из апхярцы, берущие за душу звуки, и никто здесь под перебор струн ачамгура не споет ни героическую, ни шутливую песню.

Утешением в моей тоске – Закан верно угадал! – стали книги, что я брал в библиотеке. Я проникался всей душой чужой жизнью, чужими историями, лучшее из прочитанного как бы становилось частью моего личного опыта и частью тех героических сказаний, давно укрепившихся в моем сердце. И все они составляли как бы одно великое неделимое произведение.

Если сызмала человек приучен к трудностям, то любые невзгоды ему легче переносить и во взрослой жизни. Когда я жил дома, учился в школе, мне порой казалось – от меня слишком много требуют и держат в большой строгости. Как я ошибался! Сколько простора и свободы было в моей жизни! Оказывается, я шагал по верхам сотканной из солнечных лучей моей жизни и все время без труда оказывался на гребне волны, всегда выносившей меня к желанному счастливому берегу.

Теперь я понимал: покинув отчий дом, я навсегда оставил теплое безопасное родное гнездо и, вылетев из него, мне никогда уже туда не возвратиться на правах птенца. Я поступил в техникум, и закончилось детство мое, а жизнь повернулась темной стороной, и темень эту я ощущал ежечасно – в затхлом общежитии, в столовой, где запахи и вид скудной еды вызывали тошнотворное ощущение, да и учеба не слишком радовала.

Вот как строился наш обычный будний день. В восемь утра – подъем! Приведя себя в порядок, мы отправлялись на завтрак в столовую, а к девяти часам каждый из нас, за исключением больных, занимал свое место в классе. Занятия длились до трех часов дня. По расписанию у нас ежедневно было по шесть уроков, включая и субботний день. С трех часов до пяти отводилось время на обед, потом – небольшая передышка, и с семи до девяти часов – вечерняя подготовка к следующим занятиям.

Так что мы были серьезно загружены. Но скажу откровенно, результаты мало соответствовали усилиям... Ни один предмет в техникуме не изучался досконально, брались за многое, да все бросали на полпути. Некоторые так и окончили техникум, не усвоив в полном объеме даже грамматику родного языка. Объяснение тому есть. В ту пору еще не была разработана единая методика обучения, специалисты упорно искали новые пути преподавания. Для того чтобы школа не была так оторвана от реальности, надо было покончить с формализмом. Но, как часто случается в жизни, за новое дело взялись люди, не слишком опытные и сведущие в науках, и победили методы, не апробированные

временем. К тому же, не имеющие под собой серьезной научной базы. К примеру, в том году, когда я поступил в техникум – это пришлось на 1930–1931 учебный год – как раз внедрили лабораторно-бригадный метод. Наш подготовительный курс делился на четыре бригады. Одну из них возглавлял я. На уроках по моим ответам учителя оценивали успеваемость всей бригады, ставили коллективные оценки. Плохо подготовленные учащиеся из далеких сел нуждались в помощи учителя, в дополнительных разъяснениях с его стороны. Но лабораторно-бригадный метод не предусматривал индивидуальных занятий, отчуждал ученика от учителя.

И уроки труда стали для нас напрасной тратой времени. Поначалу был брошен клич: «Все – на помощь цементному заводу, перевыполним государственный план по производству цемента!» Три раза в неделю мы, разделившись на группы, появлялись на заводе в точно назначенное время. Но толку от нас было мало, работники не знали, куда нас приткнуть, даром только цементную пыль глотали. Тогда руководство техникума решило перебросить студентов на табачную фабрику. Нам отвели место в цеху, где набивали в папиросы табак. Четыре месяца кряду три раза в неделю мы ходили на табачную фабрику и набивали табак в папиросы – занятие вполне бесполезное для будущего педагога. Если что-то и приобрели мы за четыре месяца, так вредную привычку – курить, многие студенты пристрастились к табачному дыму.

Поразмыслив, руководство техникума открыло две мастерские. Для мальчиков – мастерская краснодеревщиков, а для девочек – швейная, где учили еще и вышивать. Мастерская наша была плохо оборудована, но после мытарств по заводам и фабрикам, мы с удовольствием стали там работать и вскоре некоторые из нас обнаружили большие способности. Многие поделки из дерева, сделанные руками учащихся техникума, украшали стенды разнообразных выставок, и много раз удостаивались высокой оценки.

Наряду со столярными подвигами нам вменялось в обязанность проявить себя и в сельском хозяйстве. За городом нашему техникуму была отведена земля – гектара три. С ранней весны до поздней осени мы поочередно – класс за классом – отправлялись работать на земле. Вот уж чему нас не надо было учить – то тому, как обрабатывать землю, сие умение мы сызмала перенимали у своих отцов. Но мы любили поездки за город. Зелень деревьев, склоны гор, течение рек – все утешало нашу тоску по дому. Мы подставляли пригоршни под ледяную струю,

весело бежавшую со склона холма по деревянному желобу, заглядывались на птиц, которые выпархивали из-за кустов, слушали весеннее неумолкаемое кукование кукушки. И хотя мы работали на поле до седьмого пота, никогда не жаловались на усталость. Нам было хорошо, будто побывали дома. Другое дело, что мы ничего нового не извлекали из подобных занятий. Сеяли кукурузу так же, как наши отцы, пропалывали ее, по осени собирали урожай, также выращивали различные овощи, ухаживали за виноградной лозой, обкапывали фруктовые деревья... Время от времени разносился слух о появлении какого-то особого сельскохозяйственного инвентаря, чрезвычайно облегчающего крестьянский труд. Но слухи оставались слухами, а мы как орудовали топорами, лопатами, мотыгами, граблями – всем тем, что еще у своих дедов видели, так и продолжали ими работать.

Прошло некоторое время и усилия опытных, преданных своему делу педагогов, возымели действие, – начался пересмотр методик преподавания. Всем стало очевидно: без основной руководящей роли учителя не добиться нужного результата никакими новыми бригадными методами. Учитель – главный стержень учебного процесса – все трудности ложатся на его плечи, равно как и от него зависит уровень знаний учеников – каждого по отдельности и всех вместе.

Наш подготовительный курс, хотя и прошел большие испытания, осваивая для себя непривычные условия не только учебы, но и проживания, тем не менее преодолел год в составе 22-х человек, отсеялось совсем небольшое количество слушателей.

– Вот теперь вы полноценные студенты! – радовались за нас педагоги, которые вместе с нами преодолевали наши трудности.

«У кого хватило терпения, тому и достойные плоды!» – говорится в народе. Оказывается и нас, слушателей курсов, на долю которых выпало много беспокойства и неурядиц, тоже ожидали достойные плоды. За короткое время друг за другом последовало несколько событий, повлиявших не только на судьбу нашего техникума, но и на укрепление достижений культуры и просвещения Абхазии.

Для того чтобы пристальнее вглядеться в те события и разобраться в них, я хотел бы поподробнее остановиться на истории учебного заведения, в котором нам довелось получить образование.

В 1915 году впервые в Сухуме открыли учительскую семинарию. В 1921 году после установления советской власти в Абхазии на базе

семинарии был основан педагогический техникум. Перед молодой республикой встала задача культурного и экономического развития, но остро ощущалась нехватка квалифицированных специалистов в разных областях. Народный комиссариат просвещения несколько раз обращался к вышестоящим органам с предложением открыть учебное заведение, дающее высшее образование. Опережая события, педагогический техникум с 1924 года переименовали в институт. Окрестить-то можно, как угодно, обучали-то по программе техникума. Но, наконец, в 1932 году в Сухуме появился долгожданный педагогический институт. А тот техникум, который сменил учительскую семинарию, и в котором мы обучались, слили с другим педагогическим техникумом. Теперь он именовался – Абхазский педагогический техникум. Слово «слили» может и не точно выражает суть события. Нас просто перевели в другое заведение – а все наши помещения, включая и столь неудобное ни для проживания, ни для учебы, отошли городу. Мы стали учиться в здании, располагавшемся у предгорья. В этой просторной трехэтажной постройке раньше помещалась гостиница «Эллада». Если выйти на балкон какой-либо комнаты на третьем этаже, то далеко просматривалась морская даль, а само здание утопало в зелени, и до чего приятно было вдыхать прохладный горный воздух.

– Радуйтесь, что перебрались из низины, да из тесноты вашего заведения сюда, к горным ветрам и красоте! – с гордостью говорили нам учащиеся техникума, которые изначально обучались здесь. Мы и радовались. Жили мы теперь в солнечных комнатах по два-три человека, не больше. И без всякой подсказки мы сами могли разобраться, что техникум наш находится в лучшей части города. Не зря прежде здесь селились дворяне да богачи и место именовали аристократическим уголком города.

Тем не менее, мы заступались за честь оставленного техникума. Мы, переселенцы с Портовой улицы сюда на вершину, знали, чем пресечь хвастовство старожилов.

– Как раз это мы появились здесь, из самого что ни на есть знаменитого места. Может, оно еще помнит, как гудел многоязычный древний город Диоскурия, город, взятый волнами! Он – на дне морском, да какая-то часть его осталась на берегу!

– Это еще требует научного подтверждения, откуда именно ваш древний город нырнул в море! – насмешничали противники.

Но и мы не сдавались:

– Разве не для овладения науками мы здесь собрались? Подучимся и гипотезам найдем подтверждения!

С этим трудно было не согласиться, и это примиряло и старожилов, и новичков.

VI

Этот уголок, где я провел свои юношеские годы, где впервые испытал и половодье чувств, и горечь утрат, где постигал науки и себя, для меня и сейчас, когда жизнь прожита, остается самым близким и дорогим. Куда бы я ни торопился, оказавшись здесь, я замедляю свой шаг и долгим взглядом обвожу окрестности. Здесь мало, что изменилось с тех давних пор. Как и прежде здесь мало убеждений, лишь стоят частные дома.

Поднимаясь все выше, как по лестнице, по идущим в горы улицам и переулкам, я с горечью осознаю, что в свое время местность здесь застраивалась беспорядочно. Впрочем, и во всем Сухуме каждый заметит эклектику в градостроении, нет и не было единого архитектурного замысла. В уголке, о котором я рассказываю, гораздо больше, чем в других районах города, можно встретить приземистых одноэтажных строений. Здесь сохранилось совсем немного особняков абхазской знати. Это красивые здания, двухэтажные, если они и невелики по размеру, то привлекательны по архитектуре – стоят они на сваях, поднятых на высоту человеческого роста, опоясаны широкими верандами, балясины с национальным орнаментом. Здесь можно увидеть и дворцы в три-четыре этажа в стиле барокко, столь популярный в XIX веке. На склонах горы сквозь густые посадки виднеются островерхие дома, некогда выстроенные богачами, как дачи. Как видите, смешались все стили. Кстати, приземистые малопривлекательные дома в Сухуме появились, как свидетельствует молва, после разрушений, случившихся во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Тогда, говорят, в Сухуме не осталось ни одного целого дома, и даже столь любимый горожанами Ботанический сад имел чрезвычайно плачевный вид. Приземистые дома без излишеств – следствие той беды, когда уцелевшие люди наспех сооружали крышу над головой.

Неведомая сила притягивает меня к сохранившемуся зданию техникума. Передо мной оживает тот день, когда я впервые перешагнул

его порог. Я не хочу сейчас входить вовнутрь, и нужды в том нет, я и без того «вижу» все, что там: комнаты, залитые солнечным светом, просторные. А с третьего этажа, с балкона открывается неповторимый вид – крыши домов города в густой зелени, далее безграничная ширь моря, чью синеву вбираешь в себя с благодарностью.

Мне чудится, что в коридорах здания все еще звучат плененные временем мои шаги. А снаружи, как и тогда, в пору моего отрочества, поднимаются в ряд, точно стражники, кипарисы, направив копья своих верхушек в небо.

Я прошелся по кипарисовой аллее – на склоне дня под закатными лучами кипарисы напоминают гигантские свечи с золотистым подрагивающим пламенем верхушек. На скамью под одной из «свеч» я опустился и вновь засмотрелся на здание техникума – отсюда оно просматривалось отлично. Здесь давно смолкли, десятилетиями звучавшие в помещении, молодые голоса учащихся. Помнят ли старые коридоры звук шагов, подтянутых, аккуратно одетых преподавателей, которые каждое утро спешили к своим питомцам? Или и это навеки припорошено временем?

Нет здесь больше учебного заведения...

Но как долго техникум был средоточием просвещения. Как щедрый сеятель на поле, наши преданные делу, замечательные учителя взращивали в каждом ученике ростки знания, делали все, чтобы добрые всходы приносили добрые плоды. Именно здесь становились традицией начинания лучших умов Абхазии по воспитанию и образованию надежды нации – подрастающего поколения.

Но над всем этим не призадумались чиновники, принявшие решение закрыть техникум раз и навсегда.

Удивительно, как некоторым легко дается решение запретить, разрушить и снести!

На мой взгляд, каждый прохожий обязан в пояс поклониться этому зданию из чьих стен вышло столько деятелей, прославивших и свое имя, и свой народ.

Но не виновен равнодушно идущий мимо прохожий. Откуда ему знать, какие замечательные дела вершились здесь, что созвездие абхазских поэтов, прозаиков, ученых восходило именно отсюда. Постройка – нема, как немы и кипарисы-стражи, обступившие ее. Заступника, кто поднял бы архивные документы, кто закрепил бы за зданием статус исторического достояния, у него не нашлось...

Взгорье, к которому как бы всей спиной прилегает Сухум, именуется Самаххуа – увал Самаха – и некогда его сплошь покрывал лес, в основном дубовый, лишь в низинах прорастал самшит. Гора считалась священной – никто никогда там не срубал дерева, даже веточки не отламывал. В ту пору раздолье было для косуль, в лесу их водилось великое множество, но никто не нарушал покоя увала, оглашая лес выстрелами в погоне за дичью. А на вершине холма стоял храм и крест над ним сиял под долгими лучами южного солнца. Благодатное место.

Но однажды издалека в город прибыл некий толстосум. Его жадный взгляд на беду, привлек увал Самаха. Городской голова и он быстро нашли общий язык. Купчина по дешевке купил лес на склонах горы. И наступили черные дни. Лес огласился стуком топоров, визгом пилы, шумом падающих вековых дубов. Целых два года продолжался этот шум. И целых два года французские корабли отчаливали от Сухумского порта, до верху груженные самшитовым лесом и дубовыми бревнами. Толстосум успокоился лишь тогда, когда гора, в результате нещадной вырубки, обнажилась полностью, как облысевший череп. Но есть высшая справедливость. Однажды вечерком в кофейне «Лев», располагавшейся в начале бульвара, донельзя довольный собой толстосум сел поиграть в картишки. И зло, причиненное им святой горе, вернулось ему сторицей. Он продул в карты все свое состояние. За один вечер! Ему пришлось у кого-то слезно выпрашивать денег на дорогу. На следующий день он убрался из города восвояси...

И все-таки до чего некоторым легко дается решение запретить, разрушить, снести. На корню!

Внутри древней абхазской крепости, в западной ее части, над останками царя Абхазии Келешбея Чачба возвышался надгробный памятник из мрамора, достойный имени того, кто под ним покоился.

– Кого же удостоили такой мраморной глыбы? – поинтересовался однажды заезжий руководитель, чьи полномочия простирались довольно далеко.

Ему объяснили, что под памятником покоится царь Абхазии, погибший из-за того, что был вероломно предан и оболган.

– Из знати? Значит эксплуататор! Разве не бельмом в глазу социалистического города торчит здесь памятник угнетателю трудового народа?! Мы не допустим, чтобы он мозолил нам глаза!

Руководитель созвал комсомольцев, им дали в руки кирки, ломы, кувалды. Ретивый руководитель велел прямо на его глазах снести па-

мятник. Он оказался человеком упорным, не сдвинулся с места, пока памятник не сровняли с землей. Очевидно, для поднятия духа комсомольцев, бившихся без всякой охоты над основательным памятником, он все время повторял строчку из «Интернационала»: «Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем...». А что «затем»?

Сегодня никто не может указать место вечного упокоения Келешбея Чачба. Издревле у нас, проходя мимо захоронения человека, люди кланялись со словами: «Мир праху твоему!» и медленно, выказывая уважение к ушедшей жизни, следовали прочь. Но куда придти, чтобы поклониться праху Келешбея Чачба, теперь никто не знает. Такая же страшная участь постигла и кладбище всего его рода, где, кстати, был захоронен и сын Келешбея – Хасанбей. Всем, кто въезжал в Сухум, по мосту через реку Келасур, был виден склеп на кладбище Чачба. Он находился неподалеку от проезжей части, на возвышении сразу за мостом. Мраморное сооружение представляло собой архитектурное совершенство и, несомненно, имело большую художественную ценность. Сторонние люди приходили к нему, чтобы лишний раз с восхищением отметить благородную красоту, воплощенную в камень.

Как-то люди, живущие окрест, проснувшись поутру, не нашли на холме памятника. Накануне вечером, он еще был, а ночью исчез. Не веря своим глазам, окрестный люд устремился к холму и здесь на месте памятника обнаружил один лишь дерн, поспешно кем-то выложенный.

Поднялась же у кого-то рука уничтожить под покровом ночи редкое архитектурное сооружение! И рука поднялась, и совесть молчала.

Теперь то кладбище превращено в… мандариновый сад. Кто теперь вспомнит, срывая желтые плоды, что вызрели они на костях?

И снова повторю: до чего некоторым легко дается решение запретить, разрушить, снести. И память уничтожить.

VII

Край багрового диска солнца коснулся на горизонте моря и закатные лучи, точно ливень, затопили крышу здания техникума. «Брызги» солнечных лучей достигли и ветвей кипариса, под которым я сидел. Пора идти... я тяжело поднялся с места и, окинув осиротелое здание прощальным взглядом, двинулся прочь.

Но друзья моей юности, любимые преподаватели вспоминались сейчас так живо, будто они только что вышли из дверей техникума и

пошли со мной рядом. Мне даже казалось, что я вижу, кто во что одет, и все подробности минувших дней обступили меня со всех сторон.

Мое волнение не улеглось и по возвращению домой, тени прошлого не оставляли меня... Пришлось доставать фотоальбом, хранимый, как самая бесценная реликвия. Я уселся в уголке, раскрыл альбом и вынул групповую фотографию. Здесь мы, выпускники, запечатлены со своими преподавателями перед началом праздника, посвященного окончанию нашим курсом техникума. Я вглядывался в фотографию, и вереница наших преподавателей входила в мою комнату, видимая только мной, моим внутренним взором.

Вот директор техникума Давид Абасович, судя по фотографии, в ту пору он был человеком средних лет, высокий, ладно скроенный, с несколько выпуклым лбом и большими голубыми глазами, глядевшими на нас проницательно и немного иронично. Я помню, он следил за своей внешностью и чаще всего появлялся в безукоризненно сшитых костюмных парах. Но если предстояло принять важных гостей издалека, или был зван на большой сход куда-нибудь в село, Давид Абасович облачался в национальную одежду – архалук, черкеска с газырями, стан перетянут наборным поясом, на котором висит кинжал в серебряных ножнах с чеканным узором. А на голове – мерлушковая папаха. Голос у него был громкий, издалека слышный, а мысль свою излагал так прихотливо, что невольно каждый заслушивался, гадая, к чему он ведет. Я никогда не слышал от него ни одной стандартной мысли. По специальности он был географом и автором многих статей по географии и краеведению, а также ряда учебников. Но этим не ограничивались его интересы. Давид Абасович являлся на редкость многогранным человеком, в печати появлялись его новеллы, очерки, исторические изыскания. Часто выступал он как журналист и не только в изданиях края, но и в центральной печати. Обладал он большим весом и как общественный деятель. Как мы ни были молоды, но вскоре заметили, с каким уважением и гордостью произносилось его имя в городе. Студенты трепетали перед ним. На его уроках по географии мы боялись лишний раз шелохнуться, пропустить хоть слово из того, что он рассказывал. Честно говоря, мы терялись под его строгим взглядом, и нам казалось: он сразу заметит, если мы хоть что-то из сказанного им, пропустим мимо ушей.

Давид Абасович был не просто строгий, но порой суровый до грубости, и все, что происходило в стенах техникума, держал под личным

контролем. Он пристально следил и за дисциплиной среди учащихся, и за учебным процессом, и за работой библиотеки, и за обустройством быта учеников в общежитии, и за качеством еды в столовой. Словом, без его строгого взгляда не обходилась ни одна подробность сложной жизни техникума. А вот на экзаменах он был куда более снисходительным, чем другие преподаватели…

Я все вглядывался в групповой портрет и засмотрелся на человека в национальной одежде. Он был единственным, кто так оделся в тот день. Это – Антон Еснатович. Он обычно никогда не ходил на работу в национальной одежде, но на наш выпускной вечер изменил своей привычке. Подчеркивая, как много для него значит этот праздник, Антон Еснатович оделся так, как одевались наши предки. Это тем более уместно, что учил он нас родному языку и литературе. В свое время, в пору господства в Абхазии меньшевиков, учительскую семинарию, в которой учился Антон Еснатович, закрыли, и он не успел ее закончить. Когда же при советской власти открылся педагогический техникум, наш будущий преподаватель абхазского языка и литературы успешно ее закончил, а потом решил продолжить образование в Тбилиси и там, в университете, прослушал три курса на факультете кавказских языков. Завершить образование ему не удалось, по состоянию здоровья он вынужден был вернуться в Сухум. К преподавательской деятельности он был привлечен директором техникума. Антону Еснатовичу было не меньше 45 лет, но он не был женат и обитал в студенческом общежитии, в комнате, специально ему отведенной. Так как он вел в техникуме литературный кружок, все мы, уже кропавшие стихи и прозу, то и дело стучались в дверь его комнаты в жажде получить совет или задать интересующие нас вопросы. Но надо сказать, редко, когда мы его заставали в комнате. Человек он был очень занятой и сразу после окончания занятий в техникуме торопился на побережье. Его ждали в драмтеатре, там он работал помощником режиссера, а в драмкружке читал лекции по культуре живой речи.

Сколько лет с тех пор миновало, но иногда сквозь пелену смутных воспоминаний вдруг ярко, словно подсвеченные изнутри, проступают черты любимого учителя. Он был невысокого роста, крепкого телосложения. Ни в густых черных волосах, ни в широких бровях, ни в коротко подстриженных усах не было и намека на седину. Угольного цвета широко расставленные глаза всегда глядели с затаенным огнем, неравнодушно, говорил он неторопливо, тихим

голосом, но не успокаивался, пока свою мысль досконально не доносил до слушателя.

Уроки Антона Еснатовича были для нас праздником. Он знал множество стихов на память и любил их декламировать. Читал Антон Еснатович стихи, будто молитву возносил, с глубокими интонациями, любил в начале чтения привлечь внимание, подняв правую руку над головой, а, завершая декламацию, прижимал ладонь к сердцу...

Никого из них теперь нет в живых, царство им небесное, светлые, великодушные люди. Пока живы мы, их ученики, в которых они столько души вложили, они остаются нашими вечными спутниками.

VIII

Однажды я проснулся среди ночи с тревожно бьющимся сердцем. Меня знобило, потом бросило в жар, до утра я так и не сомкнул глаз. Я почувствовал, что у меня не хватит сил подняться и идти на занятия. К тому же, за окном разыгралась ненастная погода, дождь лил, как из ведра. Я понимал, что, если промокну под дождем, так мне непременно станет хуже, и благоразумно решил отлежаться. Соседи по комнате убежали на лекции, оставив меня одного. Одного, да не совсем. Ведь под подушкой у меня лежала тетрадка с моими записями. Из деревни я привез ее за пазухой. С ней я связывал смутные, но волнующие надежды, я дорожил ею, как амулетом. Я рассчитывал, что когда-нибудь наберусь храбрости и приду со своей тетрадкой к большому нашему писателю Алиасу Шаматовичу. С тех пор, как я поселился в Сухуме, я ни разу не открывал тетрадку, но ни на минуту о ней не забывал. Каждый раз после отсутствия я, забежав в комнату, первым делом нащупывал ее под подушкой и успокаивался, обнаружив, что она на месте. Но что-то мешало мне достать тетрадку и перелистать. Наверное, происходило это из-за того, что в комнате я редко оставался один, а при посторонних вытаскивать на всеобщее обозрение свою «святыню» я не решался. Но сейчас вся комната принадлежала мне, пальцам стало горячо, когда я просунул их под подушку и вынул заветную тетрадку. Я стал просматривать ее, и теплая волна любви и гордости накрыла меня.

Я почувствовал, как переношусь туда, к родному дому у склона холма, чудилось, что сижу у жарко пламенеющего очага. Я даже явственно

осязал запах дыма, слышал, как тычется в бока и дно котла амхабыста – деревянная лопатка, которой мать замешивала мамалыгу...

Я и думать не думал, что так могут будоражить строчки из моей тетрадки. В нее я записывал по своей охоте, а ни по чьему-либо совету, народные песни, сказки, пословицы, поговорки, истории о народных героях.

Даже здесь, в общежитии, когда ежедневно я давился коркой хлеба, запивая ее компотом, я не отдалился от своей тетрадки. Наоборот, она придавала мне силы и теперь, читая ее, я наслаждался звучанием чистого родного языка. И те, за кем я вел записи, точно живые представали передо мной. Я слышал берущие за душу звуки, которые извлекал из апхярцы Мамсыра, сам крепкий, литый, как свинцовое ядро. Он пел свои песни под апхярцу. Но отчего-то не мог себе представить Чины сына Чичина, но в ушах звучали его игра на ачамгуре и велеречивые здравицы, что я записывал за ним... Привиделся мне и мой дед – с обнаженной седой головой он истово молился...

Я вспомнил, как учителя из моей деревни, заметив мое пристрастие к народному слову, советовали собирать сказки, сказания, записывать своими словами...

– Как знать, когда-нибудь и сам станешь не только собирателем, но и писателем, – говорили они.

Я вдруг подумал: может, что-то от себя мне удалось стоящее запечатлеть в этой тетрадке и сколько ей еще предстоит пролежать под подушкой? Не пришло ли время кому-то ее показать?

Три дня я мучился над этим вопросом. Мне казалось: стоит передать кому-нибудь на прочтение тетрадку, как тут же она перестанет быть моей, во всяком случае, с той пронзительной близостью, какой была сейчас.

Но однажды я позвал к себе Закана. Мы уже второй год дружили с ним, но он и не подозревал, что я обуреваем столь волнующей меня тайной.

– Сам прочти, но никому не показывай! – попросил я, сунув ему в руки свою тетрадь.

* * *

В тот день к нам на литературный кружок пришли, кроме его участников, много студентов из разных курсов. В небольшой аудитории негде было яблоку пасть.

Апта, который вел собрание, оглядев переполненное помещение, удовлетворенно отметил:

– Дай бог, чтобы нас прибывало, а не убывало!

За столом, покрытым красным кумачом, кроме него сидел еще один человек – Шама – секретарь комсомольской ячейки техникума.

Предполагалось, что на этом литературном собрании послушают и обсудят произведения трех студентов, пишущих стихи. В число трех входил и я. Первым пригласили выступить третьекурсника Смела. Это было справедливо. Во-первых, он был старше нас двоих, во-вторых, считался признанным поэтом в техникуме. На всех праздничных вечерах он выступал со своими стихами, посвященными событиям, к которым были приурочены сборища. Кое-какие стихи Смела даже публиковались в городской печати.

Как только произнесли его имя, Смел порывисто встал со своего места и двинулся к кафедре, прямо держа спину и гордо вскинув голову с густыми волосами, свободно падающими чуть ли не до плеч. Ростом он был невеличка и необычайно худ, но держался с большим достоинством, даже несколько высокомерно. Выйдя к кафедре, Смел некоторое время молчал, вскинув глаза к потолку, будто что-то там выискивая. Зал замер в ожидании.

Председатель собрания, приглашая Смела к выступлению, сообщил аудитории, что мы услышим новую – с пылу, с жару! – поэму поэта, написанную по впечатлениям, полученным студентом на каникулах, проведенных в чайном совхозе под названием «Сухой дол». Автор собственными глазами не только видел, но и участвовал в кипении трудового энтузиазма в упомянутом совхозе. Поэма почему-то называлась «Яд».

Выдержав паузу, Смел начал читать свое творение. Читал он очень громко. «Зачем кричать, ведь помещение совсем небольшое?» – удивился я про себя. Из первой части поэмы я запомнил только начальную строчку: «Наше поколение клянется именем Революции!» Закончив читать первую часть, Смел вновь выдержал паузу, вглядываясь в лица слушателей, наверное, ему хотелось определить по их глазам, какое впечатление произвела поэма. Вторую часть произведения он начал читать потише, но к приближению финала вновь гремел голосом, закидывая слушателей рубленными фразами. Как ни странно, в моей памяти сохранилась и заключительная строчка поэмы: «Истекая ядом змея, сгинула без следа, своим жалом отравив себя сама».

Раздались редкие хлопки, но с места вскочил секретарь комячейки и, поворачиваясь, то в одну сторону, то в другую, бешено захлопал, всем своим видом приглашая последовать его примеру. Большинство присутствующих приняли приглашение, – гром аплодисментов заполнил аудиторию. И без того избалованный славой первого поэта, Смел лишний раз убедился, что и на этот раз ему удалось завоевать слушателей, всех до одного. С довольной улыбкой он поблагодарил за внимание и вернулся на свое место. Не дожидаясь, когда смолкнут аплодисменты, и, не спрашивая разрешения на слово у председателя собрания, Шама выступил с заявлением:

– Во всех уголках нашей страны обострилась классовая борьба! Кулак видит, что близок час расплаты и, как сказал поэт, «истекая ядом», сам себя уничтожает. Товарищ Смел создал беспощадное к врагам произведение, которое призывает нас быть бдительными по отношению к классовым недобиткам. В деле воспитания подрастающей молодежи – это очень своевременное, очень важное произведение. От имени всех комсомольцев нашего техникума выражаю тебе признательность, товарищ Смел. Твоя поэма – это твоя победа. Актуальное для нашей современности произведение должно немедленно увидеть свет, предлагаю рекомендовать поэму для публикации в областной газете «Комсомолец Абхазии»! Наша комсомольская ячейка сделает все возможное, чтобы поддержать талантливое произведение нашего товарища.

– И мы так думаем! Мы – за то, чтобы поскорее появилась в печати поэма Смела! – поднялся с места какой-то чернявый парнишка, сидевший ближе к выходу.

На некоторое время воцарилась тишина.

– Может, еще кто-то хочет высказаться о поэме? – обвел глазами аудиторию Апта, председатель собрания.

Неожиданно для меня, сидевший рядом со мной Закан поднял руку. У меня сжалось сердце. «Неужели и он начнет расхваливать поэму»? – с тоской подумал я. Мне она совсем не понравилась. Мой друг не вышел к кафедре, несмотря на приглашающий жест ведущего собрание, заговорил с места.

– Поэма, если ее так можно назвать, действительно на актуальную тему, как сказали вы, с этим я согласен. Но достаточно ли этого, чтобы говорить – произведение удалось? Подумайте сами, как схематичен сюжет поэмы. В одном славном совхозе, скрываясь под чужим именем, вредит изо всех сил беглый кулак. Комсомольцу Дамею удалось разо-

блачить его, сорвать с него личину. Наверное, похвально. Да вот беда – и злодей, и отважный борец с классовым врагом, и остальные персонажи только обозначены. Это ходульные образы, бумажные герои, лишенные всех человеческих качеств. Поверить в них невозможно! Это не поэма, а сборник лозунгов и я решительно не понимаю, почему в каждом лирическом отступлении, автор заклинает: «Наше поколение клянется именем революции»?! Написана поэма неряшливо, неуклюжим слогом...

– И в процеженном молоке можно углядеть случайную волосинку! – выкрикнул с места чернявый парень.

– Зависть – занятие не для мужчины! – подал голос еще кто-то с задних рядов.

Но Закана это не сбило:

– Я считаю – над поэмой надо серьезно поработать, прежде чем предлагать в печать! – подытожил он, прежде чем сесть на место.

После выступления Закана восхваление поэмы застопорилось. Только еще два человека рискнули принять участие в обсуждении. Но они говорили больше о недостатках, чем о достоинствах произведения Смела. Один из них даже завершил свое выступление словами, что было бы большой ошибкой обнародовать столь сырую вещь.

Настал черед второкурсника Сафара прочитать свои стихи. Это был медлительный парень маленького роста, шел он к кафедре вразвалку, а за кафедрой его почти не было видно. Начал он читать совсем тихо, близоруко щурясь на листки со стихами. Слушатели загудели:

– Читай громче! Ничего не слышно!

Сафар послушно покашлял в кулачок, прочищая горло, и попытался возвысить голос, и все равно слышно было его плохо. Читал он монотонно. Основной темой его стихотворений было осуждение проклятого прошлого и призыв к борьбе с его родимыми пятнами. Отчего-то до сих пор помню окончание одного из стихотворений Сафара:

К дням минувшим людям возврата нет,
В бездну прошлое – пусть воссияет свет!

Кроме прошлого, к которому «людям возврата нет», автор еще ополчился на наши леса:

Чащи нам путь заступают – темны и густы!
Но их топоры искрошат – остры да быстры!

Автор призывал сравнять леса с землей, чтобы лесному зверю негде было укрыться! Да и в целом лес, который слышал лишь голос эксплуатируемого пастуха, сзывающего стадо, бесповоротно был осужден и не мог рассчитывать на пощаду. Оказывается, и лес можно рассматривать, как классового врага!

В конце концов один из слушателей не выдержал и крикнул:

– А ты не подумал, если лес изничтожить на корню, где же взять дрова в студеный день?

Но поэт предпочел пропустить мимо ушей столь приземленное, практическое замечание и продолжал бубнить свои стихи.

Разделавшись с проклятым прошлым и лесами, Сафар перешел к другой теме, которая, как выяснилось, тоже изрядно его волновала. Она была посвящена грядущей мировой революции и окончательной победе над загнивающим капитализмом.

Между Лондоном и Парижем вроем в землю алый стяг,
Пролетарское наше знамя – мировой свободы знак!

– Погоди, погоди! – поднялся с места один из студентов. – Ты, что, географию не учил? Столицу Франции Париж и столицу Англии Лондон разделяет пролив Ла-Манш. И куда ты собираешься врыть стяг? В Ла-Манш?

На эту реплику Сафар счел возможным ответить. Он свысока глянул на своего противника и веско проговорил:

– Поэт имеет право на свое видение! Не надо покушаться на его фантазию, иначе это будет покушением на саму поэзию!

Когда же перешли к обсуждению прочитанного, первым снова взял слово секретарь комячейки.

– Радует широкий кругозор молодого поэта! Его не интересуют мелкие темы. Он, в отличие от некоторых, в стихах не тает в мещанском восторге от жгучего взгляда какой-либо черноокой красавицы. Он воспевает новое время, талантливо воспевает! Пожелаем ему удачи!

Выступления остальных я не запомнил, из-за того, что сильно разволновался в ожидании своей очереди. Как мне хотелось сейчас оказаться за тридевятью земель отсюда. Я не был уверен, что внезапно ставшие ватными ноги донесут меня до кафедры. Никогда раньше я не выступал публично. И мне нечего было сказать о классовой борьбе или мировой революции. Мой душевный мир они мало задевали, я,

конечно, знал что мы «новый мир построим», но четко не видел своего места в том строительстве. Единственно, что меня утешало – это то, что Закану понравилось содержание моей тетрадки. Он ее перечитал несколько раз и собирался сегодня непременно выступить со своим отзывом о моих стихах. «Если я сейчас сбегу, он сочтет меня трусом», – с горечью подумал я. И в это время назвали мое имя и пригласили выступить. Я пошел к кафедре, но разговоры в аудитории не стихли. Наверное, никто не ожидал от новичка каких-либо откровений и не желал его слушать. Мне тяжело было начать выступление, да и голос мой плохо слушался, но делать было нечего.

– Я прочту записанные мной народные песни, поговорки, здравицы! – начал я, стараясь совладать со своим голосом.

В начале выступления я прочитал, записанное за нашим Мамсыром, сказание. Я помню, сказитель излагал свой рассказ под звуки апхярцы. На этом инструменте он играл божественно. Сказание называлось: «Сасрыкуа и тень». Потом я ознакомил с песнями Чины сына Чичина – от горестной: «О, Калт-Кук» до задорных шуточных песенок... Я старался по мере своих сил передать интонацию самих исполнителей... Под конец я перешел к здравицам и молитвам, которые записывал за своим дедом, златоустом.

В зале воцарилась мертвая тишина.

– Пусть еще почитает или достаточно? – обратился к слушателям Апта, когда я замолчал.

– Читай, читай еще! – подхватила аудитория.

– Я займу еще немного вашего времени, – продолжил я. – Но то, что вы сейчас услышите, я ни за кем не записывал. Я прочту стихи собственного сочинения. Хороши они или плохи, но другого автора у них нет.

Я отложил в сторону тетрадь, и стал на память читать стихи.

Никто меня не перебивал, но никто и не захлопал после моего прочтения. В наступившей тишине мне только приходилось гадать – понравилось – не понравилось.

Первым тишину нарушил Шама:

– Если предыдущие выступавшие стоят здесь, на нашем берегу, то Лаган остался по другую сторону реки! Видите, какую он тематику избрал! Так писали еще дореволюционные поэты. Лаган обнаруживает полную политическую безграмотность, опасную приверженность к дремучему прошлому. Да, писать он умеет, да, владеет слогом, но что толку при таком косном мировоззрении? Лагана надо немедленно спа-

сать, иначе его засосет болото отринутого мира, уже начало засасывать!

Не в меру разошедшегося секретаря мягко остановил председатель собрания.

– Я думаю, мы должны поблагодарить Лагана за то, что он записывает народные сказания и песни, сберегает для нас народную мудрость. Не оставляй этого всем нам нужного дела, Лаган. Обсуждать здесь народное творчество я, полагаю, мы не будем, но просил бы остановиться на собственном творчестве Лагана – на его стихах. Здесь верно заметил уважаемый Шама, в творчестве молодого поэта совершенно не отражено новое время, он в плену у старого режима. Мимо его внимания проходит классовая борьба. Лаган не замечает, как преобразилась наша жизнь, по какому светлому пути мы идем. Все мы – и комсомол, думаю, не останется в стороне, – должны помочь Лагану выйти из тени прошлого.

– Заметно влияние Иуа Когониа, небось, любишь этого поэта?! – бросил мне Шама, искоса недобро на меня поглядывая.

– Лично поэта, к сожалению, я не знал, но наследие его люблю и почти все знаю на память.

– На память выучить дело несложное, а вот разобраться... Не напрасно он свои сочинения назвал сказаниями старины. Какая от них польза советскому человеку? В чем они ему помогут. Ты в этом разобрался, Лаган? И скажи-ка, что собой представляет любимый персонаж автора Абатаа Беслан?

– Абатаа Беслан, если говорить словами самого автора, был героем своего времени, – ответил я, чувствуя, что он скоро от меня не отстанет.

– Герой, видите ли! И что твой герой сделал для освобождения угнетенного абхазского народа? И сам какого роду-племени? Допустим, крестьянского, хотя крестьянин крестьянину тоже рознь. Но автор разве хоть раз показал нам Абатаа Беслана, идущим по полю за плугом или с мотыгой в руках, или за каким-либо другим занятием трудового человека? А? Нет, не показал! Зато под ним гарцует породистый конь, и одет он отменно, а вооружен и того лучше. Откуда он все это взял? Значит, было, кому на него батрачить! Если он и не был княжеского роду, так кулаком, как сейчас сказали бы, точно был.

Шама закидывал меня грубыми несправедливыми словами, как комьями грязи. Задыхаясь под их градом, я растерянно думал, как мож-

но такое произносить в адрес Абатаа, кто «лучился и светил, подобно солнцу», кто был «взращен самой Апсны».

– Абатаа Беслан – человек чести! – нашел я в себе силы заступиться за своего героя, которым гордился с младых ногтей. – Давайте вспомним, как он отнесся к просьбе прекрасной Ханифы, которую он умыкнул и умчал на своем скакуне. На кону была поставлена жизнь Беслана, но он не обидел отца любимой, показал наряду с мужеством и благородство, и уважение, отпустил тестя с миром, да еще и проводил далеко за поле. А когда однажды враги окружили дом Абатаа, и он мог один спастись, как он поступил? Он не о себе подумал, пошел к жене, чтобы ее спасти, а в ответ услышал: «Не меня, а мать свою старую спаси!» Он будит мать, зовет бежать с ним.

Сыночек, куда же старухе бежать?
Жену и сестру тебе надо спасать!

Беслан кинулся к сестре, сказал, что дом окружен убийцами, и что им надо бежать, но и от сестры он услышал такие слова:

Коль отчий наш дом окружили враги,
Беги и седлай поскорее коня.
С любимой, покуда не видно ни зги,
Спасайся мой брат, и забудь про меня.

Так метался Беслан меж дорогими ему людьми и ни одного из них не мог бросить. Он их жизнь ценил выше своей и совестью своей не мог поступиться. Чувство долга в нем было сильнее страха гибели. Так разве он стал бы благоденствовать за счет другого человека? Да он за каждое доброе дело отблагодарил бы сторицей!

– Из какой тьмы, из какой пещеры вывалился этот парень?! – громко ужаснулся первый из поэтов Смел. – Он не по колено, по уши увяз в болоте старой жизни. Вряд ли удастся бедолагу вытащить оттуда и раскрыть ему глаза на новый мир!

– Умерьте свой пыл! Прислушайтесь, что вы несете! Как птицы нападают на сову, так вы накинулись на новичка, хотите всякую охоту к слову у него отбить? Обижайтесь – не обижайтесь, а я скажу вам открыто. Вы не поняли Лагана, или, что еще хуже, не хотите понять! – так заговорил третьекурсник Карбей, слывший молчуном.

Зал, заинтригованный, что он внезапно решил нарушить привычное молчание, смолк, вслушиваясь в его слова.

– Молодой поэт обладает собственным голосом. И голос этот и вправду далек, от ставшего для нас привычным газетного кликушества, чему лично я очень рад.

Вслед за Карбеем поднялся с места Закан.

– Правильно заметил здесь Карбей, сегодня мы познакомились с молодым поэтом, у которого собственный голос, у него – несомненный дар. Если кто-то из вас предположил, что я по дружбе нахваливаю Лагана, то ошибаетесь. Открою вам маленький секрет. Именно я сегодня настоял на том, чтобы Лаган прочел здесь свои стихи. Сам он этого не стал бы делать. Он не из тех людей, которые любой ценой жаждут привлечь к себе внимание. В нем много достоинства. Вы раз прослушали стихи, я читал и перечитывал их много раз, и это дает мне право сказать вам то, что я намерен сказать. Кое-кто из нас считает, что давно пора отречься от устного творчества нашего народа. Какое страшное заблуждение! Мы не в состоянии оценить сокровища народной мудрости, оставленные нам предками. Вот почему произведения великого Иуа Когониа, созданные на – фольклорной основе, на народной мудрости, сегодня отброшены на обочину литературной жизни. Как вы знаете, впервые книга Иуа Когониа появилась в 1925 году. С тех пор прошло почти восемь лет, а книгу так и не переиздали, экземпляры из давнего издания днем с огнем не сыщешь! Мы должны благодарить Лагана, что он и сам почувствовал вкус к народному творчеству и нам постарался привить. А то, что он записывает за сказителями, достойно особой похвалы. Старики наши не вечны, они уйдут и унесут с собой в могилу свою мудрость. Спасибо Лагану, что он для нас пытается мудрое слово сохранить. То, что он не пишет о мировой революции, еще раз говорит об его достоинстве и о том, что не зря он записывает за нашими мудрецами. Молодой поэт определил для себя твердо, что из трескучих фраз и вещей, о которых знает понаслышке, не рождается истинная поэзия. Он пишет о том, что знает, что любит, что видит, а видит он многое и свежим взглядом. Вот послушайте, как он передал нам ощущение, вызванное радостным весенним утром в селе, какая получилась картина:

А яблоня клубилась в стороне,
Как облако, дивясь себе самой.

Я тронул ветку и под ноги мне
Осыпались цветы, как снег зимой.

В небесной выси – не погасший в срок
Белесый месяц крался, словно тать.
И шепотом прохладный ветерок
Спешил чужую тайну разболтать.

И вслушиваясь в дальнее «ку-ку»,
Что пастуху озвучивало путь,
Я потерял рассветную строку,
В тот миг не пожалев о ней ничуть.

– Да возьму на себя твои беды, Закан, но, сколько еще можно воспевать всю эту деревенскую благодать?! – насмешливо выкрикнул кто-то из зала. – Новое время требует новых песен! Разве не так?

Его вопрос повис в воздухе, Закан неторопливо продолжал разбирать мои стихи:

– Поэт на редкость точно выбирает слова для своих стихотворений, его образность поражает. Я думаю, это все из-за того, что он сызмала, гораздо раньше, чем научился грамоте, слушал народные сказания, еще совсем маленьким проникся силой народного слова, его красотой. Вам не кажется удивительным, что, когда начинающий еще поэт пишет о судьбе своей родины, он находит такие слова, что читатель в полной мере разделяет все его чувства, проникается его болью, его мыслями. Вот, к примеру, послушайте:

Горы в горе каменном застыли.
Слезы превратились в ледники.
Тени тех, кто здесь когда-то жили,
Шли назад беззвучны и легки.

По родным бродили пепелищам,
Озираясь, думали с тоской:
В мире новом мы покой отыщем.
Ты наш край, обретешь ли покой?

Мы встречаем у Лагана и стихи для детей, очень звучные:

«Ме-е, – плачет козленок, – попал я в беду:
Я маму ищу и никак не найду».
Но мама – коза, а совсем не иголка!
А вдруг она стала добычею волка?

Все, что случается в родном селе, находит отклик в сердце поэта. На наших глазах рушится старый уклад жизни, уходит в небытие и в прямом, и в переносном смысле. И в сердце поэта не может не отозваться болью судьба старика, чья нить жизни вот-вот оборвется, и помочь ему нельзя, выходит, он исторически обречен. Послушайте:

Ох, крыша лачуга совсем прохудилась,
И кольями стены подперты кругом...
Так что же мне делать, скажите на милость?
Как жизнь обустроить, как выстроить дом?

Я – пахарь, а нужен – смекалистый плотник.
К тому же, за душою у меня ни гроша.
Не станет задаром трудиться работник.
Кто нынче поможет, коль нет ни шиша?!

Долго еще Закан разбирал мои стихи, остроумно отбиваясь от словесной атаки некоторой части аудитории.

Завершая затянувшийся вечер, выступил председатель собрания Апта. Присущее ему многословие, как густым дымом от костра, обволакивало аудиторию, при этом он четко следовал руслу, указанному секретарем комячейки. Недаром он то и дело ссылался на него – «Как верно отметил здесь товарищ Шама»! Возносил Апта до небес, ясное дело, поэтов, расхваленных секретарем, прочил им славное будущее. Кое-что было сказано и обо мне:

– Все мы знаем – действительно надо бережно относиться к слову народа. И спасибо Лагану, что он записывает за мудрецами их думы. Но что касается его самого, то наша с вами задача – политически вооружить парня, вырвать из тени прошлого!

Собрание завершилось. Вокруг Смела и Сафара сгрудились слушатели. Поэты принимали поздравления с удачным выступлением и в сопровождении ватаги сверстников покинули помещение. Мы с Заканом

остались одни. Никто не посчитал нужным подойти к нам, перемолвиться словом-другим, или хотя бы издали кивнуть.

IX

Мы с сестрой Мачич торопливо поднимались по склону холма под нудным мелким декабрьским дождем, который наверняка зарядил надолго, как это свойственно зимней мороси. Короткий зимний день склонялся к вечеру, не убавляя нашей тревоги. Наконец мы оказались в седловине холма, и свет из нашей деревеньки – это было мерцание свечей и пламени над открытыми очагами построек для приготовления пищи – порадовал взгляд и придал нам новые силы. Но беспокойство не покидало нас. Дело в том, что мы с сестрой пустились в путь неспроста. Днями в Сухуме побывал наш молодой зять – муж недавно вышедшей замуж моей старшей сестры Гушки. Он отыскал в общежитии мою сестру Мачич, подарил ей денег и как бы вскользь – наверняка не хотел ее излишне волновать! –сказал, что отец наш недомогает и даже слег, и если бы мы с сестрой приехали его проведать, то это, несомненно, ободрило бы больного! Как бы деликатно ни известил нас зять, мы с сестрой, конечно, приняли близко к сердцу весть о болезни отца. Сестра, как старшекурсница, отправилась к директору с просьбой отпустить нас на несколько дней, чтобы навестить заболевшего отца. Директор дал разрешение, но предупредил, чтобы мы надолго не задерживались.

– Сами знаете, как у вас обстоят дела! – напомнил он.

Дела у нас действительно обстояли неважно. В адрес директора техникума поступили по почте два анонимных письма из нашего села. Одна из анонимок начиналась так: «Разве место детям кулака в советском учебном заведении, особенно в таком, где готовят воспитателей будущих поколений?» В другом, более пространном, – пять страниц, исписанных с двух сторон! – излагались все прегрешения нашего отца. Мол, записан он, как середняк, а на самом деле кулак, мироед. И что он ведет вредительскую работу против колхозов, мало того, что сам не соглашается вступить в колхоз, но и других отговаривает от столь замечательного начинания, и все в таком же духе. Директор не дал ходу пасквилям, заложил в долгий ящик, но, кто знает, кому еще были отправлены доносы подобного характера.

Правда, имелись факты, которые говорили в нашу пользу. Во-первых, сестра Мачич привезла из нашей деревни справку, подтверж-

давшую, что наш отец вступил в колхоз. Во-вторых, мы с ней учились на «отлично» и были на хорошем счету у преподавателей, да и по дисциплине к нам не было никаких претензий.

Наконец мы добрались до ворот нашего дома, я пропустил вперед сестру. Мы направились к просторной нашей амацурте. Ее двери были распахнуты настежь, и по двору плыл запах дыма, исходивший от разложенного огня в открытом очаге. Сладкий дым.

Мы остановились на пороге и огляделись. Мать наша, сидя возле очага, размешивала в котелке сычужное молоко, собирая молодой сыр. А широкая лавка, где обычно расстилали постель при недомоганиях отца, пустовала. Более того, постель была сложена в конце лавки и накрыта покрывалом. Где же больной? Мы с сестрой недоуменно переглянулись.

Мама удивилась нашему неожиданному появлению, быстро сбросила истекающий сывороткой сыр в миску, и пошла нам навстречу, с расстояния обводя поднятой ладонью овалы наших лиц – магический знак, которым она брала наши беды на себя. Мы расцеловались.

– Нам передали, что Тата болен (так Мачич называла отца) и мы не могли усидеть в городе! – объяснила сестра причину нашего внезапного появления. – А его, оказывается, и дома нет...

– Но он не лучше хворого! – печально сказала мать и, отведя взгляд от нас, глянула в сторону распахнутых дверей.

– Да что же случилось, мама, вижу, и тебя что-то гложет? – заговорила Мачич.

Мы растерянно топтались возле матери, дивясь тому, что она не осыпает нас с присущей ей щедростью ласково-радостными словами. Такой подавленной мы ее еще не видели. Она отошла от нас, поставила в шкафчик молодой сыр, сняла с огня котелок с сывороткой, повесила в углу на крюк и обессилено уселась на лавку перед очагом. Мы с сестрой сели по обе стороны ее с двух сторон, стараясь, хотя бы своей близостью смягчить грызущую ее печаль. Некоторое время мать молчала, и мы не торопили ее.

– В вашем роду не было людей со злым себялюбивым сердцем. Они всегда жили так, что о себе заботились позже, чем о других. И ваш дед – царствие ему небесное! – прежде всего, думал о ближних. Когда утвердилась нынешняя власть, деда ввели в Земельную комиссию. Старцы, направляемые скрытой рукой, едва нас со свету не сжили вместе с дедом, мол, кто дозволил распоряжаться ему княжескими уго-

дьями. Но не о себе заботился ваш дед – о безземельных крестьянах. Честь по чести, по справедливости он распределил землю меж ними, сам же, кроме нареканий, не получил ничего. Оказывается, и уважения за честный труд не заслужил, иначе не загоняли бы сегодня его сына, отца вашего в комхоз, не отбирали бы последнего, потом и кровью им заработанного.

– Что значит «отобрали последнее»? – хором воскликнули мы с сестрой.

– А то значит, что им все мало! Прошлой осенью подступили к отцу, мол, ты середняк и в состоянии сдать в пользу государства зерно. «Раз без моего зерна государству не обойтись, сдам, если даже самому придется жить впроголодь». Так сказал ваш отец и половину содержимого кукурузника отвалил им. Мы надеялись: теперь нас оставят в покое!

Мама поднялась с места и подбросила дров в огонь. Висевший над огнем котел с разваривавшейся крупой для мамалыги мигом вскипел. Мама сняла с котла крышку, чтобы варево не вылилось на огонь. Для того чтобы чем-то себя занять, она принялась деревянной лопаткой размешивать кашу.

Мы видели, как ей тяжело все это нам рассказывать, как велика материнская обида.

– Ведь отец сам поделился частью урожая, чего теперь сердиться? – недоумевая, спросил я.

Мать смолчала, только обвела меня недовольным взглядом, но не в ее характере было резко обрывать кого бы то ни было.

– Да куда же он запропастился так надолго, ведь ушел без всякой охоты! – не выпуская из рук лопатку, мать дошла до двери и выглянула наружу.

Не обнаружив никого, она вернулась к очагу и подвинула ближе к котлу миску с просеянной мукой, пора было замесить мамалыгу.

– Ди, давай я приготовлю мамалыгу! – вскочила с места моя сестра.

– Ты часом не потеряла сноровки в городе, вдруг у тебя комками мамалыга пойдет?! – пошутила мама, но протянула Мачич лопатку.

Сама она взяла тарелку и, набрав в нее муку из миски, принялась засыпать кипящий котел, а Мачич энергично размешивала ее лопаткой, получалось у нее это ловко. Вскоре мамалыга была круто замешана. Сестра воткнула лопатку торчком прямо посередке густой каши и уселась у огня рядом со мной. Нам хотелось, чтобы мать продолжила

разговор, но не решались донимать ее вопросами. Но она сама почувствовала наше нетерпение.

– Когда в прошлом году пристали к вашему отцу, мол, вступай в комхоз – или как он там называется? – ему удалось отговориться, сказал: «Затея новая, мне надо подумать, дайте время на раздумье». А в этом году начали сызнова: «Смотри, целый год думал, и что же надумал? Думай еще сутки, не больше!» Особенно разошелся Кацман – он из начальства, которое в Очамчыре, но за нашим селом особо присматривает, уполномоченный, кажись, называется. Вот уж кто подливал масла в огонь! Мы позвали вашего дядю Танаса – спросить совета, сами знаете, старшина он в нашем селе. Под вечер он въехал во двор, спешился без обычных своих шуток-прибауток и мы поняли тотчас – дело плохо.

Как только мы вошли в дом и уселись, Танас сам начал разговор:

– Деваться некуда – придется вступать в колхоз. Завтра же, не медля, приди в контору и напиши заявление. Если же будешь и дальше упрямиться, дела могут принять совсем плохой оборот. – Мой брат не смотрел нам в глаза, стыдясь того, что бессилен нам помочь, мы видели, как он встревожен и как не рад тому, что говорит. – Тебе их не одолеть, вмиг объявят кулаком, детей твоих вышибут из техникума, как вражье отродье, а семью и вовсе могут сослать куда подальше.

Мой брат горестно перевел дыхание и замолчал.

– К кому прислушиваться мне больше, чем к тебе, Танас! – заговорил ваш отец. – Но хотел бы я понять, какой толк от тех лентяев, которые нынче объединились в комхоз? Сам знаешь, для них ровную борозду проложить в поле – тяжкий труд. В самую страду у лежебок всегда находилась причина отлынивать от работы. И что же теперь получится? Мы, привыкшие работать на земле до седьмого пота, будем работать, себя не жалея, а по осени делить урожай с бездельниками, мол, мы с ними в одном комхозе?

– Говорят, некий Джат хватался за мачту в надежде удержать корабль на месте. Смотри, чтобы и с тобой что-то похожее не стряслось, зять!

– Вина Джата невелика, он впервые ступил на палубу, к тому же, бедолага, и не знал толком, куда его везут. А вы, держащие штурвал села, вы сами знаете, куда направляетесь? – распалился отец. – Собрали в одну кучу голь перекатную, тех, кто сроду к работе не приучен, и дельных крестьян, безруких и рукастых, безголовых и умных. Не обижайся, Танас, но нынче старшины села что-то наподобие клина меж землей и крестьянином, раскалываете, а не соединяете.

– Нынче пора мутных потоков, зять, не поостережешься, подхватит и в омут затянет, – с горечью пояснил Танас.

До третьих петухов мы сидели втроем, судили-рядили, а наутро ваш отец отнес в контору заявление. Мол, прошусь в комхоз.

– И правильно сделал! Мы с Мачич, узнав о том, обрадовались! – сказал я.

И сестра меня поддержала:

– Не оставаться же было ему единоличником! Скажу тебе, ди, откровенно, не вступи отец в колхоз, нас уже выгнали бы из техникума. Если бы ты знала, какая жалоба из нашего села пришла на нас. Хорошо, директор не дал ей ходу, а тут и известие, что отец вступил в колхоз, подоспело.

– Кто же написал ту черную бумагу? – поежилась мать. – Кому мы поперек горла встали?

– Если бы ты слышала, как на общем собрании честили наших сокурсников, чьи отцы в колхоз не вступили! – сказал я матери. – Четырех студентов отчислили. Называли их вражеским отродьем, а себя упрекали, мол, проглядели чуждых элементов, затупилась революционная бдительность, как давно не правленая коса. И всем вбивали в голову: детям людей, живущих надеждой на возврат старых времен, не место среди молодых строителей социализма. Всего, что наговорили на собрании, не упомнишь...

– Хорошо, что наш отец вовремя опомнился! – перебив меня, быстро сказала Мачич. – Зашагал в ногу со временем.

Она со спины обняла маму и прижалась к ней.

– Бедняжки! Верите всему, что вам в уши вкладывают! – вздохнула мать. – Или вы заделались такими горожанами, что со стороны, без сердца, смотрите на наши бесконечные крестьянские неурядицы?

Мать высвободилась из объятий Мачич, взяла из очага горящую головешку и от нее зажгла керосиновую коптилку и поставила в сторонке, а головешку вернула в очаг. Она вновь подошла к двери, вглядываясь в темноту, обеспокоено пробормотала:

– Где же его так долго носит? Не свалился ли он в какой-либо овраг, точно отощавший бычок?

Мы с сестрой переглянулись, не зная, что сказать. Мать помаячила еще у двери и вернулась к очагу, на этот раз она уселась на скамью, что находилась по другую сторону очага и долгим горестным взглядом посмотрела на мою сестру.

– Легко ли снести, когда видишь, как дармоеды разбазаривают добро, нажитое тобой в поте лица?

– О чем ты говоришь, ди? – удивилась моя сестра. – Это в проклятом прошлом обирали крестьян, а теперь кто же станет зариться на крестьянское имущество? Наоборот, во всем им помогают!

– Вы прямо как те пустозвоны, что приезжают из города, и горло дерут перед нами! – с неприсущей матери резкостью остановила она сестру.

Мы поняли, что у матери накопилось много обид на власть, гораздо больше того, что она рассказывает. Может, кое о чем она хотела умолчать до возвращения отца?! Но, видно, она уже не могла совладать со своими обидами. И потому вскоре вновь заговорила:

– Как только отец ваш вступил в комхоз, так немедля чуть ли не с ножами к горлу пристали, мол, отдай в общее хозяйство весь свой скотный двор, да и землица твоя, теперь комхозная. Оставили нам двух дойных коров, а так и быков, и телок, и буйволиц – все забрали. А наш виноградник, где до седьмого пота трудился и дед ваш, и отец, а сады наши, где они? Все теперь общее. Теперь мы со стыда сгораем при мысли, что кто-то к нам завернет в гости, ни попотчевать по-людски, ни поднести стакан вина. Все отнято! Для чего жить нищими? И как нам, уже немолодым, прокормить себя, а вам, учащимся, как помочь? Вот такие черные дни наступили...

Таких горестных слов мы от матери отродясь не слыхивали, не видали ее в подобном отчаянии. Жалость к матери захлестнула меня, комком встала в горле – не продохнуть. В это время мы услышали покашливание со двора, догадались, что это отец. Мы с сестрой вскочили на ноги и встали по обе стороны двери, чтобы отец сразу увидел нас.

На крыльце он положил топорик, что нес на плече, и, сняв с головы войлочную шапку, стал стряхивать с нее дождинки. Переступив порог, заметив нас, оживился и, повесив на крючок у двери шапку, обвел нас испытующим взглядом.

– Да принять вашему отцу смерть вместо вас! – заговорил он тепло. – Принесли в дом молодую радость в утешение нам, старикам.

Он обнял Мачич и поцеловал ее в лоб. Со мной, учитывая, что я мужчина, он нежничать не стал, только потрепал по волосам рукой и вновь обвел меня беспокойным взглядом.

Мы с сестрой сразу заметили, как сильно переменился отец, как сдал! Он отпустил бороду и сейчас, возможно, из-за густой полуседой

бороды казалось, что лицо его удлинилось. Или оно просто осунулось? Темные круги под глазами придавали ему болезненный вид, а в глазах стыла тревога.

В прежние времена он сразу увлек бы нас к скамье возле очага, усадил бы рядом с собой, принялся бы расспрашивать: «Что нового, там, в Сухуме?» И слушал бы нас с неподдельным интересом. Теперь же отец не торопился сесть, неожиданно взял из очага горящую головню и двинулся к закрытой задней двери помещения, будто ему почудилось, что кто-то притаился снаружи. Потом вернулся назад, бросил головешку в огонь и остался стоять в изголовье очага, сложив на груди руки. Увидев наши ошеломленные лица, он заставил себя улыбнуться.

– Если заживешься на свете, может выпасть на твою долю многое, что и в страшном сне не могло присниться! – сказал он устало. – Сегодня под вечер вышел нарубить дров и вдруг вижу: у ворот волы наши стоят. Это мы, люди, стали забывать и дом свой, и любовь к отчему наследию, а скотина, выходит, нет. Волы и потянулись ко двору, в котором выросли. К чему им чужие общие коровники? Руки зачесались, так хотелось впустить их и поставить в коровник, но понял – хорошего из этой затеи не получится. Взял я хворостину и погнал бедных животных в колхозный коровник. Они идти не хотели, все поворачивали назад. Бедная неразумная скотина... – отец нервно похлопал по карманам в поисках курительной трубки. Обычно он закуривал, уютно усевшись у огня, но сегодня ничего не происходило, как прежде. Отец отыскал в кармане трубку, достал кисет, набил чубук табаком, а я быстро схватил горящую в очаге головешку и поднес отцу огня. Тот прикурил от головешки, а я увидел вблизи страдающее выражение его глаз.

– Тата, – подала голос Мачич и замолчала. Возможно, она хотела, чтобы отец как прежде уселся на скамью, а мы бы устроились рядышком, но не решилась высказать свое пожелание, да и отец, похоже, не услышал ее.

– Пригнал я к колхозному коровнику волов, а по ночам сторожем там Хфар. Увидел моих волов и как напустится на меня:

– Я их целый вечер искал, сбился с ног, а ты, небось, на них дрова возил. Никак не уразумеешь, что волы теперь не твои и близко к ним не смей подходить.

Я онемел! Меня винили без вины. И кто? Дармоед Хфар. Да он в жизни не наработал на котел с мамалыгой в собственном доме. Я едва удержался, чтобы не снести его пустую голову своим топором, но во-

время опомнился. Не брать же грех на душу из-за этого вонючки! Загнал я волов в коровник и что вижу? Никто в коровнике не убирал, настил мокрый, мочой разит, в яслях пусто, голодная скотина ревмя ревет. Для меня это как острый нож в сердце. Мои волы по вечерам и зерно в миске получали, и ясли были полны чалой – жуй, не хочу. Теперь выходить, им подыхать? Я не выдержал и как заору:

– Куда вы смотрите? Да они зиму не переживут при таком уходе.

– А Хфар и ухом не повел.

– Ничего с ними не станется, Бадра. Вы сами снесете сюда и корм своей скотине.

– Поскольку здесь нет твоей скотины, и корма ты сроду не заготавливал, так что же на твою долю приходится, Хфар? Плясать на радостях?!

– Ты за свое цепляешься, на общественное плюешь! – неожиданно заговорил Хфар как по писаному. Да так веско, будто он мужчина, а не трутень!

Я на миг даже онемел, и вновь руки у меня зачесались, но вижу – он еще и выпивши, повернулся и ушел поскорее, чтобы ненароком его не зашибить, тварь безмозглую!

– Вижу, обидам твоим нет конца, разговоров о них хватит до первых петухов, – подала голос мать. – А мамалыгу давным-давно пора снимать с огня и дети, как приехали из города, ни крошки не брали в рот.

По правде говоря, мы изрядно проголодались. Мать поднялась с места, внесла из коморки специальные столики для еды и принялась размешивать мамалыгу, потом разложила ее по столикам, воткнула в нее дольки сыра.

Но отец вроде и не замечал приготовлений к ужину, смотрел неотрывно на огонь в очаге, а потом стал расхаживать из конца в конец по амацурте, возмущение его не улеглось, и он вновь заговорил о стороже колхозного коровника.

– Нет, вы подумайте, доверить целое стадо трутню, дармоеду вонючему! Какие отменные рабочие быки, какие волы найдут свою погибель от голода и холода в проклятом общем коровнике! Вы у нас – народ ученый, читать, писать умеете, в будущее глядите, так скажите, за что им такой удел?

– Отец, не принимай это так близко к сердцу, – тихо попросила Мачич. – Разберутся с Хфаром, увидят: не пригоден он ухаживать за скотиной, найдут подходящего скотника...

Но отец пропустил мимо ушей ее слова. Он весь кипел, а между тем, всегда слыл в округе сдержанным человеком. Да что же сталось с ним? И как исхудал! Одежда на нем висела, как с чужого плеча. И теперь так легко было его вывести из себя. Он разгневался бы даже на муху, что ненароком села бы на него.

– Куда смотрят старшины нашего села, как они могли положиться на Хфара! – по-прежнему кипятился отец.

Мать, урезонивая его, заметила:

– Ну не советчиком же к людям Хфара приставлять, вот и нашли ему дело по силам – присматривать за коровником.

– Называют колхоз делом добровольным. Но по своей доброй воле я и близко к таким бросовым людям, как Хфар, не подошел бы. И не я один. Если бы собрали вместе добрых тружеников, то толк, возможно, и вышел бы. Но если руки развязать таким как Хфар, так они любое дело сгубят. С одних семь потов сойдет, но не отступят, пока не управятся с делом. Других на поле не загонишь, зато они готовы часами сидеть в тени и языками молоть. Вот языки у них никогда не устают! Мы, крестьяне, посмеиваемся над всеми, кто не умеет ровную борозду проложить, виноград взрастить, да богатым скотным двором обзавестись. Но есть такие, у кого к крестьянскому делу руки не стоят, а живут зажиточно. Ибо Бог дал им другой дар – умение с умом торговать и себе на радость, и другим на пользу. Вышучивайте их, сколько хотите, а толк от них немалый. Но даже если умелых торговцев загнать в колхоз, чего от них хорошего можно ожидать? В одном тесном загоне разнородные скоты и те не уживаются, не только люди. Так скажи, Лаган, – отец неожиданно ткнул в сторону меня указательным пальцем – скажи, возможен лад в колхозе?!

– Кто сколько заработал, то пусть ему и будет, а лентяй и останется ни с чем! – сказал я. – Зачем же ты изводишь себя?

Отец долго молча смотрел на меня, потом уселся – наконец-то! – на обычное место у очага.

– Эх, Лаган, говоришь так, будто не в крестьянском доме вырос! – с вздохом определил он. – Если так дело пойдет, вытравят из крестьян крестьянский дух, ухайдакают жадных до работы, отвращение к земле внушат. Они и захотят легкой доли как у тех, кто живет с прохладцей в колхозе. Или с отчаяния и вовсе покинут село, подадутся в город за иной жизнью. Покинутая земля начнет быстро остывать. Нахолодит она ноги молодым, и они долго здесь не задержатся. Осиротеют села,

брошенные дворы зарастут колючкой... – он осекся и замолчал, а потом другим голосом – видно было, как он старается совладать с собой, – мирно произнес: – Мачич, дочка, дай руки омыть, мамалыга давно снята, пора ужинать. В разговорах мало толку. Говори и не говори – попали мы под дурной глаз рыжего человека, не спасешься. С ним и герой Абрскил сражался, теперь вот Рыжий на меня да на мою скотину ополчился.

– У твоего Рыжего с дурным глазом нет ни племени, ни рода? – спросила мать. – Последнее время только о нем и толкуешь, но ни разу не назвал ни имени, ни фамилии.

Отец промолчал. Мать с сестрой поставили перед ним столик с едой. Оказывая должное уважение отцу, я не сел рядом с ним, а пристроился на приставной табуретке к дальнему углу стола. По другую сторону очага мать и сестра поставили другой столик, за которым в одиночестве сидела сестра, оттого что мать, несмотря на отсутствие гостей, не захотела ужинать вместе с нами, а предпочла подавать еду.

Мы с сестрой жадно набросились на еду. Отец ел мало и нехотя.

– Хотел бы я сейчас поднять стакан с вином да благословить вас, детей моих, пожелать, чтобы всегда вам выпадал счастливый путь, да не могу. В доме ни капли вина. Пыль собирают кувшины, врытые в землю, и даже те пустуют, что я берег к Рождеству и Пасхе. Мой виноградник, который отошел колхозу, в этом году еще тяжелел гроздьями – помнит еще мою руку, помнит! Да только мне оставалось издали глядеть, как птицы расклевывают гроздья. Под конец прислали каких-то юнцов – собрали пару корзин винограда, не знаю, куда его подевали.

– Дай детям спокойно поесть, не нагружай их своими обидами – буркнула мама, ставя перед ним тарелку с мацони.

Отец пристально глянул на нее и вдруг сказал:

– Ты спрашивала, кто тот Рыжий с дурным глазом? Я тебе отвечу. Враг человеческого роду! Он никого не щадит и никого не слышит, кроме себя, он кровосос. Он – живоглот. И это чудовище теперь хозяйничает, и ни одного меня на нашу беду он приметил, а всех, кто трудом своим привык жить-поживать и добра наживать. Где нам укрыться от этого зла, в какой крепости обороняться. Извините, дети, кусок не лезет в горло! – отец резко отодвинул столик и поднялся с места.

Мы с сестрой тревожно переглянулись – несомненно, отец был болен, хоть и не лежал в постели, и какое снадобье его могло бы исцелить, мы не знали.

Следом за отцом мы тоже поднялись. Женщины захлопотали, убирая остатки ужина, перемывая посуду. А я не знал, куда себя девать. Обычно, поужинав, не ложились спать, а наоборот, подбрасывали дров в огонь, устраивались вокруг пламенеющего очага и затевали долгие разговоры, зачастую, пересыпаемые шутками. А если надо было обсудить серьезные семейные дела, так и это откладывали на время после ужина. Когда был жив мой дед, так он как раз в такие вечера любил поделиться всем услышанным на сельских сходках, а рассказчик он был превосходный. Случалось, заглядывал на огонек кто-либо из соседей, и тогда не было конца разговорам, где быль сплеталась с героическими сказаниями. Редкий вечер проходил без того, чтобы под ачамгур мы не спели одну-другую песню. Мой дед любил приговаривать: «Песня открывает створки к сладким снам!»

Когда-то у нас была большая семья, и у каждого в амацурте было облюбовано свое место. С грустью я огляделся. На любимом месте покойного деда на скамье возле очага теперь сидел отец и, понурив голову, курил трубку. Место дяди моего Элизбара теперь пустовало. После того, как он женился, живет своим домом неподалеку от нас. Не занимает своего места и старшая моя сестра Гущка, она вышла замуж, оставила отчий дом. И хотя сегодня мы с Мачич сидим на своих местах, но случается это теперь все реже и реже, ведь мы учимся в городе. А в нашем некогда многолюдном доме остались только двое – отец и мать, непривычно это для них, неуютно. Да я и сам ощущаю, что здесь приютилось одиночество. Мне кажется, с уходом моего деда дом наш стал терять свою теплоту, свою щедрость. Теперь сюда не часто добираются почетные гости издалека. Да и соседи, которые раньше любили собираться у нас, поговорить о том, о сем, послушать сказания старины, отвести душу в шутках-прибаутках, нынче больше сидят по домам, такое уж время. Только отец с этим смириться не может, потому так сдал, даже голос звучит по-другому, как у надтреснутого колокола.

Мы с сестрой не могли не заметить, что отцу хочется лечь пораньше, и потому, пожелав родителям спокойной ночи, мы прошли в гостевой дом на сваях. Мачич юркнула в боковую комнатушку, а я расстелил себе постель у окна в большой комнате и улегся. Но сон не шел ко мне, хотя, казалось, добравшись до родного гнезда, о котором я так тосковал в городе, должен был бы, оказавшись в постели, с легкой душой предаться сну. Но не тут-то было. Путанные тревожные мысли понесли меня, как норовистый конь, и удержу они не знали. Больше всего душа

болела из-за отца. Он тяжело переживает, что земля, на которой он неустанно трудился, виноградник, любовно им взращенный, скотина, за которой ухаживал, себя не щадя, все это теперь ушло от него. Отец вроде сам написал заявление о приеме в колхоз и правильно сделал, не стоять же ему в стороне ото всех, но в душе он не смирился со своими утратами. «Он должен привыкнуть, как все»! – говорил я себе. Но, может, он видел больше, чем все? И кто этот рыжий с дурным глазом, не дающий ему покоя? Должно быть, в глазах отца он объединил в своем облике все неурядицы, разлом, происходивший в селе. К новому времени притираться для отца оказалось много сложнее, чем для других. Надо бы бросить техникум, вернуться домой, быть рядом с ним, подсоблять ему во всем. Но одобрит ли он такое мое решение? Не для того ли он вступил в колхоз, чтобы не лишать меня и мою сестру возможности получить образование? Беспредельная жалость к отцу не давала мне сомкнуть глаза, и я никак не мог решить, как поступить? Оставить отца наедине с его тяжкой ношей – разбитой жизнью – мне казалось невозможным. Но и выхода, который он одобрил бы, я не видел.

Время перевалило за полночь, я лежал у окна и смотрел в немного прояснившемся небе на луну в зените. Наконец я провалился в забытье...

На рассвете меня разбудило неясное мычанье скотины. Оно доносилось от ворот. Я быстро оделся и на цыпочках, стараясь не разбудить сестру в соседней комнате, выбрался на крыльцо. У ворот, ближе к тому месту, куда выходил торец нашего гостевого дома, мычали два могучих отцовских быка – Звездный Лоб и Рыжая Холка. Должно быть, они не примирились с грязным, продуваемом ветрами обобществленным коровником, где пустые ясли и дрыхающий, налив глаза винищем, сторож и, снеся хлипкую стену, явились домой. Возле быков стоял мой отец, поглаживая их по шее, и что-то приговаривал приветливо-радостным голосом. Я прислушался.

– Совсем я разум потерял, раз погнал вас в паршивый тот коровник, понадеялся, что Хфар за вами приглядит. До вас ли дармоеду, залил, наверное глаза до краев, и храпит где-то на остатках сена. А вам же – ни теплого местечка, ни корма. Чуяло мое сердце, чуяло, что от голода вам брюхо сводит. Вот придя домой, я сена вам в ясли положил, чалу тоже не забыл, да кукурузных зерен насыпал в долбленки. По правде говоря, не надеялся вас здесь спозаранку увидеть, всего лишь утешал себя, готовя вам корм, оказалось: как нельзя кстати. Хоть сегодня на-

едитесь досыта, бедолаги мои. Не надо так жалобно на меня смотреть, будь моя воля... да нет моей воли, вот в чем беда...

Жалобы отца доставали до самого моего сердца, и против моей воли слезы наполнили глаза, я досадливо смахнул их и, сбежав с крыльца, направился к отцу.

Если отец и заметил мое приближение, он ничем это не показал, продолжал говорить со своими быками, как с разумными существами и попеременно поглаживал их по крепким шеям. Я тоже соскучился по нашей живности, и мне захотелось приласкать быков. Но когда я приблизился к Рыжей Холке и протянул к нему руку, бык сердито замычал и выставил в мою сторону острые рога.

– За чужого принял! – выдохнул отец. – Господи, теперь скотина быстрее, чем люди, чувствует перемены. Будет, будет, – он похлопал по спине быков, но они беспокойно затоптались вокруг него. – Парень пока еще наш, селянин, не принимайте его за чужака, за городского, свой он еще, свой, угомонитесь! – он обернулся ко мне: – Лаган, открой дверцы в хлев, пусть быки наедятся вдоволь – я с вечера корм заготовил – постоят в чистом сухом месте.

Я открыл дверцы, и быки ринулись, толкаясь в проходе, внутрь хлева. Они бросились к долбленкам с кукурузой и громко захрустели зернами.

Отец некоторое время стоял у хлева, прислушиваясь к тому, что делалось внутри. А я в свете едва брезжившего рассвета смотрел на него, и седая его борода мне казалась обледеневшей, печалью его превращенной в гроздья сосулек. Щемящая боль не отпускала мое сердце.

– Иди, сынок, ложись, досыпай, до утра еще есть время! – сказал мне отец и сам медленно двинулся к амацурте.

Сделав несколько шагов, отец остановился, обернулся ко мне, а потом возвел очи горе и произнес дрогнувшим голосом:

– Молю тебя, Отче наш, охрани единственного моего сына, яблоневую подпорку дома моего, от злых происков Рыжего, от дурного его глаза!

Время шло и однажды, когда я приехал домой, сестра Мачич огорошила меня такой новостью:

– Знаешь, Лаган, твой друг Руша женился.

– Быть того не может! Чтобы он женился, а я о том не знал! И свадьбу сыграл?

– Сыграл!

И меня не позвал?!

– Не только тебя, никого из села в гости не позвал, да и жену его никто не видел!

– Может, и вовсе не женился? – не поверил я. – Виданное дело – невесту прятать, друзей не звать.

– Женился, женился, в районном центре и свадьбу сыграли, для начальства, для уважаемых людей! В родном селе для Руши, наверное, уважаемых не нашлось! Односельчане на него в большой обиде.

– И кто же его нареченная?

– Не абхазка. Зовут ее Жужуной. Сейчас здесь о ней много судачат, я думаю, тебе наговорят многое, а мне больше сказать нечего.

Сестра у меня не любила сплетен, зато другие судили-рядили...

Оказалось: невеста – родная племянница районного начальника Сарапиона Пахуаловича. Сам он был бездетен и принимал активное участие в судьбе племянницы. Она выросла в его доме, и когда его направили работать в наш район, он из Тбилиси перевез родню и, само собой, племянницу Жужуну. А наш Руша в районном центре работал рядовым милиционером, хотя с виду был хорош собой и танцор неутомимый. Вот на какой-то свадьбе Руша и Жужуна познакомились, вместе сплясали, понравились друг другу. Про девушку можно было сказать следующее – припозднилась она с замужеством и красотой не блистала. Потому в том, что Руша пришелся ей по сердцу ничего не было удивительного. Очень скоро она согласилась стать его женой. Дядя ее на радостях расстарался для своей любимицы, молодым тотчас выделили казенную квартиру. И свадьба, говорят, была не бедной, хотя и прошла без участия односельчан.

В районном городке тоже много судачили о молодых и слухи эти рано или поздно, но доходили до родного села Руши.

Одни возмущались невестой:

– Ох, и жалкая доля выпала Руше, ввел в дом морщинистую старую деву. Она и родить, наверное, не сможет, на пять лет его старше, ни рожи, ни кожи, ни приведи Господи, такую невесту!

Другие возражали:

– Что толку от стати и красоты парня?! В остальном он – деревня деревней, что он знает, что умеет? Ходит по рынку с наганом на боку вот и вся его работа!

Третьи говорили:

– Счастье улыбнулось Руше, знать, увидел зачарованную воду! В какую семью вошел, разве не видите? Да они с Богом готовы соперничать! Не успеете оглянуться, как ваш деревенщина окажется на какой-нибудь чистенькой работе, новая родня преподнесет ее ему, как узорчатую трость!

Именно эти третьи как в воду глядели. Простой милиционер круто пошел в гору. Вначале его направили на краткосрочные курсы для комсомольских работников, а по возвращении направили в родное село секретарем комсомольской организации. Было ясно, что долго он там не задержится – просто для того, чтобы взлететь на должную высоту он должен был начать отсюда.

Как только его назначили на работу в родное село, он ласково обратился к жене:

– В отчем доме некому жить, поедем со мной, увидишь дом, где вырос, увидишь моих односельчан. Квартиру у нас никто не отнимет, будем на два дома жить. Село мое – горное, подышишь целебным его воздухом, узнаешь его – полюбишь.

Как ни старался Руша говорить мягко – к тому времени он знал жесткий нрав своей жены – слова его были встречены яростью.

Молодая – не по возрасту, а по положению – жена тигрицей накинулась на мужа:

– Был деревенщиной и остался деревенщиной. Зря стараюсь тебя вывести в люди, сколько тебя ни отмывай, не отмоешь от деревенской грязи. Как ты посмел даже предложить мне, выросшей в достатке и внимании в доме известного человека, переехать в вашу глухомань? Как только у тебя язык повернулся? Если ты еще хоть раз сдуру ляпнешь подобное, знай, меж нами все кончено. И еще, чтобы я в доме нашем не видела и духу твоей широколапой родни!

Накричавшись, жена бурно разрыдалась. Желая утешить, Руша попытался было ее обнять, но она резко оттолкнула мужа. Ничего ему не оставалось, как выйти вон, осторожно прикрыв за собою дверь.

X

Дней десять – не меньше! – в техникуме и было разговоров, что о заседании того литературного кружка, о котором я уже вам рассказал. Я, прослывший застенчивым молчуном, многих удивил на том вечере. Учащиеся техникума другими глазами посмотрели на меня. Одним

понравилось содержание моей тетрадки, они подходили ко мне, жали руку, хвалили, советовали и дальше писать. Другие – их, к счастью, было меньшинство, – задирали колкостями, нарекли пленником дремучего прошлого. Но я обходил их стороной. Как ни странно, с того заседания я совершенно охладел к литературному кружку и перестал его посещать. Мой друг Закан удивился моему решению, не одобрил, и долго уговаривал не оставлять кружка, но под конец он понял, что напрасно старается, и теперь без меня отправлялся на литературные сборы.

Разговоры о моих стихах и записях, очевидно, дошли и до Антона Еснатовича, преподавателя абхазского языка и литературы. Он позвал меня в один из пустующих классов и попросил лично для него изложить содержимое моей тетради. Учитель пожелал сначала послушать народные предания, а потом и собственные мои стихи. Не проронив ни слова, он внимательно слушал меня. После того, как я закончил читать, Антон Еснатович сделал мне несколько замечаний в основном грамматического характера. За содержание – особенно собственных моих стихов – он похвалил.

– Не мог бы ты мне на некоторое время доверить свою тетрадь? Хочу поближе ознакомиться с твоими стихами.

Разумеется, я не мог отказать ему в просьбе. Оставив на столе перед учителем свою заветную тетрадку, я попрощался и ушел.

Спустя некоторое время после урока Антон Еснатович сказал мне:

– Сегодня в семь часов вечера наш директор Давид Абасович приглашает тебя в гости, смотри, не опаздывай!

С этим он и ушел по своим делам, оставив меня в растерянности. Для чего я понадобился директору? Обычно провинившихся в чем-то вызывали в кабинет директора. Никакого проступка за мной вроде бы не числилось, но это с моей точки зрения. Правда, Давид Абасович пригласил меня к себе домой. Это было что-то новенькое.

По дороге к дому директора я вспомнил, как на собрании литературного кружка секретарь комсомольской ячейки Шама упрекал меня, что я увяз, как в болоте, в проклятом прошлом, и упреки в косном мировоззрении всплыли в памяти, наверное, директор тоже намерен указать мне на мою чуждость новому времени, скажет: переучивайся, пока не поздно. А как переучиваться, если я пишу, как чувствую? Разве не чувства побуждают человека писать стихи? Что толку, если чувствуешь одно, а говоришь другое? Разве люди не видят: человек лука-

вит и говорит вовсе не то, что думает? И почему старое и новое время должны непримиримо противостоять друг другу, как кровные враги? Ведь в старом времени жили наши деды и отцы. Выходит, мы должны от них отказаться? От рода своего? Разделить пропастью прошлое и настоящее и где эта пропасть должна проходить? У меня голова шла кругом... Так я и дошел до квартиры директора, нажал на черную кнопку звонка и тотчас из квартиры раздался громовой лай Боя – крупного пса директора. Мне открыли быстро. В дверях стояла супруга Давида Абасовича, одетая для улицы. Она с приветливой улыбкой проводила меня в кабинет мужа, где за круглым столом сидели хозяин дома и Антон Еснатович.

– Вы меня простите, но я вас оставлю, звонили из больницы, состояние вчера прооперированного больного ухудшилось, – сказала хозяйка и ушла.

Она работала врачом в больнице. Я исподтишка оглядел кабинет. Две стены в просторном помещении были сплошь заставлены стеллажами с книгами. У свободной от книг стены стоял шкаф со стеклянными дверцами. И в нем висела национальная абхазская одежда, в которую в особо торжественных случаях облачался наш директор – архалук, черкеска, башлык, мерлушковая папаха, через стекло я видел, как поблескивали висевшие рядом с вещами наборный абхазский пояс и кинжал в серебряных с богатым узором ножнах.

Я намеревался скромно примоститься на стуле в углу, но хозяин не позволил, велел занять место за круглым столом, за которым они находились. Сгорая от смущения, я уселся у стола на указанный мне стул. Напротив меня на стене висела большая картина, и я засмотрелся на нее. Я сразу понял, что на картине изображена гора Ерцаху. Вот три ее пики, как остроконечные рога, поднимающиеся над зеленью вершины Панаю. И меж ними – одинокое белоснежное облако, точно унесенное ветром необъятное кисейное покрывало. Такое впечатление, что оно колышется на ветру. Я удивился тому, что художнику удалось передать иллюзию трепетного движения и позавидовал его мастерству.

Давид Абасович взял со стола мою тетрадку – то, что она лежит перед ним, я еще с порога заметил! – и сердце мое тревожно замерло. Он полистал ее, словно собрался что-нибудь из нее почитать, но потом, к моему великому облегчению, закрыл и положил на прежнее место.

– Говорят, на заседании литературного кружка тебе досталось хулы больше, чем хвалы, – сказал он, глядя на меня проницательными неу-

лыбчивыми глазами. – Но это неважно. Благодаря тому вечеру и мы узнали о тебе. Это неплохо. Хочу, Лаган, откровенно поделиться с тобой кое-какими моими мыслями... кто изучает историю нашего народа, в один голос отмечают, как богат и разнообразен наш фольклор. Это бесценное достояние. Но мы до сих пор не осознали в полной мере, каким богатством обладаем. Иначе не могу себе объяснить, почему мы так пренебрежительно относимся к народной сокровищнице, не собираем пословицы и поговорки, не записываем за сказителями. Наш народ много раз стоял на краю гибели. Теперь, когда наступила хоть какая-то передышка, разве не самое время попытаться сохранить навек народное творчество? А вместе этого, что мы видим? Небрежное отношение к родному языку, к старине, к традициям. Тебе известно, Антон Еснатович, – он полуобернулся к своему гостю, – что многие абхазы отправили своих детей в школы, где не преподают родной язык. Они надеются: заговорив на чужом языке, дети их быстрее выбьются в руководители. Пренебрежение родным языком гибельно. Мы и без того потратили слишком много времени впустую. Недостаточны усилия нескольких наших ученых, осознающих, как важно сохранить великое наследие предков. Я и с себя вины не снимаю. Если бы вовремя взялся за дело, возможно, и преуспел бы на этом поприще. Не могу себе простить, что я лично знала, Жана Ачба и ни одного словечка за ним не записал. – Он вздохнул и, откинувшись на спинку своего стула, закурил трубку. – Сказитель умер в 1916 году, но слух о нем и до тебя, наверное, дошел Лаган?

– Я слышал о нем, – тихо признал я.

– А я мог записать его удивительные высказывания и песни, что он исполнял под звук апхярцы. Жана Ачба был слепым, но видел больше многих зрячих. Я запомнил, как он однажды сказал: «Ничто так не выдает тайны человека, как его голос». Он обладал великим даром и поэта, и мыслителя. И что же мы сохранили из его наследия? Несколько острот? В день, когда сказителя хоронили, в гроб с ним положили его апхярцу. Но с ним в могилу ушли и его сказания, его песни. Мы могли их удержать, да только палец о палец для этого не ударили. Пусть никто из моего поколения не снимает с себя вины, что растеряли народное наследие. Лично я всегда буду чувствовать себя в том виноватым.

Я не знаю, Лаган, кто посоветовал тебе записывать за нашими мудрецами. Еще лучше, если ты сам ощутил вкус к собиранию золотых россыпей народного творчества. Считай, что и для собственных сти-

хов ты нашел богатую почву, на ней ты можешь заложить удивительный сад. Больше всего меня порадовало то, что в твоей тетрадке я не нашел ни одной строчки, говорящей языком плаката. Твои стихи могут кому-то показаться чуждыми нынешним временам и газеты их вряд ли напечатают. Но пусть это тебя не огорчает, придет твой час. Главное – ты не торопись, не изменяй себе.

Давид Абасович подтолкнул в мою сторону тетрадку и замолчал. Я поднялся с места. Мне хотелось поблагодарить его, уверить, что запомню навсегда услышанное от него – так, впрочем, и произошло, – но слова застряли в глотке. Я понимал, что у директора и Антона Еснатовича есть еще дела – знал, что они совместно работают над хрестоматией абхазской литературы – и что мне не следует больше задерживаться здесь.

Но я едва сумел выдавить из себя – «до свидания» – и поплелся к двери.

Странное дело, после ободрения скупого на похвалы нашего директора, я должен был лететь как на крыльях. А я же почувствовал странную тяжесть, будто взвалил на плечи непосильную поклажу. Время было позднее, и по дороге в общежитие я встретил всего лишь нескольких прохожих. Мне хотелось с кем-нибудь поговорить, облегчить свою душу, может, тогда не так бы придавливала к земле непонятная тяжесть, невесть почему легшая на мои плечи. Но когда я пришел в свою комнату, друзья мои уже спали. Я же до самих первых петухов маялся в своей постели, пытаясь в одиночку сладить со всеми мыслями, вынесенными из разговора с директором. Но в итоге в памяти моей та ночь сохранилась на редкость светлой.

XI

В том году Мачич уже учительствовала в нашем селе после окончания техникума, я же все еще был школяром. После наступления каникул я не сразу поехал домой, дней на десять задержался в Сухуме и, видать, дома меня заждались. Во всяком случае, издали заприметив меня, сестра закричала: «Ди, смотри, ди, Лаган приехал!» Она побежала мне навстречу. Родители с радостными лицами вышли из амацурты. Мы обнялись. Мне показалось, что на родителей благотворно подействовало присутствие Мачич. После ее возвращения они не чувствовали себя одинокими стариками, доживающими свой век в доме,

некогда наполненном голосами разных поколений. Родители как бы помолодели рядом с Мачич. А теперь к этому прибавилась еще и радость встречи со мной. А к вечеру соседи, родичи, прослышав о моем приезде, собрались у нас дома. И как в прежние времена стало многолюдно. Только речь не заходила о героических историях прежних времен, да и шуток-прибауток поубавилось. После ужина гости еще долго сидели, но во всех их разговорах проскальзывало глухое недовольство событиями, происходящими в селе. Мало кому пришлись по душе коренные изменения. Не так-то просто было отказаться крестьянам от впитанных от предков и их предков вековых привычек, уклада жизни. Грубая ломка всего, к чему они привыкли, не могла не отзываться в сердцах болью. В тот вечер было не до шуток. Гости наши кляли на разный лад Кацмана – уполномоченного районным комитетом компартии организовывать в нашем селе правильную жизнь. Сельчане называли его «Прикреплен», должно быть, от искаженного русского слова «прикрепленный» – и ни одного доброго слова не находили для него. Да и мудрено было найти. Кацман вел себя как настоящий самодур, ни к кому не прислушивался, и меньше всего к словам почитаемых всеми старейшин села. Он сам знал, что лучше для всех, и боролся за всеобщее счастье, не спрашивая, нужно ли кому-то предлагаемое им «счастье». Он поставил перед собой цель – вовлечь поголовно всех крестьян нашего села в колхоз и отрапортовать в райком о своих достижениях раньше других уполномоченных, нещадно сколачивавших колхозы в других местах. Осуществление этой цели стало бы для него большим личным праздником. Но вот беда: сельчане мало способствовали приближению его личного праздника. И он стал часто устраивать собрания, на которых, не щадя своей глотки, он накидывался на непонятливых крестьян.

– Кулак – наш классовый враг! Вырвем его с корнями из родной почвы! – с пеной у рта провозглашал Кацман и напоминал: – Лишить права голоса – это в наших силах!

Не оставлял без своего революционного внимания и середняков:

– Пора середнякам определяться, с кем они! Хватит раскачиваться!

В его темных глазах зажигался фанатичный огонек, он сердито размахивал руками и зычный его голос звучал в ушах слушателей как гром небесный.

Правой рукой Кацмана «прикреплен» в нашем селе, оказывается, комсомольский вожак, секретарь комячейки Руша, бывший мой дру-

жок. Как говорили в тот вечер в нашем доме, «прикреплен» и секретарь комячейки бьют в одну и ту же мишень. Беспощадно бьют!

Наговорившись досыта, соседи пожелали нам доброй ночи и разошлись по домам. Мы с сестрой поднялись в дом на сваях, где у каждого из нас была своя комната. Когда я зашел в свою, был приятно удивлен – здесь было чисто прибрано, на круглом столе стояла ваза со свежим букетом из роз. Значит, дома моего приезда ждали каждый день, и каждый день готовились к нему, я обвел радостным взглядом этажерку из бамбуковых палок, на которой стояли мои самые любимые книги. На рабочем же моем столе я вдруг увидел портрет боготворимого мной поэта Иуа Когониа. Он был вправлен в деревянную рамку со стеклом. Конечно, это было дело рук моей любимой сестры. И где она только раздобыла снимок моего кумира? Я с благодарностью обернулся к сестре, она улыбнулась глазами, принимая благодарность. Несмотря на поздний час, мы уселись в моей комнате поговорить.

– Честно признаюсь, мне не понравилось, что соседи наши так отзывались о Руше! – сказал я сестре.

– Ты еще не такое услышишь о нем! – горестно проговорила Мачич. – Увидишь его – не узнаешь, уж больно он изменился! Целыми днями Руша разъезжает по селу на общественных конях – скольким уже сбил спину, да что ему их жалеть, ничейные же! Разъезжает и учит всех жить. «Я вожак молодежи села, куда я, туда и молодежь»! – не раз и не два слышали от него. Какой-то дурной поток подхватил Рушу, несет неведомо куда, и когда иссякнет, непонятно! Но ему-то кажется он на коне, на лучшем скакуне и с призом летит вперед. Ничего не слышит, кроме слов Кацмана. И впрямь, шелудивый конь всегда другого шелудивого коня найдет.

Мне стало совсем грустно от слов сестры – знал: она наговаривать не станет, да и по характеру своему склонна многое прощать, но раз она так говорит, значит, это неспроста.

После того, как сестра ушла в свою комнату, я лег в постель в надежде на скорый сон. Но друг моего детства и отрочества Руша стоял перед глазами и мысли о нем не давали уснуть.

Руша и в школьные годы рвался верховодить и всегда находил, где быть первым. С усмешкой я вспомнил, что даже, когда на берегу Чала мы сгоняли буйволов, и то он считал, что должен быть главным пастухом, нам же отводилась роль подпасков. Еще Руше нравилось стравливать мальчишек друг с другом, подначивать их, пока не доводил до

драки, он и меня как-то столкнул лоб в лоб с моим дружком Магой. Но вспомнил я и другое. Однажды Руша, я и мой друг Сергей отправились за каштановыми плодами в лес у самых гор, потом мы оказались в гостях у жителя ущелья старика Саата. Старик угощал нас медом в сотах и Руше попался кусок с диким пьянящим медом – при горном медосборе случается подобное. Действие дикого меда сказалось не сразу, но когда мы уже были в лесу, парню стало плохо, у него поднялась температура, он впал в забытье. Мы с другом развели костер, спасаясь от диких зверей, и просидели возле занемогшего приятеля всю ночь. В какой-то момент Руша очнулся и когда я к нему наклонился, он вцепился в меня и стал со слезами умолять:

– Только не бросайте меня здесь одного, только не уходите, спасите меня...

Мне стало неловко: как он мог усомниться в нас? Неужто в сходных обстоятельствах сам он кинул бы друзей? Да и то, что он заплакал, смутило меня. За несколько часов до того в доме старика Саата Руша держался таким героем, таким молодцом, никому не давал слова сказать и на словах он мог соперничать в силе и бесстрашии со львом. А теперь вот дрожит, как заяц, попавший в капкан. Как же это уживается в одном человеке – и лев, и заяц?

В сердце никогда не умирает память о детстве и все, что связано с ним, обладает особой притягательной силой, щемящей любовью. Вопреки всему, что я услышал о Руше сегодня, и тому, что вспомнил, мне вдруг нестерпимо захотелось увидеть давнего дружка. Возможно, действует он из самых лучших побуждений, возможно, он только добра хочет и для своих сверстников, и для села, только вот мальчишеская жажда первенствовать берет верх и отталкивает людей. А если найдется верный друг и советчик, который скажет ему правду в глаза, и будет удерживать от ненужных поступков, все может обернуться по-другому. Я решил обязательно встретиться с Рушей и поговорить по душам. А пока не стоит торопиться со скороспелыми выводами. С этой утешающей мыслью я погрузился, как в теплый поток, в сон.

Я пересек совершенно пустой двор, в котором располагалось здание сельского совета, и вышел к школе. Здесь во всю велись ремонтные работы – они, я знал, начались с первых дней каникул и теперь на крыше уже полностью успели сменить дранку на новехонькую. Строители сейчас настилали полы в классных комнатах, сильно и свежо пахло свежеструганным деревом. Воспоминания роем окружили

меня, все дни, проведенные в школе, чередой прошли перед моим мысленным взором, в ушах зазвучали переливы первого школьного звонка. С дрогнувшим сердцем я обошел классные помещения, выбравшись наружу, походил возле здания, будто в надежде на встречу с давно ушедшим детством, прошел в школьный сад и страшно обрадовался, когда обнаружил, что грушевое дерево, посаженное мной хилым саженцем, теперь щедро плодоносит. Я обвил его ствол обеими руками.

Затем я направился к старому строению, половину которого занимал сельсовет, а другую половину еще, когда я был школьником, отвели под клуб. В том помещении тоже заменили старый пол новым из каштановых досок и оконные рамы обновили. На половине сельсовета я никого не застал. Не было не только секретаря комячейки Руши, к которому я собственно и шел, но даже Тамела, секретаря сельсовета, о ком шутили, мол, он скоро прирастет к своему стулу в кабинете, на работе сидит сиднем. Я вышел на крыльцо и услышал чьи-то голоса. Они доносились с той половины, где располагался клуб, из читальной комнаты. Я пошел на голоса. В читальном зале на длинном столе в ряд лежали газеты. Плотно приставленные к столу стулья пустовали. Только в углу за маленьким круглым столом сидели две девушки и, сдвинув головки, о чем-то ворковали над большой раскрытой книгой. Обе они были прехорошенькие.

– Самые свежие газеты трехдневной давности! – сообщила мне одна из девушек. – Какую из них вы хотели бы прочитать?

– Я просто так заглянул, обрадовался, что у нас работает читальный зал, и заглянул, – пояснил я, про себя решив здесь подождать друга, вдруг он скоро заявится? – А что вы интересного читаете?

– Мы не читаем, мы заполняем журнал, – сообщила вторая девушка, худенькая, с длинной туго заплетенной косой. Нам с Буцей эту работу поручил председатель сельсовета Танас.

– Не простую работу, – пожаловалась та, которую подруга назвала Буцей.

– И что вы заносите в ваш журнал?

– Составляем список всех, кто из нашего села уехал учиться в разные города, – объяснила девушка с косой.

– Не просто список составляем, а записываем подробно, кто, где учится, где в городе живет, адрес его по месту учебы, – подхватила ее подруга.

– Вижу, серьезным делом вы заняты! – сказал я. – И ничего, справляетесь?

Они вразнобой закивали.

– Как это вам удается?

– Идем к родителям студентов, расспрашиваем, родители дают нам списать адреса с писем, что дети их присылают, узнаем точное название учебных заведений, где они учатся и все-все заносим сюда. – Длинноносая ткнула пальчиком в раскрытую большую книгу для записи, всю разлинованную.

– Как только у нас сельская сходка Танас сразу забирает журнал и перед всеми зачитывает, кто, где учится! – подхватила слова подруги Буца. – Он говорит, что как только наши студенты выучатся и вернутся домой, да возьмутся за дело, всем легче станет. Только надо до того времени продержаться, в грязь лицом, не ударить, иначе стыда не оберешься перед учеными сыновьями! Это все Танас говорит! – она сверкнула озорными глазами и показалась мне еще краше. – Но после собрания Танас сразу возвращает нам журнал, чтобы мы и дальше делали записи.

– Можно мне ваш журнал пролистать?

– Можно! Мы даже скажем тебе заранее, Лаган. Танас собирается, как только все студенты съедутся на каникулы домой, собрать их вместе, поговорить.

Я знал, что многие мои односельчане учатся в разных городах Абхазии – в Сухуме, Гагре, Очамчыре, но когда я взял в руки журнал, заполненный ровным старательным почерком, и вчитался в него, то был приятно удивлен.

– Гляди-ка, кто-то из наших учится в Тбилиси в индустриальном институте! А еще двое – на краткосрочных курсах! – обрадовался я.

На этом мои радостные открытия не закончились. Из журнала я узнал, что наши ребята обучаются и в Москве: один – в Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, еще один в автодорожном институте, в Московском институте имени Плеханова так и вовсе двое. Завершили свое образование в Народном коммунистическом институте Востока, раньше его называли КУТВ, два моих односельчанина. Один работает в Сухуме, другой – в Гагре. Смотри ты, судя по записи в журнале, наши ребята добрались и до берегов Невы. Один из парней постигает науки в Ленинградском педагогическом институте, второй – в Технологическом институте.

Я закрыл журнал, дочитав до конца, и отодвинул в сторону.

– Вы не знаете, Андрей Лазба, студент Московской сельскохозяйственной академии, еще не приехал на каникулы?

– Как же, приехал! Гостит у своего дяди, почти каждый день заглядывает читальню, вот и вчера приходил. Он тоже спрашивал о тебе, Лаган, интересовался, когда приедешь, – сказала Буца.

Надо с ним непременно встретиться, решил я про себя, и с другими студентами тоже. Замечательно, что так много молодежи учится у нас в разных городах. Выучатся, так не забудут же о родном селе. Где бы они ни были, наверняка станут помогать, чем могут, родному селу. Как же иначе?

На краю гибели была Абхазия, но вот пятнадцать лет, как над ней живительными лучами солнца светит независимость, со счастливо бьющимся сердцем подумал я. Всего пятнадцать лет самостоятельной Республике Абхазия, а сколько уже добрых свершений произошло.

Мир праху наших дедов, но если кто-то сказал бы им, что лет через двадцать ваши внуки будут получать высшее образование в далеких огромных городах, они бы только усмехнулись: «слишком долго живем на этой земле, чтобы верить в небылицы». Когда я был маленьким – а помню, отчетливо, – в нашем селе просто грамотных людей и то можно было на пальцах пересчитать. Сейчас же счет уже пошел на образованных людей, на специалистов в самых разных областях.

Какая сила вела нашу молодежь по этому пути? Я знаю, им приходилось совсем несладко – и осваиваться на чужой стороне непросто, да и одеты, обуты они были не слишком. Наверняка, приходилось и впроголодь жить. Но никто не бросил учебы, никто не вернулся домой ни с чем. Они готовы были на любые лишения, лишь бы осуществить мечту – получить настоящее образование по избранной специальности. Да и у меня самого была столь велика жажда знаний, что если родители промедлили бы с отправкой меня в Сухум, я бы наверняка туда сбежал без спросу. И, несмотря на то, что не все гладко складывалось у меня в Сухуме, я ни за что не отказался бы от возможности получить образование. Вот такая неуемная жажда познания охватила тогда все мое поколение.

Надо отдать должное, и нашим неграмотным родным. Они нутром чувствовали, что жажда знаний у их детей – это жажда лучшей просвещенной жизни для всех, и, во всем себе отказывая, старались помочь детям утолить эту жажду.

Молодежь, сродни мальчишке-наезднику, оседлавшему быстроного скакуна, мчалась по жизни, видя только зарю новых возможностей. И заря эта так сияла в глаза, так застила им обзор, что они и не замечали наличие в небе и тяжелых туч. Между тем, жизнь, она, как день и ночь, состоит из света и тени и чересполосица эта проходит через каждую судьбу, сколько ни любуйся восходящим солнцем.

Должно быть, из тех, кто из нашего села уехал учиться, я ближе всех земле. И к родне своей. Я чаще остальных бываю дома. Оно и понятно, из Сухма сюда добраться куда легче, чем из Москвы или Ленинграда. Я любил свою многочисленную родню и не пропускал ни одного семейного торжества. Я все еще слишком тесно был связан с этим уголком Абхазии, чтобы подолгу обходиться без него. Но что будет потом, три-четыре года спустя? Смогу ли я что-то достойное сделать для этой земли, без которой сейчас себя не мыслю?

Я так глубоко задумался, что оставил без всякого внимания хорошеньких девушек, а вот они, заметив мое состояние, говорили меж собой шепотом:.Не желая им дольше мешать, я попрощался и вышел из читальни, вновь заглянул в кабинет секретаря комячейки. Но там по-прежнему было пусто. Очевидно, Руша, как сказала бы моя сестра, сбивал спину очередному коню, разъезжая по селу. Я мельком пожалел коня: полдневный жар стоял снаружи, ни один листочек на деревьях не шевелился. Обычно ласкавший и деревья, и людей ветерок нынче, похоже, затерялся в горах.

На выходе со двора я столкнулся с секретарем сельсовета. Тамел шел, угрюмо сутуля плечи. Мы вежливо обменялись приветствиями, но большой радости в его глазах и охоты к разговору я не обнаружил. Что-то, видно, его угнетало.

– Случайно вам по дороге не встретился Руша? Я приходил к нему, но здесь он так и не появился.

– Рушу ищешь? – Он внимательно посмотрел на меня, сильно потер меж собой большие свои ладони, а потом поднял их к небу и, не добавив к этому ничего другого, прошел мимо меня, все такой же угрюмый, и направился к зданию сельсовета.

Что он хотел мне сказать этим жестом, что подразумевал? Я терялся в догадках по дороге к реке, в прохладе которой надеялся спастись от зноя. – Похоже, и Тамел в числе недоброжелателей Руши. Он то ли намекал, что парень попал в жернова времени, и оно сотрет его в порошок, или же предоставлял небесам судить много о себе возомнившего парня.

Пыля по раскаленной проселочной дороге, я издали заметил четырех юношей, идущих через луг, за которым неподалеку уже и берег реки должен был просматриваться. Они шли к дороге и скоро мы должны были встретиться. В молодом человеке в белой рубашке, весело что-то толкующем своим спутникам, я признал искомого Рушу, сына Елкана.

«От реки идут, освежились в зной»! – подумал я и пожалел, что раньше не оказался там, не присоединился к ним. Знай, где их искать, я, немедля к ним направился бы, тем более по мере приближения группы я узнавал и спутников Руши – здесь и Нар – товарищ детских моих игр, да и другие мне были знакомы. Мы росли вместе и часто, заигравшись, забывали о времени, и тогда нам от взрослых доставалось дома. Но на следующий день опять жалко было нам расставаться, пока сумерки не загоняли в дом.

Они тоже узнали меня, замахали руками, все, кроме Руши. Он наоборот, сбавил шаг и что-то негромко сказал своим спутникам. Руша не смотрел в мою сторону и в целом вел себя как-то странно.

Разминуться мы не могли и когда сошлись, Руша встал в пол-оборота ко мне и насмешливо представил меня другим, будто незнакомца.

– Это наш умник! У него мозги плавятся от избытка учености!

– Как поживаешь, Руша? – протянул я ему руку. – Давненько не виделись.

Он нехотя пожал мне руку. Я сердечно поздоровался с остальными его спутниками.

– Землю носом роем, как и подобает в забытом богом селе. Ни одной минуты для себя, все для других! – он картинно поднял руку и глянул на большие, как жернова, часы на запястье. – Надо торопиться! Друзья, за дело! А мне надо ехать в город, сегодня собрание актива района, явка обязательна!

Руша широким шагом двинулся прочь, но я ухватил его за рукав и удержал.

– Одну минуту, Руша. Скажи мне, когда будешь свободен, когда можно к тебе зайти. У меня сейчас – каникулы, буду рад помочь...

– Помочь? – он насмешливо хмыкнул. – И в чем ты можешь помочь? Разве что в долгих бдениях возле ложа какого-либо недомогающего старика. Кажется, сказители и певцы там драли глотки.

– Не только... – начал было я, но он меня перебил:

– Кажется, твой дед Бежан говорил: «Только лежебоки треплют языком под ачамгур»!

– А я запомнил другое, и ты наверняка помнишь, как мой дед, рассказывая о силе слова, упоминал одного из братьев Нартов. Того самого, кто словом – правдивым! – мог заставить огромный котел с водой вскипеть без огня.

– Какое дело молодым строителям социализма до всяких Нартов, Абрскилов, чертей, русалок и прочих выдумок? Новое время требует новых песен. Не слышал? Ничего, еще услышишь! Друзья, закатаем рукава для новых дел! – он выдернул свою руку из моей, и быстро двинулся по дороге. Спутники его замялись, но ни у кого не хватило смелости задержаться возле меня, понуро поплелись за своим вожаком.

Я растерянно стоял на месте, пытаясь осмыслить происшедшее. Как переменился друг детских моих игр Руша! Подростком, может, он слишком был ершистым, и все рвался верховодить, но ни хитрости, ни злости в нем не было и в помине. А сегодняшний Руша встретил меня как чужака, постарался перед своими спутниками выставить на посмешище. Но почему? Что заставило его так измениться? Предупреждала же меня Мачич: «Увидишь его – не узнаешь!» Как, оказывается, она была права и как больно сейчас признавать ее правоту.

XII

Солнце уже клонило к закату, и прохладный ветерок с гор теснил дневной зной, когда я, наконец, вернулся домой. Мой отец сидел на веранде амацурты на низкой лавке и смотрел, как я приближаюсь к дому.

– Надолго же ты задержался! – сказал он, когда я оказался на веранде. – Вы с Рушей заговорили, наверное, друг друга до смерти.

– Не заговорили, – я уселся на стул в углу. – Встретиться-то встретился, но для меня у него времени не нашлось, больно занятой стал.

Отец достал кисет и стал медленно набивать табаком трубку. Я наблюдал за неторопливыми движениями его пальцев. Еще с детства мне нравилось смотреть за тем, как отец мелко нарезал для трубки высушенные до золотистого цвета табачные листья, Для этой цели он предварительно точил на оселке нож, пробуя его не раз и не два на остроту, а потом на сухой ровной дощечке он ловко нарезал на тончайшие пластины табачные листья, затем, перетирая пальцами, проверял, достаточно ли они сухие. Почуяв наличие хоть намека на влажность, отец выставлял нарезанный табак сушиться на солнцепек и только потом

уминал его в свой любимый кожаный кисет и не успокаивался, пока не заполнял его доверху.

Я посмотрел на отца. Он задумчиво раскуривал свою трубку. Поймав мой взгляд, негромко заговорил с горечью:

– Что-то в последнее время не узнаю я нашего села. Меняется на глазах, только к добру ли? Бок о бок мы, односельчане, проживали свою жизнь. Недоверие, пустое подозрение не разделяло нас, и горе делили, и радость. Теперь, гляди, что делается? Одни в дома входят и все вверх дном там переворачивают без стыда и совести. Называется – оружие ищут, мол, хозяева прячут его, чтобы против новой власти повернуть. Других к районным властям таскают – дознаться хотят и вправду ли они оказывают гостеприимство бандитам? Третьим в вину ставят, что они отговаривают крестьян в комхоз вступать.

– Если хотя очистить село от ненадежных людей, разве это плохо? – удивился я.

– Когда полсела мирных крестьян подозревают в ненадежности, дад, Лаган, это к хорошему не приведет, нет, не приведет, помяни мое слово! – он опустил голову и замолчал, о чем-то, тяжко задумавшись, даже курить перестал, и трубка его погасла.

Я не решался вывести его из задумчивости, как не решался подняться и уйти. Через некоторое время отец вновь заговорил:

– Соседи наши пощадили тебя, решили сразу не огорошивать, и напрямую ничего не сказали. А я тебе скажу: село наше попало в неблагонадежные с тех пор, как сюда вернулся твой друг Руша.

– Да причем тут Руша? – запальчиво возразил я и пояснил: – Он секретарь комсомольской организации, он молодежью занимается, а обыски, допросы это дело совсем других органов! Просто недоброжелатели наговаривают на Рушу, а другие верят слухам.

– Дыма без огня не бывает, – вздохнул отец. – Скажу тебе, говорят, когда в Очамчыру начальника милиции прислали прямиком из Тбилиси, так о том в Сухуме никто ничего не ведал. Через голову наших наркомов все и делалось. Руша твой тогда простым милиционером работал, но приметил его начальник, свое, что-то, видать углядел и давай его на учебу посылать и то да се... Теперь Руша не прежний наш деревенский парень. С чужих сильных рук он кормится, и ославить родное село ему ни чего не стоит. Прошу тебя, держись от него подальше, как говорится в поговорке, грязную палку с какого конца не возьмешь, все равно испачкает! Будь начеку!

– Мне-то чего осторожничать?! За мной ничего дурного не числится! Мне бояться нечего!

– В те времена, когда белое все видят белым, а черное – черным, тебе и опасаться нечего было бы, это верно! Но боюсь, мы вступаем в такую пору, когда белое назовут черным и все дружно это подхватят или смолчат, что ненамного лучше!

Отец поднялся с места и, покинув веранду, вышел на двор. Он вновь разжег свою трубку и теперь за ним курился табачный дым.

Слова отца прибавились ко вчерашним разговорам соседей большим довеском и под тяжкой ношей я, свесив голову, сидел на скамье не в силах подняться. А то, как встретил меня сегодня Руша, его высокомерие, его насмешки, все это не давало мне надежды на то, что я легко скину ношу сомнения. Более того, если поначалу мои сомнения о Руще были малы, точно кукушкин глаз, то они мало-помалу разрастались и черной, как ночь безлунная, пеленой стали застилать мне глаза. Озноб пробежался по всему телу, сердце горестно замерло.

На этих страницах я многажды упоминал о Руше сыне Елкана, но пришло время поподробнее рассказать о нем. Как вам уже известно, мы в деревенской школе учились с ним в одном классе. С первых дней учебы он выделялся меж одноклассниками. Руша был хорош собой, всегда одевался аккуратно в новенькую одежду и всегда всеми он хотел верховодить и часто ему это удавалось. В учебе Руша был нерадив. После третьего класса его чаще можно было увидеть на спине отцовского скакуна, чем в школе. Отец его Елкан был помешан на лошадях. Самой главной гордостью для него было, когда он слышал на больших сходках: «Опять скакун Елкана взял первый приз на скачках!» Если же к этому кто-то добавлял: «Наездником же был его единственный сын Руша!» он и вовсе чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Брать призы на скачках, быть на виду без лишних усилий! Вот к чему готовил сына Елкан. И пока он был полон сил, управлялся в хозяйстве, сыну легко жилось. Родную мать мальчик потерял рано, но мачеха была доброй покладистой женщиной и любила его как родного.

Но в один горестный день скачкам, краснобайству на сходках, щегольству, легкой жизни пришел конец. Для Руши. В одночасье скончался его отец. И Руша остался в доме единственным кормильцем. Поначалу он с пылу с жару взялся за дело. Но крестьянский труд не только тяжкого труда, но и сноровки требует. Руша сроду не прокладывал в поле борозды, крепко держась за рукояти плуга, никогда не выходил с

тяпкой, чтобы очистить от сорняков кукурузные стебли. Его изнеженные руки не привыкли ни к рукояти плуга, ни к топору, ни к черенку лопаты или мотыги, ни к уходу за скотиной. С непривычки он быстро устал от бесконечных крестьянских забот, махнул на них рукой. Одевшись в самые свои лучшие одежды, он днями болтался по своему или по соседним селам, заявлялся то к одним, то к другим в гости, ел, пил, сидел допоздна. Случалось, что он и вовсе домой не приходил на ночевку. Его мачеха одна билась по хозяйству, стараясь сохранить привычный уклад жизни, и выбивалась из сил, но виду не подавала, не жаловалась кому бы то ни было, и пасынка не донимала упреками, надеялась, пройдет время, возьмется парень за ум. Братья ее сочувственно наблюдали за усилиями сестры, не вмешивались до поры до времени. Они тоже, наверное, рассчитывали, что Руша возьмется за ум и начнет ей помогать. Но, наконец, чаша терпения их переполнилась, и они явились всем гуртом в дом и сказали Руше:

– Не обижайся, Руша, дад. Но нет сил больше смотреть, как наша сестра гробит себя в доме, где у нее нет ни родного сына, ни дочери. Мы хотим забрать ее к себе домой.

В краснобайстве Руше всегда не было равных. В ответ он сказал с большим чувством:

– Должно быть, я плохой сын, не сумел наладить в доме достойную жизнь для вашей сестры. Иначе она не бросила бы меня, своего воспитанника, здесь одного! Мне же для нее ничего не жалко! Слова не скажу, хоть накиньте на этот дом веревку, как на скотину, и поставьте его, где хотите.

– Мы не за чужим добром пришли! Дай бог тебе процветать в отчем доме, приумножать его добро и славу! – степенно ответили ему родичи мачехи. – Мы пришли сестру забрать, пора дать ей покой.

Они поднялись, чтобы уйти.

– Она здесь не в гостях была, вложила сердце и труд в наш дом! И с пустыми руками не уйдет! – возразил Руша.

Надо дать ему должное, мачеху он при дележке имущества не обидел. Но когда она уехала, ему родной дом и вовсе опостылел. Вновь юноша без дела шатался по селу. Особенно ему нравилось приходить к зданию сельсовета, хотя никаких дел у него к местным властям не было. Послоняется он вокруг, постоит под липой посреди двора и отправится восвояси, если не найдет с кем перемолвиться словом-другим. В комсомол Руша вступил одним из первых и не пропускал ни одного

собрания. Он был большим охотником до всяческих выступлений. На каждом заседании Руша брал слово и говорил горячо и много. Но разговорами сыт не будешь, оставленное же отцом хозяйство на глазах разваливалось. И у Руши, хотя самих близких он похоронил, были родственники, которым не безразлична была его судьба. Однажды под вечер родичи со стороны отца и матери, пригласив на семейный совет ближайших соседей, обратились к Руше с увещеваниями:

– Дад, Руша, не осрами память об отце, возьмись за ум! Не гоже дни свои проводить в безделье. Не дай отчему очагу остыть.

Поначалу разговор шел обходительный, а потом родичи не выдержали и племяннику, лентяю и верхогляду, пришлось выслушать много нелицеприятных слов. Руша слушал молча – не оправдывался и не спорил.

– Может, со временем у меня что-то и получится! – обнадежил он своих родичей напоследок.

После этого разговора целую неделю Руша не покидал отчего двора. Никто не знает, какие он планы на будущее вынашивал. Но через неделю стал действовать. К одному из дальних родичей он отвел свою единственную корову с телкой, попросил присмотреть. Соседу Баджге отдал сторожевого пса, объяснив, что уезжает на некоторое время и за собакой нужен присмотр, чтобы не одичала.

Он сложил в доме вещи, имевшие в его глазах хоть какую-то ценность, растыкал по углам. И как-то глубокой ночью Руша, одетый в дорогу, вышел из дома, запер плотно двери, а вход во двор и вовсе гвоздями заколотил и двинулся прочь.

Он шел посреди дороги быстрым шагом, держал путь в сторону побережья и верил, что он непременно там отыщет счастливую долю. Не выдержав, он раза два оглянулся на оставляемый осиротевший отчий дом, уже почти поглощенный ночной мглой, и прибавил шагу, чтобы как можно скорее оказаться от него подальше.

– Куда же подевался Руша? – спрашивали друг у друга односельчане и не находили ответа.

Но однажды случилось председателю сельсовета Танасу с несколькими односельчанами поехать в районный центр по делам. Они шли по главной улице, когда вдруг за собой услышали резкий милицейский свисток. Они оглянулись и ошарашено остановились. К ним шел, улыбаясь, высокий, статный милиционер в новехонькой форме.

– Смотрите, да это же Руша!

– Форма сидит на нем как влитая!

– Доброго дня тебе, Руша! И когда же ты успел заделаться милиционером? – окружили его односельчане.

– Отчего ушел, никому ничего не сказав? Мы тебя к отчему дому веревками не привязали бы! – упрекнул Танас.

– Да как-то нечаянно вышло! Загадал, бросил кости, выпало загаданное, я и не стал перечить судьбе, она много чего пообещала! – усмехнулся Руша. – Всего вам доброго, мои дорогие! – Он, к изумлению односельчан, ловко откозырял им и удалился, гордо неся себя.

Так простым милиционером начинал Руша свою служебную карьеру, которая неожиданно круто пошла вверх. Вчерашний деревенский оболтус, который толком за отцовским подворьем не мог приглядеть, стал подниматься по служебной лестнице, перепрыгивая через две ступени.

Удивительно устроена жизнь. Иногда обстоятельства так складываются, что на кого-то счастливые дары сыплются как перезрелые фрукты в саду. Судьба в щедрости своей не слишком разбирается, достоин ли ее избранник таких даров.

Так звезды встали. А человек карабкается наверх и оказывается на виду. Вчера о нем никто не слышал, а сегодня – всеми уважаем. Головокружение от успехов требует, очевидно, прочной ограды, чтобы не свалиться. Стараясь удержаться на набранной высоте, человек по-волчьи яростно начинает защищать свою территорию. Вначале – ненависть к предполагаемым претендентам на отвоеванное им место под солнцем, затем и ко всему человечеству. В итоге он готов отречься даже от родной матери лишь бы завоеванные позиции не сдавать. И отрекается! С виду вроде человек, а вместо души у него бушуют бесовские страсти. Они сильно подогреваются тем, что люди, которые вчера еще смотрели на него свысока, сегодня обращаются к нему со словом «уважаемый».

Подобные силы подхватили и Рушу. Но это был не слепой выбор судьбы. Неслучайные, крепкие руки подтолкнули его вверх и следили за тем, чтобы он не споткнулся. Но разговор об этом оставим на потом.

XIII

Примерно неделю спустя после того дня, как я разговорился в читальне с девушками, я вновь отправился к сельсовету, так как условился там о встрече с Андреем Лазба. Но на мосту через реку Чал он

догнал меня и мы, свернув с дороги, спустились к ледяному роднику и уселись возле него под огромной орешиной. Андрей подробно мне рассказал о своем житье-бытье. В 1929-ом году закончив в Сухуме абхазскую школу, он отправился в Москву и поступил в педагогический институт на филологический факультет.

– В школе баловался стихами, но переболел ими, как корью! – слегка подтрунивая над собой, сообщил он мне. – А любовь к литературе осталась.

Но ему не суждено было получить филологическое образование. Он учился на втором курсе, когда внезапно умер отец. Андрей не мог оставить мать в одиночестве, да и без помощи по хозяйству она не обошлась бы. Пришлось Андрею уйти из института, вернулся домой, устроился на работу в ближайшем от нашего села Дванском совхозе. И как бы поздно не заканчивалась работа, он все равно добирался к себе домой, чтобы на ночь не оставлять мать одну. Она же после смерти отца все хворала и вскоре Андрей – такая уж горькая судьба ему выпала! – похоронил и мать. После этого он уже окончательно перебрался на место работы. Два года он бригадирствовал в совхозе, валил лес, расчищал под чайные плантации. Как только Андрей заговорил о том, как валили лес, у него желваки заходили на скулах.

– Мы ринулись в лесную чащобу, не слышавшую веками стука топора! – заговорил он с горечью. – Когда валили высоченные деревья, о которых, знаешь, говорят, верхушками небо достают, мне казалось, мы расправляемся с могучими живыми великанами, добрыми духами леса. С тех пор живу с ощущением греховного проступка! – Он вздохнул. – А директору совхоза все было мало. Дадут ему в райкоме непосильное задание: занять огромные площади, свободных уже, само собой не существовало, под чайные плантации, а он в ответ: «выполним план и перевыполним». Вот и ринулись лес уничтожать.

Про главного агронома совхоза Дениса Ладовича Андрей вспоминал с великим уважением и благодарностью – «судьба вознаградила меня за многие потери этой встречей!»

Главный агроном противился недальновидной политике директора и пытался всеми силами отстоять лес. Но директор, имевший мощную поддержку райкома, само собой взял верх. Свое несогласие Денис Ладович выразил единственным доступным ему способом – подал заявление об уходе. Позже с год он работал в Сухуме, а потом и вовсе уехал из Абхазии.

– Сейчас живет в Киеве, мы переписываемся, – сказал Андрей. – Когда мы вместе работали в совхозе, он повсюду брал меня с собой, именно он пробудил во мне любовь к живой природе. Ты себе не представляешь, сколько верст леса мы с ним исходили, и о каждом виде дерева он мог рассказать целую историю. Вместе мы поднимались и на альпийские луга, в богатом разнотравье тех мест не было ни одной поросли, о которой он не мог бы поведать что-то интересное. Он буквально охотился за редкими растениями и говорил, как важно, чтобы они не исчезли с лица земли. Иногда мне казалось, что он, прямо как в сказке, понимает язык птиц, животных, рыб. Оказывается, любовь к природе, заразная болезнь. Я заразился ею от Дениса Ладовича. И, наверное, это не укрылось от него. Во всяком случае, переехав в Сухум, он обо мне не забыл. Это он обивал пороги ЦИК и комиссариата по сельскому хозяйству, чтобы меня направили учиться в Москву. Это я ему обязан тем, что вот уже три года как учусь в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

Я грустно подумал, что, наверное, край беднеет, когда такие большие знатоки и любители природы, как Денис Ладович, покидают его.

Мне не хотелось расставаться с Андреем, не наговорился вдосталь, но ему в тот день обязательно надо было побывать на побережье, и мы простились, пообещав друг другу чаще встречаться.

В тот день мы спозаранку до самого вечера мотыжили с отцом кукурузу, и я решил смыть усталость, поплавав в горной речке Чал. У самых ворот меня перехватил Мага верхом на ладной лошадке.

– Завтра с утра собрание комсомольской ячейки, Руша велел не опаздывать!

Я не успел слова выговорить, как Мага развернул коня, хлестнул его без надобности и поскакал во весь опор по проселку. Столько непривычного для меня, чуждого, было в его поведении, что настроение у меня испортилось, мне расхотелось спускаться к реке, усталость навалилась на меня и я вернулся в дом.

Но назавтра я отправился к сельсовету и как вошел во двор увидел, что под раскидистой липой уже собралось много молодежи, хотя собрание еще не начиналось. Кто-то сидел на деревянных чурбаках, заменявших стулья, кто-то стоял. Сам секретарь комячейки расположился за круглым столом возле ствола липы на стуле со спинкой и что-то усиленно писал на разложенных перед ним листах.

Я вошел под липу, поздоровался и не успел еще обменяться со всеми друзьями рукопожатиями и выяснить, чему посвящено сегодняшнее собрание, как услышал за спиной:

– Добрый день, добрых вам слов и бесед!

Я обернулся – под тень липы входил Чины сын Чичин, сказитель, непревзойденный исполнитель народных песен под ачамгур. В правой руке он держал сложенную вдвое камчу.

– Ты передал мне, Руша, что вы, юноши, просите встречи со мной. И я здесь, раз появилась во мне нужда.

Руша встал навстречу старику:

– Хорошо сделал, что приехал! – сказал он. – Усаживайся, будь добр!

Чины сын Чичин уселся на один из свободных чурбаков и положил на колени камчу. Одет он был в поношенную черкеску, из-под которой выглядывал чистый белый архалук. Белые головки газырей в нагрудных кармашках-чехлах, несомненно, украшали его наряд. На голове у него была папаха с высокой тульей. Я радостно смотрел на него – ведь не видел больше года. Но чем дольше смотрел, тем больнее у меня сжималось сердце. За то время, что я не встречался со стариком, он сильно сдал. Главное, в огромных его синих глазах, всегда готовых заискриться смехом, теперь поселилась глубокая, как омут, печаль. Щеки старика впали, а белоснежные усы, всегда закрученные кверху, теперь уныло свисали вниз, как листва, привядшая под знойным солнцем. Длинные пальцы, извлекавшие из струн ачамгура звуки, достававшие до глубин сердца, слегка дрожали.

– Мы пригласили тебя, уважаемый Чичин, не просто из желания повидаться, а по делу! – Заговорил Руша, он стоял возле стола, полный решимости. Все разговоры мигом затихли. – Я обращаюсь к тебе от лица всей молодежи нашего села. Верно, ты ровесник наших отцов, старший по возрасту, но молчать мы дольше не можем и прямо в лицо говорим – недовольны мы твоим образом жизни, Чичин! Твое поведение во всем перечит новой жизни.

– Хорошая молодежь подросла, радуется сердце, глядя на вас! – сказал Чичин, и в печальных его глазах на миг сверкнуло былое смешливое лукавство.

Возможно, он намеревался еще что-то добавить, но Руша, вопреки всему, чему учили нас в отчих домах: выслушать старших, не перебивая, грубо оборвал его:

– Обижайся – не обижайся, мы выскажемся начистоту! – он по давней привычке поднял кверху указательный палец! – В нашей стране полным ходом идет строительство социализма. И вот один из его лозунгов: «Кто не работает – тот не ест!» Повсюду женщины и мужчины, засучив рукава, сообща строят новую жизнь. И в это время ты, Чичин, не слезаешь со своего заморенного коня, объезжаешь села, чтобы спешиться на чьем-либо дворе, где накормят. Тебя вызывали в сельсовет, предлагали землю, где ты мог бы осесть, обещали дать вспомоществование, как бедняку. А ты отказался? С какой стати? Мы не допустим бродяжничества! Ты позоришь наше село!

– Бродяг вон из нашего села! – закричали в угоду вожаку несколько человек из присутствовавших.

– Скажу тебе, дад, Руша, твой отец Елкан не слишком был охоч до работы, но говорить по-людски он умел, не в пример тебе. И не стал бы обращаться с такими словами к ровеснику своего отца, какие позволяешь себе ты. Я никому никогда сроду зла не делал, травку и ту зря не примял, и спешиваюсь я в тех дворах, где мне рады, ибо я приношу утешение людям. Но ты меня не видишь, Руша, ты видишь только тень мою и чернишь ее изо всех сил. Так ты вовсе и не разглядишь, что за тенью!

– Отчего же, прекрасно разглядел, как ты посредничаешь между юношами и девушками, сватаешь их друг за друга. Но никто теперь в твоем посредничестве не нуждается. Юноши и девушки открыто сами решают свою судьбу и регистрируют в сельсовете брак. Третий здесь лишний! Слышишь меня, Чичин?! – разошелся вконец секретарь комсомольской ячейки.

– Верно, что я всегда в пути! – тихо сказал Чины сын Чичин. – Но не все видят, с какой нелегкой ношей я преодолеваю тот путь, не видят, потому что ноша незрима для глаз, только для сердец. Какая бы тяжкая доля ни выпадала вашим дедам, отцам, предкам нашим, силу и утешение они черпали из песен, сказаний, мудрого слова. Я перенял у них эту ношу и несу, стараясь под звук ачамгура ободрить тех, в ком сохранилась живая душа. Каким счастливым я умер бы, хоть сегодня, если бы нашелся, кто взял бы на себя эту ношу и понес дальше.

– Мы покончили со старым миром, дурной старик! И все эти сказки, песни, поговорки и прочий мусор мы выметем из нашей жизни поганой метлой! Их время прошло вместе с сохой и ручными жерновами! Кому сегодня нужны апхярца и ачамгур? Да никому! Ты не хочешь ви-

деть этого, Чичин, но время твое миновало! Безвозвратно! Мы высоко держим свой алый стяг, Чичин! И все его видят, кроме тебя! Разве не так? – Руша сердито оглядел притихшее собрание и кулаком стукнул себя в грудь.

Ему захлопали, а молоденький парень в белоснежной рубашке с короткими рукавами выкрикнул пронзительным голосом:

– Новому времени – новые песни!

Я узнал его, он учился в Сухуме, в абхазской школе. Звали его Чаба, и слыл он активистом из активистов. Ни одно общегородское комсомольское сборище не обходилось без него, и всюду он выступал и с большой охотой ввязывался во все полемики. Особенно он блистал на соревнованиях, которые назывались политическими боями. Так что Руша нашел достойную поддержку.

– Послушаем товарища! – сказал он солидным голосом.

– Руша прав! – заливался соловьем Чаба. – Быстрее чем вода в горном потоке прошло время апхярцы и ачамгура! Задача нашей молодежи – овладеть общечеловеческими музыкальными инструментами – скрипкой, игрой на рояле. Шутки-прибаутки и песни-сказания Чичина всем уже набили оскомину! Мы хотим, как весь мир, ходить на оперы, слушать арии, симфонии. Пора отправить на свалку, в лучшем случае в музей, все эти архалуки да черкески, всю эту устаревшую никчемную одежду. Сельская молодежь должна подтягиваться к городской и одеваться так, как я.

Он выскочил на свободное место и прошелся туда и обратно, показывая свои широченные – в городе их называли «чарльстон» – штанины, из-под которых не видно было носок его туфель.

– Новому времени – новые песни! Как отлично сказал Чаба! Не зря он в Сухуме учится! – Похвалил Руша. – Интеллигент нового поколения. Да, к слову, здесь на нашем собрании присутствуют и другие студенты из Сухума, выходцы из нашего села. Кроме Чаба, вон, сидит девушка Турна, а вот комсомольцы Джота, Ладмер, о, оказывается, здесь и Лаган, я тебя как-то сразу не приметил... Лаган, ты у нас в поэты норовишь, знаю – всякие небылицы за сказителями записываешь. Скажи нам хоть несколько слов насчет Чичина. Ты видишь, мы пытаемся ему помочь.

Я поднялся с места. Сразу вспомнилось, как в техникуме отнеслись к моим записям со слов сказителей, как пытались наклеить на меня ярлык старорежимного. Я понимал, что и сейчас никто меня по голов-

ке не погладит, но отступать было некуда. Чины сын Чичин сидел с отрешенным лицом, будто острие грубых слов, направленных на него, не ранили его в сердце. Я же стыдился лишний раз поднять на старика глаза.

– Скажу начистоту, что думаю. Зря мы пригласили почтенного человека на наше молодежное собрание и говорили с ним недостойно. Так разговаривать с пожилым человеком мы не должны, а учить, как жить, и вовсе не нашего ума дело. При необходимости с ним поговорили бы старшие – председатель сельсовета или секретарь коммунистической ячейки.

– Если тебя послушать, так не комсомольское это дело бороться с пережитками старого времени! – воскликнул Руша, сердито сверля меня взглядом. – Ошибаешься! Именно наше это дело. Сейчас, когда повсюду идет непримиримая борьба со старым миром, комсомольцы находятся на острие борьбы. Я это вам и в начале собрания хотел сказать. Комсомольцы как молния выжигают темное прошлое. Как вы знаете, в соседнем селе Алхра строят новую дорогу, и поперек дороги стал старый храм. Туда только выжившие из ума старики да старухи прибредали, тащились, как тени. Позорище, а не постройка. Так я созвал активистов, и мы пошли на помощь комсомольцам Алхра. Дружно навалились и снесли с лица земли. Думаете, легко это было? Мы с одним парнем сваливали как раз купол дурацкого этого храма. Сначала изнутри, соединив несколько стволов деревьев с сучьями, я добрался под самый купол и давай долбить его изнутри ломом. Не знаю, из чего были сделаны глаза какого-то там святого. Но я целый час выдалбливал их, не жалея себя. Устал, но не сдался.

– Не засчитывай это себе как геройство! – раздался из толпы голос. Принадлежал он писарю из сельсовета Тамелу. Мы даже не заметили, как он подошел и, видно, некоторое время слушал, как распинался Руша. – Ты перетрудился, уничтожая лик святого. А ведь он пережил века. Некогда большой мастер месяцами трудился, высекая из твердого камня святой лик. Веками люди молились в том храме, веками жило искусство его создателя. А вы со своими дружками справились за день и хвастаете, будто доброе дело сделали.

– А ты вообще молчи, Тамел! Кто бы что ни сказал, ты-то с твоим прошлым должен держать рот на замке. Думаешь, кто-то забыл, что ты учился в церковноприходской школе, а? Не ты ли таскался по селу с книгами попа? Еще немного и был бы дьяконом, разве нет? Новое

время помешало тебе стать прихвостнем попа. Теперь делаешь вид, что примирился с новым временем, но нутро у тебя старое. Сидишь там себе в сельсовете у колченогого стола, макаешь в чернильницу перо, вот и макай! А в дела молодежи не вмешивайся! Иначе придет твой час! Еще надо разобраться, имеешь ли ты право записывать своим дьяконским почерком решения сельсовета! – вконец вышел из себя секретарь комячейки.

– Не знаю, кто помог тебе оседлать дурной ветер! Землю уже не чуешь под ногами! Но, смотри, парень, придет час и, если сам не спешишься, сильно грохнешься оземь, костей не соберешь! – с этими словами Тамел повернулся и медленно пошел к зданию сельсовета, по обыкновению сутуля плечи.

А секретарь свою клокочущую ярость вновь обрушил на Чины сына Чичина. Но теперь он напрямую не обращался к нему, больше науськивал соратников.

– И какое мы примем решение? – Руша твердо оперся кулаками на столешницу. – Позволим этому человеку по-прежнему посредничать меж молодыми людьми, надоедать труженикам-колхозникам, обивая их пороги, дадим разбрызгивать грязь по нашим проселкам, понукая тощую свою лошадку? Или мы твердо скажем ему: хватит! Я считаю – Чичину не место среди людей нового времени!

– Хватит позорить наше село! – возопил Мага, «стремянной» Руши. – Если старикашка не может усидеть на одном месте, пусть убирается с наших глаз.

– Погодите-ка! – Чины сын Чичин привстал со своего места. – Дад, Руша, должно быть старость, наконец, догнала меня и мешает понять твою молодую мысль. Но если дело лишь в том, что я сам по себе вызываю у тебя неприязнь, то большой беды в том нет. Но ты ополчился на всех, отживших свой век, только потому, что молодость их осталась во вчерашнем дне. Да только выдергивая вчерашний день с корнем, ты губишь и сегодняшний день. Положим, вы сегодня вырвете все, что было до вас, хотя вряд ли подобное кроме Господа кому-либо под силу. Построите все заново по своему духу. Но подрастет другое поколение и скажет: «старье, что вы оставили!» и разрушат на корню оставленное вами, как вы обратили в руины храм прошлого. – Чины сын Чичин говорил медленно негромким голосом, но неожиданно среди нас воцарилась мертвая тишина, никто, даже Руша не пытался его перебить. – Раз ты враг прошлого, дад, Руша, начни с колыбели, в которой мать тебя

возрастила. Брось в огонь, пусть горит, новому времени она помеха. От деда твоего остался плетеный домик, предай и его огню! Ты и такого не построишь, но к чему старье оберегать? И водяная ваша мельница – бельмо на глазу у нового времени, уничтожь ее. Твои геройства не останутся не обнародованными, под ачамгур сложим песню: «Еж выдрал колючки родни»!

– Принялся зубоскалить! Сам подтверждаешь, Чичин, что ты весь в дремучем прошлом! – опомнился Руша и возвысил голос. – Не надо нам твоих шуток-прибауток, сыты по горло твоими песнями и ачамгуром, твоим бездельем и длинным языком!

– Послушайте! – громко потребовал внимания Нар и стал на виду. – Вы все словами перебрасываетесь, как мячом, и конца этому не видно. А в поле бригады «Адзыбжара» сорняки душат кукурузу. Мы сегодня собрались мотыжить в том поле, вон, и мотыги наши стоят у забора, тоже соскучились по работе. Отпустите нас!

– Чем словами сражаться лучше сорняки мотыгой сшибать, толку куда больше! – поддержал друга и Калас. – Идемте на поле, затянем песню для мотыги и работа пойдет веселее.

Чины сын Чичин поднялся с места, вышел на середину круга и, взяв руки в бока, оглядел комсомольцев. Смотрел он тепло, без обиды. Молодежь, видно, Руша не до конца вколотил в них преимущество нового времени, дружно поднялась на ноги, когда встал старик.

– Скажите откровенно, неужто вам сейчас не хочется услышать забавную песенку, скажем, про паренька-гордеца с торчащими усиками да сидящего на едва живой кобыле под скрипучим седлом? И звуки ачамгура приправляли бы ту песенку? Того ачамгура, брошенного в воды прошлого?!

– Хочется! Еще как хочется! – загудели вокруг Чичина.

– Где же только ачамгур взять? – с сожалением вопросила Турна, глядя на старика радостными, ожидающими чуда глазами.

– Как только позовете на следующее собрание, приду со своим ачамгуром! – Посулил он ей ласково и добавил: – Только случится это через сто лет. Всего вам доброго, пусть надежды ваши не обманут вас! – старик обернулся к секретарю комячейки: – А тебе скажу, дад, Руша, ничего не поделаешь, раз так суждено, что свой земной путь я закончу именно здесь и нигде больше. Перечить судьбе не стану, да и незачем.

Старик обнажил голову, поклонился всем, и вновь надев папаху, двинулся к забору, возле которого была привязана его лошадь.

Руша метался возле стола, взглядывал на своих дружков, наверное, хотелось, чтобы освистали старика, но все стояли с растерянными лицами и смотрели вслед Чины сыну Чичину. Шел старик неуверенно. Будто опасался, что земля уйдет из-под ног.

Я сорвался с места, опередил старика, снял поводья его лошади с коновязи и, накинув их на луку седла, подвел, держа под уздцы, лошадку к Чины сыну Чичину и взялся другой рукой за стремя, чтобы помочь старику подняться на спину лошади, да и просто выказывая обычное, во всяком случае, для старых времен, уважение к старшему по возрасту.

– Лаган, ты возмужал, с тех пор как я тебя не видел. Скажи, ты помнишь, как в вашем доме я подбрасывал тебя к потолку, говоря «упа», «упа», а ты заливался смехом?

– Помню, – сказал я.

– Светлой памяти твоего деда я вспоминаю каждый день. Все реже рождаются такие святые люди, как он. Боюсь, теперь они и вовсе перестанут приходить в наш мир!

Он подтянул подпруги седла, вставил левую ногу в стремя, поднатужился и сел в седло.

– Спасибо, Лаган, уважил. Счастья я тебе желаю, невиданного. Если же про меня станут расспрашивать, куда мол, я подевался, отвечай: он стал паломником.

Старик поднял руку, прощаясь, потом прикрикнул на коня, даже хлестнул плетью, но лошадка от этого резво не поскакала, поплелась рысью, видно было, что и она утомлена, шла так, будто преодолевала снежную целину, проваливаясь в сугробы... И всадник на ней гнул свой стан не только под тяжестью лет, но и от одиночества и горьких дум. Тяжкую ношу нес Чины сын Чичин.

Я, точно предчувствуя, что больше его никогда не увижу, стоял и со щемящим сердцем смотрел ему вослед, пока он не скрылся за изгибом проселочной дороги... Чины сын Чичин – человек, который всегда в пути и всегда подтяжкой ношей. До сих пор звучат в моих ушах его наигрыши на ачамгуре.

XIV

Как обычно по утрам, я в тот день спустился к реке Чал и всласть поплавал в заводи, которую мы именовали омутом с котлом. На этот

раз я плавал в одиночку, отчего-то никто ко мне не присоединился. Причину такого безлюдья я понял сразу – люди собирались на общий сельский сход, и никто не захотел пропустить его. К тому моменту, когда я пришел домой, отец с соседями уже ушел в сельсовет. Я наскоро перекусил и двинулся следом, хотя мать изо всех сил упрашивала меня остаться дома. Она еще накануне, как только стало известно, что внезапно назначили сход, уговаривала меня не ходить.

– Люди обозлены, может, до плохого дойти. А ты здесь ни при чем, ты – не в комхозе, оставайся дома! – просила мама. – Как бы какой беды не вышло!

Ее тревога была небеспочвенной. Как объявили накануне о внезапном сходе, люди стали ворчать:

– Отчего не дали времени даже собраться с мыслями? Говорят, на сходе решат судьбу ни одного крестьянина. Раз так серьезно дело обстоит, дали бы время оправдаться тем, с кого намерены строго спросить. Нельзя же такие сходы устраивать с бухты-барахты!

И на самом деле, на сходе должны были рассмотреть непростые вопросы. Оставались еще крестьяне – гордецы, как их называли, – которые ни в какую не хотели обобществлять свое хозяйство и, сколько их не тянули в колхоз, как были единоличниками, так ими и оставались. Некоторые середняки вступили в колхоз под нажимом со стороны райкома партии, но произошло это не так массово, как планировали власти района. В районном центре не могли отчитаться перед вышестоящими товарищами в том, что население села стопроцентно вовлечено в колхоз. Районное начальство углядело в отсутствии победных отчетов происки кулаков. Было решено дальше не миндальничать с кулаками, созвать немедленно сход и на нем разобраться с ними по всей строгости пролетарского закона. Таковы были намерения Кацмана, одного из секретарей райкома партии. Если удастся в присутствии всего села и с их единодушного одобрения прижучить кулаков, лишить их голоса и принять решение об их ссылке в далекие края, то это обязательно зачтется организатору мероприятия, полагал Кацман. Его инициатива станет примером и для других сел, где тоже своих кулаков хватает. Самого Кацмана заметят и подтолкнут выше по служебной лестнице.

Но с единодушным одобрением дело обстояло не так просто. Односельчане, глядя на соседей, которых заклеймили кулаками, не могли взять в толк, почему они объявлены классовыми врагами и чем они могут остальным навредить. Пока что ничего дурного за ними не за-

мечалось. Также люди не могли понять сути выражения «лишить голоса».

– Как это «лишить»? – недоумевали самые простодушные из них. – Господь дал человеку голос, чтобы он мог говорить, уши, чтобы слушать других, глаза, чтобы видеть. И если что-то из этого отнять у него, это разве не значит покалечить? Да и как отнимешь богом данный голос, не убивая? И как можно взять на себя такой грех – ни с того ни с сего покалечить человека, с кем всю жизнь прожили в добром соседстве?

Я еще издали заметил, что под липой во дворе сельсовета полным-полно людей. Сколько я себя помнил, здесь всегда проводили сходы. Помещения же, которое могло вместить всех сельчан, у сельсовета еще не было. Люди сидели на чурбаках, на досках, положенных на большие камни. Многие стояли, на всех не хватило сидячих мест. Под липой, ближе к стволу стоял большой четырехугольный стол, за которым восседал президиум. В центре сидел председатель сельсовета Танас, слева от него – председатель колхоза Леуарса, у торца стола расположился секретарь сельсовета Тамел, он же по совместительству еще и секретарь парткома, справа от Танаса сидели еще две женщины – члены сельсовета. В сторонке на стуле со спинкой устроился обряженный в одежду цвета хаки с портупеей через плечо секретарь комячейки Руша. Сход уже начался и перед столом стоял, выставив ногу вперед, секретарь райкома партии сын Ахала, Кацман, тот самый, кого в селе прозвали «прикреплен». Я много слышал о нем, но ни разу раньше не видел – высокий, худой, с густыми черными волосами, которые часто падали на лицо из-за того, что он в поддержку своих слов то вскидывал голову, то мотал ею, то кивал. Он резким жестом руки откидывал волосы назад, ввалившиеся его бледные щеки избороздили морщины, но крупные темные глаза с молодой яростью метали молнии. Время от времени на него нападал кашель, и он натужно долго кашлял в платок, зажатый в кулаке, и как только кашель его отпускал, он тут же принимался ораторствовать на высокой ноте. Но голос быстро срывался, видимо, в борьбе с очередным приступом кашля и часть речи он произносил невнятно, хотя и с большим энтузиазмом. Как соринка в глазу воспринимались его частые вставки в речь двух слов, которых он произносил как одно: «так сказать». В его произношении это звучало следующим образом: «такскаать».

– Одним словом, такскаать, в вашем селе плохо поработали руководители – партийные, комсомольские, да и я в том числе, такскаать.

Верх над нами взяли! кулаки! Мы бились, бились и, такскаать, только тридцать процентов кулаков за уши притянули в колхоз. А соседи ваши из деревни «Каменистое» как один вступили в колхоз. Есть, есть в нашем районе и другие, такскаать, села, охваченные стопроцентным вступлением. – Кацман перевел дух, дважды утер лицо платком, прислушался к себе и, видимо, не почувствовав приближения приступа кашля, снова ринулся в словесный бой: – Еще раз повторяю, наши классовые враги лучше нас поработали, такскаать, товарищи! Бедняки наши сбежались в колхоз, середняки топчутся на месте, прикидывают, куда податься. Их кулаки как раз сбивают с толку. Мы знаем, такскаать, кто в нашем селе мутит воду! Поименно знаем! Семерых смутьянов мы позвали сегодня на сход, но, кроме Джомлата Садзба, никто из них не явился. Мы знаем, где они. Районному руководству они не доверяют, отправились в Сухум, лично с Нестором Лакоба намерены встретиться. Правды у него будут искать. Но мы, такскаать, знаем за кем правда! А Джомлат Садзба вот перед вами сидит, и я хочу напрямую к нему обратиться, такскаать. Мы, Джомлат, третий раз с тобой встречаемся, уговаривали тебя и так и этак. Но хватит тетешкать тебя, как обиженного ребенка. Если ты сегодня не примешь постановление схода и не поступишь так, как велим, знай, сегодня закатится твое солнце! У тебя отара из коз и овец в тысячи голов Допустимо ли это? Не пригонишь свои стада в колхозные кошары, сегодня здесь и сейчас лишим тебя права голоса! А это значит – ты не сможешь нигде и никому жаловаться на руководителей, такскаать. И это не все – возможна и твоя высылка вместе с семьей.

При этих словах по толпе прокатился ропот – угроза показалась всем чрезмерной.

Сам Джомлат сидел напротив президиума на чурбаке. Я с детства знал его, он был дружен с моим отцом, сколько сиживал в нашем доме, но никогда раньше я не видел его таким сумрачным, точно туманом накрыло его. Он был коренастый, крепкий, точно литый, мужик. Сколько я его помнил, столько он гладко брил голову и никогда не носил бороды, только тяжелые вислые усы. Густые его брови и усы были сильно помечены сединой. Джомлат был подпоясан крепким ремнем, на котором с одной стороны висел кинжал – и рукоять, и ножны были сплошь черного цвета – с другой – большой нож в чехле. Он медленно поднялся с места, казалась, непосильный груз тянет его вниз, но когда поднялся, крепко уперся в землю ногами в ноговицах и новехоньких

колошах, свой посох Джомлат с силой воткнул перед собой и набросил на набалдашник войлочную шапку. Зоркими глазами он принялся обводить толпу, точно выискивая очень нужного ему человека. Он открыл рот, намереваясь что-то сказать. Но в это время толпу пронзил женский высокий голос:

– Неужто мужчины перевелись в нашем селе?! Одного из вас на ваших глазах шельмуют. Смертью грозят из-за заработанного им тяжким трудом, и вы промолчите? Где это видано, чтобы человека губили ни за что ни про что?

Высокая белолицая женщина, сорвав с головы черный платок и размахивая им, проталкивалась через толпу. Ее я тоже узнал. Это была Мактина, племянница Джомлата. Люди обомлели от ее внезапного крика, упреков, решительного шага, и, не зная, что делать, изумленно смотрели на нее. И сам Джомлат не знал, как отнестись к поступку племянницы. Между тем она пробилась через толпу и подошла к Джомлату:

– О, отважный мой дядя, кому и горы и долы покорялись! Мужайся! Если и предадут люди, с кем ты делил дни свои, Бог их накажет, а твоя правда лица не изменит! Сегодня же я отправлюсь в горы, пусть никто не думает, будто мне, женщине, это не под силу, предупрежу твоих сыновей. Зачем на пастбище выгуливать им твои стада? Пусть они достанутся волкам, коли тебя с родной земли сживают, в ссылку отправляют! Дядя мой, надежда нашего рода, разве нам обойтись без тебя?

Мактина бросилась на грудь к Джомлату и разрыдалась.

– Будет тебе, племянница, успокойся. Не всякое слово надо близко к сердцу принимать. Неужели власти допустят ссылки крестьянина из-за того, что он добрый хозяин?! Такого беззакония никто не совершит! Будет, тебе, будет!

Но Мактина все не могла успокоиться, рыдала в голос, обняв за шею дядю. Джомлат беспомощно стал осматриваться и высмотрел пожилую, уважаемую во всем селе женщину Марту и позвал ее.

Она тотчас решительным шагом направилась к нему и тоже сняла с головы платок, обнажив седую голову, жидкие волосы доставали до плеч.

– Совершенно, видать, ослепли вы все здесь! – Громко сказала Марта. – Иначе бы заметили, как вас лбами сшибают – тот бедняк, этот середняк, еще кто-то кулак! Руками глупцов змею ловят, вот что! Идем, нан, домой! – Она, ласково взяв Мактину за плечи, оторвала ее от Джомлата и, обняв, повела.

– Возьми себя в руки, наберись терпения. Правда, у нынешних молодых женщин терпенье как папиросная бумага, чуть что и лопнуло. Не место тебе здесь плакать, Мактина, и не время.

Джомлат сделал вослед уходящим женщинам несколько шагов, провожая. Затем он вернулся на прежнее место и утвердился возле своего посоха, точно в землю врос. Толпа ошеломленно молчала и стояла без движения, один Кацман суетился около стола, вертел головой во все стороны, обтирал лицо платком, кашлял в кулак.

– Обращаюсь ко всем собравшимся здесь уважаемым людям с просьбой простить моей племяннице ее слабость. Она нарушила ход нашего собрания, но не нарушила основного закона, который, Благодарение Господу, еще не отменен – верность кровным узам! – заговорил Джомлат, глядя себе под ноги. – Сколько себя я помню, столько хожу по горам с отарой коз да овец. Если я с какой-либо кручи сорвался бы вниз, надеюсь, проняло бы это вас, и вы за костями моими спустились бы в самое глубокое ущелье, да на плечах подняли бы меня. Разве не так? Вокруг одни знакомые лица, вы все меня знаете всю мою жизнь, и ты, Бадра, знаешь, и ты, Смел, и ты, Алхас, да всем вам ведомо, как я живу, чем живу и как мне досталась отара, о которой сегодня так много разговоров. И я хочу спросить у вас: в чем вы видите мою вину? Я, что, разбоем занимался, грабежом, абреком был, человека убил или какой иной проступок против совести и вас совершил? А раз нет, почему мне грозят высылкой? Да пропади моя голова пусть хоть в болоте сгниет, но ведь и семью – от мала до велика – сюда приплетают. Они-то в чем повинны?

– Не надо тень на плетень наводить! Сам знаешь, как относишься к Постановлениям Коммунистической партии. Да ты с камнем за пазухой встречаешь каждое решение партии и правительства по отношению к крестьянству. Твои глаза кровью наливаются при слове «колхоз». И не думай, что мы не догадались. Ты заранее подготовил свою племянницу, чтобы она своими криками и рыданиями разжалобила здесь присутствующих! – ни у кого не спрашивая разрешение, Руша дал сам себе слово и строчил как из пулемета. – На народной земле ты вскармливаешь тысячу голов коз да овец! И кроме своей скотины ничего толком не видишь. Слеп ты к свету, Джомлат, совершенно слеп. Ненависть застила тебе глаза!

Собрание возроптало, никому не понравилась грубость секретаря комячейки и то, что он честил, почем зря человека, который ему в отцы годился.

Джомлат молча выслушал его, точно не замечая, какими увесистыми, как крупный кукурузный початок, необдуманными словами забрасывает его Руша. Потом он заговорил неторопливо:

– Это сын Елкана Руша призывает меня к порядку? Скажу я тебе вот что, дад: до сегодняшнего дня ты своим трудом даже на кусок мамалыги не заработал. И для себя не заработал, и кого-либо другого в доме своем не угостил. Даже до полудня, уж не говоря о целом дне, ты не пас никакой скотины, тех же коз или овец. Не водил их ни на водопой, ни на выпас. Тебе ли судить о крестьянском труде? Если ты не просто горлопан, а дельный крестьянин, неужто довел бы хозяйство своего отца до такого упадка, что братья твоей мачехи забрали свою сестру, чтобы не дать ей умереть в твоем доме от непосильного труда?! Нелегко говорить тебе в лицо горькие слова, но скажу: тебе удалось, одному богу известно как, обдурить хозяев района, кто-то там крепко подпирает твою спину! Только, не знаю, доживу ли я до того часа, ложь твою, в которую ты кутаешься как в бурку, рано или поздно какой-либо ураган сорвет с тебя, и предстанешь перед всеми в своей убогой наготе.

– Ого, Джамлат, гляжу, ты – златоуст! – насмешливо перебил его Кацман и занял свое излюбленное место перед столом. – Ты не очень-то расходись. Народ, таксакаать, другого от тебя ожидает услышать. О твоих намерениях хочет услышать! А ты начинаешь зря клясть нашего молодого друга. Он правду в лицо тебе сказал, такскаать, а ты его с землей хочешь сравнять. Но он – наша молодая смена, он, как огонь, не тебе его загасить, и не пытайся, такскаать. На таких, как он, наша молодежь должна равняться!

Когда очередной кашель заставил Кацмана заткнуть себе рот кулаком с намотанным носовым платком, Джомлат своим тихим голосом обратился к председателю сельсовета:

– Танас, да возьму на себя твою головную боль, выслушайте меня! Именно от тебя, от соседей, от своих односельчан хочу услышать в этот час моей беды, твердое ваше слово. Готовы ли вы мне сказать: «Не желаем с тобой рядом жить»! Если вы скажите так, я буду знать, как мне поступить в дальнейшем. Думаю, в гробу я не лишился бы ваших слез, так хочу, пока живой, услышать от вас, в чем я вам помеха. Если вы видите в чем-то мою вину, прошу, скажите сегодня мне прямо в лицо! Танас, на последнее слово имеет право перед казнью каждый, не откажите мне в этом праве.

Танас приподнялся с места и оглядел собрание, по его скорбному лицу легко можно было понять, как глубоко он переживает происходящее.

– Пока, посиди, Джомлат! – глухо произнес он и даже махнул рукой, указывая, чтобы тот занял место.

– Кому грозит ссылка, тому на месте не усидеть! – сказал на то Джомлат.

Председатель собрания поднялся на ноги и обратился к народу:

– Добрых вам дел, люди! Вы видите, в каком положении оказался Джомлат. Кто хочет слова?

– Чего так рассусоливать?! Перед нами кулак чистой воды и надо к нему отнестись, как к кулаку! – подал свой голос бедняк Халт. Один из тех, кого в селе давным-давно прозвали голодранцами.

– Вот где правда! – вскочил на ноги Руша.

И собравшиеся вновь загудели. Кто одобрительно, кто нет. Из общего шума вырвался пронзительный женский голос:

– Вот о чем вас и Марта предупреждала. Сталкивают вас лбами, этот кулак, тот середняк и еще кто-то!

– Я хотел бы сказать несколько слов, если можно!

Это отец поднялся с места, и сердце мое тревожно замерло – уж больно взрывоопасным было настроение толпы, сумеет ли отец переломить ход обсуждения или же и против себя настроит всех? Отец провел рукой по усам. Он в начале важного разговора всегда так поступал, я знал за ним эту привычку.

Говорят, народ – святыня. И то, что я сейчас намерен сказать, для меня, как зарок перед Господом нашим, и не посмею слукавить. Мы с Джомлатом ровесники, соседи, вместе росли. Как самого себя, знаю его. Он рано потерял родителей, рано остался хозяином в небогатом отцовском доме. Как только его сестра вышла замуж, он, закрыв двери отчего дома, ушел в богатый дом, что стоял у самого подножья горы. Пошел батрачить. Целых пять лет он не щадя себя, не зная отдыха работал на хозяина и через пять лет за его труд хозяин расплатился с ним целым стадом коз в шестьдесят голов, не считая козлят. Он дал мне знать, и я вместе с ним перегонял стадо, потому с чистой совестью вам могу сказать, каким путем достались Джомлату его козы. Затем он стал их приумножать и работать от зари до зари, летом поднимался со своей отарой на горные пастбища, осенью спускался с ними в низины, зимой гонял к морю, чтобы козы могли попастись в прибрежных лугах

и рощах, где трава зеленеет круглый год. А как весна входила в силу, он вновь направлялся со стадом в горы. Я не знаю, когда этот человек отдыхал, думаю, что никогда. Уважаемые, здесь вы все знакомы с нашим крестьянским укладом, и каждый из вас знает – не у всякого хватит сил и умения держать такое огромное стадо и ухаживать за ним. Но Джомлату это удалось и сил хватило, и умения. Я думаю, он вызнал все тайны природы. В горах к нему снизошло благословение Ажвейпшаа[10], в низинах Айтар[11] не лишил его своей милости. У Джомлата три сына и все трое такие, как он – труженики, и, как отец, не мыслят себе жизни без своей живности. Я готов поклясться в Илорском храме перед ликом Господа, что ни одного часа Джомлат не заставлял никого работать на себя. Все, что есть у Джомлата – это то, что он заработал неустанным трудом, он и его семья. Так в чем его вина, скажите, люди добрые?

– Видите, видите, как прихвостень кулака за него держится! Как он его выгораживает! – закричал голодранец Халти.

– Бадру мы знали как середняка, но, выходит, одурманили его кулаки, аркан на него накинули! – не остался в стороне сидевший рядом с Халти Хабаш и в подтверждение вескости сказанного пару раз с силой ткнул посохом в безвинную землю.

– Пусть, пусть говорит! Это хорошо! Враги сами себя разоблачают! – хохотнул Руша.

Неимоверный гвалт поднялся среди присутствовавших, все кричали, спорили, и ничего толком невозможно было разобрать. Председатель собрания пытался навести хоть какой-нибудь порядок.

– Уймитесь! Говорите поочередно! Слушайте друг друга! – голос Танаса перекрыл шум толпы, но не сразу остановил.

Когда же поднялся на ноги уважаемый всеми в селе крестьянин Алхас и вышел на середину, откуда был виден отовсюду, толпа притихла в ожидании, что он скажет.

– Я во всем согласен с Бадрой. Слова худого я не могу сказать ни о Джомлате, ни об его сыновьях, думаю, никто другой тоже не сможет сказать, если по чести. И прежде, чем завидовать его богатству – его стадам, подумали бы, каким трудом все это ему досталось. Вот Халти, уважаемый, я помню твои жалобы, что тебе землицы не хватает, иначе ты бы развернулся. Пришла советская власть, дали тебе земли, сколь-

[10] **Ажвейпшаа** – в абхазской мифологии бог охоты.

[11] **Айтар** – бог плодородия, покровитель домашнего скота.

Аюмаа – абхазский старинный струнный инструмент, разновидность арфы.

ко ты хотел. А как был голодранцем, таким и остался. И все почему? Да потому, что ты – лентяй и лежебока! Дад, Кацман, если мы будем обходиться как с врагами с такими работящими достойными людьми, как Джомлат, с кем мы останемся? С такими, как Халти? Вот тогда, помяните мое слово, и нищета, и мор, и голод, все обрушится на нас.

Следом за Алхасом подал голос Куанцал, он стоял в сторонке, опираясь на палку.

– Джомлата, брата нашего, ценимого нами выше головы, мы знаем не один день, и зачем нам выискивать сегодня темные стороны в нем? Их у Джомлата нет. Пренебречь многим можно, но не хлебосольством Джомлата. Когда важные гости появляются у старшин села, не к Халти в дом ведут, а к Джомлату, знают: достойно приветит, угостит.

– Говорят, когда старость подходит к своему приделу, человек вновь в люльку младенческую возвращается. Коли я собьюсь и скажу что-то невпопад, не обессудьте! – перенял у него слово столетний старец Хатхуа и, кряхтя, тяжело опираясь на палку, но встал на ноги. Седая его борода пышно, как белопенный поток, обрамляла его лицо. Голос Хатхуа зазвучал без старческого дребезжанья.

– Крестьянин нажил добро! Мы подступили к нему и стали считать, сколько он нажил. Виданное ли дело, кровью и потом заработал человек, а мы говорим: отдай нам. Мы ему разве в долг что-то давали? Или как-то иначе подсобляли? И зачем нам отнимать у него скот? Неужто иначе Джомлат свою отару к османам перегонит? Она остается здесь, в нашем селе. И при надобности внезапные ли гости, праздники ли, или свежатины захочется, к кому мы пойдем? К Джомлату. У него возьмем выгулянную на горных пастбищах животину, насладимся свежатиной, да и впрок засолим, закоптим. Не будет Джомлата, вы забудете вкус доброй еды.

– Что значит возьмем?! Можно подумать, Джомлат задарма холощеного козла отдаст или овечку! – со смешком перебил старика Зафас.

– Кто мне перечит? Зафас? – Старик воткнул посох в землю и подбоченился. – К тебе я могу придти, Зафас, и раз и два, и плату втрое дороже против обычной цены предложить, но во дворе твоем не только скотины, стоящего петуха не найти. Силы в тебе вдвое больше, чем в Джомлате, но ни разу ты не собрал кукурузы, чтобы хватило до следующего урожая. Со своей ветхой корзиной по домам родни ходишь, чтобы зерна тебе насыпали. Пятерых детей народил, но не утруждаешься на их долю кукурузы да фасоли взрастить. Новая власть дала

тебе бедняцкие деньги раз и два, только ты и шагу вперед к сытости не сделал. И сегодня пришел осудить крепкого хозяина, так выходит?

Зафас обычно уклонялся от острых разговоров, предпочитал отшучиваться, но сейчас, видать, слова старика проняли его. Упреки ему нечем было крыть, и он предпочел обрушиться на Джомлата, не поленился выйти из толпы и важно этак заявил:

– Не на собственной голове выгуливал тьму своих коз и овец Джомлат. Они вместе с ним топтали горы и долы! Скотина Джомлата набивала брюхо на землях народа. Раз так, живность, нагулявшая жирок на народных землях, принадлежит народу!

– Говоришь как по писаному, Зафас, не ожидал! – усмехнулся Джомлат.

Вновь поднялся гвалт. Люди ожесточенно спорили, перекрикивая друг друга. И как ни призывал людей к порядку Танас, все было напрасно. Страсти накалились нешуточные. Кацман был вовсе неглупым человеком и тут же определил, что собрание вышло из-под контроля, и события складываются не в его пользу. Те колхозники, кого он перед собранием подготовил, как и что им говорить, сидели молча, будто в рот воды набрали. Верно, Халти, Зафас и Хабаш попытались вывести кулака на чистую воду, но в том-то беда, что уважаемые люди села не прислушивались к словам голодранцев. Кацман видел, что не очень приходится рассчитывать и на руководителей села, если не считать верного Рушу. Дело явно приняло дурной оборот. Кацман тяжело уселся за стол, лихорадочно и без надобности утирая платком лицо. «Еще до завтрашнего заката о бунте на собрании узнают все в Абхазии – от мала до велика! – думал он, нервно покашливая в кулак. – И с какими глазами предстану перед первым секретарем райкома партии?» Кацман знал, что он услышит: «Остолоп! Позволил взять над собой верх кулакам и их приспешникам! Ты, представитель райкома партии, выставил себя на посмешище!» Секретарь не пощадит Кацмана, нет, он и так поглядывает на него с неприязнью, опасается, что подчиненный его подсадит. И все потому, что знает – он не по праву занимает свою должность, образования ему явно не хватает. И то: первый секретарь еще до советской власти всего один год проучился в Сухумской педагогической семинарии! Что же касается Кацмана, он закончил КУВТ и уже пять лет занимает должность третьего секретарей райкома партии. Явно засиделся на одном месте, пора уж и по службе продвигаться.

Вот так размышлял Кацман, сетуя на несправедливость судьбы и начальства. Он лихорадочно думал, как выйти из положения. «Главное, отвести от себя удар, начнут копаться в моей биографии ох, несдобровать. Первая моя жена, зараза, все ходит по инстанциям, чернит меня, удержу не знает. Да и ко второй жене присмотрятся, тогда, считай, я – в могиле. Ведь она княжеского роду. К тому же родной дядя подался за границу, живет в Париже, шлет письма и открытки племяннице, чтобы сломать ему там голову. Нет, нельзя допускать, чтобы стали ко мне присматриваться слишком пристально. Дал я маху, когда согласился заняться этим селом. Да они же не головой думают, привыкли грудью преграды сбивать. «Не село, логово кулаков!» – вот как о них говорит Сарапион Пахуалович. Правильно говорит. Чего медлить? Надо позвать его на помощь. Через полчаса здесь будет. Раз они бунтуют, так усмирять бунтарей – дело органов безопасности, пусть они этим и займутся. Передо мной по-волчьи скалится Джомлат, но посмотрим, как он будет выглядеть, когда за него Сарапион возьмется – собьет его как войлочный мяч. Хорошо, что я сдружился с Сарапионом, он имеет прямую поддержку от Берия, потому то все в райкоме партии, включая и самого первого, люто его боятся.

Точно, очнувшись, от кошмарного сна, Кацман стремительно вскочил на ноги и быстро двинулся к Джомлату и, наклонив голову, встал перед ним со свирепым лицом. Крестьянин, который говорил перед этим, замолчал, удивленный отрывистостью «прикреплена».

– Отвечай напрямую, таксказать, коротко! – завопил Кацман. – Вступишь ты в колхоз или нет?! Обобществишь свои стада или нет?

– Не могу, уважаемый Кацман, вести общее хозяйство с людьми досыта никогда не наедавшимися в собственном доме. Не могу трудиться рядом с Халти, Хабашем или Зафасом! – и Джомлат поднял голос. – Дармоед как попало обронит зерно в землю и поле сорняком зарастет. В народе говорят: «Если человек по своей воле за дело взялся, у него все спорится в руках, а что из-под палки делается, от того пользы мало».

– Ясно! Горбатого только могила исправит! Хватит болтать, таксказать, пора решение принимать!

С этими словами Кацман круто повернулся на месте и пошел к столу. Он уселся на место и стал вполголоса что-то обсуждать с руководителями села. Народ привычно загудел, зашумел, ему тоже было что обсуждать.

– Прошу слова!

Раньше, чем он вышел из толпы, я узнал его по голосу. Это был Андрей Лазба. Сегодня на нем была костюмная пара.

– Кто просит слова? – осведомился Танас, он его не узнал.

– Я – Андрей Лазба, студент Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, перешел на четвертый курс. – Скороговоркой представился Андрей, видно было, что ему не терпится поговорить по существу.

Кацман смотрел на него с неприязнью и, наверное, намеревался сказать, что хватит болтовни, пора принимать решение. Но собрание зашумело:

– Дайте слово парню! Послушаем, что он скажет!

– По какому вопросу? – сердито вопросил Кацман.

– Дайте слово, услышите и вопросы, и ответы.

– Говори, – разрешил Танас.

– Как и все здесь присутствующие я прекрасно знаю Джомлата, на кого вы сегодня ополчились. Кому-то понадобилось заклеймить его кулаком, на самом же деле он не враг, а большой труженик. Зачем же мы шельмуем труженика?

– И правда! Таких работящих людей, как Джомлат, еще поискать! – загалдели вокруг.

Мне нравились уверенные повадки Андрея, начало его речи. Я гордился им и радовался ему, точно вестнику радости.

– Такой богач, как Джомлат, чьи стада в узкие ворота двора, где наш сельсовет, часами надо прогонять, нуждается в твоем заступничестве, да, парень? – насмешливо поинтересовался Халти. – Что скажешь на это, парень с большим образованием?

– А то скажу: если бы Джомлат и пригнал вам свои стада, вряд ли вы с ними справились бы. Не у всякого такой великий дар животновода, как у Джомлата.

Под вашим присмотром скотина, скорее всего, пала бы! Начать новую жизнь – это не то же самое, что сменить лохмотья на костюмы с иголочки. Колхозы – новый вид хозяйствования. Крестьяне веками, тысячелетиями нарабатывали опыт. В один день от всего наработанного отказаться, назвав старьем, и начать дело, ни на что прежнее не опираясь, притом рассчитывать на быстрые и прекрасные результаты по меньше мере легкомысленно. Товарищ Кацман, наверняка тебе известно, что от колхозов, насильно созданных, пока толку мало. Прошу прощения, но не могу не сказать, на мой взгляд, для тебя дороже дела

проценты. Если здесь в предгорном селе тридцать процентов селян вошли в колхоз, почему не довольствоваться достигнутым? Обязательно надо отрапортовать о стопроцентном вступлении в колхоз, причем, любой ценой?

– Что несет этот человек? – разъяренный Кацман ткнул в сторону Андрея указательным пальцем. – Кто бы он ни был, таскаать, он льет воду на мельницу врагов. Кто звал сюда подстрекателя?! Разобраться надо, что за нутро у него! Таскаать! Судя по тому, что он мелет, парень из стана политических наших врагов, из бухаринцев, таскаать, как пить дать! Потому и глотку дерет в защиту кулака! Для внедрения в сознание крестьян, таскаать, гнилых идей Бухарина явился сюда этот человек, вот что я вам скажу! Вынюхивает, как охотничий пес, где у кого какая слабина! Где секретарь комсомольской ячейки?!

Последние слова Кацман выкрикнул изо всех сил. Он прекрасно знал, что секретарь комячейки находится за его спиной, но играл на публику и дать задание своему подчиненному он решил всенародно.

– Я – здесь! – с готовностью отозвался за его спиной Руша.

Кацман не обернулся к нему, а стал честить его, не сводя глаз с Андрея.

– Как вы, комсомольцы, могли проморгать представителя оппортунистов здесь под боком? Он будоражит село, а вы и в ус не дуете. Я вижу, вы потеряли революционную бдительность! Немедленно отправьте письмо в Академию, где этот бухаринец учится, опишите, как здесь он выступал адвокатом кулаков! Ты меня слышишь, Руша?!

– Понадобится, так и через игольное ушко его протащим, а не только письма напишем! – пообещал Руша, стоявший, прислонившись к стволу липы, многообещающая улыбка, мол, от нас не уйдешь, тронула его губы.

Но неистовство Кацмана разбивалось об монументальное спокойствие Андрея Лазба.

Как только Кацман замолчал, Андрей неторопливо заговорил:

– Угрозы твои меня мало волнуют, Кацман, я исхожу из основательного знания жизни нашего села. У нас нет кулаков – идеологических противников крестьян. У нас нет вражды. Вы хотите середняка, труженика, искусственно превратить во врага, объявив его кулаком. Так вот напомню тебе, Кацман, и твоим приспешникам слова Ленина: «...Никогда ни один большевик, ни один коммунист, ни один разумный социалист не допускали и мысли о насилии против среднего крестьянина».

– Не умничай! Я, такскаать, закончил КУТВ и слушал лекции великого Сталина. Не тебе меня учить!

– Здесь не место для политических диспутов, товарищ Кацман! Но не гоже тебе ради своей выгоды играть, как в кости, судьбами людей!

С этими словами Андрей повернулся и затерялся в толпе.

«Лишь бы он никуда не ушел до конца схода, так хочется с ним поговорить», – забеспокоился я и стал в толпе взглядом выискивать студента.

Танас пытался ввести хоть в какое-то русло собрание, то и дело обращался к гудевшей толпе: «Давайте послушаем друг друга», но старания его были тщетны и, наконец, он обратился к Кацману:

– Кацман, да возьму на себя твою головную боль, давай повременим с решением, дадим еще время Джомлату на обдумывание, он посоветуется с сыновьями, с родней.

– Нет! Тысячу раз нет! – возопил Кацман. – Мы и без того слишком долго валандались с кулацким отродьем! Прямо сейчас мы должны решить участь классового врага. Не напрасно говорят, одно гнилое яблоко сто других яблок в гниль превращает. Мы не будем ждать, пока зараза от Джомлата перекинется на других. Переходи на голосование! Немедленно переходи!

Танас явно колебался, он чувствовал настрой своих односельчан, и сам думал так же, как они, потому он негромко попытался урезонить уполномоченного от райкома:

– Поставим на голосование – опозоримся, народ не с нами!

– Я сказал: поставь на голосование! Выполняй!

Кацман закашлялся, но и, задыхаясь от кашля, он требовал немедленного голосования, мечась перед столом так, будто подошвы его туфель жгли раскаленные уголья.

Танас еще раз призвал сход к тишине и объявил:

– Кто за то, чтобы лишить Джомлата Садзба права голоса, прошу поднять руки.

Воцарилась мертвая тишина, люди не только не подняли руки, но даже не шелохнулись на месте. Собрание будто легло в дрейф, как парусник в штиль.

– Саботаж! – заорал Кацман. – Куда вы подевались, бедняки? Халти, Зафас, Хабаш, я не вижу ваших поднятых рук! Может, вам их связали? Коммунисты, вы куда сгинули, такскаать? Танас, чего молчишь, как в рот воды набрал? А ты, Леуарса, председатель колхоза называется, рас-

пустил своих колхозников, руки и то поднять не могут. Голосуйте, я сказал, голосуйте!

Я обратил внимание на то, что он время от времени поглядывает на часы, то ли кого-то ждет, то ли прикидывает, как долго он еще продержится здесь.

Руки никто не поднял. Один только Халти несмело вскинул было руку, но, увидев, что, кроме него никто не последовал призывам Кацмана, быстро опустил ее.

– Саботаж, форменный саботаж! – напоследок выкрикнул Кацман и, врезавшись в толпу, заторопился к зданию сельсовета. Секретарь ячейки Руша догнал его и пошел рядом.

– Собрание закончено, все свободны! – услышал я голос Танаса и облегченно перевел дыхание.

Мне уже давно было не по себе. Все услышанное на сходе неимоверно впечатлило и вселило в меня тревогу. Я радовался тому, что односельчане отстояли на этот раз Джомлата, но опасение, что он по-прежнему подвергается опасности, сжимало мое сердце.

Сам виновник переполоха стоял в тесном кругу односельчан, среди которых был и мой отец. Я услышал, как Джомлат сказал:

– Сегодня вы отбили меня, дай бог мне не остаться у вас в долгу, добром ответить на добро!

Тяжелые тучи наползли на небо, и казалось, что уже наступили сумерки, хотя по времени для них было рановато. Под раскидистой липой становилось все просторнее, люди расходились по домам. Отец – он как раз с несколькими нашими соседями направлялся к дороге – окликнул меня:

– Лаган, идем домой!

– Я вас догоню! – ответил я.

Мне хотелось, прежде чем отправиться домой, найти Андрея и обговорить с ним немало вопросов, возникших за то время, что я провел на сходе. Вопросы без ответов душили меня, и мне представлялось, что Андрей сумеет хоть на часть из них дать мне ответ. Я подошел к изгороди – это была тугая плетень из прутьев рододендрона и, спиной прислонившись к ней, принялся высматривать нашего столичного студента. Неужели он сразу после своего выступления покинул собрание? Не дождался, чем оно закончится? Или заранее о том знал? Что касается меня, я впервые присутствовал на сходе, где кипели непримиримые страсти. При мысли о том, что с каждым

разом водораздел, пролегший меж сельчанами, станет расширяться, у меня больно сжималось сердце. Сегодня односельчанам удалось отстоять Джомлата. Страшно подумать, чтобы с ним сталось, если бы они его не поддержали. Лишили бы человека права голоса – объявили бы врагом народа и сослали бы в Сибирь. Между тем, люди, среди которых он прожил, говорили о нем лишь уважительные, от души идущие слова, если, конечно, не брать во внимание выкрики голи перекатной вроде Халти. Но никогда никто в нашем селе раньше не прислушивался к болтовне голодранцев и бездельников, неужели теперь прислушаются?

И не правдой руководствовался Кацман, нападая на Джомлата, а какими-то своими интересами. Андрей, наверное, правильно упрекнул его, сказав, что Кацмана интересуют лишь проценты для отчета перед собственным начальством, а не люди. Но ведь Кацман – коммунист. Как он может с партийным билетом в кармане руководствоваться собственными интересами, а не благом людей? У меня в голове подобное не укладывалось.

Вдруг я услышал звук автомобиля и, обернувшись, увидел как по дороге, поднимая пыль, мчится легковая машина цвета вороньего крыла. Она уже проехала через мост и, судя по всему, направлялась сюда, к сельсовету.

Несколько человек, все еще остававшихся во дворе сельсовета, толкуя о своем, тотчас определили, чья эта машина.

– Разрази ее громом! Похоже, вороний грай нависнет над нашим селом! – в сердцах сказал доброволец Миха и, прихрамывая, заспешил прочь со двора, очевидно, чтобы избежать встречи с тем, кто был в автомобиле.

– Сарапион Пахуалович едет! – уточнил кто-то и тоже без радости в голосе.

Машина резко затормозила у входа в здание сельсовета. С треском захлопнув дверцу, начальник районного отделения милиции майор Сарапион Пахуалович быстро направился к лестнице. Вслед за ним из автомобиля вышли два энергичных человека в штатском и последовали за майором.

На крыльцо высыпали руководители села и пошли гостям навстречу.

«Что его сюда занесло и тогда, когда уже сход закончился? – размышлял я по дороге домой. – Может, он проезжал неподалеку и решил

заглянуть, проверить, как идут здесь дела? А вдруг его вызвал Кацман на подмогу? Он же в свою очередь прихватил тех двоих в штатском?»

От подобной мысли мне стало не по себе. Когда же навстречу мне попались запыхавшиеся председатель колхоза и Джомлат, я сильно встревожился. Выходит, приезд Сарапиона Пахуаловича не случаен и дело, наверное, приняло совсем дурной оборот, если отправили за Джомлатом самого председателя колхоза и, судя по времени, вернули человека с полпути. Если руководство села хотело о чем-то переговорить наедине с Джомлатом, то они это сделали бы сразу после схода, да и, наверное, дело и до утра могло подождать. Выходит, не местной власти понадобился Джомлат столь спешно. Казалось подозрительным и то, что никто Джомлата не просил задержаться, пока люди не разошлись по домам. Ничего хорошего все это не сулило. То, что Джомлат понадобился именно Сарапиону Пахуаловичу, было яснее ясного. Никак он самолично прибыл, чтобы взять под стражу ошельмованного крестьянина.

Я остановился посреди дороги, прикидывая, а не вернуться ли мне в сельсовет, вдруг в чем-то пригожусь Джомлату?

Пока я нерешительно топтался на месте, мне почудилось, что дорогу мне заступил рыжий человек с дурным глазом, враг Абрскила, человек, о ком с горечью теперь часто упоминал мой отец. Его дурной глаз пронизал меня и куда бы я ни смотрел, не было от него спасу! Звон стоял в ушах, как отголосок бесчеловечных решений, принимаемых за закрытыми дверями.

Как потом рассказывала мать, мой отец вернулся со схода мрачнее тучи. Если обычно он рассказывал, где был, что видел, то на этот раз у него не было сил заговорить, отказался от ужина и к моему приходу он уже лег. Наутро выяснилось, что отец не смыкал всю ночь глаз из-за внезапной головной боли, которая и к утру не отпустила.

– Наверное, надо поставить ему пиявки, пустить дурную кровь, – сказала мать, которая выглядела изможденной после бессонной ночи. – Его отца тоже время от времени мучили сильные головные боли, а как пускали кровь, так наступало облегчение. Светлой памяти дядя мой Мамсыр был знатный лекарь и как никто другой знал, как облегчить с помощью пиявок страдание больного. Нам же кто поможет? – кручинилась она.

Сестра моя Мачич, когда училась в техникуме, прослушала курсы медсестер и была в состоянии оказать первую помощь больному. Арте-

риальное давление отца сильно подскочило. Мачич дала ему кое-какие лекарства, устроила ему теплую ножную ванну, но быль не стихала. Отец не смог подняться с постели и от завтрака отказался, выпил немного теплого молока и только.

В таком состоянии отца настигла весть об аресте Джомлата. Новость принес брат отца Элизбар. Отец воспринял весть как большой удар и потом всех соседей, приходивших навестить больного, встречал вопросом: «Что слышно о Джомлате?»

Но новостей, кроме главной, что Джомлата арестовали и увезли, не было, и соседи только разводили руками.

– Заступничество народа теперь выходит ничего не значит?! – кипятился отец и тут же хватался двумя руками за голову, очевидно, боль становилась невыносимой.

XV

Примерно неделю спустя после схода, ставшего роковой для Джомлата, мы вновь встретились с Андреем Лазба на берегу реки. Несмотря на жаркий день, мы не пошли купаться, а уселись на черных замшелых камнях в тени орехового дерева. Нам было о чем поговорить. В ту неделю все разговоры в селе вертелись вокруг участи Джомлата. И Андрей, безусловно, был озабочен всем тем, что произошло на сходе, сомнения сжигали его.

– Я видел тебя на сходе. Как ты отнесся к моим словам? – спросил Андрей.

– Не дали растерзать безвинного человека, хоть кое-кто и накинулся на него, как волк на овцу. Народ отстоял его, и теперь я думаю – ему ничего не грозит, разберутся с ним там, в районе, и отпустят.

– Нет, Лаган, вряд ли удалось Джомлата отстоять. Если даже сейчас его отпустят, то ненадолго. Спокойной жизни ему уже не видать. Судьба Джомлата решена. Опасность нависла не только над ним, но и над всей его семьей.

– Все так безысходно?

Андрей подавленно кивнул, и некоторое время молчал, а потом заговорил с горечью:

– Собрание так планировали, чтобы разом покончить с Джомлатом. Тогда бы Руше легко вручили бы бразды правления селом. А если этот карьерист придет к власти, он пропустит через мелкое железное

сито всех сельчан. Наступят черные дни для крестьян с крепким хозяйством. Всех, кого удастся, он сошлет в Сибирь, другим создаст такие условия, что они сами сбегут из села, оставшихся просто подомнет под себя...

– С тобой Кацман говорил жестко, винил в оппортунизме! Несправедливо!

Я хотел дать понять другу, что я на его стороне. Андрей прутиком чертил на мягком песке под ногами какие-то фигуры. Не отрываясь от своего занятия, он тихо сказал.

– Кацман может бахвалиться сколько угодно, что он КУТВ закончил, что носит у груди партбилет. Но на самом деле он не коммунист. И у него одна цель – высокая должность. Он может клясться именем народа, Родины, идей марксизма-ленинизма, на самом деле, все это для отвода глаз, для прикрытия своей цели. К несчастью, в последнее время уж больно много таких кацманов расплодилось. И они не пощадят никого, кто не сумел или не захотел должным образом поклоняться земным богам.

– Андрей, не обижайся, что так говорю, но не тягайся ты с земными богами. Силы ваши неравны, они же пощады не знают. Не дразни их. На сходе я отметил: Кацман и Руша выступают заодно. Они могут тебе навредить.

– Не сомневайся, к моему возвращению в Москву на столе ректора нашего ВУЗа будет лежать пространная жалоба. Хочешь, я перескажу тебе ее содержание? В первых строках, понятно, моя фамилия, имя и отчество. Во-вторых, перечисление моих преступлений начнется вот как: «Этот человек распространяет идеи правых уклонистов Бухарина, Томского и других по всем городам и селам Абхазии, вредит колхозному делу, беззастенчиво встает на защиту наших злейших классовых врагов – кулаков» и мало ли что они еще придумают, давно набили руку по составлению ложных доносов. Но что бы то ни было, Лаган, нельзя сидеть, в рот воды набрав. Земные боги, не встретив сопротивления, и вовсе распоясшутся, доведут наш народ до гибельной черты. Хватит, не хочу больше говорить о них, пусть о них черт заговорит. Грязная подоплека минувшего схода для меня как острый нож в сердце.

Вдруг он резко поднял голову и стал всматриваться вдаль, будто заметил кого-то, кто к нам направлялся. Выглядел он встревоженным. Андрей поднялся на ноги и с мрачным лицом обошел несколько раз черный камень, на котором сидел.

– Я уеду через неделю, – сообщил он мне. – Мы с сокурсниками из факультета агрохимии и земледелия договорились встретиться в Москве незадолго до начала учебного года. Скажу тебе откровенно, за эти три года, что я учусь в Москве, впервые уезжаю с тяжелым сердцем. Все летние каникулы я провел в походах по родным местам, по горам ходил, и в низины спускался, и в ущельях ночевал. Я много читал о природе других стран, изучал их по учебникам, но уверен, нет на земле ни одного уголка, который мог бы соперничать с нашей землей. Знаешь, немея перед неподдающимися описанию красотами Абхазии, я все вспоминал строчки из поэмы Самсона Чанба:

Абхазия, горянка-недотрога,
Жемчужиной лежишь в горсти у Бога,
Морскою бирюзой окружена.
Кавказа дочь, светла ты и нежна.
Апсны, янтарной гроздью винограда
Мерцаешь ты в тенистой тайне сада.
Твой стан стройнее нартского копья.
Ты – боль моя, любовь и жизнь моя.

Открою тебе, Лаган, о чем сердце мое болит, красота и богатство нашей стороны, сокровища, что принадлежали Горянке, Кавказа дочери, все это может перейти в чужие руки. Все это может быть уничтожено, как уничтожили леса в Дване, расчищая под чайные кусты. Я чувствую наступление на все наше сокровенное, не без основания тревожусь, поверь. Только как остановить лавину, движущуюся на нас? Где взять силы? Как сохранить землю, что наши деды, жизни своей не щадя, отстояли для нас? Если все абхазы, включая и детей в люльках, взяли бы в руки оружие, силой все равно нам себя не отстоять. К тому же, видишь сам, и среди нас завелись молодцы, что кормятся с чужих рук.

Андрей нервно ходил взад-вперед, и следы его четко отпечатывались на песке. Я следил за ним глазами, и мне казалось, мы крепко связаны как веревками общей болью.

– Ты никаких разговоров не слышал о Каштановом стане? – осведомился Андрей, остановившись передо мной и вперив в меня страдающие глаза.

– Нет, а что? – подскочил я на месте.

Каштановый стан – лес, начинавшийся сразу за нашим селом, считался священным.

– Неужто и до него добрались? – выдохнул я.

– Пока держат в тайне, но я знаю от людей, которым доверяю, что он уже взят на учет для вырубки. Расчистят место и привезут из болотистых районов Грузии переселенцев, поселят на вырубке.

– Не может быть!

– Отчего не может быть? Давно ты был в селе Кындыг? Так вот, начисто вырублен лес, прилегающий к нему. Ни одного дерева не оставили. Я видел собственными глазами. Расчищенное место разделили на небольшие участки и стройка идет во всю, возводят одинаковые деревянные домики. Вначале была надежда, что переселят туда людей с наших предгорий, тех, которые прошлой зимой пострадали от горных обвалов. Такие слухи циркулировали. Я даже думал нарочно кто-то их и распространял. Домики же не для наших горцев. Они предназначаются для равнинных жителей из глубин Грузии, из болотистых районов.

– Не может быть! – растерянно повторил я. – Не может быть... и что касается Каштанового стана, возможно, ты ошибаешься.

– Больше всего я хотел бы ошибиться, но точно тебе скажу: план вырубки леса существует.

– Но как же селу обходиться без своего леса, откуда брать дрова, дранку на крыши, дома из чего строить? – не мог я взять в толк.

– Это для тебя, Лаган, твое село – источник вдохновения, все посвящаешь ему стихи, а для них просто населенный пункт, всего лишь.

Как только в нашем селе узнают, какую участь готовят нашему лесу, все встанут плечом к плечу и не позволят даже одно-единственное дерево свалить, уж не говоря о лесе! – запальчиво сказал я.

Андрей чуть приметно улыбнулся.

– Прости, Лаган, но вы, поэты, витаете в облаках. Кому под силу остановить государственную машину?! Наш народ давно разобщили, подавили. Знаешь, когда весть разнесется о переселении сюда из Грузии людей, о чем громогласно заявят Руша и его приспешники? «Вот пример укрепления дружбы братских народов, скорее заготовим места для переселенцев!» Они таким образом не только укрепят собственные позиции, но и много народа из своих угробят. Допустим, встанет и скажет: «Люди добрые, да что же вы делаете? Как крестьянину прожить без леса, без лугов для выпаса скотины? Нам самим землицы не

хватает, так чего чужакам земли расчищать?» Человек сказал, как есть, и надеется, что разумный его довод дойдет и до остальных. А знаешь, что он получит взамен? верный донос в соответствующие инстанции: «Перед вами преступник, который сталкивает лбами братские народы! Он – националист, интриган, тайный враг советской власти! Ему не место среди нас!» Вот такая опасность подстерегает нас, Лаган. Потому я и хочу, чтобы Руша и те, кто держат его стремя, узнали о видах начальства на Каштановый стан, как можно позже. – Андрей положил руку мне на плечо и заглянул в глаза. – Так обстоят наши дела, Лаган, не иначе.

Затем он отступил от меня, стянул с нижней ветки ореха свою шапку, которую он там повесил перед нашим разговором, нахлобучил на голову.

– Тебе пора?

– Пора, Лаган, пора! Жаль мы не поговорили о твоих стихах, я мало, что прочитал из них, но ничего, до следующего лета ты еще много нового напишешь. Вот я приеду, и ты мне сразу вручишь целую тетрадь новых стихов, идет?

– Будь по-твоему...

– Счастливо оставаться тебе! Вдохновения и здоровья желаю.

Он крепко пожал мне руку и пошел прочь, ускоряя шаги. Я смотрел ему вслед, пока заросли колючки на повороте не скрыли его с моих глаз. Оставшись один, я побрел домой в раздумьях. Два чувства яростно боролись в моей душе, точно два упрямых архара встретившихся на горной тропе. С одной стороны меня буревала гордость за Андрея Лазба. Какое счастье, что у нас есть люди, которые досконально изучили свой край, но смотрят при этом на него не отстраненным взглядом ученого, но еще и с сыновней преданностью. Я теперь знаю, как безмерно любит Андрей Абхазию, как он будет, не щадя себя, защищать ее природные богатства. Вот пройдет всего лишь два года, Андрей завершит образование в Москве и как другие наши студенты, обучающиеся в больших городах России, вернется домой со столь нам необходимыми профессиональными знаниями и приступит к работе на благо Абхазии. Такие, как Андрей, – это завтрашний день нашей страны. Выходит ясный день. Я прекрасно знал, что встречаются среди нас и другие, которые, едва обучившись грамоте, отпадают, как старая кора от ствола, от всего, в чем были воспитаны, отмежевываются не только от родного села, но и от кровных родных. Кто-то ищет тепло-

го местечка в городе, кто-то, хоть и не хватает образования, лезет в служащие, другие ударились в куплю-продажу. Они озабочены лишь собственным благополучием, и думать не думают о судьбах Родины. Но сейчас хотелось думать только об Андрее. Вот кого сердце бьется в унисон с родной землей! Он может сколько угодно времени отсутствовать, но всегда будет ощущать болевые точки своей страны и делать все возможное, чтобы их врачевать. Как же не радоваться, не гордиться таким человеком? Если бы не другая причина, теснившая в душе мои радостные мысли об Андрее, каким счастливым человеком я бы себя ощущал! Но сообщение друга о возможной судьбе Каштанового стана вогнало меня в тревогу, с которой непросто было сладить. По чьему почину задумали уничтожить лес и поселить там переселенцев? И как подобное могло допустить правительство Абхазии? Или с ним не считаются? Если не считаются, то до какой степени? Я вспомнил: в прошлом году я где-то читал, что во времена меньшевиков грузинское правительство разрабатывало план переселения части своего народа в Абхазию, чтобы ассимилировать местное население, а заодно и улучшить условия жизни своих компатриотов. Тогда меньшевики не успели осуществить свои замыслы – правительство пало, власть переменилась. Она-то переменилась, а старая идея, похоже, тихонько дожидалась своего часа. И дождалась, получается.

Слева от меня начинался Каштановый стан, и я ускорил шаги, чтобы поскорее подняться на холм и оттуда наглядеться на еще нетронутый густой лес. С раннего детства я гулял по этому лесу, отдыхал под стройными деревьями, дышал его свежестью. Я припомнил, как в раннем детстве я увязался за дедом и отцом, когда они поехали на арбе в Каштановый стан за дровами. Надо же было такому случиться, что на обратном пути я свалился с груженой арбы под колеса. Отцу чудом удалось в мгновенье ока так направить арбу, чтобы меня не переехали колеса, иначе гибель была бы неминуемой. Дед Бежан до самой смерти приписывал это спасение чуду, явленному Божеством леса. «Добрый дух леса уберег тебя, дад Лаган, да пребудет его благословение с тобой и впредь». Каштановый стан всегда был для меня святым местом, щедрым, радостным. Просыпаясь по ночам, когда ненастье разыгрывалось, и стены нашего деревянного дома натужно скрипели, я представлял себе, что деревья Каштанового стана берут на себя главный удар урагана, ослабляют его, защищают наш дом, как стража на крепостной стене. Не только в доме, где я рос, столь бережно относились к лесу,

но и все вокруг рассматривали его, как счастливый дар для всего села, охраняющий в своей чаще добрую судьбу крестьян. Никто из нашего села не срубал деревья в том лесу под корень, брали валежник или отсекали часть ветвей, прореживая слишком густую крону. А по весне приходили в лес со свечами, возносили благодарственную молитву Божеству леса...

Я поднялся на холм, отсюда далеко просматривался Каштановый стан. Густыми кронами леса ветер играл, точно расчесывая им пышную шевелюру. Казалось, это из-за мощного дыхания леса по кронам проходит волна за волной, как на море.

XVI

Как-то под вечер доброволец Миха верхом въехал в наш двор и стремительно – я даже не успел в соблюдение принятой вежливости, поддержать его за стремя – соскочил наземь. Я взял у него из рук поводья и повел коня к коновязи, а он, прихрамывая, заторопился к амацурте, где лежал мой отец. Там еще сидело несколько соседей, пришедших навестить больного.

«Наверное, что-то случилось, не зря он так разгорячен», – предположил я и, пристроив коня, заспешил следом за ним.

Миха обычно первым узнавал все новости, но он не был охоч до сплетен, не разносил их по дворам. Если случалось, что событие его проняло, он о том не при всех кричал, отправлялся к тем, на чье понимание рассчитывал, и здесь не успокаивался, пока не выкладывал все, что наболело.

Отец, оказывается, знал, что Миха спозаранок отправился в Очамчыру, чтобы в районном центре разузнать о судьбе Джомлата и как только наш сосед переступил порог, он сразу спросил:

– Миха, дад, добрую ли весть ты принес? – Отец с трудом приподнялся с постели.

– Уже на сходе мы должны были понять, добрых вестей нам не дождаться! – с горечью проговорил Миха и, сбросив вдвое сложенную камчу, которую он держал в руке, на лавку возле входа, прошел к постели больного и уселся напротив отца, вытянув негнущуюся ногу перед собой. Очевидно, для присутствующих, не знавших, где он был, Миха разъяснил:

– Сегодня на заре я поехал в район в надежде что-либо узнать о Джомлате... Лучшего из лучших выдрали из нашего села и следа не оставили. Не знаю, куда его подевали, но, сколько я не обивал порога отделения милиции – все напрасно. Я и у тюрьмы побывал, встретил возле нее кое-кого из знакомых, но они сказали, будто ничего о Джомлате не ведают. Нашлись и те, кто мне посоветовал не искать для моего же блага Джомлата. Родня Джомлата уже два дня пытается там узнать что-либо о нем. Я к ним присоединился, и мы отправились к Сарапиону Пахуаловичу. Но к нему нас не допустили. Когда же мы стали настаивать на встрече, вышел к нам его заместитель, да как напустился на нас:

– Что вы здесь устраиваете?! Не на деревенской площади находитесь! Убирайтесь отсюда! И никто вашего Джомлата под стражу не брал! К нему есть вопросы, он ответит на них и все. А вам здесь делать нечего!» Вот и все мои новости.

– Если его и впрямь отпустят, так ненадолго. Взъелись они на него, значит, добра не жди! – горестно определил Элизбар.

Он стоял у притолоки, сложив на груди руки.

– Спустятся с гор сыновья Джомлата и попытаются силой освободить отца, так жди и худшей беды, – сказал сидевший поодаль Хазарат, печально глядя под ноги. – Разве с такой силой они сладят? Все равно, что пальцем попытаться разрушить крепость, и сами сгинут, и отца не выручат.

– Говорю же вам – нас сглазил Рыжий! – Отец отчего-то стал торопливо одеваться и, одевшись, уселся на лавку и стал набивать свою трубку табаком. – Если достойных людей решили гноить в застенках, так кто же наследует землю, в которую зарыты кости наших предков? Голодранцы, голытьба бездомная вроде Халти да Зафаса? Они вмиг доведут ее до бесчестья. Похоже, мы дали слабину. Может, всем миром надо было навалиться на Кацмана, как только он посмел заявить, мол, надо лишить Джомлата права голоса? А мы долгими словесами взывали к его совести. Разве бешеную скотину урезонишь словами? Да кто он такой? Не бог, не царь. Нельзя разве было поверх его головы к более разумным людям обратиться? Он же не самая главная власть в районе?!

В амацурте стало тихо, будто она вмиг обезлюдела. Тишину нарушил доброволец Миха, и сказанное им, приковало к нему всеобщее внимание.

– Вчера в райкоме партии обсуждали нашу сельскую власть, на нее завели дело.

– Какое еще дело? В чем проштрафились наши перед районом?

– Провалили собрание, открыто стали на сторону кулаков, считай, приз победителя им всучили.

– Да что же ты такое говоришь, Миха?

– Не мешайте человеку, он не свое говорит, а то, что услышал, дайте ему рассказать! – остудил горячие головы отец.

Он не сводил глаз с Михи.

– Рассказываю, о чем узнал, – тихо проговорил Миха. – Председатель колхоза Леуарса освобожден от должности. На бюро еще и посмеялись над ним, мол, случайно попал ты на почетную работу, куда тебе было справиться!

– Еще кто-нибудь пострадал?

– Председьсовета Танас и парторг Тамел получили строгий выговор.

Услышав о том, что и Танас пострадал, моя мать в сердцах воскликнула:

– Когда же он бросит эту работу? В такое страшное время никого не спасешь и себя погубишь. Осиротит он своих детей, как пить дать, осиротит.

– Уйти с работы по собственной воле, видать, теперь ему не дадут, – заметил один из присутствующих.

И моя мать с испугом глянула на него.

– А чего вы не спрашиваете, кем заменили прежнего председателя колхоза? – насмешливо прищурился Миха.

– Уже кому-то другому вручили поводья? Так не мучай, скажи, кто новый хозяин колхоза?

– Председателем колхоза нашего села назначен Руша, сын Елкана! – торжественно сообщил Миха.

– Кто? Кто?

– Мы не ослышались, и вправду Рушу назначили?

– Миха, дад, ты шутишь, или говоришь всерьез? – отец даже привстал со своего места.

– Таково решение бюро райкома. Дня через два приедут сюда из Очамчыры, устроят собрание и на нем дружно назначат председателем колхоза Рушу, сына Елкана. Надо думать, его все поддержат, как один человек! Руководство больше не допустит того промаха, что с ними

случилось на сходе. Так что готовьтесь дома, чтобы вовремя и громко хлопать на собрании!

Видно было, что Миха с трудом сдерживает свою ярость, пытается острить, а в глазах – горечь.

Мой отец обхватил двумя руками голову и, качаясь из стороны в сторону, простонал:

– Лучше бы я умер раньше этого известия!

– Да будет вам, не стороннего человека навязывают, а юношу из нашего села. Если он и дров наломал по молодости, так вы, старики, и вразумите его, говорят: глас народа врачует, – попыталась утешить их моя мать, но слова ее они пропустили мимо ушей.

Слова, брошенные на ветер...

– Ума не приложу, кому на сердце лег бездельник Руша! – Хазарат поднялся на ноги и стал ходить взад-вперед. – Да он ровную борозду в поле не способен проложить, не знает, как с волом под ярмом управиться, а ему дают управлять целым селом, народным добром!

Как вспыхивает пламя от сухих сучьев, так мгновенно разгорелся полным горечи разговор.

– Руша навсегда, вроде, покинул наше село, что же, на нашу беду, заставило его позже вернуться?

– Сколько раз я видел его в Очамчыре, когда он там милиционером работал, ну и дул бы дальше в свой свисток!

– Еще он бесстыдными шутками вгонял в краску торговок сыром, герой!

– Смейтесь, но Руша из милицейской формы извлек больше, чем мог, прямиком в ней попал в райком комсомола. Потом, ясное дело, форму снял, пиджак нацепил. Здесь он уже появился как вожак молодежи, неспроста, видать, учил их уму-разуму.

– Не знаю, какого ума от Руши можно набраться, а вот горло пустопорожними словами драть он умеет и совсем неплохо. В месяц по пять собраний проводил в селе, все что-то кукарекал молодежи.

– Лично мне не достает Чины сына Чичина, его игры на ачамгуре, его веселых слов, его песен. Это Руша изгнал его из нашего села, напустился на него, что он позорит новое время.

–Теперь он напустится на всех нас! Начнет вразумлять.

– Кого может вразумить человек, который оставленное отцом хозяйство и то довел до ручки? Мачеху, добрую женщину, между прочим, она растила пасынка как родного, заботилась о нем, увезли бра-

тья. Увидели, что на старости лет о ней некому позаботиться и увезли. Так «отблагодарил» за всю ее заботу Руша. А теперь он нас будет учить уму-разуму?

– Петь, плясать и джигитовать Руша умеет как никто другой.

– Раз так, отставим в сторону свои мотыги, снимем ярмо со своих волов и все, от мала до велика, кинемся в пляс.

Страдальчески морщась, в разговор вступил и отец:

– Дорогие мои соседи, вы не раз видели, как ураган срывает листья с ветвей, так весть, принесенная Михой, перемешала все мои мысли. Остался я наедине лишь со своей ужасной болью, потому и не знаю, что толком и сказать, но чую – беда не за горами.

Он вернулся к своему ложу и сел, прислонившись к взбитым подушкам.

Мать обеспокоено посмотрела на него, зная, что волнения ему противопоказаны.

– Чего ты разошелся? Люди пришли тебя больного навестить, а ты мечешься туда-сюда, и не понять, здоров – болен, – сказала она, не смея с большей откровенностью указать на то, что больной нуждается в покое.

Но отец успокоиться не мог:

– Всем вам известен закон о земле. Сначала крестьянам дали ее вдоволь. Но счастье было недолгим. Не успели нарадоваться земле, обработать ее, как повернули по-другому. Крестьянину сказали: «тебе и полгектара хватит» и давай расставлять вешки. Как это хватит, люди добрые? У крестьян всегда пасека была. Не поставишь пасеку рядом с козлятником, верно ведь. А куда на выгул телят, ягнят выпускать на таком клочке земли? Где птичник поставить? А виноградник где заложить? Что это за крестьянский дом, где вино не поставят на стол? И как же без сада обойтись? Без своих персиков, яблок, груш, инжира? В конце концов, а где траву косить для живности? Если сена не заготовить, чем же скотину кормить зимой? – голос отца то и дело прерывался. Наконец в изнеможении он замолчал.

– Эх, до чего тяжела крестьянская доля! – вздохнул Миха. – Невзгод земледельцу не занимать, а теперь новая власть и вовсе вознамерилась с корней его вырвать. Вы все знаете, что случается даже с могучим дубом, ураганом, вывороченным из земли с корнями. На том месте уже и молодняк не прорастает, а могучий дуб гибнет. Бадра сам, как могучий дуб, всеми корнями в земле. Но на этой земле все мы гости, кто же по-

сле него продолжить его крестьянское дело. Лаган уже вкусил сладости городской жизни, если он и вернется, холодок меж ним и землей останется. О том и горевал мудрый Бежан до последнего своего часа.

Миха вперил в меня взгляд своих темных глаз.

А я рассердился. «Откуда вам знать!? Может, я стану лучшим из лучших хозяином на своей земле», – хотелось мне возразить, но силой заставил себя удержаться, из уважения к возрасту говорившего. Но его слова пробудили и сомнения: «А вдруг и вправду я отдалюсь от родного села, от его забот, забуду родное гнездо? Ну, нет, в моих стихах оно будет тысячекратно возрождаться». Передо мной маячил образ, вызванный словами Михи – огромный дуб с вывороченными корнями... дуб, сваленный беспощадным ураганом...

В это время в амацурту вошла Мачич с градусником, лекарствами и тонометром в руках.

– Отец, тебе вредно так много говорить! Боюсь, у тебя давление поднялось!

Соседи дружно встали, пожелали отцу скорейшего выздоровления и уважительно пропуская друг друга вперед, вышли из амацурты.

Отец считал вопиющим беззаконием то, что, не спрашивая мнения людей назначили председателем колхоза Рушу сына Елкана.

– Если теперь народ не может высказать свою думу на сходе, если сообща уже ничего нельзя решить, значит, он лишился всех прав! Выходит, мы – бесправные!

Эта мысль сильно тревожила моего отца и повторялась на разный лад в течение многих дней. Отец надеялся выздороветь к общему собранию села, намеревался высказать там все свои сомнения и тревоги и напомнить, что если со свободным крестьянином не считаться, какой же он свободный?

Как говорится, бабушка в душе день напролет плясала, да никто этого не видел. Отцовские намерения остались всего лишь намерениями, «плясками» в душе, поскольку его попросту не пригласили на собрание, как не пригласили и многих других уважаемых людей села. В тот день, когда впервые поднялся с постели после болезни отец, и произошло это так называемое общее собрание. Вел собрание Кацман, и он прекрасно знал настроение сельчан, на собрание позвали тех, кто, более или менее, по-хорошему относился к Руше сыну Елкана, по несколько представителей от каждой бригады колхозников. Леуарсу, первого председателя колхоза, освободили от занимаемой должности,

как говорится, походя, хотя его не в чем было упрекнуть. И как-никак он был первым, кто встал во главе колхоза. Ни благодарных слов за проделанную работу, ни какие-либо другие пожелания Леуарса так и не услышал. Сидел себе человек на собрании, а будто бы его вовсе и не было, обошли вниманием, как привычный камень на обочине дороги.

Как только Кацман предложил назначить Рушу сына Елкана новым председателем колхоза, все присутствовавшие поднялись на ноги и дружными аплодисментами выразили свое единодушное одобрение. Так что с этим собранием Кацман не прогадал, собрал нужных людей и результат получился нужным. Уж как на том собрании славили Рушу! Получалось: если бы такой замечательный Руша не был бы уроженцем села, все равно его надо было призвать, пусть и со стороны! Лишь бы он возглавил колхоз, поскольку лучше него с этой работой никто не справится. Чистым серебром звенели слова восхищения и одобрения в адрес нового председателя. «Свет наш, наша отрада, не бросай нас на волю судьбы!» – перекрывал гул аплодисментов пронзительный голос Халти. «Спасибо Кацману за заботу о народе, за то, что он предложил в председатели лучшего из наших сынов!» – вторил ему еще какой-то подготовленный голодранец.

Столь радостное событие непременно требовалось отметить. И в доме зажиточного Дыдына, отца дружка Руши Маги, уже дожидался богато накрытый стол. Приглашенные на торжество люди – их тщательно отбирал сам новый председатель – отправились гурьбой в дом Дыдына, вместе с почетным гостем Кацманом, разумеется. Кацману определили место во главе стола. Допоздна в доме Дыдына отмечали радостное событие – ели, пили. Столь радостное событие грешно было бы не расцветить песнями и плясками. Вот тут-то новоиспеченный председатель превзошел всех. Как славно он пел, лучшего запевалы не найти, как неутомимо плясал, носился стремительно, подобно вихрю – глазу за ним не поспеть!

Кацмана долго уговаривали погостить до следующего дня, но он пожелал вернуться домой, уселся в свою машину и укатил на побережье. А вот Руша остался. На следующий день он поднялся довольно поздно. Его ждал готовый завтрак. Хозяева были донельзя гостеприимны, сердце Руши ликовало. Легкими шагами он спустился с крыльца, чтобы направиться на работу и впервые хозяином войти в кабинет председателя колхоза. Дыдын не мог допустить, чтобы его гость, впервые

направляющийся на новую высокую должность из его дома, шел пешком. Он и подвел к нему своего серого в яблоках ухоженного коня под новехоньким седлом и предложил поехать на нем на работу и пользоваться этой верховой лошадью, пока Руша не пересядет на другого лучшего коня. Поистине, гостеприимство Дыдына было избыточным, но Руша принял все как должное и, не слишком рассыпаясь в благодарностях, вскочил на спину хозяйского коня, гикнул и пулей вылетел за ворота.

XVII

Отец попросил меня пойти к добровольцу Михе и передать ему просьбу, чтобы взял отца в спутники на побережье. Он знал, что Миха собирался на следующий день поехать верхом в Очамчыру. Отец рассчитывал узнать в районном центре хоть что-то о судьбе Джомлата. Если бы не болезнь, наверняка уже не раз и не два побывал бы на побережье и постарался бы узнать новости о Джомлате, а то и попытался бы свидеться с узником.

– Ни разу не вдеть ногу в стремя по поводу дела Джомлата! Какими же глазами я посмотрю на него, когда он вернется домой? – сокрушался отец по поводу того, что из-за болезни не сумел должную заботу проявить о друге.

В селе поначалу надеялись, что Джомлат вот-вот вернется. Во всякое случае, ходокам из села нечто похожее сулили в милиции. Но прошло две недели с момента, как забрали Джомлата якобы для беседы, а он все не возвращался.

К Михе я, конечно, пошел, но просьбы отца не выполнил, и тому были веские причины, совершенно ошеломившие меня. В полном расстройстве чувств донельзя растерянный я пустился в обратный путь, размышляя с бьющимся сердцем, как я расскажу отцу обо всем увиденном, и как он к этому отнесется. Я опасался за его здоровье.

Уныло поникнув головой, я переступил порог амацурты. Отец сидел на своем и привычном месте на лавке, держа под мышкой палку с набалдашником. Мать устроилась ближе к дверям на высоком стуле и сноровисто пряла, веретено так и крутилось в ее ладонях. Родители о чем-то негромко и ласково толковали. Сестрица моя Мачич, возившаяся с постелью на крыльце дома на сваях, – она вынесла на солнце подушки, матрасы, одеяла, – бросив свое занятие, прибежала за мной

следом. Видно, ей не понравилось, как я, сутулясь, брел к амацурте, угадала – вести у меня недобрые.

– Что-то ты долго не шел – удивился отец, когда я вошел. – Никак, не застал хозяина дома и дожидался его возвращения?

– Застал... но вряд ли он завтра куда-нибудь сможет выбраться... У него большой спор вышел с теми, кто обыскивал его дом.

– У него были люди с обыском? – поразился отец и, поднявшись с места, перебрался на скамью у очага. Я опустился на сиденье по другую сторону огня.

– Рассказывай, что произошло, без утайки рассказывай, – велел отец дрогнувшим голосом.

И мне пришлось рассказать.

– Я, когда оказался у ограды двора Михи, увидел, что его конь стоит под седлом у коновязи, и обрадовался, что успею передать твою просьбу, пока он не уехал.

Миха вышел мне навстречу, и мы успели обменяться несколькими фразами, когда во двор, тесня коней в воротах, ввалились вооруженные мужчины.

Мачич ахнула и опустилась на стоявшую вблизи табуретку.

– Вооруженные? – подался вперед и отец, лицо его вмиг осунулось.

– Да, семеро! Милиционеры! Миха, вы сами знаете, какой он горячий человек, попытался выгнать их со двора. Но не тут-то было. Они ринулись в дом с таким видом, точно надеялись там обнаружить гнездо абреков. Когда они вошли в одну из комнат, сразу увидели висевшую на крючке на стене черкеску Михи с прикрепленными к ней Георгиевскими крестами. Милиционеры довольные переглянулись, будто преступника поймали за руку. Один из семерых, наверное, он их начальник, этакий дылда, подошел ближе к черкеске и уставился на нее.

– В чем дело? Смотришь так, будто я награды своровал, а не удостоился их за ратные подвиги! – вскипел Миха.

И тут, вы не поверите, но дылда протянул руку к наградам и грубо их сорвал с черкески.

– Крепил режим кровавого русского царя Николашки, потому и получил эти железяки. А Николашка под ярмом держал трудовой народ, спуску им не давал! Вот кому ты служил! – взревел верзила. – И кто ты после этого, как не враг трудового народа? Ничего, мы выведем тебя на чистую воду! Глядите, а это что? – начальник уставился на пистолет

в кобуре рядом с черкеской. Кобура, продетая на наборный абхазский пояс, висела на крючке. – Кто дал тебе право на ношение оружия?

– Это именное оружие, пожаловано мне за храбрость! О чем выгравировано на рукояти, можешь прочитать.

Дылда так и поступил, прошел с пистолетом ближе к выходу, чтобы лучше видеть, и стоя в потоке солнечного света, прочитал и гадко ухмыльнулся:

– Ух, ты, генерал ему самолично пожаловал за храбрость! Белый генерал! А самого беляка красные, наверняка, уже секир башка! – Он провел рукой по своему кадыку, показывая, как должны были обойтись с белым генералом. – Оказывается, все, что о тебе рассказывают, правда, доброволец Миха! Ты прикидываешься бедняком. Советская власть тебе помощь отваливает, а сам по ночам молишься своему белому генералу!

В мановение ока они составили протокол, в котором Миха обвинялся в незаконном хранении оружия и не знаю еще в чем. Начальник велел Михе не отлучаться из дома, сказал, что в ближайшее время он еще о них услышит! Они забрали, наверное, как улики награды и именное оружие Михи и убрались восвояси. Хорошо, что пришел сосед Чанта, а то Миха не дал бы им так просто уйти! Нарвался бы на пулю, но не отступил бы. Спасибо, Чанта удержал и после того, как всадники убрались, долго прогуливался с ним по двору, увещевал, как мог. Несмотря на запрет – ему велели сидеть дома, – Миха, как только немного пришел в себя, сел на коня и уехал, по его словам, правду искать.

Не успела потрясенная моя родня переварить услышанное, как снаружи залаяли собаки. Мы вышли из амацурты, и я с ужасом обнаружил, что в наши ворота въезжают всадники, встреченные мной во дворе Михи. Они спешились, не отвели коней к коновязи, оставили у ворот, накинув поводья на луки седел, и направились к нам. Впереди вышагивал все тот же верзила. Кажется, он был в звании капитана милиции.

– Здесь проживает Бадра, сын Бежана? – громко вопросил дылда.

– Да, дад, Бадра – это я, живу именно здесь, и в этом доме всегда рады гостям. Добро пожаловать! – выступил вперед мой отец.

– У нас задание – мы должны обыскать твой дом.

– Что же, по-вашему, я в нем прячу? – поразился мой отец. – Всю жизнь я прожил с добром к людям, и отец мой тому учил и дед...

Капитан пригляделся ко мне и сказал:

– Видел, видел тебя у этого хромоногого, недобитого беляка! Чего тебе понадобилось у порченого человека? Таких за версту надо обходить!

– Миха – достойный человек! Дай бог, чтобы все мои соседи были столь же добрыми людьми! – возразил капитану мой отец.

Тот, не привыкший к возражениям, с удивлением на него воззрился. Уперев руки в бока, он обратился к своей свите:

– Вы только поглядите на них! О чем толкуют, как смотрят. Многое о себе возомнили, видать! От мала до велика все порченые! Сколько волка не корми, все в лес смотрит! Это про них! Будь моя воля, так я не выборочно, а все село целиком сослал бы в Сибирь, очистил бы землю!

– Из-за какой такой провинности честных крестьян чохом можно выселить из родных мест? Кто позволит так бесстыдно попирать закон? – не выдержал я.

– И что вы думаете найти, обыскивая дома? Просто запугиваете крестьян, чтобы они все бежали и записывались в колхозы? Зачем глумиться над людьми, всю жизнь честно работающими на земле? Бадра, сын Бежана – мой отец. Я хочу знать, в чем он провинился перед законом, чтобы дело дошло до обыска в его доме?

– Ты, что вздумал меня учить, молокосос? – рассердился верзила. – Будь ты настоящим комсомольцем, то и сам заметил бы, как ядом брызжут кулаки вашего села, как они подмяли под себя все вокруг, пугают людей колхозом. Твои сверстники всячески помогают нам строить новую жизнь, а ты? – Он ткнул в мою сторону указательным пальцем и круто обернулся к тем, кто его сопровождал:

– Чего стоите? Приступайте к делу!

И он сам крупными шагами двинулся к дому на сваях, рядом с ним шли двое в штатском, наверное, из органов госбезопасности. Милиционеры разделились по два человека, и кто пошел в дом, кто в амацурту, кто к хозяйственным постройкам. Я последовал за капитаном и его спутниками и следом за ними вошел в зал.

Капитан и два его спутника стали прочесывать комнаты в доме, один из них даже поднялся на чердак – не знаю уж, что он там надеялся обнаружить. Капитан собственноручно обследовал содержимое маминого сундука, но, кажется, ничего утешительного для себя не нашел. Он пристально разглядывал фотографии на стенах. Затем капитан перешел к моему письменному столу, взял в руки кипу исписанных

листов, но вчитываться в них не стал, а так держал их на весу, точно прикидывая, на сколько они потянут.

– Похоже, ты из числа бесноватых! – определил капитан, поглядывая на меня, и швырнул назад на стол листы, точно обжегшись или опасаясь подхватить заразу. И тут на глаза ему попалась одиноко лежавшая на круглом столике книга. Это была непростая книга, а Евангелие, изданная в 1912 году на абхазском языке. Евангелие было подарено моей бабушке – ее живой я не застал – родным братом, священником. Святую книгу чтили в доме и всегда держали на видном месте. Когда священник Дырмит навещал сестру, он по вечерам, собрав семью в круг, читал главы из Евангелия. К сожалению, без него некому было в доме читать священную книгу по причине поголовной неграмотности, но благоговели перед ней. И потому, когда мы с сестрой пошли в школу и обучились грамоте, у нас не хватало духу взять ее в руки и прочитать, будто букварь. Это уже, учась в техникуме, я отважился взять Евангелие в руки и попытаться постичь его содержание, но это оказалось для меня делом нелегким.

Что касается капитана, то он небрежно поднял Евангелие и стал вертеть его в руках.

– Я прошу положить на место Святое Писание, это память о покойной бабушке, – сказал я.

– Поп, подаривший твоей бабушке эту книгу, давно бросил церковь, а вы всей семьей, вижу, – в сети опиума для народа! Будь ты настоящим комсомольцем давно бросил бы в огонь эту ложную писанину. Но ты ведь не настоящий, верно? – презрительно глянул на меня капитан и, не выпуская Евангелие из рук, прошел мимо меня. Он вышел на крыльцо и спустился во двор.

Сопровождавшие его лица уже дожидались начальника внизу и были они не без улова. Они из рук в руки передавали и внимательно рассматривали кремневое ружье моего покойного деда Бежана. Оно висело в амацурте на крючке. Как последний раз дед повесил его на крючок, так там и висело. Капитан зажал под мышкой Евангелие, и, освободив руки, вцепился в ружье.

Мой отец, метавшийся по двору, опираясь на палку с того момента, как начали обыск, теперь остановился напротив капитана.

– Откуда у тебя оружие? Разве мы сто раз не объявляли, что все, у кого есть оружие, пусть и ветхое, как это, сами добровольно должны сдать его властям?!

– Вы только посмотрите, с какими чудесами мы сегодня сталкиваемся! – он обернулся к своим спутникам! – Вот это – святая книга! – он помахал над головой Евангелием. – А это, сами видите, ружье! «Не убий» – гласит святая книга. Ружье для того и сделано, чтобы убивать. Их нельзя примирить. Но гордец Бадра думает иначе! Одной рукой с ружьем несет смерть, другой крестит лоб!

– Евангелие – дар уважаемого нашего родича. Мы дорожим им как собственной честью и, слыханное ли дело, отбирать его у нас?! – вскипел отец. – Кремневое ружье – память о моем отце. Сами видите, курка у него нет и спусковой крючок сломан, так что стрелять из него нельзя.

– Память об отце или деде – неважно. Важно, что перед нами огнестрельное оружие, которое можно повернуть против кого хочешь. В доме хранилось оружие, так и запишем в протоколе. Ружье забираем как вещественное доказательство.

– Я не отдам отцовское ружье в какие попало руки! – вскричал отец и двинулся на капитана, голос его дрожал, глаза горели гневом. Меж ними бросилось трое милиционеров.

– Это тебе не крест на могиле, а огнестрельное ружье! – раздался за спинами милиционеров насмешливый голос капитана. – В протоколе отдельно укажем, что хозяин оказал сопротивление во время изъятия оружия!

Один из милиционеров записывал за ним его слова – очевидно, протокол уже составлялся. Мы с матерью в ужасе переглянулись. Отец не отступит, а мы не сумеем совладать с семью вооруженными людьми. Они свяжут его руки за спиной и уведут прочь. Даже до суда, где его, наверняка, будут обвинять во всех грехах, вплоть до вооруженного сопротивления, отец умрет от тоски и обиды. «Надо что-то делать, решиться на что-то! – думал я лихорадочно. – Лучше дать себя убить, чем смотреть на творящееся безобразие».

XIV

И в этот черный час, Господь послал нам спасение в лице моего дяди Танаса. Он некоторое время пребывал в Сухуме на каких-то краткосрочных курсах и вдруг появился у наших ворот. Мама со всех ног бросилась навстречу брату, обняла его, поцеловала, а меня дядя похлопал по плечу и сказал: «Как ты возмужал, Лаган!» Потом его взгляд переместился на группу людей, толпившихся на нашем дворе.

Он удивленно глянул на них и, молча двинулся к стражам порядка и как только подошел сразу же увидел и Евангелие, и ружье в руках капитана.

– У нас не гости, у нас – обыск! – прежде, чем кто-то успел открыть рот, заговорила моя мать, обращаясь к брату. – И Святая книга, и ружье больно им приглянулись, собираются позаимствовать у нас.

– То есть как? – опешил Танас.

– Товарищ председатель сельсовета, мы проводим обыск в домах по личному приказу Сарапиона Пахуаловича. В основном ищем оружие. Здесь же мы находимся по просьбе председателя колхоза Руши. – Капитан явно утратил свой наступательный дух.

– Из-за этой ржавой палки вы хотите возложить вину на Бадру? – удивился Танас. – А что касается Евангелия, так святая книга, дар родича, и как улика много вам не даст! – он резким жестом протянул руку к капитану и тот без сопротивления отдал ему и ружье, и книгу.

– Отнеси, Лаган, на прежнее место! – Танас мне передал изъятое и добавил, обращаясь к милиционерам: – Завтра утром жду вас в сельсовете, там и поговорим, а здесь вам делать больше нечего!

Он обнял за плечи моего отца и вывел из толпы.

Больше не было сказано ничего. Семеро мужчин молча покинули наш двор. Мои родители вместе с Танасом – он шел посередине – направились к амацурте, о чем-то тихо переговариваясь.

А я застыл посреди двора, прижимая к себе дедовское кремневое ружье и Евангелие. Потрясение не покидало меня. Оказывается в нашем доме всего две великие ценности: ружье, из которого учил меня стрелять дед Бежан, и при взгляде на которое, казалось, что его владелец все еще здесь с нами, незримо оберегая нас своей мудростью от злых внешних сил, и Евангелие – навечно связанное с памятью о бабушке, с ее всепрощением и неиссякаемой добротой.

Перед угрозой утраты семейных реликвий я вдруг осознал, как они мне дороги, и что я совершенно не представляю отчий дом без них. У меня руки задрожали. Мне показалось, что и ружье, и книга стали так весомы, что понадобится титаническое усилие для удержания их в руках.

Я вздохнул и пошел в дом, чтобы разложить наше достояние по своим местам.

* * *

Я уже рассказывал, как Руша, еще будучи секретарем комсомольской ячейки, учил уму-разуму сказителя Чины сына Чичина. Разговоры о том собрании долго будоражили село.

– Почтение к старости, уважение друг к другу – все это соблюдалось веками, теперь, выходит, и через это можно преступить? – сокрушались одни.

– Не должен был Руша так грубо поучать ровесника своего деда! – поддерживали их и другие. – Не по совести он обошелся со стариком, не по совести!

– Кто же остановит молодых, коли их понесло, как взбешенных коней?

– Лучшее в народе втаптывая в грязь, что сохранит от нас новая поросль?

А я же на следующий день после того злополучного собрания решил отыскать сказителя, посидеть с ним вдвоем, послушать его неповторимую игру на ачамгуре, подтянуть вторым голосом, когда он запоет знакомую песню. Я надеялся, что он меня не оттолкнет и обиду на молодежь на меня не распространит. Я помнил его добрый и полный боли взгляд, когда я помог ему, подержав стремя, сесть в седло. И ни слова упрека в мой адрес... Но я сам себя упрекал из-за того, что не сумел должным образом защитить старика, не сумел и ему выразить, как его почитаю, как восхищают меня его сказания.

Я не нашел его ни на следующий день, ни через день. Человек, без которого не обходилось ни одно торжество, ни один сход, главный запевала на свадьбах, человек с волшебными пальцами, извлекавшими из ачамгура берущие за душу звуки, острослов и жизнелюб в одночасье исчез из нашего села. Надо сказать, сразу его не хватились. У него не было своего дома здесь, своей родни. Сегодня ночевал у одного человека, завтра у другого и куда он теперь направил шаги своего усталого коня, трудно было определить. Люди, жившие высоко в горах, считали, что сказитель задержался в долине. А те, кто ждал его на побережье, думали, что он – в горах, но вот-вот вернется и вновь раздадутся звуки его волшебного ачамгура, и песни Чины сына Чичина усладят слух.

Но бежали дни друг за другом, от сказителя не было ни слуху, ни духу. Люди забеспокоились, стали расспрашивать друг друга, куда же он подевался? О Чины сыне Чичине хотели знать все – и искренне по-

читавшие его, и те, кто свысока к нему относились, и те, кому не хватало шуток-прибауток старика, и те, кто заслушивались его песнями.

– Куда же он подевался? – гадали они. – Сгинул среди белого дня без следа, куда же мы смотрели?

Озабоченные судьбой сказителя люди направили гонцов и в горы, и на побережье, но никто не отыскал следов старика. Решили даже, что он мог сорваться вместе с конем в пропасть. Помню, как целой толпой мы пришли к краю пропасти и молодых ребят спускали на веревках вниз, но как тщательно они ни смотрели, Чины сына Чичина обнаружить не удалось. Этот удивительный человек как сквозь землю провалился.

* * *

Чины сын Чичин вернулся сам. Об этом я узнал из письма сестры Мачич. К тому времени у нас уже начались занятия в техникуме, и я месяца два как не был дома. Я и без того соскучился по родным, а содержание письма и вовсе погнало меня в дорогу. Вскоре я был дома. В обычное время я на подходах к отчему двору обходил любимые места – не мог наглядеться на памятный рассеченный камень, на те уголки, где ребенком играл, пуская по ручью кораблики или строя водяные мельницы, а где-то в другом месте сооружал из кукурузных кочерыжек дворцы. Но на этот раз я заторопился в дом и, усевшись, между матерью и отцов внимал их горестному рассказу с волнением. Родители, как и я, принимали близко к сердцу все, что было связано с Чины сыном Чичином. Мама, не скрывая боле сказала, что на похороны Чины сына Чичина, как ни в чем не бывало, заявился Руша, подошел к гробу, будто оплакивая. И не нашлось ни одного человека, который сказал бы ему:

– Тебе не место здесь, ты ускорил гибель старика, покинь тризну, не гневи Бога.

– Беда, что кровной родни у Чичина здесь не было, а другие не отважились выгнать вон бессовестного человека. Стыдно признаться, но люди, к которым Руша на похоронах подходил, лебезили перед ним, – тихо добавил отец. – Крепко парень взнуздал наше село.

Чины сына Чичина нашли на пустыре. Там когда-то стоял дом его родителей, но давно рухнул, и следов от него не осталось, а неподалеку находилось захоронение отца и матери сказителя. Должно быть, Чичин оставался в полном сознании и управлял до последнего конем,

иначе тот мог и завезти его в иное место. Старик нашел в себе силы спешиться и даже накинуть уздечку на сук старой ольхи на пустыре. Затем Чичин уселся у подножья дерева и прислонился спиной к стволу. Наверное, случилось это далеко за полночь, а то кто-нибудь из селян, наверняка, заметил бы старика, проходя мимо. Одет Чичин был чисто, из-под черной черкески выглядывал белоснежный архалук, на голове – папаха, перепоясан он был серебряным наборным поясом, доставшимся от предков, на котором висел старинный кинжал в серебряных с чеканкой ножнах. Руки Чины сына Чичина сложил на груди. И вот таким нарядным и спокойным, точно позируя фотографу, он ушел в мир иной. Только плетка, вывалившаяся из его ослабшей руки, лежала поодаль.

Конь почуял наступление смерти хозяина. Он мог бы легко сорваться с привязи и умчаться прочь. Но верховая лошадь, многие годы слушавшая рук сказителя, переносившая с ним невзгоды, случавшиеся на дальних дорогах, оказалась более верной, чем многие люди. Недаром говорят, что в жилах коня течет благородная кровь. Он стал копытом землю рыть и громко ржать. На утро один из селян, живших неподалеку, пришел на пустырь, привлеченный ржаньем коня, и заметил издалека старика, сидевшего под деревом, сложив на груди руки.

– Заспался, Чичин? Не слышишь, что конь с ума сходит? – окликнул сосед, подходя ближе, и встретил остекленевший взгляд сказителя.

Сосед выскочил из-под дерева и закричал, что есть мочи:

– Человек умер! На помощь! Человек умер!

На его голос сбежались живущие окрест люди, а вскоре все село знало, что Чины сын Чичин вернулся. Навсегда.

У него в живых не оставалось родни, некому было его проводить в последний путь. Делом чести села стало достойно похоронить сказителя. Как водится, старейшины сели в круг и принялись обсуждать, как организовать похороны.

Первым с места поднялся наш сосед Саид и сказал так:

– Лично для меня большая потеря смерть Чины сына Чичина, сердце радовалось, слушая его. Ни одному человеку он не сделал зла, а то, как он поднимал наш дух и услаждал слух, мы будем помнить до самой смерти. Он заслужил достойные проводы, так, как если бы оставил после себя большое сильное потомство. Я готов внести покойного в собственный дом и оплакать на собственном дворе!

– Спасибо, Саид, ты говоришь, как истинный сосед и добрый человек, но я полагаю, будет справедливее, если мы оплачем именно здесь

Чины сына Чичина, – заговорил другой старейшина, Алхас. – Судьбой не суждено было разрастись здесь роду Чичина, но на этом месте он когда-то сделал первые шаги, здесь жили его родители, здесь они похоронены. Когда суровая вечность задышала ему в затылок, он именно сюда направил шаг своего коня. Он пожелал закрыть навеки глаза в том месте, где впервые их открыл. И не напрасно там возле надгробий отца и матери вбит колышек. Здесь Чичин определил место своего вечного упокоения. Чего бы нам ни стоило, я полагаю, именно здесь мы и должны попрощаться с Чины сыном Чичином. Сегодня понедельник, предадим его земле в четверг.

Все согласились с Алхасом. И тут же молодые люди стали ставить на пустыре шатры и навес соорудили над гробом сказителя, опасаясь, что долгие солнечные дни могут смениться дождливыми, тем более осень стояла на дворе. Поставили и укрытие для плакальщиков. Женщины и мужчины распределили меж собой обязанности по организации похорон. В день похорон народу была тьма тьмущая и, хотя над Чины сыном Чичином не стенали ни родные дочери, ни сестры, ни племянницы, плакальщицы, стоя у изножья и изголовья покойного, в своих причитаниях рассказывали о его светлой душе и о его Божьем даре. А перед тем как поднять гроб и нести к вырытой могиле, доброволец Миха попросил слова и напомнил завет покойного, который он часто напевал под звуки ачамгура:

Вас, кто помнит мои песни,
Кто слова их повторяет,
Я прошу – как час настанет
В головах моей могилы
Положите камень черный.

Песня – птица в звездной выси,
Над землей она летает,
Но гнездится здесь, меж нами:
Прямо в сердце человечьем
Дом птенцов ее бессчетных.

В день недобрый я родился,
Одряхлел скакун мой верный.

Утром юношей беспечным
Дом родной покинул, ныне ж
Возвращаюсь древним старцем.

Тихой жизни не видать мне,
Неустанно я скитаюсь,
И тому, кто в гости кличет
Радость привожу с собою,
За постой плачу весельем.

Охранять обоз поставлен
Тот герой, что войску равен,
Трус в обозе укрывался,
А при власти оказался,
И командует: «К оружью!»...

– Я обращаюсь к вам, люди, да взять мне на себя ваши горести, выполним завет сказителя.

Тут же позвали кузнеца Заму сына Бачира, именно он в нашем селе делает надгробья, и сказали:

– Тебя и Чины сына Чичина связывали теплые уважительные отношения, что скажешь о завете сказителя?

– Уважаемые, он и сам не раз говорил о том со мной. Завет покойного – святое дело, я уже уговорился с тремя друзьями, и мы поставим Чичину памятник – лучший из того, что в наших силах сделать.

Небо затянули свинцовые тучи, день шел на убыль, но мне нестерпимо захотелось именно сейчас побывать на могиле Чины сына Чичина, которого мне не удалось проводить в последний путь. Мать принялась меня отговаривать:

– Кто же на закате дня идет на кладбище?! Дождись завтрашнего утра и сходишь!

Но я не послушался. Настоящую цену человеку мы узнаем после его ухода – горестно размышлял я по дороге, – златоуст, музыкант, сказитель – сколько в нем было достоинств! Но в селе – ведь были грамотные люди – никто не догадался записывать за Чичином его песни, поговорки, притчи, сохранить для потомков. Какое богатство утеряно безвозвратно с его смертью. Правда, еще есть люди, которые знают на

память многое из того, что было услышано от сказителя. Но век человека короток, а память еще короче. Одно, другое поколение и наследие Чины сына Чичина растворится в прошлом.

Мне никто не советовал записывать образцы народного творчества, я сам пришел к этому и никогда не оставлю это занятие. Но многое ли под силу одному человеку?

Мудреца Мамсыра уже несколько лет, как нет на свете, теперь и Чины сына Чичина не стало. Неужели на них прервется тысячелетняя история сказителей и дивных исполнителей на апхярце и ачамгуре? Ведь так забыты и заброшены веками услаждавшие слух наших предков аюмаа и ахымаа[12]!

Судьба не слишком баловала Чины сына Чичина, как сам он говорил, в недобрый день родился. Ни семьи, ни детей, ни родни он не оставил после себя. Сказитель был один-одинешенек. Но с другой стороны, размышлял я по дороге, Чичин был свободен, как птица под облаками, и песня его, точно несомая быстрым ветром, достигала тех домов, где хотели ее услышать. Чины сын Чичин приносил в каждый дом радость, надежду, украшал красотой своего голоса и острым словом любое застолье, утешал печали людские своей игрой на ачамгуре, своими песнями. Он знал, в каком доме какую песню спеть, какую музыку сыграть. Ведь он не был простым гостем, а они – случайными людьми в его жизни, нет. Он своими песнями и музыкой откликался на самые потаеные желания их сердец. Не удивительно, что ему радовались в каждом доме. Я часто слышал от Чины сына Чичина: «Соловей поет не по нашему хотению, а по своему желанию».

И он, как соловей, пел не по заказу, а по движению своего сердца. А сердце у него было великое, и каждому он оставил его частичку.

Наконец я добрался до одинокой ольхи, под которой нашли Чины сына Чичина. Старое дерево с изломанными сучьями и с наполовину опавшей листвой, казалось, скорбит обо всех ушедших, когда-то сиживавших под ее сенью. Студеный осенний ветер нещадно трепал его, и сорванные листья относил, не давая им приземлиться, куда-то в сторону. Я направился к месту захоронения Чины сына Чичина. Ветер, опередивший меня, зашвырнул горсть листьев на черное надгробье в изголовье могилы. Желтизна прилипших к памятнику листьев будто бы тщилась расцветить черный камень.

[12] **Ахымаа** – старинный струнный щипковый абхазский инструмент.

Но ни ветру, ни листьям не было совладать со скорбью, воплотившейся в черном массивном камне. В верхней части памятника был высечен, причем, на удивление искусно, ачамгур – так и хотелось протянуть к нему руку и извлечь из его струн те берущие за душу звуки, которые удавалось извлечь сказителю. Под ачамгуром было высечено крупными буквами: «Чины сын Чичин». Под именем в скобках цифры «1860–1936». А еще ниже – слова ушедшего сказителя: «Песня – птица в звездной выси!»

Сумерки сгущались, заморосил нудный осенний дождь, а ветер все трепал ветви одинокой ольхи и мне казалось, что дерево стонет от боли. Я все стоял над могилой сказителя и дождь, как холодные слезы, стекал по моим щекам, не принося облегчения. Наконец я заставил себя сойти с места и направился к дороге, что пролегала неподалеку, и в это время из сумерек выступили два всадника, и я остановился. Поравнявшись с могилой, путники придержали коней и сняли папахи. «Да будет земля тебе пухом!» – проговорили они одновременно. Постояв еще немного, они двинулись в путь. Один из всадников громко произнес:

В день недобрый я родился,
Одряхлел скакун мой верный.
Утром юношей беспечным
Дом родной покинул, ныне ж
Возвращаюсь древним старцем».

Другой всадник на вороной лошади подхватил:
«Тихой жизни не видать мне,
Неустанно я скитаюсь.
И тому, кто в гости кличет,
Радость привожу с собою,
За постой плачу весельем.

Я запрокинул голову к небу, тучи немного рассеялись, и в просвете я углядел взмах крыльев каких-то крупных птиц, которые тут же слились с сумерками. Как птицы в поднебесье, которые то доступны взгляду, то исчезают из виду, но никогда не покидают неба, так песни светлой памяти Чины сына Чичина летят из уст в уста, подумалось мне, и это немного утешило меня.

XIX

Мамин брат Алма рано ушел из жизни, оставив кучу детей мал-мала меньше. Лишь один из сыновей – старшенький – мог помогать матери по хозяйству и уже ходил за плугом в поле. Моя мать по мере возможности заботилась о вдове и сиротках-племянниках. Отец во всем ее поддерживал. Родители делали все, чтобы вдова и ее дети не знали больших лишений.

В тот день мой отец вместе с племянником допоздна мотыжил кукурузу на поле вдовы и домой возвращался усталый уже к вечеру. Неся на плече мотыгу, отец поднялся по косогору и оказался на дороге, что шла по хребту. И тут он увидел, что некий путник снизу поднимается вверх, и удивленно к нему пригляделся: человек шел как-то странно, покачивался из стороны в сторону, потом останавливался, опершись на посох. И снова рывком делал несколько шагов вперед, и его опять начинало заносить из стороны в сторону.

«Неужто, кто-то так сильно перебрал? – подумал мой отец. – А вдруг заболел человек и нуждается в помощи?»

Отец остановился на обочине, снял с плеча мотыгу и, опираясь на нее, дожидался пешехода. Тот такими же странными рывками, медленно, но все-таки приближался. Через некоторое время изумленный отец узнал в нем Джомлата и радостно кинулся ему навстречу:

– Джомлат, это ты? Да будет на твоей стороне удача всех твоих врагов!

– Думаю, они оставили себе и мою удачу, и мою жизнь! – хрипло ответил Джомлат. – Только тень моя покинула тюрьму.

Отец с болью и ужасом смотрел на донельзя исхудавшего друга, одетого в обноски, источавшие нестерпимо дурной запах. Потухший взгляд Джомлата не выражал ничего.

– Господи! Да что же они с тобой сделали! – ахнул отец.

– Вчера под вечер выпустили из тюрьмы. Я мог бы к родне в городе ткнуться, но не хотел их пугать своим видом, вот и двинулся пешком домой. – Ноги Джомлата, наверное, больше его не держали, и он где стоял – там и опустился наземь, перевел дух и продолжил едва слышно: – Ночью шел, днем прятался от людей. Еще на рассвете я был в местечке «Яблоневая куща». Там в лесу, у ручья я и провел весь день, лежал у воды и грыз яблоки-дички, а как солнце покатилось на закат, я вышел на дорогу. Теперь сумерки – мое время, как у летучей мыши.

– Крепись, Джомлат! Верно, попал ты в переплет, духом упал, ослаб. Но вспомни себя, прежнего, силу свою вспомни, поднимись, прошу тебя, до моего дома два шага, зайдем ко мне, перекусим, отдохнешь.

– Хоть мы с тобой и не кровная родня, Бадра, но я с братом Ситом всегда относился к тебе как к родному. Обходительность Чарымхан, хозяйки твоего дома, ее гостеприимство для меня дорогого стоят. Не по заслугам моим, а по вашей сердечной щедрости вы были так добры ко мне. Но я не пойду к тебе, Бадра. Передай сестре моей, пусть поминки по мне устроит, свечу зажжет.

– Не говори подобного, Джомлат, не поддавайся! – взмолился мой отец. – Беды твои теперь позади, ты – свободен, вернулся домой, прошу тебя, пойдем со мной.

– Долгий день я коротал сегодня в «Яблоневой куще» у ручья. Там я то ли вздремнул, то ли наяву привиделось... Говорят, нельзя пересказывать дневной сон, не к добру,.. но мне бояться уже поздно... Прости, Бадра, что я сижу, а ты, стоя меня слушаешь, нет сил подняться на ноги, иссяк я... Сон же мой таков: иду я по широкому лугу, и вдруг гром среди ясного неба раздался, устрашающе грохнул в моих ушах. Я огляделся, и что же вижу? Луг, по которому я шел, треснул у моих ног. Пока я, застыв, смотрел на трещину, она стала расширяться и так быстро, что в мановение ока я оказался на краю огромного провала. Вижу: на той стороне теснятся мои сыновья, тянутся ко мне. Но пропасть так разверзлась, не перескочишь! Сыновья машут руками, кричат мне что-то. Хотя стоят они напротив меня, я ни слова не могу разобрать, как ни тщусь. И тут меж нами упал густой туман. Я уже не только не слышал, но и не видел своих сыновей. Я закричал, что есть силы и очнулся... оказалось, что я уже не у ручья лежу, стою под яблоней дикой.

– Вскочил, наверное, спросонья... – успокаивающе сказал мой отец. – Не всякий сон вещий... не думай о нем.

Но Джомлат, похоже, его не слышал, толковал свое:

– Положим, ты вскарабкался на верхушку самого высокого дерева. А спуститься наземь – не получается. Ну и сколько ты на дереве просидишь, голодный, холодный? А если еще и какая-нибудь напасть вроде головокружения от высоты нападет на тебя? Не лучше ли ринуться вниз, чем ждать конца не верхотуре, а?

– Все дело в твоей усталости, Джомлат, еще раз прошу тебя, пойдем ко мне, что толку сидеть у дороги? – стал вновь упрашивать отец, а

сам подумал: «Неужто он помешался? Довели человека, не видать им радости!»

Джомлат с усилием, помогая себе посохом, поднялся на ноги.

– Земля раскаленная, подошвы жжет! – пожаловался он. – Глядишь, и вовсе загорится под ногами. Земля нас кормит, и в землю мы уходим. Но кто-то стал меж нами. От гнева она и раскалилась, ох, раскалилась! Надо идти, иначе до волдырей стопы прожжет. – Он заковылял по дороге, бормоча: – Карцер – это нестрашно, это можно вынести, куда хуже, когда, связав тебя, как пса, бьют ногами по голове, спине, месят тебя сапогами... Одно воспоминание о том может сердце разорвать.

– Погоди, Джомлат, я пройдусь с тобой, вдвоем в дороге веселее! – окликнул его отец и догнал друга.

– Это ты, Бадра? Разве мы с тобой не попрощались? Нет, нет, нам не по дороге. Я иду не домой. Там, у реки, меня два всадника дожидаются. Один на белом коне, помнишь, и у меня когда-то был такой скакун? Другой – на вороном.

«Лучшего ратника из рати увели,
Худшим воинство увенчали,
Челядь в бой повела», – не то стонал, не то пел Джомлат, бредя по дороге.

Отец вернулся домой поздним вечером, мрак стоял на дворе, и лицо отца тоже было мрачнее тучи. Он усадил нас вокруг себя в амацурте и рассказал о своей встрече с Джомлатом.

– Я едва его узнал, мне кажется – он тронулся умом! – с горечью заключил свой рассказ отец.

Он спешно переоделся и, хотя целый день трудился, не покладая рук, так и не поев толком, двинулся к двери, сказав, что зайдет к Михе, расскажет о возвращении Джомлата, вдвоем они пораскинут мозгами и возможно придумают, как помочь страдальцу.

А наутро отец вместе с соседями отправился в дом к Джомлату, чтобы поздравить его с возвращением и выразить свою поддержку. Но Джомлата они не застали. От встревоженных невесток недавнего арестанта они узнали следующее – несмотря на то, что силы свекра были на исходе, он не ложился в ту ночь, невесткам же велел изготовить еды впрок в дорогу. На рассвете Джомлат и старший его брат Сит оседлали

лошадей, навьючили их переметными сумами с едой и выехали со двора. Они держали путь в горы.

XX

То был субботний день, потому я и оказался дома у родителей. В тот день поминали светлой памяти Джомлата. Его родня созвала самых близких дому людей, в число которых вошли и мы.

Пока варился белый агнец, принесенный в жертву памяти Джомлата, пока накрывались столы, старики, окружив слепого Сита, сидели в неверной тени наполовину засохшего айвового дерева. Они чутко внимали горестному рассказу Сита.

– Свидетели страшного события лишь безмолвные горы да я. Но когда-нибудь всю правду узнают в округе, не может быть иначе. Горы подадут хоть какой-нибудь знак, чтобы истина не миновала людей. Я же до последнего часа, пока не понесут меня к разверстой могиле, буду рассказывать о том, что сталось с Джомлатом в горах, о том, как его отвратили от жизни, о теле его, нам недоступном, как камушек, брошенном в морские глубины...

Сит говорил, а я, почтительно стоявший за спинами стариков, тихо вынул из кармана свой блокнот и карандаш и принялся записывать.

Слепой старик, сидевший на низкой скамье и время от времени со стоном поднимавший руки к небесам, а потом складывавший их на груди, пытаясь унять дрожь в них, его глухой голос, в котором звучало столько боли, навсегда отпечатались у меня в мозгу.

– О, брат мой, младшенький, Джомлат, надежда моя, это ты должен был по справедливости оплакать меня, старшего, проводить в последний путь, справить поминки. Но ты уклонился от долга своего, брат мой, решил меня опередить. Дорогие мои соседи, родня моя, все вы, которые будут стоять и у моего гроба в последний час! И вы лишь урывками знаете о том, что случилось в тот роковой день. Сегодня я, пока память не изменила мне, пока не пресеклось мое дыхание, хочу вам поведать обо всем, что произошло.

Не забывайте: у истины – всегда широко открытые глаза! Можно занавесить ее черным покрывалом, но рано или поздно покрывало истлеет, а истина, как и глядела ясно, так и будет глядеть. Вопрос лишь в том, кто доживет до того часа, когда вновь все смогут ее узреть.

В тот вечер мы уже отужинали, когда неожиданно в дверях появился горемычный Джомлат. Он изменился до неузнаваемости, едва держался на ногах, одет был в лохмотья, через которые просвечивало тело. Он как вошел в дом, так и остался стоять у двери. Невестки бросились к нему – обнять. Но он их остановил, не подпустил к себе.

– Повесьте котел с водой над очагом, мне нужно немедля помыться. И достаньте сменную одежду, а затем займитесь едой на дорогу, – велел он. – На рассвете мы с братом едем в горные пастбища к моим сыновьям. – Затем он обернулся ко мне и добавил: – Брат мой старший, Сит, не стал бы я обременять тебя просьбами, но самому не справиться. Позаботься о верховых лошадях, чтобы они на рассвете были готовы. И сам собирайся. Мне надо туда, в горы, здесь, в низине, я задыхаюсь. Кто знает, вдруг чистый горный воздух поможет мне раздышаться!

Невестки мгновенно приготовили ужин, но брат не согласился сесть за стол, пока не помылся в коморке. Все вещи, что были на нем, он бросил в очаг и сжег. Было видно, как он изголодался, но съел лишь немного мамалыги и кислого молока.

Он попросил, чтобы ему постелили в амацурте, у очага. И как только он донес голову до подушки, тотчас впал в забытье.

На рассвете, мы приторочили еду к оседланным коням и собрались в дорогу.

– Господи, благослови наш путь! – проговорил я и тут же был сбит с толку неожиданным громким смехом Джомлата и словами: «Нет никакого Бога! Зря на него не надейся!»

Мой брат вдел ногу в стремя и сел в седло. Я не решился спросить, что слова его значат. С ранней юности более богобоязненного человека, чем мой брат, трудно было сыскать в округе, и в какую же бездну его заставили заглянуть, чтобы он богохульствовал? Свет в моих глазах почти померк, но не в сердце моем! Я понимал, как плох мой брат, хоть и не мог вглядеться в его лицо.

Джомлат торопился, его конь все время опережал моего. Я знал, он хотел выехать из села до наступления утра, хотел избежать встречи с кем-нибудь из односельчан. С тех пор, как его ни за что ни про что бросили в тюрьму, никого к нему не допускали. Я не ведал, что ему пришлось пережить, что его сейчас гонит в горы, но он молчал, и я не решился на расспросы.

Так верхом мы добрались до плата горы Панаю. Там Джомлат придержал коня и спешился, видать решил коням дать передышку, да и

нам тоже. Я следом за ним спешился и уселся на выступающий корень бука в сторонке. Джомлат устроился поодаль под другим буком. Он снял башлык, подложил под голову, оперся спиной о ствол дерева и тотчас уснул. Я как сквозь мглу остатками зрения различал его изможденное лицо и исхудалое тело. Вы сами знаете, каким он крепышом был, сколько троп горных мог пройти за сутки. Он никогда не жаловался на здоровье. Мы рано потеряли родителей, Джомлат вырос на моих руках, выносливость и трудолюбие всегда отличали его. Мой брат любил работу, а работа любила его.

– Не бейте меня, я вам не пес! Застрелите, не пожалейте пули! – вдруг закричал Джомлат.

– Проснись, брат, сон дурной тебя мучит! – окликнул я и, протянув руку, погладил по плечу.

Но он сбросил мою руку и невидяще посмотрел на меня.

– Это ты, Сит? – неуверенно проговорил он спустя время. – Где же мы?

Он тяжело поднялся на ноги и сделал несколько неуверенных шагов.

– Самое ужасное – когда уже не различаешь, где сон, где явь, – пробормотал Джомлат упавшим голосом.

– Не перекусить ли нам брат, здесь неподалеку и ключ бьет! – предложил я в надежде его отвлечь, и указал рукой в ту сторону, где журчал родник.

Мой брат пошел к роднику. Некоторое время стоял, наклонившись, будто вслушиваясь, как в речь, в журчание родника, будто ждал какого-то ответа от бегущей воды, потом он присел и обеими пригоршнями стал омывать лицо, покряхтывая то ли из-за ледяной воды, то ли еще почему.

Освежившись, он вернулся ко мне, утирая капли воды с лица.

– Ты воспитал меня, брат мой, и дольше я не могу длить молчание. Под страшной ношей я иду и она, должно быть, раздавит меня, но прежде я скажу тебе обо всем, что лежит на сердце. Оно кровоточит, мой брат, кровоточит.

– Мужайся, Джомлат, люди по десять лет томятся в неволе, а ты вон уже на свободе – не падай духом! – попытался я ободрить его, но, похоже, он меня не слышал. Верхушки буков чуть-чуть шевелил ветер, и кроме шелеста листьев некоторое время не было ничего слышно. Потом Джомлат вновь заговорил:

– Знаю, Сит, что мои слова заденут твое сердце, но молчанием от беды не загородишься. Я должен всю нашу отару, до последнего хромоногого барашка или козленка сдать государству, будто я кому-то задолжал. Весь мой труд, труд моих сыновей, твой труд, все нажитое - все уйдет.

– Не может быть такого, Джомлат. И на собрании говорили, что все, что у тебя есть, заработано твоим трудом, твоей семьей. Все это знают. По отношению к тебе творится беззаконие. Надо тебе ехать в Сухум. Добраться до главного нашего абхаза Лакоба. Он тоже из крестьян, он знает цену крестьянскому труду. Поговоришь с ним, и он в обиду тебя никому не даст.

Но советов моих Джомлат не слышал, он как бы сам с собой говорил.

– Но и того им мало. Сначала лишат всей скотины, затем загонят в колхоз. Нам оставят лишь дом и полдесятины земли, на которой он стоит. Наши виноградники, сады, поля и мельница на речке – ты ее поставил собственными руками! – все уйдет в общий котел. И превратимся мы в голодранцев, уравняемся с дармоедом Халти, с человеком, который в собственном доме ни разу досыта не наедался.

– Кто смеет среди белого дня раздеть нас донага? – вспылил я. – Разве люди не видят, что это разбой?! Неужто на разбойников управы не найдется?

– Управа не на них, на нас найдется! – отозвался на это Джомлат, спотыкающимся шагом меряя передо мной землю. – Любое сопротивление и весь – наш род, от мала до велика, сошлют в Сибирь. Ты меня слышишь, Сит, в Сибирь сошлют! Как конокрадов каких-то! Они дали мне десять дней! С таким условием выпустили из тюрьмы. Или я добровольно отказываюсь от всего нажитого, превращаюсь в голь перекатную, или прямой путь в Сибирь – иного выхода нет.

– Вместо того чтобы правды в Сухуме у властей искать, для чего ты меня сюда, старика, притащил?

– Мне нужен совет. Я обращаюсь к себе, и к этим вечным горам с жемчужными пиками, к заснеженным ущельям и к горным потокам. Мой вопрос и вон к тому орлу, что бороздит небо, и к тому дереву неживому. Как дальше жить? Я не знаю, какой ответ я услышу. Может, они брезгуют мной, может, они скажут – пойди прочь, сломленный человек!

Рыдание вырвалось из его груди.

– Послушай меня, брат, уважь мои седины. Если сейчас мы двинемся в путь и тронемся к западу, то дорога по увалу Панаю приведет нас к Багаде. Оставим за спиной мост через Кудры и проедем по косогору Куаначхыра и прибудем в Цабал. Оттуда до Сухума добраться нам будет нетрудно. А там пойдем к тем, кто правит нашей Абхазией, не чужие они, выслушают, разберутся. Какой-то скрытый враг, но живущий рядом, решил извести наш род... Вспомни, и у великих Нартов самого великого из них – Сасрыкуа – погубили не чужие, а свои... В Сухуме разберутся и снимут с тебя надуманную вину.

– Ты, как полагается настоящему мужчине, человек с большим терпением. Сит, потому дай мне все начистоту выложить. Ты видишь, сколь терпеливы горы? Думаешь, у них нет обид? Есть, но они стойко сносят их! Не надейся на правительство Абхазии. Оно само – в большой опасности. О том, я слышал от своих сокамерников – людей достойных. И сама земля наша в великой опасности. В России голод косит людей – вот, что вышло из их проклятых колхозов. Целые деревни опустели, люди вымирают, некому даже хоронить. Абхазское правительство держалось до последнего, дабы не допустить подобных ужасов. Но теперь обвиняют Нестора Лакоба, что он покровительствует кулакам, будто бы он сказал, мол, раскулачивание – удар по всему крестьянству. Лакоба сам из крестьян, возможно, он так и сказал, в надежде защитить правое дело, а, видишь, как оборачивается? Не ровен час, его обвинят, что он пособничает кулакам. Участь его будет решена тотчас, его участь и тех, кто его не предаст. Они не остановятся ни перед чем!

– Они – это кто, брат?

– Внешне они ничем не отличаются от обычного человека – две ноги, две руки, одна голова, но изнутри это – звери, беспощадные, без чести и совести. Прибирая власть к рукам они идут по трупам людей, не щадя ни близких, ни дальних. Кровавые хищники – вот кто они! И любые жертвы им нипочем. Они ненавидят род людской. Я это понял в тюрьме. Сутками держали меня в карцере в ледяной воде, пока я не переставал чувствовать свое тело, потом волокли, как куль, в камеру и бросали в углу. И тогда являлись мне в бреду прекрасные с взглядами голубиц девы бога охоты Ажвейпша. Они укутывали мои бесчувственные ноги в тонкую их руками сотканную шерстяную ткань, к рваным ранам на спине прикладывали листки подорожника. Девы вычесывали своими нежными пальцами кровавые колтуны из моих волос и дивными голосами напевали мне «Песнь ранения». А я не мог сам петь

«Песнь ранения» и даже поддержать эти божественные голоса. И это мучило меня, ох, как мучило, как и то, что я вроде дерева, вырванного с корнем ураганом, гнию перед прекрасными девами. Разве это дерево можно пересадить, разве корни его примутся? И еще – ужасные, бессмысленные вопросы. Следователь неустанно расстреливал ими меня: «Кто из правительства Абхазии завсегдатай в твоем доме?» «Кому из правительства ты в дар отвез добытую в горах серну?» «Кто из правительства внушал тебе, что кулаки основа крестьянства?» «Признайся, сколько колхозных сараев ты лично спалил!» «Сколько коммунистов ты зарезал тайно?»

Летели, летели в меня ядрами вопросы, мне нечего было сказать. И следователь – Господи, вместо сердца у него камень! – давал знак своим собакам. Они тащили меня в карцер, били ногами, кулаками, палками и оставляли в ледяной воде. Прости меня, добрый мой брат, но меня уже нет, повален буреломом.

Я попытался ободрить горемычного Джомлата и даже прикрикнул на него:

– С какой вестью мы направляемся к твоим сыновьям? С тем, что ты дерево без корней? Они привыкли рассчитывать на тебя как на скалу. Вознамерился эту надежду у них отнять?

Но зря я старался... Джомлат, подняв палец, к чему-то тревожно прислушивался.

– Никак собачий лай? Кто-то идет по нашему следу! Я не хочу никого видеть. Но мое желание ничего не значит, это-то они втемяшили в мою голову, вбили. Кажись, ты спрашивал, зачем мы отправились в горы? Чтобы раздышаться, Сит. В низине мне воздуха не хватает, оставим низину гадам да жабам, поднимемся к святым горным местам...

– Я стар разгадывать загадки, Джомлат, не испытывай меня, говори прям: что мы ищем здесь?

Я нашел в себе силы подняться на ноги. Ответа от брата своего я не дождался, он все ходил и ходил передо мной неверными шагами.

– Никак опять собака залаяла, ты слышал? Или только в моих ушах звучит собачий лай, не человеческие голоса, а только лай, лай...

– Джомлат! – окликнул я его громко и он, застигнутый моим голосом, точно громом, приостановил шаг напротив меня.

– Со мной покончено, брат! – сказал он. – Не обо мне речь. Мне жаль сыновей, ты наравне со мной заботился о них, и потому скажу тебе, что я вижу. Страшная судьба уготована им, Сит, ибо выпало им

жить в бесчестное жестокое время... Но мы припозднились, не станем перекусывать, пора в путь.

Он решительно подвел ко мне коня и помог сесть и сам кое-как взгромоздился на свою лошадь. И вновь мы поднимались косогорами на самые кручи, и ни разу брат мой не пожелал спешиться, будто жаждал сорваться в бездну. Меня же он просил на самых опасных участках идти пешком, ведя под уздцы коня. Я только диву давался. Джомлат вырос в горах и никогда не мерился силой с ними, а чтил их, зря не рисковал собой. Но в тот раз все было по-другому. Еще, если на нашем пути попадался горный поток, он непременно спешивался и жадно пил из него воду. Джомлат сходил с коня, приметив одиноко стоящее красивое дерево, обнимал его ствол, что-то бормоча. В пути только раз я настоял на том, чтобы устроить привал и поесть что-то из наших запасов еды. Но я видел, с каким трудом он проглотил несколько кусков. Мне страшно было думать о том, как встретят сыновья столь переменившегося отца и как отнесутся к вести, что надо лишиться всего своего добра. Сыновья не знали об аресте отца, они с ранней весны находились на горных пастбищах, и родня решила повременить с горьким известием, ведь ждали, что вот-вот освободят Джомлата, разберутся в его невиновности и освободят, что толку тревожить сыновей, помочь они ничем не могли.

Но племянники мои, Благодарение Господу, выросли в уважении к старшим, как и повелось у нас. И хотя их поразил вид отца, но расспросами донимать не стали, осторожно только спросили, не болел ли он?

– Малярия трепала десять дней кряду! – отговорился Джомлат.

Пастуший стан братьев находился немного в стороне от других станов.

Поскольку у них было большое стадо и только им принадлежавшее, они не хотели на выпасах мешать другим пастухам, присматривавшим за меньшими гуртами.

Когда мы прибыли в стан, мы на месте застали только среднего брата. Старший и младший ушли пасти скотину, но к вечеру все собрались, однако мой брат молчал. Так прошло трое суток. К исходу третьего дня Джомлат уселся в пастушьем шалаше у костра, разложенного младшим сыном, и заговорил. Но не голосом прежнего златоуста Джомлата, а надтреснутым, старческим голосом и каждое слово, казалось, застревает в его гортани. Начал он рассказ с того страшного общего собрания, где его распинали – ведь сыновья и о том не были

осведомлены – изложил день за днем все, что довелось пережить, и предстоит еще сделать.

Сыновья молча слушали его, только менялись в лице. Самый нетерпеливый из братьев – средний – не выдержав, то и дело вставал с места, выходил из шалаша, будто бы за хворостом к костру, но и он не прервал отца ни звуком.

Только на рассвете измученный Джомлат смолк. К этому времени козы и овцы мекали и блеяли в кошаре, соскучившись по воле, да лаяли, носясь вокруг шалаша, собаки.

Племянники приготовили, несмотря на рань, завтрак для меня и отца, взяли с собой еды на день и погнали на выпас стада, так ничего и не высказав по поводу услышанного от отца.

– Уважили тебя племянники, – сказал Джомлат после их ухода, – необдуманным словом ни тебя, ни меня не оскорбили. Хватило выдержки молча принять удар. Сегодня они обговорят услышанное, и к вечеру узнаем, к чему пришли.

Как значительно наследие наших предков – уважение детей к отцам, умение не терять лицо при самых страшных ударах, помнить о чести даже в самые бесчестные времена.

К вечеру братья пригнали скотину раньше времени, лица у них были просветленные.

– Прости, оставили тебя, дядя, одного на печального нашего отца, не развеяли тоску твою, – ласково обратились они ко мне.

Братья управились со скотиной, приготовили ужин и уже после ужина поднялся с места старший брат и заговорил негромко, спокойно:

– Обкорнав дерево, его не погубишь, по весне оно вновь выбросит побеги, лишь бы корень сохранить. Дурную славу, что мы отца принесли в жертву своим стадам, мы не допустим.

Средний брат, который, как и подобает, стоя слушал своего старшего брата, затеребил в руках конец ремня, но встревать в разговор себе не позволил.

– Не будем уподобляться тем, кто потерю коня легко перенесли, а заплакали, когда и камча пропала, – продолжал старший брат. – К чему богатство, если взамен родимой земли в Сибирь погонят? Вступить в тяжбу? Чтобы нас на смех подняли, глядите, сыновья Джомлата лишь хвосты скотине крутить умеют, по глупости решили пальцем крепость свалить? Мы видим – силы неравны...

Он замолчал и тогда заговорил средний брат:

– Не навсегда же наступили страшные времена, пусть наши стада пойдут на упокой душ тех, кто нынче правит... Будет час и народ увидит всю их мерзость и проклянет.

Младшему брату, который стоял у двери, тоже было, что сказать, хотя он, и считал, что неудобно занимать время старших своими рассуждениями, но не высказать, что его мучило, он не мог:

– Отец, ты вчера сказал, что мы стоим перед потоком, которого нам не под силу переплыть. Так ли это на самом деле? Молю тебя, если дело в том, что кому-то – отдельному человеку или роду – мы стали поперек горла, не скрывай от нас правды, не допускай, чтобы нам в спину смеялись, считали бы нас трусами, неспособными ни свое добро, ни честь защитить.

Наступила тревожная тишина, звенящая, как лук, натянутый на тетиву. Но Джомлат молчал, сидел, понурившись, и я медлил, не желая раньше него говорить. Брат сам обратился ко мне.

– И что ты ответишь своим воспитанникам, Сит?

Наши глаза встретились.

– Говорят, и ретивость скакуна определяет его порода, что уж говорить о людях... Дадраа, сыновья наши, ваши предки заботились пронести незапятнанно свою часть через любую жизненную страду. Спасибо, что и вы, в первую очередь, думаете о чести. Не думаю, что когда вы рядили-судили о том, как быть, решение далось легко, но вы выше благосостояния, кровью и потом вами заработанного, поставили другое – цены не имеющее – честь, верность заветам предков. Для любого крестьянина большой болью отзывается потеря даже одного-единственного бычка, а вы вынуждены расстаться с полутысячами голов коз да овец. И на этом наши жертвы не закончатся, отец вам все ясно сказал. Но и вы приняли свое решение. Теперь надлежит, как и подобает мужчинам, держаться сказанного.

И вновь наступила тишина, и переносить ее было нелегко.

– Господи, не оставляй нас! – Джомлат поднял руки и воззвал к небесам. – Тебе все ведомо и видишь, Господи, к творящемуся злу мы не причастны! Безвинно страдаем, Господи, и это тебе открыто! Люди, среди которых мы прожили жизнь, знают, что нет греха за нами. Они пытались за нас заступиться, да нелюди их не слышат. – Джомлат замолчал, по его щекам катились слезы, но, когда он вновь заговорил, голос прозвучал твердо: – Сыновья, послушайте меня, сегодня среда,

четверг мы оставим на сборы, а рано утром в пятницу вам надо погнать стадо в село... только, как говорится, даже хозяйка, собирая яйца в курятнике, оставляет одно для курицы, так и вы оставьте нам с братом до двадцати коз, попасем мы их здесь напоследок.

С этими словами Джомлат покинул шалаш и позже я нашел его на берегу горного потока, он как зачарованный смотрел на пенящийся бег воды.

В пятницу я проводил племянников с бесчисленным стадом до перевала, что именуется Дырявым камнем. Племянники выглядели подавлено, хотя и старались свое горе при себе держать и не утяжелять нам ношу бесплодными жалобами. Впереди стада шел старший, время от времени, окликая стадо криками «реет, реет», в середине стада находился средний, зорко следивший за тем, чтобы ни коза, ни овечка не выбежали из общего потока и, если такое случалось, его звонкий окрик «кец, кец!» – возвращал животину на место. А младший из братьев замыкал шествие, не допуская, чтобы стадо слишком растянулось. Но и без того трудно было бы, верно, и человеку с орлиным взором одновременно увидеть начало и конец потока живности, столь многочисленно было поголовье.

– Дадраа, дети мои, вы отправляетесь сегодня не по радостному пути, но пусть Господь не оставит вас! Мир лукав, не попадите в ловушки чужих насмешек, не дайте сбить себя с толку, от принятого решения не отступите. Скороспелых поступков чурайтесь. Наберитесь терпения, и Господь вас не забудет! – напутствовал я их.

Племянников со стадом уже и след простыл, а я не мог заставить себя сдвинуться с того места, откуда с ними попрощался. Рукой я нащупал за ремнем на спине ачарпын[13], достал, уселся возле камня, прислонился к нему спиной и, поднеся к губам ачарпын, заиграл «Песнь горя».

Сит вздохнул и не то простонал, не то пропел:

– О подвиге ли братьев поведать,
О себе ли, горемыке, рассказать...

Он осекся и те, кто его, затаив дыхание, слушали, дружно поднялись на ноги. Старик выглядел таким измученным, что казалось, он не найдет в себе силы, чтобы встать. Но он поднялся, чтобы отдать последний долг своему брату. К поминальному обеду все было готово.

[13] **Ачарпын** – вид абхазской свирели.

XXI

Август близился к концу, но солнце палило так, что живую ветвь могло обуглить. Правда, временами невесть откуда возникшие тучи заволакивали небо, однако не проливались дождем. В недвижном воздухе с трудом дышалось.

Отец вместе со своей бригадой, несмотря на зной, с утра до ночи мотыжил кукурузные поля и я, желая ему подсобить, вместе со всеми выходил на работу. Прополка кукурузы уже шла к концу, и мы надеялись за день-другой завершить ее, когда ошеломляющая весть настигла нас, мол, сыновья Джомлата гонят в село свои бесчисленные стада и вот-вот прибудут домой. Этот слух вызвал много толков.

– Да кто же в такой зной погонит стадо с гор? – удивлялись одни. – Разве скотина, выгулянная в горной прохладе, снесет такую жарынь?

– Вы о жаре, а кто подумает, как прокормить стадо в полтары тысячи голов, когда у нас еще поля под кукурузу заняты? Где же стадо выпасать? – говорили другие.

– В такое время никто по доброй воле не погонит скотину с пастбища, – сокрушались люди и вздыхали: – Похоже, беда выкашивает из наших рядов лучших!

– Я вам говорил, рыжий человек с дурным глазом ополчился на наше село, хорошего не ждите, – вступил во встревоженный разговор и мой отец.

Ближе к полудню сыновья Джомлата со своим стадом вошли в село, но не свернули к своему дому, а прямиком погнали животных к колхозному правлению. Стадо заполнило до краев наш проселок и потекло, далеко растянувшись по нему. Измученная скотина тяжело дышала, донимали бесчисленным роем носившиеся над козами и овцами мухи. Они облепляли со всех сторон животных. Ошалевшее от зноя стадо норовило свернуть в тень. Посреди движения образовывались заторы, козы сцеплялись рогами, блеяли овцы. Но впереди шедший пастух – это был старший сын Джомлата – его лицо скрывала широкополая войлочная шапка – не сбавлял шага, помогая себе идти крепким посохом. Рядом с ним бежал большой пятнистый пес, из тех, которые натасканы сторожить стадо. Посреди гурта управлялся средний сын. Немного охрипшим голосом он направлял коз, которые пытались выбежать на обочину. «Кец! Кец! Назад!» – прикрикивал он на них. Его поддерживали лаем собаки, бегущие вдоль дороги. За хвостом стада присматривал младший из братьев. Он и замыкал шествие, если не

считать старенького навьюченного осла, который, еле-еле передвигая ноги, плелся за пастухом.

Много людей наблюдало за ними. Я никогда не видел столь многочисленного гурта и зачарованно смотрел на живую лавину, спустившуюся с гор – бараны с витыми рогами, с тяжелыми курдюками, нагулявшие жирок овцы, крупные, сильные холощеные козлы, каждый весом чуть ли не с бычка, поток гладкошерстных упитанных коз...

– Какое богатство проходит перед нами, – сказал один из наблюдателей. – Дай бог здоровья тем, кто сумел его возрастить и дай им бог насладиться нажитым.

– Могилой может стать Джомлату и сыновьям это богатство, а не усладой! – заметил кто-то другой.

В правлении колхоза и в сельсовете уже знали о том, что стадо Джомлата приближается. Обширный двор, на котором стояло здание сельсовета, раньше не было огорожено, и здесь устраивали состязание на конях, игру в мяч. Лишь год назад двор по настоянию председателя сельсовета обнесли штакетником из каштанов. Перед зданием прохаживался Танас с озабоченным лицом, поглядывая на дорогу. Как только стадо приблизилось, он велел широко открыть ворота, и сыновья Джомлата с пригнанной скотиной вступили во двор. Живности было так много, что, несмотря на обширнейший двор, она его мигом заполнила. Кроткие овцы сразу залегли в тени, а козы, несмотря на утомительный переход, разбежались по всему двору, стали тереться о штакетник. Несмотря на все это, председатель Руша – он как раз под хлопки прихвостней – горячил коня в дальнем конце двора – притворялся, что ничего не замечает и не прекращал своих забав, ставя на дыбы вороного.

Старший из сыновей Джомлата с силой воткнул в землю посох, снял с головы войлочную шапку и поздоровался с успевшими набежать во двор односельчанами:

– Доброго вам дня! – сопровождавший его пес зарычал, но он его коротко успокоил: – Тише, Дамш!

К старшему подтянулись и два других брата.

На приветствие пришедших ответили вразнобой. Руша не мог дольше притворяться, что ничего не замечает и он, не спешиваясь, погнал через гурт коня поближе к сыновьям Джомлата.

– Уважаемые старшины нашего села, Танас, да взять мне на себя твою головную боль, дад, Руша, и все, кто оказался сейчас здесь, да

пожелает всем вам Господь добра! – заговорил старший из братьев и взялся рукой за вбитый в землю посох, будто ища в нем силы. – Мы выросли среди вас и ничего нового о себе не можем рассказать, сызмала мы пошли той дорогой, что нам указал отец. Работы мы не чурались, да видать, ее плодами нам не суждено насладиться. Не в том беда… А в том, что из-за скотины, которую мы выходили собственными заботами, отец наш стал мишенью для бесчестных нападок, будто нажитое нами и вовсе не нажито, а уворовано. Сегодня мы пригнали сюда все, что годами мы растили, и отдаем с легким сердцем в ваше распоряжение. Взамен просим только одного – оставьте отца нашего и наш род в покое... Нашим добром распоряжайтесь по своему усмотрению – хотите, сдайте как мясо государству, хотите в колхозную ферму загоните. Здесь – тысячи четыреста восемьдесят пять голов и с этого часа мы к ним не причастны ни с какой стороны.

Он замолчал. Средний брат – он был заикой и на многолюдных сборищах обычно отмалчивался, – но, видно, ярость, переполнявшая его, требовала выхода, и он все мял в руках войлочную шапку, то складывал ее, то расправлял и желваки ходили по его скулам.

– Уважаемый народ! – заговорил он с запинкой. – Все наше добро как в бездну ухнуло... это так... взамен мы вправе надеяться на покой для себя и своей семьи. Мы зла ни на кого не держим и нам незачем желать зла.

Младший – тонкий, как ореховый прут, белокожий, голубоглазый, – заговорив, покраснел от смущения.

– Мне негоже после старших братьев отвлекать на себя ваше внимание. Но я должен выполнить просьбу отца. Он, напутствуя нас, сказал: «С нелегким поручением отправляю вас, сыны мои! Речь не о стаде, вы легко справитесь с ним и благополучно доведете до места. Другое поручение, что я даю вам, вот оно – тяжкая ноша. Но вы должны ношу донести. Вы должны передать моим односельчанам, что я вверяю им свою незапятнанную честь. Сумеете, достойно это передать, я уверен, они смогут защитить мое честное имя». Простите, добрые, что занял ваше время, но я не мог не выполнить наказ отца.

С этими словами младший брат сделал шаг назад и оказался в тени старшего и среднего.

Танас в ответ собрался что-то сказать ему и полагалось и по возрасту и по должности – но не успел он рот открыть, как со спины вороного прозвучал резкий голос Руши.

– Виданное ли дело, в августе спустить скотину с гор и кинуть нам?! Но сыновья Джомлата, как и сам он, ни с кем не советуются, никого не слушаю! Ничего, нас врасплох не застанешь! Эй, Капач, эй, Сепо! – привстав на стременах, он замахал кому-то в толпе.

Тут же вперед выдвинулась унылая фигура главного агронома Капача, облаченная в белую рубашку, вправленную в серые брюки, на голове у него красовалась городская шляпа. За Капачем семенил толстый экономист колхоза Сепо – коротышка, со странной привычкой все время потирать руки, будто они мерзли.

Он был сторонний человек, и мало кто его знал здесь, было непонятно, где Руша откопал столь ценного специалиста.

– Я уже вам говорил, что вы должны делать. Пересчитайте поголовье скота, не пропустите ни одной даже хромоногой козы и зачислите в собственность колхоза. Стадо в двести голов отправьте завтра же на выпасы, пусть колхозные пастухи погонят их, а с остальными вы управитесь. Завтра из района приедут заготовщики мяса, вместе с ними и управитесь. Поняли задание?

– Да, Руша, поняли!

– Выполняйте! – Руша, наконец, счел нужным удостоить словом и сыновей Джомлата, но лучше бы он этого не делал. – Вы, последыши Джомлата, где ваши заявления с просьбой принять вас в колхоз? Или понадеялись прикрыться скотиной, да залечь в единоличном хозяйстве?

– Уважаемый Руша, достойны мы твоего уважения или нет, но три брата перед тобой стоим, каждому мы здесь известны, не собаки нас сюда пригнали, мог бы хотя бы себя уважить, и поговорить по-людски, сойдя с коня. Мы многолетний тяжкий свой труд не пожалели, чтобы оставаться среди своих односельчан, а ты даже не можешь спешиться, на худой конец, из уважения к власти, которую представляешь.

Густой голос старшего брата звучал ровно, хотя невозможно было не догадаться, как много он прилагает усилий, чтобы совладать со своим гневом.

– Некогда мне с кулацким отродьем в ступе воду толочь! Мы новый мир строим, не пятимся назад как раки! И как с кем разговаривать не вам, дикарям, меня учить!

– Уважительное слово до тебя не доходит, сам спешиться не можешь, так, давай, помогу – стащу, как куль! – с этими словами средний из братьев кинулся к всаднику.

Но младший и старший не дали ему схватить под уздцы коня председателя, оттащили в сторону.

– Дорогу! – гордо вскинул голову Руша, прикрикнул на коня: – Не подведи, Меткий! – и, пришпорив его, помчался к воротам с видом человека, уносящегося на состязаниях с призом в руке.

За Рушей последовал на сером в яблоках коне Мага. Присутствовавшие ошеломленно смотрели им вслед.

– Здесь у нас не осталось больше дел, пора домой! – сказал старший.

Братья плечом к плечу пошли к воротом, попутно свистнув своих сторожевых собак, обобществления которых никто еще не требовал.

Оставленное во дворе стадо забеспокоилось и потянулось за своими хозяевами, но братья за собой плотно прикрыли ворота.

XXII

Забегая вперед, скажу, в течение недели большая группа колхозников и подоспевшие заготовщики мяса пытались справиться с даром Джомлата и его сыновей. До двухсот коз с козлятами решено было вновь отправить в предгорья, но найти пастухов, способных присмотреть за ними, оказалось непросто. В жаре и в тесноте скотина заболела, чесотка стала распространяться среди коз и овец. Такое большое стадо в одночасье не сдашь и на мясо. Но приставленные к делу люди старались: попутно куда-то бесследно исчезли лучшие особи коз и овец, по слухам, откуда не возьмись, обнаружились перекупщики мяса. В конечном итоге, большой выгоды от уничтоженного стада Джомлата колхоз не получил. Как говорится, что вода приносит, то ветер уносит...

Меня же тот день – я стал свидетелем событий во дворе колхозного правления – совершенно потряс. К вечеру я пришел домой опустошенный, не в силах говорить об увиденном. Я отказался от ужина, которым усиленно потчевала мать, – кусок не лез в горло, и поспешно поднялся к себе в комнату. Но тревога не оставляла меня. Я загнанно метался по комнате, подошел к распахнутому окну, краем глаза заметил, что в амацурте горит свеча – с матерью, не ложившейся до возвращения отца, всегда «дежурила» и свеча. В комнате у сестры Мачич свет уже погас – хотя она обычно допоздна читала в постели книги.

Тихая ночь стояла во дворе. Прохладой ночи и тишиной должно быть наслаждались фруктовые деревья, весь день изнывавшие от жары.

Двор был заполнен запахом перегретых на солнце персиков – щедро налитые сладким соком плоды нежились в ночи. Как мне хотелось в этот час так же, как и неживая природа, слиться с ночью, с прохладой, с ее покоем и не думать ни о чем. Но это было выше моих сил. Стоя у окна, я поднял лицо к небу, выискивая звезду, указывая на которую мой дед всегда говорил: «гляди, вот светит твоя звезда». Сейчас я не мог ее найти. Я отошел от окна и сел за письменный стол, придвинул к себе тетрадку-дневник. О чем писать? Одни вопросы... кто же даст ответ? Почему сам Джомлат не прибыл с сыновьями? Ведь он отказался от своего добра, и теперь старика не станут преследовать, или все-таки станут? «На великую жертву он решился» – сказал о Джомлате сегодня отец. Но новые боги, которым он принес жертву, примут ли ее благосклонно? И с каким чувством сегодня его сыновья перешагнули порог родного дома? Мне понравилось, как они держались во дворе колхозного правления, очень понравилось. По рассказам моего отца, и деды, и прадеды Джомлата были пастухами, из тех, о ком говорят, что тысячи голов поднимут, сто богам подарят. Все знают, большие стада – большое богатство, но обрести это богатство под силу отмеченным Богом. Если прервется род Джомлата, какой удар по народу, по традициям его. Неожиданно я вспомнил выдержку из статьи директора нашего техникума Давида Абасовича: «Мало изучен, но чрезвычайно богат духовный мир абхазского горца: боги – Ажвейпшаа, Аергь – которым они поклоняются, пантеизм, обожествление самой природы, взаимоотношения меж людьми, проникнутые благородством и взаимопомощью, – все это берет начало в седой старине. Характерно то, что в скотоводстве абхаз находит не грубо утилитарный смысл, а нечто другое, отвечающее его психическим особенностям, нечто красивое – соответственно гармонирующее общей внешней красоте».

То, чему я стал свидетелем сегодня, говорило о том, что опасность нависла не только над семьей Джомлата, а над самим образом жизни абхазов. И не давая мне покоя, перед мысленным моим взором маячил мой бывший друг Руша с его неслыханным, непозволительным в прежние времена поведением. Даже щегольской его наряд – мягкие сапоги, плотно облепившие икры, белоснежная шелковая рубашка с тугим воротником, подпиравшим подбородок, и весь его легкомысленно-лихой вид и то, как он горячил коня, наводило на мысль о праздном молодом человеке на народном празднике, и никак не вязалось с представлением о председателе правления колхоза, который должен думать об

общем деле и радеть о нем. Будь на его месте более достойный человек, он не позволил бы себе обойтись с сыновьями Джомлата так, как себя повел новоиспеченный председатель колхоза. Будь он избранным всем селом человеком, сегодня все увидели бы, как они ошиблись в нем. Ничем сыновья Джомлата не заслужили столь подчеркнуто пренебрежительного отношения со стороны Руши, даже с кровными врагами люди, уважающие себя, находят возможность вести достойный разговор. А Руша держался так, будто не знал обычаев людей, среди которых вырос. Как же могло случиться такое, чтобы худшему из худших досталась власть? По части знаний, да просто грамоты, он не блистал – не мне ли о том не знать? К крестьянскому делу он был совершенно не приспособлен, о чем мог поведать вам каждый из наших сельчан, ждать добра от него не приходилось никому. К простой обходительности, и то не был приучен. Каким же образом спелым плодом упала ему в руки власть? Понятно, не по воле односельчан, а по воле начальника районного отделения Комиссариата внутренних дел Сарапиона Пахуаловича, он занял эту должность. Сарапион Пахуалович стал покровителем Руши, заступником перед вышестоящим начальством. Что же касается самого Сарапиона Пахуаловича, держался он на своем месте прочно, не сковырнешь. По слухам, Первый секретарь комитета компартии Закавказья Берия, еще в свою бытность в ГПУ, приблизил к себе Сарапиона Пахуаловича, оценил так сказать по достоинству.

Я слышал, как на днях дядя мой Танас, который зашел к нам, жаловался отцу:

– До последнего времени партия руководила карательными органами, а теперь карательные органы сами всеми руководят. Что касается представителей Советов, теперь мы для них – пустой звук. Наше слово ничего не значит... Как при таких условиях, скажи, Бадра, помочь людям? Они ведь на нас надеются...

Я отложил в сторону дневник и поднялся на ноги, прошелся по комнате, стало трудно дышать, и я вышел на крыльцо. Как в поисках спасения вгляделся я в звездное небо – засмотрелся на цепочку звезд в созвездии Малой медведицы, вслушался в тишину, изредка нарушаемую отдаленным лаем собак.

Я смотрел в бездонное небо, и понемногу тяжкая тоска стала меня отпускать. Я почувствовал себя человеком, попавшим в стремнину, но пытающимся, не отдаваясь течению, выплыть к берегу в намеченном месте. Следом за тоской я почувствовал, что в сердце моем рождается

горячее чувство, крылатое, не сдающееся, сообщающее смысл моему существованию. Сохранить бы эту работу души, переплавить в стихи...

Два человека стоят по разные стороны горного потока. Бушующая стремнина разделяет их. Но один из них отважно вступает в поток, рискует жизнью, чтобы достичь другого берега реки.

Оценят ли его отвагу?

Упрекнут ли: «Как посмел выжить в неравном состязании с всемогущей стихией?»

С этими мыслями, оформляющимися в строчки будущего стиха, я спустился с крыльца и босиком, как в детстве, ступил на росистую траву. Принимая ногами прохладу жемчужной росы, щедро осыпавшей мои ступни, я дошел по лунной дорожке до ворот, постоял под деревьями. Мне показалось, что кроны деревьев прошелестели слова поддержки: «Мы тоже печалимся с тобой!» Долго так я бродил по родному двору и когда уже шел к дому, в глубине сердца трепыхалось, точно птенец голубя, только что родившееся стихотворение. А что если назвать его «Двое по разные стороны потока»?

XXIV

Ни одного меня потряс поступок сыновей Джомлата, как они добровольно без лишних слов, с достоинством расстались с тем, что было для них самым ценным, что придавало смысл их жизни и то, как Руша, сын Елкана не захотел или ума не хватило с уважением принять их дар, обойтись с ними с той признательностью, какую они, несомненно, заслужили. Пересуды о позорном поведении председателя колхоза не стихали целую неделю, а то и того дольше, пока не случилось еще одно событие, взволновавшее все село.

Дело в том, что неподалеку от месторасположения сельсовета, у слияния двух горных рек Чала и Пала находился луг необыкновенной красоты, посреди которого поднимался с незапамятных времен могучий крылоорешник. Он возвышался над родником, бьющим у его подножья. Ни тогда, ни позже никто не дознался, как это могло случиться, но могучее дерево со стволом в несколько обхватов загорелось. Очевидно, дерево стало изнутри выгорать, по предположениям горело оно всю ночь. Утром люди издалека увидели, как над деревом поднимается густой дым. Все поспешили на луг, но дереву уже не смогли помочь. Со всей могучей силой крылоорешник рухнул наземь, звук падения,

точно громыхание грома, разнесся далеко. Случилось это в выходной день, и я оказался в родительском доме и вместе с другими соседями поспешил на луг, где лежало мертвое дерево, чьей красотой и величием мы привыкли гордиться. Теперь оно догорало на наших глазах и печаль, как на похоронах, лежала на лицах собравшихся, а собралось, наверное, все село. Люди говорили меж собой негромко, как у гроба с покойником. Все диву давались, как могло дерево загореться ни с того ни с сего. Будь ночь грозовой, могли бы предположить, что молния ударила по крылоорешнику, обычное в горах явление. Но ночь была звездной, да и дни несмотря на наступление сентября, все еще стояли ясные.

Я сделал несколько шагов в сторону стариков, собравшихся неподалеку в кружок, в надежде услышать, как их мудрость истолкует случившееся.

– Кто знает, может, мальцы сдуру подожгли дерево, а теперь боятся в том признаться, – предположил доброволец Миха.

– Дерево загорелось ночью, ребятишки, пусть и неслухи, но ночуют под родным кровом, – возразил ему мой отец, который еще до моего прихода присоединился к старикам. – Не стали бы они в темноте бегать по лугу.

– Священное это место и родник, и само дерево, да и луг, по нему никто никогда не посмел бы борозду проложить, – заговорил старец Хатхуа, – сколько я себя помню, всегда это место почиталось, как святыня...

– Потому и, наверное, подожгли дерево оттого, что почитали святыней, – сказал кто-то из стариков. – Безбожники и подожгли, вон, рушат храмы, оскверняют алтари и до святого нашего места добрались...

– Никто из нашего села – разумный или неразумный, но на такое святотатство не способен, может, какой-нибудь случайный путник виновен в проступке? – предположил наш сосед Саид.

Ему возразил доброволец Миха:

– Сколько путников здесь находило приют, и никто вреда святому месту не наносил, передохнут в тени, выпьют родниковой воды и с благодарностью идут своей дорогой...

– У злоумышленника один грех, у того, кто подозревает тех и этих в злом умысле – сто грехов! – печально сказал Алхас, постукивая по ладони сложенной плеткой. – Знать бы кто посягнул на святыню целого села, а брать на душу грех и подозревать невинных – не дело. Потому-то

и надо найти злоумышленника, о том мы просили и старшину нашего Танаса, он только что был здесь. Одного боюсь: времена нынче такие, как бы вину не нахлобучили на голову невинного, а злоумышленник в сторонке будет посмеиваться в усы. Нынче много развелось ловкачей, кому все сходит с рук.

– Куда наш председатель колхоза подевался? – вдруг спросил Хазарат. – Правда, он большей частью в городе проводит время, неужто и на этот раз в отъезде?

«Ему первым надлежало здесь быть!» – подумал я о Руше и, точно в ответ на мой мысленный призыв, со стороны дороги раздался топот лошадиных копыт. Это на своем вороном мчался по проселку Руша. Люди поднялись на ноги ему навстречу и с ожиданием посмотрели на руководителя колхоза. Руша не спешился, он прогнал коня вдоль тлеющего поваленного дерева раз-другой...

– С этим деревом все не просто так! – изрек он, сидя в седле. – По нему нанес удар наш классовый враг! Считайте, из засады выстрелил по нашему колхозу, по народному достоянию, прямиком в сердце нашего села попал!

Затем он вновь прогарцевал вдоль дерева, левой рукой картинно подбоченившись, он вроде призывал всех пеших полюбоваться его ладной посадкой, его статью. Затем Руша снова заговорил:

– Наверняка, вы слышали, как в соседнем колхозе «Новая жизнь» злоумышленники сожгли табачный сарай! А в селе Пшап и вовсе посягнули на жизнь председателя колхоза. Темной ночью устроили ему засаду, стреляли со всех сторон, что он, молодец, всех перехитрил, ушел невредимым из-под обстрела. Но враг не дремлет. Именно враги новой жизни и посягнули на наше могучее дерево, под покровом ночи подожгли его! Зло разъедает наше село, как жуки точат деревья, пора встряхнуть его, как следует, отделить злоумышленников от честных людей. Кто знает, возможно, поджигатели дерева сейчас находятся среди нас, перемигиваются, радуются нашему горю, но недолго им радоваться!

Подозрения, высказанные председателем колхоза, не произвели впечатления разорвавшейся бомбы, нет, взрыва не было. Народ на миг онемел от услышанного. Наступившая тишина проняла даже Рушу. Он стал вглядываться в толпу, будто взглядом кого-то выискивая, а потом, когда дым, исходивший от дерева, стал разъедать глаза, он пришпорил коня и отъехал в сторону.

Первым тишину нарушил доброволец Миха.

– Дад, Руша, ты так уверенно сказал, что преступник, возможно, находится среди нас, не мог бы ты на него указать? Должны ведь и мы знать, где завелась у нас ржавчина.

– Испокон веку жили мы на этой земле без внутренних врагов, жили единой общиной, все беды и радости деля пополам, и в минуты опасности становились плечом друг к другу. Так откуда нынче столько врагов взялось? – осведомился мой отец.

– Ты, что, слепой, Бадра? Не видишь – мы строим новую жизнь! И хочешь мне сказать – она всем по душе? Наши успехи как бельмо в глазу классового врага!

– То ли строим, то ли рушим предками возведенное и чтимое! – сердито его оборвал наш сосед Саид.

– Грядут перемены, – негромко сказал Хазарат. – Беду ли принесут или прок, но их не миновать...

И в это время громкий голос Алхаса пронзил толпу:

– Продвигайся-ка сюда, дад, Руша, и послушай меня, старика. Наши отцы, возможно, великим добром похвастать не могли, но уважением друг к другу отличались. Горевестник и то, лишь спешившись, сообщал горестную новость, хоть и приходилось ему спешиваться чуть ли не у каждого двора. А ты – молодой человек. Перед тобой стоят люди – ровесники твоего деда, отца, ты же не можешь покинуть седла! Это что, новая работа, тебе не позволяет поступить, как поступали твой отец или дед? Для чего нам новая жизнь, если мы вместе с ней погубим то, что является сердцевиной народа – взаимоуважение и взаимопомощь? Ты намекаешь, будто среди нас находятся преступники, радующиеся нашему горю. Тяжкое обвинение ты позволил себе, дад! Возможно, на то есть у тебя основания, тогда незачем намекать, укажи напрямую, кто среди нас преступник!

– Зачем мне указывать на преступников, когда вы сами их знаете! – закричал Руша и, зло хлестнув коня плеткой, выехал из толпы, чудом никого не зацепив, и умчался прочь, нахлестывая и без того разгоряченного коня.

Он умчался, а зерно сомнения, брошенное им в толпу, похоже, давало всходы. Кое-кто с подозрением стал коситься на тех, которых меньше знал, чем близких соседей. Старики тихо роптали, дивясь недопустимому поведению председателя колхоза; то там, то здесь возникали бесплодные споры и сожаления. Печаль и неудовольствие среди сельчан ширились...

День подходил к концу, закатное солнце окрасило розовым цветом горы. В такое время различные птахи обычно слетались на ночевку к могучей кроне крылоорешника, чтобы на заре заполнить окрестности своим щебетанием. Но на этот раз им некуда было слетаться, их кров был разрушен. Никакой жизни уже не суждено было теплиться в поваленном дереве у чистого родника.

Родник... Он был особенным. Такого студеного, такого чистого, такого стремительного ключа невозможно было отыскать в другом месте. В самый зной, когда солнце сверлило макушки, вода в ключе все равно оставалась ледяной. Опустишь в родник палец, и он вмиг онемеет от холода. В морозы же, когда земля, охваченная холодом, казалось, вот-вот треснет, над ключом, будто некто в подземелье разжег под ним могучий костер, поднимался клубясь пар. В жестокую засуху мелели даже крупные горные потоки, а роднику все было нипочем и ледяная вода звонко била из-под земли. Если случались затяжные дождливые дни, мутнели реки, а родник не терял своей прозрачности...

Рассказывают, что мифический герой Абрскил, даже преследуемый врагами, не проскакивал мимо родника на своем знаменитом коне Араше, а останавливался возле него, спешивался. Испивал из родника воду и неспешно устраивался возле него, сгоняя с себя усталость и гнев...

Если наступала суровая засуха, которая как бы из зависти к красе и природному богатству Абхазии подвергала землю жестокому испытанию, и стар и млад из нашего села устремлялись к роднику, к лугу, на котором он находился. Здесь устраивались всем селом моления, взывали к богине дождя Даджа. Сколько раз я вместе со сверстниками стоял на коленях перед стариком с большой зажженной свечой, вслушиваясь в его страстные мольбы, обращенные к небесам. Я запомнил как в конце молитвы старика хор голосов подхватывал: «Да услышит тебя Господь. Аминь!» Потом мы, мальчишки, хватали чучело под названием Дзиоу, которое, очевидно, олицетворяло засуху, и со специальной песней, относившейся к чучелу, под радостные возгласы кидали его в реку Пал...

Отовсюду я слышал, что никогда с момента заселения этих мест ни один крестьянин как бы он ни нуждался в земле, не посягал на чистый луг, на котором находился родник. И ни один человек даже мелкой веточки не отломил от крылоорешника, уж не говоря о том, чтобы топором нанести зарубку, пусть и незначительную.

Луг был местом молений, народных сходов, местом, где наездники показывали свое мастерство, здесь играли в мяч, здесь устраивали пляски в праздник.

С родником, который испокон звался «Родником абазина», связана красивая легенда. Я не раз ее слышал от старика-златоуста Мамсыра, который рассказывал ее, сопровождая свое повествование игрой на апхярце. Я хочу эту легенду рассказать вам.

Некогда неподалеку от луга, о котором речь, выше к горам жил весьма почтенный человек по имени Доу. И была у него единственная дочь Цина. Отличалась она невиданной красой. Все, кто видел деву, восхищались ее совершенством. Одни говорили: «Видать, неземная женщина ее родила, так она походит на богиню!» Другие сравнивали ее взор с взглядом неприрученной кобылицы редких кровей. Высокая стройная ее шея напоминала кому-то горлышко золотого сосуда. Ступала она по земле плавно, как пава.

Весть о несравненной дочери Доу облетела мир, дошла и до Северного Кавказа, до земли абазин, и многие юноши, плененные слухами о невиданной красавице, оседлали своих коней и отправились через перевал в Абхазию. Так однажды во дворе отца Цины спешился, сопровождаемый двумя друзьями, достойный молодой человек – абазин. Почетных гостей хозяин принял, как подобает: созвал соседей, богато накрыл на стол и до утра все ели, пили, веселились. Надо сказать, у Цины была странная привычка – она не желала показываться женихам и почти никогда к гостям не выходила. Пока претенденты на ее руку не покидали отчего двора, девушка пряталась в укромном месте. На этот же раз Цина вышла к гостям и наравне с приглашенными соседками и домочадцами делала все, чтобы пребывание гостей было для них приятным. «Может, этот юноша – ее судьба, потому она изменила своей привычке?» – думал ее отец.

Рано поутру, когда завершилось застолье, молодой абазин вышел во двор размять ноги. Он издалека заметил могучее дерево на лугу и решил пройтись к нему. Дело было зимой, и молодой гость шел по хрусткому, охваченному морозом, лугу. Он с удивлением заметил, что под деревом клубится дым, будто кто-то неведомый разжег под ним костер. Приблизившись, юноша обнаружил, что это над родником поднимается пар. Крепкому морозу не удалось сковать движение родника. Юноша долго смотрел в прозрачные воды ключа, а потом протянул руку к ковшу, висевшему рядом с источником, зачерпнул водицы и испил ее.

Он был поражен тем, что по вкусу вода точно совпадала с тем, что он привык пить черпая воду из родника у себя дома, на земле абазов.

Вернувшись в дом, юноша сказал хозяину, что родник, бьющий под могучим деревом на лугу, сообщается через горы и расстояния с родником, что находится возле его дома.

– Как такое возможно? – подивился хозяин. – И как ты мог распознать, что вода из этого родника та же, что и у тебя дома?

– Такую чистоту, такой вкус, такую свежесть нельзя ни с чем спутать! – отвечал юноша. – Но я не хочу быть голословным, малейшее сомнение правдивости моих слов бросает тень на мою честь. Я докажу вам свою правоту. Вернусь домой и брошу в родник зерна пшеницы и через три месяца подземными путями, зерна всплывут здесь, и вы убедитесь, что родники сообщаются.

Все заметили, что Прекрасная Цина и юноша-абаз понравились друг и препятствий к тому, чтобы они соединили свои судьбы не было. Обговорили, что вскоре после трех месяцев, как только зерна пшеницы всплывут на здешней стороне, прибудет из-за гор свадебный кортеж за прекрасной невестой. С тем гости и отбыли. Прошло три месяца, и вправду пшеничные зерна всплыли в роднике на лугу. Кто-то из домочадцев, первым это заметивший, побежал к Цине с радостной вестью.

– А не примешаны ли к зернам пшеницы резаные листочки плюща? – спросила красавица.

– И вправду с зернами много и резаных листочков плюща! – услышала она в ответ и без сил опустилась на место, и крупные слезы покатились из прекрасных глаз.

Жених перед отъездом сказал ей, что если с зернышками пшеницы вода принесет и нарезанные листочки плюща, являющегося знаком скорби, пусть знает, что он погиб...

Так родник стал горевестником. Девушка не захотела принимать предложения других женихов. Она превратилась в затворницу. Годы шли, и краса ее старилась в четырех стенах. Только два раза в год девушка выходила наружу. Летом в знойный день она шла к роднику и долго глядела в чистые, как она сама воды ключа. И если случайные прохожие или путники в это время останавливались здесь утолить жажду, девушка сама подавала им из ковшика студеной водицы. Второй раз она приходила к роднику в самые лютые морозы и долго вглядывалась в паром исходивший источник. Кто знает, не являлся ли в клубах пара ей образ юноши – погибшей навеки ее единственной любви?

Очевидно, в честь бессмертной любви и закрепилось навеки за этим источником название – «Родник абазина».

* * *

Мы с отцом вернулись домой под вечер. Я сразу поднялся к себе в комнату и сел за письменный стол. События прошедшего дня, дым тянувшийся над вывернутым с корнями деревом, который воспринимался как дар нашему селу на вечные времена, разговоры собравшихся на лугу. Поведение моего бывшего друга, не соблаговолившего сойти с коня даже после того, как один из старейшин призвал его к порядку. Все это проносилось перед моим внутренним взором. Но перебивая все, очищая, освобождая от тоски в памяти моей всплыла легенда о прекрасной Цине и влюбленном в нее юноше из страны абазов. И тут же я вспомнил невысокого черноволосого человека с улыбчивыми глазами, от которого не раз я слышал: «Народные сказания – это золотые самородки, услышали и тотчас записывайте, не дайте им сиротами уйти из мира». Так любил говорить Антон Еснатович. Он в техникуме преподавал нам абхазский язык и литературу. Сам Антон Еснатович являлся большим знатоком фольклора. Он самолично записал в литературной обработке многие главы нашего бессмертного эпоса «Сказание о Нартах». Миф о Нартах стал его излюбленным детищем, и урока не проходило, чтобы он, разбирая произведения даже современных писателей, не упоминал об особенностях «Сказания о Нартах».

Я собрался было лечь и даже подошел к постели, но понял, что меня ждет бессонная ночь – слишком я был перевозбужден событиями дня – и вернулся к письменному столу. Все больше меня мучило то, что к горю крестьян, собравшихся на священном лугу, прибавилось еще и унижение из-за пренебрежительного поведения председателя колхоза, к тому же голословно бросившего обвинение в том, что преступник – среди них.

Как внезапно сверкнувшая молния, разорвав тучи, освещает на миг землю, так сквозь пелену моей печали и тревоги предчувствие стиха возникло во мне. Образ могучего дерева, умирающего на глазах скорбящих по нему людей, и дым над ним, как последнее дыхание... и безмолвно кричащая боль... А тот, кто посягнул на него, пусть и сам падет бездыханным. Только его падение не отзовется болью ни в

чьих сердцах, и никто не оплачет его уход из мира... никто... Вот-вот в муках должно родится стихотворение. Ожидание его развеивает тоску...

Молельное дерево рухнуло сраженным исполином.

Горькая весть собирает людей под небесным оком.

Часть вторая

С того самого дня миновало около недели, когда легковая машина на высокой скорости проехала по проселку и направилась к зданию сельсовета. «Не к добру это!» – тревожились крестьяне, глядя вослед мчащемуся автомобилю. То, что это не к добру, стало явственным, когда из резко затормозившего во дворе сельсовета автомобиля выбрался Сарапион Пахуалович, начальник районного отделения милиции. Его сопровождали еще два милиционера.

– Добро пожаловать! – вежливо приветствовал их председатель сельсовета Танас, стоявший у крыльца.

Но вместо приветствия Сарапион Пахуалович обрушился на него с громогласными обвинениями:

– Вы, что, окончательно здесь сдурели? Или всегда были такими безмозглыми? Вам, выходит, все дозволено? Отказываться от организации колхозов?! Сжигать гордость села вековое дерево? Завтра, глядишь, еще за оружие возьметесь! Гордыни много в вас, гордыни! С этим надо кончать и немедленно! Сломать хребет классовым врагам и все недолго!

Не дав и слова возразить Танасу, он вихрем поднялся на крыльцо и зашел в кабинет председателя сельсовета, уселся на его место. Танасу, который вошел следом, пришлось стоя выслушивать его.

– На, читай! – Сарапион Пахуалович протянул Танасу вдвое сложенный листок.

Председатель сельсовета прочитал список.

– Здесь в списке имена самых достойных людей нашего села и все они, не считая Джомлата и его сыновей, состоят в колхозе, – сказал он.

– Это для тебя достойных, у меня свое мнение, – оборвал его Сарапион Пахуалович. – Ты должен был созвать их сюда к моему приезду! Созвал?

– Да! Кроме одного человека и он должен прибыть скоро, остальные здесь, дожидаются во дворе, в тени ольхи.

Танас, судя по всему, рассчитывал, что Сарапион Пахуалович спустится к почтенным людям и там проведет нужную ему беседу. Но не тут-то было.

– Пусть ко мне заходят по одному! – распорядился начальник милиции, развалившись на месте Танаса.

Отсутствующим человеком из списка был мой отец. Он как раз получил известие из Мрамба, что его дядя – брат матери – при смерти и отправился туда. Когда выяснилось, что отец непременно должен предстать перед начальством из Очамчыры, мать снарядила соседского паренька Кучира, чтобы он спешно сообщил отцу о необходимости возвращения домой. Юноша поскакал во весь опор с вестью, но отец еще не возвращался. Остальные же заранее собрались под ольхой во дворе сельсовета, и судили-рядили, по какой такой важной причине они понадобились районному начальству, но так ни к чему и не пришли.

Первым в кабинет пригласили нашего соседа Саида и надолго его там задержали. Следом позвали известного златоуста, мудрого старика Алхаса, который всегда был облачен в абхазскую одежду – опрятный архалук, ладно сидящая черкеска с рядом сверкающих газырей. Мягкие сапоги старика, туго обтягивавшие икры, всегда были начищены до блеска. Затем наступил черед Нахара, потом Хазарата, и так вызывали всех по списку. Тех, с которыми уже состоялся разговор, не выпускали наружу, а заставляли, будто задержанных, сидеть в соседней комнате. Последним вошел в кабинет доброволец Миха. Вскоре там поднялся шум. Как позже рассказывали, Миха даже хватился за кинжал, рев начальника сотрясал стены. Тут же в кабинете Миха был арестован. Как ни странно, но начальник – непонятно, что на него нашло! – через некоторое время вытолкал Миху за дверь и велел уходить домой.

Председатель сельсовета, лишенный доступа в кабинет, нервно расхаживал по настилу крыльца. Танас понимал, что за закрытыми дверями чинят беззаконие, но не имел никакой возможности вмешаться, что его еще больше выводило из себя. «Лучших людей нашего села допрашивают, как преступников. Где же правда?» – мучительно размышлял он.

Мой отец, хотя и известили его довольно быстро, припозднился, пока добирался из Мрамбы, и оказался на пороге тогда, когда все вызванные для разговора крестьяне были отправлены восвояси, а начальник и его подручники собирались уезжать. Начальник стоял у сто-

ла, засунув ладонь левой руки за широкий ремень, а в правой – держал папиросу и жадно курил. Он как раз смотрел в окно, когда вошел мой отец и поздоровался. На приветствие начальник не ответил, но, повернув голову, вперил в моего отца жестокие глаза и пролаял:

– Бадра Бежанович, не так ли?

Он, резко отодвинув стул, уселся на него и, открыв портфель, вынул кипу бумаг и положил перед собой.

– Да, я Бадра, сын Бежана, уважаемый Сарапион, – спокойно подтвердил мой отец.

– Нарочно приковылял после всех. Не рассчитывай, что я не догадался, что нарочно. Как говорит ваша деревенщина: «И мы не носом воду пьем!»

– Я был в Мрамбе, мой дядя опасно болен, потому и опоздал.

– Назвать тебя лукавым не сказать ничего! Ты волк в овечьей шкуре, вот кто!

– Я в отцы тебе гожусь, Сарапион, не разговаривай со мной неподобающим образом.

– С тобой не разговоры разговаривать надо, а в тюрьму засадить. В душе ты настоящий кулак, для виду записался в колхозники, а быков своих дома держишь, и плуг держишь. На себя пашешь, не на колхоз! Неудивительно, что кулака Джомлата ты тайно встретил на дороге и в горы отправил, с сыновьями его абреками связь держишь!

С Джомлатом нас и вправду связывают добрые отношения, и вреда для власти я в том не вижу, уважаемый Сарапион. Что же касается его сыновей, они пригнали в колхоз все свои тучные стада, не может быть, чтобы ты о том не знал. Мои быки, случается, ночуют в привычном коровнике, это, да. Они сами приходят, изголодаются в колхозном загоне и приходят. Я их кормлю и под крышу ставлю, не пропадать же скотине. – Сами, говоришь, приходят? Еще скажи, и дерево на священном лугу само себя подожгло, с тебя станется!

– Я не знаю, что на самом деле случилось с молельным деревом, но подозревать кого-то в злом умысле у меня и в мыслях нет.

– Запомни ты, темнота, не зря я здесь с утра провожу расследование. Не зря я служу закону, не покладая рук! Я здесь представляю закон, знай! И догадываюсь тебе гораздо больше известно о случае с молельным деревом, чем ты говоришь.

– Не подозревай меня во лжи, начальник, это оскорбительно. Я, как и все мои соседи, сожалею о том, что случилось с нашим деревом. Будь

мне известно, что это дело рук злоумышленника и знай я самого злоумышленника, так ничто не заставило бы меня умолчать...

– Вот здесь зарыта собака! – взревел вдруг Сарапион, вскочил с места, подбежал к окну и, сердито откашлявшись, плюнул наружу, и стал прохаживаться по кабинету тяжелым шагом, сапоги его так скрипели, будто не вынеся его веса, вот-вот должны был и развалиться.

– Не прикидывайся остолопом, тебе прекрасно известно – это был заговор. Решили ударить по молельному дереву, чтобы страху нагнать на темный народ. А главное для того, чтобы люди устроили сход.

Эти слова он произнес, вплотную подойдя к моему отцу и сверля его своими холодными глазами.

Отец выдержал его взгляд. Сарапион прошел к столу, сел за него и махнул в сторону отца рукой, приглашая и того занять место напротив.

– Люди пришли попрощаться с деревом, почитаемым, как святыня, и что же в том противозаконного? – спросил Бадра.

Вновь рев начальника милиции огласил кабинет:

– Запомни, вбей в свою башку, мы знаем – это дело рук кулаков. И сход организовали кулаки! С этой целью и дерево подожгли! Вы – кулачье! Вы – враги колхоза, враги социализма, а значит, вы враги самого Сталина – вождя всех времен и народов!

Столь страшные обвинения ошеломили моего отца. Ему будто дали молотом по голове. Все плыло перед глазами. Он чувствовал себя как на краю бездны и понимал, что настоящая беда, нависла не над ним одним, а над всем селом. Но как ее отвести?

– Если тебе что и поможет, так чистосердечное признание! – заговорил снова начальник милиции. – Со всех твоих подельников уже сняты показания, все у нас документировано. Вишь, там, в углу, сидит человечишка, неприметный такой. Это Чагуна, сын Чагуа, он мастер должным образом записывать снятые показания. Он такой ловкач, что ты и сам поверишь в то, что он тебе припишет. Обязательно с ним согласишься! С ним все соглашаются! Ха-ха-ха! – вдруг трубно рассмеялся начальник милиций.

Худой серый человек, сидевший в углу за треугольным столом, что-то сосредоточенно записывал и будто не слышал слов Сарапиона Пахуаловича. А тот все не мог унять веселья – то ли деланного, то ли и впрямь он считал, что есть основания для радости – аж слезы выступили у него на глазах.

Бадра невольно сжал кулаки и поднялся на ноги. «Что-то от дьявола в нем проглядывает, явно проглядывает!» – мелькнуло в голове. Но ведь с Божьей помощью и дьявола можно одолеть. Бадра только хотел сказать, что поведение начальника попросту оскорбительно, как тот отсмеялся, вытер глаза платком и неожиданно другим голосом вполне дружеским, сказал:

– Что-то мы с тобой расшумелись, Бадра, а зря. Садись-ка сюда поближе ко мне, поговорим откровенно.

«Может, наконец, разберемся по-человечески», – понадеялся мой доверчивый отец.

– Видишь ли, Бадра, мне надо дознаться, на том настаивает закон, кто организовал возле упавшего дерева, не разрешенное властями сборище? Согласен, многие не понимали, во что их злоумышленники втягивают. Вот и крестьяне, с которыми я поговорил до твоего прихода, признались, что опростоволосились, пришли на дерево поглазеть, а сыграли на руку врагам власти. Бадра – ты человек, добрый труженик, тебя вовлекли в преступное деяние, тобой играли без твоего ведома. Так назови же их имена!

– Не принимай меня за дурака, уважаемый начальник! – вскипел Бадра. – Что еще за преступное деяние? Кто это придумал? Для чего?!

– Ты мне вопросов не задавай, Бадра! Здесь спрашиваю я, отвечай коротко, как твои лучшие друзья отвечали мне на этом месте совсем недавно. И для тебя лучше, и мне время сбережешь. Могу освежить твою память – твой сосед старик Саид, например, вещал на вашем сходе на лугу: «Мы, как стадо баранов, куда гонят, туда идем! Надо было, как Джомлат, сказать колхозу – нет. А мы дали себя туда пинками загнать!»

– Не может этого быть! – вскинулся Бадра. – Я около Саида стоял и не слышал от него подобных слов, все это ложь!

– Не перебивай-ка меня, горячая голова! Дай досказать. А вот, что выдал Алхас: «Дружно поднимемся все разом, и колхоз рассыплется, как игрушечный шалашик из кукурузных кочерыжек»! Доброволец Миха ограничился тремя словами, но какими? «Колхозы – это разорение»! Я освежу в твоей памяти и собственные твои слова, Бадра. «Среди нас нет кулаков! По-злодейски разорили невинного Джомлата!»

Бадра изумленно выслушивал всю эту ложь, поражаясь тому, что происходит все это в кабинете председателя сельского Совета. Самая правдивая власть советов устами Сарапиона Пахуаловича нагло вра-

ла ему в лицо и требовала от него ложных показаний. «И впрямь мир перевернулся! – смятенно думал Бадра, гнев волной поднимался в нем. – Этот наглец намерен заставить меня солгать. Белое назвать черным. Сияющий день наречь безлунной ночью. В горах увидеть низину! Я не ошибся, он – дьявольское отродье! Кинусь на него с кинжалом, не одолею, так дам себя убить!»

Но решиться на убийство, дело непростое и мой отец потерял несколько минут. За это время Сарапион Пахуалович перешел от вкрадчивого тона к более для него привычному крику:

– Молчишь, собачий сын, пригвоздил я тебя к правде! От нас правду не скроешь! Испугался очной ставки, потому позже всех пришел, понадеялся на спасение, но не тут то было!

Они встретились глазами, и отец позже никак не мог объяснить, что в это мгновение с ним произошло, но отпустил рукоять кинжала, весь гнев с него, будто дождевой водой смыло. Он смотрел на орущего человека напротив и вместо дородного человека в милицейской форме видел мелкого безобразного чертенка.

– Вот что я тебе скажу, – заговорил Бадра спокойным голосом, сам дивясь своему спокойствию. – Глядишь на тебя, мужчина как мужчина. Крепкий, ладный, а посмотришь попристальнее и видишь твое нутро, а там одна ненависть к роду человеческому. Как тебе удалось накопить столько ненависти? Твоя ненависть тяжелее тебя самого, бедняга! Глянь на мои руки, они в мозолях, в порезах, трещинах, неприглядно смотрятся, но они чисты, как слеза. Этими руками кроме добра для людей я ничего не делал. А глянь на свои руки, вон, на одном пальце даже перстень, не натруженные руки, нет, но каждый палец у тебя, как патрон к нагану. Готов в любое мгновение поразить человека.

– Сыновья Джомлата, абреки, мстят нам за своих коз, это они спалили священное дерево и поджог сарая для табака – дело их рук! Тебе обо всем известно. Если не хочешь сгнить в тюрьме, брось свои копеечные разглагольствования, и дай показания против них!

– С лжецами мне не по пути! – сказал на это Бадра и кинулся к дверям. Он чувствовал, что еще немного и задохнется в затхлом воздухе кабинета, пропитанного бесовщиной.

Отец не помнит, как прошел половину пути к дому, если кто-то и попался навстречу и поздоровался, память этого не сохранила. Бадра поднялся на пригорок и, очевидно, силы покинули его. Он уселся на пенек под ольхой, хотя понимал, что дома с тревогой поджидают его

возвращения, зная, к кому он был вызван. Бадра пытался успокоиться, взять себя в руки. В ушах все еще звучали слова Сарапиона Пахуаловича, его голос то грубый донельзя, то лицемерно вкрадчивый, и этот сатанинский смех... Когда, наконец, усилием воли Бадра заставил себя не думать обо всем, что произошло в кабинете председателя сельского совета, вдруг ему стали являться видения. Рыжий человек, враг самого Абрскила, стоял у ольхи с потрескавшейся корой и глядел с усмешкой на него, затем видение, переместилось за спину Бадры. Потом обозначилось сбоку, а затем оказалось прямо напротив него и, обретя все больше осязаемых черт, двинулось к нему. «Свят, свят!» – Бадра вскочил с места и быстрым шагом, не глядя по сторонам, направился домой, но он знал – рыжий человек никуда не делся и его дурной глаз преследует путника.

XXIV

Время близилось к вечеру, когда освещенные закатным солнцем, на проселок выехали председатель колхоза Руша и его верный друг Мага. На этот раз председатель восседал на гнедом коне хороших кровей. Он легко нес своего седока, и достаточно было едва заметного движения всадника, чтобы он пустился вскачь. Верховая лошадь его спутника была куда хуже и парню приходилось то и дело нещадно нахлестывать животное, чтобы ровно держалось рядом с конем Руши. Для острослова эта пара представляла хорошую мишень. «Глядите, едет князь Уазбак и его стремянной Кумприш». Хотя старожилы, помнившие князя, на это наверняка заметили бы: «Князь был человек крутого нрава, обид не прощал, но в вопросах чести был тверд как скала. По отношению к крестьянам он никогда не заходил так далеко, как Руша». Наглость и самоуправство председателя колхоза не знали границ. Он пользовался тем, что районное начальство во всем поддерживает его, и в селе вел себя как полновластный хозяин, который кого хочет – милует, кого хочет – казнит. Перечить ему стало опасно для жизни. Многие крестьяне предпочитали обходить его десятой дорогой. Зато при поддержке районного начальства о Руше заговорили, как об одном из лучших председателей колхоза. Из Сухума даже прислали двух корреспондентов, которые целый день провели с председателем, а потом в республиканской газете появилась о нем статья на полполосы. Одно ее название чего стоило: «Горный орел»!

И вот гарцует на гнедом по проселочной дороге горделивый Руша, и ветер треплет рукава и полы белоснежной рубашки, а на голову он отчего-то нахлобучил мерлушковую папаху с верхом винного цвета. Когда председатель и его «стремянной» подъехали к реке Пал, Руша не захотел перебираться на тот берег по мосту и, демонстрируя то ли спутнику то ли небесам свою удаль, пришпорил коня и врезался в быстрое течение, обрызгав водой не столько себя сколько спутника. Громко понукая коня, он браво выбрался на другой берег. Руша не просто проветривался на своем быстроногом коне. Он торопился на свадьбу. Торжество затеяли не какие-то голодранцы, а уважаемые люди, представители власти из района тоже будут в числе почетных гостей. И, разумеется, в тамады пиршества хозяева пригласят именно его, никого другого. Если Руше удается так умело руководить большим селом, провести торжество с должной мудростью он тем более сумеет. Ведь за пиршественным столом не главное кто кого перепьет, а то, сколь красноречивы, уместны будут тосты тамады, как уважит он достойных почетных гостей, как умело будет чередовать застольные песни и пляски молодежи с мудрыми взвешенными речами. Кто кроме Руши обладает столь разнообразными достоинствами? Лично он соперника не видел в округе!

Лихо преодолев реку, путники поднялись по косогору на дорогу, что шла лесом, и оказались в тени могучих каштанов. Вдруг неожиданно из глубины леса вышел старший сын Джомлата и заступил дорогу.

– Спешься, Руша, уважь, выслушай.

Говорил он спокойным голосом и, несмотря на то, что был вооружен, к оружию пока не тянулся. Два его брата тоже показались из лесу и остановились поодаль.

Руша оглянулся на своего спутника и, понимая, что большой помощи от него ждать не приходится, подчинился и сошел с коня.

– Ты торопишься на свадебное торжество, это ясно, Руша, какие у тебя еще заботы! Хотя таким как ты, потерявшим человеческий облик, лучше не показываться людям на глаза. Но ты-то думаешь иначе. Ты позоришь наше село, а цены себе не составишь, героем себя считаешь! – продолжал старший из братьев. – И мы тебя здесь поджидали, чтобы в глаза тебе сказать: это ты и твои приспешники погубили нашего отца. Ты ядовитым грязным своим языком сделал из нас врагов, отщепенцев.

– Не трать на него слова, брат, он разговора с тобой недостоин! – вдруг, не выдержав, вмешался младший, сорвав с плеча ружье с корот-

ко обрезанным стволом, направил на Рушу. – Предатель, оболгавший людей, среди которых вырос, заслужил пулю в сердце и больше ничего!

– Тише, мальчик, возьми себя в руки! – остановил его старший. – Ты прав, он не достоин жить, но мы можем навлечь беду на родное село, подумай об этом!

– Прости, брат, встречу этого кровопийцу на узкой дороге, и он получит все сполна!

Это подал голос средний брат, но старший прикрикнул на них.

– Да что же с вами происходит, брату слово не даете сказать!

– Прости, – повинились братья.

Дальше говорил только старший:

– Мы знаем, как надо бы с тобой поступить! Сорвать с тебя не только пояс с наганом на боку, но и всю одежу снять и отправить тебя голышом восвояси. Стыда у тебя нет, к чему срам прикрывать? Да только на твое счастье сыновья Джомлата еще стыда не потеряли и подобное себе не позволят. Слушай нас, себя потерявший парень! Оставь работу и, не медля, убирайся из нашего села, иначе в следующий раз пристрелим, как собаку. У тебя в районе столько высоких покровителей, пристроят на другую должность, а наше село очисть от себя! А ты, Мага, все еще здесь? Что ж завтра можешь оповестить каждого встречного поперечного, что ты отважно защищал от ужасных абреков – сыновей Джомлата –своего героя Рушу. Если бы в тебе сохранилась хоть капля человечности, ты не стал бы ему стремя держать. Но ведь это все временно, пока горит звезда Руши, ты стремя держишь, а потускнеет, поминай, как звали: Верно Мага?

Тот промолчал. Средний брат, воспользовавшись его молчанием, выкрикнул, обращаясь к врагу:

– Немедленно покинь село! Ты его опозорил! Дай ему очиститься! Не послушаешь – пеняй на себя!

С этими словами братья в мановение ока исчезли в лесу.

Куда потом направились Руша и Мага неизвестно, но на свадебном торжестве они не появились, да и на следующий день председателя колхоза не оказалось на работе. Куда он подевался и что тому причиной никто не знал. Кое-кто, знавший, что Руша и Мага отправились вместе на свадьбу, где им не суждено было побывать, пытались разузнать у последнего, куда подевался председатель.

– Я проводил его до реки Пал, там мы расстались! – отвечал Мага.

Никому он не признался о встрече в лесу с сыновьями Джомлата.

Всех несказанно удивляло внезапное исчезновение председателя колхоза, который обычно часто объезжал бригады, и чуть ли не каждую неделю устраивал собрания. Пошли толки. Одни говорили, что жена его опасно занемогла, и Руша отвез ее к родне в Тбилиси, другие уверяли, будто видели его в сухумском порту. Он садился на корабль, который отправлялся в длительное путешествие.

Шло время и однажды утром к зданию правления колхоза подъехала легковушка, из которой выскочил Руша и, торопливо поднявшись по ступенькам крыльца, укрылся в своем кабинете. Говорят, он искал там какие-то нужные ему бумаги и, очевидно, быстро нашел. Во всяком случае, через полчаса он появился в дверях, и коротко кинув работникам правления, как камень из пращи: «Скоро увидимся» сбежал вниз, сел в машину и был таков.

В тот вечер все сыновья Джамлата были у себя дома, сидели за ужином, когда неожиданно собаки залились лаем, и кто-то громко хлопнул створкой ворот.

– Кажется, у нас гости! – определили в доме. Младший из братьев выскочил за дверь – встретить. Несколько человек решительно шли по двору и на хозяина, встретившего их на полпути, они тут же направили дула пистолетов. Оружие они держали наизготовку.

Два человека остались сторожить младшего, трое заняли позиции возле дома, а еще трое ввалилась внутрь и немедленно взяли братьев под стражу.

Все произошло в считанные минуты. Работники органов безопасности, довольные успешной операцией, погнали перед собой трех плененных братьев, оставив в разоренном доме рыдающих женщин и детей.

Жили братья на отшибе, на холме, и к их дому на автомобиле невозможно было подъехать и потому предстояло гнать арестованных версты две по ухабистой просеке, по которой лишь арбе можно было ездить. Внизу, на берегу реки Чал, поджидала машина для арестантов. Но туда надо было еще добраться. Ночь стояла темная, ни зги не видно. Первым по просеке вели старшего брата и когда они углубилась в лес, он замедлил шаг, чтобы сократить расстояние между собой и братьями.

– Чего спотыкаешься, шагу не можешь прибавить? – закричал на него стражник и прикладом ружья двинул пленника по спине.

И это как бы послужило сигналом двум другим братьям. Во всяком случае, в это мгновенье все завертелось и, несмотря на численное превосходство и вооруженности стражи, братья неуязвимыми вышли

из схватки и бежали под покровом ночи. Самое интересное, что они, как наутро стало известно всему селу, тут же вернулись к себе домой, здраво рассчитав, что стража и мысли не допустит, что они способны на подобную дерзость, и неторопливо поужинали. Братья успокоили близких, взяли смену белья, еду на дорогу и на рассвете не спеша покинули дом.

В тот день в селе и было разговоров, что об этом событии. В сельсовете собрались все руководители села и члены сельсовета. Районное начальство тоже не заставило себя ждать. Кроме легковых машин во дворе сельсовета стояла и машина для арестантов – «черный ворон». Во дворе полным-полно было работников милиции.

Опять в кабинете Танаса Сарапион Пахуалович проводил экстренное заседание с руководством села, в котором принимали участие прокурор района, уполномоченный от райкома партии Кацман и еще несколько работников из центра рангом пониже. Бросалось в глаза отсутствие председателя колхоза. То ли Сарапион Пахуалович посоветовал своему подопечному не лезть на рожон, то ли Руша сам решил поостеречься.

– О чем свидетельствует событие прошлой ночи? – вопросил собравшихся Сарапирн Пахуалович, остановив свой тяжелый взгляд на Танасе, и сам себе ответил: – Показывает, что мы бдительность потеряли! Для кулака, нашего классового врага, ваше село стало вольготным местом, садом, где он отдыхает, развалившись, и безнаказанно чинит свои злодеяния. Почему молчат коммунисты, о чем думают комсомольцы села? Кацман, боюсь, и ты подхватил страшную болезнь под названием либерализм. Нет! Нет! Я никому не даю слова. И здесь не место для оправдательных выступлений! – он обратил свой взор на перешагнувшего порог капитана милиции. – Ну, что скажешь?

– Село взято в кольцо, все дороги перекрыты, в некоторых домах проводятся обыски. Четыре человека с полным вооружением и провиантом стоят наготове, они отправятся в горы на поиски бандитов. – Он указал на вооруженных людей, стоявших у стены по вытяжке смирно. Среди них лишь Дата не служил в ГБ. Очевидно, ему отвели роль проводника.

Сарапион поднялся с места и подошел к бойцам, останавливался перед каждым и вперял в него свой жесткий взгляд.

– Вы получили задание государственной важности! Обязаны взять под стражу кулака Джомлата раньше, чем к нему доберутся сыновья. Здесь присутствует прокурор, он дал санкцию на арест. Советская

власть брала верх над противником куда более серьезным, чем жалкие три бандита, но власть у нас гуманная и мы не хотим лишнего кровопролития! Дата, говорят, что в горах ты, как дома, знаешь все тропы, все подходы к стану.

– И спутники мои не новички в горах, да взять мне на себя твою головную боль, уважаемый Сарапион, – тихо, будто открывая тайну, предназначенную им, двоим, прошелестел носатый Дата, и передернул худыми плечами, будто его знобило.

– Смотрите, как бы Джомлат сам не взял вас в плен, как поступили его бандиты-сыновья накануне! Особенно если он уже под защитой еще троих потомков-головорезов! – насмешливо кинул милиционерам до того молчавший прокурор.

Но Сарапион тут же попытался поднять их боевой дух:

– Село окружено с раннего утра, даже насекомое не просочится. Если бандиты в течение ночи не ушли из села, мышеловка захлопнулась, и они вот-вот будут задержаны. Кроме вас никто не покинет село. А если вы сами попадете в затруднительное положение, вам непременно придут на помощь.

– Уважаемый Сарапион, бойцы проинструктированы по всем вопросам! – счел нужным доложить капитан.

– Раз так, в добрый путь! – громко напутствовал Сарапион.

Дверь кабинета широко распахнули и четверо вооруженных мужчин гуськом выбрались оттуда.

XXVII

Поздним вечером в пятницу я, не дожидаясь субботнего дня, приехал домой из Сухума. В последнее время отец мой совсем сдал, исхудал, осунулся и с трудом поднимался из постели, а порой болезнь приковывала его к кровати на несколько дней. Мать говорила мне, что в моем присутствии отец хоть немного оживляется и даже не отказывается от еды – последнее время он очень мало ел, не было аппетита. Потому, как только предоставлялась малейшая возможность, я спешил навестить родителей.

Когда я приехал, родители еще не ложились, сидели на веранде амацурты, о чем-то тихо переговариваясь.

– Я с утра так и чувствовала, что ждет нас радость! – воскликнула мама и, обведя мое лицо ладонью, – магический знак, которым она

брала все мои беды на себя – поцеловала меня. Отец сдержанно по-мужски поздоровался со мной, но и он не мог скрыть своей радости. А сестричка Мачич уже проворно собирала ужин на стол.

После ужина, отец посмотрел на меня долгим взглядом и сказал, что наутро собирается навестить слепого Сита, и позвал меня с собой.

– Ты любишь слушать златоустов, Сит – один из них. Он продолжит рассказ о несчастном Джомлате, держит данное ему слово, пока живой, донести до всех завет брата. Завтра вдвоем можем пойти к Ситу.

Я с радостью согласился, тем более я знал, что каждую неделю в осиротевшем доме Джомлата собираются старики и слепой рассказывает о горестных злоключениях брата.

Утром мы с отцом, как и сговорились накануне, отправились в дом покойного Джомлата. Совсем недавно в этом большом щедром доме было уютно и хозяевам, и гостям. Но радостные дни для хозяев миновали. Сам Джомлат покинул этот мир, без вины виноватые его сыновья, объявленные властями бандитами, ушли в абреки, лес стал единственным их домом. Не сегодня-завтра власти доберутся до братьев, и их участь будет решена, живыми они не выйдут из леса. Невестки еще носили траур по погибшему свекру, оскудел хлебосольный дом, где не переводились гости. Одни не заходили, уважая горе людей, другие, не раз и не два пировавшие здесь за богатым столом, теперь чурались жилища «кулака». Были и те, кто десятой дорогой обходили «бандитское гнездо». Сит всегда жил в семье брата, теперь он корил себя, что зажился на этом свете, пережил потерю брата, а теперь еще и тревога о племянниках его снедала. Он совершенно потерял зрение и был беспомощен, но невестки его брата трогательно ухаживали за ним, а внуки Джомлата, взяв старика за руку, прогуливались с ним по двору и стремглав мчались на его зов, когда Ситу требовалась помощь. Мой отец часто бывал в разоренном доме своего друга Джомлата и всегда добрым словом поминал невесток Джомлата, хвалил их за заботу о Сите, за их добрый нрав и верность обычаям, укоренившимся в этом доме.

К нашему приходу в доме уже собрались старики. Сам Сит, одетый в выходную одежду, сидел в просторной амацурте на скамье, сложив ладони на металлическом набалдашнике посоха, время от времени он, поставив посох между ног, раскуривал свою трубку с белым костяным мундштуком.

Я уселся в уголке амацурты, чтобы не мозолить глаза старикам и, вынув блокнот и карандаш, приготовился записывать. Вскоре после

нашего прихода Сит тихим голосом продолжил давно начатый им рассказ:

«Случилось это утром, солнечным ясным днем. Мы с братом уже позавтракали, и я стал собирать в гурт жалкие остатки нашей отары, чтобы выйти с ними на пастбище. В это время я заметил, что к нашему пастушьему стану приближаются вооруженные люди. Поскольку они не могли совершить ночью переход по горным тропам, видать, находились со вчерашнего дня поблизости. Получалось, они скрытно наблюдали за нами. Надеяться, что пришли они с добрыми намерениями, не приходилось, но делать было нечего. Они подошли, поздоровались, мы пригласили их в шалаш. Мужчины вошли вовнутрь, уселись, ни к чему особенно не присматриваясь, понимали видно – здесь они тайников не найдут.

– Уважаемый Джомлат, – заговорил первым худой мужчина, вооруженный как все они, – трое из нас работники внутренних органов, четвертого – его зовут Дата – мы взяли в проводники, поскольку эти места нам недостаточно хорошо знакомы. Руководители нашего района и лично Сарапион Пахуалович, начальник районного отделения милиции, поручили нам подняться за тобой в горы. У руководства возникли к тебе кое-какие вопросы и на них надо дать ответы. Сам знаешь, путь нам предстоит неблизкий, и потому собирайся быстро в дорогу.

– Хочешь сказать, я взят под стражу? – осведомился Джомлат, не поднимая глаз на говорившего.

– Нет, уважаемый, никто нам не велел брать тебя под стражу! Нам поручено передать, что по неотложному вопросу хотят видеть тебя в селе и просят спешно прибыть.

– Не обо мне речь, делайте со мной, что хотите, но Христом Богом прошу, скажите, что вы знаете о моих сыновьях? Живы ли они? Сердцем чую беду!

– Кому же, как не тебе, отцу, знать, где твои сыновья? – деланно удивился толстяк, сидевший ближе к выходу. – Нам ничего о твоих сыновьях неизвестно, да и вовсе мы с ними не знакомы.

Толстяк поднялся и мелкими шажками двинулся к выходу и тотчас худой мужчина, который в основном и давал указания, резче, чем раньше, велел Джомлату:

– Собирайся в дорогу, не задерживай нас!

– Не гоже отправляться в дальнюю дорогу натощак, погодите немного, сейчас приготовлю еды! – предложил я, все еще надеясь на добрый исход дела.

– Мы позавтракали у слияния двух потоков, да и на обратную дорогу у нас есть провизия... – пробормотал проводник Дата.

В глаза он старался не смотреть.

Джомлат молча вошел в коморку при шалаше и вскоре появился одетым в дорогу, никакой еды или другой поклажи он не взял, только бурку перекинул через руку и зашагал впереди вооруженных людей. Вдруг он приостановил шаг и окликнул меня – я как раз вышел из шалаша:

– Не лучше ли нам, Сит, пройти по тропе над озером? Так ведь ближе.

– Да, дад, ближе, и я провожу вас до того места, – отозвался я и, прикрыв дверь нашей хибарки, поспешил за ним.

Джомлат не хуже меня знал, что по гибельной тропе вдоль озера лишь дикая живность пробегала, потому и звалась она звериной. Я понимал: он хотел о чем-то дать мне знать, и теперь старался не отставать от него и уводивших его людей. Конвоиры, видать, не ожидали, что Джомлат станет легкой добычей, наслышаны были о будто бы волчьем его нраве, о том, что он враг народа, но обнаружив, что перед ними покладистый, безобидный человек, спокойно следовали за ним.

Многие из вас знают не понаслышке те места. Тропа над озером петляет, чем дальше, тем становится уже. Справа внизу – темные в любое время воды озера, в ненастные дни ветер там поднимает высокие волны, и они свирепо бьются о скалистый берег, заливая тропу водой. Тогда не только человек, но и неразумный зверь не приближается к тому месту. Справа встает гора, она так высока, что вершину ее самый зоркий человек снизу не разглядит, к тому же пик горы постоянно укутан туманом.

Несчастный мой брат шел впереди и уже приблизился к самому узкому месту над озером. Стражники, похоже, что-то заподозрили или попросту не решились двигаться по опасной дороге и, остановившись, стали переговариваться. В это мгновенье мой брат сошел с тропы и стал карабкаться по почти голому косогору.

– Стой! Не двигайся! – заорали стражники и направили на него оружие. Я стоял, потеряв дар речи, мои худшие предположения оправдывались.

– Провел нас, волчара, бандит! – закричал один из милиционеров.

– Все равно тебе не уйти! – подхватил другой. – Лучше сам подобру-поздорову спускайся вниз!

– Размажем твои мозги по камням!

– Кулак недобитый!

– Вражина!

Чего они только не кричали ему вослед, я таких слов раньше и слыхом не слыхал. Потом они открыли пальбу. Но Джомлат все карабкался вверх, и, Благодарение Господу, пока еще ни одна пуля не достигла своей цели. Джомлат добрался до уступа в скале и встал там, едва различимый в тумане.

– Вы, горе-стрелки, послушайте меня! – несмотря на расстояние, неожиданно звонко донесся до нас голос Джомлата, и преследователи перестали палить из своих ружьишек, прислушались. – Чего это вы палите в небо? Радостную весть получили? Оповещаете округу? Или ваша радость со мной связана? Гордитесь, что я стал ближе к небу? А? Что ж, поднимайтесь ко мне, и я порадуюсь вашей удали! – Джомлат помолчал, но ответа не получив, продолжил: – Жалкие людишки, задумывались вы хоть когда-нибудь, как зарабатываете себе на жизнь? Вы хуже собак! Ваш живоглот начальник науськивает вас на людей, а вы накидывайтесь на достойных мужей, рвете им глотки, как бешеные псы. Бросив невинного человека в тюрьму, вы дружно набиваете брюхо в ресторане. Совесть свою вы давно проели, пропили! Видели вы, бедолаги, крюк, которым из котла вареное мясо достают? Вы и есть те крюки! Хозяева вами мясо из котла таскают. Зубами еду рвут, в вине усы мочат, а крюки отбрасывают в сторону. И валяются они там до следующего раза. Бедолаги, переделанные из людей в крюки, я рад вашему приходу. Хотите не хотите, а придется рассказать об увиденном, услышанном. Пока будете рассказывать, может, и вам самим что-то откроется. Правда, как и вода, всегда найдет свое русло!

– Сит, брат мой великодушный, я уповаю на твое зоркое сердце, на твой ум, на ясную твою память и поручаю тебе – это мой завет, мой последний наказ – пока жив, рассказывай всем, о том, чему свидетелем стал! Повторяй помногу раз! Пусть останутся в памяти людской истинные события, а не ложь о них!

– Эгей, стражники, чего застыли изваяниями, стреляйте же, я распят перед вами, поднатужитесь, и кому-нибудь из вас повезет, и пуля угодит в самое мое сердце. Или я вам нужен живым? Страшно перед

сыном Пахуалы Сарапионом показаться с пустыми руками? Неровен час на месте и порешит вас, недотеп! Ну, раз я нужен живым, зачем дело стало? Поднимайтесь сюда ко мне, свяжите по рукам и ногам, волоките вниз...

Как мы обрадовались, получив землицы в свое владение, как кинулись поливать ее своим потом! За землей стали ухаживать, как за матерью, с чистым, благодарным сердцем! Да, видно, свобода крестьянская длится недолго! Настали для нас черные дни! Лучших тружеников, соль земли нарекли врагами, кулаками. Определили каждому долю – кому в тюрьме гнить, кому – пулю в лоб, кому с семьей в сибирскую землю вмерзать! Лучших из лучших тайком убирают, потом скажут: сами себя порешили! Господи, как обесценилась жизнь человеческая!

Я увидел, как группа пастухов торопятся к нам, наверное, они услышали недавнюю пальбу и поспешили узнать, не нуждается ли кто в помощи. Мой несчастный брат со своего места тоже заметил их и окликнул.

– Спешите, добрые наши соседи, времени у меня в обрез! Меня заждалась хозяйка вод из глубин темного озера! Хорошо, что и вы услышите последние мои слова, мой завет. Станете свидетелями правды, истинной, которую не утаить. Я не страшусь встречи с хозяйкой вод, как бы ни глубоки и ни темны ее владения. Тело на дне упокоится, а душе откроется иной мир. Я, видит Господь, злу не служил, законов предков не нарушал, честь свою не пятнал, грехи мои невелики и верю, что душа моя войдет в светлые райские врата, и будет почивать в Божьем саду!

Ясный голос брата разносился далеко над водой, поднимался ввысь к вершинам гор. Я хотел окликнуть его и даже попытаться взобраться туда поближе к нему, но неведомая сила приковала меня на месте. Я даже рта не мог открыть, стоял, окаменев, онемев. И стражники застыли в глухом молчании, будто их накрыла с головой чужая непреодолимая воля. Так зачарованно стояли мы и только на другом берегу озера метались какие-то люди.

– О, горы жемчужные мои, судьба моя! – не утихал голос Джомлата. – Создатель сотворил вас высокими гордыми хранителями благословенной земли. Страшное горе, что несет нынешнее время, – я знаю – не укрылось от вас, ведь с высоты вам далеко видно. Вы знаете, что скоро затянетесь траурным туманом! Ваши воспитанники горцы по обе стороны Кавказа старались быть достойными вас! Свою и вашу честь они

десятилетиями защищали с оружием в руках. Их кровь лилась потоками, соперничая с горными водопадами. Сколько из ваших сыновей пало на поле брани, сколько сгинуло на чужбине! Сколько тел изгнанников осталось на дне морском! Все это вы видели и все запомнили. Надежду нашу, что наступили добрые времена для горцев, вы делили с нами и сияли своими вершинами. Но век был короток той надежды! Пришел час беды! Ваши сыновья забыли о почитании богов. Внуки теперь и не помнят наших святынь. Нет ни Бога, ни иконы, всё – вранье! – смеются они нам в лицо. Люди нового времени оскверняют вас, забыв о стыде. Для них нет святых и чистых мест. Вы помните, горы мои гордые, как ваши сыновья в вашу честь придумали язык охотников и на нем говорили лишь здесь вблизи вершин? Теперь не только он позабыт, но простые слова уважения не приходят на язык новым людям новой власти. Останавливаясь у ваших прекрасных источников, прежде чем опустить походную баклагу в прозрачные воды, мы тщательно обтирали ее, и с уважением, преклонив колени, испивали целебную водицу. А теперь невесть откуда взявшиеся пыльные люди, мужчины и женщины, без разбору лезут к вам, плещутся в ваших источниках, визжа, как свиньи, а потом почти голышом жарятся на солнце, не ведая ни стыда, ни совести. Святые поляны изгажены их присутствием, они оставляют за собой грязь и пепелище. С топорами они ринулись в леса у ваших подножий. Взрывчаткой бессмысленно рушат скалы, превращают в болота чистые реки, истребляют дичь в лесу. Мы не смогли уберечь вас, горы, силы оказались неравны. Не гневайтесь! Слишком большая орда навалилась на ваших сыновей, к великому несчастью, малочисленных. Не сомневайтесь в нашей верности вам и простите наше бессилье! И ты, брат мой Сит, взываю к мудрости твоей, прости меня, не прокляни! Слаб человек! Нет моих сил видеть, как зло одолевает нас, как сын поднимается против отца, а брат брата выдает, вместо того, чтобы кровью искупить причиненное тому зло. Я живой мертвец, ибо зло хозяйничает в нашем доме, а я лишен возможности прогнать его восвояси. Правду в рабыню превратили. Ложь погоняет ею. Голытьба правит миром. Пришло время живым завидовать мертвым!

Брат мой замолчал, и неожиданная тишина зазвенела в ушах. Джомлат завернулся в бурку и, оттолкнувшись от скалы, полетел вниз в озеро. Я зажмурился, и земля поплыла под ногами. Стражники снизу хором заголосили: «А-ах!» – то ли от ужаса, то ли от досады, что до-

быча ускользнула от них. Открыв глаза, я заметался по берегу озера, окликая брата. Широкие круги расходились по воде, и я полный решимости последовать за Джомлатом ринулся следом, но подбежавшие пастухи обхватили меня, не дали совершить задуманное. Как было бы хорошо, если бы они замешкались. Не влачил бы я свои дни в беспросветной печали. Стражники же куда-то сгинули, в тот раз я больше их не видел.

Неделю спустя родня и близкие нам люди, соседи, все, кто мог преодолеть дорогу, двинулись в горы, туда, к озеру, в бездонных глубинах которого покоилось тело Джомлата. Прах его невозможно было достать со дна, мы прибыли перенести его Дух в родное село. Сыновья Джомлата первыми пришли к берегу озера. Отложив в сторону свои ружья, они ходили по берегу и с невиданной горечью обращались к Духу отца.

Как ты решился на это, отец? Понадеялся своим уходом спасти сыновей? – заговорил старший и средний тотчас подхватил:

– Что мы сделали не так для твоего спасения, отец?! Все требования властей исполнили, превратили себя в голь перекатную. А власти все равно записали нас в бандиты. Кто преследует нас? Кто нам назовет имя твоего кровника, отец? Кому нам мстить?

– Это чудо-озеро теперь назовут местом успокоения Джомлата, – сменил среднего брата младший. – Ты остался здесь в горах, мой отец, лучшей доли ты себе никогда не желал. Ты не дал им отнять у тебя твои горы, ты не дал себя сослать в Сибирь. Ты поступил, как герой, отец, остался со своей честью, со своей землей, с горами. Мы не унизим тебя плачем о тебе и жалостью, отец! Мы доверяем тебя горам, они вечным памятником станут над тобой!

Братья никак не могли расстаться с местом гибели отца, но все мы опасались, что вот-вот прибудут каратели и захватят их, и попросили братьев укрыться в стороне, а мы принялись взывать к Духу брата. С двух сторон стонали в руках стариков струны апхярцы, а я, горемычный, с башлыком брата в руке ходил по берегу и молил: «О, Джомлат, дад, идем домой, идем домой». Чистый бурдюк держали открытым, чтобы дух несчастного моего брата нашел там временное пристанище. Внуки брата, сменяя меня, тоже взывали: «Дедушка, вернись с нами домой, деда!» Ноги у меня подкашивались, и, когда дух брата вошел в бурдюк, и вовсе мне отказали. Дай бог здоровья и добра Бадре, помог взобраться в седло и всю дорогу вел моего коня под уздцы.

Я не вижу вас, собравшихся здесь, но всем своим сердцем ощущаю, как глубоко вы разделяете наше горе. Каждодневно вы окружаете нас заботой, добросердечием. Если бы вы знали имя лютого нашего врага, доведшего нас до гибели, то вы бы сказали. Но оно, как и нам, и вам неизвестно. Ни в одном человеке и роде, видать, дело. Ай, дад, дад, подайте стакан воды, в горле пересохло и голова кружится...»

* * *

В нашем доме на сваях в гостевой комнате пылает камин. Со своего места за письменным столом, я слышу, как потрескивают поленья. Я уже второй день мучаюсь, пишу, переписываю то, что занес в блокнот со слов старика Сита. Я хочу сохранить для людей наказ Джомлата, увиденную им правду, оставленную для потомков, хочу сохранить для всех его высокое понятие о чести, его безмерную любовь к родному краю. Я не хочу, чтобы забылась трагическая судьба мужественного и достойного во всех отношениях человека.

Поставив последнюю точку, я поднялся с места, подошел к камину, подбросил еще дров в огонь и уселся возле него, любуясь алым отсветом раскаленных угольков. За темными окнами – время перевалило за полночь – нудил моросящий дождь, слышен был монотонный звук капели с крыши. Глядя на бегущее по поленьям пламя, на жаркие угольки, я вдруг вспомнил слова моего деда Бежана: «Смотри, Лаган, как красив огонь в очаге, он не только тело греет, но и душу веселит. Знаешь, тепло от него не только тому достается, кто костер разложил. Но и всем, кто придет погреться возле него». Только сейчас я осознал глубокий смысл слов деда. У чужого огня могут греться многие, но свой жизненный путь каждый выбирает сам, иногда предпочитая гибель измене самому себе. Тут же мои мысли вернулись к оставленной на столе рукописи, к судьбе Джомлата». Новое время испепеляющим огнем прошлось по жизни Джомлата, но только ли по ней одной? Может, в трагедии Джомлата отразилась, как в капле воды, и судьба всего народа? Джомлат был истинным сыном своей земли, своих гор. Об этом свидетельствует все его поведение – его несломленная гордость, его отчаянное сопротивление силе, которая превосходила его беспредельно. О силе личности Джомлата свидетельствуют и его попытки, жертвуя материальным, договориться с властями. Он был готов идти на уступки, не идущие в разрез с его понятиями чести. Потому что он

перед собой ставил важную цель – сохранить жизнь сыновьям, которых воспитал по законам, единственно признаваемым им над собой – по законам горцев. Сыновья могли сберечь все то сокровенное, без чего он не представлял жизнь своего народа, сберечь и передать в свою очередь своим сыновьям. Трагедия Джомлата – это документ сурового времени. В страшную бездну довелось ему заглянуть, но он переборол слабости, присущие каждому человеческому существу. Живо, будто я сам там присутствовал, представляя Джомлата, распятого на скале, повторяя про себя его предостережение, оставляемое миру, я не мог найти в самоубийстве этого человека признака слабости, хотя и считалось во все времена, что настоящий мужчина не сдается до последней капли крови.

Не по вине Джомлата дом его разорен, сыновья объявлены бандитами и ждет их, надо полагать, незавидная участь. Недаром я услышал от отца, когда мы возвращались из осиротевшего дома Джомлата, полные боли слова:

– Новое время – это время лишенных совести и чести людей, как Руша и его приспешники. Незапятнанное имя нашего села теперь будут чернить, уроды вроде Зафаса и Халти. А вы, молодежь, научившись грамоте и ремеслу, не вернетесь сюда, я знаю. Вы останетесь в городах, а в наших домах погаснут очаги.

Мне нечего было возразить, а теперь, сидя у камина, размышлял, кому показать свою рукопись и как ее назвать? О том, чтобы отнести для прочтения в литературное объединение, и думать было нечего. Там никого не взволнует судьба Джомлата, а меня нарекут щенком кулаков, подвизгивающим врагам народа, могут и вовсе выгнать из техникума, пособникам кулаков не место в учебных заведениях победившего пролетариата.

Но нельзя под спудом держать кровоточащее свидетельство времени. У меня не хватит смелости обеспокоить своими заметками самого Дырмита Гулиа, но могу обратиться к Алиасу Шаматовичу. Он был ко мне внимателен и я бывал у него дома и даже получил полное одобрение, когда зачитал одно из сказаний о Сасрыкуе, которое мне удалось записать со слов одного старца. Бережное отношение Алиаса Шаматовича к фольклору всем известно, но как он отнесется к рукописи, что лежит у меня на столе? Увидит ли он в судьбе одного человека возможную судьбу целого народа.

Из раздумий меня вывели крики петухов, возвещавших, что рассвет близок, и я решил попытаться уснуть хоть на часок.

Окончив в конце июня абхазский педагогический техникум и получив квалификацию преподавателя начальных классов, я, обманув чаяния родителей, не вернулся домой, а поступил в педагогический институт в Сухуме. Вообще-то моей целью был Литературный институт в Москве, но по тем временам выпускники техникумов по постановлению комиссариата просвещения обязательно должны были отработать в школе два года. Тогдашний председатель Союза писателей Абхазии известный писатель Алиас Шаматович горячо желал направить меня в Москву на учебу, но не удалось. Но именно благодаря ему меня приняли в институт без обязательного двухгодичного стажа по специальности.

Узнай об этом мои родители, вряд ли они выразили бы ему благодарность за заботу о сыне. Дело в том, что мои родители надеялись, что после завершения учебы в техникуме, я обязательно вернусь домой. Стоило мне на выходные приехать домой, как они заводили разговор о моем возвращении.

– Ты и без подсказки видишь, дад, стареем мы на глазах, не справляемся с хозяйством, – начинал мой отец, – не вернешься домой – все пойдет прахом. Сестра твоя пока с нами, но и она, как старшие сестры, не сегодня-завтра встретит свою судьбу и оставит отчий дом.

– Нан, Лаган, и честь и слава этого дома в твоих руках! – подхватывала мать слова отца.

Иногда разговоры о необходимости моего возвращения домой затягивались за полночь. Родители сами разузнали, что в поселке «Старая крепость» неподалеку от нас как раз в начальную школу требуется учитель. Они даже переговорили с моим дядей Танасом, председателем сельсовета, чтобы он это место придержал до завершения моей учебы в техникуме. Я твердо решил продолжить образование, но пока помалкивал, щадя чувства моих родителей. Когда же меня приняли в институт, некоторое время я не ездил домой, страшась родительского гнева. Из писем сестры знал: родители считают, что я не оправдал их надежд. «Напрасно мы на него надеялись. Никогда он сюда не вернется», – оказывается, говорили они. Но однажды я услышал о событии, которое погнало меня домой.

Я уже пересек полдвора, когда из амацурты меня заметила мать, и вышла навстречу. И я остро ощутил, как истосковался без нее и отца.

– Никак, горе, постигшее наше село, привело тебя сюда! – сказала мать, обнимая меня и заглядывая в глаза.

– Как отец? Здоров?

– Ужасная новость уложила его в постель и с тех пор не поднимается! – сообщила мать.

Отец, лежа в постели, курил свою неизменную трубку. Когда я вошел, он буднично сказал:

– Хорошо, что ты приехал.

Я три месяца, как не видел отца. За это время в нем произошли разительные перемены, даже голос у него стал старческим. Отец мой одряхлел не по годам. На табуретке возле его изголовья я заметил кучу лекарств, видно, Мачич побеспокоилась о них. Я сел возле отца и он, отложив в сторону трубку, тихо заговорил:

– Совсем ты о нас позабыл, дад, как давно тебя не было дома. Должно быть новая учеба не оставляет совсем времени? Расскажи, как живешь.

Я коротко рассказал о своем студенческом житье-бытье, отец обрадовался, узнав, что я получаю стипендию.

– Раз получаешь деньги в руки каждый месяц, сумеешь разумно их распределить! – сказал он. – По одежке протягивают ножки.

Так мы мирно переговаривались, пока мать и сестра собирали еду на стол, иногда и мать вмешивалась в разговор, обращаясь ко мне с ласковыми словами. Я был очень признателен родителям, что они не выказали вслух свою обиду, не засыпали меня упреками. Возможно, их обиды растворились в боли из-за участи сыновей несчастного Джомлата. Недаром же первые слова матери при встрече касались именно этого события. Она угадала, именно весть о трагедии, произошедшей с сыновьями Джомлата, и заставила меня поспешить в село. Я хотел из уст отца услышать о том, что на самом деле случилось, я знал, что он никогда не погрешит против истины.

До ужина отец не касался больной темы. Мы мирно поели. Отец сел на кровати и, закутавшись в одеяло, закурил неизменную свою трубку и начал свой горестный рассказ:

– Лаган, ты должен помнить сына Санарды, Мсаса, в чьем доме произошло кровавое событие. Сколько раз он входил в наши ворота, погоняя перед собой своего навьюченного полуседого ослика. И чем только не нагружал бедолага Мсас своего осла – и бадьями, и большими деревянными кружками, и мешками, из которых торчали ручки самшитовых ковшов да ложек. Золотые руки были у Мсаса. Вон, на углу висит подойник. Тоже его работа. И среди утвари найдешь ложки, сработанные Мсасом. В селе нет ни одного дома, где нет поделок Мсаса. Он про-

живал за рекой Пал, у самого подножья гор, кукуруза там не давала урожая. Вот он осенью и ходил по деревням. Обменивал свои бадьи да ковши на кукурузу! Много ли ему, одинокому требовалось? Зерна, что Мсас получал взамен своих ложек и плошек, хватало на год. Жил он бобылем. Правда, попытался было он семью создать, но жена с ним долго не прожила, сказала: «Не могу век коротать в медвежьем углу» да вернулась в отчий дом. А Мсас ни за что не согласился бы оставить свой медвежий угол, сам он и управлялся по хозяйству, взвалив на себя и мужскую, и женскую работу. Утром он уходил в лес, пас коз, вечером доил их, возился с молоком, с едой, да и заделы для ложек, черпаков, и всего такого, тоже дожидались, когда он покончит с домашними делами и сядет обрабатывать их. Хозяйство Мсас держал завидное, я несколько раз бывал у него в гостях и удивлялся тому, в каком порядке и чистоте он держит свой дом, не каждой сноровистой хозяйке такое под силу, да и готовил он отменно. Стол накрывал Мсас щедрой рукой. Более вкусного меда, чем мед из его пасеки мне не доводилось есть.

Два-три года тому назад пристали к Мсасу с ножом к горлу – вступи в колхоз, да вступи. Но он жил на таком отшибе, что пришлось бы полдня тратить на то, чтобы добраться на колхозные поля. Мсас тем и отговаривался, что из своего хутора он мало чем сможет помочь общему делу. Мало-помалу власти оставили его в покое, не мозолил он им глаза, они о нем и позабыли.

Сыновья Джомлата захаживали к Мсасу. Правда, надолго у него не останавливались, но было у них, где спокойно ночь-другую провести. Дело не только в том, что Мсас жил в укромном месте. Сейчас такие времена, что все наши добрые обычаи уходят, как вода в песок, но для прежних времен пользоваться хлебосольством Мсаса не было бы зазорным для братьев. Он не был им чужим человеком, а доводился родней – его отец Санарда и Джомлат являлись сыновьями родных сестер.

Вскоре стало известно, что братья навещают Мсаса, и красные окрестили дом Мсаса берлогой абреков. Тайну первым вызнал Руша и тут же, оседлав коня, помчался во весь опор в район и спешился только в доме своего тестя Сарапиона Пахуаловича. Должно быть, он весь сиял, как вестник радости. Говорят, Сарапион Пахуалович даже обнял своего бдительного зятя, взявшего след абреков, и от души расцеловал. Радостную новость зять и тесть праздновали за накрытым столом допоздна.

Сам знаешь, делишки свои красношеи (отец так называл работников внутренних органов) всегда обделывают, напустив много туману. Но кое-что все равно просочилось в наше село, и это были не пустые слухи.

Сарапион Пахуалович, памятуя прошлые неудачи, решил лично участвовать в захвате абреков и взял с собой опытных в своем бесчеловечном деле, подчиненных.

Темной ночью – дождь лил как из ведра! – Сарапион Пахуалович с отрядом милиции окружил дом Мсаса и стал выжидать утра. Рано утром милиционеры из засады наблюдали, как хозяин дома возился с козами, потом из амацурты носил в тарелках еду в дом на сваях – стало ясно, что там находятся абреки. Обычно братья недолго гостили у Мсаса, но, видно, пришел их час, иначе, зачем они стали бы задерживаться у него четверо суток? По приказу Сарапиона Пахуаловича милиционеры затаились и только во все глаза следили за домом, пока хозяин, покончив с домашней работой, не погнал коз в лес. Тут-то они его сцапали и привели к каштановому дереву в глубине леса. Там, под густой кроной, защищающей от дождя, сидел, кутаясь в бурку, начальник милиции.

– Попался, сукин сын! – рыкнул на Мсаса Сарапион Пахуалович. – Превратил свой дом в берлогу для абреков!

Тот с отрешенным лицом, будто не его держали под прицелом винтовок, молчал.

– Послушай, ты, лесной человек! Ты еще можешь спасти свою шкуру! Все в твоих руках! Я покажу тебе дорогу к спасению, и не одну, целых две. Выбирай, что тебе больше по нутру. Если у тебя сердце мужчины, дадим тебе оружие, иди и абреков, мы знаем, что они залегли в твоем доме, перестреляй, пока они дрыхнут. Я позабочусь, чтобы о тебе, как о герое, узнали повсюду. Газеты о тебе напишут, правительство наградит, как защитника Родины от бандитов! Но, если ты жалкий трус и вид оружия тебя пугает, то у нас есть яд, подсыплешь бандитам в еду, и дело сделано. Что ты выбираешь, лесной человек?

– Немало я живу на свете, начальник, но никогда не слышал, чтобы в доме абхаза хозяин перестрелял спящих гостей или осквернил хлебсоль, отравив угощение. Неужто такому сраму я положу почин? Человек я одинокий, никто не заплачет обо мне, и дети не останутся сиротами, так к чему мне держаться за жизнь? Убейте меня, расстреляйте!

Я жил всегда по совести и уйду из жизни, не покрыв позором людей, от кого веду свой род.

– Вы видите, как нагло дикарь разговаривает со мной! – вышел из себя Сарапион Пахуалович. – Не из-за страха он бандитов приютил. Сам им под стать. Враг народа! Потому и в колхоз не вступил.

– Единственные мои враги – это волки да шакалы, задирающие моих коз! – сказал на то Мсас. – Врагов среди людей у меня нет, всегда рад встретить их, как добрый хозяин, в своем доме. Ты начальник, а я всего лишь лесной человек, живущий у подножья гор. Но и я, как и ты, рожден женщиной. Именем матери твоей прошу, выслушай меня.

– Не слушать твою болтовню надо, а повесить, вон, на том дереве. Там твое место!

– Успеете повесить, куда же я денусь, я – ваш пленник, но прежде выслушай меня. Тебя, начальник, видать, ввели в заблуждение. Братья, за которым вы охотитесь, как за бешеными собаками, на самом деле люди невинные. Все недобрые дела, что творятся окрест, навесили на них, без вины виноватых. Так, наверное, проще, чем отыскать настоящих бандитов. Но начальник, не по совести это! Если лучших из лучших тружеников и совестливых людей, как Джомлат и его сыновья, расстрелять без суда и следствия, то как же наладится жизнь на нашей земле? Никак она не наладится! Я это знаю, я – лесной человек, а ты, начальник, почему о том не ведаешь?

– Не распускай язык! – прикрикнул на него Сарапион Пахуалович. – Слишком много говоришь!

– Как же много, когда это мое последнее слово?! – удивился Мсас. – Еще раз обращаюсь к тебе с просьбой, начальник. Не допусти пролитья невинной крови. Сыновья Джомлата перед своим народом чисты, как детская слеза! Пролить кровь невинных людей – большой грех. Никто не избежит кары из-за этого греха. Не бери на себя столь большой грех, начальник, иначе искупать его придется твоим потомкам по седьмое колено.

– Ты все сказал, лесной человек?! А теперь иди и передай своим почетным гостям мое слово: дом окружен! Спасения нет! Но если они выйдут с поднятыми руками и без оружия, то это облегчит их участь. Мы оформим дело, как добровольную явку, и на суде им это зачтется.

– Нет к твоим словам доверия, начальник. Не сочти за обиду, но вы там, в милиции одно говорите, другое делаете…

– Вот что, дикарь, еще одно слово, и мы испепелим дом вместе с тобой и твоими уважаемыми гостями, сил и средств у нас хватит! Так что немедленно иди и передай мои слова бандитам!

Мсас ничего больше не добавил к сказанному – понял, наверное, что не будет услышан, и отправился домой. Милиционеры из засады наблюдали за тем, как он неспешно идет по двору, подымается на крыльцо. Наконец он скрылся в доме. Наступила напряженная тишина. В доме не было заметно никакого движения.

И вдруг произошло неожиданное. Откуда-то на взмыленном коне примчался Руша, пришпорив его, птицей перелетел через забор во двор Мсаса, выкрикивая:

– Эгей, Мсас, ты дома? Выходи! Принимай почетных гостей!

Конь так и плясал под ним.

Сидевшие в засаде милиционеры не знали, что предпринять. Одно было ясно: пока нельзя открывать огонь, но с какой целью Руша оказался во дворе дома Мсаса никто не мог уразуметь: «Что за ребячество? Пусть ему и многое дозволено, как зятю Сарапиона Пахуаловича, но его слишком уж заносит!» – ворчали они.

Тишину нарушили несколько выстрелов из дома. Испугавшийся конь встал на дыбы и, несмотря на славу редкого наездника, Руша не удержался в седле и слетел наземь, а разгоряченный конь сам, без понукания седока перепрыгнул через забор и углубился в каштановую рощу. Руша, видно, сильно ушибся, поднялся на ноги с трудом и, подобрав слетевшую с головы шапку, заковылял к воротам. Он представлял отличную мишень, а братья, объявленные абреками, славились меткой стрельбой, но никто в него не выстрелил. Если бы хотели его убить, так и с первого раза уложили бы. Но братья оставили ему жизнь, почему теперь уже никто не узнает, попугали только, изгоняя со двора и показывая, до чего просто уязвить пустую гордыню. Как только Руша скрылся в роще следом за своим конем, между братьями и милицией завязалась перестрелка. Бой затянулся и потому, несмотря на то, что Мсас жил на отшибе, звуки выстрелов достигли окраин села, всполошив жителей, и люди, окликая друг друга, заспешили к дому Мсаса. Я тоже был среди них, но теперь из меня ходок неважный. Плелся в хвосте. Да если бы и оказался первым, что толку? К нашему приходу все было кончено. Братья – старший и младший – уже были мертвы, тяжелораненый средний брат, еще дышал. Старший, сраженный пулей, лежал на пороге большой комнаты, младший – на крыльце, очевидно,

оттуда отстреливался. Среднего нашли на заднем крыльце – возможно, надеялся уйти живым, или с той стороны прикрывал братьев? Мсасу удалось спуститься вниз и, укрываясь за каменной сваей, стрелял по нападавшим, пока чья-то пуля из тех, кто дом взял в осаду, его не достала. Вцепившись в винтовку обеими руками, он лежал в луже крови и тоже был еще жив.

У Сарапиона Пахуаловича тоже были потери – два убитых милиционера, несколько раненых – но он мог гордиться собой – истребил неуловимых бандитов, очистил лес и село от врага народа.

И мертвых и живых всех приказано было везти в Очамчыру. Когда Сарапион Пахуалович со своим отрядом спустился в село, народ уже собрался отовсюду. Старейшины обратились к нему. Мне выпало говорить.

– Дад, Сарапион Пахуалович, выслушай нас. Мы всем селом просим тебя, оставь нам тела убитых. Мы предадим их земле, как по обычаям полагается, пусть покоятся с миром возле могил своих дедов и прадедов.

– Смотри ты, как заговорили! А когда откармливали бандитов в лесу, не задумывались, чем это закончится?! Никого и ничего вы не получите! – грубо так оборвав нас, начальник милиции сел в «черный ворон» и укатил. Следом убрались и его подчиненные.

Средний брат умер по дороге в Очамчыру, а Мсас прожил еще сутки.

Дальняя родня Мсаса собралась. Разобрала его добро, поделила живность и отвела к себе, а дверь дома горемычного заколотили. Так навеки осиротел еще один крестьянский дом. Убываем, Лаган, убываем с каждым днем.

Дом Джомлата – нынче дом скорби. Надо обладать большим мужеством, чтобы перешагнуть порог жилища, где не стало сразу четырех мужчин. В гостевой комнате – четыре лавки. На каждой из них лежат вещи погибших, так разложены, что издалека подумаешь: четверо мужчин в полном снаряжении легли отдохнуть ненадолго. Распрямлены плечи черкески, из нагрудных карманов блестят кончики газырей. Свернутые башлыки венчают изголовье, а в изножье – начищенные мягкие сапоги… и оружие при них… Сюда приходят люди, здесь прощаются с погибшими, ведь не осталось на земле их могил, некуда придти, поклониться. Несчастные вдовы не просыхают от слез. Дад, Лаган, пойди завтра в дом Джомлата, оплачь его сыновей, поддержи, чем можешь стари-

ка Сита – он совсем плох! – ободри мальчиков. Сам знаешь, от старшего и среднего сына остались в роду по два мальчика. Они еще совсем малы, не из тех, кто может дотянуться до ручек плуга. Но, даст бог, подрастут, первую борозду в поле проложат, и не позволят никому заколотить двери родового дома. Мы все с надеждой на них взираем. Сколько же вершиться злу? Есть же справедливость на земле? Днем и ночью мучаюсь, стараясь разобраться, кто и почему сгубил Джомлата и его сыновей? Неужто они останутся неотомщенными? Господи, взываю к тебе, покарай бесчинствующих на нашей земле, чьи руки в невинной крови. Огради волей своей нас от Рыжего с бесовским взглядом!

XXIX

На следующий день должны были начаться занятия в институте. В одноэтажном здании на перекрестке дорог помещалась канцелярия нашего института и накануне занятий там было многолюдно. Студенты толпились у доски объявлений, где было вывешено расписание занятий, а еще список первокурсников. Я был более чем уверен, что принят в институт, но всеобщее волнение коснулось и меня. Ходили разговоры, что последнее решение о зачислении студентов в вуз остается за ректором и не исключены всякие неожиданности. Возле стенда филологического факультета негде было яблоку упасть. Я некоторое время выжидал в стороне, убеждая себя, что лично мне не о чем волноваться. Тем не менее, и мне не терпелось увидеть свое имя в списке. Как только народ у стенда немного рассеялся я подошел поближе и пробежался взглядом по списку. Сердце радостно екнуло, когда я обнаружил свою фамилию среди принятых на учебу.

– Лаган! – окликнул меня звонкий девичий голос.

Я оглянулся. Ко мне с улыбкой приближалась Лил, и я шагнул ей навстречу.

Мы с ней не виделись года два. Как она изменилась за это время, как похорошела!

– Поздравляю! Я видела твою фамилию в списках!

– И ты, наверняка, студентка, Лил! – сказал я, любуясь ее сияющими большими глазами. – Ты не могла провалиться!

– Не могла! – весело согласилась она. – Вот, где я значусь!

Она подвела меня к противоположному стенду, и я прочитал в списке студентов, принятых на биофак: «Магба Лил Захаровна».

– Ты выбрала биофак? – не мог я скрыть своего удивления. – Ты же замечательная пианистка, в скольких концертах участие принимала, и вдруг – биофак! Почему?

– Не одного тебя я удивила своим выбором, все сегодня меня о том же спрашивают! – внезапно погрустнела девушка и, опустив глаза, стала листать книгу, которую держала в руках.

– Извини, если мой вопрос расстроил тебя!

Она двинулась к выходу, и я пошел рядом с ней.

– У моего выбора – отдельная история. Из-за семейных обстоятельств я иду на биофак…

Больше к сказанному она ничего не успела добавить, так как мы оказались на улице, где Лил поджидала подруга.

– Познакомьтесь, это – Асиа. Мы с ней будем учиться в одной группе. Решили стать богинями-защитницами всего живого.

– Лаган! – представился я подруге Лил.

Она подала мне руку, с интересом разглядывая меня насмешливыми глазами. Невысокого роста крепко сбитая девушка была одета в ситцевое платьице в крапинку. Волосы у нее были коротко острижены, а выражение ее подвижного лица свидетельствовало о бойкости и даже дерзости.

– Поздравь! Лаган тоже – студент! – сказала ее Лил. – Мы года два назад учились вместе в музыкальном училище. Он там недолго терзал скрипку.

– Недолго, а запомнился! Подначила подругу Асиа.

– Скажу тебе по секрету, он – поэт!

– Старый друг и к тому же поэт! Умолкаю! – засмеялась Асиа, но, похоже, и вовсе не собиралась молчать.

Я, чтобы увести разговор о себе в сторону, сказал, обводя взглядом девушек:

– Раз вы решили стать богинями всего живого, то я одним из первых буду возносить вам молитвы!

Стройная Лил с горделивой посадкой головы на высокой шее, во всем превосходила подругу, хотя и та была не лишена обаяния.

– Как поэтично! – захлопала в ладоши Асиа, и мы все трое дружно рассмеялись.

– Ну, мне пора! – попрощалась подруга Лил и ушла, бросив на нас лукавый взгляд.

Лил направлялась домой, и я, несмотря на то, что у меня была назначена деловая встреча, вызвался проводить ее. Она не возражала.

Мы шли по набережной улице. В тот час море штормило. Мутные вспененные волны с яростью разбивались о берег.

Мы шли неторопливым шагом, и я надеялся, что Лил живет далеко, и мы сможем по дороге вдоволь наговориться. Несмотря на то, что в училище мы занимались вместе, я не был близким другом девушки, и мне никогда не доводилось ее провожать домой. То, что после разлуки, она меня встретила столь приветливо, радовало несказанно, только я не решался выразить это словами.

– Тебя удивило, что я выбрала биофак, – неожиданно вернулась к моему вопросу Лил. Похоже, я нечаянно задел ее за живое, – хотя небезызвестное тебе училище я окончила с отличием. Не принимай это за похвальбу. Все преподаватели и моя руководительница Софья Андреевна, ты помнишь ее, прочили мне прекрасную карьеру пианистки. На педсовете было решено направить меня на учебу в Ленинградскую консерваторию. Директор училища обратился в ЦИК с просьбой поддержать его предложение. Обещание было дано. Все верили, что я поеду учиться в Ленинград. Родители меня не отговаривали, хотя расстаться со мной им было нелегко. Ты не знаешь, Лаган, но наша семья в свое время пережила страшное горе. Я потеряла единственного брата, гордость семьи. Он служил в армии здесь, состоял в абхазском эскадроне. Был редкий наездник, но все, наверное, судьба. Однажды, когда он купал коня в море, тот сильно задел его копытом. Брат мой на миг потерял сознание и захлебнулся водой, утонул.

Мать моя, не будь она учительницей, наверное, всю жизнь не снимала бы глубокого траура. Со дня гибели сына она ни разу не села к роялю. Мой же отец разом постарел, начал курить, забросил свою скрипку, хотя раньше по вечера, отдыхая, он любил на ней играть. Радость и веселье навсегда ушли из нашего дома. Скажу откровенно, многие друзья отца и знакомые, узнав, что он не только не возражает против моего отъезда в Ленинград, но и сам подталкивает меня, считая, что не следует прекращать занятия музыкой, раз такая у меня к ней большая склонность, удивлялись, но и восхищались. «Ты сумел одолеть свое страшное горе, не дал себя сломить, Захар! Не о своих тревогах подумал, о назначении дочери, не заступил ее дорогу! Дай бог, чтобы ты увидел ее счастливой и преуспевающей на выбранном ею поприще», – говорили ему. Мама моему выбору не обрадовалась, но у нас

так в семье было заведено, что она всегда принимала решение отца, не вступая в пререкания. А он утешал ее: «Разве это не чудесно, что наша дочь будет учиться в прославленном высшем учебном заведении? Уж там она отшлифует свое мастерство до совершенства! Мы будем ею гордиться!» Мама с ласковой улыбкой слушала отца. Я же от предвкушения поездки была готова летать, много занималась на инструменте, потихоньку собирала вещи в поездку. И вдруг, как гром среди ясного неба, прозвучало заявление моего отца:

– Я чувствую, что сердце мое сдает, дни мои сочтены, и я хочу, чтобы моя дочь была рядом со мной до последнего моего часа.

Мои преподаватели не могли поверить неожиданному повороту событий. Сколько раз они приходили в наш дом и уговаривали моего отца отпустить меня на учебу, но он не пошел на уступки. Отец давно жалуется на сердце, и я думаю, что дело не в этом, боюсь, что у него какие-то страшные предчувствия, но поделиться с ними он не захотел. Против воли отца я не пошла. Сколько слез я выплакала в подушку, знаю только я одна. На какой факультет мне поступать в нашем институте мне было безразлично. Вот я и выбрала биологический...

Лили остановилась под пальмой и подняла глаза к ее раскинутым веером ветвям. Длинные красивые брови девушки сошлись к переносице, я догадался, что она борется со слезами, старается не дать им пролиться. Своим вопросом я нечаянно разбередил ее свежие душевные раны. Я почувствовал и вину за это, и острую жалость к Лил.

Через некоторое время мы продолжили путь. Девушка, взглянув на меня тепло, сказала:

– Всю дорогу мы говорим обо мне да обо мне, теперь твой черед рассказывать, Лаган! Расскажи, как ты живешь. Знаешь после твоего ухода из училища, тебя долго вспоминали и то, как ты отнесся к тому, что твой инструмент жестокие шутники искалечили, порвали струны. Ты и себя не простил, что не уберег скрипку, и вандалов, которые так дико поступили с инструментом, не простил. Слишком близко все принял к сердцу. Но поэты и не могут иначе, правда? Я слежу за твоими публикациями, но давненько ничего не встречала на страницах газет и журналов. Почему?

Мне не очень хотелось рассказывать о себе, куда больше нравилось слушать Лил. Я готов был слушать ее целый день, и целый день без устали ходить с ней по улицам. Я был охвачен доселе мне незнакомым чувством и боялся, что оно развеется, как дым, и завтра сам буду удив-

ляться безумному пожару, разгоревшемуся в моем сердце накануне. Но я не мог оставить вопрос девушки без ответа и рассказал ей, что и со мной произошла схожая история – собирался в Москву в Литературный институт, но в Народном комиссариате по образованию не выдали мне аттестат, свидетельствующий об успешном окончании педагогического училища, и мне пришлось поступать в пединститут. Что касается творчества, то я не бросил писания стихов и время от времени предлагаю в газеты и журналы, но нечасто они видят свет, не нравятся редакторам, не отвечают духу времени. Возможно, стихи и вправду несовершенны. Часто я навещаю родителей в родном селе. Я скучаю не только по родителям, но и по всему селу и родным местам и чувствую себя счастливым, когда удается послушать мудрых местных стариков, сказителей, записать их притчи и сказки.

Вдруг Лил придержала шаг, и лицо ее приняло испуганное выражение. Я проследил за ее взглядом и увидел, что машина «Скорой помощи» стоит у одного из домов по улице, по которой мы шли.

– «Скорая» у нашего дома, наверное, у отца сердечный приступ! – изменившимся голосом проговорила Лил. – До свидания, Лаган, спасибо что проводил.

И она побежала к дому, а я со щемящим сердцем повернул назад. Посреди ночи я внезапно пробудился и сел на кровать. Трое ребят, делившие со мной комнату, мирно спали на своих кроватях. Чтобы не беспокоить их, я не решался ни встать, ни зажечь свет. Сидя в полной темноте, я пытался разобраться, что со мной происходит, наконец, заставил себя лечь, но сон не шел ко мне. Из темноты выткался и предстал перед внутренним взором образ Лил. Вначале засветились мне ее полные доброты огромные прекрасные глаза, и чистый ее лоб засиял передо мной, густые с рыжиной каштановые волосы, заплетенные в косы, спускались вдоль тонкого стана. «Лаган, Лаган» – нежно окликала она меня. Так мне казалось, потому что очень этого хотелось. А на самом деле, Лил сейчас, наверное, спит себе спокойно, и думать не думает обо мне. Кто я ей? Просто давний приятель, который проводил до дому? Она говорила со мной вполне откровенно, но искренность попросту ей свойственна. Сказанное Лил никак не свидетельствует о том, что она выделяет меня среди других парней. Просто она с ранней юности – тому причиной возможно трагическая гибель брата и тонкий душевный склад – стала задумываться о сложных вещах, многое глубоко переживать. Невозможность заниматься любимой музыкой углу-

била душевное ее смятение, вот и захотелось поделиться с кем-то своей болью. Ведь беспечным подружкам всего не расскажешь, у них другие интересы. Правда, она сказала, что следит за моими публикациями и если это не простая вежливость, то ей не безразлично то, что я пишу? И сам я не безразличен? Или слишком самонадеянно рассчитывать на это? Еще я удивлялся тому, что расстался с Лил под вечер, а уже соскучился по ней. Повезет ли мне завтра, увижусь ли я с ней?

Я ворочался в постели до самого рассвета и только потом забылся коротким предутренним сном.

* * *

Я шел по деревенскому проселку, а все мысли о Лил. Если меня не подберет какая-нибудь попутка, мне предстоит еще верст пять идти пешком. Так получилось, что я месяца три не мог выбраться домой и догадываюсь, что мои близкие соскучились не меньше, чем я. Но сосредоточить мысли на родном доме мне не удается. Я даже отчасти рад, что никакой попутки не попадается. По дороге ничто не отвлекает от мыслей о Лил. День пасмурный, небо сплошь затянуто серыми тучами, время от времени лениво роняющими редкие дождевые капели, впрочем, грозящие перейти в ливень, судя по тому, как хмурятся горы и ветер, срывая горстями листья с деревьев, гуляет по ущелью, а зяблики с тревожным «цвит-цвит» перелетают с дерева на дерево.

С детства знакомая дорога обычно будит во мне десятки воспоминаний и я, придержав шаг, любуюсь открывающимися мне красотами. Но сейчас за каждым поворотом мне чудится Лил, становясь лучшим украшением открывающихся видов. Да что же это со мной происходит? Похоже, пропал совсем. Интересно, если бы девушка сейчас наяву, а не в воображении, шла бы рядом со мной, смог бы я развлечь ее разговорами или бы и вовсе потерял дар речи?

Навстречу мне попался наш сосед старик Саид. Он как всегда тепло поздоровался со мной.

– Как поживаешь, Лаган? Здоров? Как идут дела в городе?

Я что-то невнятное пробормотал, не хватило ума даже спросить его о моем родительском доме, все ли там в порядке. Зря старик называл меня смышленым, на этот раз, внезапно выведенный из задумчивости, я стоял перед ним недоумок недоумком. Старик пошел своей дорогой, а я спросил себя, куда девались все мои мысли, которые пробуждала

дорога к дому, мои тревоги о судьбе родного села, мои переживания о сверстниках, о золотом слове наших сказителей, которое так хотелось сохранить для потомков? Пробежали как летний дождь?

Интересно, что сейчас поделывает Лил? Сегодня воскресенье, значит, она свободна от занятий. Но осталась ли она дома или со своей подругой Асиа гуляет по набережной улице? А, может, они направляются в клуб на танцы? Что ответит Лил, если я приглашу ее в гости сюда в родительский дом? Разумеется, одна она ни за что не примет приглашения, но если пригласить ее с подружками? Это ведь не будет нарушением приличий? Не просто молодая девушка приехала в гости к молодому человеку, а группа студенток навестила своего приятеля в его родовом доме. Сестра Мачич обрадуется им, сумеет создать девушкам уют в доме, отнесется к ним с присущей ей теплотой и лаской. А догадаются ли родители, что среди девушек присутствует одна, из-за которой все затевалось? И как они ее примут? Как далеко я зашел в своих мечтаниях! Лил, возможно, больше и не посмотрит в мою сторону, а я уже примеряю ее к своему дому. Не напрасно говорят, мечта – она и посреди моря косит траву.

Вчера же на лекции по античной истории, мной, между прочим, сильно любимой, я сидел в аудитории и не слышал ни слова из того, что говорил профессор. Я весь погрузился в мечтания о Лил, а потом замаячил и призрак стихотворения. Если бы не мой друг Михаил, ткнувший локтем в мой бок, я бы и не заметил, что лекция закончилась.

Пламя волос твоих душу мою обожгло.
Этот пожар потушить не способна вода.
Очи сверкнули – и стало во мраке светло.
Гибну в огне, но бежать не хочу никуда.

Чей это голос окликнул меня поутру?
Сладостней музыки я не слыхал никогда.
Волны утихли, и замерли ветры в бору.
Я недвижим и бежать не хочу никуда.

Вечер пришел, но забвенья мне не принес.
Я безрассуден, а ты молода и горда.
Вижу во сне водопад твоих рыжих волос.
Гибну в огне, но бежать не хочу никуда.

Так шел я, бормоча строчки нового стихотворения, и только с последней строкой обнаружил, что уже стою у ворот родительского дома. Я ступил во двор и наша дворовая собака по кличке Пака, радостно виляя хвостом, бросилась ко мне и стала тереться о мои ноги – соскучилась, видать.

* * *

Октябрь – щедрый месяц. Недаром о нем говорят: эдем-месяц – пиршество зрелости. В саду ветви деревьев клонятся под тяжестью обильных плодов, поля – под богатым урожаем, зной не сверлит макушку, но и холод не пробирает до костей. Октябрь дарит ровное тепло, осеннее небо необычайно высоко и безоблачно, море же синее обычного и его не штормит – не нарушает установившегося в природе светлого равновесия. Но в том году октябрь изменил себе, умножая мои печали.

С утра лил дождь, к полудню немного развиднелось. Дождь прекратился, но небо не слишком очистилось – синие промоины пребывали в окружении тягучих серых облаков, грозивших вновь затянуть весь небосвод. Задул промозглый не по времени ветер. Я держал путь в сторону набережной. Только что побывал в доме известного нашего писателя Алиаса Шаматовича и был полон впечатлений. Писатель, по обыкновению, принял меня приветливо. На днях я занес ему начисто переписанный свой рассказ о трагических событиях в нашем селе, названный мной «Гибельным действом». Писателя тогда не оказалось дома, и я оставил рукопись его домочадцам с просьбой передать Алиасу Шаматовичу.

– Ты как раз вовремя! – приветствовал он меня, когда ввели меня в его кабинет, и подвинул мне стул, чтобы я уселся напротив него.

Среди бумаг на столе я сразу приметил свою рукопись и ощутил сильное волнение: наверняка она уже прочитана любимым писателем.

– Да, я прочел твое повествование о чудовищных событиях! – подтвердил он мое невысказанное предположение и, взяв в руки скрепленные листки с моим рассказом, пролистал их заново, а потом посмотрел на меня долгим взглядом. Я почувствовал себя неловко под его испытующим взглядом и сердце мое дрогнуло от страха – вдруг скажет, что я зря отнял у него время своей писаниной?

– Ты писал, как шел по горячему следу за преступником! – заговорил Алиас Шаматович. – Подлинностью и болью проникнута здесь

каждая строка. И название ты ему придумал подходящее. Ты прав, возможно, еще долго будут говорить в вашем селе: «это случилось в том году, когда Джомлат бросился с высоты в озеро, но не покорился лиходеям...» И час, когда три, без вины виноватых, брата нашли свою гибель, не забудут. Сам знаешь, мало, кто помнит настоящую дату –1911 год, когда случился в Абхазии необычный для наших мест обильный снегопад, но в народе отсчет времени часто ведется от этого события. «Это было за год до Большого Снега или через пять лет после Большого Снега». Сухим цифрам тяжело соперничать с высоким всплеском эмоции. Сильные чувства, вызванные значимыми событиями, вот на чем держится долгая память народа.

Но Большой Снег хоть и стал для народа некой точкой отсчета, но солнце весеннее припекло, и снег растаял, больше изумив людей своей нечаянностью, чем, внушив ужас и страх. События, о которых ты пишешь, никаким солнцем не согреть и не отменить. Трагедия достойного человека, у кого не осталось иного выбора, кроме как свести счеты с жизнью, чтобы защитить свою честь, свою сущность, – это то, что всегда будет волновать людей, не только свидетелей события, но и их потомков. Не забудутся и сыновья Джомлата, каждый из которых мог бы стать гордостью любого рода и народа. Ты все это прочувствовал и передал с глубиной настоящего летописца. Да, насильственная разлука землепашца с кормилицей землей, одна из страшных трагедий нашего времени. Мне кажется, ничто так не ослабляет сейчас государство, как уничтожение крестьянского уклада жизни.

Много печальных дум пробуждает твоя рукопись, Лаган... Ты, наверное, хотел бы опубликовать «Гибельное действо», но, думаю, это сейчас невозможно сделать, даже, если отдашь кому-нибудь на обсуждение, подставишь себя мишенью. Гибель тебе будет грозить, а рукопись не увидит света. Но времена меняются, будем надеяться, что придет час и для таких произведений.

Он грустно улыбнулся и протянул мне рукопись.

Я поднялся и, взяв листки в руки, сказал с благодарностью:

– Для меня ваше слово важнее любой публикации. Спасибо, что прочитали мой рассказ, поддержали меня, одобрили, для меня это дороже всего.

– Тебе не попадалась позавчерашняя газета? Там склоняют меня по всем статьям. Оказывается, я весь пропитан национализмом, делю местные народы на своих и чужих! Я давно оброс толстой кожей и не

покрываюсь синяками от початков обвинений, которыми меня забрасывают. Только диву даюсь, как самим хулителям не наскучит строить козни.

– Читал, Алиас Шаматович, – признался я. – И многие студенты тоже читали. Мы – на вашей стороне. Критики утверждают, будто бы вы делите людей по национальному признаку на чистых и нечистых. Но они не назвали ни одного вашего произведения, по которому можно сделать подобный вывод. Читателю остается гадать, как на кофейной гуще, на что намекали критики?

– Думаю, им не дает покоя поэма «Одинокое дерево на вершине горы» и историческая драма «Похищение», – пояснил мне Алиас Шаматович и добавил: – Во всяком случае, я слышал, что именно эти вещи намерены обсудить на бюро областного комитета партии. Правда, меня никто туда пока не приглашал...

– Мы, студенты, написали свое мнение о статье в газете, выразили с ней несогласие, и отнесли в редакцию! – вдруг сказал я, хотя до того не собирался о том говорить.

Он заметно обеспокоился, поднялся на ноги, зашагал по кабинету,

– Зря вы в это ввязались, – с огорчением сказал он. – Это может для вас обернуться бедой. Вы – молодые, думающие, а могут все ваше будущее перечеркнуть. Мы не имеем права на такие потери.

Видя, как он расстроился, я еще раз пожалел о том, что проговорился насчет письма в редакцию, но слово – не воробей...

Пожелав писателю всего хорошего, я вышел вон с тревогой о нем и печальными мыслями, которые на холодном ветру под неприветливым небом еще усугубились.

XXXI

Теперь я нередко провожал Лил и каждый раз, когда мы останавливались у ее дома девушка сердечно приглашала зайти в гости, но я отговаривался занятостью или назначенной неотложной встречей с другом и, несмотря на то, что каждый раз расставание с Лил становилось для меня тяжким испытанием, уходил.

Дело в том, что я не мог преодолеть застенчивость и предстать под очи родителей девушки. Отец Лил Захар Магба был в нашей республике человеком известным, да и мать заслуженной учительницей. Мне казалось, что я недостаточно хорош, дурно одет, мало сведущ в этике-

те, чтобы соответствовать ожиданиям родителей о друге для их дочери. Но однажды я отважился и принял очередное приглашение девушки, и мы вместе поднялись на второй этаж. Лил, сияя глазами, нажала на кнопку звонка.

Дверь нам открыла Зана Давидовна, мать Лил. Дочь внешне не походила на нее, общими у них были разве что выразительные большие глаза. Хозяйка была в переднике, очевидно, что-то готовила на кухне. Она приветливо поздоровалась и пригласила меня войти. Лил вполголоса сообщила матери, что мы учимся вместе, и, предоставив нам дальше самим знакомиться, упорхнула в свою комнату.

– Проходи, нан! – Зана Давидовна провела меня в гостиную, усадила на стул возле большого обеденного стола и, извинившись, что занята на кухне, удалилась.

Тут же вошла Лил, успевшая за короткий срок переодеться в домашнее платьице, которое ей было к лицу не меньше, чем выходная одежда.

– Отца нет дома, ушел на день рождения друга, – с сожалением сказала Лил и, усевшись напротив меня, крикнула в сторону кухни: – Мамочка, ожидание еды – самый трудный экзамен для студентов.

– У меня все готово! – оживленно отозвалась мать, и Лил вскочила на ноги, чтобы сервировать стол.

Вскоре мать стала вносить в комнату свежеприготовленные блюда, и в мановение ока мать и дочь уставили стол яствами. Мы с Лил принялись за еду, а мать ее уселась во главе стола только с чашкой чая.

– Может, и твой отец вскоре придет, – сказала она дочери. – Давно он не посещает веселых сборищ. Но с юбиляром, директором музея, они столь давние друзья, что у него не хватило духу отказаться от приглашения.

– И правильно сделал. Хоть немного рассеется! – сказала Лил, ласково поглядывая на мать.

– А ты откуда родом, Лаган? Надеюсь, родители твои во здравии? – вежливо поинтересовалась Зана Давидовна.

– Живем мы в селе, у самых гор. Родители – немолоды, да и большим здоровьем похвастать не могут. Сестры мои, кроме одной, уже замужем. Все в доме держится на Мачич, сестре, которая пока живет с родителями. Она – учительница, два года назад закончила педагогический техникум. Не знаю даже, что я без нее делал бы. Нельзя стариков одних оставлять.

– В семье нет других сыновей, один Лаган, – сообщила матери Лил.

– Единственный продолжатель рода – это большая ответственность, – заметила Зана Давидовна, и по ее лицу пробежала тень.

Должно быть, она вспомнила трагически погибшего сына. После того как не стало юноши всю свою любовь родители сосредоточили на Лил. Не будь ее они, наверное, и не пережили бы своего горя. Дочь стала единственным смыслом их жизни.

Мы вкусно и сытно поели. Лил убрала со стола. Еще некоторое время мы сидели за десертом, ведя легкую беседу. Я понимал, что самое время поблагодарить за гостеприимство, пожелать всего хорошего и попрощаться. Но мне так хорошо, так уютно было в этом доме, что я все тянул с уходом. Я поглядывал на рояль, стоявший в углу. Мне доводилось на концертах несколько раз слушать игру Лил. Мне так хотелось, чтобы и сейчас она села за инструмент, а я бы устроился рядом и перелистывал бы для нее ноты. Почему-то я мечтал, что гостиную заполнят звуки полонезов Фредерика Шопена, но не отважился попросить Лил сыграть.

В дверь позвонили тремя короткими стремительными звонками и Лил, радостно, определив: «Это – папа!», побежала в переднюю.

Вскоре в гостиную вошел хозяин дома и направился ко мне. Я вскочил на ноги.

– Добро пожаловать! – тепло поздоровался отец Лил и на некоторое время задержал в своей руке мою ладонь.

Отец Лил был не только крупным чиновником, но и научным работником, автором интересных монографий в области истории. Мне раньше не доводилось видеть его вблизи. Самым примечательным на лице был высокий, немного покатый, лоб. Глубоко посаженные серые в крапинку глаза смотрели пытливо. Нос у него был с горбинкой, а голос звучал глуховато.

– Что же это вы не потчуете ничем гостя? – обратился хозяин к супруге и дочери.

– Мы поужинали вместе, чем бог послал, – мягко отозвалась Зана Давидовна.

– Ну, раз вы полагаете, что этого достаточно, то мы, мужчины, удаляемся в кабинет! – шутливо сказал Захар Батович и, жестом пригласив меня с собой, направился в кабинет.

Комната, куда мы вошли, была невелика. Две стены с пола до потолка – в стеллажах, тесно заставленных книгами. В простенках висе-

ли старинные портреты в рамах. Мне хотелось поближе рассмотреть портреты. У меня очень рано пробудился интерес к изображенным на полотнах лицам, принадлежащим людям ушедших эпох. Но я посчитал невежливым проявление бесцеремонного интереса к семейным реликвиям и остался на месте. Захар Батович уселся на небольшой диван и устало откинулся на его спинку, а я занял место на стуле возле круглого стола посреди кабинета. Вошедшая следом за нами Лил предпочла выбрать стул неподалеку от входной двери.

– Я радуюсь, что все больше становится молодой литературной поросли, – негромко сказал Захар Батович. – Стараюсь не пропускать литературных новинок. Недавно мне попались два твоих стихотворения в газете «Комсомолец Абхазии». Название одного – «Старый дуб» – даже запомнил, понравилось, потому и запомнил. Но как много ненужной шелухи порой попадается на страницах газет. Я не критик, просто любитель словесности, но, как у читателя, у меня есть свое мнение. Если в поэте нет Божьей искры, то он может хоть пять высших учебных заведений закончить, а научиться писать настоящие стихи все равно не сможет. Божьему дару – не научишь. Надеюсь, я никого не обижу, если скажу, что сейчас в литературе слишком много случайных людей! Они святое предназначение превращают в хлебное ремесло.

– Лучшие произведения Лагана еще не опубликованы! – сочла нужным уточнить Лил.

Отец с интересом глянул на нее, но ничего не сказал, сидел, постукивая пальцами о подлокотник дивана, затем поднялся, подошел к стеллажам и снял с полки одну книгу и вместе с ней подсел к моему столу.

– Это сборник молодых поэтов. Он вышел в прошлом году. Название многообещающее: «Мир внимает». Вот и я решил присоседиться к внимающим, приобрел книгу. Под одной обложкой опубликовались четыре поэта. Встречаются разные стихи, в том числе и недурные, но больше всего – пустышек с пропагандистским душком. Спору нет, авторы – народ молодой и многие огрехи можно списать на возраст, но, если они утвердятся в своих заблуждениях, то толку не будет. Все мы знаем, как сейчас власть повсеместно борется с религиозными предрассудками и в художественных произведениях это находит свое отражение. Я не буду сейчас говорить о том, насколько правомочна подобная борьба, но и здесь все валят в кучу – антирелигиозная пропаганда, устоявшийся обычай, предписывающие уважение к старшим, добрые

народные традиции, совестливость, честь, взаимопомощь. Многим стало казаться все, что я сейчас перечислил, – пережиток старого времени. Все, чем мы жили до того, надо немедленно и грубо отменить. Вот послушай строчки из сборника:

Отпевает поп соседа, с потолка не сводит глаз.
Сам же мыслит, привереда: «Чем покормят в этот раз?

Ну и что здесь стало предметом поэзии? У людей – горе, хотят покойника проводить по христианскому обычаю, и отчего поп озабочен, угостят его или нет? Разве на поминках только священнослужителей сажают за стол? Так к чему эти мелочные грубые придирки? Какая польза от таких стихов? Они обнаруживают неразвитую душу автора и больше ничего.

Вот еще не менее убогое:

Где, молясь, Кунцал старый разгонял свечою мрак, –
Там Кустын, безбожник ярый, посадил теперь табак!

Если бы автор умел хоть немного думать, то заметил бы до чего смехотворно звучит замена духовного опиума для народа, как новой властью воспринимается вера, другим опиумом – табаком, отравой для здоровья. А вот еще один философствует:

Век за веком длятся споры: вера – тьма, иль вера – свет?
На глаза надеты шоры, под ногами тверди нет.

Читая подобные вирши, думаешь: если мир и внимает им, то с большим недоумением! Отношение к прошлому, как к сплошному мраку, не просто поверхностно, но и опасно. Считать, что фундамент цивилизации заложили только сейчас в этот миг, а все, что было вечера, – обман, мираж, не это ли убожество мысли? Нынешним поколениям надлежит в пояс поклониться своим предкам, давшим им и просвещение, и великие достижения в технике, в культуре, в зодчестве, да во всех областях человеческой деятельности и мысли. Я понимаю, молодые поэты невежественны, есть значительные пробелы в воспитании, в образовании. У меня больше претензий не к ним, а к составителю и редактору сборника к нашему известному литератору Чанчору Шацба.

Ему полагалось бы более тщательно отобрать стихи при составлении сборника и больше внимания уделить молодым поэтам. На днях я случайно столкнулся с ним на набережной, сказал, что прочитал книгу и не скрыл от составителя своего мнения о ее качестве. Он некоторое время молчал, а потом говорит:

– Большое спасибо, что ты прочитал сборник! Это замечательно, что хотя бы часть нашей интеллигенции обращает внимание на поэтов нового поколения, а то, что скрывать, среди интеллигенции старого образца много встречается нигилистов. Не спорю, в сборнике встречаются шероховатости. Поэты сейчас поднимаются густо, как камыш. Не все они жизнеспособны, но если из их среды выйдет хоть один выдающийся поэт или писатель, этого вполне достаточно.

– А что в том плохого, что новые поэты полемизируют со старыми? – спросила Лил и, поднявшись с места, перешла к дивану, на котором прежде сидел ее отец.

– В здоровой полемике ничего дурного, зло – в тотальном отрицании, – пояснил ей отец. – Я знаю, ты, как и я, большая любительница поэзии, но, по сути, тебе больше близка музыка, так скажи мне, если все прошлое – одно невежество, сплошной мрак, как в таком мраке вырастали такие прекрасные солнечные композиторы? А как зарождались удивительно поэтичные народные песни? Ведь любое творчество предполагает работу мысли...

Лил все чаще стала бросать на меня выразительные взгляды, призывая не сидеть в рот воды набрав, а вступить в полемику. Но для меня не так-то было просто озвучить свое мнение в присутствии прославленного знатока истории, а главное, полемике не было места, ведь рассуждения отца Лил, мне были созвучны. И я заговорил не для того, чтобы в спор вступить, а чтобы поддержать позицию хозяина дома.

– Мне кажется, что поэмы о старине рано ушедшего из жизни гения Иуа Когониа навечно останутся не только в нашей литературе, но и в памяти народной. А как поэт спешил сохранить, литературно обработать народные сказания, пока они не забылись...

– Да, да, ты прав, – перебил меня Захар Батович. – И я рад, что наши мнения совпадают. Без досконального знания истории не разобраться ни в каких новейших временах. Вульгарный социологизм, то, что Ленин называл «карикатурой на марксизм», оказал на литературу самое негативное влияние. Намерение «сбросить Пушкина с парохода современности» в том же ряду. Не только литературы коснулось столь бес-

церемонное отношение к прошлому, вульгарный подходи к вопросам истории. Абхазия развивалась по своим законам, со своими особенностями, касающимися, в том числе и отношений между князьями и не столь родовитыми представителями сообщества, среди которых тоже были свои градации. А к чему это привело? Новые историки взяли за образец историю России первой половины девятнадцатого века и как кальку наложили на историю Абхазии. Не учли даже столь серьезный аспект, как крепостничество в России, незнакомый нашему народу! – Захар Батович подпер голову руками и задумался на миг, и в это время я встретился вновь глазами с Лил. Она улыбкой и жестами дала мне понять, что ее отец сел на своего любимого конька – историю, и нам остается только почтительно слушать. Но мне и без того не было никакого желания перебивать интересного собеседника.

– Если бы чиновники Российской империи учли бы, что наш народ изначально независим, и обращаться с ним, как с холопом, немыслимо, то не произошло бы тех ужасающих событий, которые потрясли Абхазию во второй половине девятнадцатого века. Если бы начальник округа Коньяр и его чиновники уразумели бы для себя, что абхазы, издревле не допускавшие принижения их человеческих достоинств, не смирятся с грубым насаждением колониальных законов, то они, несомненно, предотвратили бы кровавые события летом 1866 года в Лыхны. Но царские сатрапы оказались на то не способны. Видимо, тоже были не в ладу с уроками истории, как и нынешние руководители. С народного восстания в Лыхнах и открылась еще одна трагическая страница в истории нашего народа. Не случись тогда на сходе столкновения Коньяра и его чиновников с оскорбленным народом, столкновения, вытекавшего из незнания и нежелания знать царскими чиновниками прошлого своих новых поданных, не случилось бы и второго периода махаджирства в нашей истории. Многочисленные абхазы – лучшие из лучших – самые гордые, самые мужественные, самые достойные – покинули свою родину. Обезлюдела территория от реки Гумыста до реки Кудры, территория, которую было принято называть Большой Абхазией. Опустели Дал, Цабал, Гума – урочища крепких абхазских родов...

Отец Лил вновь задумался, опустив глаза, он будто бы вглядывался в минувшие времена с болью и мукой.

Мы с Лил боялись пошевелиться. Потом, увлекшись, он рассказал нам еще много живого, интересного из более позднего периода истории и я очнулся только тогда, когда круглые настенные часы в кабинете

звонко пробили одиннадцать раз. Я вскочил на ноги, понимая, что засиделся неприлично долго.

Мы тепло попрощались, и я покинул гостеприимный дом с ощущением, что за несколько часов, проведенных в нем, я стал намного духовно богаче. Медленно шагая по улице по направлению к общежитию, я думал, что, наверное, редки такие семьи, у которых органично соединяется интерес к литературе, искусству, музыке, истории с любовью к ближним, с высокой простотой в обращении. Я был счастлив, что есть такой дом, в нем говорят умно, обращаются сердечно, поступают благородно.

XXXII

Студенческая жизнь полна соблазнов, то и дело затеваются студенческие пирушки, походы на танцы, в кино, на концерты. Да и что греха таить, не так-то просто расстаться до полуночи и с девушкой, с которой прогуливаешься по набережной. В будни времени на развлечения немного, а в выходные я положил себе за правило ездить в родное село, к своим старикам. Дело в том, что меня, как и всю близкую родню, тревожило пошатнувшееся здоровье отца, и я дал себе слово проводить все свое свободное время в отчем доме. В ту субботу ближе к вечеру, правда, лучи закатного солнца еще ложились под ноги, я торопился по проселку к отчему дому. Я знал, что и мои родители по субботам уже с обеда начинают поглядывать на небо, определяя долгий ли путь предстоит светилу до заката. И уж под вечер, не сговариваясь, отец и мать садятся вдвоем на веранде амацурты и неусыпно держат в поле зрения проселочную дорогу. Каждому из них хочется первым увидеть меня на дороге. А уж как я радуюсь, точно пасхальному дню, своим старикам, завидев издалека, что они сидят на привычном месте. Но на этот раз получилось по-другому. Я увидел, что в нашем дворе полно народу и с сильно бьющимся сердцем – «неужто отцу стало совсем плохо!» – открыл калитку. К счастью, я сразу увидел отца. Он был на ногах. Метался в кругу соседей и яростно ругался, поодаль стояла и моя мама, сложив на груди руки. Мой дядя, брат отца Элизбар, мрачно прислонился спиной к веранде амацурты. Мачич расставляла стулья, вынесенные из дома, понятно, для того, чтобы не держать людей на ногах. Но только старец Саид уселся на один из стульев, расставленных полукружием, и сердито воткнул посох в землю. Что же произошло?

– На старости лет едва греха не совершил, если бы не подоспели наши парни, размозжил бы ему голову, собачьему выродку! Научился трактор водить и думает: Бога за бороду схватил! Откуда он взялся? Кто знает чьего он роду-племени?

– Не только мы, он сам и не знает, кто его в мир вычихал! Председатель Руша где-то его подобрал! – отозвался соседский парень Аксент.

По его лицу я догадался, что и он донельзя расстроен.

– В том-то наша оплошность, любой чужак для нас дорогой гость, на голову себе сажаем! – с горечью заговорил старик Саид. – В угоду ему свой язык позабыв, на его языке начинаем говорить. Гость от бога, но чужак, кто в вашем доме хозяйничает, как в своем, уже не гость... Неужто мы так занедужили, что не отличаем, где добрый человек, а где человек, оскверняющий наши святыни?

– На нашей шее сидит, ноги свесил, а сам, если спросишь, так даже имени деда своего не вспомнит, человек без корней, а туда же! – все не мог успокоиться отец. – Спросите меня о моих предках, и я без запинки выложу вам имена двенадцати поколений. И все эти поколения – а они еще про двенадцать и более поколений своих предков могли бы вам рассказать, – жили на этой земле, отсюда дым от их очагов поднимался к небу. И теперь является человек, не помнящий даже имени своего деда. И уничтожает наши святыни! – Отец схватился за голову.

– Не прошло и двух лет, как разгромили храм в нашем селе, вы все свидетели – колокол сорвали, иконы осквернили и дошли до того, что в церкви, куда мы приходили помолиться, безбожники устроили торжище – магазин. Недаром все продавцы того магазина за исключением двух, самим бросивших работу, проторговались и теперь неизвестно, в какой тюрьме гниют. Лишили нас храма, так теперь этому ублюдку показалось мало, он и замахнулся на наше молельное дерево, на наш святой луг.

– Будет тебе, успокойся! Пережили, когда церковь разрушили, и с собой не покончили, и никого другого не порешили! Смиримся и с этим. Бог даст терпения! – проговорила негромко мама. – Гляди, и сын твой приехал. Не пугай его, решит еще, что ты не в себе!

Отец оглянулся на меня и замолчал, пометался еще немного по двору и уселся на один из стульев неподалеку от Саида, но уважительно оставил меж ними два свободных стула. После того, как отец уселся, соседи разобрали стулья и расположились вокруг него. Вид у всех был подавленный, но старались по мере возможности утишить ярость

отца, так как опасались, что взрыв негодования плохо скажется на его здоровье и без того подточенном.

Событие, выведшее отца из себя, состояло в следующем.

Тракторист Миро на грохочущем своем тракторе ехал по увалу и вдруг неподалеку от нашей усадьбы он съехал на луг, где стояла старая мушмула, под которой находился ашымкиат[14]. Пока неизвестно дал ли Миро кто-нибудь такое задание или он сам решил удаль свою показать. Что для него чужие святыни? Какое дело Миро, что на этом чистом лугу под этим деревом возле ашымкиата десятки и десятки поколений рода возносили молитвы богам, приносили жертвы? Верность, растворенная в крови, даже когда люди стали посещать храм и молиться единому богу, не допустила забросить места, где предки преклоняли колена. Память о предтечах и их богах почиталась по-прежнему. И вот на этом святом месте решил поразвлечься чужак Миро. Очевидно, наслаждаясь возможностями своей стальной машины, он лихо снес и дерево, и ашымкиат, и все сровнял с землей. Потом наехал на столб, к которому крепили молельные свечки, и тоже разнес в щепки. Однако молодецкая удаль по-прежнему требовала выхода и Миро, прицепив к трактору плуг, вспахал луг, которого не только холодное железо, но и теплая деревянная соха никогда не оскверняла. Наделав дел и донельзя собой довольный, Миро покатил к берегу реки Чал освежиться. Здесь-то его и нагнал мой отец. Он, к сожалению, пришел на святое место, когда луг уже напоминал поле сражения. Ярость моего отца была так велика, что когда он набросился на злополучного тракториста, его пять человек едва смогли удержать. И откуда в нем силы взялись? Не только отец был вне себя от ярости, но, щадя его, наши соседи и родичи старались сгладить ситуацию, отнести случившееся на счет невежества Миро, а не злодейского умысла. Вовремя сказанное доброе слово лечит, как подорожник, положенный на рану. Мало-помалу отец стал успокаиваться и соседи не все сразу, но стали расходиться и через некоторое время остались только члены семьи.

* * *

И вновь сон бежал от меня. Тревога не давала мне глаз сомкнуть. Среди наших близких много горячих юношей. Я видел: не только мой

[14] **Ашымкиат** – плетенка на четырех ножках, на которую клали жертвенное мясо при языческих обрядах.

отец почувствовал себя смертельно оскорбленным из-за осквернения святилища. Другие – родня да соседи – испытывали те же чувства. Подстерегут где-либо тракториста и надают ему по шее, а он наутро с криками и жалобами кинется искать защиты у местных властей. И тут Руша своего не упустит. Опытный интриган он скажет, что молодечество Миро на священном лугу лишь повод – кого всерьез волнуют пережитки старины? Пострадал же тракторист от рук врагов советской власти и противников колхозов. Именно под таким политическим соусом он сдаст обидчиков Миро районному начальству и вряд ли они когда-либо еще увидят родное село.

На рассвете я решил непременно встретиться с Рушей и поговорить с ним, как мужчина с мужчиной. Может, мне удастся объяснить ему какие-то очевидные вещи, все-таки нас связывала детская дружба, пусть он ее и позабыл и, встречая меня на проселке, насмешливо кидал: «Наш Лаган – ума палата!» Все-таки я посчитал своим долгом поговорить с ним, я надеялся, а вдруг мне удастся достучаться до его души? Наутро я решил никого не ставить в известность о своем намерении встретиться с бывшим другом.

Я знал, отец попросту запретит всякую встречу, напомнит свои предупреждения: «Держись от него подальше, он, как палка, вываленная в грязи. С какого конца не возьмешься за нее – испачкаешься».

Сердобольная мать скажет:

– Ты правильно решил, Лаган, поговори с ним, друзей не следует забывать. Руша – сирота, да и с женой не повезло. Должно быть, он очень одинок, бедолага.

За ночь отец немного отошел, и пока мы завтракали, оживленно беседовали о сторонних вещах, не касаясь вчерашних событий. Потом я сказал, что мне нужно пройти до сельсовета, так как должен переговорить по телефону с одним своим сухумским приятелем. И ушел.

По дороге я размышлял, как лучше начать разговор с бывшим другом. Наверное, надо оставить в стороне частные вопросы, во всяком случае, поначалу, а начать с таких, решение которых отражается на судьбе всего села. Я медленно шел в гору и за несколько шагов до увала – уже был виден мой любимый старый дуб с огромной кроной, я услышал топот лошадиных копыт и увидел, что по тропе, которая вела к участкам седьмой бригады, поднимается всадник, лихо понукая коня. Вороной всадника был неплох и без понукания шел хорошим шагом, но, узнав во всаднике нашего председателя колхоза, я понял, что не

могло быть иначе. На каком бы легконогом коне не ездил Руша, он обязательно горячил его. Видно, больше всего ему нравилось, что конь подчиняется любому его желанию. Мой бывший друг не промчался мимо, хлестнув своего вороного. Он даже придержал его возле меня.

– Доброе утро, Руша! – первым поздоровался я.

– И тебе доброго утра! С приездом! Как это случилось, что ты – образец безупречного интеллигента – и вдруг появился здесь в глуши, среди нас – простачков и невежд колхозников?

– В этой глуши стоит мой дом и живут мои родители. И я их не считаю ни простачками, ни невеждами.

– Отца ты можешь и героем посчитать! Вчера он чуть голову не размозжил трактористу Миро. Хорошо, что его удержали, иначе ты сегодня уже звался бы сыном абрека! – насмешливо проговорил Руша.

– Спешься, во имя прежней нашей дружбы прошу, нам есть о чем поговорить. Я кстати на встречу с тобой и направлялся.

Руша мгновение раздумывал, а потом соскочил с коня и, ведя его на поводу, пошел рядом со мной к старому дубу. И хотя под старым дубом были прибиты прилавки для сидения, да и где коня привязать хватало места, Руша не стал садиться и конец узды держал в руках и смотрел на меня в нетерпеливом ожидании.

– Отец до сих пор не пришел в себя из-за бесчинства Миро на священном лугу, – стараясь держать себя в руках, негромко заговорил я. – Такую же смертельную обиду испытывает вся наша родня и соседи. Иначе и не могло статься. Веками лелеемое место осквернено, поругано.

– Да будет тебе! То твой дед Бежан из-за разрушенного храма жизнь готов был положить, то твой отец из-за обычного луга да кривого дерева людей готов порешить! А сам ты, Лаган, с кем? Хоть и в комсомоле состоишь, но все оглядываешься на старое время. Не туда смотришь, Лаган, не туда! Как нельзя помочь смертельно больному человеку, так и не сохранить старого времени. Час его пробил! Вот как на моей ладони не растет ничего, так и старое время в новое не прорастет! – Он сунул мне под нос свою ладонь и дунул на нее. – Ураганом смтем все прошлое и очистим новое время от его грязи – от этих храмов, молелен, святых лугов и деревьев! Смотри, Лаган, как бы и тебя ураганом не унесло!

– Ты враждуешь с крепкими крестьянами, а с бездельниками, голытьбой братаешься. Они в твою дуду дудят, но чтобы хозяйство поднять, недостаточно перед тобой хвостом вилять. Без тех, кто по-

настоящему любит землю и знает в ней толк, – селу не обойтись. Не поймешь этого – готовься к полному развалу колхоза.

– Ничего ты не понимаешь, Лаган! Крепкими крестьянами ты именуешь кулаков и их приспешников! Но у этих недобитков цель одна – вредить новому времени, колхозам. И отец твой Бадра один из них, считай: в самой их гуще стоит!

– Ты просто возненавидел родное село! Не знаю уж, кто надоумил, но во всех видишь врагов! Лучше бы ты у достойных односельчан спрашивал совета! Раз вызвался быть слугой народа!

– Ошибаешься! Я не слуга деревенским невеждам! Я – руководитель, который работает в соответствии с линией коммунистической партии великого Ленина. И я среди тех, кто в гуще народной жизни и народных свершений! Я не прячусь вроде тебя в библиотеках, не корплю над книжками, стихов не пописываю. Я служу новому времени. А ты и когда наезжаешь в село, не идешь туда, где молодежь собирается и обсуждает серьезные вопросы, нет, ты с тетрадкой и карандашиком таскаешься за сказочниками, сказителями и всякими подобными болтунами, ловишь каждое их слово и записываешь, будто это директивы партийного съезда!

– Ты бы лучше возрождение села начал с собственного подворья! – упрекнул я, как кулаком двинул. – Иначе вот-вот развалится окончательно дом твоего отца.

– Вроде ты не знаешь, что я живу в городе, припеваючи, между прочим, живу. А зачем мне дом в селе? С мотыгой на кукурузное поле не выйду, это не по мне! Да и не по тебе, Лаган! Это ты пока хорохоришься, потому что живы родители, и пусть ты часто и приезжаешь, все равно, гость – не труженик здешний. Ты вкусил беззаботной городской жизни и уже не откажешься от нее. Не станет твоих близких, и твой отчий двор тоже прорастет сорной травой. Не обманывай себя, Лаган, именно так оно и будет! Ты потерян для села, запомни – потерян!

Он, мгновенно накинув уздечку на шею коня, вскочил в седло, огрел вороного плеткой и конь понес его прочь в сторону широкого проселка.

– Того, кого народ с коня сбросит, тому никогда в седле не быть! – крикнул я ему вослед.

Я уселся под старым дубом и, прислонившись спиной к его шершавой коре, поднял глаза к кроне. За долгое время существования дуб претерпел немало невзгод. Молния не раз расщепляла его могучие вет-

ви и огнем выжигала, да он вот устоял. Если бы дерево умело говорить, о скольких событиях оно поведало бы нам, о скольких разговорах и спорах, случавшихся под ним...

– А теперь ты стал свидетелем того, как друзья детства заговорили на разных языках, – мысленно обратился я к дубу. – Мы не поймем друг друга, это ясно. Между тем, небольшому народу во времена перемен особенно важно сплотиться, стоять друг за друга. Но получается совсем по-другому... Руша и я очутились как бы на разных берегах одной реки, смотрим друг на друга, но не видим, говорим, но не слышим. Это большая беда... Дуб, ты, наверное, самое стойкое дерево на свете, но надолго ли хватило бы тебе стойкости перед лицом таких потерь, какие сейчас ощущаю? Наверное, ненадолго...

XXXIII

Не застав меня в общежитии, на мои поиски снарядили Закана. Уж он-то точно знал, когда и где меня можно обнаружить и без труда отыскал в читальном зале Республиканской библиотеки. Друг и сообщил, что уже дважды звонили из Союза писателей и спрашивали меня. Оказалось, что в шесть часов вечера в помещении Клуба строителей состоится общее собрание членов Союза писателей. По решению Правления союза туда приглашаются и молодые литераторы, у которых уже есть публикации в местной печати, званы еще много гостей из других творческих организаций и представителей общественности. Вот на такое почетное собрание мы с Заканом получили приглашение и в шесть часов без опоздания оказались в клубе. Мы устроились в дальнем углу. Большой зал до отказа был заполнен людьми. Здесь я увидел много научных работников, также представителей Наркома просвещения, журналистов и множество молодых литераторов. Я мельком подумал, что правильным было решение Союза писателей провести собрание в клубе, раз оно планировалось столь многолюдным.

Ведь под Союз писателей были отведены две небольшие комнаты в государственном учреждении. На сцене стоял стол, покрытый кумачом. Возле него – лишь два стула, один из которых занимал заведующий отделом пропаганды и агитации обкома партии Павел Бардия по кличке «Бардиева дочь». Зубоскалы нарекли его такой кличкой, разумеется, говорилось за глаза, из-за его жидкого для мужчины голоса и женственных повадок. У кафедры о чем-то зычно вещал писатель и

журналист Чанчор Шацба. Никого из руководителей Союза писателей не было видно, во всяком случае, им место не нашлось за столом в президиуме.

«Что происходит, – терялся я в догадках, – и почему собрание Союза писателей проводит представитель обкома партии, не посадив рядом с собой хотя бы для виду никого из руководителей творческого союза? Похоже, затеяли непростое собрание!»

– Уклонисты, хоть правые, хоть левые, где бы они ни были, всегда снюхаются с противниками интернационализма! – громко вещал с трибуны докладчик. – А почему? Да потому, что они враги советской власти и бьют в одну цель! Не надо за фактами далеко ходить – на каждом шагу спотыкаешься о них! На недавно прошедшем пленуме областного комитета первым секретарем обкома партии были подвергнуты нелицеприятной и точной критике произведения некоторых авторов – членов Союза писателей. Мы не можем оставить без внимания справедливую критику наших партийных товарищей – верных ленинцев!

Алиас Шаматович, безусловно, писатель с опытом и занимает видную государственную должность. Тем не менее, ему не раз и не два указывали на его политическую незрелость. В нашем партактиве не забыли, как несколько лет тому назад Алиас Шаматович заступался за троцкистов, голосовал за них. Националистическая нетерпимость – тоже давняя его болезнь! Товарищи старались наставить его на путь истинный. Но застарелая болезнь взяла верх! Сегодняшние его заблуждения имеют крепкие, уходящие глубоко, корни. Вырвать их оказалось не под силу нашему литератору! – как ствол пистолета Чанчор Шацба наставил свой негодующий указательный палец в зал и я приподнялся, чтобы посмотреть, присутствует ли на собрании Алиас Шаматович.

Да он был, сидел один, один-одинешенек в третьем ряду с краю. Он откинулся на спинку сиденья. Черноволосая – без единого седого волоса – голова была причесана как всегда аккуратно, и как всегда писатель был облачен в безукоризненно сидящую на нем одежду, голенища мягких, туго обтягивающих его икры, сапог блестели. Непривычным было только одно – видеть его руки свободными. Обычно Алиас Шаматович на любых собраниях не расставался с раскрытым блокнотом и наточенным карандашом.

– Недавно по явному недосмотру вышел сборник произведений наших маститых писателей. Вот он! – Чанчор Шацба издали помахал томом. – Это вредная книга, подрывающая жизненные устои нашего

общества. Согласно постановлению бюро областного комитета коммунистической партии она изъята из продажи, весь тираж ее будет уничтожен. На такие крайние меры были вынуждены пойти из-за того, что книга вся пропитана человеконенавистничеством, дремучим национализмом. Яд неприятия новой жизни так и капает с ее страниц. Книга открывается поэмой Алиаса Шаматовича. Само название говорит за себя: «Одинокое дерево на вершине горы»! И как живописует автор это дерево? Оно гнется во все стороны от налетающих лютых ветров и некому, получается, его защитить. Дерево всего лишь символ. Пусть поэт не надеется ввести нас в заблуждение. Под одиноким деревом автор подразумевал судьбу всего нашего абхазского народа. Он пугает нас ветром, несущим ужасные последствия для дерева. И это когда? Когда под руководством великого Сталина мы строим социализм, и он повсеместно побеждает! А жизнь в счастливой семье народов с каждым днем становится краше! По мнению же Алиаса Шаматовича, абхазскому народу не к кому прислониться, и вот-вот он сгинет с лица земли. Вырвут его с корнем, как беззащитное деревце на ветру. И кто же это сделает, а?

– Кроме национализма в поэме поражают упадочнические настроения автора! – крикнул из зала журналист Зет.

До того молча внимавший докладчику зал зашевелился, то в одном углу, то в другом, поднялся шум.

Меня как огнем обдало, я не мог больше молчать, вскочил со своего места и, сделав несколько шагов по проходу, крикнул:

– Остановитесь! Что вы делаете?! Перечеркиваете бессмертное произведение лучшего из наших писателей! Не это ли удар по национальному достоянию?!

Докладчик взглядом прострелил меня и сердито обратился к присутствовавшим в зале преподавателям вуза:

– Так вы готовите новые кадры? Сегодня нам дерзит, а завтра родину продаст! Вы слышали, что он сказал: «Перечеркиваете бессмертное произведение лучшего писателя». Может, в глазах этого молокососа и другое произведение Алиаса Шаматовича «Похищение» бессмертно? То самое, которое хитрец, автор именует исторической драмой, чтобы притупить нашу бдительность. Зря он старается – мы поняли, что он имел в виду. Не девушку-красавицу похитили, а саму Абхазию, надругались над ней! – докладчик в этом месте поднял к потолку указующий палец и залился насмешливым хохотом. – Не тревожься, Алиас Шама-

тович, Абхазия под хорошим присмотром и никто никому не позволит ее выдрать из крепкой семьи народов, она под защитой нашего великого вождя Сталина!

– Уважаемый товарищ Шацба, как говорят в народе, режу твое слово золотом, и позволю себе реплику, – с этими словами, произнесенными внушительным басом, с места поднялся некий мужчина в черной костюмной паре. Я узнал его. Это был преподаватель марксизма-ленинизма, завкафедрой, профессор. – Я хотел бы отметить, что за исключением одного – двух литераторов всем нашим писателям не достает классового чутья. Они плохо знакомы с революционной теорией и, не в обиду им будет сказано, никак не работают над собой в этом плане. Как маяк для всех кораблей в море-океане, так спасением для всех трудящихся во главе с пролетариатом служит маяк мировой революции! При нашем поколении, несомненно, будет построен коммунизм! И тогда, согласно марксизму-ленинизму, все люди мира сольются в единое целое, заговорят на одном языке! Этот великий всемирный прогресс безудержен. Но некоторые не понимают, или не хотят понять, что несет с собой прогресс. Если с гребня великой волны, поднятой мировой революцией, глянуть в сторону Абхазии, она, верно, покажется с кукушкин глаз или вовсе не будет различима. А наши писатели думают, что Абхазия – пуп земли! Отсюда и национализм, и шовинизм! От революционной безграмотности! От политической близорукости!

– Минутку, профессор! – подал голос неподалеку от нас сидевший Маадан Дзыкурович, повернув к оратору голову в серой папахе. – Потвоему, пока все народы не сольются в едином порыве и не заговорит на одном языке, мы, писатели, должны сидеть, сложа руки?

Маадан Дзыкурович был достопримечательностью города, его знали все – и стар, и млад. Старый холостяк, он подолгу прогуливался по набережной и сидел в кофейнях. Говорили, что он замечательный драматург и на его счету много отличных пьес, но на сцене они не шли. Считалось, что автор мелкобуржуазного толка, что он, ничего не понял в великой революции. И вообще человек аполитичный и далекий от веяний нового времени.

На его реплику преподаватель марксизма-ленинизма ответил не сразу. Н снял свои очки в роговой оправе, тщательно протер их белоснежным платком, снова водрузил их на нос и произнес своим громовым голосом:

–То, как ты это воспринял, называется при-ми-ти-виз-мом!

Последнее слово он произнес по слогам для вящей, должно быть, убедительности.

В наступившую паузу тут же вклинился докладчик:

– Я продолжу! Помимо всего прочего Алиас Шаматовиу является главным редактором литературного журнала – органа Союза писателей Абхазии. Вот – два номера, вышедших за этот год! Скажу вам откровенно, лучше бы они не увидели света! В работе над журналом отразились все недостатки Алиаса Шаматовича, как писателя! Страницы современного литературного журнала заполнены сказками, притчами, балладами, поговорками, сказаниями о Нартах, баснями, – всем, чем хотите, кроме материалов, отражающих новую жизнь! «Наш журнал – отрыжка ветхого прошлого!» – скажет кто-то из вас. И будет прав! Тысячу раз прав! За исключением пары рассказов и нескольких стихотворений мы не встречаем на страницах номеров журнала ничего, что в полной мере отразило бы современность.

Я хочу спросить напрямую главного редактора. Где произведения, в которых показана кипучая богатая жизнь наших колхозов и совхозов? Где описание современного колхозника? Именно ему предстоит заменить образ бедняка, ни в чем не сведущего за пределами своей хибарки-плетенки! Читатель ждет, что ему расскажут о свершениях нового времени, о нарождающемся на нашей земле рабочем классе, о трудовых подвигах горняков в шахтах Ткуарчала. Но пока его нечем утешить! Индустриализация нашей страны не интересует главного редактора журнала. А разве неуместно было бы разоблачение со страниц журнала кулаков и их прихвостней? Классовая борьба не стихает в наших селах, так не пора ли сорвать личину с кулаков и прочих классовых врагов? Особо хочу подчеркнуть в обсуждаемых номерах, кроме как в двух стихотворения, мы не встречаем имени вождя всех времен и народов, большого друга советских писателей Сталина. Подобного упущения нам читатель никогда не простит. Я понимаю, что ни Дмитрий Гулиа, ни даже Михаил Шолохов не сумели создать произведения по-настоящему достойного гения среди гениев, отца народов – Сталина. Тем не менее, вызывают множество недоумевающих вопросов даже те два стихотворения о Сталине, опубликованных на страницах журнала! Ну, если первое стихотворение еще можно, пусть и с натяжкой назвать удавшимся – во всяком случае, хорошо передано преклонение автора перед гением Сталина, то, что касается второго стихотворения... – докладчик приостановил словоизвержение и стал кого-то

глазами искать в зале. Я поежился, предчувствуя, что речь пойдет обо мне. – Ну, где этот студентик, где этот молодой петушок, пробующий голос на старших? Лаган... как там его фамилия, позабыл... – он принялся спешно перелистывать журнал и нашел искомое. – Так вот, уважаемый редактор, зря ты поместил это стихотворение на страницах, руководимого тобой издания! То, что двадцатый век дал миру великого человека, равного Прометею, Сталина признают даже наши враги. Именно он определил новый путь всей мировой истории и с этим согласны во всем мире. А что пишет наш молодой поэт? "Кавказа седого сын Сталин!" По невежеству или намеренно, в чем надо разобраться, Лаган принижает значение Сталина. Он – великий сын всего мира, а не только Кавказа! Запомни это, Лаган, вбей себе в голову, как колуном клин в бревно!

Грубый окрик докладчика совершенно ошеломил меня. Взгляды зала были устремлены на меня, и я не знал, куда деваться от нежданного интереса к себе и окончательно растерялся. Растерянность мою можно понять еще потому, что утром я случайно встретил докладчика на набережной улице, он как раз нес под мышкой новый номер журнала. Чанчор остановил меня, перелистал журнал и, указывая на мое стихотворение, сказал, что оно – замечательное, пожалуй, лучшее в номере и поздравил меня с удачей. Что должно было случиться, чтобы видный писатель к вечеру поменял свое мнение на прямо противоположное? Да и к лицу ли мэтру так вести, себя? Не флюгер же на ветру!

Наконец докладчик иссяк и ведущий собрания – представитель обкома – Павел Бардия заговорил:

– Товарищ Алиас Шаматович! Как отреагируешь на критику? Принимаешь, отвергаешь?!

Я со своего места увидел, как правая ладонь писателя, лежавшая на колене, сжалась в кулак, но ответил он голосом ровным, спокойным.

– Я внимательно все выслушал, подумаю над услышанным, взвешу, рассмотрю со всех сторон и, очевидно, сделаю какие-то выводы, пока же спасибо за столь громкое внимание к моей особе! Всего вам хорошего! – Алиас Шаматович поднялся и направился к выходу.

Зал загудел:

– Это похоже на бегство!

– Не уважаешь своих коллег, уважь хоть обком партии!

– Уймитесь, отнеситесь с уважением к достойному человеку!

– Он был среди первых при создании нашей Республики!

– Никто не свободен от заблуждений, – он исправит свои ошибки.

– Даже в белоснежное молоко, случается, попадает черный волос!

– Будем так друг на друга набрасываться – погаснут наши очаги, уцелевшие после махаджирства!

Алиас Шаматович был уже у самого выхода, когда весь зал непроизвольно поднялся на ноги, а мы с Заканом, выйдя из оцепенения, кинулись к дверям, чтобы проводить нашего любимого писателя. Снаружи мы застали толпу людей вышедших за Алиасом Шаматович. Писатель шел впереди, а мы тесной толпой следовали за ним, без слов демонстрируя преклонение перед ним и уважение к его таланту. На перекрестке Алиас Шаматович остановился и обернулся. Он улыбался, как ни в чем не бывало, и тепло смотрел на нас.

– Спасибо большое, что проводили, уважили меня. Оказанная мне честь, прежде всего, свидетельствует о том, что вы сами люди чести, еще раз благодарю и возвращайтесь, дадраа…

Он ушел, а я, обернувшись, встретился глазами с Лил, которая стояла в сторонке в обществе двух женщин. Я не думал встретить ее здесь.

– Лил и ты была на собрании? – подойдя к ней, раньше приветствия я выпалил свой вопрос.

– Была! Просто вы с Заканом немного опоздали и не заметили нас, мы сидели на другой стороне. До чего несправедливо обошлись с нашим большим, писателем! – в глазах ее мелькнула горечь.

– Захар Батович тоже присутствовал на собрании?

– К счастью, нет! Иначе он не смолчал бы! Более того, он готовился выступить, и мнение его ни в чем не совпадает с мнением докладчика. Но отца срочно вызвали в Тбилиси, в ЦК. Как ему не хотелось ехать и пропустить собрание, но пришлось. Это я от отца узнала, что оно состоится.

Вернется, я ему обо всем расскажу. Но, если он был бы сегодня здесь, схватился бы насмерть с докладчиком. Отец – принципиальный человек и отступать не умеет. Не знаю даже, чем бы эта схватка закончилась. Может, и к лучшему, что отца не было?

– Может, и к лучшему, – согласился я, чтобы сделать ей приятное.

Женщины, с которыми она была, деликатно отошли в сторону и остановились, поджидая, когда Лил освободится.

– Сегодня и в твою сторону полетели стрелы! – сказала девушка, заглядывая мне в глаза. – Совершенно несправедливые упреки, так не только одна я думаю! Многие тоже так считают! У меня к тебе просьба, Лаган, пообещай, что исполнишь.

–Если только в моих силах, непременно исполню с готовностью, – отозвался я.

– Забудь, пожалуйста, все несправедливые упреки в свой адрес!

– Постараюсь ради тебя, Лил! Но не тонкими стрелами я их ощутил! Точно дубиной огрели по голове!

– Пора прощаться, к тому же мама приболела, не хочется надолго ее одну оставлять! Еще увидимся! Лил протянула руку и застегнула пуговичку, расстегнувшуюся у меня на груди. Легкое прикосновение ее пальцев – первое прикосновение! – теплом обдало меня.

Я не мог сойти с места, но сердце мое летело вослед девушке, удалявшейся легкой поступью в окружении подруг.

XXXIV

Закан заглянул в дверь моей комнаты в общежитии и, обнаружив, что я сижу в одиночестве, вошел.

– Я готов! – сказал я, откладывая в сторону книгу, которую читал в ожидании прихода друга.

– Значит, не передумал, идем все-таки?

– Идем!

– А если в шею погонят? Ведь это собрание для заслуженных педагогов страны и прочей профессуры, а нас, студентов, никто не звал.

– Пусть так, но мы явимся незваные, смешаемся с толпой и устроимся где-нибудь в уголку!

– Ну, смотри, под твою ответственность! – пошутил Закан, и мы отправились в дорогу. Путь мы держали к зданию горсовета, там, на втором этаже, помещался просторный зал заседаний, принадлежавший профсоюзам, где и должна была состояться конференция, куда мы стремились.

Дело в том, что в прошлые выходные Закан ездил в деревню к матери. Она – заслуженная учительница – как раз была приглашена на учительскую конференцию. Но так как лежала дома с простудой, не могла принять в ней участия, о чем глубоко сожалела. Это она посоветовала сыну, будущем учителю, непременно, побывать на конференции, так как ожидались интересные события. Оказывается, три педагога, преподающие в средней школе, обратились с совместным письмом к правительству, где они изложили свои убеждения в том, что существующую систему образования надо на корню менять. Особое внимание авторы

письма обращали на вопросы, связанные с изучением родного языка в школах.

Мы с Заканом решили, что конференция предстоит чрезвычайно интересная, и на свой страх и риск отправились к горсовету и без особого труда пробрались в зал профсоюзов, который уже начал заполняться делегатами. Мы с другом предусмотрительно заняли места в заднем ряду.

– Похоже, здесь сегодня схватятся не на жизнь, а на смерть! – определил Закан, оглядывая постепенно наполняющийся зал. Его острый глаз отметил присутствие в зале ярых антагонистов. А я с потеплевшим сердцем смотрел в ту сторону, где сидели три человека, которые – я в этом был уверен – сыграли большую роль в моей жизни. Это был директор техникума Давид Абасович, любимый писатель Алиас Шаматович и преподаватель абхазского языка и литературы в техникуме Антон Еснатович. Меня радовало, что столь высоко мной ценимые люди, вместе, о чем-то негромко, но оживленно переговариваются, что они – единомышленники. Углядел я и отца Лил Захара Батовича. Он сидел с правой стороны в обществе рыжеусого мужчины и вел с ним тихую беседу. В первом ряду в гордом одиночестве разместился писатель, журналист небезызвестный Чанчор Шацба. Беспокойно мотался по залу фотокорреспондент республиканской газеты Зет Джанба. Свой фотоаппарат он еще не расчехлил, болтается в футляре у него на боку. Но тут он быстро прошел к одному из рядов и уселся. Поспешность его стала объяснима, когда на сцене появились два человека, а в зале стихли голоса. Одним из занявших место на сцене был всем известный заведующий отделом агитации и пропаганды обкома партии Бардия Павел. А про другого – высокого худого человека с зачесанными наверх густыми с проседью волосами – Закан мне шепнул, что зовут его Виктором Семеновичем и он является заместителем Комиссара по народному образованию.

Оценив установившуюся мертвую тишину в зале, негромко заговорил Виктор Семенович.

– Почти все приглашенные, за исключением нескольких лиц, отсутствующих по уважительной причине, находятся здесь, и это дает нам право открыть конференцию и начать работу. На повестке дня – один вопрос. Его подняли известные наши три педагога. Они обратились с письмом к правительству республики и вопрос, поднятый в этом письме, нам сегодня и предстоит обсудить. Авторы, выступившие с обра-

щением к правительству, присутствуют здесь – он жестом указал на правую сторону зала.

С места поднялись три человека – одна женщина и двое мужчин. Женщина была невысокого роста, коротко стриженная, одета была в черное, идущее ей, платье. Один из ее соавторов оказался довольно пожилым человеком, хотя в его бородке клинышком еще не было ни единой седой волосинки, он опирался на трость с гнутой ручкой. Третьему было не больше сорока лет, высокий человек плотного сложения и совершенно лысый.

– Прошу садиться! – сказал вежливый Виктор Семенович. – Вас, заслуженных деятелей на ниве просвещения, наверняка знает каждый в зале, оставалось только убедиться, что вы на месте. Я полагаю, нет нужды зачитывать обращение наших уважаемых педагогов к правительству, поскольку копии этого письма находятся у присутствующих на руках. И для всех очевидна цель письма – обновление существующей системы обучения. Как известно, в нашей республике в начальных классах, с первого по четвертый, включительно ведется обучение на абхазском языке, русский изучается со второго полугодия в первом классе, как предмет. А с пятого класса все предметы преподаются на русском языке. Для школьников это создает большие проблемы, так как знание русского языка у них довольно слабое. Освоение программы на нем оказывается многим школьникам не под силу. И для разрешения этой сложности авторы письма, как вы, наверное, уже ознакомились, предлагают начать обучение на русском языке с первого класса по десятый, родной язык и литература будут со второго класса постигаться, как предмет. Я кратко изложил предложение авторов, в письме же они приводят множество аргументов в подтверждение своей позиции.

В правительстве еще не рассматривали обращение трех наших педагогов. Прежде, чем по нему будет принята резолюция, решено узнать мнение широкой общественности, ученых, просветителей, писателей, преподавателей, словом, ваше мнение. Мы же с товарищем Бардия, со своей стороны, даем обещание, что о результатах обсуждения данной проблемы правительство будет поставлено в известность в полном объеме. Я не сомневаюсь, что письмо вызвало много вопросов и предложений и потому призываю немедленно приступить к его обсуждению.

– У меня вопрос к авторам письма, – с места поднялся сын Дзыкура, Маадан, известный писатель, журналист. – Предложения ваши весьма серьезны! – Он помахал в воздухе листками, очевидно, копией обра-

щения реформаторов системы обучения. – Предположим, что осуществятся ваши планы. Сначала в младших классах сведем к минимуму изучение родного языка, затем в старших классах за ненадобностью можно и вовсе убрать родной язык и как предмет. Почему бы нам, следуя вашей логике, не отказаться и от независимости нашей республики. Зачем своя республика человеку, которому родной язык без надобности? Родной язык – это главная подпорка нашей республики и вы намерены ее выбить?

– Почему так обобщать? – на корявом русском перебила его женщина – соавтор письма – и, очевидно, не полагаясь на совершенное знание неродного языка или из иных соображений, но продолжила на абхазском: – Не надо обладать глубокими научными знаниями в педагогике, чтобы не заметить, как несовершенна наша система обучения, так зачем на это закрывать глаза?

– Уважаемая Назифа, куда мне соперничать с вами, авторами обращения, в вопросах просвещения, но я хочу вам напомнить слова великого русского педагога Ушинского: «В родном языке одухотворяется весь народ и вся его родина». Как видите, отношение у него к родному языку прямо противоположно вашему и он неукоснительно служил родному наречию.

Оппонентка не нашла что на это ответить и, тихо посовещавшись с двумя своими коллегами, молча села на свое место. А слово взял Алиас Шаматович, автор многих учебников и составитель хрестоматии по родному языку.

– Абхазский язык – государственный язык, и его знание обязательно для нашей республики. Другое дело, что с младописьменными языками возникают проблемы, но они должны быть преодолены. Ктому же у нас имеется прочный фундамент, на котором мы можем строить – это наш богатый эпос, фольклор. Хотел бы обратить ваше внимание и на то, как много прекрасных произведений уже создано на абхазском языке, начиная с творчества Дырмита Гулиа. Выросла плеяда писателей, способных развивать, обогащать наш язык. А вы предлагаете теперь живую ветвь, на которой мы стоим, безжалостно отсечь, объявив сухостоем? Возможно, мои слова прозвучат и грубовато, но я скажу напрямую, не к лицу вам, воспитателям подрастающей молодежи, выступать в роли гонителей самого ценного для народа – родного языка. Не знаю, по своей ли воле или по подсказке извне, но своим письмом вы нанесли родному языку кинжальный удар в спину.

С места подскочил лысый и, не дожидаясь, когда ему дадут слово, закричал:

– Что это вы несете?! Спуститесь с неба! Положение нашего языка плачевное! И не надо нам тут хвастать, мол, родной язык – государственный. Кроме вывесок в учреждениях и пару-другую изданий, где еще наш язык выполняет функции государственного? Государственным он закреплен в конституции, ну и какая польза от этого, кому бы то ни было? Одна формальность, не более того! Рассмотрим положение так называемого государственного языка в школах столицы! У нас одна-единственная абхазская школа и в старших классах родной язык как предмет проходят лишь школьники из деревень, которые после начального образования, приехали сюда и живут в интернате. Особо хочу подчеркнуть, они заговорили на родном языке и узнали его вне всякой системы образования, в родной семье, где только и говорят на родном. А городские ребята? Да они попросту не посещают уроки по родному языку, ни дома, ни в школе, не говорят на нем. Я могу зачитать вам длинный список учащихся, не говорящих на языке родителей, больше всего в семьях интеллигенции, работников районных и областных комитетов партии. Это факт! И придется его признать! Как бы он ни был печален! Но вы предпочитаете не замечать фактов, а принудительно заставить людей учить родной язык вам не удастся. Сами дети понимают: незнание абхазского языка для дальнейшего образования и карьеры не помеха. Раз он не приносит конкретной пользы, так и учить незачем. А вы здесь толкуете, что существующая система обучения не требует изменений вместо того, чтобы трезво посмотреть на сложившуюся ситуацию. Чего же вы молчите вместо того, чтобы посмотреть трезво на происходящее? Вы же цепляетесь за желаемое!

Чанчор Шацба – записной оратор, на всех собраниях первым бежавший к трибуне, и тут вмешался в разговора зычно крикнув:

– Прошу внимания! Авторы письма открыто выступили со своим мнением! Это не повод превращать их в мишень и обрушивать на них град оскорблений. Учитесь уважать чужое мнение. Болезнь нашей интеллигенции – близорукость! Иначе бы все давно заметили, как малы возможности нашего языка. И где он применим? Если идти на восток так только до реки Ингур, на запад – не дальние Псоу. Как бы вы на это не закрывали глаза, деваться некуда, правде все равно придется посмотреть в глаза. А когда мы войдем под руководством вождя всех народов во врата коммунизма – и ждать нам этого события, думаю,

долго не придется! – все мы будем говорить на одном языке! Как бы вы этому не сопротивлялись, вам исторического прогресса не остановить, подумайте над этим!

Следом поднялся Захар Батович. Так как он некоторое время молчал, дожидаясь, когда гул в зале стихнет, я успел подумать: «А где же Лил?» и запоздало пожалел, что я не предупредил ее об этой конференции, иначе она ни за что ее не пропустила бы.

– Уважаемый Шацба, ты автор художественных произведений, – заговорил отец Лил неторопливо. – Читатели, очевидно, ждут от тебя новых книг. Я хотел бы у тебя спросить, если ты убежден, что вскоре мы все заговорим на едином языке, а тот на котором ты пишешь, исторически обречен, зачем мараешь бумагу, не лучше дождаться – тем более, по твоим словам, и ждать-то недолго осталось, пока мы войдем в светлые врата коммунизма?

– Но я сейчас о другом! В народе говорят: кто поспешил, тот людей насмешил! Не надо, с перепугу перед историей губить самое главное наше достояние – родной язык! Недостаточную ее литературную разработанность не ей, а себе в вину поставим, а природное беспредельное богатство языка сохраним и приумножим. Тем более, как уже здесь говорилось, у нас появились писатели, чьим даром мы можем гордиться. – И еще прошу, не принижайте наш язык, считая его нежизнеспособным. Будь он так слаб, так, и не сохранился бы до сегодняшнего дня, пройдя через множество исторических катаклизмов, превратился бы в один из мертвых языков. Не хороните его раньше времени, и не надейтесь на его гибель! Для ослепленного весь мир – мрак, для человека, лишенного родного языка – весь мир чужбина и всюду он сирота!

Третий соавтор письма поднялся со своего места и сделал несколько шагов по проходу, чтобы оказаться у всех на виду, оперся о трость и заговорил:

– Сегодняшняя конференция, вызвавшая острую дискуссию, свидетельствует со всей очевидностью о том, что поднятый нами вопрос крайне актуален. С одной стороны, очевидно то, что система нашего образования требует решительного преобразования, с другой стороны не менее очевиден факт пренебрежения родным языком у большинства его носителей. Против этого возразить нечего! Но я хочу указать вот на что. В нашем обществе появилось много двуличных людей, думают одно, говорят другое. Здесь присутствует ряд писателей, из которых я многих уважаю, и преклоняю свою голову перед их вкладом в молодую

нашу литературу, и тем более не могу смолчать и не сказать со всей откровенностью, что многие из них не сумели в собственных детях воспитать уважение к родной речи. Многие из них и вовсе не говорят на нем. Как быть с таким упущением, что с творчеством собственного отца родной сын не сподобится познакомиться?!

Не пытайтесь из нас троих сделать врагов родимой речи, оттого, что мы назвали вещи своими именами. Лучше разберитесь в себе, в собственных семьях, в том, почему родной язык теперь так редко звучит в стенах ваших домов! Что вы сами породили врагов родного языка!

– Слишком далеко зашел, Куаста! Остановись! – донеслось с противоположного конца зала.

Мы оглянулись на голос и увидели, что в углу стоит старик в черной высокой папахе и прямо смотрит на оратора.

– Именно вы, обратившись к правительству с предложением отменить родную речь, и показали, кто ее лютые враги. Не перекладывайте свою вину на других. Сегодняшний сход показывает одно: наш народа оказался на разных берегах одной реки. И здесь нужно лишь одно – перебросить мост через реку и соединить оба берега. Надо искать строителей моста, а не расширять поток между берегами!

– Мы назвали болезнь своим именем, только и всего! – ответствовал на это Куаста. – Сейчас я вам расскажу об одном человеке. Таких, как он, среди нас много, поверьте! Он – горожанин и быстро поднимается по служебной лестнице. Абхаз! Но зря радуются его успехам соотечественники, полагая, что он беззаветно предан родной стороне. Ведь на людях он так себя и ведет – верный сын своего народа, защитник его прав и обычаев: а дома, хоть и жена абхазка, родная речь под запретом. Дети учат английский, французский. Нанятые учителя иностранных языков завсегдатаи в этом доме. На родном же языке и словом не перемолвятся в этой семье. Самое удивительное, что хозяйка дома – преподавательница абхазского языка в школе. Но то, что годится для чужих детей, не подходит родным. А хозяин, поднимая тосты за пиршественными столами, вещает: «Благослови, Господь, неповторимый лик нашей Абхазии!» Люди добрые, как назвать такого человека? Может, он – герой нашего времени?

Наш народ поклонялся многим святым. Но нет у нас иконы, под чьим покровительством находилось бы самое для нас святое – родная речь! Где нам найти такую икону, в каком храме ее поместить, куда ей будем приходить поклоняться?!

– Вам, троим, придется первыми покаяться перед ликом святого покровителя нашего языка! Не забудьте посыпать головы пеплом сожженного вашего пасквиля! – посоветовал кто-то из глубины зала.

Куаста не нашелся, что ответить на эту реплику, поплелся на свое место, а зал загудел, как растревоженный улей. Когда голоса немного поутихли, взял слово Давид Абасович, директор техникума.

– Я должен начать с того, что, несмотря на то, что конференция была организована не лучшим образом, тем не менее, она обозначила соотношение противоборствующих сил и противоречия, существующие по данному вопросу. Я сторонник создания, о чем говорил ни раз, компетентной комиссии по изучению системы преподавания родного языка в школах. Необходимо определить, по каким параметрам среднюю школу, в которой ведется обучение не только на абхазском языке – и меньше всего на нем – именуют абхазской школой. Не надо разделять проблему преподавания родного языка в школах и проблему обучения этому предмету в техникуме и высшем учебном заведении. Одна вытекает из другой. Скажем откровенно – всерьез вопросом изучения родного языка пока никто из наших ученых не занимался. Потому предлагаю на сегодня прекратить дискуссии на эту очень важную, но недостаточно разработанную тему. А на последок я скажу, что совсем нетрудно узнать нам в лицо тех, кому Дырмит Гулиа адресовал эти строки:

Абхазом не считай себя, пока
Чураешься родного языка,
Болтая ловко на чужом наречье.
Не стоит мне протягивать при встрече
Ту руку, что спешит отдать свое
И взять чужое, – прячь в карман ее.

Заместитель Наркома просвещения Виктор Семенович рад был внесенному предложению. Похоже, конференция пошла не по предполагаемому руслу. Надо думать, организаторы не ожидали ни такой острой дискуссии, ни такого решительного противостояния и осуждения авторов письма. Сам же Виктор Семенович в заключительном слове обходил все острые углы и, даже отвечая на записки из зала, ухитрился не дать оценку ни письму трех преподавателей, ни выступлениям. В итоге никто не понял, как в самом Наркоме просвещения

относятся к поставленной проблеме. Единственное, что бодро обещал Виктор Семенович, было следующим:

– Даю слово, что представлю нашему правительству все документы конференции, и доложу о возникшей дискуссии и, несомненно, наше правительство даст правильную оценку всему сказанному.

Что же касалось Бардии Павла, он как уселся за стол в президиуме перед началом конференции, так и просидел до закрытия форума, склонившись над листками, куда что-то непрерывно записывал, подобно стенографистке, и ни разу не отвлекся от своего занятия.

За подобным занятием было непривычно его видеть. Обычно он любил выступать на всех собраниях, говорил много и с революционной убежденностью.

– Что это с ним такое? Никак голос потерял? – недоумевали присутствующие, знакомые с привычками ответственного работника обкома партии.

XXXV

Случилось это в 1936 году, под Новый год. Через два дня должен был народиться Новый год, взойти, осиянный солнечными лучами. Мы – студенты пединститута, как все, готовились к празднику, собирали деньги для праздничного застолья, обсуждали предстоящие вечеринки. Но лекции шли до последнего праздничного дня, и потому тем утром я торопился в институт на занятия, но свернул к студенческой столовой, чтобы перекусить и удивился тому, что перед столовой стоят, сгрудившись, студенты и о чем-то толкуют. По утрам для праздных разговоров времени у нас никогда не оставалось. При моем приближении из толпы вышел Закан с расстроенным лицом и, взглянув на меня, проронил:

– Вижу, ты еще ничего не знаешь...

– А что именно мне полагается знать? – насторожился я.

– Из Тбилиси сообщили, Нестор Лакоба умер!

– Нет! Не может быть! – вскрикнул я и замолчал, ошеломленный вестью. В Сухуме не было ни одного человека, который не знал бы, где находится дом председателя Центрального исполнительного комитета Абхазской АССР Нестора Лакоба. Все, до кого дошла трагическая весть, теперь держали путь туда. И мы с Заканом – тоже. К тому времени, когда мы подошли, жилье Нестора Лакоба – двухэтажное строение

– со всех сторон окружали люди. Издали казалось: они подняли дом на руки и держат на весу. Из дома раздавался громкий плач женщин, их причитания, рыдания мужчин. Да и те люди, что стояли вокруг, были убиты горем, на их лицах не было ни кровинки. Ужасная весть о любимце всей республики больно ударила в каждое сердце. Некоторые люди тихо переговаривались...

– Нестор никогда не жаловался на здоровье. Что за внезапная болезнь его настигла?

– Говорят, разрыв сердца... Что же он узнал такого, что его мужественное сердце не выдержало?

– Очевидно, это касалось участи всей Абхазии! Только гибельная новость о ней могла его до смерти довести. Таков был Чнагу, все вы знаете!

Чнагуом, домашним именем, Нестора часто называли в народе с любовью и уважением.

– Кто нам скажет, горемычным, его последнее слово...

По лестнице со второго этажа спустился пожилой черноусый мужчина, вытирая слезы белым платком. Он все не мог успокоиться, видно, был одним из близких дому человеком. Мужчина нервно топтался на месте и никак не мог унять слез. Я услышал его причитания:

– Среди белого дня волки расправились с тобой, Чнагу... И никого из близких не было рядом с тобой... Ты простишь, Чнагу, да мы себе не простим, что отправили тебя одного, что некому было тебе спину прикрыть, некому рядом плечом к плечу с тобой встать. Жизнь отдать за тебя было бы благом, Чнагу, но этого блага нам теперь не видать...

Из дома, не смолкая, доносились пронзительные женские крики и рыдания...

Рано утром следующего дня горожане двинулись в Келасур, к железнодорожной станции. В ту пору дальше – в город – железная дорога еще не была проложена. Мы с Заканом и пятью друзьями были среди них. Но дорогу так тесно заполняли люди, что где-то по пути я растерял своих друзей, а сам пробирался к цели по обочине дороги и склонам гор, спускавшихся к насыпи. Поднявшись выше, мы остановились прямо напротив станции. Люди теснились повсюду, и все смотрели в ту сторону, откуда должен был прибыть состав с телом Лакоба.

И вспомнил я, как года два назад открывали здесь новую станцию. Прямо перед зданием станции стояла трибуна, обитая кумачом. А же-

лезнодорожная колея, по который впервые должен был прибыть поезд, перекрыта алой лентой.

Я вспомнил обращение Нестора к присутствующим после того, как он перерезал алую ленту. С какой радостью он поздравлял горожан с тем, что теперь и Сухум связан с большим миром железной дорогой! Помнится, он вдохновенно говорил о грядущих планах. Народ рукоплескал ему и делил с ними его искреннюю радость по поводу события.

Кто бы тогда мог подумать, что на поезде, которому он так радовался всего два года назад, теперь повезут его в гробу. Как переменчива человеческая судьба... Больно было думать, что судьба Нестора оказалось столь трагичной...

Мои грустные мысли прервал гудок паровоза. Машинист оповещал, что скоро состав прибудет. Толпа колыхнулась, будто прошел по ней ураган, как проходит по жнивью. Поезд приближался, и, казалось, что гудок его наливается все большим и большим отчаянием.

Некоторое время спустя, точно одинокий парусник в открытом море, поплыл гроб с телом Нестора меж людьми. Его до самого дома несли на руках и толпа, следовавшая за гробом, не редела...

* * *

В день похорон, ближе к полудню, гроб с покойным перенесли в фойе Государственного театра. Люди со всех концов Абхазии нескончаемым потоком шли, чтобы попрощаться со своим любимцем, с человеком, которого не только любили, но и которым гордились, надеялись на него, верили ему. Теперь шли, чтобы проводить в последний путь. Мы, студенты, тоже были в той долгой очереди. Затем мы вышли из здания театра и присоединились к огромной толпе, заполнившей футбольное поле, которое располагалось через улицу слева от театра. И здесь я случайно столкнулся с Лил. Она разыскивала подругу, с которой разминулась в толпе. Девушку я не видела с того часа, как узнал о смерти Нестора Лакоба.

– Что же нас ожидает, Лаган? – спросила она, глядя на меня горестными глазами.

Лил была очень бледна и встревожена.

– Как твой отец воспринял наше общее несчастье? – спросил я. – Должно быть, сильно переживает?

– Таким подавленным я его никогда не видела, – призналась девушка. – Опять начал курить и матери сказал, что у него страшные предчувствия.

Вдруг толпа, в которой мы стояли, раздвинулась. Мы не могли понять, что произошло, пока не увидели, что по образовавшемуся живому широкому коридору, движутся всадники. Их было не счесть. На краю поля они все одновременно спешились и, бия себя в грудь, с рыданиями все вместе направились к зданию, где лежал покойник.

Для меня было достаточно привычным, когда трое, четверо мужчин на похоронах одновременно подходят к гробу с покойником и, бия себя в грудь, рыдая, прощаются с ним. Но чтобы сразу сто мужчин зарыдали в голос? Это ошеломляло. Должно быть, не одного меня, так как в толпе на некоторое время установилась тишина. Эти сто рыдающих мужчин лишний раз подчеркнули невосполнимость огромной утраты, что понесла Абхазия. И толпа захлебнулась в рыданиях. Неподалеку от меня Лил, нашедшая свою подругу, держала ее за руку и обе плакали навзрыд.

Я, стараясь взять себя в руки, поднимаю глаза и смотрю поверх голов в сторону гор. Но мне чудится, что и вечные горы в нетающих снежных шапках сейчас исходят ручьями слез... Людское неподдельное горе, как штормовые волны на берег, накатывает на все вокруг.

* * *

Хоронили Нестора Лакоба в Ботаническом саду. Здесь же у входа была сооружена трибуна, с которой с прощальным словом выступали прибывшие отовсюду делегации. На траурном митинге выступили два представителя грузинской делегации – Герман Мгалоблишвили, председатель народного комиссариата Грузинской ССР и академик Симон Джанашиа. Академик говорил на абхазском языке. Я запомнил начало его выступления:

– От имени интеллигенции Тбилиси выражаю абхазскому народу искренние соболезнования. Вы потеряли всенародного любимца – опытного руководителя и высокой души человека. Невосполнимая утрата...

Запомнил я и выступление женщины из села Тамыш Мины Барганджия. Правда, так как она не столько говорила, а сколько причитала высоким голосом, не все слова ее я расслышал.

– Что с тобой Нестор?! – с рыданиями обращалась она к покойному. – На кого ты нас оставил? Дело свое ты оставил на кого? Твой народ едва успел дух перевести и с надеждой взирал на тебя, а теперь на кого возлагать нам надежды, Нестор?! Дело твое, дело народное, только становится на ноги. Ты же – мудрый, знаешь, как хрупок младенец, как надо его оберегать в начальные его годы, пока он не научится твердо стоять на ногах. Ты ушел, Нестор, и кто укроет детище твое от бурь и холодов?

Крестьянин из Ачандары, высокий статный Алиас Чамагуа сказал следующее:

– Неожиданное горе свалилось на нас. Слова не идут с языка. Нестор, дад, ты всегда был внимателен к нашим нуждам, к нашему горю. Когда ты был среди нас, нам казалось: мы – в крепости, которая никогда не падет под натиском врагов. Ты – плоть от плоти крестьян! – знал, где и что у них болит, и был лучшим врачевателем для нас. Теперь мы лишены нашей крепости, беззащитные в чистом поле, но пока мы есть, дад, Нестор, ты останешься в наших сердцах...

К трибуне подошел восьмидесятилетний старик из Блабурхуа Басиат Барциц. Поверх концов башлыка, завязанных на груди, он сложил свои натруженные руки, но голос, хоть и звучал глухо от сдерживаемых слез, старческой надтреснутости в нем не слышалось.

– Дадраа, черный день настал для нас! Закатилась звезда Абхазии! Что может укрепить наш дух? У незабвенного Нестора остался сын. Наш долг не дать ему почувствовать сиротство, того сиротства, что мы все сейчас с потерей Нестора ощущаем, вырастим его, защитим... – старик хотел еще что-то добавить, но не сумел совладать со слезами и голос его прервался.

И после того, как прах Лакоба предали земле, многие долго не расходились, стояли группами, тихо с горечью беседовали. Я оказался вблизи группы, где находился мой бывший учитель из техникума, преподаватель абхазского языка и литературы Антон Еснатович. Услышав о чем он говорит, я остановился.

– Странно, что среди множества телеграмм соболезнования нет от Сталина телеграммы, – сказано было им.

В голосе его послышалась растерянность, и даже некоторая настороженность, с которой обычно воспринимают непонятные явления.

– Все обратили на то внимание, только не знают, как истолковать, – заметил высокий мужчина в очках. – Когда зачитывали телеграммы,

я стоял поодаль от вдовы Нестора, так вот слышал собственными ушами, как Сария в слезах сказала: «Думала, что Иосиф Виссарионович первым откликнется на наше горе, а он и вовсе промолчал. Отчего?» Сария вправе была рассчитывать на сочувствие Сталина. Ведь он так доверял Нестору, называл его соратником, а когда приезжал в Абхазию на отдых и проводил время с Нестором, он даже охрану отсылал прочь. Много раз он гостил в доме Нестора, ел, пил, почему он на хлеб-соль наступил?

– Внезапная смерть Нестора в Тбилиси, молчание Сталина... не знаю, как вы, но я опасаюсь, что все это неспроста и нас ждут страшные времена.

Я не видел лица мужчины, произнесшего эти слова, но поежился от тревоги, звучавшей в его голосе.

Антон Еснатович и его друзья медленно пошли по улице, тихо переговариваясь.

А я перешел к другой группе, заметив своего односельчанина Алхаса, одного из уважаемых людей, златоуста.

– Мы потеряли сегодня человека, за чьей спиной ощущали себя как в крепости, можно сказать, он был как охранная грамота для Абхазии и теперь нам надо в ближайшее время собрать народ то ли здесь, то ли на площади в Лыхны и медлить нам никак нельзя.

– Соберешь народ, Алхас, и что далее? – спросил кто-то.

– Как что? Пусть народ решит, кому вверить судьбу Абхазии, кто сумеет ее защитить, как защищал Нестор.

– Миновали те времена, Алхас, когда народ выбирал своего представителя и вручал ему бразды правления! – с горечью возразил ему лысый пожилой человек. – Теперь партия решает, кого и на какую должность поставить. Прости меня, Господи, коли я соврал, не партия решает, один человек, который сидит далеко и высоко. Ему наши боли и чаяния ни к чему.

– Выходит, народ – стадо, лишились одного пастуха, пришлют другого, а стадо, куда погонят туда и пойдет? – недоверчиво воззрился на него человек в папахе.

– Не в обиду вам будет сказано, но мы не застолье нынче покинули, мы возвращаемся с похорон лучшего сына Абхазии и сейчас не в перепалку надо вступать, а всем вместе задуматься о судьбе нашей страны, – урезонил их Алхас и тут, заметив меня, подозвал: – Иди-ка сюда, Лаган, ты еще молод по возрасту, но человек ученый. И вы, молодежь,

получившая образование, повидавшая мир, должны по-другому на все смотреть. Ты слышал наш разговор, и что ты сам обо всем этом думаешь?

Приглашение к разговору для меня оказалось неожиданным и необходимость говорить при почтенных пожилых людях меня смущала, но промолчать было и того невежливее, и я сказал то, что думал.

– Это правда, что теперь партия решает, кому и где работать. Но партия ведь народная. И потому что в том плохого, чтобы собрался народ и выразил свое пожелание? Разве представители партии не должны прислушаться к мнению народа?

– Молодой человек, я впервые тебя вижу, не знаю, где и чему учишься, но сказанное тобой к небесам воспаряет, а мы стоим на земле. И здесь надо исходить не из того, как должно, а из того, что есть, – заметил человек средних лет, одетый как горожанин в костюмную пару. – Теперь на народный сход надо предварительно получить разрешение. И где мы можем его получить? Ясно, в областном комитете компартии. А там, прежде чем дать разрешение, спросят: «По какому поводу собираете сход»? «Хотим выбрать руководителя страны» – скажете. «Кто вас уполномочивал? Это не вашего ума дело, комитет партии без вас разберется»! – растолкуют вам и наложат на ваше заявление резолюцию: «Отказать!» Вот так вот!

Мужчина огляделся, будто испугался своей излишней то ли откровенности, то ли горячности и, попрощавшись, быстро пересек улицу и скрылся с глаз.

– Отчего нам никогда не удается придти к согласию, проклятие небес, что ли, нас преследует! – глубоко вздохнул Алхас, глядя в ту сторону, куда ушел вспыльчивый спорщик. Затем и он со своими спутниками двинулся в дорогу. А я остался один со своими горестными мыслями.

* * *

Но в тот час остаться мне одному было сподручнее всего. Когда на душе печаль и смута, я предпочитаю одиночество даже беседе с самым близким другом, каким в ту пору был для меня Закан. Любое общение причиняет мне боль и непомерно раздражает. Окажись я сейчас в отчем доме, то поднялся бы на холм к Рассеченному камню. Поднявшись на плато, я с замершим сердцем, как в первый раз, огляделся бы вокруг, радуясь, что отсюда далеко просматриваются окрестности и, точ-

но принимая снадобья для измученной души, я переводил бы взгляд с ближних вершин гор на далекий, но прекрасно отсюда заметный морской простор. Потом я, как обычно, уселся бы около камня и долго слушал пенье птиц и их беспокойное шебаршение на деревьях, негусто произрастающих на склонах холма. Я часами так мог врачевать свое сердце на холме, и только окончательно придя в себя, возвращался домой, готовый вновь без болезненного усилия воспринимать окружающий мир.

В Сухуме у меня нет дома, а только пристанище – общежитие. Когда тоска настигает меня, я тороплюсь, пока друзья не заметили моего состояния, покинуть временный свой кров. И всегда я иду в одном направлении – к морю, бродить по берегу. Никакое ненастье в такой день не удержит меня в помещении, готов и под проливным дождем выбираться к морю. Наоборот я даже рад грозе, тому, что небо вспаривается молниями, гром грохочет и в унисон ему грозно бьется о берег штормовое море.

...Наконец разошлись люди, принимавшие участие в траурном митинге, опустел Ботанический сад, а я поторопился к морю в надежде, что оно утешит меня и хоть немного да развеет тоску.

В последнее время события прошлого все больше и больше занимают мои мысли. Я, подобно вспугнутой стае птиц, пропадающей в поднебесье от недоброго взгляда, ухожу, как за облака, в размышления о прошлом нашего народа. И так и этак рассматриваю дошедшие до нас скудные сведения о миновавших судьбоносных событиях. Как много всего сгорело в жерле времени, испепелилось! Но ведь и на пепелище можно найти бесценные крупицы свидетельств о земле наших предков. Главное, набраться упорства в их поисках. Каждое историческое событие надо постигать до самой его сути, дойти до его истоков, до корней.

Стойкому интересу к историческому прошлому родной земли мне кажется, я обязан Давиду Абасовичу, бывшему директору педагогического техникума. Сейчас он заведует городским педагогическим кабинетом. И я время от времени бываю у него.

Давид Абасович – географ, краевед, историк. Он, как и Захар Батович, специализируется по истории девятнадцатого века нашего края. По этой обширной теме в печати появлялся ряд исследований Давида Абасовича, но мне известно, что у него гораздо больше неопубликованных работ. Сегодня на похоронах я высматривал его, но не нашел.

Правда, народу было тьма-тьмущая, и я просто мог и проглядеть Давида Абасовича, но отчего-то на сердце из-за этого тоже было тревожно.

Я шел и вспоминал содержание трудов Давида Абасовича. Девятнадцатый век – трагический век в истории абхазского народа. Время перемен, когда все события оборачивались против абхазов. Они оказались меж двух могущественных огней, меж жерновов, и тысячи и тысячи людей лишились даже возможности пасть на родной земле, отдать за нее жизнь, как испокон веку повелось, сгинули на чужбине.

«Проклятие небес, что ли, нас преследует?» – посетовал сегодня старик Алхас. И впрямь, неужто, мы разгневали небеса? С начала девятнадцатого века Абхазия не только потеряла независимость, как государство, вопрос стал и вовсе об исчезновении самого этноса. Волны истории с жестокой целью смыть в небытие целый народ, накатывали на мою страну. Кто поставил эту цель?

В начале девятнадцатого века правитель Абхазии Келашбей Чачба как никто другой сумел укрепить и объединить свое государство. Для достижения цели он не пощадил и мятежных князей. Он трезво оценивал сложное время, на которое пришлось его правление. Келашбей напоминал человека, попавшегося в водоворот, но могучим усилием преодолевающего силу потока. Правителю удалось укрепить свое государство. Но от успехов у него голова не пошла кругом. Он осознавал, как неустойчив мир, и внимательно следил за соседними могущественными государствами, чтобы знать, кто в будущем приобретет большую силу.

Благодаря своей дальновидности, Келашбей, как опытный капитан, вел свою страну меж бурных волн истории, стремясь достичь надежного пристанища. Но судьба судила иначе.

И главным препятствием на пути Келашбея стал его собственный сын – первенец Асланбей. По материнской линии он был из рода Дзапшаа. Келашбей пришел к обоснованному выводу, что весь Кавказ рано или поздно окажется под Российской империей. Мощь этой державы превосходила силы Турции, пережившей к тому времени свой золотой век. Правитель Абхазии со всей очевидностью видел – спасение его маленькой страны в том, чтобы оказаться на стороне сильнейшего в споре двух держав за господство на Кавказе. Правитель считал, что если Абхазию ввести в состав Российской империи, чей авторитет и среди могучих европейских держав был достаточно высок, то у его страны появится шанс себя сохранить и получить не только покровительство Российской империи, но и причаститься к европейским ценностям.

Но решение, принятое правителем Абхазии, было встречено в штыки сыном его Асланбеем.

«Путь, выбранный тобой – гибельный путь! Турецкий султан и вера его – ислам – вот, что может стать спасением для нашей страны. Мы должны повернуться лицом к Турции! Все остальное – ложь!» – на этой позиции насмерть стоял Асланбей.

Меж отцом и сыном разыгралась настоящая трагедия. И вопрос встал не только о борьбе за власть, столкнулись два мира, два государственных мужа, по- разному видящих будущее своей страны, судьбу своего народа.

Сын уничтожил отца. Но он не смог остановить поступательное движение истории и оказалось, что выбор Келашбея был более дальновидным. Абхазия вошла в состав Российской империи, но вошла, как корабль без капитана, без мудрого правителя. Без Келашбея волны истории качали корабль без руля и ветрил, направляя его то туда, то сюда по воле переменчивого ветра.

Можно с уверенностью сказать: Келашбей пал за родину, до последнего стараясь ее сохранить. После него не поднялся другой, равный ему правитель – собиратель земель, личность, которой удалось бы сплотить всех князей...

На набережной вдруг оказалось многолюдно. К морю, очевидно, вышли люди, принимавшие участие в траурном митинге, и еще не покинувшие город. На море стоял полный штиль. Оно как бы онемело и пронзительный крик чаек – они как раз будто ошалели – к перемене погоды, что ли? – разносился далеко над морем. То и дело какая-нибудь из птиц стремительно пикировала к морской глади и свечой взлетала вверх. Несмотря на многолюдье, знакомые мне не попадались, чему я был рад. Не расположен был я к праздным разговором, никак не расположен. Я ускорил шаги, и теперь навстречу мне попадалось все меньше людей, но от мыслей своих, как я ни ускорял шаги, уйти не мог. Они мутным потоком подхватили меня и несли, умножая печали...

...Более поздние правители Абхазии Сафарбей и Дмитрий не выдерживают никакого сравнения с Келашбеем... А вот что касается последнего правителя Абхазии Хамутбея, то это был особой закваски человек. Свыше сорока лет он правил страной… Шла кавказская война, но русские не трогали правителя Хамутбея. Они знали, как высок по обе стороны Кавказа авторитет абхазского правителя, как он может оказаться полезным в борьбе с немирными горцами. Правитель Аб-

хазии прекрасно осознавал, что находится меж двух огней. Он не мог сражаться против Российской империи. Царские генералы со своим войском находились на территории Абхазии, с другой стороны часть горной Абхазии – роды из Дала, Цабала, Гумы, садзы и воспитавшие Хамутбея убыхи взялись за оружие. Оно было направлено против русских.

Правитель Хамутбей сделал возможное и невозможное, чтобы миром поладить с горцами, но оказался бессилен. Дошло до того, что правитель вынужден был пролить кровь части своего народа в надежде сохранить в целостности страну. Один бог ведает, что он чувствовал, когда сохранил верность Российскому трону и ввязался в войну против братьев. И всё ради целостности своей страны, ради того, чтобы уберечь ее. Но когда империя утвердилась на Кавказе, война закончилась, отпала надобность в Хамутбее. Однажды, когда он лечился на водах в Ткуарчале, за ним явились эмиссары русского царя. Он был взят под стражу и сослан в Воронеж. И там, на чужбине, в Воронеже через год с небольшим он скончался.

Хамутбея никто насильственно не лишил жизни, не вонзил в сердце кинжал, не сразил пулей в лоб, но и его можно причислить к павшим за Родину, как и его дед Келашбей.

Хамутбея сослали в Воронеж в 1864 году. Последующие 13 лет для Абхазии были самыми черными – трижды, точно эпидемия оспы, опустошало Абхазию массовое переселение в Турцию горцев, с оружием выступавших против Российской империи. Сколько их без счета сгинуло в открытом море, сколько погибло в Турции, не вынеся разлуки с родимой землей! Опустела Абхазия, осиротела, даже название ее упразднили...

Каждый раз, когда я размышляю о трагической судьбе Родины, передо мной встает такая картина: после обвала в горах, после камнепада, сносившего все на своем пути, на склоне горы чудом выстояло одно деревцо, побитое, со сломанными ветвями, с искореженным стволом. Казалось, не выживет, казалось, засохнет... Но выстояло деревцо, зазеленело...

Тысячелетиями, сохраняя среди исторических бурь свой язык и культуру, Абхазия плыла к своему будущему и назло врагам, которые полагали, что после изгнанничества – мхаджирства – страна, лишенная даже своего названия, уже никогда не поднимется, дождалась своего часа.

В 1921 году Абхазия, скинув тенета меньшевизма, приобрела независимость.

И во главе новой самостоятельной Абхазии в течение пятнадцати лет стоял Нестор Лакоба, сам из крестьян, любимец и гордость народа, человек, который последнее пристанище в тот день нашел в Ботаническом саду и навечно – в сердце своего народа.

В дни прощания с Нестором Лакоба я впервые услышал кличку Берия – очкарик. Может, тогда она и возникла. Глухой ропот стоял вокруг, люди с оглядкой, но толковали о страшных вещах, о которых большинство и вовсе не имело представления. Так я узнал, что, оказывается, Берия давно невзлюбил Нестора Лакоба, давно искал повода, чтобы обвинить того во всех смертных грехах, а подвести под расстрельную статью он умел как никто другой. Но Берия сдерживали добрые давние отношения между Сталиным и Лакоба. Очкарик выжидал случая.

Кое-кто с уверенностью очевидца рассказывал следующее. На партконференции в Тбилиси Берия выступил с докладом: «Из истории большевистской организации Закавказья». Из доклада явствовало, что все свершения большевиков в Закавказье – заслуга Сталина. Если в России штурвал партии большевиков крепко держал в руках Ленин, то в Закавказье подобная честь принадлежала одному Сталину. Доклад тотчас был издан отдельной брошюрой и уж очкарик постарался, чтобы книжица попала в руки вождю. Вроде бы Сталин, почитав брошюру, позвал к себе Берия – тот, должно быть, не заставил себя долго ждать, – и объявил ему, попыхивая трубкой:

– Очень полезная и своевременная книга, Лаврентий. Мы знали тебя как хорошего организатора, но оказывается, ты и теоретик отличный.

Очкарик немедленно воспользовался представившейся возможностью, расположением к себе вождя, щелкнул замками портфеля и достал оттуда пухлую папку дело, сфабрикованное против председателя ЦИКа Абхазской АССР Нестора Лакоба.

И здесь рассказчик, излагавший эту историю, внезапно умолк. Сколько слушатели не допытывались, а что было потом, неужто вождь поверил напраслине, возведенной очкариком на Нестора, он твердил: «Все, что знал, я вам уже сказал, мне добавить нечего».

Но то, что Сталин не прислал телеграмму соболезнования, внушало большие опасения. Вождь мог и поверить навету...

И как могло так случиться, что Нестор Лакоба, человек крепкого здоровья умер вот так вот, в одночасье? Внезапная его кончина всем

кажется загадочной. Очевидно, и вдову Нестора, Сарию мучили тяжкие сомнения и в полночь, пока покойник был в доме, она призвала семейного врача Сермерджиева. При осмотре выяснилось, что мозг и внутренние органы покойного были удалены. С душераздирающим криком: «Собачий сын искромсал тебя, собачий сын погубил исподтишка»! – она выскочила из дому. Многие видели Сарию, метавшуюся в ярости и отчаянии, многие слышали ее причитания. Все больше и больше подвергалось сомнению то, что Нестор Лакоба умер естественной смертью.

После того, как Хамутбея отправили в ссылку, ужасная участь постигла Абхазию, она превратилась в колонию, а не смирившиеся с этим обстоятельством люди навсегда покинули родные очаги, предпочли чужбину растоптанной колонизаторами родине...

Нестор Лакоба, всем сердцем служивший в течение пятнадцати лет своей родимой стране, так много сделавший для ее независимости, навеки ушел в мир иной... и его уход, судя по всему, был насильственным. Его отринули от родной земли, как когда-то Хамутбея...

Как немилостива судьба к Абхазии, исторический ее путь – это постоянное преодоление препятствий. А когда во главе ее встает крупная личность, патриот и большой политик, можно заранее сказать: его непременно уберут, разлучат с землей, на благо которой он готов взойти на эшафот...

Что ожидает завтра Абхазию?

Дойдя до конца набережной улицы, я повернул назад. На причале не только корабля и лодок не было видно. Только три одиноких рыбака стояли в воде и следили за поплавками своих удочек. На душе стало еще муторнее, совсем сбавив шаг, я брел по набережной, когда в глазах у меня потемнело. И вдруг – не знаю, что со мной было, то ли видение, то ли мгновенный обморок, но мгла рассеялась, и я явственно увидел пустой луг, посреди которого навзничь лежит Нарт Сасрыкуа, истекающий кровью, рядом – оторванная нога. Я приблизился, и вспорхнула стая голубей над ним, голуби, ставшие его горевестниками. «Как же так, сколько раз ты, герой из героев, выручал своих братьев?! – вскричал я про себя. – Как же они могли пренебречь тобой, пожертвовать тобой? Это конец великих Нартов, последний их час!»

Я очнулся от того, что налетел на препятствие. Я оказался у стены развалины Сухумской крепости. Именно здесь, внутри этой крепости,

сын Келашбея безжалостно расправился с отцом. Кто знает, может, кровь Келашбея обагрила именно эту стену...

Солнце закатилось, и сумерки упали на город...

XXXIV

Во второй половине сентября мне срочно понадобились деньги – туфли прохудились, ходить стало не в чем, – и я отправился на денек к родителям. На стариков не рассчитывал, – откуда им взять денег? – и не признался им о причине своего внезапного появления, а сестре Мачич пришлось наедине рассказать о своих затруднениях, и она меня выручила. Время позволяло в тот же день вернуться в город, и я прикидывал, не поступить ли так – в городе меня ждали срочные дела, но вдруг в наши ворота вошел гость – Андрей Лазба.

Мы с сестрой пошли ему навстречу.

– Вот не чаял тебя увидеть! – радостно удивился я. – Разве ты не в Москве? – добавил я, памятуя, что он учится там. – Как я рад тебя видеть! Спасибо, что завернул к нашему дому! Как давно ты нас не навещал!

– Вот я здесь! Как говорят русские, лучше поздно, чем никогда! – улыбнулся Андрей и, сняв с плеча переметную суму, поставил ее наземь. – Не удивляйся моему виду, три дня провел в ущелье реки Пал. По вечерам отбивался от медведей палками, они туда спускались полакомиться лавровишней. С ружьем, ты знаешь, я принципиально не хожу, вот и приходилось отгонять медведей палками. Ничего... – он вновь улыбнулся. – Мы с медведями, в конце концов, поладили!

Приглядевшись, я действительно заметил, что он одет по-походному – в прочной плотной куртке, в войлочной шапке. Из-за многодневной щетины на щеках Андрей казался более смуглым, чем был на самом деле.

– Поднимитесь на крыльцо, путник дух переведет, – посоветовала Мачич, намеревавшаяся, очевидно, и попотчевать гостя чем-то вкусным.

Но Андрей только покачал головой.

– Спасибо, сестричка, но времени у меня в обрез... просто хотел увидеться хоть и накоротке, дело у меня к Лагану. Но прежде не могу не сказать о своих впечатлениях о лощине у реки Пал... Я думаю, у нас нет в Абхазии иного места более богатого, чем эта лощина. Какие могучие каштаны там поднимаются, один к одному, и так густо, точно ка-

мышовые заросли. А между тем, вы же знаете каштаны со съедобными плодами – один из исчезающих видов. А красное дерево и самшит, которыми не менее богаты те места?! Это же бесценные породы деревьев. Древние греки и римляне знали об этом богатстве абазгов. Сколько раз они причаливали к нашим берегам, чтобы увозить потом на своих судах и самшит, и красное дерево – пересекали Понт Эвксинский, преодолевали его нелегкий нрав – так манило их наше богатство. Смотрите! – Андрей бережно вынул из сумы два деревянных кругляша и один протянул мне, другой отдал Мачич. – Взвесьте на руках, тяжеленные, верно? Таково красное дерево. Оно крепче железа и никогда не гниет в воде и древоточцы-жуки ему не опасны. Мебель и вообще любое изделие из красного дерева – это же на века! Но кто-то варварски расхищает наше богатство, Лаган! Мало того, что вырубают каштановую рощу, так взялись и за бесценные породы – самшит да красное дерево. Вырубка их запрещена, но кто с этим посчитается? Кому жаловаться?! – Андрей взял из наших рук кругляши красного дерева и бережно, будто боялся причинить им боль, уложил обратно в сумку. Вид у него был несчастный, но он заставил себя улыбнуться и сменил тему разговора. – А вообще я к вашему дому завернул с тем, чтобы напомнить: ты мне обещал новые свои стихи. Дашь почитать?

– Дам, конечно!

Правда, в свое время мы условились, что я продекламирую ему стихи, а он послушает и скажет свое мнение, но, он попросил рукописи и я не мог ему отказать. Тем более, когда читаешь стихи, от них совсем иное впечатление, чем, когда слушаешь. Я поднялся в свою комнату, взял общую тетрадь, куда я переписал стихи особенно старательно, собирался их показать Дмитрию Гулиа, но все еще не решался, и снес тетрадь Андрею.

Он с благодарностью взял в руки тетрадь, перелистал и сказал:

– Будь спокоен, не затеряю твою рукопись, считай, что она заперта в металлическом сейфе! – он спрятал тетрадь во внутренний карман пиджака. – К концу месяца мне нужно быть в Москве, но, надеюсь, на Пасху мы непременно встретимся.

Мы с сестрой принялись уговаривать его зайти в дом, перекусить, но он отклонил наше приглашение, сославшись на уйму дел и, пожелав нам всего хорошего, покинул наш двор. Я и Мачич смотрели ему вслед, как он шел по проселку, твердо ступая. Даже по его походке можно было угадать, что он решительный и неравнодушный человек.

В тот день мне не удалось вернуться в Сухум. Вечер мы скоротали с родителями и сестрой, толкуя о том, о сем. Разошлись поздно, но когда я и улегся, заснуть не мог. Моя мучительница – бессонница – вновь посетила меня. Я ворочался в постели, и тревожные думы обступили меня. Я пытался отогнать их, как отгоняют злую кусачую собаку, но без особого успеха. Под конец я сосредоточился на мыслях об Андрее Лазба. Я уважал его, высоко ценил и то, что он был человеком образованным, и то, что он врос в родное село всеми корнями своей души и переживал все его трудности, как свои личные. Я благодарен ему за искреннее дружеское ко мне отношение. Мне нравилось, что по всем проблемам у него ярко выраженная позиция, и он ее не скрывает. То, что творилось в нашем селе, вызывало у него большую тревогу. Однажды он мне сказал:

– Хочешь представить себе положение нашего села на сегодняшний день, Лаган? Тогда послушай. Представь себе, что группу людей под поклажей отправили в горы с наказом непременно доставить на вершину груз. Но ведь люди разные и по силе и по умению и не всем дано преодолевать вершины, но им сказали: «Назад дороги нет»! Вот и карабкаются люди вверх, выбиваются из сил. Вот один уже упал, потерял сознание, другой увидел тайную тропу и давай бежать по ней подальше от поклаж и вершин. Третий со словами «делайте со мной, что хотите, но дальше я не в силах идти», сел прямо на тропу. Четвертый, самый упрямый, все еще карабкается наверх в надежде, что вершина ему покорится. Кто знает... Только ты посмотри, путники не только не достигли цели, но и стали чужды друг другу, выполняя непосильную задачу. Так в нашем селе крестьяне, всегда державшиеся вместе – в этом была их сила! – стали отмежевываться друг от друга. Их насильственно разобщают. Те, кто посмекалистей, любыми правдами и неправдами перебираются в город, село потеряет, а город приобретет ли? Молодежь, научившись грамоте, получив специальность, тем более не вернется, и что же выходит? Скоро наше село станет обиталищем лишь стариков и старух, доживающих на пепелищах! И не вина это наших односельчан, Лаган. Просто на наше село взвалили такую же непосильную ношу, как и на тех путников, которых погнали в гору, вот и стонет, и стелется по земле село, и неизвестно, как долго продержится.

Я слушал Андрея с болью, но понимал, как много правды в его словах, я сам видел, до какого состояния довели наше село. Но что я мог сделать? С оружием в руках отстаивать его? Но не было у меня иного

оружия, кроме моих стихов, значит, они должны стать моим оружием. Они должны «выстрелить»!

Я отдал Андрею стихи, которые до того не показывал никому. Возможно, он уже их читает. Любое его мнение я приму с благодарностью, потому что знаю – этот человек никогда не покривит душой... Я сел на кровати и зажег спичку, посмотрел на часы, до рассвета оставалось уже не так много времени. Я вновь лег, повернулся к стене лицом, закрыл глаза в надежде, что, наконец, сон явится ко мне.

* * *

В то утро я проснулся оттого, что солнечные лучи через окно брызнули мне в лицо. Я скоренько поднялся, быстро оделся и выскочил на крыльцо. Моя сестра подметала длинным веником настил на крыльце и встретила меня приветливой улыбкой. Я схватил с крыльца, перекинутое на перила белое полотенце, и провозгласив: «Я начал купаться»! – сбежал с крыльца.

– Так ведь свежо еще, не простудись! – заботливо крикнула мне вслед сестра.

Действительно, утро было прохладное, и, когда я добрался до бегущей меж белых больших камней реки, увидел, что студеный дымок, как пар изо рта, поднимается местами над рекой, но это не могло меня остановить. Я поднялся на черный камень на берегу и загляделся на зеркальную поверхность заводи, где обычно купался. Я только собрался стянуть с себя одежду, как камень, кинутый в заводь, разбил его зеркальную поверхность и с глухим всасывающим звуком ушел на дно. Я огляделся, стараясь обнаружить, кто же балуется, но никого не увидел. Однако стоило мне отвернуться, как вновь другой камень проделал тот же путь. На этот раз я оказался проворней или же баловнику не захотелось больше скрываться, во всяком случае, я углядел на противоположном берегу Андрея Лазба.

Он перебрался ко мне по белым выступающим камням, помогая себе шестом, и даже ног не замочил.

– Шел к тебе и вдруг издалека вижу, как ты с белым полотенцем, точно с белым флагом, торопишься куда-то. Понял, что идешь «сдаваться» любимой заводи и поспешил сюда.

– Совпали наши желания, как говорится, сбылась мечта слепого – зрячие глаза! Очень рад видеть тебя! – радостно приветствовал я друга.

– Так давай на берегу чистого потока, под его шум, вдыхая горный воздух полной грудью, послушаем стихи, трогающие струны сердца! – с этими словами Андрей раскрыл папку достал общую тетрадь с моими стихотворениями.

Мы направились к раскидистому грабу, который поднимался неподалеку от русла реки на лужайке. Под деревом лежало много больших камней и деревянных обрубков, на которых сподручно было усесться. Здесь мы и устроились с другом – расположились напротив друг друга. Андрей немного помедлил и заговорил:

– Скажу тебе откровенно, Лаган, я никогда не разбирал ничьих стихов, да и считаю, что не имею на это право, несмотря на то, что прежде чем выбрать другую профессию, закончил два курса литфака. Но сегодня я отважился поговорить о твоих стихах. Прими это как мнение обычного читателя, правда, твоего единомышленника, также болеющего за свою землю, как и ты, имеющего схожие с тобой взгляды на многие вещи и явления.

Я кивнул. Я давно воспринимал Андрея Лазба как человека, которому могу довериться полностью, зная, что он меня всегда поймет.

– Мне понравились твои стихи, Лаган, – начал Андрей и замолчал, будто к чему-то прислушиваясь, то ли в себе, то ли вовне, затем продолжил: – Нет, я выразился неточно, они не просто понравились мне, от них у меня закружилась голова, как от крепкого напитка. Я сразу почувствовал, какие страсти бушуют в сердце автора. Твои стихи о природе, о деревне и потому, наверное, как сейчас принято, критики причислят тебя к крестьянским поэтам. На мой взгляд, подобное тематическое деление в литературе – явление искусственное, сужающее значимость литературы. Оно – явление духовное и навешивать на нее ярлыки – вроде крестьянская, рабочая – так можно перебрать все понятия от лакейского до царского – занятие не только не благодарное, но и бесконечно далекое от истины. Понимаешь, это все равно, что вместо сердца видеть только диафрагму; Поэт, который не обращается к читателю, к миру из глубин своей души – плохой поэт, и не имеет значения крестьянский он, пролетарский или еще какой-нибудь.

Как день сменяется ночью, свет – тьмой, так и в жизни чередуются радость и горе, жизнь и смерть. Освещать только одну сторону жизни, означает отступать от правды. А что мы видим в современной поэзии? Сплошной барабанный бой, восхваление всего и вся, одни неумеренные восторги по поводу и без повода. Но ведь жизнь отнюдь не покры-

та сусальным золотом. В ней во все времена и при самом правильном строе все равно будут случаться поражения, трагические ошибки, страдания. Совсем о другом стихи, которые в этой тетради, – Андрей долгим взглядом посмотрел на меня. – Они написаны неравнодушной рукой, и потому нельзя читать их без сердечного отклика, они – в поисках правды и потому нельзя не идти за ними. Возможно, высокую поэзию не должно волновать ничто земное, но искусство для искусства меня никогда не занимало. Хотя в Москве до меня часто доходят отголоски споров о «чистом искусстве» начала века. Возможно, я недостаточно образован, но мне дорога литература, близкая к реальности.

Старое и новое не могут мирно разойтись, потому случаются жестокие столкновения, и потому, «село, как подбитая птица» и «Неуверенный луч не в силах пробиться к земле из-за туч». Мы видим: село принижено, поставлено на колени, голоса не может подать как тяжело больной. И поэт в поисках целебной травы для родного села готов на многое. Прости, если у меня не получится так выразительно, как у тебя, я хочу вслух прочитать это стихотворение:

Всю ночь петухи ошалело кричат.
Быки всполошились и трубно мычат.
Село опустело мое,
И вьется над ним воронье.
Пожухла трава.
Неуверенный луч
Не в силах пробиться к земле из-за туч.
Село, как подбитая птица,
Малейшего скрипа страшится.

Сегодня же, братья, клянусь головой,
Я в лес поскачу за целебной травой,
За тем, чтоб село без усилия
Расправило гордые крылья.

А вот твое другое стихотворение «Соха». Я понимаю, это отклик на то, как некоторые у нас чураются своего прошлого. Стало модным, современным смеяться над днями минувшими, не отделяя зерен от плевел.

Дверь в наше прошлое забита.
Подруга пахаря, соха,
И та навеки позабыта.
Скажи мне, чем она плоха?

Соха иных друзей вернее
Была нам в смуте и в беде.
Что ж не идет теперь за нею
Никто по свежей борозде?

Пускай у прошлого в привычку
Вошло – вести с грядущим спор,
Но все ж зачем, как еретичку,
Соху вы бросили в костер?

Когда разрушены основы,
Зря о стенах печемся мы.
Уже спешит хозяин новый
Дать горю горькому взаймы.

Знаешь, Лаган, сейчас много начальственных людей вознамерилось отнести нас к народу без прошлого, без истории. Получается, будто мы до установления советской власти ходили, чуть ли не в шкурах. Богатую историю нашего народа, достойного, во всех отношениях, прошлого нашей страны никто не замечает. Ты прав – «дверь в наше прошлое забита». Теперь нам предлагают бросить в огонь не только соху, но и вековой опыт наших предков, их крестьянский уклад. Знаешь ведь пословицу, еж дивился, какая у него колючая родня. Некоторые горесовременники точно так же смотрят на прошлое своей земли – презрительно ей удивляются. А что сейчас предлагают крестьянину? Говорят ему: «Отцы твои жили неправильно, а ты трудись, как мы тебе велим!» А как они велят? «Полгектара – это твоя земля и ни одним метром больше!» «Любишь животных, не любишь, а больше двух коров держать не смей!» – другая заповедь! Притом, не успели подоить корову, а молоко нужно сдавать государству, курица только прокудахтала, а яйцо уже неси туда же. Показалось мало, появились еще облигации, покупай, поддерживай государство. А кто самого крестьянина поддержит при таких обстоятельствах, хотел бы я знать?! Понятно, что радость ушла из наших

сел... – Андрей вздохнул и замолчал. Молчал и я. Только шелест листьев граба и звук течения недалекой реки нарушали тишину.

– Спасибо, Андрей, – начал было я, но, оказалось, мой друг еще не сказал всего, что собирался.

– Погоди с благодарностями... Когда я прочитал твое стихотворение, названное «В подражание старинным прибауткам», знаешь, что я вспомнил? Один случай, который произошел несколько лет назад в одном селе. В том селе была завидная каштановая роща – достояние всех сельчан. Лес приглянулся бессовестным людям и давай мутить народ, мол, лес надо вырубить и заложить на его месте чайные плантации, хотя места под плантации там хватало. Но начальство поддержало тех, кто взялся извести лес, а как же: они ведь ратовали за нововведения. Чайные плантации на наших землях – это, можно сказать, был государственный эксперимент. Честные аграрии возроптали: «Остановитесь! Не трогайте каштановый лес, каштаны отнесены к вымирающим видам растения, их не вырубать надо, а охранять!» Но охотники до наживы легко взяли над ними верх. Лес был вырублен подчистую, каштановые бревна вывезены и проданы. Время шло, а вырубка пустовала. На законный вопрос – «а где же чайные насаждения» те, кто ратовал за уничтожение леса, ответили кратко: «Почва здесь не пригодна для чайных культур!» И все! Совсем как у тебя:

Уасарайда, райда райдара!
Гибнут наши рощи от злого топора.
Мы их вырубаем себе же на гробы:
Не имеет пустошь дома и судьбы.

Соседи в селах привыкли жить сообща, и радость делить и в горе помочь. Они всегда находили меж собой общий язык. Теперь у них нет ни земли, на которой сообща могли бы урожай выращивать, ни леса, судьбу которого могли бы совместно решать. Властны они теперь разве что над ветром, да вот только ветер слишком переменчив, да и ничьей власти не признает.

Райда гуша, поспешите,
Спор соседей разрешите!
Желая ветер поделить,
Межу не в силах начертить!

Да и сами добрососедские связи слабнут, всех разделяют, навязывают выдуманные противостояния, ничего не имеющие с нашим укладом жизни, с нашим пониманием человеческого достоинства. Худшие из худших и рады почувствовать себя уважаемыми людьми, пусть и по чуждым нам меркам.

Уасарайда, райдагуша
И для тебя найдется ниша
Среди большой твоей родни
Отцов заветы сохрани!

Как видишь, Лаган, в подтверждение каждой своей мысли я могу процитировать тебя. Понимаю, речь моя затянулась, но тому виной твои стихи они вызывают много раздумий.

Ты знаешь – наша страна одна из древнейших, принявших христианство. Но наряду с христианством мы долго не отказывались от язычества. И как древние греки поклонялись многим богам. Наши боги, как и у римлян, схожи с греческими. Скажем, бог Аерг – наше божество диких зверей, охоты и отчасти войны, по своим повадкам напоминает Гермеса. Такие параллели можно провести и с другими нашими божествами Айтар, Ажвейпша, Анана-Гунда и так далее. Но теперь мы все чаще стали заменять небесных богов земными «богами», стали им поклоняться куда усерднее, чем небесным и плодятся они без числа. Вчера был человек как человек, ничем не блистал, не отличался от обычного обывателя, если и отличался, то в худшую сторону, а сегодня он ведет себя как бог, вершит человеческие судьбы и держится так, будто ступает по облакам.

Земные боги жестоки. И если небесные карают из-за греха, то земным неважно провинился человек или нет. Они даже не станут в том разбираться, замучают человека до смерти и все! Я знаю, что ты согласен со мной, потому что твое стихотворение «Не видел я Бога истинного…» как раз о том. Ты совершенно прав, Лаган, новые наши земные божества способны только на то, чтобы небеса прогневить. Знаешь, мне показалось, что когда ты писал строки о неожиданном земном вершителе людских судеб, ты думал о бывшем своем друге Руше. Но Руша один из многих, которые неожиданно взлетел вверх, хотя в иные времена никто в нашем селе не стал бы к нему прислушиваться. Те, кто у народа были в цене, увы, у власти на примете как

подозрительные личности. Зато в каждом селе в каждом районе, области, да бери выше, всюду имеются божки – кто-то из них местного значения, а некоторые вырастают до всесоюзных богов, чье слово незыблемо. И кто же помазал елеем этих божков, кто заставляет народ поклоняться им не по своему выбору? Почему такой жесткой рукой навязывают нам земных божков? Вот, как сказали бы русские, где собака зарыта!

Я долго могу говорить о твоих стихах, Лаган. Мне понравилась и твоя боль и твое внимание к деталям, когда ты пишешь о заброшенных домах в нашем селе, сиротеет оно, сиротеет. Я без боли не мог читать твое стихотворение «Старый дом». Оно мне очень понравилось и, пожалуй, освежу его в твоей памяти!

Словно нищий с горбатой спиной,
Просит дом, чтобы его пожалели.
Он в ознобе дрожит, как больной.
Льется дождь сквозь широкие щели.

Затаившийся в зябких ночах
Свищет ветер под кровлей разбитой.
Там, где раньше дымился очаг,
Мокнет камень, травою обвитый.

Дом бормочет: «О, скольким я пел
Колыбельные песни! Бесслезно
И лишения и войны терпел,
Ополчался на недругов грозно.

А на старости брошен один.
Все жильцы мои съехали в город.
Как смогу, не позоря седин,
Пережить разрушенья и холод?

Где ты, ветер, несущийся с гор?
Иль утратил ты прежнюю ярость?
Ну, срывай меня с дряхлых опор, –
От насмешек спаси мою старость!

Сколько теперь по нашим селам таких домов, Лаган! И это еще только начало... И еще я хотел сказать, как остро ты чувствуешь, Лаган, как метафоричен твой мир. А следующие твои стихи не по-юношески зрелые, философские:

Зиянье могилы. Покойник в гробу.
Пробившись сквозь тучи над хмурым селом,
Луч солнца скользнул по холодному лбу,
Спеша одарить предзакатным теплом

Того, кто при жизни согреться не мог
И, словно подрубленный тополь, зачах.
Наверно, сидел он в ночи – одинок –
И молча глядел на остывший очаг.

Нет смысла и в наших горячих словах, –
Он дверь свою запер на вечный засов.
И солнечный луч у него в головах
Застыл, словно стрелка незримых часов.

Останови меня, Лаган, а то я все твои стихи из тетрадки прочту без передышки!

– Так остановись! – сказал я с улыбкой.

– Остановлюсь, но только после того, как прочитаю еще одно твое стихотворение – четверостишие:

Так пела нам, скосившая око,
Пичуга с синим опереньем,
Что вишня расцвела до срока,
Разбуженная дивным пеньем.

Большое тебе спасибо, Лаган, за доставленное удовольствие. Тетрадку возвращаю, а стихи уношу в сердце своем. Но, скажу тебе, откровенно, я не только радуюсь твоему дару, но и тревожусь за тебя. За исключением двух-трех лирических стихотворений твои стихи не опубликуют ни в одном издании, а если найдется смельчак, который пойдет на это, то страшно подумать, какой экзекуции подвергнут тебя, каких ярлыков навешают. Назовут тебя и упадочническим поэтом, ры-

дающим вослед ушедшему затхлому миру, и подпевалой кулацким элементам, скажут «есенинщину протащил в абхазскую поэзию». Мало ли что еще придумают. Я уже восьмой год живу в Москве, насмотрелся там, наслушался многого, но и то, что делается у нас дома для меня не секрет. Я уже говорил, что я учился на литфаке пединститута и дружил только с теми людьми, которые не мыслили себе жизни без литературы. Я думаю, что им обязан я своим литературным вкусом. Я никогда не перестану любить и читать поэзию, а то, что я поехал учиться в Сельскохозяйственную академию, объясняется другой не менее сильной любовью – к нашей земле, к нашему селу, к нашим горам, к почве, на которой мы выросли, и лучше жизни лишиться, чем ее предать.

Нам, Лаган, выпало жить в такое время, когда жизнь человека обесценилась донельзя. Весной 1930 года я в Сухуме познакомился с удивительным поэтом Осипом Мандельштамом. Он с женой останавливался в Доме отдыха, принадлежащем Совету Народных Комиссаров. Мы вместе с Мандельштамом ездили и в Новый Афон, да и в Москве я пару раз встречался с ним, и каждый раз уходил от него совершенно им очарованным. Но дело не в этом, а в другом – в неожиданном аресте в 1934 году этого большого поэта. Он попал в лагерь из-за стихотворения о Сталине. Эти шестнадцать строк, переписанные от руки передавались тогда в Москве от друзей к друзьям. Мне они тоже достались, и я запомнил их навсегда:

Мы живем, под собой не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны.
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы как черви жирны
И слова как пудовые гири верны,
Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучет, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, дарит за указом указ –
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина.

Или Есенин, твой любимый поэт... Двенадцать лет, как он свел счеты с жизнью, но до сих пор его стихи не переиздаются. У поэта миллионы почитателей, но их мнения никто не спрашивает. Стихи Есенина тоже ходят в списках.

Но если и найдется смельчак, который в полный голос скажет, что Есенин большой поэт и его произведения надо будет переиздать, то ему несдобровать, сам погибнет, слово же его не будет услышано. Знаешь, какой обидой в моем сердце отзываются сказанное Алексеем Толстым о «последнем певце деревни»: «он ушел от деревни, не пришел к городу». По мне, так Есенин своими стихами всегда был со своим народом и потому в России его так любят.

К чему я это говорю, Лаган? Будь осторожен и мудр, не дай себя затоптать временным земным божкам. Как в народе говорят: «Не столь силен ливень, как гром обещал!» Пройдет и ливень над нашей страной, наступят другие времена. Береги себя, береги свою поэзию, спасибо тебе за нее!

Андрей поднялся с места, и я встал. Он тепло посмотрел на меня.

– Тебе пора? – спросил я, хотя и так было понятно.

– Пора, Лаган, а послезавтра отправляюсь в Москву, не знаю, когда еще свидимся! – он протянул мне мою тетрадь со стихами и, крепко пожав мне руку, вышел из-под граба и широкими шагами направился к берегу реки. Там он подобрал брошенный им же шест и, помогая себе опорой, ловко ступая по белым валунам, пробрался на тот берег. Я провожал его взглядом, любовался и думал, что наша бурная река даже в половодье не стала бы для него преградой, столько в нем силы, ловкости. Он многое может и многое преодолеет, такие как он, это завтрашний день нашей Абхазии, ее яблоневые подпорки, ее гордость.

Я смотрел вослед другу, пока он, пробравшись на тот берег, не поднялся на пригорок и не скрылся с глаз.

Одобренную другом тетрадь со стихами я крепко прижимал к груди, будто опасался, что она обернется птицей и улетит от меня прочь.

XXXVII

До Сухума дошел странный слух о событии, случившемся в нашем селе первого мая. Будто бы в праздничный день Первомая, когда на-

род ликовал во дворе сельсовета, туда въехал верхом на вороном коне вооруженный до зубов наш сосед Алхас и, выхватив из-за пояса револьвер, разрядил его в портрет Сталина. При этом Алхас будто бы вскричал: «Получай, сын башмачника, за погубленное крестьянство, за разрушенные наши жизни!» После этого злоумышленник попытался ускакать на своем горячем коне, но возмущенный народ окружил его, стащил наземь, пленил и теперь он сидит в районном центре в тюрьме. Было очевидно, что событие густо обросло вымыслом, но фактом оставалось то, что Алхас арестован.

Весть подкосила меня. И дед мой, и отец безмерно уважали Алхаса, ценили в нем ум, благородство, приверженность к взвешенному слову, мудрость. Я ни на секунду не поверил, что Алхас мог совершить столь необдуманный бессмысленный поступок.

«Чего расселся, когда село твое в беде?» – будто бы извне прозвучал во мне этот призыв и я с екнувшим сердцем вскочил на ноги и засобирался в дорогу.

Пока я добирался до родительского дома, не встретил никого и на отчий двор вступил в сомнениях, навеянных слухами. Я от ворот увидел отца, который сидел на веранде амацурты с неизменно дымящейся трубкой в руке – если отца недомогание не удерживало в постели, он любил на веранде покурить, поразмышлять. «Хорошо, что он на ногах»! – обрадовался я, не признаваясь себе в этом: я опасался, что беда с Алхасом могла уложить его в постель.

Отец неожиданно для меня поднялся с места и пошел мне навстречу, обычно он ограничивался тем, что, приветствуя приподнимался с места и ронял: «Добро пожаловать».

– С утра предчувствие было, что ты приедешь! – сказал отец. – Как ты поживаешь, дад, как здоровье, как учеба?

– Меня как важного гостя встречают, раньше хватало и того, что ты приподнимался с места, что же изменилось? – шутливо вопросил я.

Но отец не улыбнулся.

– Теперь с вами, молодыми, надо держаться настороже, от вас зависим, а как вам угодить – не ведаем.

Я понимал, что упрек адресован вовсе не мне, зато моим сверстникам. Вытянутые лица матери и сестры тоже говорили о том, что они сбиты с толку и пребывают в полной растерянности. Они старались в первые минуты встречи ни на что не жаловаться, но я слишком хорошо их знал, чтобы не заметить общую подавленность, которая проскаль-

зывала в каждой фразе. Я уселся напротив отца на веранде, не решаясь завести разговор о слухах, погнавших меня в село, – я боялся, что им тяжело об этом говорить. Так, наверное, оно и было. Отец молчал, курил трубку, глядя себе под ноги. Но тут из амацурты вышла мать, села на веранде, поставив себе табуретку возле меня. Она сняла белую косынку с головы, положила на колени и, разглаживая ее ладонью, – так мать поступала, когда волновалась – негромко заговорила:

– Мы тебе расскажем кое о чем. Это лучше, чем ты узнаешь от чужих, далеко не всю правду знающих, людей.

– Вижу, вы не в себе, так скажите, что стряслось?

– Твоего отца уже два раза вызывали эти... в красных погонах.

– Постой! Человек только из Сухума приехал, дайте ему отдышаться, накормите наконец! – вспылил отец.

– Сегодня – не воскресенье, и раз Лаган стрелой примчался к нам, так и до него кое-что дошло... зачем молчанием парня томить? – не согласилась мать.

– Я знаю, Алхаса посадили, будто бы он расстрелял портрет Сталина! Это все, что мне известно. Но отца зачем на допросы вызывать? – Я вскочил на ноги, меня будто огнем опалило.

– Садись, дад, и возьми себя в руки, – велел отец. – В жизни всякое случается. Бедняга Алхас ни во что не стрелял, что произошло – это несчастный случай, а сплетники руки ноги приделали случайности. Я – очевидец и всю правду узнаешь от меня... – отец вновь набил потухшую трубку, зажег спичкой табак, затянулся и надолго замолчал. Я сидел как на иголках, но не решался прервать долгое молчание, ждал, когда отец сам заговорит. Мачич принесла ему два валика и он, положив их на колени, оперся на них локтями, поудобнее устраиваясь.

– В тот день, в первый день мая, взбрело мне в голову пойти к сельсовету, повидаться с теми, кого давно не видел, развеяться. Сам знаешь, теперь я большей частью сижу дома, вот и потянуло на люди, да и погода стояла подходящая. Я шел один и уже видел сверху, что двор у сельсовета заполняется людьми и тут на мосту, через Пал-реку я встречаю Алхаса. Он тащил на веревке большого упирающегося быка. Мы поздоровались и остановились перекинуться словом-другим.

– Завтра поминки по брату матери, вот и веду заранее туда быка, а домашние мои к завтрашнему дню приготовят снедь да свечи, – сказал он. – Скотина вроде чует, что ведут ее на заклание в память об усопшем, всю дорогу упирается. Я выбился из сил, крепкий бычок...

– Хорош, мясо нагулял, – похвалил я скотину.

В это время – того, что суждено – не миновать, на мост вступила ватага ребятишек, ну из тех, кого зовут апионер, или как там еще? Их было не менее сорока, они шли рядами и несколько взрослых тоже шли с ними. Идущие впереди юноша и девушка несли вдвоем портрет Сталина в раме и под стеклом. Надо же было всем нам оказаться в таком узком месте – не разминуться. Вдруг бык взбеленился, да он и с самого начала был не спокоен, мотал головой с налитыми кровью глазами. Он, очередной раз сильно мотнул головой, веревка выскользнула из рук Алхаса, бык сделал шаг вперед и случайно зацепил острием рога за портрет, стекло разлетелось, а рог пробил полотно портрета. Дети с визгом бросились врассыпную. Мы с Алхасом далеко уйти быку не дали, поймали. Но портрет, который мотался у него на рогах, был изувечен. Собрался народ. На Алхасе лица не было, да и все собравшиеся сожалели о случившемся, но и находили слова утешения, мол, со скотины какой спрос? Случайно и оружье может выстрелить и убить человека, но из этого вражда не произрастает. Несчастный случай он и есть несчастный случай. Так утешив Алхаса и друг друга, мы пошли своей дорогой. Никто не предполагал, что из-за бодливой скотины один из лучших наших односельчан вступит на гибельный путь. Между тем какой-то бесчестный человек, да разверзнется земля под ним и под всем его родом! – доставил в тот же день районному начальству лоскутки, оставшиеся от портрета Сталина, разбитую раму, осколки стекла и донос. А в доносе значилось, что будто бы Алхас, когда сняли раму из-под портрета с рогов быка, расхохотался и сказал: «Скотина почуяла, что собираюсь ее зарезать на поминках Сталина, сгноившего крестьян, и решила немедля с его портретом разделаться!»

Этого хватила с лихвой. На следующий день Алхаса, находившегося на поминках в доме дяди, отозвали в сторону, тут же без лишнего шума арестовали и увезли.

Меня немедля вызвали на допрос, как свидетеля. Опрашивал меня сердитый человек с короткой толстой шеей.

– Вот как было дело, дад, – начал я, и шаг за шагом поведал ему честно все, что случилось на мосту.

– Врешь, все врешь! Преступника покрываешь! – закричал он в ответ. – Ты из тех, кто истекает ненавистью к вождю всех времен и народов! Твое место в Сибири. Не тебя одного! Все село надо отправить в Сибирь! В Сибирь!

Громом в моих ушах звучала угроза – Сибирь, когда я выходил от следователя. Когда и во второй раз потребовали, чтобы я явился, Элизбар настоял на том, чтобы поехать со мной. На этот раз уму разуму меня учил сам сын Пахуалы – Сарапион. Поначалу он был обходителен со мной, но слову своему я не изменил и повторил то, что уже говорил, и то, что было правдой.

– Несчастный случай, – сказал я, – случайность...

Сын Пахуалы уставился на меня своими черными немигающими глазами и вонзил в меня, как кинжал, грубые и безжалостные слова:

– Слишком многое тебе с рук сходило, старикашка! О чем мы тебя не спросим, все сводишь к несчастному случаю, к случайности. Приспешники Джомлата, кулачье, подожгли священное дерево, чтобы настроить народ против новой власти. А что мы от тебя услышали? Это не поджог, это случайность! И случайно надо полагать сыновья Джомлата с оружием в руках боролись против советской власти! По-твоему и это случайность?! И то, что ты опекаешь семью врагов народа тоже чистая случайность? Какие еще случайности ожидают нас, скажи, старик, ты же специалист по случайностям.

– Никто не может сказать, как поведет себя бодливый бык! – сказал я на это.

– Уберите его с моих глаз! – заорал в ответ сын Пахуалы и кинул вслед: – Плакальщик по кулакам!

Отец, утомленный, замолчал, я сидел, охваченный беспредельной тревогой, видел – отец ходит по острию ножа. Я некоторое время молча сидел напротив отца, ожидая, что он еще что-нибудь добавит к сказанному, но он молчал, а я не хотел мучить лишними расспросами, хотя многое мне хотелось прояснить. Пока я слушал отца, у меня возникло стойкое ощущение, что мы все стоим на краю бездны, и многих из нас она поглотит. Стараясь совладать со своей тревогой, я поднялся с места и вышел наружу. Несколько раз я прошелся по двору, подолгу останавливаясь возле тех уголков, где в детстве, умчавшемся от меня белым скакуном, часто играл. Но воспоминания сейчас не успокаивали, прошел я и в сад, остановился возле деревьев, по которым вилась виноградная лоза, сколько раз я по ним карабкался, чтобы на вершине полакомиться кистью винограда! Спустился к нашему роднику, зачерпнул ковшом чистой воды и сделал несколько глотков, хотя пить совершенно не хотелось.

Хождения по следам моего детства, родным уголкам не уняли тревоги, густой сетью окутавшей меня после рассказа отца.

Под вечер к нам зашел дядя Элизбар, мы поужинали вместе, и долго еще сидели после ужина, говорили о том о сем, старательно обходя вопрос об аресте Алхаса и вызовов на допросы моего отца. Как мне потом сказали, Элизбар почти каждый вечер захаживал к отцу и отвлекал его от тяжких мыслей посторонними разговорами.

Наконец дядя собрался уходить, и я вышел его проводить. Мы молча дошли до ворот и здесь Элизбар сказал:

– Вот что, Лаган, здоровье твоего отца сильно пошатнулось, ты и сам видишь. Я понимаю, все бросить и остаться здесь сейчас ты не можешь, поезжай в Сухум, уладь дела, попроси, чтобы тебя на время отпустили и возвращайся. Отцу ты здесь нужен. Я опасаюсь за его жизнь. Не знаю, как он переживет еще один бесчеловечный допрос.

Я потерянно слушал и понимал правоту дяди. На следующий день я вынужден был уехать, однако оставил отчий дом с намерением вскоре вернуться, но обстоятельства сложились так, что из этого ничего не вышло. Живым отца я больше не видел...

Случилось это в воскресение. В тот раз я оставался в общежитии, как и многие другие студенты, которые на выходные не разъехались по домам. Один из студентов, он учился не на нашем курсе, с утра выбрался в центр города, но вскоре вернулся назад.

– Что-то случилось! – определил кто-то из ребят, выглянув в окно. Возле ранней пташки-студента сгрудились во дворе общежития ребята. Даже издалека по их позам угадывалось, что все они чем-то ошеломлены.

Мы с другом быстренько к ним присоединились и тут же узнали невероятную новость.

– Нестора Лакоба выкопали из могилы!

– Ври да не завирайся! Такого быть не может! Юноша с горечью глянул на нас:

– Неужели у меня язык повернулся бы так вас разыгрывать?! Хотел с утра побывать в Ботаническом саду, а там... – нет там могилы, видел своими глазами. Возле ограды сада уже пол-Сухума толпится.

Мы гурьбой бросились к Ботаническому саду, по дороге к нам присоединялись прохожие, прознавшие про немыслимое событие.

Вот и Ботанический сад. Ограда его облеплена горожанами. Мы с Заканом с трудом пробрались поближе к воротам Ботанического сада...

Совсем недавно я проходил мимо сада, вошел внутрь, чтобы поклонится могиле Нестора Лакоба. А сейчас я, не веря своим глазам, увидел разровненную землю там, где была могила. Она была покрыта густой зеленой травой. Посреди этой лужайки поднималось стройное деревцо, У меня перехватило дыхание, я не мог осознать увиденное в полной мере, мне казалось: мир сместился, или же это кошмарное сновидение. Вся ограда Ботанического сада была в кольце людей и все смотрели на неожиданно образовавшуюся на месте захоронения народного любимца лужайку с одиноким деревцем. Всего десять месяцев назад здесь нашел себе, как мы думали, вечное успокоение, оплаканный всем народом, Нестор Лакоба. И кто же посягнул на могилу всенародной гордости? Кто поглумился над его прахом? И что он с ним сделал? В море кинул? Огню предал? Кто сравнял с землей могилу этого удивительного человека? У кого поднялась рука? Люди застыли, пораженные, молчали... Рядом со мной стояли два старика

– Прав был мудрый Басиат Барциц, закатилась наша звезда, ох, закатилась... – сказал один старик другому.

– Черные дни ожидают нас, дни бесчестья, – горестно согласился с ним и другой старик.

Я подумал, что старики вслух высказали то, что каждой из присутствовавших ощущал нутром.

Тем вечером среди горожан разнесся слух, что завтрашние газеты выйдут с чрезвычайно важным известием. С раннего утра возле газетных киосков толпились люди, среди которых были и те, которые сроду газет не читали. Мы, студенты, тоже заняли очередь за газетами. Вскоре киоски открыли и стали продавать газеты.

На весь разворот газеты крупными буквами было напечатано извещение Комиссариата внутренних дел Абхазской АССР. Согласно ему, в Абхазии выявлена и обезврежена, созданная Нестором Лакоба контрреволюционная преступно-диверсионная террористическая вооруженная организация.

В активном участии в террористической организаций обвинялись предыдущие руководители республики: Вл. Ладариа, М. Чалмаз, М. Лакоба, К. Инал-ипа, В. Лакоба... Всего тринадцать человек. В числе преступников были названы имена и четырех крестьян.

Начиная с этого черного дня, во всех коллективах, будь это завод или колхоз, научный институт или совхоз, учебное учреждение или творческий союз – повсеместно проводились собрания, где честные

труженики, преданные делу Сталина, гневно осуждали тринадцать предателей Родины, шпионов-диверсантов.

* * *

В сентябре учебный год в нашем институте начался как обычно. Но не прошло и недели, как арестовали трех лучших преподавателей, на чьи лекции студенты ломились. Взамен прислали из Тбилиси новых лекторов. Мы не могли оправиться от шока, переживая участь, постигшую любимых наших преподавателей, как грянула еще одна беда – взяли под стражу и самого ректора института, пользовавшегося в коллективе большим уважением. Мы и не знали, что думать. Но вскоре вновь назначенный комиссар просвещения Абхазский АССР в публичном выступлении открыл всем глаза на наш институт, назвав его рассадником оппортунизма. В подтверждение своего заявления он привел следующий факт. Оказывается наш ректор, попавший за решетку, в свое время, а именно в 1923–1924 годах слушал в Восточном Коммунистическом Университете (КУТВ), его еще называли «Институт красной профессуры», лекции товарища Сталина на тему «Основные положения ленинизма». И еще тогда наш ректор всячески противопоставлял ленинизму троцкизм и в меру своих сил защищал враждебное народу направление.

Человек, сменивший нашего ректора, тоже был прислан из Тбилиси и, слухам, он отдал много сил и здоровья классовой борьбе, его заслуги перед партией оценены высокими наградами.

Мне же ректор запомнился тем, что на бесконечных институтских собраниях все размахивал крупными кулаками, и время от времени обрушивал свой кулак на ни в чем неповинную трибуну.

* * *

Я возвращался из деревни в Сухум. На трассе остановил рейсовый автобус. И в нем, не успел я занять свободное место, как мне сказали, что отец Лил, Захар Батович, арестован. Тот, кто мне о том поведал, знал только то, что Захара Батовича посадили три дня назад, никакими другими подробностями он не располагал. Вначале я предположил, что это ложный слух, просто я даже не мог себе представить, в чем можно обвинить столь достойного, образованного, честного, благородного

человека. Но с другой стороны, именно таких достойных, видных людей, словно в водоворот, засасывала тюрьма – такое уж время стояло на дворе. И весть об аресте того или иного человека могла настичь тебя в любую минуту – по дороге в булочную, на похоронах родича или еще где-нибудь.

Как только я приехал в Сухум, не заходя в общежитие, отправился к Лил. Я быстро пришел к дому в центре города, взбежал по знакомым ступеням на второй этаж и обомлел, уткнувшись взглядом в дверь, – она была запломбирована.

Меня зазнобило, понял – дела совсем плохи. В надежде узнать хоть что-нибудь о судьбе, Лил и ее семьи, я заспешил к дальней их родственнице, вдове по имени Оля. Она жила неподалеку. Мне повезло. Оля стирала во дворе. Часть уже выстиранного белоснежного белья сушилась на веревках. Она подняла глаза от таза с бельем, увидела меня и, вытирая мокрые руки о передник, пошла мне навстречу.

– Узнал, как они поступили с Захаром, и пришел, да? – спросила она и слезы побежали по ее щекам. – Мы все гордились этой семьей, а их взяли и погубили! Сколько я добра видела от Захара! Благодаря ему и его семье я худо-бедно, но жила... – она разрыдалась, я терпеливо ждал, когда она возьмет себя в руки, и через некоторое время Оля продолжила: – Захара арестовали прямо на работе. Четверо сыщиков с лицами разбойников явились в дом – в это время и я как раз была у Заны Давидовны – все в нем перевернули вверх дном. Они изъяли охотничье ружье Захара Батовича, все рукописи, часть книг и отчего-то забрали еще некоторые носильные вещи. Зане Давидовне и Лил было приказано немедленно покинуть квартиру, мол, ее надлежит немедленно опечатать. С собой женщинам разрешили взять немного личных вещей, пару узелков. Выгнав женщин на улицу, эти четверо закрыли дверь и наложили на нее свою, омерзительную печать.

Теперь Лил с мамой живут на улице Безымянной, оказывается, есть и такая улица, в доме под номером семнадцать, вселились в две запущенные комнатушки, там раньше, наверное, какие-то бедолаги жили… Вот такая беда постигла нас...

Я приблизительно знал, где находится улица Безымянная и, поблагодарив Олю за сведения, заторопился туда. Безымянная улица располагалась на окраине города, вскоре я подошел к дому под номером семнадцать. И увидел старшего брата Захара, старика Чахмата, обычно он проживал в селе. Сейчас же старик возле дома

колол дрова. Мы с ним были знакомы, встречались у Захара Батовича три-четыре раза. Старик, отбросив в сторону топор, пошел мне навстречу.

– Заходи, дад, вижу, наша беда не оттолкнула тебя. Сейчас время такое: близкие люди и те стали сторониться друг друга, боятся. Извини, пригласить войти в такую конуру стыдно, но ты знал и лучшие времена моего горемычного брата.

Он ввел меня в одноэтажную двухкомнатную хибарку. В одной из комнат было более или менее сухо и окно имелось, а в другой – глухой, с полом и стенами, пропитанными сыростью, стояла железная черная печка с трубой, выведенной наружу. На ней готовили пищу и ею же обогревали дом.

Завидев меня, Зана Давидовна залилась слезами и произнесла осипшим, еле слышным голосом:

– Ты видишь, что они с нами сотворили, Лаган, обезглавили нас! Кому мы теперь нужны, несчастные...

Лил молчала, ломая руки. Я видел, что она изо всех сил крепится, чтобы не заплакать.

В комнате стояли две ржавые кровати, видавший виды стол без скатерти, возле него – три стула... По словам Заны Давидовны, и эту убогую обстановку собрали им сердобольные соседи.

Чахмат, ужаснувшись сырости в доме, с утра сносил на плечах бревна из-под Сухумской горы, распиливал, колол, заготавливал запасы дров для женщин. Я присоединился к нему, и вскоре мы наололи поленницу дров. Чахмату надо было возвращаться в село – он был человек одинокий и без него некому было обиходить скотину, присмотреть за домом.

– Дров я думаю и на неделю хватит, а я и того раньше приеду, привезу муку, сыр, копченого мяса, голодать вы у меня не будете... – ободряюще заговорил с невесткой и племянницей старик. – Зана, дад, мужайся, пожалей девочку, – он кивнул на Лил, – она еще росточек, не под силу ей такая ноша, поддержи ее. Потерпите, все образуется. Не может быть, чтобы не разобрались: нет вины Захара. Он сроду чист и перед людьми, и перед Богом. По ошибке он угодил в застенок, разберутся, освободят. Не может быть, чтобы не разобрались, а пока надо мужаться, надо перетерпеть невзгоды. Иди сюда, Лил, дад, чтобы все твои беды пали на мою голову! – Он поцеловал племянницу в лоб, тепло попрощался со всеми и ушел.

Не знаю, насколько обнадеживающе подействовало на Лил и ее мать сказанное Чахматом, а я порадовался, что в такой жестокий час у них есть человек, который во всем поддержит – и словом, и делом. Я давно заметил, что такие испытанные жизнью, закаленные временем люди, как Чахмат, в какие бы передряги не попали, всегда найдут выход, не будут сидеть сложа руки...

К вечеру к Зане Давидовне стали заглядывать подруги, одни вместе с ней плакали, другие призывали к стойкости. Мое пребывание в доме затягивалось, я встал и попрощался. Лил вышла меня проводить до перекрестка.

XXXIX

Приближалась сессия – горячая пора у студентов, мы в общежитии уже собирались группами и сообща готовились по нужным предметам. В тот день мы тоже собрались в нашей комнате и, сверяя конспекты и учебники, выявляли спорные вопросы, кто-то что-то вслух зачитывал. Словом, обычная студенческая страда. В это время в дверь комнаты просунулась голова Закана и, встретившись со мной глазами, он кивком позвал меня и закрыл дверь. Я поспешил выйти в коридор.

– Там внизу Лил... стоит за воротами общежития, под дождем, – сообщил он мне растерянно, не зная, как к этому отнестись.

Лил никогда не приходила к нам в общежитие. За окном уже стемнело, шел дождь. Я заскочил в комнату, схватил свой куцый плащик и побежал на выход. Я вышел за железные ворота, огляделся, но никого не обнаружил, неужели Закан меня разыграл? Я уже собирался идти назад, когда из темноты выступила Лил. Она держала над собой зонт.

– Лил, что случилось? – я кинулся ей навстречу.

– Иди сюда, – она отступила в сторону. – Не хочу, чтобы нас видели вместе. Это может тебе навредить!

У девушки зуб на зуб не попадал, ее всю колотило, я сбросил плащ и накинул на ее плечи, похоже, знобило Лил не от холода.

– Что происходит, Лил?

– Они вызывали меня... я сейчас оттуда...

– Откуда!

– Ну от тех с красными петлицами...

– Да ты что? И когда же они вызвали тебя?

Я забрал у нее зонт и мы под одним зонтом пошли по улицам в сторону дома, в котором она теперь проживала.

– Меня из аудитории вызвали, сказали, что секретарь парткома требует. Я так удивилась: зачем я понадобилась секретарю парткома? Я даже не знала, где находится его кабинет, оказывается рядом с кабинетом декана. Когда я вошла, он сидел за столом, зыркнул на меня глазами и сразу взялся за телефонную трубку, позвонил кому-то, сказал:

– Сейчас передам трубку студентке Лил Захаровне Магба! – секретарь положил трубку рядом с аппаратом, жестом велел взять ее, а сам вышел из кабинета, наверное, не хотел слушать разговора. По телефону со мной говорил какой-то Вахтанг, он и фамилию назвал, да я запамятовала, чтобы пресекся весь его род. Человек, назвавшийся Вахтангом, сказал, что меня приглашают на беседу в такой-то кабинет, и чтобы явилась ровно в шесть часов.

– А по какому вопросу вызываете? – попыталась я спросить.

– Сказано: ровно в шесть часов. Явка обязательна! – с этими словами на том конце положили трубку.

– Не помню, как выскочила из кабинета, хотела сразу к тебе бежать, но я узнала, что ты с группой студентов отправился в Новый Афон на археологические раскопки. – Она остановилась, и подняла на меня измученные глаза.

– Лил, тебя всю трясет! – Я обнял ее за плечи. – Позвал бы тебя в общежитие, но ребята битком набились в комнату, но и стоять под дождем не годится, простудишься, пойдем к тебе домой.

– Я не хочу говорить матери о том, куда меня вызывали. Она и без того слегла, новый удар и вовсе может свести ее в могилу.

– О чем они тебя спрашивали?

– У меня голова идет кругом, боюсь многое перепутать, но расскажу обо всем, что запомнила. Следователь сразу же мне заявил:

– Твой отец Захар Батович Магба – ярый троцкист. Он снюхался с Троцким в ту пору, когда Троцкого в Сухуме прятал Лакоба. В то время твой отец и Троцкий были неразлучны. Твой отец с готовностью выполнял все вредительские задания Троцкого, пресмыкался перед ним.

– Мой отец правдивый человек и патриот, он не стал бы выполнять ничьих вредительских заданий! – возразила я.

– Я вызвал тебя не для того, чтобы убеждать, что твой отец троцкист. Это нам ясно. Но отец твой нуждается в помощи, он отказывается давать показания и, хотя у нас на руках немало фактов, обличающих

его, он не признает свою вину и не подписывает протокол. Ты – единственная дочь, могла бы ему и нам помочь, рассказать об его убеждениях, которым он следовал.

– Я знаю своего отца как честного достойного человека, всегда занимавшего ответственные посты, с работой он справлялся отлично, вот его убеждения! – резко заметила я: пусть не думает, что перед ним сидит испуганная мышка!

Он удивленно уставился на меня своими выпуклыми газами, помолчал, раздумывая о чем-то, и сказал:

– Нам прекрасно известно, что в вашем доме постоянно толпились люди. Доподлинно знаем: под видом дружеского ужина твой отец со своими соратниками проводил в вашем доме контрреволюционные сборища. Участников сборищ ты знаешь, как пять своих пальцев! Назови нам их имена!

– У нас не контрреволюционеры бывали, а гости. Мы им всегда были рады! Да, вместе ужинали, обедали, что с того? Разве запрещено принимать гостей, держать хлебосольный дом? – не сдавалась я, хотя слезы душили меня.

– Здесь я задаю вопросы, девушка! Вот тебе неоспоримый факт – в вашем доме постоянно бывал директор музыкального училища Константин Николаевич. Только не отрицай, что ты с ним не знакома. Нам прекрасно известно, что ты закончила музучилище! – точно обвиняя, веско изрек Вахтанг.

– Константин Николаевич – замечательный пианист и прекрасный режиссер. Это вменяется в вину?

– Он – агент иностранной державы, вот что ему вменяется в вину! – заорал следователь и потряс передо мной сложенными афишами. – Здесь несколько афиш концертов, организованные твоим «прекрасным» режиссером! И всюду партию на фортепьяно исполняет – Магба, то есть ты! Можешь посмотреть!

– И так помню! – сказала я. – Это ведь афиша, а не секретный документ!

– На всех этих концертах ни разу не исполнялись песни, посвященные великому Сталину, вождю всех времен и народов, скажешь это случайность? Нет, тысячу раз нет! Не случайность! – он грохнул кулаком по столу.

– Знаешь, Лаган, меня так возмутили все его слова о концертах, в которых он ничего не смыслил, о музыканте, чьего ногтя не сто-

ил, и весь его наглый вид и то, как он орал на меня, давил, что было мгновение, когда я едва не схватилась за графин, что стоял на столе. Я хотела запустить графин в лицо наглецу, и будь что будет! Но в это время во мне четко прозвучал голос отца: «Веди себя, как подобает, дочка, не позорь меня!» Нельзя было опускаться до животного уровня следователя. Я вскочила на ноги и, обливаясь слезами, выбежала из кабинета.

Высказав обо всем, что наболело, Лил немного успокоилась. Дальше мы шли молча, пока не пришли к ее дому. Единственное окно светилось, очевидно, мать не спала, ждала возвращения дочери.

– Заходи, чайку попьешь! – пригласила Лил.

– Пусть радость и счастье заходят в ваш дом, спасибо, Лил, но сегодня не стоит мне заходить. У меня тоже есть кое-что, чем хотелось бы с тобой поделиться, но не сегодня… Ты права, что матери не надо ничего рассказывать, ей и так горя хватает. А вела ты у следователя себя молодцом. Ты дала им понять, что им нелегко будет тебя припугнуть. Они, наверное, рассчитывали увидеть в твоем лице дрожащую овечку, готовую блеять по их желанию, но просчитались. Иди, Лил, утешь маму, не показывай виду, что ты побывала в том ужасном учреждении.

Лил сняла с себя мой плащ и протянула мне, наши глаза встретились и я неожиданно для самого себя нагнулся и поцеловал ее. Она, смущенная, тут же убежала.

Я медленно возвращался в общежитие, не обращая внимания на непрекращающийся дождь. На сердце было сумрачно, из головы не шел рассказ Лил. Я сильно тревожился о ней, догадывался, что ее неприятности только начинаются. Ведь Зану Давидовичу, несмотря на все ее заслуги, выгнали с работы, заклеймив определением: «жена врага народа». Неспроста, ох неспроста и Лил вызывали на допрос через секретаря парткома института. Что-то готовится против нее тоже, это ясно. Старик Чахмат, дядя Лил, – единственная поддержка матери и дочери. Он убережет их от голода и холода, но надолго ли хватит старика?

Мои худшие предположения оправдались. На следующий день я нашел Лил возле ректората. Ее вышибли из института. Я подошел к ней и против ожидания в ее глазах вместо растерянности увидел отвалу и решительность.

* * *

Пока Зана Давидовна не слегла, она отвозила в тюрьму передачи для мужа. Теперь за это взялась Лил. Но одну девушку посылать в поселок Дранда, где находилась тюрьма, было не с руки, и я вызвался сопровождать девушку. Но Лил забеспокоилась и попыталась меня отговорить:

– Для тебя это небезопасно, Лаган. Могут сказать, что ты таскаешь передачи врагу народа, значит, ты с врагами заодно!

– Мало ли кто что скажет, не будем прислушиваться к слухам…

– Ты сильно рискуешь, Лаган, я хочу, чтобы ты знал!

– А я хочу, чтобы ты знала: одну тебя не отпущу!

Я перекинул через плечо суму с передачей для заключенного, и мы отправились в путь. Часть дороги прошли пешком, но за Красным мостом через реку Басла нам повезло, нас подобрал водитель грузовой машины и довез до самого поселка. Лил здесь с матерью бывала уже несколько раз, я же впервые оказался возле стен тюрьмы. В тот день принимали передачи для заключенных, и народу была тьма-тьмущая. Усадив в сторонке Лил, я занял очередь к окошку, куда принимали передачи. Окошко долго не открывалось, очередь нервничала, опасалась, что и вовсе не возьмут сегодня ни одной передачи. Наконец окошко, хоть и с большим опозданием, но открылось. Волнение в очереди стало нарастать.

У кого-то не приняли передачу, и высокий мужчина средних лет пытался дознаться, почему?

– Скажите, в чем дело, почему передачу не принимаете?

– Мы не обязаны отвечать на ваши бесконечные вопросы! – доносился в ответ резкий голос. – Следующий!

Через некоторое время от окошка отскочила пожилая женщина с узлом, швырнула его наземь, и упала рядом.

– Чую, нет сыночка в живых, потому и посылку не принимают! – причитала она, и слезы струились по ее изможденному лицу.

А прямо передо мной стояла бедно одетая молодая женщина с двумя маленькими мальчиками, крепко держа их за руки. Один из них, который, наверное, был младшим, хныкал:

– Мама, сколько нам стоять? Когда выйдет папа?

Молодая женщина устало молчала.

– Перевели, говоришь? Куда перевели? Скажи, хоть намекни, не человек что ли?! – седобородый мужчина у окошка пытался узнать хоть

что-нибудь о судьбе заключенного, но вместо этого нагло захлопнули перед ним окошко.

– Какое горе бессильно стоять у тюремных стен, врагу не пожелаешь! – глубоко вздохнул старик, тяжело опиравшийся о посох, в очереди недалеко от меня.

Наконец подошла и наша очередь. Вопреки нашим опасениям, передачу у Лил приняли, более того, человек, который принимал передачу, внимательно посмотрел на Лил и негромко сказал: «Подожди немного» – и закрыл окошко.

Ждали мы долго, уже время близилось к вечеру, а мы жались у стены и внезапно поднявшийся холодный ветер пронизывал нас. Очередь почти иссякла, когда вдруг от окошка донеслось:

– Магба!

Лил кинулась туда и ей передали вчетверо сложенный листок, она схватила его и отбежала подальше. Девушка развернула листок и впилась в него глазами, я увидел, как она заулыбалась, и от сердца отлегло, значит, вести добрые.

– Посмотри! Посмотри! Это почерк отца! Это точно он напасал! Читай! – она протянула мне листок. На нем значилось:

«Лил, моя дорогая! Я получил передачу, спасибо. Не болейте, со мной все хорошо. Лил, не бросай музыку! Твой отец Захар».

– Вот мама обрадуется! – Лил забрала у меня листок и зажала в руке.

Мы двинулись в обратную дорогу. Радость из-за полученной записки сменилась у Лил грустью. Мысль, что она уходит, оставляя отца в тюрьме, очевидно, была невыносима, крупные слезы побежали по щеке девушки.

– Он пишет: «Не бросай музыку!» – с горечью заговорила Лил. – Не надо мне никакой музыки без него! Я и жить без него не хочу! Тюрьма для преступников! Моему отцу там не место! Я докажу, что нет его вины, я не отступлю! Мой отец честный уважаемый человек, а не преступник!

Я молча слушал ее, пусть любимая отведет душу. Я прекрасно понимал, что она права, и никакой вины за Захаром нет, просто чудовищная ошибка, но когда же она разрешится? Из прекрасных глубоких глаз Лил сейчас катились горькие слезы. Разве это справедливо? И тонкие пальцы, извлекающие столь прекрасные звуки из рояля, неужто созданы для того, чтобы таскать тяжелые сумки с передачами? Повсюду,

куда не глянешь, несправедливость встает стеной! Неужели нашему с Лил поколению суждено сгинуть, горбясь под ношей творимой несправедливости?

Нам вновь повезло – мы совсем немного прошли пешком, как случилась попутная машина, которая довезла до Сухума. В машине Лил взяла себя в руки, больше не плакала и бодрилась, как могла.

XXXX

Мне передали в Сухум весть, что отец мой тяжело занемог и хочет меня видеть. Я тотчас отправился в путь, то ехал автобусом, то пересел на грузовик, часть дороги шел пешком и все равно опоздал. Отца я не застал в живых.

Я рыдал над телом отца, слезы хлынули потоком, меня окружили со стенаниями мои сестры.

– Плачь, брат, облегчи свою душу, это единственное, что оставил нам отец, ушел, не пожалел нас, – причитала обнимая меня старшая сестра.

Мы не могли с сестрами разомкнуть объятия, отойти от тела отца, общая боль связывала нас крепче всяких пут.

Должно быть, не выдержало и сердце брата отца Элизбара, не раз и не два плакавший возле тела отца, он, бия себя в грудь, вновь присоединился к нам.

Наконец я заставил себя выйти из комнаты, где лежало тело отца, спустился во двор и, прислонившись к забору, снова дал волю слезам. Чувство вины грызло меня, ведь просил меня Элизбар, не оставлять отца, перед смертью он меня звал, хотел мне что-то сказать! Но меня не было рядом, я не выслушал последнего слова отца и теперь никогда не узнаю, что именно он хотел сказать, не узнаю его завета...

Ко мне подошла мама и ласково провела рукой по плечу:

– Крепись, сынок, и сестер поддержи... Твой отец мог бы еще жить и жить, не старцем немощным покидает свой дом, но все в руках Божьих! – У мамы дрожал голос, но глаза были сухими, она не нарушала обычая, прилюдно не оплакивала мужа, все в себе держала моя стойкая мама, и меня пыталась ободрить. – С другой стороны, счастье выпало твоему отцу, он отправился в последний путь, не изведав самой страшной боли – потери своих детей... Иди, сынок, в амацурату, там собрались родичи и соседи, ждут тебя, чтобы назначить день похорон.

Помещение заполняли близкие нам люди – молчаливые, с лицами, полными печали. Первым заговорил старик Саид, поначалу он спросил у матери, в какой день она согласна предать тело отца земле, затем с тем же вопросом обратился к дяде моему Элизбару и только после этого счел возможным высказать свое мнение.

Отца моего не стало в субботу, было решено, что похороны состоятся во вторник.

– Кому-то может показаться, что мы спешим с похоронами, но время зимнее, возможен большой снегопад, он перекроет все дороги... – пояснил старик Саид.

– Да и время такое, сами видите, хуже всякого снегопада, не знаем, что случится завтра, всего можно ожидать и того, что помешают всеми уважаемого человека с почестями проводить в последний путь.

Тут же назвали имена людей, которым поручалось верхом отправиться в дальние и ближние села, где проживали наши родичи и друзья, и оповестить их о нашем горе. После того, как были обсуждены все вопросы, связанные с похоронами, я узнал душераздирающие подробности событий, случившихся в нашем селе накануне, и понял, что имел ввиду старик Саид, опасаясь, что могут помешать достойно похоронить человека.

Накануне были арестованы сразу девять сельчан, дома их подверглись самому тщательному обыску. Список арестованных из нашего села рос с каждым днем и, хотя соседи и близкие нам люди старались нас ободрить и поддержать в нашем горе и не заводить речей о собственных опасениях, их подавленный вид говорил сам за себя. В нашем селе поселился неведомый доселе ужас.

Я вновь вышел наружу и во дворе устроился в сторонке. Боль моя требовала уединения. Надо мной стояло высокое холодное небо, примораживало, и соседские юноши, которые развели в сарае костер, грели возле него руки. А перед гостевым домом белела скатерть на вынесенном из дома столе. Туда клали свои головные уборы мужчины, все еще, несмотря на сгущающиеся сумерки, приходившие оплакать моего отца. Я обводил взглядом отчий двор – смотрел на фруктовые деревья, посаженные моим отцом, на постройки во дворе, поднявшаяся в чистом небе луна облила их серебристым светом, но мне казалось, что и сад, и двор, и дом – все в глубоком трауре. «Кто же теперь о нас позаботится, кто же нас сбережет?» – стенающий плач, чудилось, доносится со всех уголков двора. И вся печаль потом как бы

сосредоточилась на амацурте, печаль, смешанная с надеждой. Амацурта – самая старая постройка во дворе, но еще держится. Кажется, что опирается она на поддерживающие кровлю, столбы, как старейшина на посох. Ее поставил на этом дворе отец моего деда Бежана. Постройка еще стоит, а тот, кто возвел ее, давно сгинул за морем, попал в водоворот страшных для всего народа событий и сгинул, а дед мой спасся. Если бы и его судьба не уберегла, не было бы ни моего отца, ни меня, и двор прадеда давным-давно зарос бы сорной травой. Теперь вся ответственность за сохранение этого двора, этого дома с долгой его историей ложилась на меня. Ведь сестра моя Мачич рано или поздно, но выйдет замуж, дай ей бог счастья! – и возьмет на себя заботы о своей новой семье. Мать же останется одна. Ей в одиночку не справиться. И что же теперь мне предпринять? Бросить учебу? До окончания института еще долгих два года. Я чувствовал себя как на перекрестке. Прервать учебу? Возможность такого шага болью отдавалась в сердце. А окончу институт, устроюсь в городе работать и откажусь от крестьянского мира, от истоков своих, тогда уж точно... Но не успел я додумать свою мысль, как истошный крик, доступный только моему слуху, заставил меня вздрогнуть: «Как ты даже посмел подобное предположить? Сбросить с себя всю ответственность за наследие своих прадедов, ты – последний в роду? По твоей милости зарастет колючкой этот двор, рухнет дом, и дым от очага никогда не поднимется над амацуртой. Время быстро здесь все сравняет с землей, как будто ничего никогда и не было. Вот ужас-то!» Другой голос, сменивший этот крик, звучал и тише, и вкрадчивее, но достигал глубин сердца: «Ты будешь несчастен, если откажешься от поэтического своего дара, если зароешь талант в землю. Божий дар тебе дан для того, чтобы ты сохранил и приумножил славу и отчего дома, и родного села, но для этого тебе надо выучиться, а не бежать из города. Тем более ты давно, как только перебрался в город, перерезал пуповину, связывающую тебя с селом, и не надо себя обманывать, домой ты навсегда не вернешься».

«Оставьте меня! – взмолился я. – Пока еще останки моего отца не преданы земле, пока я слишком слаб, пощадите, мысли мои противоречивые, дайте передышку».

В это время мать окликнула меня:

– Нан, Лаган, иди сюда в амацурту, погрейся у очага, во дворе слишком уж холодно.

У меня и вправду зуб на зуб не попадал, то ли из-за стужи, то ли от леденящих душу мыслей. Ласковый голос матери оберегающим теплом окутал меня.

* * *

В ночь перед похоронами отца, сильно подморозило. Все луга и двор были покрыты белым покровом инея, а лужицы затянулись ледком и хрустели под ногами. С утра повалил густой снег. Но несмотря не непогоду надрод все прибывал, чтобы проводить в последний путь моего отца. Был во дворе возведен длинный шатер для поминального обеда. Хотя к полудню снегопад прекратился, и даже выглянуло солнце, правда с набегающими на него то и дело тучами, вынести гроб с телом отца во двор, как это принято, не решились, – опасались нового снегопада. Все, кто прибывал проститься с отцом, поднимались в гостевой дом на сваях, где в зале стоял гроб с покойным, окруженный плакальщицами. А близкая родня из мужчин сидела во дворе близ ворот. Там устроились мои дядья с двух сторон – брат отца Элизбар, брат матери Танас, старейшина из наших однофамильцев Саид. А я вместе с молодыми двоюродными братьями стоял поодаль. Прибывающие поначалу поднимались к покойному, а потом подходили к нам и поочередно выражали соболезнования. Верховую лошадь отца – гнедого коня – поставили в полном снаряжении здесь же во дворе. Его, понурого, точно скорбящего как люди, держал под уздцы племянник отца. Вокруг головы племянника была повязана черная лента.

В два ряда стояли те, кто пел «ауоу» – скорбную песнь прощания.

Перед смертью все равны – и мудрецы, и простаки, и богачи, и бедняки, и добрые, и злые. И все они в равной степени заслуживают достойных проводов в последний путь. Благодаря высокому уважению наших предков к жизни и смерти, обряд прощания продуман до мелочей и весь пронизан пониманием значительности и необратимости происходящего.

Как грустно думать, что теперь часто нарушаются порядки, которым следовали наши предки. Столы поминальные ломятся от яств, люди не успевают отойти от гроба, как их тащат к столам под шатром, а там за одним стаканом вина на помин души, следует другой, третий... Если раньше считалось недопустимым громко говорить в доме, где лежит покойник, и заводить многословные посторонние разговоры,

пить много спиртного, то сейчас шум, доносящийся из поминального шатра, может перекрыть голоса плакальщиц. Да и вживую теперь мало кого оплакивают, гремит траурными маршами оркестр и все дела. Есть и другие случаи, грубо нарушающие обычаи отцов, когда стараются поскорее захоронить покойного, не воздав ему должных почестей. Так долго притчей в языцех был в нашем селе некий Ганя, который давно заделался горожанином и там в городе занимал руководящую должность на одном из промышленных предприятий, а мать его, овдовев, скиталась по домам зятьев. Поочередно она жила у трех своих дочерей, в доме же сына, который в городе не бедствовал, неплохо устроился при жене и детях, матери место не нашлось. Так в скитаниях в доме одной из дочерей она бедняжка и умерла. Зять организовал похороны и там же, в его селе, старуху предали земле. А что еще оставалось, если отчий дом Ганя давно продал, а могила отца заросла травой и бедная женщина не могла упокоиться рядом с телом своего мужа. «Ганя, который оправдал надежды матери», – с насмешкой говорили за его спиной, а мне, когда в городе он разглагольствовал на каких-то собраниях, решая, по его разумению, дела государственные, хотелось не за глаза, а в глаза сказать: «Берешься судить-рядить об общественных делах, а у самого почему ума не хватило приветить старость матери и достойно проводить в последний путь?»

Ворота были настежь распахнуты и люди – знакомые, незнакомые, все шли потоком отдать последнюю дань уважения отцу. Но я заметил, что многие из них ненадолго задерживались во дворе, уходили, как только приличия позволяли это сделать. Помимо естественной в такой скорбный час печали на лицах, угадывалась еще и затаенная тревога. Люди из разных сел, давно не видавшиеся, обращались друг к другу с одним и тем же вопросом: «А скольких человек арестовали в вашем селе? Кто еще пострадал?» Недоумевали: «Раньше считались просто пахари, а теперь они – враги народа! Как же так получается?»

Во двор въехали пять всадников, впереди – Руша, председатель колхоза. Они дружно спешились, привязали коней к коновязи, и поднялись в дом – попрощаться с покойником – и здесь впереди всех ступал Руша, а его спутники почтительно отставали на шаг от него. В таком же порядке они подошли ко мне посочувствовать. На Руше была надета кожанка, подбитая мехом, на ногах сверкали начищенные узкие мягкие сапоги, за его спиной бледной тенью маячила его свита. После

того, как он проговорил положенные слова соболезнования, сопровождающие его, в числе которых был и Мага, также сказали, мне несколько фраз, потом подошли к моим дядьям. Руша и его спутники долго задерживаться не стали, сразу подошли к коновязи и тут четыре спутника председателя колхоза, тесня друг друга, кинулись подержать стремя своего вожака. После того, как он оказался верхом, и они сели в седла. Понятно, что первым выехал за ворота Руша, а спутники следовали за ним. Оказавшись на проселке, Руша хлестнул коня и помчался во весь опор, другие всадники – за ним.

Я стоял и гадал, удастся ли кому-нибудь из моих близких друзей приехать из Сухума? Когда приходит большое горе и чувствуешь себя таким одиноким, так хочется опереться на дружеское плечо, почувствовать, что твою боль разделяют близкие тебе сердца. Я дождался – ближе к полудню во двор вошла группа студентов, впереди ступали две девушки с венками, густо увитыми цветами и траурными лентами. Я углядел и Лил, она шла рядом с Заканом, на ней было черное пальто, на ногах высокие резиновые ботики. Распорядители похорон приняли из рук девушек венки, а самих проводили в зал. Потом, как водится, мои друзья подошли ко мне. Лил смотрела на меня полными слез глазами. Так как Закан бывал у меня дома не раз и не два, и знал всю мою родню, он подвел наших друзей и к моей матери, и к сестрам, чтобы дать им возможность выразить свое сочувствие. Затем мои друзья вернулись ко мне.

– Мама непременно приехала бы попрощаться с твоим отцом, но она по-прежнему не встает с постели, – сказала мне Лил, глотая слезы. – Она просила тебе передать, что скорбит о твоей потере. – Помедлив, Лил опустила глаза вниз и тихо добавила: – Вчера я ездила в Дранды с передачей для отца, вновь не приняли.

– Мы собирались приехать к тебе всем курсом, Лаган, но беда и там нас настигла, – сообщил мне Закан совершенно измученным голосом. – Вчера ночью арестовали четверых студентов, в том числе и Зитбея Тхуазба, арестован также профессор Аркадий Семенович, математик... Видишь, в какое нам время выпало жить. Вот такая новость, горе к твоему горю. Ты понес тяжелую утрату, Лаган, но крепись... пока мы... – он поморщился как от боли, – еще ходим по земле, всегда будем с тобой рядом, ты не одинок...

Покойника предали земле, как и положено, до заката, похоронили отца под навесом в нашем родовом погосте, огороженном каменной

невысокой, но прочной стеной. В сумерках дядя Элизбар затеплил свечу в изголовье могилы, ей надлежало гореть всю ночь.

Поздно вечером, когда я вошел в свою комнату и лег в постель, меня против ожидания мгновенно сморил сон. Но посреди ночи я пробудился от властного окрика и испуганно сел в постели. «Ты проложил другую линию своей судьбы! Никому не давай несбыточных надежд – не вернешься ты сюда! Ты из тех, кто не сохранил очаг предков! Зря рассчитывал на тебя дед Лаган!» Голос несомненно принадлежал моему отцу – сердитый, осуждающий. Прошло некоторое время, пока я осознал, что то был сон, и что наяву я никогда уже не услышу голоса отца – ни сердитого, ни ласкового. Тоска лавиной обрушилась на меня и я уже до утра не смыкал глаз.

* * *

На третий день после похорон вся близкая родня вместе с соседями пришла, как это принято, на погост, к могиле отца. Запричитала срывающимся голосом моя тетя Дония: «О, любимый брат мой, ты всех нас пестовал, а теперь решил разорвать нам сердца, покинув нас. Как же мне, твоей сестре, пережить такое горе?» Ее слова скорби подхватила моя старшая сестра и запричитала о своей тоске по отцу. Женщины плакали навзрыд. Когда более или менее они успокоились, мужчины отправили их домой, а сами взялись обкладывать место захоронения досками, разравнивать могильный холм.

Мужчины уже почти справились с необходимыми работами, когда показались на виду – погост как раз был расположен у дороги – всадники. Троих всадников никто не признал, а четвертого знали все – это был Мага. Никто толком не знал, какую работу он выполняет в колхозном правлении. Одни называли его стремянным председателя колхоза, другие – его подголоском.

Поравнявшись с погостом, всадники придержали коней, но и только. Никто не спешился, никто не сказал слов, приличествующих при виде свежей могилы: «царствие небесное», не снял головного убора. Те, кто находился возле могилы, ошеломленные столь бесстыжим поведением, стояли как вкопанные.

– Здесь захоронен сын Бежана? – вопросил, наконец, один из всадников, должно быть, главный среди них.

– Да, это его могила, дад, царство ему небесное, брату нашему, – ответствовал за всех старик Саид.

– И брат ваш звался Бадра, не иначе! Похоже, он удалец каких мало! – с наглой насмешкой проговорил всадник. – Прознал, что мы его препроводим в тюрьму, так он живо нашел выход – нырнул под могильную плиту.

– Вам мало живых, так вы и за покойниками охотитесь?! – вспыхнул Элизбар.

– Креста на тебе нет! Шутки шутить у свежей могилы! – не промолчал и старик Саид, сердито глядя на всадника.

Никаких извинений не последовало, всадники, не прощаясь, хлестнули своих коней и умчались, а мужчины у могилы моего отца виновато склонили головы, молчаливо прося прощение за то, что и сами не уберегли и его не уберегли от оскорблений проезжих.

* * *

Мой дядя Элизбар не мог придти в себя после встречи у ограды погоста с наглыми всадниками и решил пойти и пожаловаться председателю сельсовета на их непотребное поведение. Такое обращение с людьми, только что потерявшими близкого человека, представлялось чудовищным поступком. Раньше ни с чем похожим дядя Элизбар не сталкивался. К тому же председатель сельсовета Танас – брат моей матери – был и для моего дяди близким человеком. Элизбар не только собирался жаловаться, но и хотел разузнать, кто натравил всадников, как голодных псов, на людей у свежей могилы? Если приезжие потеряли последний стыд, так неужто в сельсовете никого не нашлось, чтобы их удержать? И разве недостаточно было охотникам за покойником побывать у него дома, увидеть траурные ленты, которым увит не только фасад дома, откуда вынесли покойного, но и жилище родного брата, о нем скорбящего, чтобы понять – здесь им нечего делать? С этими и многими другими вопросами кипящий от обиды и горя дядя Элизбар отправился в сельсовет, но вскоре вернулся, еще более расстроенный. У моей бедной матери, которая так мужественно держалась все эти дни, подкосились ноги от черной вести, принесенной Элизбаром. Танаса арестовали! Оказалось, что тем днем семь человек из районного отделения органов госбезопасности были направлены к нам в село со специальным заданием. Во дворе сельсовета их встретил Танас. Они

коротко сказали, что приехали к нему по важному делу, вошли вместе с ним в кабинет и тут же его разоружили и сообщили, что он арестован. Четверо из прибывших скоро отконвоировали председателя сельсовета за ворота, где стоял автомобиль, на котором они приехали. Они посадили Танаса на заднее сиденье машины, плотно обсели с двух сторон и уехали. Так навсегда покинул свое село Танас, столь много доброго сделавший для своих односельчан, его уважали и стар и млад, а ему не дали попрощаться даже со своей семьей. Оставшиеся в селе три наглеца непременно хотели убедиться. Что прихвостень кулаков лукавый Бадра действительно умер.

– Этот хитрец способен организовать даже собственные похороны, чтобы сбить нас с толку! – оказывается, сказал председателю колхоза один из представителей ГБ.

И Руша не стал его переубеждать, не сказал, что Бадра действительно умер, а не маскируется под покойника, что сам был на похоронах и видел покойника в гробу. Нет, бывший мой товарищ выделил им в проводники Магу, обеспечил лошадьми. Вот что было непостижимо. Что ж, гэбисты, убедившись на погосте, что действительно один из людей, кого они собирались арестовать, выскользнул из их рук в вечность, повернули назад и, перебрасываясь сальными шутками, приехали к зданию сельсовета.

В тот день, помимо Танаса, взяли под стражу еще пять человек. Скорбный список арестантов из нашего села достиг тридцати человек. Самое удивительное – выбор гэбистов всегда падал на людей, чье доброе имя было известно и за пределами нашего поселения. Самые трудолюбивые, самые разумные, самые красноречивые оказались в числе жертв. Но кто же указывал чужакам на лучших из лучших в нашем селе? Кто помогал проводить эту страшную селекцию?

Мать, вдобавок к своему горю, узнавшая об участи любимого брата, слегла. Мои сестры, сменяя друг друга, ухаживали за ней. Никогда над отчим домом не нависала столь страшная опасность, решалось: быть ему или не быть.

Тот рыжий страшный человек, от которого предостерегал мой отец, похоже. Надолго загляделся на наш дом. Не только на наш дом, на наше село, на всю республику. Если бы отец и не умер, участь его была решена, и кости его, наверное, сгнили бы в тюрьме. По всей Абхазии проводились бесконечные аресты, наверное, повсюду выискивая лучших из лучших, как и в нашем селе, чтобы в тюрьме «исправлять» их. Газеты

были заполнены истеричными речами о предателях, о врагах народа. Порой мне казалось: со страниц газет брызжет кровь. И откуда в одночасье взялось столько врагов? Может, и они такие же «преступники», как и мой отец – светлый трудолюбивый человек, живший в ладу с собой и миром, любивший свою землю, в которую по весне бросал зерна, дававшие добрые всходы?

XXXXI

В конце октября через газеты было объявлено начало процесса над тринадцатью преступниками – членами контрреволюционной террористической шпионской организации, имевшей целью свержение советской власти. Процесс, как оповещали заранее, начался в помещении драмтеатра. Четыре дня продолжался открытый процесс над людьми, названными врагами советской власти, и четыре дня газеты писали только об этом событии.

Все это время в нашем институте не проводились занятия. Мы собирались в студенческом клубе и слушали прямую трансляцию из зала суда. Мы растерянно переглядывались – все обвиняемые признали свою вину. Председатель Верховного суда обвинил Нестора Лакоба во всех смертных грехах. Как доказанный факт он говорил о том, что Нестор Лакоба возглавлял преступную организацию, имевшей целью физически устранить великого вождя всех народов Сталина, а также вынашивались планы убийства руководителя большевиков Грузии Берии...

Но ведь даже школьникам известно, что каждый год Сталин отдыхал в Абхазии и принимал его ни кто иной, как Нестор Лакоба. Сталин был гостем, Нестор – хозяином. Он легко мог улучить момент и расправиться со своим гостем. Но если бы даже он всей душой ненавидел Сталина, Нестор Лакоба, воспитанный по законам своей земли, не преступил бы никогда через святой обычай старины – не осквернил хлеб-соль, подмешав отраву своему гостю. И что такого невероятного, немыслимого должно было случиться, чтобы Нестор Лакоба – выходец из бедняцкой крестьянской семьи, пламенный революционер, член партии большевиков с 1912 года, с оружием в руках боровшийся за установление Советской власти в Абхазии – превратился бы в непримиримого врага народа? Что заставило его сжечь иконы, которым он поклонялся? И как он мог не подумать о своем многострадальном

народе, многажды находившемся на краю гибели? Народ верил в него, и он не мог предать эту веру!

По радио я прослушал показания одного из обвиняемых. Я узнал его голос. Он был моим односельчанином. Я, пораженный, слушал, как тот признавался, что по заданию руководителей террористической организации, совершил в нашем селе ряд диверсий, направленных на подрыв колхозного движения – вывел из строя трактор, разобрал ночью плетень вокруг колхозного кукурузного поля, чтобы скотина потравила всходы... Еще много таких мелких и крупных пакостей, по его признанию, он совершил. Своими подельниками он назвал троих. Один из названных три года, как умер, другой переехал в горняцкий город Ткуарчал, ударно работал шахтером, и редко наведывался домой, третьего же подельника не удалось захватить дома – он как раз на альпийских пастбищах пас стада. Не застав предполагаемого злоумышленника дома, вместо него гэбисты забрали его старшего брата. Самое удивительное, когда младший спустился с гор и пришел домой, никто его не стал преследовать. Очевидно, план по этому делу уже был выполнен.

То, что дело шито белыми нитками, и в ту пору понимали многие, только не могли разобраться, кому на руку эти сфабрикованные дела? Кому требуются бесконечные поиски врагов народа? Кто мог дать ответы на все эти вопросы? И кто осмелился бы спросить?!

Для студентов были выделены пропуски на открытый процесс в драмтеатре. Пропусков было мало и студенты поочередно посещали процесс.

Второго ноября и до меня дошел черед – я попал на вечернее заседание суда. Театр был переполнен, я еле отыскал на галерке в уголке одно свободное место и уселся там. Вокруг меня сидели совершенно мне незнакомые люди. С моего места мало что было видно и чтобы посмотреть, что делается на сцене, мне приходилось вставать и вытягивать шею. На сцене было многолюдно. С одной стороны сидели обвиняемые – тринадцать человек, напротив них – государственный обвинитель, генеральный прокурор Абхазской АССР. Неподалеку от него устроился общественный обвинитель. Посередине на небольшом возвышений расположился председатель Верховного суда Абхазской АССР с двумя своими заместителями.

В сторонке в глубине сцены – адвокаты и переводчики, перекладывавшие показания обвиняемых с абхазского языка на русский.

Было известно, что на утреннем заседании выступили генеральный прокурор и общественный обвинитель. Выступления прозвучали на редкость слаженно – и государственный, и общественный обвинитель требовали смертной казни для большинства обвиняемых, а для остальных – длительных тюремных сроков.

Я понял, что оказался в зале в последний день процесса. Обвиняемые получили право на последнее слово.

Тяжело слушать людей, стоящих на краю бездны, грядущая ночь для большинства из них должна была стать последней. Они это понимали. Невнятно звучали речи и тех, кто полностью признавал свою вину, и тех, кто не считал себя преступником…

Суд ушел для вынесения решения. Время тянулось медленно, но никто не выходил из зала, все ждали вердикта суда. Обстановка накалилась до предела. Наконец суд вернулся на место. Обвиняемые стоя выслушали обвинительный приговор.

Председатель перед объявлением приговора томительно долго останавливался на биографии и преступлениях каждого, кому предъявлялось обвинение. По приговору наказание предусматривало и конфискацию имущества осужденных в пользу государства.

Приговор зачитали. Председатель твердым голосом завершил последний абзац: «Приговор обжалованию не подлежит и согласно Указу ЦИК Народных комиссаров СССР от 3 декабря 1934 года, будет приведен в исполнение в короткий срок». Присутствующие в зале аплодисментами встретили вердикт суда и дружно поднялись на ноги. Теперь стояли все: и аплодирующие зрители, и осужденные... Я все не мог отвести глаз от Уасила Лакоба – он был в числе девятерых, которых приговорили к смертной казни. Уасил Лакоба стоял неподвижно, без кровинки в лице, но с ровно выпрямленной спиной. Так могучее высохшее дерево не гнется в разные стороны под порывами ветра, но раз даже урагану не под силу его всколыхнуть, остается только вывернуть с корнем.

Минуты тянулись бесконечно долго. Там – девять изваяний осужденных насмерть человек, здесь – рукоплещущий зал. И у меня не хватило сил дольше это выносить и я начал со своей верхотуры пробираться к выходу. По лестнице спускались еще люди. Им тоже очевидно стало невмоготу. Я ускорил шаги, уши заложило от грома аплодисментов из зала...

Не по рассказам других, а собственными ушами я слышал всего полгода назад выступление четверых из девяти осужденных на смерть. И

тогда зал тоже рукоплескал, восхищался – какие ораторы, какие умницы, счастлива Абхазия, что таких сыновей возрастила.

А теперь рукоплещут их палачам... Когда же они были искренними? И что для них правда? Что справедливость? А вдруг это всего лишь пустые понятия? Эта мысль в жар бросила меня. В ту страшную ночь я не сомкнул глаз, все метался по тесной своей комнате. На рассвете родились вот эти строки:

С утра мы верили в него,
Как в Бога. В полдневный час
Уже кричало большинство:
«Врагу не место среди нас!

Распять его!» И доброту
В себе убили мы, когда
Посмели перейти черту,
За коей зависть и вражда.

И, ткнувши в черное перстом,
Сказал подлец: «Белее – нет!»
И дружно мы сошлись на том,
Что тьма нам заменяет свет.

* * *

Я раньше всех ушел из студенческого клуба, где состоялось очередное собрание, на котором выступало столько ораторов один за другим, что собрание грозило затянуться допоздна, а говорили все приблизительно об одном и том же: «Не теряйте бдительность! Враг не дремлет!» Надо же, повсюду находят врагов! Моего ухода никто не заметил. Я и без того из-за пустословия ораторов припозднился на встречу с Лил. Теперь опасался, что она, не дождавшись меня, ушла. Обычно я первым приходил на свидание, но сегодняшнее собрание перепутало все мои планы. Я ускорил шаги. Там на набережной, под белоствольным эвкалиптом, должна ждать меня девушка. День уже угасал, но городские фонари еще не зажгли.

Я уже сворачивал к набережной улице, когда меня окликнули по имени. Я остановился и посмотрел по сторонам, но никого не увидел,

между тем, я явственно слышал, что меня окликнули. Я сделал еще несколько шагов и увидел, что на другой стороне улицы за стриженым кустарником стоит некто и смотрит на меня. В сумерках я не мог различить его лица и сделал к нему несколько шагов, чтобы разглядеть, но и он попятился, скрывая лицо в зелени кустарника. Впрочем, судя по-своему, мы и не были знакомы.

– Верно, ты меня не знаешь, но зато я знаю тебя много лучше других! – вдруг произнес незнакомец. – Тебя зовут Лаган, ты сын Бадры. Ты – поэт. И неопубликованных стихов у тебя больше, чем опубликованных. Например, несколько строчек из твоей рукописи:

Где ты, ветер, несущийся с гор?
Иль утратил ты прежнюю ярость?
Ну, сорви меня с дряхлых опор,
От насмешек спаси мою старость!

Узнал?

Меня зазнобило! Действительно эти строчки из моего стихотворения «Старый дом», которое не опубликовано, но и ни в какую редакцию я его не носил. Стихотворение читали всего несколько человек из числа моих друзей, так откуда незнакомцу оно известно?

– Ты кто такой? – я двинулся к кустарнику.

– Неважно, кто я такой, важно, что ты сбежал со студенческого собрания! Противопоставляешь себя коллективу?!

– Назови свое имя!

Я сделал еще один шаг и теперь только кустарник разделял нас. На незнакомце был длинный темный плащ, черная шляпа низко надвинута на лоб.

– К чему тебе мое имя? – Он, кажется, насмехался надо мной. – Что это тебе даст? Хочешь, назови меня Тенью! Ты же знаешь – свет отбрасывает тень. Разве что под сияющим солнцем тень исчезает. Но теперь настали счастливые времена для тени, света мало и становится все меньше… Хочешь напомню тебе слова твоего любимого писателя – ты перед ним благоговеешь, как перед Богом! «Абхазия под пристальным вниманием, и она мне напоминает мне дом, снесенный бурей в водоворот». Да! Реки выходят из берегов. Водоворотов и омутов не счесть. Твой писатель прав: дом, уходящий в воронку водоворота! Юноша! Говорят, ты с Божьим даром, поэт! Так спасайся, выгребай к берегу и

другим путь укажи, глядишь, и дом свой спасете. Какой смысл с обреченным домом идти на дно? Самим на плаху взбегать – палачам работу облегчать! Иногда умение выжидал равносильно подвигу! Так наберись терпения! Погоди, не перебивай, у меря немного времени и нас могут заметить посторонние, стой и слушай! Ты сейчас торопишься к Лил. Вы договорились о встрече по телефону. Она звонила тебе от соседей. Эта девушка, безусловно, тебе дорога и передачи тюремные для ее осужденного отца возишь с ней. Как видишь, я знаю каждый твой шаг и знаю: то, что сейчас я тебе скажу, не понравится тебе. Оставь ты дочь врага народа, отступись от нее... От тепла снег тает, но не мужчина! Не превращайся в слабака из-за ласковых слов девушки. Она любви твоей не стоит, не потеряй из-за нее жизни, не предай своего дара. Ты пока еще очень молод и не понимаешь, что дару ты должен служить и своему народу тоже. Пока твоя привязанность к родному селу и та ребячья. Нет у тебя ясного взгляда на жизнь, где есть много чего, кроме любви, долг, например. А ты из-за пелены любви даже не понял, что твой отец был всем сердцем с кулаками!

– Не смей судить моего отца, тревожить его тень! – повысил я голос.

Но незнакомец будто бы и не слышал меня.

– Глянь, с кем ты дружишь? И здесь ты совершаешь ошибку за ошибкой. Каждого, кто тебе доброе слово скажет, причисляешь к друзьям, а кто они на самом деле не в силах разобраться. Так твой дружок Андрей Лазба – разоблаченный троцкист. На допросах он сам признал, что по всей Абхазии распространял гнилые идеи Троцкого. Мой совет – немедленно сожги его письма к тебе! Незачем так трогательно их хранить.

– Ты все обо мне знаешь, дай хоть взглянуть тебе в лицо! – Я попытался обогнуть кустарник.

– Что ж, я тебя предупредил, а ты поступай как знаешь!

Незнакомец отступил в сторону и мгновенно растворился в сумерках, оставив меня озираться возле кустарника в недоумении.

Я был потрясен его осведомленностью и необычным поведением. Если это кто-то из работников правоохранительных органов, отчего он меня не вызвал на беседу в кабинет? Откуда ему известно так много о моих поступках, друзьях, встречах? Кто установил за мной столь плотную слежку и для чего? «Абхазия под пристальным вниманием» – это слова нашего большого писателя Алиаса Шаматовича, а про дом и водоворот – домыслы. Кому понадобилось извращать слова писателя,

придавать им такой смысл? И предостережения незнакомца – это из каких соображений? Неужели он по личной инициативе решил меня уберечь от бед? Но с какой стати? Или попросту он так запугивал под личиной благожелательности и похвал моему дарованию?

Понурив голову, я шел к месту встречи, хоть и не надеялся уж застать на месте Лил. Я опаздывал на свидание больше, чем на час. Между тем я позавчера дал Лил свои новые стихи и мне так хотелось узнать ее мнение о них. Лил на редкость духовно богатой человек, тонкий ценитель поэзии и ее оценка для меня очень и очень значима. Если случится так, что стихи мои понравятся Лил, то опубликую их непременно с посвящением ей. Только об этом ей не скажу, пока не выйдет книга, куда я запланировал новый цикл стихов...

Как я предполагал, под эвкалиптом никого уже не было, Лил не дождалась меня, надеюсь хоть не обиделась… Грустно я шагнул поближе к прибою. Море было неспокойным и волны, накатывая на берег, глухо ворчали. Брызги настигали меня, но я не отодвигался, стоял неподвижно, старался остудить будоражившие меня чувства. Потребность увидеть немедленно Лил была столь велика, что я решил идти к ней домой. Позвонить предварительно я не мог, в новом ее жилье отсутствовал телефон. Я знал, что одна из теток Лил – старшая сестра матери – сейчас гостит у них, приехала из деревни поухаживать за больной. Мне неудобно было показываться на глаза тетке, я не доводился им родичем и опасался, что старшие женщины не одобрят моего посещения – ведь в доме молодая девушка и если парни в дом зачастят, это может не лучшим образом сказаться на ее добром имени. Но мысль о том, что я сегодня не увижусь с Лил была невыносима, что я решил пренебречь условностями. Но сомневался, говорить ли девушке о встрече с человеком-тенью, о том, что есть силы, которые хотят разлучить нас? Мне не хотелось пугать любимую, ей и так приходилось несладко, но честно ли скрывать от нее обстоятельства, которое могут разрушить нашу судьбу? Больше всего я опасался, что ложь, чье-то вероломство станет преградой меж нами. Я решительно зашагал по улице, направляясь к дому Лил.

* * *

– Боюсь, ты охладела ко мне. И вот сегодняшняя наша встреча – дело случая.

– Не говори так, Лаган, не делай мне больно. Ты единственный к кому обращаюсь, когда мне, плохо, ты – единственный, кому доверяю, как самой себе… У меня нет от тебя тайн... Сердце мое открыто для тебя.

– Но как долго нам мучиться врозь, Лил? Не видеть тебя для меня сплошная мука... А видимся гораздо меньше, чем мне хотелось бы... И сколько это может длиться, Лил? Сил моих уже нет.

– Потерпи... И прости, но сегодня я не смогу с тобой пойти в кино. Сам подумай: отец томится в тюрьме, мать больна, а я с молодым человеком развлекаюсь, в кино хожу. Люди меня не поймут...

– Что значит с «молодым человеком»? Мы, что, случайные знакомые? Нас, я думал, объединяет нечто более глубокое. А билеты в кино я купил потому, что ты и так целыми днями сидишь взаперти, надеялся, немножко тебя развлечь...

– Сказав «молодой человек», я не хотела увеличить меж нами расстояние... И зря ревнуешь к неведомым юношам, не ожидала от тебя... Просто не могу я вести себя, как Ася, моя однокурсница. Она после смерти отца через три месяца в кино побежала, и в театры ходила, даже на танцы.

– Возможно, Ася и права... Живым – жить, она и не скрывает, что любит жизнь.

– Прошу тебя, избавь меня от философствования и отправляйся к Асе. Она в сто раз красивее меня! К тому же любит вальсы Штрауса, как и ты. Вальсируйте!

– Что ж тогда станется с девушкой по имени Лил, а? Может нахмурит длинные брови, а большие глаза покраснеют от слез? Может, скажет: «Лаган мой, никому не отдам!»

– Лаган, да ты задушишь меня в объятиях, и как крепко ты целуешь, как...

Над нами мерцало звездное небо, точно раскаленные угольня в очаге, и мы подставляли пылающие лица небу, а по морю, лежащему в полном штиле, бежали лунные дорожки...

Я проводил Лил до ворот жилища, в котором она жила, и как всегда расстаться было тяжело и мы стояли, не решаясь сказать друг другу «спокойной ночи».

– А я тебе говорила, что мы завтра с мамой идем к прокурору? – спросила Лил. Я отрицательно покачал головой. – Да, пойдем! Уже два раза не принимали передачу для отца. Нам сказали, что отец лежал в

тюремной больнице и все... Надеемся узнать у прокурора хоть какие-то подробности, но очень боимся, что он нас не примет, говорят, он – человек суровый.

– И мне завтра надо ехать в деревню дня на два, на три. Мама с сестрой одни на хозяйстве, на сердце неспокойно. Подсоблю чем могу. Бедная моя мама, досталось ей: смерть отца моего, арест любимого брата. Да еще весь дом на ней. Счастье еще, что сестра моя Мачич при ней.

– Невезучие мы с тобой, Лаган, одни беды стучат в наши двери, – грустно сказала Лил. – Доброй тебе дороги, желаю твоей маме скорейшего выздоровления! До встречи!

Она вошла в ворота, унося с собой мое сердце.

* * *

На следующий день, после того, как я вернулся из деревни, я поспешил к дому Лил, понимая, что других шансов увидеть ее у меня нет, ведь из института ее исключили. Как я и опасался в доме находилась соседка, которая с любопытством оглядела меня. Мать Лил была на ногах и выглядела на этот раз неплохо. Лил же просияла глазами навстречу мне и скрылась в коморке, чтобы переодеться. Под надуманным предлогом мы вышли из дома – уж очень хотелось остаться наедине.

– Мама твоя сегодня выглядит хорошо... Может, болезнь отступила?

– У нее высокое давление и неизвестно, когда может криз наступить. Если бы не Мария Степановна, мамина подруга из Москвы, не знаю, чтобы с ней было. Она присылает нам хорошие лекарства, которые помогают маме. А как себя чувствует твоя мама?

– Не встает. Сестры мои попеременно дежурят возле ее постели...

– Ты когда вернулся?

– Вчера вечером, но не решился придти к тебе, слишком было поздно, хотя очень хотел увидеть. А в общежитий ждала меня горькая новость. Алиаса Шаматовича арестовали…

– Он и так долго продержался, такой большой писатель, такая яркая личность... именно такие люди сейчас у властей на примете... – в голосе Лил послышались слезы. – Его рукописи, тоже, наверное, арестуют, как рукописи моего отца.

На улице было пустынно, хотя день стоял ясный. В погожую погоду сухумчане любили прогуливаться по улицам родного города и по набережной, но теперь, казалось, город вымер, лишь изредка встречались

прохожие и они, как правило, спешили куда-то с озабоченными лицами. Мне чудилось: город в страхе затаил дыхание.

– Узнав об аресте Алиаса Шаматовича, я заспешил к нему домой... ты знаешь, как он много для меня значит… его арест для меня не меньшее горе, чем смерть отца... Думал, поддержу его семью, скажу, что они всегда могут рассчитывать на меня. Прихожу, а двери запломбированы, в окнах – темень... На обратном пути встретил Джарнаса, соседа Алиаса Шаматовича. От него я и узнал, что семью писателя выкинули из дома в тот же день, как его арестовали.

– И что же с ними сталось? – вскрикнула Лил.

– Трое суток они ночевали в семье Джарнаса, а потом, прослышав о беде, приехала из деревни мать Алиаса Шаматовича. Она и забрала невестку с внуками к себе.

– Слава богу! Будет у них кров над головой. Не придется им мыкаться по чужим углам и жить в сырости, как мы живем, – заметила Лил.

– Джарнас сказал, что люди из органов перевернули в доме писателя все вверх дном и забрали ящиками рукописи и книги. Я видел в рукописи новую пьесу Алиаса Шаматовича «Любовь и братство», а также подготовленную к изданию книгу «Исторические рассказы». А сколько в его архиве было писем от известных писателей со всего мира. Я видел адресованные ему письма Анри Барбюса и Андрея Жида, их восторженные отзывы об Абхазии после их пребывания здесь. Горький, Фадеев, Шишков.., да кто только ему не писал. Я, наверное, видел лишь малую толику архива писателя, сколько там еще бесценных автографов. Я боюсь, что это все пропадет, исчезнет. Страшно даже подумать об этом. Может, мне пойти к Дырмиту Гулиа? Может, он походатайствует о спасений рукописей?

– Для Дырмита Иосифовича арест его лучшего друга не меньший удар, чем для тебя. Что даст твой приход к нему? Только разбередишь раны. Я думаю, он и сам сделает все, что в его силах. Не тревожь его понапрасну, пощади.

– Может, ты и права, Лил. Великий Дырмит Гулиа в моих советах не нуждается...

– Я за тебя сильно тревожусь, Лаган. Надо ли тебе заявлять в дирекцию или комсомольскую ячейку об аресте твоего дяди?

– С какой стати? Не буду я делать никаких заявлений!

– А вдруг кто-нибудь донесет, что ты скрыл факт ареста дяди? Знаешь, когда мы попали в беду, обнаружилось, что нас предали люди, ко-

торым мы доверяли больше, чем себе. Ближайший друг отца выступил против него.

– Странная вещь произошла со мной, – решился я признаться Лил. – Вчера, когда я вернулся в общежитие, мне стало ясно, что кто-то рылся в моей тумбочке и, знаешь, исчезли две книги Алиаса Шаматовича, полученные от него с дарственной надписью...

– А стихи? Стихи твои?

– Я их держу дома у матери в сундуке. Книг жалко, я так дорожил ими.

– Теперь они послужат для кого-то уликой, – с отчаянием в голосе сказала Лил. – Подарок врага народа!

Мы вышли к морю и остановились. Оно едва слышно шуршало у берега. Чаек, обычно носящихся над морем с пронзительным криком, не было видно. Тишина, пустота, а сердце тревожно замирало. Я покосился на Лил. Она сжав ладонями щеки, загляделась на водную гладь. Глаза ее цвета морской лазури казались частичкой бескрайнего моря, и я в них мог утонуть да, что мог, утонул! – как в пучине морской. И мне захотелось сказать ей – в сотый раз! – как она мне дорога, что я не мыслю жизни без нее, хочу быть всегда рядом с ней. Я взял ее за плечи и повернул к себе лицом. Глаза ее как дымкой продернулись влагой и слезы побежали по пылающим щекам.

– Лаган! – всхлипнула она и спрятала лицо на моей груди. – За что нам столько бед? Ты лишился отца! Мать твоя болеет! Я же и вовсе ничего не знаю о папе, нет даже могилы, куда я могла бы придти, мать моя потеряла всякую надежду и я ежеминутно опасаюсь за ее жизнь. В чем моя вина? За что меня подбили как птицу в летящем клине, выгнили из института? А теперь еще и ты, Лаган, балансируешь на краю беды, как на сухой ветке стоишь, вот-вот обломится под тобой… За что нам столько испытаний, Лаган, за что? Я больше не могу! Она разрыдалась, я крепко обнял ее и стал утешать:

– Лил, родная моя, не отчаивайся. Пока мы живы, надо надеяться. Не так уж дела наши плохи, пока никто не отнял у нас родимой нашей земли, пока мы дома, подумай, насколько страшнее была участь махаджиров, которых увозили на чужбину чужие парусники, но и они старались не падать духом, но и они лелеяли надежду вновь увидеть родные берега. И самым стойким из них удалось это сделать. Нельзя нам сдаваться, Лил, мы должны держаться... Говорят, земля наша благословенная, может, на ней и нам улыбнется счастье...

Неожиданно на ум пришло четверостишие и из недавно написанного мной стихотворения:

Вот так в ночи, проснувшись вдруг,
Дитя спешить зарыться
В тепло отцовских крепких рук
И сладким сном забыться.

Лил отстранилась от меня, вытерла слезы и посмотрела на меня долгим взглядом, с надеждой, как мне показалось… Я ободряюще улыбнулся.

XXXXII

Мне повезло. Меня подобрал водитель грузовой машины и часть пути домой я проехал, потому оказался на дороге, ведущей к дому, гораздо раньше, чем рассчитывал, и позволил себе идти неспешным шагом. Вдруг впереди я заметил двух мужчин, которые стояли на обочине, и один из них нервно размахивая руками, о чем-то толковал. Приглядевшись, я узнал в одном из них старика Тамела, прозванного вечным писарем. Он и вправду с момента создания сельсовета работал там секретарем, совсем недавно нашли ему замену, но он по привычке, наверное, часто приходил в сельсовет, скучал, наверное, по своему рабочему месту. Из разговора с писарем, я с большим удивлением узнал, что Руша председатель колхоза. Он обычно не снисходил до дружеских бесед с Тамелом. Но не это поразило меня, а то, как внешне изменился мой бывший друг – он чрезвычайно исхудал, нервно дергал руками. Обычно он тщательно следил за своей внешностью, а теперь был одет в какую-то мятую заношенную одежду. Что могло с ним за месяц, пока я не был дома, стрястись. Какое горе так его преобразило? Родня его давно была в могиле, ну разве что беда постигла близких его жены или ее саму? И куда подевались его дружки? Куда бы Руша не пришел, всегда вокруг него толпились люди, которые старались угодить человеку, внезапно ставшему в селе вершителем судеб. Да я и не припомню, когда встречал его пешим, а не гордо восседающим в седле коня хороших кровей.

Я подошел к беседующим. Руша по моему лицу, очевидно, понял, как я поражен случившимися с ним разительными переменами и, не дав мне слова сказать, махнул рукой и ушел.

– Как живется тебе дад, Лаган? – обратился ко мне Тамел. – Вот обрадуется мать твоему приезду! Хорошо ты делаешь, что часто ее навещаешь. Эх, Бадра мог бы еще жить и жить, рано он нас покинул, земля ему пухом, не только ваша семья, но и все село не скоро оправится от такой потери. Нам всем его не хватает.

– Он помолчал, опираясь на палку, постоял некоторое время, а потом посмотрел на меня острый взглядом и добавил: – Я заметил, как сильно тебя удивил вид Руши. Похоже, тебе неведомо, что в последнее время с ним сталось.

– Я просто привык, что Руша всегда на коне, видеть его пешим для меня непривычно, – неопределенно сказал я. – Если он и попал в какие-то передряги, ничего об этом мне неизвестно.

– Может, прозвучит грубовато, но, как говорится, очумевший барсук из собственной кожи выпрыгнул. Что-то похожее случилось и с нашим председателем. Он сам себя сгубил и это не случайно. Когда его обласкали в районе люди, поставили селом править, у него голова пошла кругом. Да он и с собственной ленью не мог справиться, а тут ему выпала несказанная удача! По молодости, по дурости возгордился он неимоверно. «Все должно идти по-моему!» – постановил он для всего села. Ты знаешь, я с ним не ладил, но дело не в этом. Не из личной неприязни я говорю то, что говорю сейчас. В бедах своих один лишь Руша виноват, некого больше винить! Он забыл, что сам из крестьян, вздумал, что в нем течет иная кровь. И непростительно, что он обращался с людьми так, будто не знал наших обычаев, нашего нрава, будто был человеком со стороны, чужаком. Видел, как кора отскакивает от ствола? Так отпал от своего народа и Руша, не ведаю, какая злая сила его к тому вела... Только что все это я высказал ему в лицо. Завидев тебя, он и поторопился уйти, чтобы уклониться от разговора. Вряд ли ты ему сказал бы что-то утешающее. Идем, дад, нам по пути...

Мы некоторое время шли молча, а я все думал о Руше и, будто угадав мои мысли, старик вновь заговорил о нем.

– А Магу, дружка Руши, помнишь?

– Как не помнить, мы учились в одном классе.

– Вот-вот... Мага заделался, можно сказать, стремянным Руши, всюду таскался за ним и во всем ему угождал. Приглянулась Маге одна девушка из рода Аиджба, учительница. Она из деревушки Ольшанник. В прошлом году в Сухуме закончила педагогическое училище, и учительствует в Ольшаннике. Мага решил на ней жениться, и

поначалу девушка вроде бы обнадежила его, но дело не дошло до обмена подарками. Она внезапно – не знаю уж, что там произошло, отказалась выходить за него замуж. Мага стал засылать к ней дружков, чтобы уговорили девушку выйти за него замуж. Говорит, что даже Руша расписывал достоинства своего дружка. Но ни Руше, ни кому-нибудь другому девушка не захотела внять – стояла на своем, не мил он мне и все. Отказ оскорбил Магу и он надумал девушку умыкнуть. Наверное, Руша и сподвиг его на это, иначе сам Мага на то не решился бы, больно труслив.

И вот однажды пятеро молодых людей на изрядном подпитии подстерегли девушку, которая возвращалась с работы домой, неся в охапке кипу школьных тетрадей. Они окружили ее, но девушка оказалась не робкого десятка. Сопротивлялась, как разъяренная тигрица. Но силы были неравны, однако девушка успела закричать несколько раз, взывая о помощи. У девушки четверо братьев и они, зная, что их сестру преследует Мага, всегда были начеку, часто провожали ее на работу и встречали. На этот раз они тоже оказались поблизости и услышали зов сестры. Не успели молодцы с девушкой добраться до берега реки, как их там поджидали два брата девушки с ружьями наизготовку, а еще двое оказались в тылу злоумышленников. Трое участников похищения девушки, почуяв, что дело плохо, бежали. Кто они были, до сих пор никто не знает. А оставшихся двоих братья узнали Магу и, к своему удивлению, Рушу.

– Как же так, Руша?! Мы рассчитывали на тебя, как на брата. Считали, что ты голыми руками на любого зверя кинешься, увидев, что зверь может нанести увечье нашей сестре. Но выходит, ты сам хуже любого зверья! Как ты мог обидеть невинную девушку, которая обучает детишек села и кроме доброты от нее никто ничего не видел?

Самого Магу братья, возможно, и пристрелили бы на месте, но народ набежал и разняли их. Братья пригрозили и Маге, и Руше, что никогда им не простят чудовищного поступка.

Старик остановился, переводя дыхание, мы шли в гору, и ему было нелегко разговаривать, к тому же Тамел припадал на левую ногу, неровный шаг тоже мешал размеренному дыханию. Однако старику хотелось выговориться. И хотя он старался просто излагать события, видно было даже по интонации, до чего ему не по нраву Руша. Да и было за что ему на него обижаться! Пока мой дядя Танас работал председателем сельсовета, Тамел горя не знал, никто его ни в чем не при-

теснял. Но после того, как посадили Танаса, Руша выбрал в качестве мишени секретаря. Все упрекал:

– Столько проработал вместе с врагом народа, молчком, тишком, и наверняка у самого тоже совесть нечиста. Не мог не знать, что Танас – враг народа, а рот держал на замке!

После ареста Танаса Рушу начальство пригласило в районный центр и предложило ему совмещать две должности – председателя сельсовета и председателя колхоза.

– Нам не найти другого такого опытного руководителя, к слову которого прислушивался бы народ! – щедро польстили Руше.

Он и без лести с радостью вступил бы в новую должность. В тот же день старый секретарь оставил работу. А про Рушу сочинили такую байку: во дворе правления колхоза постоянно держат двух оседланных коней – вороного коня и гнедого. Если Руша на вороном – к нему надо обращаться как к председателю колхоза, если на гнедом – он председатель сельсовета.

– Но споткнулись оба его скакуна! – не без злорадства сказал Тамел. – Столько зла с рук ему сходило, а тут попался. На его взгляд, на пустяке. Но, задев достоинство Аиджев, он сильно промахнулся. Они добились того, чтобы Магу взяли под стражу, но на этом не успокоились. Коллектив учителей школы, где работала девушка, написал жалобу в адрес райкома партии и потребовал разобраться в поведении Руши. Возможно, в районном центре, где Руша ходил в любимчиках, дело и замяли бы. Но беда приходит не одна. Покровителя Руши, сына Пахуалы Сарапиона как раз в то время перевели на работу в Тбилиси. А известного тебе Кацмана внезапно объявили врагом народа и посадили. Кто бы мог подумать, что и до него дойдет черед! Остался Руша без всякой поддержки. А братья не унимались, со своими жалобами добрались и до Сухума. И никто не откликнулся? – удивился я.

– Отпихнулись. Неделю назад на бюро райкома Рушу выгнали из партии за неподобающее поведение. От своих должностей он тоже освобожден. Вот так его шибануло, вряд ли он вновь окажется в седле…

– Мне сюда, – сказал старик, останавливаясь у ворот, за которым жил добрый человек по имени Шахан.

Я попрощался со стариком и пошел своей дорогой. Услышанное от него взволновало меня, и я не мог не думать о внезапной перемене уча-

сти Руши. Ведь мы были друзьями детства, соседями. Я не чувствовал себя виноватым перед ним, я не раз и не два пытался его вразумить. Я вспомнил, как крикнул ему вслед, после нашего неудавшегося разговора под дубом: «Того, кто народ с коня бросит, тому никогда в седле не быть!» – сказал в сердцах, а вышло, как в воду глядел. Сегодня Руша сброшен с коня... И теперь, когда я обо всем знаю, если мы случайно, где-нибудь столкнемся, что я ему скажу? Что мне очень жаль? Но это неправда, это не искренне и я не могу заставить себя выговорить такое. И не место в коммунистической партии человеку, помогавшему дружку умыкнуть девушку, которая как свечечка знаний трепещет вокруг местных ребятишек. Но не в тот день, когда Руша ввязался в это дело, он оступился. Случилось это гораздо раньше, когда ему дали в руки поводья управления огромным селом и сказали ему, чтобы он по своему усмотрению пришпоривал село, как коня. Он согласился и с того дня началась личная трагедия моего бывшего друга. Нам выпало жить в трагичное время. Но мудрые опытные люди, твердо знающие, где истинные ценности, где честь, достоинство, сжав зубы, перетерпят лихолетье и не отступят от своего понимания правды. Но Руше предложили присоединиться к тем, кто из лжи извлекает правду, бесчестье, превращает в честь, а чтобы не оставлять свидетелей – тысячами уничтожают носителей правды.

Сам по себе Руша пуст. Он приспособленец, хамелеон, готов принять любую окраску, выгодную ему. А ему выгодно то, что удовлетворяет его собственную спесь, дает власть над людьми, а это в свою очередь придает ему крылья уверенности в своей правоте. На самом деле, у него нет никаких убеждений, он в них не нуждается, они бы мешали ему парить над землей.

Но сейчас он упал и крепко ударился оземь. Кто знает, возможно, это поможет кое-что осознать, может, он пересмотрит свою жизнь и почувствует от земли не только удар, но и то тепло, что идет от нее, кормилицы. Мой дед Бежан говорил: «Земля каждый год обновляет пахаря». Вдруг и Руша услышал зов земли? И сейчас он раскаивается о содеянном, ищет пути спасения? Чтобы человеку понять свою суть, возможно, ему и необходимы такие суровые встряски? Мне кажется, многие люди так и покидают бренный мир, не разобравшись, зачем они приходили в него...

Наконец я добрался до наших ворот, вошел во двор, и сразу углядел маму, которая в сторонке возле курятника кормила цыплят, негром-

ким голосом отгоняя кур, чтобы они не мешали молодняку. Сердце мое зашлось от нежности к ней. Не успел ее окликнуть, как со стороны родника поднялась сестра Мачич, неся на плече влажный глиняный кувшин.

Родные обрадовались моему приезду, и мы уселись, отставив все дела, чтобы поговорить вдосталь. Когда я завел разговор о Руше, мама и сестра удивились, что его история для меня новость.

– Об этом уже прослышала каждая собака! – насмешливо проговорила сестра. – Ну и как ты оцениваешь подвиги своего бывшего друга и его дружка Маги? Это же надо, в наше новое время вести себя, как дикарь, нападать на девушку, насильно тянуть замуж. Знаешь, после всего случившегося, Руша перестал ездить к своей семье в район, живет в хибарке своего отца. Жена его сюда носа не кажет, а его подкармливают соседи, от выпивки его не оттащишь, бедолагу.

– Лаган, нан, вы с Рушей были друзьями детства, так встретив на дороге, посочувствовал бы ему. Доброе слово сейчас, ох, как ему нужно, – сказала мать и, по своему обыкновению, сняв с головы платок, стала разглаживать его на коленях. – Люди перестали сочувствовать друг другу, жалеть... все борются и борются неизвестно с чем, а доброе слово все реже звучит... Сейчас все ненавидят Рушу и, в первую очередь, те, кто держал его стремя. Нан, каждый человек может споткнуться, не подталкивать же, чтобы он упал. Мне искренне жаль Рушу. Он сирота, никого из близких не осталось, видать, и семью он создал несчастливую, не на кого ему опереться. Бывает, что человек загоняет себя в колючие кустарники, так не оставлять же его там, прорубить ему дорогу – дело друга. Отец Руши Елкан был добрый достойный человек, неужто сыну от него ничего не передалось? Власть вскружила парню голову, да перед ней и более крепкие, чем Руша, люди забывались.

XXXXIII

В тот день выбирали новое руководство села. Мой дядя Элизбар с утра отправился на сход. Я же подсел к матери и сестре, которые рушили кукурузу в больших мисках и стал им помогать. Наполнив миску зерном, сестра выносила ее во двор и просеивала. А я помогал им ссыпать счищенное зерно в мешки. И сестра, и я невольно бросали взгляды в сторону ворот, высматривая, не идет ли Элизбар. Нам хотелось

знать, как собрание прошло. Работа близилась к концу, когда пришел Элизбар.

– Что-то вы быстро разобрались, я тебя так рано не ждала, – сказала мать Элизбару.

– Мы выбрали нового председателя! – сообщил Элизбар, усаживаясь у стены на табуретку. – Правда, председателя нам прислали, зовут его Расим, по фамилии Тоуба, он из села Ландар. С виду не мальчик, лет пятидесяти, с образованием – закончил агротехнический техникум. Трудно сказать, что у него за нутро, а так высокий ладный мужчина с умным лицом. Секретарь райкома партии – он тоже новый, запамятовал его фамилию, очень хорошо говорил о Расиме, мол, уважительный человек, и мимо чужой беды не пройдет. А как уж там будет, поживем, увидим. Вот дожились – надо в поисках председателя в Ландар добираться… а лучшие сыновья нашего села в тюрьмах гниют, – глубоко вздохнул Элизбар.

– А современный Нарджхоу, попытавшийся похитить прекрасную сестру Нартов, Гунду, был на собрании? – поинтересовалась Мачич.

– Если ты о Руше, его не было. Сосед его Баджгуа сказал, что Руша заболел и придти не сможет.

– Говорят, что он свихнулся! – заметила на это Мачич.

– Не дай бог ему лишиться разума! – сказала мать. – Да и с чего ему сходить с ума? Ну сняли с работы – не велика беда.

– Стремительно взлетел, стремительно свалился! – сказал Элизбар. – Видать, расшибся не на шутку. Но, если он и впрямь свихнулся, то это ему Божья кара за все грехи, а их у него немало... Он ускорил смерть моего брата Бадры и не остановился на этом. Оскорбил, прислав с Магой людей из района на кладбище, чтобы они убедились – кулака и впрямь зарыли в землю. Одного его слова было достаточно, чтобы они туда носа не казали, да только он этого слова не произнес. Но это самый малый грех из всего, что Руша натворил... Нет ему прощения! После собрания мы с Баджгой шли вместе домой и он подтвердил, что Руша действительно очень плох – заговаривается. – Элизбар нахмурился и перевел разговор на другое: – Вижу, вы целый мешок зерна уже подготовили, давайте снесу его на мельницу, а за мукой Лаган пусть сходит.

Он легко поднял мешок с кукурузными зернами на плечо и быстрым шагом ушел.

* * *

На следующий день ближе к полудню я решил навестить Рушу. Ему еще не было и тридцати лет. Какие бы неприятности на него ни свалились он – молодой, крепкий, неутомимый танцор, отличный наездник – должен был, на мой взгляд, их превозмочь. Не верилось, что Руша, не сильно склонный к отвлеченным суждениям, к угрызениям совести, мог внезапно сломаться и заболеть душевной болезнью.

Руша жил в полутора верстах от нас, и я вскоре оказался у его дома. Никого не было видно, я открыл ворота и ступил во двор. Здесь было пустынно – никакой живности и даже собаки, которая своим лаем возвестила бы хозяев о приходе посторонних. Дверцы амацурты и дома на сваях были плотно прикрыты, занавески задернуты. Похоже, он куда-то уехал, зря я пришел, подумал я и собрался повернуть назад, когда услышал какую-то возню за домом и прошел туда. Там я нашел Рушу, он запускал камнями в ворон, сидящих на частоколе, и бормотал что-то невнятное. Очевидно, услышав мои шаги, он обернулся и, бросив камни наземь, пошел мне навстречу.

– Добрый день! – поздоровался я.

Но он вместо ответного приветствия пожаловался

– Жизни нет от ворон! Не знаю, что им от меня надо?! Все каркают и каркают! – он двинулся к ореховому дереву и уселся под ним на пенек и поднял на меня глаза. – Лаган, а по дороге тебе вооруженные люди не попадались?

– Нет, Руша, не попадались. Что здесь вооруженным людям делать? – Всю ночь они подкарауливали меня, но я не открыл дверей, а сами они не решились ворваться внутрь. Ничего, я покажу им, сыновьям Джомлата! Они еще у меня попляшут! – он вскочил с места и стал озираться. – Вчера всю ночь ржал конь и все обегал мой дом. Не давал спать. Топот копыт, призывный зов... Как тут уснешь?! Нет, конь не ржал, он плакал. Как человек плакал!

– Ты известный наездник, лошадей любишь, вот, наверное, тебе и привиделось... – попытался я его успокоить.

– Я хорошо помню твоего деда Бежана. Суровый был старик, а отца твоего давненько не видал, куда он запропастился?

– Отец мой умер, Руша, ты был на похоронах, разве не помнишь?

– Похороны, говоришь, были? – не расслышал он. – Наверное, я был в отъезде, иначе непременно пришел бы оплакать твоего отца.

Я промолчал, уже видел, что дело плохо, и не знал, как себя держать. В это время в ворота вошла пожилая женщина с большим свертком в руках. Когда она приблизилась, я узнал ее, это была мачеха Руши, которую после смерти мужа забрал к себе жить брат. Я пошел ей навстречу. Она тепло поздоровалась со мной и глянула в сторону пасынка. Он внезапно стал ворчать, не глядя на нас:

– И куда же запропастился Баджга, почему он не несет мне поесть? А куда девались наши коровы, быки, куда все подевалось? А?

– Бедный он, бедный, ему целый мир был тесен, а теперь мир раздавил его, – проговорила мачеха Руши с болью.

Я попрощался с доброй женщиной и пошел прочь. Всю дорогу ее слова не шли у меня из головы.

XXXXIV

Спустя неделю после того дня с Рушей было покончено. Случилось это так. Однажды внимание соседа Руши привлек лай его собаки. Дворнягу свою он нашел возле дома Руши. Она с лаем, переходящим в скулеж, обегала дом и не могла остановиться. А затем собака прибежала к амацурте, где дверь была настежь распахнута, но внутрь не вбежала, а, усевшись у двери, жалобно завыла.

– Да разрази тебя гром! – прикрикнул на свою собаку Баджга и мурашки побежали по спине, он почувствовал, что умная собака неспроста так себя ведет.

Баджга подошел к порогу и ужасная картина предстала перед ним. Руша повесился прямо над очагом, здесь же валялась табуретка, на которую он встал, чтобы дотянуться до петли, а потом оттолкнул ногой. Случилось это на переломе зимы к весне, когда природа пробуждается к жизни – тепло солнечных лучей, цветение в саду деревьев, пробивающаяся молодая поросль – все хочет жить и сообщает жажду жизни и человеку... Но Руша выбрал другой путь, не захотел утолить жажду...

Год 1938-й также омыт кровью невинно осужденных, хоти по сравнению с минувшим 1937 годом, стало казаться, что арестовывать стали меньше. Тем не менее, по-прежнему говорили в основном о том, кого, когда арестовали, кого казнили, кому повезло – лишь в ссылку отправили. Родственники врагов народа обивали пороги судов, тюрем, властей и нигде, не находили ни утешения, ни справедливости. Что касается

меня, в ту пору я продолжал старательно учиться и поэзия занимала в моей жизни все больше места. Со второго курса у меня появилось еще одно увлечение – серьезный интерес к проблемам абхазского языка. Первым делом я задумал составить сборник из работ, посвященных родному языку. Но как только поэзии жаркий луч пронзал меня, я откладывал все дела и брался за ручку. Я не мог противостоять жажде сочинения. Хотя я много взыскательнее стал относиться к написанному мной и мог часами переделывать строчки, добиваясь большей выразительности. За все мои печали мне наградой стала Лил. Она была для меня спасительным лучом. И хотя при встречах мы много говорили о наших бедах, я всегда расставался с ней с просветленной душой. Почти каждую неделю я ездил домой навестить мать. Она слава богу снова была на ногах, но слишком слаба, чтобы по-прежнему много заниматься хозяйством. Понимая это, мои замужние сестры, уж не говоря о Мачич, которая постоянно жила с ней, много времени уделяли маме и во всем ей подсобляли по дому. А дядя Элизбар все ободрял меня: «Ты не тревожься, Лаган, учись, а здесь, пока я жив, мужскую работу возьму на себя». Он собирался и пашню нашу вспахать и засеять кукурузой раньше, чем свою. Благодаря дяде Элизбару, я более или менее был спокоен за свою родню. То, что тучи стали сгущаться надо мной, я ощутил не сразу. Хотя, будь я повнимательней, заметил бы признаки надвигающейся беды. Так, если в аудитории, я подсаживался на свободное место к кое-кому из однокурсников, они под благовидным предлогом вставали и уходили, а вернувшись, устраивались совсем в другом месте. Некий молодой человек, с кем я никогда не был дружен, вдруг стал вертеться вокруг меня, то в кино пригласит, то в ресторан позовет, и все просил почитать ему новые стихи, а выслушав, долго ими восхищался. У меня мелькнула мысль, неужели шпика ко мне приставили, и тут же пропала. Нельзя в молодости жить все время с оглядкой, подозревать всех и вся.

Однажды я зашел в редакцию областной газеты узнать о судьбе моих стихов, они давно лежали там. Заведующий отделом, который раньше встречал меня с улыбкой и распростертыми объятиями, теперь едва кивнул на мое приветствие и, не глядя на меня, буркнул:

– Твои стихи у главного редактора, не знаю, ознакомился он с ними или нет и какое составил мнение. А без разрешения главного мы ничего не публикуем.

Я растерянно смотрел на заведующего отделом, который что-то старательно писал, не поднимая головы, и не мог понять, отчего он ко мне так переменился, чем я его обидел?

Так как рядом с помещением редакции газеты находилась и редакция журнала, куда я так же предлагал свои стихи, я решил заглянуть и туда, раз уж оказался поблизости.

Раньше редакцию журнала возглавлял Алиас Шаматович. После его ареста главным редактором стал некто по имени Ермолай. По происхождению он был абхаз, но родного языка не знал, и потому сотрудники журнала были вынуждены представлять своему главному предлагаемые вещи с подстрочным переводом.

– По какому поводу пришел? – осведомился главный, когда я вошел.

– Я давал свои стихи на рассмотрение...

– Это ты не нам давал, а врагу народа, который под личиной редактора прятал свое предательское лицо. Когда он здесь правил, для тебя не только двери, но и окна были распахнуты настежь! Но дни эти миновали! Забери свои каракули, и забудь дорогу сюда!

На этот раз я вышел на улицу с четким пониманием, что опасность голодным волком крутит около меня и нет-нет, да ухватит за бочок. В большом унынии я отправился в институт на занятие. Закан сразу заметил мое состояние, и я без утайки рассказал ему обо всем. А Лил я начал намеренно избегать. Не хотел, чтобы она озаботилась еще и моей душевной смутой. Но она нашла возможность встретиться со мной и забросала меня вопросами:

– Что с тобой, Лаган? Ты плохо выглядишь? Ничего не стряслось?

– Ничего! Просто головная боль замучила! – неумело отговаривался я и видел по ее тревожным глазам, что она мне не верит.

И вот однажды после первой лекции меня вызвал секретарь комсомольской организации института Гоги Дианозович.

– Садись! – отчужденно проговорил он, когда я вошел.

– Ничего постою, не упаду!

– Ты давно упал, только сам этого не видишь! – отрезал он и повторил в приказном порядке: – Садись!

Я подчинился.

– Не откровенен ты с нами, Лаган, двуличен. Иначе сразу же сообщил бы в комсомольскую организацию, что родного твоего дядю осудили, как врага народа! Поступок, недостойный воспитанника ленинского комсомола! И это не все! – Он раскрыл папку, лежавшую перед

ним, вынул какие-то листы и повертел их в руках. – Ты потерял всякую бдительность! И никакой у тебя ответственности! Потому ты и таскаешься с передачей для осужденных по тюрьмам, еще много чего числится за тобой. Мы всё знаем! И потому решено рассмотреть твое дело на общем институтском собрании комсомольцев. Пусть на твоем примере учатся! Пусть знают, до чего может докатиться беспринципный человек. Не одного тебя выставят к позорному столбу. К сожалению, еще встречаются такие, как ты. Пусть все увидят, что вы за птицы. Собрание состоится завтра в восемь часов вечера в актовом зале, не вздумай пропустить это собрание, хуже себе сделаешь. Понял?

* * *

Собрание открыли минута в минуту. Зал был полон. Гоги Дианозович держал в ежовых рукавицах организацию, которой руководил, и за опоздание на собрание так пропесочивал, что редко кто осмеливался нарушить дисциплину. К тому же, по слухам, от того, насколько активно и продуктивно проведет это собрание Гоги Дианозович, зависел его карьерный рост.

Секретарь организации и члены бюро сидели на сцене – за столом, а мы – нас было пятеро – «потерявшие доверие товарищей», «утерявшие бдительность» – примостились на длинной скамье у левой стены и со стороны, наверное, напоминали арестантов. Закан подошел ко мне и тихо попросил:

– Пожалуйста, не вступай в пререкания, не старайся ничего им доказывать, и будь предельно правдив.

В зале стояла непривычная тишина. Обычно неугомонные студенты на этот раз приутихли. Среди пятерых товарищей по несчастью меня знали в институте больше других – мои стихи, пусть изредка, но появлялись в периодической печати, критики писали о них, да и учился я на «отлично». И потому ничего удивительного, что собрание, посвященное поведению студентов, потерявших доверие товарищей, начали с меня.

– Не один месяц прошел, Лаган, с того времени, как твоего дядю – врага народа! – посадили в тюрьму, но ты и не подумал известить комсомольскую организацию, в которой состоишь, об этом. Если бы мы сами не дознались о позорном факте, ты бы скрыл его от нас. Почему ты ступил на скользкий путь обмана? Где твоя комсомольская ответственность? Держи ответ перед своими товарищами! – велел Гоги Дианозович.

– Танас мне дядя, верно, но еще он был председателем сельсовета. Об аресте главы села знали все. Да и в газетах о том писали. Так что я не понимаю, о каком скользком пути обмана идет речь?!

– Не юли! А прямо скажи, почему ты не заявил, что в вашей семье завелась контра?

– Мне неизвестно ни о каком его шаге против советской власти. Жили мы отдельно друг от друга. С тех пор, как учусь в Сухуме, мы не часто виделись.

– А хвастал, что тебя учиться в техникуме пристроил именно твой дядя Танас! – вскочил со своего места мой однокурсник Анатолий. Он вообще был обходительным тихоней, и я никак не ожидал подобного выпада с его стороны.

– Мне действительно помог мой дядя. Это он привез меня в Сухум, повел в техникум. Что с того?

– Он много чего, наверное, для тебя сделал, но ты ведь сам не скажешь! – не унимался Анатолий.

С места поднялась тощая, как засохшее деревцо, девушка Раиса – она была членом комсомольского бюро и сидела на сцене.

– У меня тоже есть вопросы к Лагану, – проговорила она, глядя не на меня, а в зал. Раиса пописывала стихи, состояла в нашем литературном кружке. С теми, кто критиковал ее стихи, а они у нее были плохонькие, она переставала разговаривать. Я хочу знать, сколько раз ты бывал у тюрьмы?

– Не считал, уважаемая Раиса, как не считал, сколько раз посещал храм, бывал в музее или библиотеке! – ответил я ей не без насмешки.

– Не считал, говоришь, или память отшибло? Что ж, я тебе помогу! Ты состоишь в родстве с врагом народа Захаром Магба?

– Нет, не состою!

– Тогда с какой стати ты таскаешь передачи в тюрьму для врага народа? – перебив Раису, продолжил тему Гоги Дианозович. – Что за странная забота?

– Мы дружим с дочерью Захара Магба, Лил, я и помогаю ей возить передачи для отца, – сказал я, как было.

– С комсомольским билетом в кармане, тащит в тюрьму передачи врагу народа и все потому, что в дочь его влюблен! И в доме врага он завсегдатай! Как это понимать? – не унималась Раиса.

Взгляд ее по-прежнему был устремлен в зал, а я смотрел на нее и не видел человека, а так – сухостой.

– Дружба, любовь – личное дело каждого, зачем выносить на обсуждение? – удивился я.

– Нам решать, что обсуждать, что нет! – оборвал меня секретарь комсомольской организации. – Сегодняшнее наше собрание должно высветить твое нутро, как рентгеновский луч! Увидим, что за сердце у тебя, чем ты дышишь. Не знаешь ли ты, Лаган, кто сочинил эти стишки:

Когда разрушены основы,
Зря о стенах печемся мы.
Уже спешит хозяин новый
Дать горю горькому взаймы .

– Это мои строчку из стихотворения «Соха». Оно еще не опубликовано...

– Хорошо, что ты сам сознался! Да и выхода другого у тебя не было! Вот оно, само стихотворение целиком. – Он поднял со стола какой-то лист и помахал в сторону зала: – И что это значит: «Уже спешит хозяин новый дать горю горькому взаймы»? О каком горе здесь речь? И о каком новом хозяине ты с такой ненавистью толкуешь? С тех пор как прошла коллективизация в стране, крестьяне, наконец, зажили счастливо. Но ты думаешь иначе! Выходит, ты – против колхозов, ты – за единоличников? В стране, которой руководит великий Сталин, о каком горе можно говорить, я тебя спрашиваю?

– Оказывается, Лаган обер-бандит! – выскочил из середины зала какой-то чернявый парень. И тогда не знал, как его зовут, и позже узнавать не стал.

– С бандитом все понятно, а что значит обер-бандит? – поинтересовался кто-то, кто сидел неподалеку от нас.

– Обер-бандит – это главный среди бандитов, что-то вроде предводителя, – негромко пояснил ему мой друг Закан.

– Вы действительно считаете юношу-поэта, который тяжелее пера оружия не держал в руке, предводителем разбойников? – громко на весь зал вопросил студент, только, что спрашивавший у Закана, что означает слово «обер-бандит»?

В зале раздались смешки. Председатель собрания, яростно стуча ручкой по столу, восстановил порядок. Слово взял Калистрат, член бюро комсомола, студент физико-математического факультета.

– Ходят слухи, Лаган, что ты часто бывала в доме врага народа писателя Алиаса Шаматовича. Это правда или нет?

– Алиас Шаматович всегда был внимателен к начинающим писателям…

– Говорят, что он дарил тебе свои книги, это тоже так?

– Да, две книги избранных подарил, но, к сожалению, я их потерял...

– Просто, когда твоего благодетеля в тюрьму бросили, ты с перепуга или сжег или разорвал и выбросил книги! – крикнул с места Анатолий. – Сразу видно, неверный ты человек.

Ему-то сразу все видно! А вот считал его добрым, обходительным. Как я ошибался!

– Понятно, от книг ты избавился! Тогда хоть поделись содержанием дарственной надписи твоего учителя!

– Не помню! – отказался я обнародовать священные для меня строчки Алиаса Шаматовича, обращенные ко мне. – Я не знаю, в чем Алиаса Шаматовича обвиняют, но уверен: он – большой писатель.

– Пусть еще нам Лаган объяснит, почему он так любит русского поэта Есенина, – вновь взяла слово Раиса. – Есенин – певец дореволюционной России, уходящего крестьянства, упадочнический поэт и его давно не издают в нашей стране, а у Лагана есть стихи Есенина. У кого он взял? Зачем? Но они у него точно имеются! Я собственными ушами слышала, как он взахлеб читал стихотворение Есенина, «Собаке Качалова» называется. Я даже запомнила куплет. Вот послушайте:

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видел я сроду,
Давай с тобой полаем при луне
На тихую бесшумную погоду...

Слышали? Когда мы со всех сторон окружены врагами, когда мы ведем беспощадную борьбу с ними и строим новую жизнь, другим делать нечего, кроме как вместе собакой выть на луну!

На этот раз Раиса удостоило меня взглядом. Более того, смотрела она пристально, с вызовом, уела мол, не отвертишься. Я мог бы ее грубо оборвать, или высмеять – это было нетрудно! – но взял себя в руки и спокойно проговорил:

– Однажды Максим Горький попросил у Есенина прочитать именно это стихотворение. И знаешь, уважаемая Раиса, что сказал буревестник революции, послушав? Об этом знают все. Он сказал, что Есенин «первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных».

Раиса опешила и отвела глаза: раз Максим Горький так отозвался о «Собаке Качалова», стало ясно, что она привела неудачный пример. Она молча села на свое место, вопросов мне больше не задавали. Перешли к обсуждению моей личности. Мне хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать всего, что говорили обо мне – меня беспощадно клеймили позором: Тон обсуждению еще в начале собрания задал сам секретарь организации, указав на то, что я потерял бдительность! и что я ненадежный комсомолец. Все выступавшее за ним ораторы говорили в том же духе. Я узнал, что потерял классовое чутье, что я плачу о прошлом, о нравах забитых крестьян, что таю наподобие зажженной свечи при виде дочери врага народа, что в дружбе ненадежен, не принимаю участия в задорной жизни комсомольцев института. И еще многое другое.

– Такому чуждому элементу не место в рядах ленинского комсомола! – подвел черту под обсуждение последний оратор.

Закан, рассчитывавший, что я отделаюсь выговором, вскочил с места и попросил слова.

– С твоим другом Лаганом все ясно, хватит прений! – осадил его Гоги Дианозович.

Но зал загудел:

– Дайте слово человеку сказать! Они с Лаганом – давние друзья! Послушаем Закана, он лучше других знает своего товарища.

В конце концов, Закану дали слово.

– Это правда, мы давние друзья с Лаганом, уже восемь лет как дружим. С первого дня нашего знакомства я понял, что мы станем близкими друзьями. Потому что я увидел в нем черты, которые ценю в людях, – правдивость, открытость, ум, верность друзьям. Такие качества украсят любого комсомольца. Лаган в комсомоле на своем месте!

– Помолчи ты, дешевый адвокат! – крикнул Анатолий. – Ты и сам всегда в сторонке стоишь. Надо бы и с тобой разобраться. Собственно, где ты был, когда твой товарищ упал в болото оппортунизма, а? Почему не удержал?!

Зал вновь загудел и вновь, изо всех сил стуча ручкой по столу, призвал к порядку председатель собрания и неприязненно кинул Закану:

– А покороче нельзя? Высказался и хватит!

– У меня есть еще что сказать. Прежде всего, Лаган талантливый человек, прекрасный поэт! Таланты надо беречь, выхаживать, а не вырывать с корнем. К талантам требуется особый подход! Прошу вас всех, не перечеркивайте жизненный путь Лагана, оставьте его в комсомольской организации. Мы еще будем гордиться им.

– Хватит словоблудия! Сядь, беспринципный адвокат!

– Нет доверия Лагану! Нет ему места в комсомоле! – стали выкрикивать с мест.

И дружно – только восемь студентов вместе с Заканом не участвовали в этом балагане! – подняли руки, голосуя за мое исключение из рядов комсомола.

Итак, меня выгнали из комсомола. Как страшно, когда большинство смотрит на тебя, как на врага, как на отступника? Я поднялся и направился к выходу. не дожидаясь решения участи других провинившихся, У двери мне дорогу заступил заместитель секретаря комсомольской организаций института и потребовал, чтобы я отдал ему мой комсомольский билет.

Я вынул из кармана билет и протянул ему со словами:

– Я знаю, билет вернется ко мне!

Он меня больше не задерживал и я с гудящей головой очутился во дворе института. Но и на свежем воздухе я не почувствовал облегчения, у меня было такое ощущение, что мир сузился до таких размеров, что я ушибаюсь об его острые углы, и дышать нечем. Низкое сумеречное небо вот-вот раздавит меня. У ворот я различил фигурку Лил. Я тщательно скрывал от нее, что на собрании меня будут обсуждать, ни от кого-то, видно, прослышала об этом. С сердцем, полным жалости к любимой, я двинулся к ней.

* * *

На следующий день напротив дирекции к стенду с объявлениями был прикреплен приказ о моем отчислении из института. Группа сокурсников стояла молча за моей спиной. Они сочувствовали мне, это я видел, но чем они могли помочь? У них было не больше прав, чем у меня.

Я отправился в общежитие. Здесь меня поджидал Закан с печальным лицом. Комната, в которой я жил, была запломбирована. Кровать,

на которой я спал, вынесли в коридор вместе с постелью, будто это было ложе прокаженного. На кровати были разбросаны в беспорядке мои рукописи, тетрадки и книги. На полу валялись, небрежно связанные в узел, мои пожитки.

Вместе с Заканом мы упаковали мои вещи и отнесли в дом к Джарме – деду Закана – сложили в комнате моего друга. Самого деда мы не застали дома. Он уже не работал на лимонадном заводе и часто надолго уезжал в родную деревню.

Закан предложил пожить у него. Но одной крыши над головой было недостаточно, чтобы продержаться в городе. Стипендию, я уже не мог получать, о гонорарах за публикацию стихов лучше было забыть, и работу чуждому элементу вряд ли кто дал бы. Моя сестра Мачич и так подбрасывала мне деньги из скромной своей учительской зарплаты. Мне всегда было стыдно у нее их брать, на ней и без того лежала забота о матери, о доме. Отважная милая моя сестра.

Мы с Заканом стали обсуждать, как жить дальше, как найти заработок. «А Лил уже, наверное, знает, что меня отчислили из института», – тоскливо подумал я. Лил не только уже знала, но и догадалась, где меня найти. Она вскоре присоединилась к нам. Мы долго судили и рядили, но на тот момент я видел одну дорогу для себя. И она вела к отчему дому.

XXXXV

И вот я в своем селе, в родном доме. Поднимаюсь рано утром и на цыпочках, чтобы не разбудить мать, иду к выходу, осторожно толкаю дверь и выхожу на крыльцо и спускаюсь во двор. У нас из всего стада остались две коровы, одна из них с маленьким теленком, другая вот-вот отелится. Я с подойником отправляюсь доить стельную корову и с полным подойником молока вскоре возвращаюсь в амацурту, процеживаю через специальную цедилку молоко в котел, который тоже определен только для молока. Затем я выгоняю коров на пастбище, а сам, прихватив полотенце, бегу к реке Чал, плаваю в затоне, прозванном котельным. И тороплюсь домой.

А дома уже хлопочут мама с сестрой, готовят завтрак. Мне очень по душе, как мама готовит, а для нее самая большая радость накормить меня собственноручно приготовленной едой.

После завтрака я отправляюсь на кукурузное поле, которое нам засеял мой дядя Элизбар, а вот прополоть его – теперь моя задача. Ростки кукурузы в крупных каплях росы шелестят на легком ветру. Та часть поля, которую я уже прополол, избавил от сорняков, сразу пошла в рост и отличается заметно от еще не обработанной полосы. Я рьяно принимаюсь за работу, чтобы дать возможность и оставшейся части быстрее пойти в рост.

Я слышу голоса горлиц, они все летают над ближним лугом, воркуют во всю, но не осмеливаются надолго опуститься на луг из-за того, что там пасутся овцы и они их опасаются. Птицы то и дело взлетают, нервно трепеща крыльями.

А издалека со стороны леса слабо доносится, как кукует кукушка, будто в сотый раз поздравляет с разгаром весны.

– Доброго тебе дела, труженик, сменивший ручку на мотыгу! – с таким шутливым приветствием в поле появился мой дядя Элизбар. Он, видно, побывал уже на мельнице – мешок с мукой он пристроил возле входа в поле.

– Доброе утро!

Я прекращаю работу и иду ему навстречу.

– Молодец, Лаган, с душой работаешь. Только ты не жалей кукурузные ростки, прореди их больше, иначе они задушат друг друга и по осени большого урожая не жди. Завтра мне обязательно надо поехать в дальнее село на похороны, а вот послезавтра я вместе с верной моей мотыгой займу место рядом с тобой. Доброй тебе работы, дад.

Мой дядя ушел, а я вновь взялся за мотыгу. Мотыжу я отцовской мотыгой, у нее гладкая рукоятка и хорошо наточенное острие. Отец тщательно ухаживал за своей мотыгой, точно за именным оружием. После его смерти никто не притрагивался к ней, а в этом году, я взял ее в руки. Но чтобы сохранить отцовское наследие и все, чем он дорожил в материальном и нематериальном мире, надо еще ох, как много взять в свои руки. Надо урожай выращивать, по осени убирать, за виноградником ухаживать, вино заготавливать и наполнить им глиняные кувшины, врытые в землю. Они не должны пустовать, особенно два из них: вино одного из них начинаем пить в светлый праздник Рождества, другой открываем на Пасху. Надо ухаживать за скотиной, надо починить хлев, сменить крышу на амацурте, отремонтировать и дом на сваях. Справлюсь ли я со всем этим? Должен справиться, в моем роду все были крестьяне и крепкие труженики. Я единственный, который

взялся за сочинительство, но и я, как говорит мой дядя, сменил ручку на мотыгу. Значит, так тому и быть. Мой дед Бежан говаривал: наша земля не велика, но она благословенна». Может, на ней, благословенной, я и найду себя и сумею выполнить свой долг перед ней.

Ближе к полудню мне мама приносит в баклаге разбавленное водой холодное мацони.

– Устал? – сочувствует мне мама. – Передохни, ты и так уже много успел сделать, а потом подоспеет с помощью и дядя.

– Прополю ряд до конца и отдохну, – обещаю я, принимая из рук мамы баклагу с освежающим напитком.

Мама забирает опустошенную баклагу и, пожелав доброй работы, обласкав меня взглядом, уходит, опираясь на палку.

А я с удвоенной энергией принимаюсь за работу. Солнце начинает припекать, и я, прополов намеченный ряд кукурузы, чувствую, как устал и отправляюсь на отдых. Сначала спускаюсь к роднику, смываю с лица и рук пот, наслаждаюсь вкусом ледяной воды и иду домой. А там уже обед готов.

Мама, которая на самом деле знает, как я люблю, когда она готовит, тем не менее, с улыбкой говорит:

– Ты привык к городским разносолам, тебе, наверное, не по вкусу простая деревенская еда, но что бог послал…

Бог на этот раз послал исходящую паром – только что с огня – мамалыгу, подливу из зеленой еще алычи, густо сдобренную аджикой и кинзой, аромат от нее веет над столом, рядом – молодые побеги колючки, приготовленные с орехом, перья лука в большом блюде – порционно разделанная жареная с хрустящей кожицей курица! Ничего себе – простая еда. Я вспомнил студенческую нашу столовую с жидким борщом и картошку с мясом, где на тарелку приходилось от силы два-три кусочка мяса, остальное было картошкой, компот из сухофруктов... Да, по такой городской еде не заскучаешь. В завершение обеда Мачич поставила передо мной тарелку с густым мацони и банку прошлогоднего меда.

Мама сидит напротив меня и ест мало, как птичка, а мне все подкладывает вкусные куски курятины, опасается, что встану из-за стола голодным.

После обеда я во дворе в тени деревьев немного прогуливаюсь – усваиваю съеденное, а потом себе позволяло еще и с книжкой полежать, почитать. А потом возвращаюсь к прерванному делу и работаю

в поле до тех пор, пока солнце не садится. А там опрометью бегу вновь к затону. В воде уже плещутся деревенские парни, и я живо присоединяюсь к ним.

Дома уже все знают, как я распределяю свое вечернее время. Вернувшись с купания, быстро ужинаю и иду к себе в комнату. Мачич к этому времени зажигает мне лампу на письменном столе. Я закрываю за собой дверь, радуясь, что никто из соседей не зашел к нам и не отвлек меня от моих замыслов. Потому что как только я сажусь за стол, передо мной открывается иной мир, не тот, в котором я прожил долгий день. Недавно я сел за написание драматической поэмы. Пока она называется «Говорят горы», но, возможно, я позже, назову ее иначе. Чтобы полнее раскрыть свой замысел, я надумал писать поэму белым стихом. Мне кажется, рифмованный стихотворный размер станет меня стреножить, к тому же, в абхазской литературе еще совсем мало образцов драматических поэм. А вот в народном творчество часто встречаются полные драматизма песни, составленные в свободном ритме.

Когда я – настоящий? – мелькнуло у меня в голове. Когда с утра дою корову, ухаживаю за скотиной, мотыжу кукурузу в поле, хожу за дровами, словом, занят крестьянской работой? Или когда я сажусь за свой письменный стол и другой мир, полный сомнений и размышлений, с ярко вспыхивающими в мозгу живыми картинами, метафоричный, сложный, обступает меня и требует воплощения в живом слове?

Кукуруза, почувствовав добрую заботу, вон, как бурно пошла в рост, а строчки, которые мне достались, куда большим трудом, сами не скажут мне – жизнеспособнее они или нет...

Подспудно ощущаю: стараюсь соединить несоединимые вещи. Хочу одновременно справиться с двумя важными делами. Но они столь объемны и важны, что мне их одновременно не поднять. Как говорили наши отцы: «Даже самый лучший наездник сразу на двух конях не поскачет!» Что я о себе возомнил?! Никак – посчитал себя титаном, которому все по плечу? На самом деле, кто я? Крестьянин, пописывающий стихи на досуге. Или поэт, без большого успеха ковыряющийся в земле? И существует ли человек, который с одной стороны истинный крестьянин, с другой писатель-интеллектуал?!

И тут перед внутренним взором ярко, будто он вошел в мою комнату, предстал один из героев Нартского эпоса, того, кого называли «Бжаюа-Бжадза», то есть был он наполовину мертв, наполовину живой. Правда, ему и одной – живой! – половины хватило, чтобы совер-

шить достаточно подвигов. Но если бы другая половина его тела не иссохла, он, наверное, в доблести превзошел бы всех Нартов?!

То, чему посвящаешь половину своей сущности, не может быть столь успешным, как дело, которому отдаешься всецело. Это было понятно! Куда труднее отважиться на выбор, в результате которого зарастем травой, чертополохом одна из моих жизненных дорог. Но чувствовал я, что путь моих прадедов, на который я вступил, выбран не мной, а обстоятельствами, значит именно ему и грозит большая опасность.

Даже то, как меня всецело захватила мысль о задуманной поэме, свидетельствовало: творчество, – это моя живая часть, как половина «Бжаюа- Бжадза». И если я убью его, так и сам погибну. В основу поэмы должны были лечь мои впечатления от увиденного и прочувствованного за минувшие годы. Они стали переломными и трагичными для нашего крестьянства, они поглотили и перемололи тысячи и тысячи земледельцев. А ведь с какой надеждой на лучшее будущее крестьяне выкрикивали как спасительное заклинание, на сходе в центре села: «Дыкрет! Дыкрет!», когда их собрали, чтобы раздать землю и обнародовать «Декрет о земле»! Недолгое, однако, им выпало счастье. А жестокая драма, разыгравшаяся в роду доброго друга моего отца Джомлата, драма на подмостках нового времени, для меня – неутихающая боль. Кто виноват в страшной трагедии семьи Джомлата? И стоит ли писать о чем-нибудь другом, когда образ Джомлата и его сыновей не отпускает меня?!

Вот Джомлат стоит высоко на выступе скалы и белейшие облака, как легконогие лани, проносятся мимо него. Сверху Джомлат видит глубокое озеро, он выбрал его местом вечного своего упокоения, предпочел его несвободе. И, кажется, само небо кричит: «Кавказцы, глядите, что творят с настоящим горцем! Распяли на скале мишенью, оболгали. Но чист он душой, как чисты наши горные реки». Неужели вновь лихорадит Кавказ, и черная туча беды заволакивает его седые вершины?

Ни люди, ни горы не спасли Джомлата. Горное озеро навеки укрыло его, омыло тело водой, как горькими слезами. Но скалы помнят завет Джомлата, его гордые слова. И когда ураган бушует меж скалами, они заводят как песнь ранения пронзительные слова Джомлата. Тому свидетель Сит, слепой брат героя. Его сказания о Джомлате, о скале, об озере – последнем пристанище сына гор, передаются из уст в уста. Могу ли я замкнуть свои уши и выжечь из своей памяти ту трагедию?

Джомлат мог бы смириться со своей участью, поняв, что плетью обуха не перешибешь. Сколько людей отступало, понимая, что силы не равны. Не зря ведь в народе говорят: «Пойманный медведем и медведя батюшкой назвал». Но Джомлат вырос гордым свободным человеком, и он предпочел уйти из мира, не уронив своего достоинства, не поступившись честью, не захотел жить на коленях. И сыновья не могли выбрать иного пути. Чтобы спасти отца от тюрьмы, они не пожалели всего своего богатства – бесчисленные стада коз и овец отдали в колхоз. Но жертва была напрасной. Председателю колхоза и районному руководству требовались для продвижения по карьерной лестнице иные жертвы – человеческие. Вот они и назначили Джомлата и его сыновей врагами народа. Самое для меня страшное – это когда именем народа уничтожают лучших из лучших из гущи народной...

Какие мне найти слова, какую придать им форму, чтобы и другие поняли, прочувствовали, прониклись трагедией семьи Джомлата? А ведь таких Джомлатов немало в наших селах.

Мне казалось, что я, наконец, внутренне готов занести на бумагу свое видение этой трагедии. Уже первые петухи кричали, возвещая скорое наступление утра, когда я оторвался от своего стола и улегся спать.

* * *

На рассвете разразилась гроза, и утром и речи не было, чтобы выйти в поле. Между тем мне, на сегодня дядя Элизбар обещал свою помощь и очень рассчитывал, что совместными усилиями мы сегодня закончим работу в поле. Но с небесами не поспоришь... Подперев голову рукой, я расслабленно слушал шуршание дождя и звуки капелей, срывающихся с крыши дома, отдельной нотой вплетаясь в общий шум. Они как-то по особому «звенели» разбиваясь оземь – с детства завораживающий для меня перестук дождинок...

Я придвинул к себе мой дневник и, раскрыв его, заглянул в исписанные страницы. Если бы какому-нибудь незнакомцу попались бы эти странички он, пожалуй, причислил бы меня к счастливчикам. А что? Живет человек в свое удовольствие. То он парного молока целый подойник вносит в дом, то плавает в чистых водах затона, поработает немного, любящие мать и сестра в награду спешат ублажить вкуснейшим обедом. А по вечерам автор дневника еще и поэму пишет – дает

выход своей творческой энергии. Словом, над человеком не каплет, есть кров, сыт, обут, одет, любим…

На самом деле я только бодрюсь, чтобы не огорчать мою слабенькую здоровьем мать и загруженную работой сестру. Столько сомнений и горестных раздумий мучают меня, что иногда бодрствую до самого утра. Неужели я слеп и не вижу, что молодое наше государство действительно раздираемо внешними и внутренними врагами? – задаюсь я вопросом. – Но как получилось, что самая справедливая в мире страна Советов вдруг обзавелась бесчисленными недругами? Половина страны зачислена во вражеский лагерь. Предатели родины, троцкисты, уклонисты, террористы, агенты международного капитализма. Трудно осмыслить, когда врагами объявляются люди, которые десятилетиями гнили в царских тюрьмах из-за того, что были коммунистами и боролись за установление советской власти. Что заставило их в одночасье повернуть оружие против той власти, за которую они боролись, не щадя живота своего?! Тем не менее, газеты пестрят именами разоблаченных врагов народа и конца этому не видно.

Дядю моего Танаса – уж я-то точно знаю, что он человек чести – объявили врагом народа и засадили в тюрьму. А мне счет предъявили, почему, мол, не донес на своего неправедного дядю. Также абсурдно и другое обвинение: носишь тюремные передачи врагу народа, встречаешься с его дочерью. Даже дарственная надпись на книге большого нашего писателя и та стала уликой, когда и гордость нашей литературы оказалась вне закона.

Я знаю, что люди эти не просто чисты перед своим народом, но народ может гордиться ими. А между тем никто не осмеливается в защиту их поднять голос. Если кто и осмеливается, то занимает место в соседней камере.

Отчего в нашей стране, руководимой кристальными коммунистами, мудрыми вождями, так попирается закон? Чей злой умысел действует здесь? Но правда ведь должна восторжествовать! Так утешал себя я. А тут прозвучали слова вождя всех времен и народов: «Сын за отца не отвечает», и я стал надеяться, что многое прояснится в скором времени.

Прежде чем уехать из Сухума, я написал несколько заявлений в адрес дирекции института, в комитет комсомола. И даже отправил письмо в Москву на имя Сталина, а также в прокуратуру и НКВД. Я не был согласен с моим исключением из института и комсомола, считал себя невиновным ни в чем и просил разобраться в моем деле. Но

все мои запросы, как в воду канули. В ответ – глухое молчание. Раз в десять дней я ездил в Сухум, чтобы повидаться с Лил. Она тоже обращалась в разные инстанции с просьбой восстановить ее в институте и комсомоле. Результат такой же, как и у меня. Я вослед старым заявлением составляю новые и рассылаю по тем же адресам. Если придет какой-нибудь ответ, то первым о том узнает Закан. Ответа я жду по его адресу, так как мне в Сухум писать некуда.

Я не позволяю себе отчаиваться и каждое утро встречаю с надеждой, что вот-вот я получу ответ по моему делу.

* * *

До обеда я вновь работал в кукурузном поле. С обедом на этот раз ждала меня одна мать. Мачич еще не пришла с работы из школы. Мать села напротив и с любовью смотрела на меня, пока я обедал. Потом она мягко сказала:

– Лаган, я что-то беспокоюсь о стельной нашей корове, похоже, что она сегодня принесет теленка. Прошелся бы по лугам и глянул, где наши коровы.

Я тотчас поднялся и отправился на поиски коровы. Я знал, где обычно пасется наша скотина, и вскоре обнаружил за холмом под грушей-дичкой корову, облизывавшую новорожденного теленка. Мамины предчувствия оправдались.

– Даруй нам и в дальнейшем добрую скотину! – с благодарностью, как обычно это делали в нашей семье, я обратился к небесам и, войдя под дерево, поднял теленка и направился с ним домой. Корова беспокойно замычала, но послушно потянулась за мной. Иногда она забегала вперед, но тотчас возвращалась. Я ласковым голосом успокаивал ее.

Мачич, которая уже пришла с работы, издалека заметила меня, несущего теленка, и побежала к воротам.

– О Лаган, ты нашел нашу корову с приплодом?! Как хорошо! Пусть всегда тебе сопутствует удача! Тем более я думаю, что сегодня – твой день. Звонили из Сухума в сельсовет, трубку взял Лад, новый секретарь, плохо было слышно, но он совершенно точно разобрал, что тебя вызывают в Сухум, просят явиться в дирекцию института. Лад говорит, что звонила какая-то девушка, и что она очень волновалась. Я думаю, тебя ждут хорошие новости. Вот, смотри, у тебя в руках новорожденная телочка, а это хорошая примета, не то что бычок.

Я внес в хлев свою ношу и осторожно опустил на мягкий настил из сена. Корова вошла следом и стала лизать теленка.

– Говоришь, девушка звонила? – справился я у сестры, которая, стояла у двери.

– Девушка, девушка, и, думаю, с доброй вестью!

Сестра обняла меня, а перед моим мысленным взором предстала Лил. Наверняка, это она звонила.

– Расскажи, что она просила передать?

Сестра, понимая мое состояние, еще раз пересказала то, о чем она уже говорила.

Я кинулся в свою комнату, торопливо переоделся. На крыльце меня поджидала мать:

– Нан, Лаган, я чувствую, сегодняшний день подарит тебе удачу! Счастливой тебе дороги, пусть сбудется все, что желает твое сердце.

Она гладит меня по плечу. А подбежавшая сестра целует в щеку и сует в мой нагрудный карман деньги.

Мои надежды и радостное возбуждение разделяют со мной мать и сестра. Они провожают меня до ворот, и мама взывает к небесам: «Господь всемогущий, убереги сына моего от бед, даруй ему добрую дорогу!»

* * *

Когда я выбрался на трассу, мне недолго пришлось ждать попутки. Я сел в рейсовый автобус, который шел из Ткуарчала. Вовремя я забрался в него, потому что погода, начала стремительно портиться и уже крупные капли дождя летели к земле. Мы не так уж далеко отъехали от того места, где я сел в автобус, когда разразилась гроза. В салоне сразу же потемнело. Зигзаги молнии сверкали сквозь низкие дождевые тучи. От грохота грома закладывало уши. К тому же поднялся сильный ветер, хлынул дождь.

Было такое ощущение, что мы едем навстречу грозе, во всяком случае, чем дальше мы продвигались, тем больше она усиливалась. Молнии вспышками освещали салон машины, ливень барабанил по крыше, точно, молотом, вода потоками бежала по шоссе. Наш автобус пробивался через непогоду, разбрызгивая колесами во все стороны потоки воды.

– Небеса гневаются на нас! Исчерпали терпение Господа! – сказал, вздохнув, один из пассажиров – старик с изможденным лицом. – Люди

забыли, что такое честь, что такое доверие, помощь слабым, готовы как звери вцепиться в глотки, друг другу, а самым лучшим уготовили худшие испытания.

Пассажиры горестно внимали ему, а потом все с опаской прислушивались к разгулявшейся снаружи стихии.

Когда мы доехали до Дранды, старик сошел с автобуса вместе с двумя женщинами. Все они были с ношей и побрели под дождем, надо полагать, к Драндской тюрьме, несли передачу узникам.

Возле Красного моста через реку Басла водитель объявил, что лопнули две шины на колесах машины и автобус дальше не пойдет. Пришлось выгружаться под ливень. Темень стоит, хоть глаз выколи. Вода в реке Басла так поднялась, что уже заливает мост. Судя по неумолчному шуму со стороны моря, там – настоящий шторм и волны в устье реки Баслы отбрасывают ее воды назад. Я, оставив за спиной Красный мост, направился в сторону набережной. Ветер гнет деревья, чуть ли не до земли, а высокие валы морской воды с грохотом разбиваются о берег, все ближе и ближе подбираясь к деревьям, которыми обсажена набережная улица. Кажется, еще немного и гигантский вал заглотнет весь город, как акула – человека в свое чрево. С внезапной душевной дрожью я спрашиваю себя: а не в такую ли страшную ночь разъяренное море поглотило древний город Диоскурию? Кто нам теперь расскажет, как на самом деле произошла трагедия города, взятого волнами? Возможно, где-то на дне моря покоится какой-то камень с письменами, расшифровав которые, мы узнаем трагичную тайну Диоскурии. Но отчего ты так разгневалось, Черное море? – мысленно вопрошаю я. – Неужели люди этого края, который называют благословенным, так разгневали тебя, что ты решил смыть их с лица города? Очистить его?! Ты не согласен дольше мириться с вопиющей несправедливостью, что ежедневно вершится вокруг? И ты пошлешь на город очищающую волну? Или ты пока лишь предупреждаешь: «Опомнитесь, люди! Не творите зла! Перед моей мощью вы слабы и беспомощны, если меряться силами. Но есть другая – не физическая! – сила – уважение друг к другу, доверие, созидание, вспомните, что добро и зло разделены границей, не смешивайте свет и тьму! Не пытайтесь ложь обрядить в одежды правды – это гибельный путь!»

Гигантская волна обрушилась на берег и обдала мне ноги до колен холодной водой, дальше я зашагал в пене морской. Откуда-то извне – так мне показалось! – прозвучал властный голос: «А ты, соединивший

отцовскую мотыгу с пером поэта, ты, пытающийся проскакать на двух конях, определись сам! Познай себя!»

Этот окрик звучал во мне, сливаясь с грохотом бушующего моря и шумом грозы, и я не мог избавиться от него. Вдруг мне показалось, что впереди за невысокой пальмой мелькнул девичий силуэт.

«Лил?!» – встрепенулось сердце. Неужто, она в такое ненастье вышла встретить меня? Я знаю Лил, она грозы не боится, ей наоборот нравится разгул стихии. И наверняка это она звонила мне и припасла для меня добрую весть. Но сколько я не напрягал глаза, больше не увидел девушки. Наверное, примерещилось, оттого, что я неотступно думал о Лил. Я верю, что встреча наша будет радостной. Лил скажет мне, что я получил разрешение на продолжение образования и что и сама она вновь допущена к занятиям. Какое это было бы счастье! А вдруг и вовсе вышел очень важный государственный указ, который улучшит жизнь миллионам людей? Я представил себе, как Лил, смеясь, мне скажет:

– Я же знаю, все новости с опозданиями добираются в деревню! Так что новый указ я сама сейчас прочитаю тебе вслух. И, поверь мне, ты будешь очень и очень рад!

Конечно, Лил просто могла соскучиться по мне и позвонить, чтобы я приехал повидаться. Ну нет, я знаю свою Лил, ее деликатность. Она вызвала меня не просто так. Произошло что-то хорошее, судьбоносное. Я верил, что, несмотря на эту грозовую ночь, несмотря на суровое время, где так просто потерять друг друга любящим сердцам, погибнуть, исчезнуть, мы вот-вот встретимся с Лил. И нам уготована долгая счастливая жизнь.

ЧАНТА ПРИЕХАЛ

Повесть

I

Старик вышел из-под крытого брезентом навеса, где справлялись поминки, и прошагал к висевшим на заборе умывальникам; поставив в угол свою палку, он вымыл руки и пошел дальше, мимо толпившихся во дворе людей, – к скамейке, которая стояла под тутовым деревом возле ворот.

«Неужели от каких-то несчастных трех стаканов вина земля могла закачаться у меня под ногами?» – подумал он и, чтобы никто не заподозрил его в такой слабости, стал еще тверже тыкать палкой в землю: дойдя до скамейки, он повернулся и сел. Сдвинув папаху слегка набок, старик потеребил свои жесткие, совсем уже седые, но еще достаточно густые волосы. Затем, заложив ногу на ногу и сунув гнутую рукоятку палки под мышку, оперся на нее.

Это был Чанта Чрыгба, старик лет семидесяти, худощавый, с большими серыми, задумчиво смотревшими глазами, с красивым, чуточку сгорбленным носом, с коротко подстриженной бородкой; кончики усов его были закручены вверх, и поэтому, может быть, щеки казались глубоко запавшими.

Небольшой двор не вмещал всех, кто пришел оплакать покойницу, многие толпились на улице. Из-под навеса глухо доносился сдавленный говор людей, сидевших за поминальным столом. А люди все шли и шли. Вот во двор вступили еще какие-то женщины и сразу же, заголосив, направились к гробу. Мужчины, которые шли следом за ними,

положили на столик свои папахи и шапки, а потом, подождав, пока женщины отойдут от покойницы, тоже двинулись к ней медленно, с громким плачем. Порядок наводили двое, ходившие по двору с посохами в руках: пожилой в коротком пальто, который встречал и провожал людей к гробу, и другой, в пиджаке и мягких кавказских сапогах, – этот сейчас же, как только люди отходили от гроба, настойчиво приглашал их к поминальному столу. После поминальной трапезы, выходя из-под навеса, люди останавливались кто тут, кто там и, конечно, сами того не замечая, разговаривали более возбужденно, чем подобает в таком случае: видно было, что хватили лишку. Были и такие, что не могли удержаться от откровенного смешка и неуместной шутки. Чанта сидел, прислонившись спиной к тутовому дереву. Было уже за полдень, стояла ранняя, но более холодная, чем обычно, весна – небо часто заволакивали тучи, то моросил дождь или падал мокрый снег, а то вдруг солнце проглянет и все заблестит. Но сегодня облака разошлись, на почти чистом небе ясно вырисовывались горы, покрытые тяжелыми снежными шапками. Ничего этого не замечал Чанта. Пригревшись на солнце, он сидел не шевелясь, как пригвожденный, и даже не обернулся, когда сидевшие рядом с ним мужчины заговорили.

– Вино было отличное, – сказал один.

– Какое это вино? Водичка. Пусть Лад оставит его на свои поминки, – ответил другой – молодой человек в черной шляпе, смотревший куда-то в сторону.

– Это ты, братец, зря. Я же видел, как ты живо выхлестал пять стаканов, а говоришь – водичка! Спасибо Ладу, что с таким почетом хоронит свою тещу.

– Конечно, все было бы хорошо, если бы не эта попойка. Какой может быть почет там, где выпивают? – заключил молодой человек в черной шляпе.

– Кому-кому, а Ладу все под силу. Ты только посмотри на его дом! Такого на всей улице не сыщешь. В торговле работает. Недаром говорят: «Кто сам из улья мед достает, тот и палец в него первый обмакивает», – усмехнулся рослый человек с черными усиками, постукивавший кнутовищем по сапогу.

В другое время Чанта не промолчал бы. Ему давно уже не по душе были поминки с попойками, сегодня его едва заставили сесть за стол, и он поднялся раньше всех. Но сейчас, сам не понимая почему, старик не в силах был говорить о поминках. Покойница, теща Лада – Селха, как

и Чанта, раньше жила в селе Лашкыт. Когда она осталась одна в своем родном доме, единственная ее дочь, жена Лада, взяла Селху к себе в город. Последние годы она лежала больная, не поднималась с постели, но люди говорят, что ей грех было бы жаловаться на Лада – зять делал все возможное, чтобы продлить жизнь своей тещи.

Чанта думал о горевестниках, которые были посланы в села оповестить людей о смерти Селхи. Они, наверное, всем говорили: умерла теща Лада, похороны будут тогда-то. И, конечно, человек, посланный в Лашкыт, говорил то же самое. А ведь что лашкытцам до Лада? Многие ли там знают его? Не так надо было оповестить, не так. Плохо оповестили, иначе почему же из Лашкыта только один-единственный Гидж прискакал на своей кляче, а других не видно и вряд ли уже приедут. Что могло задержать людей, если бы они знали, что умерла Селха?

Обидно старику, ох как обидно за покойницу. Разве все достоинства ее состояли в том, что она была тещей Лада? Нет, это просто неуважение к человеку, и какому человеку – Селхе из рода Кайтан. В молодости она блистала, как звезда на небе. Многие юноши вздыхали по ней и готовы были жизнь свою отдать за нее. И потом, когда она стала замужней женщиной, красота ее не померкла, а, наоборот, разгорелась еще ярче. Немало детей она вскормила и выходила – к несчастью, сейчас только одна дочь осталась в живых. Сердечная, совестливая была женщина, кто не помнит ее хлеб-соль! Сколько добра она принесла лашкытцам, горько плакать должны они, провожая ее в последний путь. Ох, как все это печально и несправедливо.

Так думал старик. С утра он сидел здесь, поджидая приезда своих односельчан. Когда Гидж спешился, Чанта сейчас же подошел к нему.

– Что случилось, лашкытцы? Беда какая-нибудь стряслась? Или вас слишком поздно оповестили о похоронах? Жду, а вас все нет и нет.

Гидж замялся, а потом сказал:

– Да нет, ничего особенного не случилось. Наверное, еще приедут. Я рано выехал, кое-какие дела в городе есть.

Чанта давно мог бы встать и уйти, он мог даже совсем не приходить на похороны. Ну кто бы осудил за это старого, больного человека?

Конечно, Чанта питал к Селхе самые нежные чувства, и смерть ее очень взволновала старика, но были и особые причины, заставившие его прийти на похороны. Он был уверен, что оплакивать Селху придут многие односельчане. А что бы сказали лашкытцы, если бы не увидели

на похоронах никого из семьи Чанты Чрыгбы? На всю семью пал бы позор. Так бы и случилось, не приди он сегодня на поминки.

Тут надо иметь в виду испортившиеся с некоторых пор отношения между невесткой Чанты Леной и Ладом, в чьем доме происходило оплакивание Селхи. Несколько лет назад, когда Лена работала в одном с Ладом промтоварном магазине, ревизия обнаружила растрату. Лад, будучи заведующим, пытался свалить всю вину на Лену, но она, тоже женщина не робкого десятка, сумела как-то выйти из воды сухой. Правда, и Лад ухитрился вывернуться, но говорят, что это обошлось недешево. Испортившиеся с тех пор отношения между ними и привели к тому, что Лена отказалась идти на похороны тещи Лада и мужа своего не пустила. Чанта один пошел.

Помимо всего прочего, старику хотелось встретиться со своими односельчанами. Давным-давно не видел он их, и у него много накопилось в душе, о чем нужно было поговорить с ними.

Окончательно убедившись, что никто больше из Лашкыта не приедет, Чанта Чрыгба тяжело поднялся и направился к сидевшим в стороне от гроба родственникам покойной. Подойдя к Ладу, который сидел у всех на виду в своем кожаном пальто, он сказал ему:

– Что же, пойду домой. Чего мне занимать место, раз все равно никому ничем помочь не могу? Пусть пройдет печаль и люди соберутся на твоем дворе в другой, счастливый для тебя день.

Крепко опираясь на палку, чуть прихрамывая на левую больную ногу, Чанта дошел до ворот и тут замешкался, словно что-то забыл, обернулся и окинул взглядом двор. Он должен был еще раз поглядеть на гроб, вокруг которого сидели женщины, все с ног до головы в черном. Потом, выйдя из ворот, старик пошел по шоссейной дороге. «Да, не всегда, оказывается, справедливость торжествует, – думал свою тяжкую думу он. – Селха, которая была так добра ко всем, умерла не у своего родного, дедовского очага, а в далеком, чужом доме. Как же это так могло случиться, что ее близкие, родные, соседи, с которыми она делила горе и радость, слезинки не пролили у ее гроба? Это, может быть, еще и не так страшно, хуже всего, что похоронят ее не там, где она родилась, как это полагается по извечному закону наших предков. И тут не повезло ей, несчастной. Очень жаль, что из Лашкыта не приехал никто, с кем надо было бы поговорить об этом».

Чанта остановился, оперся на палку и опустил голову, будто на плечи его свалился непосильный груз. Острая боль кольнула в сердце, он

схватился за грудь и дернул рукой, словно хотел стряхнуть с груди вцепившуюся в нее колючку.

Солнце уже закатилось, пал весенний туман, и стало быстро темнеть: свет фонарей, висевших вдоль широкой дороги, расплывался в тумане мутными пятнами. Снизу, с железнодорожной станции, доносились гудки паровозов. А здесь, на шоссе, по которому понуро плелся старик, постукивала только одна его палка.

«Сколько дряхлых стариков ходят по земле и не помышляют о смерти, в надежде, что еще поживут, – продолжает свои раздумья Чанта и сам себя перебивает: – Да чего говорить о других, если ты сам такой же?»

С тех пор как Чанта покинул свой родной Лашкыт, дня не проходит, чтобы он не подумал о том, где его похоронят, но разве он когда-нибудь говорил об этом с кем-либо всерьез? Нет, никогда не говорил: рассчитывал, что успеет.

Вчера еще рассчитывал. А сегодня вот ударила в голову мысль, что он – старик, больной человек – может умереть в любую минуту и тогда его, как несчастную Селху, похоронят на чужой земле, среди чужих могил. Он, конечно, понимает, что и там, на общем кладбище, хоронят уважаемых людей, но ему бы хотелось, чтобы его похоронили в родном селе, в пригорье, где прошла его жизнь, где он трудился в поте лица своего, где он полюбил ту, которую и по сей день любит.

Памятника ставить ему не надо, да никто и не подумает, что это нужно ему. Он не мечтает даже о простой каменной ограде. Вырос бы только цветок на могиле, чтобы путник, проходя мимо, заметил его и остановился. Ему будет достаточно и одного этого.

Да, на вечный покой он обязательно должен лечь в Лашкыте. Таков завет Чанты. Выполнят ли его люди? Вот что больше всего волнует старика. Если до сих пор он хранил свой завет про себя, то теперь он не успокоится, пока не объявит о нем, и он сделает это сегодня же – придет домой и скажет сыну и невестке, чтобы они сели и выслушали его завещание. Невестка – он отлично представляет себе это – сначала сделает удивленное лицо, потом покачает головой и, украдкой подмигнув мужу, скажет: «Иной плод зеленый падает, а другой уже переспел, но все висит и висит», – и, больше ничего не добавив, юркнет в свою комнату. Представляет он себе и как сын его, Сатбей, оставшись с ним наедине, поддержит жену: «Давай-ка лучше поговорим о чем-нибудь другом, а эти мрачные мысли выкинь из головы. Все мы когда-нибудь умрем, и всех нас так или иначе похоронят».

Нет-нет. Что бы они там ни говорили, Чанта все равно сегодня же выскажет им свою волю.

* * *

Уже совсем стемнело, когда Чанта Чрыгба, твердо решив, что больше нельзя откладывать неизбежного разговора, огляделся и заметил, что стоит у дверей своего дома. На высоком, освещенном электричеством крыльце он увидел своего сына Сатбея, который, облачившись в черный выходной костюм, усердно начищал щетками туфли. Рядом с ним, опираясь на перила, стоял какой-то незнакомый молодой человек в тонком плаще.

«Все им нипочем – молодые», – подумал он, поднимаясь на крыльцо. Поздоровавшись с ними, он вошел в дом. В узком коридоре он услышал женские голоса и запах духов. «Лена собирается куда-то, а куда – бог ее знает!» – буркнул он про себя. Обернувшись, Чанта увидел в щелку неприкрытой двери свою невестку. Стоя перед зеркалом, она примеряла новую шляпку, а какая-то молодая нарядная женщина, сидевшая за круглым столиком закинув ногу на ногу, внимательно глядела на нее издали.

Входя в свою комнату, старик услышал их громкий смех. «Беда с этими женщинами – не оторвешь их от зеркала», – подумал он и чуть было не произнес это вслух.

Чанта снял пальто и папаху, повесил на вешалку, а потом, кряхтя, долго снимал сапоги. Наконец переобувшись в домашние туфли, он взял свежие, не просмотренные еще газеты и поудобнее уселся на диване. Обычно Чанта внимательно читал газеты, его интересовали сообщения из-за рубежа, особенно о боях во Вьетнаме. Он очень переживал, что там льется кровь безвинных людей, а он тут живет как ни в чем не бывало, ест и пьет. Однако сегодня он не развернул ни одной газеты – подержал их и отложил в сторону; голова кружилась, и вроде как бы клонило ко сну.

Вдруг, раскрыв наполовину дверь, появилась Лена и сказала:

– Чанта Абасович, если вы не возражаете, мы сходим к Сандре – сегодня день рождения его жены... Может, кушать хотите? Все на кухне в шкафу, не скучайте без нас – послушайте радио, включите телевизор. Мы постараемся не задерживаться.

Прикрыв за собой дверь, она оживленно заговорила о чем-то со своей подругой. То, что Лена спросила, не хочет ли он есть, Чанта про-

пустил мимо ушей: не до еды ему было. Равнодушно отнесся он и к тому, что Лена назвала его по имени и отчеству, – привык уже, что его невестка не считается с обычаем, который запрещает ей это, но ее подчеркнутая уважительность («если вы не возражаете») и заботливость («не скучайте») сильно покоробили, так как он отлично понимал, что все это говорится только ради подруги, чтобы та подумала: вот с каким почтением в этом доме относятся к свекру – без его разрешения шага не ступят.

В доме стояла глухая тишина, которую изредка вспугивали проходящие мимо машины. Чанта не прочь был послушать радио или включить телевизор, пока никого нет, но он не мог оторваться от своих мыслей. Они накатывались, как волны, и захлестывали одна за другой, без передышки, унося его все дальше и дальше.

Думая о лашкытцах, он невольно вспоминал свое детство, отца, мать, а затем в памяти встали и молодые годы, когда он сходил с ума по Селхе из рода Кайтан. Три года добивался он ее руки. Немилой становилась ему жизнь, если не видел ее день, другой, третий. Однажды вопреки воле отца он продал дойную буйволицу и, добавив немного, купил редкой красоты коня иссиня-белой масти, чтобы в праздники, когда Селха выезжает на скачки, покрасоваться на нем перед своей возлюбленной. Он никогда не упускал случая появиться там, где была она. Когда на скачках или джигитовках победа доставалась ему, он непременно подъезжал к Селхе и говорил ей: «Без тебя у меня сердце разорвалось бы на части, а конь мой сбился бы с ног». И Селха в ответ говорила ему ласковые слова. Но шли годы, а согласия своего выйти за него замуж она не давала, и кончилось тем, что судьба развела их: она вышла замуж за другого, а через некоторое время и он женился. Но еще долго после того он мучительно переживал каждую случайную встречу с Селхой.

Измучили Чанту бросавшие его в жар воспоминания. Устав расхаживать по комнате, он присаживался на диван, наливал стакан холодной воды и отпивал несколько глотков. Иногда ему чудился стук в коридоре, он вставал, открывал дверь, но в густой тьме никого не было видно.

Поздно уже было, но все равно, если бы сын с невесткой вернулись, Чанта заставил бы их сесть и высказал все, без чего не мог спокойно уснуть, но они, как назло, не возвращались.

II

Пока жена была жива, Чанта Чрыгба не жаловался на свое здоровье, хотя годы, конечно, давали о себе знать. Его единственный сын уже давно жил с женой в городе, но сам он и помыслить не мог, что когда-нибудь тоже покинет свой родной очаг. Все в Лаш-кыте было ему по душе, и все его тут почитали, но после неожиданной смерти жены Чанта как-то сразу надломился: жизнерадостный, веселый, умевший ввернуть к месту шуточку, он превратился в бирюка.

Сначала соседи частенько заглядывали к нему, всячески старались развлечь, чтобы он не чувствовал себя одиноким, но это не помогало. Чанту все больше и больше стали одолевать недуги. Однажды, простудившись зимой, он слег и вскоре почувствовал себя так плохо, что пришлось попросить соседей вызвать сына. Сатбей приехал на машине с женой и врачом. В тот день решилась судьба Чанты. Сын с невесткой увезли старика в город, поручив присмотр за его коровой и всем хозяйством соседям. В городе его сразу поместили в больницу. Жизнь его висела на волоске, врачи уже не рассчитывали, что он выживет. Три месяца пробыл Чанта в больнице; когда ему стало лучше, сын взял его к себе, и он еще с полгода пролежал в постели дома.

И надо же было так случиться, что как раз в то время, когда жизнь Чанты висела на волоске, ревизия обнаружила в магазине у невестки довольно крупную недостачу. Если бы не это, то, конечно, сын и невестка хотя бы уже ради соблюдения приличия не тронули хозяйство старика. Но им понадобились деньги на покрытие недостачи, да и надо было кое-кому «дать», чтобы дело не дошло до огласки.

Лежавший в постели Чанта просил: «Обождите, дайте мне умереть, оплачете меня в моем каштановом доме, а потом хоть сжигайте его!» Не послушались его невестка и сын: сначала продали скот, а потом и дом – словом, разорили старика, ничего не осталось у него в Лашкыте.

Он и сейчас не может взять в толк, как случилось, что его каштановый дом, именно каштановый, а не какой-нибудь, его корова с белой отметинкой на лбу, его ладный бычок – все было продано за какие-то непостижимые уму долги. «Как-никак, а хозяйство было, и вдруг все словно сгинуло», – до сих пор не может он примириться с этим. Лена на первых порах, хотя и делала вид, что ничего не произошло, была в большом расстройстве, даже заметно похудела, но потом, когда неприятности остались позади, быстро пришла в себя. Из магазина она ушла по собственному желанию, решила устроиться директором един-

ственного в городе ателье мод, но это оказалось не так легко. И тут надо было «подмазать», а это могло обойтись ни больше ни меньше – в корову с телком.

После болезни Чанте волей-неволей пришлось остаться в городе: в деревне уже негде было жить. Он был бы рад съездить в Лашкыт, взглянуть на родные места и хотя бы переночевать у своих бывших соседей, но не мог решиться и на это. Он пытался примириться с жизнью в городе, считая, что привычная с детства деревенская жизнь заказана теперь навсегда.

Дом, в котором он жил у сына и в котором ему была отведена одна из четырех комнат, принадлежал Лене, получен ею по наследству. Иначе говоря, он жил в доме невестки. И Чанте не раз приходило в голову: «Не дай бог обозлится и выгонит нас обоих».

Справедливость требует сказать, что старику жилось в городе не так уж и плохо. Пусть у невестки и были свои недостатки, но о свекре она заботилась. Вот уже восьмой год, как Чанта здесь, и ни разу не было повода пожаловаться, что у него постель грязная или что его забыли покормить. Если что и мучило его, так это болезнь, но больше всего – одиночество. И не потому, что вокруг него не было людей: в доме часто бывали гости, по субботам собирались друзья сына и невестки. «Добро пожаловать», – с улыбкой встречал он их и, чтобы угодить Лене, садился с ними за стол, выпивал два-три стакана вина, но потом извинялся, говорил, что неважно себя чувствует, и уходил.

Чанта знал, что невестка в душе довольна этим, ведь ей только приличие надо было соблюсти. Да, собственно говоря, и не в невестке-то дело, просто старик не находил общего языка с сидевшими за столом людьми. Иногда Чанта Чрыгба брал свою палку с гнутой ручкой и отправлялся погулять. Прежде всего он заходил в табачный магазин, покупал табак для трубки, а потом шел в парк. Там под старой липой, вокруг которой стояли скамейки, обычно собирались его приятели, старики пенсионеры. Поговорив, а то и поспорив о делах минувших и нынешних, они всей компанией шли на берег речки в кофейню и пили черный кофе.

Заходил Чанта и в книжный магазин – поинтересоваться, нет ли новых книг по истории Абхазии. Такие редко попадавшиеся ему книги он собирал и хранил у себя в комнате на этажерке. Не случайно Чанта подружился с учителем средней школы, историком Леваном Николаевичем. По крайней мере раз в неделю, подойдя к двери в комнату

Чанты, можно было услышать оживленный разговор, иногда переходивший в такой горячий спор, что казалось, спорщики навсегда разругаются; в комнату лучше не заходить – там их не увидишь в табачном дыму; увлеченные историей бог знает какого века, они забывали открыть окно.

Чанта хорошо знал сказания о древнем абхазском царстве, и он был бы счастлив, попади ему в руки какой-нибудь исторический документ, подтверждающий достоверность этих сказаний, но, к сожалению, ничего такого не находил. И еще один исторический вопрос хотел он выяснить – вопрос, относящийся к событиям всего лишь столетней давности, из-за которых часть абхазского народа оказалась обреченной на изгнание. Чанта отказывался понять, как прадеды и деды могли променять свою родную землю на бесплодные пустыни Турции. Его несчастный дед Джаним со своими тремя братьями и двумя сестрами погиб там. Хорошо еще, что отцу Чанты, который во время переселения был мальчиком, посчастливилось, когда он стал взрослым, вернуться на землю своих предков. Нет, не пошли бы переселенцы на верную гибель, если бы они крепче любили и ценили свою родину; несчастные, они думали, наверное, что земля всюду такая же благодатная, как в Абхазии. Избалован был, наверно, абхазец своей райской землей. Как ребенок, избалованный в семье, в конце концов теряет привязанность к ней, так, наверное, и с переселенцами получилось, раз они покинули свою землю, – вот к какому выводу приходил Чанта, когда он думал о давней трагедии абхазского народа.

Но все это было в первые годы городской жизни Чанты, а потом его интерес к этим вопросам стал остывать. В последнее время он вообще отгонял от себя всякие мысли, боялся уже их и, оставшись дома один, брался за любую книгу или принимался жадно курить. Ему казалось, что жизнь его пронеслась, как сладкий сон. Он ведь все делал так, как завещал отец, – вечная память ему! Правда, несколько лет он учился в городе и вкусил городской жизни, но родной очаг всегда был дорог. Иные, едва научившись грамоте, начинают забывать, как работают на земле, они думают легко прожить жизнь, а Чанта не был похож на них. И вот сейчас, когда односельчане вкушают плоды труда своего, сохранил ли он то, что оставил ему дед Чрыгба Джаним? Все вокруг преобразилось, но его родной двор в живописном предгорье Лашкыте, вокруг которого все еще растут те же самые большие ореховые деревья,

что росли в его детские годы, – этот двор опустел, нет каштанового дома, стоит одна жалкая, похожая на сгорбленную старушку апацха – хижина, сплетенная из рододендроновых прутьев, и ветер насквозь продувает ее, беднягу. Там остался давно остывший, заросший зеленым хмелем очаг его предков. А он, внук Джанима, забывший свой очаг, живет в городе в доме невестки на всем готовом, в полном довольствии. Конечно, он уже стар, но ведь пока еще держится на ногах. Так что же это происходит?

«Эх ты, потомок Чрыгбы Джанима! Жив ли ты еще или уже испустил дух?» – раздавался вдруг его голос в комнате, и он быстро, словно на чей-то зов, подымался с кровати, если был уже в постели. И сегодня так случилось с ним, когда он, дожидаясь возвращения сына с невесткой, прилег на диван. Поднявшись, он взял стакан, жадно глотнул и взглянул на часы – шел второй час ночи.

«Скоро утро, а их все нет и нет», – подумал Чанта и открыл окно, чтобы подышать свежим воздухом. Выглянув во двор, он увидел во тьме лишь одиноко горевший фонарь на углу улицы, где дети обычно играли в мяч.

«Ну что же, надо ложиться спать, только вряд ли засну», – подумал он и подошел к кровати, откинул одеяло, стал раздеваться. Вот он уже разделся, но в предвкушении удовольствия растянуться в постели Чанта обязательно должен покурить, и старик берет трубку, набивает ее табаком, чиркает спичкой и, пока она не погаснет, смотрит, как при ее свете дым серыми клубами плывет к полуоткрытому окну.

Потом мысли снова стали одолевать его. Ему пришло в голову, что понятие домашнего очага в наше время изменилось. Про того, кто вчера был крестьянином, а сегодня работает в городе, живет в многоэтажном доме с паровым отоплением и газовой плитой, нельзя сказать, что он лишен очага, конечно, если это человек семейный. Где семья, там и очаг, хотя бы его и не видно было. Но вот когда у крестьянина, который всегда жил и сейчас живет в деревне, настоящего очага, остынет любовь к нему, тогда плохи его дела.

– Ой, ой! И что это со мной? Скоро уже светать начнет, – невольно вырвалось у него вслух.

Выбив из трубки пепел, он кладет ее на поставленную у изголовья кровати табуретку рядом с коробкой табака; капает в стакан лекарство, выпивает, затем тушит свет и ложится в постель.

День сегодня был тяжелый, и ночь оказалась не легче.

Прошло с неделю. Мысли, мучившие старика дни и ночи, он наконец высказал сыну и невестке, усадив их возле себя. И они, к его удивлению, на этот раз поняли его и дали обещание, что если, не дай бог, с ним случится беда, то он будет похоронен в своем родном Лашкыте. Казалось, конец всем тяжелым раздумьям. Однако прошла еще неделя – и сомнения одолели Чанту: а вдруг сын с невесткой не выполнят обещания? «Можно ли им верить, если они вопреки моей воле продали мое хозяйство, когда я стоял на краю могилы?» – подумал он. Когда у Лены были неприятности в магазине и она сокрушалась: «Обманул меня! Погубил!» – сваливая все на Лада, старик все равно начал подозревать невестку. «Кто знает, может, ворованным и кормят меня», – осенило его, и присутствие в доме невестки стало ему еще более тягостным.

И как-то вечером он объявил, что завтра едет в Лашкыт.

– Вы же знаете, как я давно не был там. День ото дня все больше тянет туда. Погощу немного у соседей, вы не беспокойтесь...

Сын и невестка переглянулись, не нашлись, что ответить. Они были уверены, что старик уже не помышляет о поездке в Лашкыт. Сатбей чуть было не сказал: «С чего это тебе взбрело опять?» – но, что ни говори, Сатбей был сыном Чанты, и он постеснялся так сказать.

– Придется ехать на попутной машине, трудно тебе будет, отец, – сказал он.

– Зачем на попутной? В Лашкыт теперь ходит автобус. Дни стоят погожие, не беспокойтесь.

– Еще простудитесь, по вечерам прохладно, – сказала Лена. Она не выносила разговоров о деревне. – И не забывайте, что у вас больное сердце, как бы вам там, в гористой местности, снова не стало плохо.

– Что же, тогда бы и оплакали, и похоронили в одном месте.

– Всегда вот так, как только заговорите о Лашкыте, – обязательно услышишь какие-нибудь неприятные вещи, – сказала Лена, сердито вскочила с дивана и ушла в свою комнату.

III

Весна, еще недавно шагавшая боязливо, уже набрала силы, прогнала зиму и, став полновластной хозяйкой на земле, щедро одаряла людей теплом. Первые ласточки, которые на своих крыльях принесли весть о торжестве весны, весело щебетали и взмывали в поднебесье, и кроме них на сияющем небосводе не видно было ни единого пятнышка.

Солнце стояло высоко, но лучи его не жгли, а ласково грели, и поэтому прохладная тень еще никого не манила.

Так было и в тот час, когда во дворе Лашкытского сельсовета остановился прибывший из города автобус. Последним вышел из автобуса старик Чанта Чрыгба. Двое знакомых мужчин подошли поздороваться, а одна молодая женщина в черном робко приблизилась, поцеловала в грудь и так быстро отошла, что он не успел узнать ее.

Чанта задержался у орехового дерева, у ствола которого с двух сторон стояли скамейки; он хорошо помнил это пышно разветвленное дерево, одна половина его заметно высохла, и это немного огорчило старика. Выйдя из-под дерева, он медленно зашагал под гору – там Чанта приметил какое-то новое здание; подошел к нему и остановился, положив руки на невысокую стенку ограды.

«Молодцы лашкытцы, смотри, какую хорошую школу возвели. При мне о ней еще только разговоры шли», – с удовольствием отметил про себя Чанта, глядя на двухэтажное красивое здание новой школы.

Из классных комнат доносились голоса детей, Чанта заулыбался. И вдруг выплыл из памяти небольшой двухкомнатный дощатый домик на сваях – первая в селе школа, где в самом начале нашего века учился Чанта. Она стояла на этом же самом месте, и ему как-то жалко стало ее, захотелось, чтобы она и сейчас стояла тут, рядышком с новой школой.

Немного дальше, там, где кончался длинный ряд кипарисов, строилось другое большое здание. Над ним высился подъемный кран, подававший на стройку кирпич. Каменщики выкладывали стены. Чанта подошел к воротам, у которых толклись грузовые машины – одни заезжали, другие выезжали. Пока он раздумывал – войти ли? – из них вышел высокий молодой человек, напевавший тихонько.

– Скажите, пожалуйста, что здесь такое строится? – спросил Чанта, поздоровавшись.

Молодой человек оказался словоохотливым и к тому же склонным пошутить. Вытянувшись перед стариком, как солдат перед командиром, он сказал:

– Здесь, уважаемый дедушка, строится доселе не виданный нигде Дворец культуры села Лашкыт! – И, словно только для того и вышел, чтобы рассказать Чанте Чрыгбе о дворце, продолжал: – Он будет, дедушка, трехэтажный, с залом на шестьсот мест и маленьким кинозалом на двести мест. Одна стена будет вся стеклянная, хватит в нем и воздуха, и света... Ложи, фойе – куда там Сухумскому гостеатру до него,

и не подумайте, дорогой мой дедушка, сравнивать! К весне будущего года строительство должны закончить. Это, конечно, торжественно отпразднуем. Открывается новая страница в истории Лашкыта. Лашкыт! Лашкыт! Пусть все знают, что это центр земли! Не подумайте, что шутки шучу, – все так и будет: песни, танцы, скачки... Может быть, вы спросите, с кем имеете дело. Я представлюсь: фамилия – Лушунба, отец Бадра, дед Казаху. Как вы понимаете, я имею и собственное имя, но здесь все из уважения к деду, царство ему небесное, называют меня внуком Казаху.

Чанта с удивлением смотрел на этого парня в клетчатой рубашке, не зная, что подумать о нем. А тот, подбоченившись, продолжал в том же духе:

– Не сочтите за хвастовство, но строительство, которое вы видите, возглавляется лично мною, то есть я являюсь прорабом. Как только этот объект будет закончен, мы сразу возьмемся за другой. Посмотрите; там вон, где старая ольха, будет детский сад, чуть дальше за поворотом дороги – торговый центр и комбинат бытового обслуживания. А в долине реки раскинется ипподром и стадион... Эй, эй! Постой!

Сунув пальцы в рот, он свистнул и сорвался вдогонку за проехавшей грузовой машиной. На ходу схватившись за борт, он вскочил в кузов, обернувшись, замахал рукой и крикнул старику:

– Простите меня, дедушка, простите, тороплюсь!

Чанта, опершись на палку, долго стоял, не сходя с места, и думал: что за парень этот внук Казаху? Трещал без умолку и вдруг на тебе – сорвался и взмыл, как ястреб. Все же видно, что дельный молодой человек, хотя и большой шутник... Наконец Чанта направился в магазин купить спичек – он забыл запастись ими в дорогу.

Старик хорошо знал Лушунбу Казаху. Щупленький был старикашка, а к тому же большой лентяй – куда уж ему было строить что-нибудь, когда калитку никак не мог приладить на место. А смотри, какой внук у него! Должно быть, не все идет от отца с матерью – многое зависит и от воспитания, подумал Чанта и тяжело вздохнул: неужели ему суждено сойти в могилу, не дождавшись внука, – какой бы внук ни был, а все же внук!

Магазин, в который зашел старик, понравился ему: аккуратно убран. Какие-то мужчина с женщиной стояли у прилавка и что-то рассматривали. В стороне от них девушка-продавщица проигрывала на радиоле

двум парням абхазские пластинки. Чанта, купив спички, задержался у прилавка, облокотившись на него, послушал знакомую песню:

Уа, райда, радгуша,
Хват-хват герой.
Я же говорил тебе,
Что они убьют тебя.

Эту старинную героическую песню Чанта знал с детства и сам часто пел ее звонким, казалось ему, доходившим до самых небес голосом. Но сегодня она прозвучала в его ушах уныло, скорбно.

Площадь сельсовета и магазин остались позади. Чанта шел по дороге, тянувшейся через ольховую рощу. В конце ее, там, где эта дорога сходилась с другой, старика догнала грузовая машина.

С подножки спрыгнул на ходу молодой человек. Это был внук Казаху. Он еще раз извинился перед стариком за то, что неожиданно оставил его из-за срочного дела, а потом сказал:

– А я узнал вас, вы – Чанта Чрыгба. В детстве я с матерью заходил к вам, и, кажется, не раз. Помню, пала у нас дойная корова и надо было акт составить, чтобы получить страховые. Вы тогда помогали нам в этом деле, заявление писали. Помню, вы жили, кажется, по соседству с Мачагвой? Неподалеку от развалин старой крепости? Все вас помнят. Жалеют, что уехали... Наверное, к себе на гору подыметесь?

– Да, сынок, подымусь на день-другой. И Мачагву надо повидать, – сказал Чанта.

Долго шли они вместе. Большой завязался у них разговор. Старик поинтересовался, какое получил образование внук Казаху и по своему ли желанию вернулся в Лашкыт. Оказалось, что молодой человек, окончив Харьковский строительный институт, два года проработал в стройтресте Абхазии, а оттуда уже попал в свое село.

– Понимаете, здесь я нужнее, – сказал он и опять стал перечислять все, что предстоит построить в Лашкыте.

– Все это хорошо, – сказал Чанта, – но справится ли колхоз с таким строительством?

– А почему нет?! – воскликнул внук Казаху. – Вот вы сами подумайте: тысяча двести тонн чайного листа в год, сто тонн высококачественного табака – разве это мало? Забудьте, что было. Колхоз наш сейчас богатый стал: посмотрите, как колхозники живут, – повсюду белеют новые

дома. Вон там строится Шалва Псардиа. Когда-то он уехал, а недавно вернулся, опять вступил в колхоз. А на той стороне, видите, фундамент заложен, это Баджга Шат-ипа строится, – рядом с обеих сторон – его сыновья...

Увлекся внук Казаху, торопится, с одного перескакивает на другое, сам того не замечая, начинает шагать быстрее старика, а потом спохватывается и извиняется.

– Одно плохо – нет у нас архитектора, – продолжает он. – Люди селятся, где им вздумается, кто что захочет, то и строит. Посмотрите вон на тот дом, что направо, – там живет семья Зафаса. Древнее крепостное сооружение, да и только, а внутри и того хуже – окна узкие, лестница занимает половину двора, о террасе и не подумали. Зимой холодно, а летом духота...

Прервав разговор на полуслове, он, будто споткнувшись, остановился возле одной калитки, опрометью кинулся к ней и, показывая кому-то на стоявший в углу двора красный мотоцикл, крикнул по-русски:

– Давай, давай, заводи! Скоро приду.

Вернувшись к старику, внук Казаху объяснил ему, что он со своим другом, работником гаража Адгуром, в складчину купили мотоцикл и вот сегодня вечером собираются поехать в Сухуми послушать югославский джаз.

– Вдвоем одну лошадь оседлали, – посмеялся он.

– Хорошо ехать вдвоем, можно вдоволь наговориться, – ответил Чанта и от души посмеялся, вспомнив, как издевались некогда над теми всадниками, которые ездили вдвоем на одной лошади.

Когда они стали прощаться, внук Казаху сказал:

– Если будете у Мачагвы, мы с вами еще увидимся. Завтра я, наверное, загляну к нему по дороге в ущелье, где у нас заготовлен лесоматериал для стройки.

Поблагодарив друг друга за приятную встречу, они расстались, и Чанта пошел дальше по издавна знакомой ему дороге. Не сочтешь, сколько раз он мерил ее своими шагами. С десяти лет три года ходил он по ней в открывшуюся в Лашкыте школу. Когда он окончил школу, отец послал его учиться в город. Дорога стала более длинной. По нескольку раз в году ходил он по ней, пока смерть отца, болезнь матери, нужда не закрыли ему этот путь. Той же дорогой он вернулся в Лашкыт, чтобы вести оставленное отцом хозяйство. После революции свалилось на

него много других дел. Сначала он был писарем в своем селе, потом его постоянно выбирали в сельсовет, затем и в правление колхоза. Какие бы поручения ему ни давали, он не отказывался ни от одного.

Медленно шагает сейчас Чанта. Да, он хорошо знает эту дорогу, но нынче она несет на себе куда больше тяжести, чем прежде. Бывало, арба проедет, верховой проскачет, пешеход пройдет, а сейчас один за другим идут тяжелые грузовики, автобусы, летят легковые машины. Труднее стало дороге.

Дорога, дорога! А кто провел ее с одного конца до другого? Да и имеет ли она начало и конец? Нет, идет через высокие горы, бурные реки, дремучие леса, сыпучие пески, и ничто, даже море, не остановит ее, идет и идет без конца, подымаясь в сияющую даль неба.

Все живое имеет свою дорогу и движется по ней к своей цели. Вот муравей ползет, таща груз вдвое тяжелее, чем он сам. Чанта чуть не наступил на него, но муравья спас камень, возле которого он оказался в тот момент, переползая через шоссе. Вот верткая ласточка, на лету схватив с обочины дороги комочек глины, унесла его к своему гнезду, и так она делает из года в год. Неподалеку гремит ручеек. Он тоже куда-то спешит своей дорогой: тут срывается с обрыва, скачет по камням весь в пене, как загнанная лошадь, там разливается тихим, отражающим небо озерком; передохнув, снова бежит, извиваясь, то солнцу улыбнется, то скроется в тени леса, все дальше и дальше спешит – к морю.

Человек не может охватить взглядом весь свой жизненный путь, но все оставляет на нем свои следы – вот они: шрам от тяжелой, полученной на войне раны, преждевременная седина, морщины, избороздившие лоб. Смотришь на человека и видишь, что он прошел нелегкий путь.

У каждого своя дорога. Один счастливо проходит ее, а другого с детства преследует беда за бедой, и он до конца жизни шагает в слезах. Везут на кладбище гроб с покойником и говорят, что человека провожают в последний путь. Ребенок родился, его несут из родильного дома завернутого в пеленки и говорят, что человек начинает свой путь. Конец и начало – не так ли? Но разве, когда на крышку гроба падает земля, тем и кончается жизненный путь человека? Разве тот ребенок, что только что родился, не может продолжить жизнь умершего? Нет, дорога жизни не имеет конца. Пройденный, оставшийся позади путь – это прошлое. Прошлое не повторяется, а будущее безгранично, конец его и представить себе нельзя.

Размышляя так, Чанта Чрыгба шагает по старой знакомой дороге, проходящей через село Лашкыт. По обеим сторонам ее раскинулись усадьбы колхозников. Увидев у одной калитки хозяина, Чанта здоровается с ним.

– Добро пожаловать, – говорит тот в ответ и выходит со двора на дорогу; узнав Чанту, он заводит с ним дружеский разговор: – Вспомнил о нас? Дай бог тебе здоровья! – и просит зайти к нему.

– Спасибо, да будет богат ваш дом, но я спешу – дела! – отвечает Чанта.

– Тогда, может быть, здесь, у ворот, выпьем по стаканчику, – Предлагает хозяин, и на его зов из дому выходит жена с кувшином вина и тарелкой с нарезанным сыром и аджикой. Чанта выпивает стакан за здоровье хозяев, выпивает и второй. Хозяин просит выпить еще, но старик ставит стакан и, поблагодарив, шагает дальше.

Навстречу ему идет по дороге человек с цалдой – топориком – на плече. С ним Чанта тоже здоровается и вступает в разговор, в котором прошлое переплетается с настоящим. О многом им хочется поговорить, но, увы, Чанта спешит. Однако, пройдя еще немного и заметив двух парней, усердно перекапывающих свой огород, он все же подходит к забору и приветствует их:

– Да спорится ваш труд, сыночки.

– Спасибо, здравствуйте! – отвечают ему парни, разогнув спины. Опираясь на лопаты, они смотрят на старика и не узнают его.

– Продолжайте свое дело, сыночки. Приятно поглядеть, как вы дружно работаете. Пусть счастлива будет ваша жизнь, – говорит Чанта, прощаясь с ними.

Потом он замечает на своем пути костер – жгут кукурузные корни; останавливается, смотрит, как колышется пламя. Никогда еще доносящийся до него запах дыма не казался старику таким сладостным. Пройдя еще немного, он снова останавливается посмотреть, как люди, забравшиеся высоко на деревья, ловко орудуя своими цалдами, разреживают крону ольхи, по которой вьются виноградные лозы; обрубленные ветки падают бесшумно.

Вскоре дорога приводит Чанту к чайной плантации. Старик любуется ее кудрявым зеленым ковром; неподалеку блестит дисками стоящий на обочине культиватор; немного дальше девушка в пестрой косынке ведет машину, которая подрезает чайные кусты; еще дальше от дороги люди очищают плантацию от расползшейся по ней кое-где колючки:

где-то далеко идут грузовые машины, пыль вихрится за ними и медленно оседает.

Некогда эта зеленая равнина, которой Чанта любуется сейчас, была сплошь покрыта сорным кустарником, папоротником и колючкой. Лет тридцать пять назад лашкытские колхозники решили заложить здесь чайную плантацию. Чанта хорошо помнит день, когда он с цалдой под мышкой первым появился на рассвете у зарослей. Было тихо, моросил мелкий дождик, легкой дымкой стлался утренний туман. Размахнувшись цалдой, Чанта всадил ее в ствол молодой ольхи, а затем достал из кармана портсигар. Не успел он закурить, как к нему со всех сторон начали подходить колхозники. Все они, будто заранее сговорившись, поздравляли его с началом большого дела.

– Раз ты первый пришел, значит, можно не сомневаться, что нас ждет удача. Ты – человек добрый, и рука у тебя должна быть легкой, – говорили они.

Выкорчевали кустарник, сухой папоротник сожгли, обнесли плантацию крепкой оградой из каштановых кольев, окружили канавой. А потом пришел диковинный для лашкытцев трактор, и за одну неделю поле было вспахано, проведены борозды и посажен чай. Это была первая чайная плантация в Лашкыте. С тех пор эта зеленая плантация стала щедрой кормилицей села.

Кто еще жив из тех, кто вместе с Чантой закладывал эту плантацию? Очень мало кто: одни умерли своей смертью, другие погибли на войне. А сам Чанта хоть и жив, но уже чужой здесь. Сколько труда вложил он, чтобы эта равнина стала такой, какая она сейчас. Нет здесь ни одной пяди земли, где бы не ступала его нога, где бы он не проливал свой пот. А сегодня он пришел сюда как гость. «Отчего же это так случилось? – спрашивает он себя. – Конечно, я уже немощный старик, но в старости ли только дело? И старый человек может быть полезен в хозяйстве. Скажем, ворота остались открытыми – он их закроет, отгонит скот от посева, присмотрит за домом, а если вылетел молодой рой пчел, он его выследит и посадит в улей. Так почему же я стал тут чужим?» Этот вопрос, как острое лезвие кинжала, колет старика на каждом шагу, и он не знает, куда ему деваться от него.

Дорога незаметно приводит Чанту в лес. Чтобы отогнать от себя тяжелые мысли, он начинает поглядывать вокруг. В лесу здесь, как и раньше, чаще встречаются каштан и граб. Чанта помнит, как лашкытцы берегли свой лес, без большой нужды никому не позволяли рубить

его. Однако сейчас он сразу замечает, что лес сильно поредел. Тут и там по канавам валялись обрубки, навалом лежали срубленные грабы. Дальше лес стоял нетронутый.

Свернув с дороги, Чанта сел на пень под приглянувшимся ему молодым грабом, снял и положил рядом с собой свою круглую папаху, закурил. Глядя, как сизый табачный дым клубится вокруг тонкого ствола граба, старик что-то сердито бормотал себе под нос.

Лес застыл в сонном покое; только что распустившиеся зеленые листья, казалось, ждали, когда пробудится ветер. Только щебетание птиц нарушало порой покой леса.

«Что же это я уселся тут, скоро начнет смеркаться, увидят люди, подумают, что старик не в своем уме». И все же Чанта не встал. Он уже не спешит. Хорошо в лесу, все здесь приятно взору.

Одиноко сидит старик на пне, весь отдавшись лесной тишине. Он думает о том, кто защитит лес, если человек его не пожалеет. Что будет с этим зеленым нагорьем, если его оголят? Никто не остановит тогда бешеные дождевые потоки, и они смоют весь земляной покров; черными тучами пыли подымится земля к облакам, и ветер унесет ее бог весть куда; скот останется без пастбища голодный, с мычанием будет бродить по голой, бесплодной земле; к потрескавшимся от пыли соскам коров нельзя будет прикоснуться рукой. Тихо журчащие ручейки, шумно падающие со скал потоки, чистые, как слеза, реки исчезнут навсегда, словно их никогда и не было. И как это некоторые не понимают, что нельзя безнаказанно расхищать то, чем нас так щедро одарила природа...

IV

Когда ярко горящий солнечный шар, насквозь прожигая протянувшиеся полосами по горизонту облака, начал опускаться в море, Чанта, тяжело шагая, поднялся на гору и остановился, опершись на свой посох. Вечерняя заря осветила его седую бороду. Он стоял, прерывисто дыша, приложив руку к учащенно бьющемуся сердцу. Потом двинулся дальше по горе, и рядом с ним заскользила его тень, выросшая до гигантских размеров.

Вот он, этот старый, заросший кустарником овраг. Над ним длинным рядом стоят пышно цветущие акации, от которых издали веет густым и сладким, как мед, ароматом. Неподалеку – полянка с одинокой

сосной. Там могилы его предков, там же похоронена его жена Шарифа. Там уголок земли, к которому так часто последнее время были обращены мысли Чанты. Пока старик жил в Лашкыте, он ежегодно весной расчищал эту полянку, срезал с сосны сухие ветки, красил скамеечку у дороги, поставленную здесь, чтобы путник мог отдохнуть под деревом.

Чанта остановился на дороге, не решаясь свернуть с нее к священным для него могилам. Что там сейчас? Наверное, все заросло бурьяном, тяжело будет смотреть. Нет, сегодня он заночует у Мачагвы, завтра возьмет у него цалду, придет сюда, расчистит поляну, а потом позовет своих сверстников-стариков, чтобы показать им избранное для своей могилы место, положит на него камень.

Опираясь на посох, Чанта пошел дальше быстрее. Вскоре, свернув с дороги, он вышел на другую полянку, вернее, на пустырь. Да, теперь это пустырь, а раньше тут был двор его собственной усадьбы. От нее сохранился один-единственный, торчащий, как гвоздь, столб, на котором некогда висела калитка. Внизу он облеплен грязью – свиньи, наверное, чесали об него свои бока. Старик потрогал рукой столб, то ли хотел убедиться, что это действительно все, что осталось от калитки, то ли вздумал проверить, прочно ли стоит еще этот столб. Потом он прошел к обломанной и наполовину засохшей айве и, поглядев на нее, конечно же подумал, что она, бедная, постарела и сгорбилась так же, как человек горбится к старости. Но лоза еще жива! Отличный белый виноград давала эта могучая лоза, обвивавшая ствол айвы.

Когда-то род этим тенистым деревом росла мягкая травка-муравка, и Чанта, вернувшись с работы, засыпал на ней, как на пушистом ковре. Теперь тут рос бурьян.

Выйдя на середину своего бывшего двора, Чанта снова остановился и огляделся вокруг. «Боже мой, – подумал он, – как все изменилось, не узнать двора! Какое запустение! Земля всюду изборождена, вся в морщинах, как лоб старика. И откуда появились здесь болотные растения? Грустно, печально, когда человек забрасывает землю, она теряет всю свою красоту».

Затем Чанта направился к апацхе – единственной сохранившейся на дворе постройке. Не сразу решился он подойти к ней. Да разве можно назвать апацхой то, что осталось от этой старой хижины? Задней стены как не бывало, на ее месте зиял проем, остальные стены были в щелях. Крыша уцелела, но издали уже не разглядишь, дранковая она

или соломенная – какая-то черная, прокопченная гниль. Спереди крыша покосилась, но еще крепко держалась на кривых дубовых столбах.

«Эх ты, бедная моя апацха! Я живу среди людей как ни в чем не бывало, а старая апацха моего отца, где я родился, где горел очаг моих предков, гниет, покинутая, брошенная мною!»

Чанта долго рассуждал так, стоя перед старой апацхой, но не заходил в нее, пока что-то вдруг не толкнуло его к двери. Переступив порог, он подошел к очагу. Выбитый из скалы надочажный камень с двумя выемками по краям, где на вертеле жарят мясо, и сам очаг, выложенный из плоских каменных плит, остался таким же, каким был. По обуглившимся сучкам на очаге видно было, что в этой старой, заброшенной апацхе не так давно кто-то разжигал огонь. Неизвестно, кому и для чего это нужно было, но у старика потеплело на душе, когда он увидел на своем очаге недогоревшие головешки. Он опустился на уцелевшую деревянную тахту и долго не сводил глаз с очага. Перед ним возникало минувшее: огонь шумит в очаге, над огнем висит большой черный котел, в котле закипает вода; мать сыплет в кипящую воду кукурузную муку, берет деревянную лопаточку и, придерживая котел за ручку, начинает варить мамалыгу. Чанта слышит приятное его слуху постукивание лопаточки в котле. Семья еще не собралась, все ждут, пока мамалыга будет выложена из котла, но маленького Чанту уже начинает одолевать сон, и мать торопится накормить его; до старика доносится ее голос: «Покушай, родненький, покушай», – и ему чудится, что мать гладит его по голове.

Оглянувшись, Чанта заметил в углу апацхи два камня: один – большой, плоский, другой – маленький, круглый, которыми мать толкла аджику. Не так просто было приступить к этому, прежде надо было много чего приготовить – красный перец, чеснок, киндзу и другие пахучие растения. И тогда уже, повязав голову белым платком и засучив рукава до локтей, мать начинала толочь аджику.

И это все встает перед глазами старика. Очнувшись от своих видений, Чанта увидел у порога старой апацхи двух стоявших рядом ребятишек.

Старшему было лет семь, младший, засунув палец в рот, стоял, прижавшись к нему. Оба, не отрывая глаз, смотрели на старика.

– Вы чьи, дети? – спросил Чанта; они не ответили. – Может быть, скажете, как вас зовут?

Ему очень хотелось услышать в этой пустой, холодной апацхе звонкие детские голоса.

– Меня зовут Алешей, а его Эдиком, – ответил старший и ударил хворостинкой по стене.

– Дай бог вам счастливой жизни, – сказал Чанта, но он уже смотрел на мальчиков невидящими глазами: взор его снова был обращен в прошлое. Ему привиделся его старший, погибший на войне сын Леварсан: вот он в серой черкеске, с плеткой в руке садится на лошадь. Кажется, и он тоже родился в этой апацхе. В тот день кто-то из соседей дважды выстрелил из ружья, и Чанта понял, что у него родился сын.

«Если бы Леварсан был жив, то и без Сатбея здесь не было бы пусто», – думал Чанта, и ему казалось, что он видит на дворе кучу весело играющих детей, среди которых могли быть и его внуки.

Ребятишки, стоявшие в дверях, поняв, что старику сейчас не до них, убежали куда-то.

Много приятных воспоминаний вызвала у Чанты старая, заброшенная им апацха. Глянув под потолок, он вспомнил, что там, за корзиной с красными кружками копченого сыра, висел бурдючок, в который жена собирала сметану. Опустив глаза, он увидел, что земляной пол за очажным камнем стал рыхлым, и вспомнил, что там всегда стояла бочка с квасом – жена делала его из лавровишни или абаца. В памяти встали зимние вечера, когда в его апацхе у пылающего очага собирались соседи – и мужчины и женщины – и он читал им газету или какую-нибудь интересную книгу, после чего начинались разговоры, иногда вспыхивали и споры – так коротали они вечера.

Уже стемнело, когда донесшиеся до Чанты голоса вывели его из раздумья. Услышав, что кто-то подходит к апацхе, старик поднялся, опершись на палку. Не успел он и шага ступить, как в апацху с чадившим фонарем в руке вошла пожилая полнотелая женщина небольшого роста, а из-за ее спины выглянул мальчик.

Увидев стоявшего в темноте старика, она робко попятилась, а потом осветила его фонарем и воскликнула:

– Так это вы, Танас![15] Как же это мы прозевали вас? Ребятишки прибежали и говорят, что в развалленной апацхе появился кто-то чужой и, кажется, больной. Я и побежала. Откуда им знать вас...

Поставив фонарик на землю, она округлым взмахом руки поприветствовала старика, а потом обняла его.

[15] По абхазскому обычаю, невестка не может назвать брата мужа его настоящим именем.

– Дорогая Гулиза, – глухим, сдавленным голосом заговорил Чанта, – ну как ты живешь и как у тебя дома, все ли живы и здоровы? Этот мальчик и тот, что заглянул с ним сюда, наверное, твои внуки? Конечно, как они могли узнать меня, если никогда в глаза не видели. Боюсь, что даже те, кто знал меня раньше, сейчас не узнают. Твои внучата, дорогая моя Гулиза, правы: я действительно болен, и нет, должно быть, лекарства от моей болезни.

– Мало на свете людей, которые не болели бы чем-нибудь, – сказала Гулиза. – Бог даст, здоровы будете. Надо думать, ничего серьезного нет... Ну чего же мы стоим? Идем к нам. Как это вы нас вспомнили? Не пришлось нам навестить вас, а вы вот приехали.

– Я, дорогая Гулиза, хотел сегодня переночевать у Мачагвы.

– Успеете еще и у него побывать. Наш дом рядом, грех обойти его. Жаль только, что Махты нет дома. В Тбилиси поехал, к старшей дочери, – она там на врача учится. Ждем, если не сегодня, так завтра утром вернется.

– Хорошо, дорогая Гулиза, побуду сегодня у вас, может, и Махты подоспеет. Хотелось бы повидать твоего сына. Очень соскучился я по всех вас. Одному недосуг, и другой выбраться не может – так люди постепенно и забывают друг друга. Когда птицы возвращаются к нам из чужедальних стран, они редко селятся в своих старых гнездах. Но человек не птица, его тянет в родной дом, в чужом ему тяжело, особенно в старости.

Разговаривая так с Гулизой, Чанта вошел к ней во двор. Ее старший внук освещал им путь.

Гулиза была не только соседкой, но и родственницей Чанты по мужу: покойный муж ее был из рода Чрыгба.

* * *

– А вы, видно, недавно новоселье справили, – сказал Чанта, войдя в дом.

– Ох, и не говорите! Махты намучился, пока строились. Только прошлой осенью переселились. Пожалуйте сюда, к камину. Подойди же, поздоровайся – это ведь наш дорогой сосед, – обратилась Гулиза к невестке.

Высокая молодая женщина, пышные волосы которой были подобраны платком, низко поклонилась и поцеловала его в грудь. Вернув-

шись к камину, она стала помешивать лопаточкой мамалыгу в котле, стараясь, как ни трудно было, не стоять к старику спиной.

Пол в комнате первого этажа, куда вошел Чанта, был полудеревянный-полуземляной. В углу дощатой половины стоял включенный сейчас телевизор. Четверо сидевших перед ним детей тихонько посмеивались.

Размякший в тепле и притихший старик, посмотрев на ярко горевшую лампу, а потом и на телевизор, вздохнул – Гулиза одного с ним поколения, но ей, слава богу, есть чем гордиться – новый дом, дети, внучата, достаток и благополучие во всем.

Гулиза словно прочла мысли старика. Расставив тарелки на столе, она села против Чанты и, завязав концы головного платка на затылке, заговорила:

– Конечно, сейчас уже не то, что было, легче стало жить. Вы же знаете, как трудно мне пришлось, когда помер мой муж и я одна осталась с детьми. Спасибо вам большое за то, что вы мне помогали. Разве забыть мне это? Забыть не забыла, подумаете вы, может быть, а вот навестить не удосужилась.

Когда невестка Гулизы кончила хозяйничать, старику дали помыть руки и усадили за стол.

– Что же, я один буду? Давай вместе поужинаем, Гулиза – предложил Чанта.

Но, как он ни настаивал, Гулиза не согласилась нарушить обычай, запрещавший женщине садиться за стол со старшим по летам родственником мужа.

– Вы уж извините нас. Если бы сын был дома, зарезал бы барашка. А мы, женщины, что сумели, то и приготовили от души. Кушайте на здоровье, – говорила она, сидя в сторонке от гостя.

Чтобы никого не обидеть, Чанта, подняв стакан, сказал:

– За благополучие этого дома! Ни с чем не сравнить здешнее вино. Только у нас на горе оно и родится. Сколько лет уже не пил его.

– Это у вас бывало самое крепкое вино, – сказала Гулиза.

– Да, дорогая Гулиза, было время, когда и у меня горел свой очаг и всего хватало – и вина, и хлеба-соли, а теперь я как бы приживальщиком стал.

– Да что вы, дорогой! Какой вы приживальщик! Сын и невестка, слыхала я, на руках вас носят.

– Да, я не жалуюсь. Вот уже восьмой год живу у них и ни в чем не нуждаюсь, все имею в достатке.

Разговаривая за столом, Чанта время от времени вытирал руки салфеткой, покручивал усы, поглаживал бородку и снова подымал стакан. Прежде чем выпить за здоровье Гулизы – старшего человека в семье, – он долго говорил о том, как ей трудно жилось, пока дети не выросли, и как уважают ее все родные и знакомые, а затем, обращаясь к ней, сказал, имея в виду, что ее муж был из рода Чрыгба:

– Не сомневаюсь, что, когда я умру, ты выполнишь долг невестки, но я прошу тебя, чтобы ты заменила мне и сестру, когда меня будут оплакивать. Да, были у меня братья и сестры, но их уже нет в живых. Встань над моим гробом и оплакивай меня, как ты умеешь, чтобы люди надолго запомнили.

В знак особого почтения к своей бывшей соседке Чанта пил за ее здоровье стоя. Она подошла к нему встревоженная, взяла за руки и усадила:

– Что с вами? Чего вам пришли в голову такие мысли? Чанта едва успевал осушить стакан, как невестка Гулизы снова наполняла его, и старик не отказывался. Видно было, что он пьет не просто так, а из уважения к дому и ради душевного разговора. Ел он аппетитно, так что, глядя на него, и сытому захотелось бы есть, но ел неторопливо; пока не проглотит кусок, слова не скажет; мамалыгу набирал рукой только с одной стороны тарелки; сколько бы ни подымал стакан, всякий раз двумя пальцами, а не всеми пятью; за столом сидел выпрямившись, ни разу, даже случайно, не поставил локти на стол, не кашлянул, не закурил.

Тосты были провозглашены уже за всех, в том числе и за детей, которые, поужинав раньше, все еще сидели у телевизора, но Чанта не поднимался из-за стола. То и дело оборачиваясь к камину, он протягивал руки к огню, словно только что пришел с улицы озябший. От жарко пылающего камина и крепкого вина лицо его стало красным, как перец. Но по всему видно было, что вино не возбуждало старика, а, наоборот, угнетало: голос его стал глуше и в нем появились унылые нотки.

Невестка хозяйки, весь вечер прислуживавшая старику, почувствовав это, что-то шепнула детям и увела их спать. Когда воцарилась тишина, совсем расчувствовавшийся от вина Чанта снова заговорил с Гулизой, поминутно повторяя: «Слышишь ты?»

– Когда я жил здесь и имел свой очаг, слышишь ты, дорогая, сердце у меня было горячее и кровь горячая. А сейчас я остыл, охолодел, ничто не греет уже мне душу, слышишь ты? Смерть неотступно, как волк,

идет за мной, хотя и не трогает пока, но я не боюсь ее, иногда даже думаю, скорее бы уж умереть. Кому я нужен? Живой, но уже вроде как мертвый. Хлеб ем, а стою ли я его? Один сын у меня – и тот бездетный, кому его наследство достанется, слышишь ты? Вот сижу у горящего камина и до утра могу просидеть – так соскучился по нему. Пламя как сердце человека: всегда шумит, чем-то недовольное.

Замолкнув, Чанта неотрывно смотрел на огонь. Хозяйка, в растерянности не находя слов, налила старику еще один стакан вина, и он выпил его, не провозглашая больше тоста, как пьют последний стакан.

– Что меня ждет? Могила, слышишь ты? Но где она будет – вот вопрос! – Старик произнес это громко, и голос его ни с того ни с сего прозвучал вдруг сердито.

Гулиза не удивилась: она хорошо знала, что у ее соседа бывают иногда такие гневные вспышки, когда он изрядно выпьет. Улучив момент, она стала успокаивать и подбадривать его:

– Не падайте духом, до смерти вам еще далеко, молодцом выглядите.

Но старик прервал Гулизу и продолжал свое: конечно, ему очень хотелось повидать своих соседей, однако он приехал не только для этого. Он должен сообщить всем в Лашкыте о своем завещании. Он нисколько не сомневается, что Гулиза оплачет его от души, но сыну своему и невестке, продавшим его хозяйство, он не может верить и боится, что они похоронят его в городе.

– Слышишь ты, Гулиза? Я этого очень боюсь. Прошу тебя, ради прожитой нами рядом жизни сделай все, чтобы я был похоронен здесь, слышишь ты? Если понадобится, не пожалей себя, обратись за помощью ко всем родственникам. Я думаю, что ты найдешь поддержку, слышишь ты? Завтра пойду по селу, соберу всех стариков и скажу им... – Тут голос его задрожал; явно готовый разрыдаться, Чанта вынул из кармана платок, поднес к глазам, опустил и снова поднес; и у Гулизы появились на глазах слезы. Помолчав, Чанта продолжал: – Одиночество – это самое страшное. Может, оно и не убивает, но и жить не дает. В наше время, когда только манны небесной не хватает, Чанта плачет, слышишь ты? Пусть бог избавит тебя от одиночества, Гулиза! Тут не помогут ни телевизор, ни радио, даже книги. Я, дорогая моя Гулиза, был землепашцем, меня кормила земля. А сейчас где земля, а где я? Непонятное что-то случилось. Я всегда жил для людей, а люди меня забыли.

Камин уже угасал, только угли еще тлели. Серый кот, пригревшийся у огня, умывался лапкой. Гулиза, сняв с головы свой белый платок,

разглаживала его на коленях ладонью. Чанта, опустив голову, сидел с закрытыми глазами; встрепенувшись, он глубоко вздохнул; взялся за палку, и рука задрожала.

– Эх, дорогие, утомил я вас, спать не даю, – сказал Чанта, сдерживая зевоту. – Пора уже ложиться, находился я сегодня за день, все тело ломит.

– Постель готова, идемте! – сказала хозяйка, и Чанта пошел вслед за ней, опираясь на палку.

Они поднялись на второй этаж.

В комнате было темно; Чанта Чрыгба сидел на кровати в одном белье и, как всегда перед сном, жадно курил. Докурив свою трубку, он облегченно вздохнул, лег и сладко вытянулся в постели... «Как бы там ни было, но сегодня на родной земле я, наверно, спокойно засну», – подумал он, почувствовав, что тяжесть спадает с него и по всему телу разливается тепло. Чтоб скорее заснуть, старик повернулся лицом к стене.

Стояла темная весенняя ночь, луна еще не всходила. Чанте казалось, что он уже засыпает, но он еще долго лежал на грани сна и яви. Потом вдруг будто ураган пронесся и развеял сон. Трудно было сказать, как долго пролежал он, чувствуя себя разбитым. Он сидел в постели, курил трубку и глядел в окно. Облака разошлись, выглянула луна, подул ветерок. Две трубки подряд выкурил старик, потом открыл окно, сел на табуретку, облокотился на подоконник и стал смотреть во двор. Взгляд его ни на чем не задерживался – скользил по деревьям, по забору, по траве. Хотелось пить, пересохло во рту, голова слегка кружилась.

«Не видно ли отсюда мою старую апацху? – подумал он, вздрогнув, и всмотрелся в просвет между деревьями. – Сколько горьких слов сказала бы мне моя апацха, если бы могла говорить, – думал он, – Оставил ее на произвол судьбы, и вот приехал поглядеть, как она доживает свой век; избалованный городской жизнью, я даже переночевать в ней не соизволил, лежу у соседей на перине. Но где же она, моя апацха? Прячется, что ли, от меня?»

Вытянув голову, Чанта вглядывается в темноту, и вдруг – что такое? Дрожащей рукой он протирает полою рубашки глаза – не верит им. «Непостижимо!» – думает он и улыбается. Приподнимается и все смотрит и смотрит – он видит крышу своего каштанового дома. Да-да, в самом деле, он сам покрывал ее сосновой дранкой в последний

раз. Старик высовывается в окно: он хочет увидеть балкон своего дома, но мешает ветвистое дерево. И надо же было кому-то выдумать, что невестка продала его каштановый дом. Слава богу, вранье, оказывается! Теперь ему нечего беспокоиться – когда умрет, оплачут в родном доме, как и полагается. Самый маленький воробышек и тот имеет свое гнездо.

Старик смотрит в окно, и ему кажется, что видит белеющую на крыше трубу камина. А вот и апацха видна. Она в два раза старше его, но все еще стоит на своем месте. Конечно, он увидел бы и сарай, и амбар, но их, должно быть, заслоняет цветущая алыча. Луна светит, в доме все спят, так почему бы ему не спуститься потихоньку со второго этажа, не пройти по росе, не подышать свежим воздухом? И вообще, зачем ему оставаться здесь, если у него есть свой дом?

Чанта стал одеваться. Натянул брюки, потом рубашку, но вот никак не может застегнуть пуговицы. Ах, вот в чем дело – он надел ее наизнанку, переодеваться, однако, не стал. «И так сойдет, я же к себе домой иду», – подумал он, накинул пальто, сунул в карман коробку с табаком и трубку, взял палку, другой рукой подхватил за голенища сапоги, вышел из комнаты и потихоньку спустился вниз по лестнице. Пройдя несколько шагов по росе, он вернулся, сел на ступеньку, надел сапоги. Теперь, чтобы попасть на свой двор, ему осталось только выйти за калитку. Деревья тонули в ночном тумане, между ними чернела похожая на большой куст апацха, в которой он побывал уже вечером. Но где же его каштановый дом? Где амбар и сарай?

Старику стало не по себе, он не понимал, что с ним происходит: не спятил ли уж с ума? Почему-то – наверное, и сам не сказал бы почему – он оглянулся назад, но и там ничего не увидел. Неужели дом примерещился? Ну конечно же! Нечего ему было спешить сюда. На свое тайком проданное хозяйство он мог бы вдоволь насмотреться и из окна. «Да, – подумал старик, – кажется, я действительно одурел – я же вчера был здесь при свете дня и видел, что от моего каштанового дома следа не осталось».

Чанта зашагал к апацхе. Позади туман сгущался, а впереди рассеивался, как казалось ему. Открыв дверь апацхи, он чиркнул спичкой, увидел свою ветхую тахту и тяжело опустился на нее.

Было за полночь. Не надеясь уже заснуть, Чанта решил дождаться здесь утра. Он рассудил, что соседка, проснувшись утром и не увидев его, решит, что он спозаранку пошел прогуляться.

Старик скоро озяб и обеспокоился, не заболел ли. Опять чиркнул спичкой и увидел у очага кучу хвороста, собранного, наверно, ребятишками, игравшими тут в ненастные дни. Привстал, наломал сухих веточек и разжег огонь. Яркое пламя озарило апацху, темнота разошлась, забилась в углы. Выбрав из кучи хвороста сучья потолще, старик подкинул их в огонь и пододвинул к очагу колоду, которую, наверно, тоже затащили сюда дети, и присел на нее. Набив трубку, он прикурил от уголька, как делал это некогда, с наслаждением глубоко затянулся и медленно выдохнул дым тонкой струйкой.

– Приятно посидеть у своего очага, какой бы он ни был, – сказал Чанта, и его голос громко прозвучал в тишине.

Потрескивает хворост, шумит огонь, языки пламени, подымаясь, гонят дым к потолку и ведут свой сердитый разговор. Время от времени, подкидывая в огонь сушняк, старик смотрит, как разгорается пламя, прислушивается к его говору и думает, что огонь только еще занялся, а вот уже расшумелся отчего-то. Может быть, недоволен, что он сказал «приятно посидеть у своего очага». Какой он твой? Он давно уже чужой тебе. И горящий в очаге хворост не твой, его собрали соседские детишки. Твои только спички, но и те куплены. Пусть тут все погибнет – тебе наплевать, будешь сидеть у себя в городе сложа руки. Нет, это не твой очаг, между ним и тобой нет ничего общего.

Так осуждал его, казалось Чанте, шумевший огонь.

По черному от сажи потолку над очагом пробегали отблески огня. Старик смотрел на них, потом взгляд его упал на рукав рубашки. Увидев, что она надета наизнанку, он снял ее, вывернул и снова надел. Когда огонь стал жечь ему колени, Чанта глубоко вздохнул, поднялся с колоды и пересел на тахту. Приятно было прислониться спиной к стене. Перед ним горел очаг, он глядел на него и думал...

Покойная мать не раз говорила ему, показывая налево от очага: «Ты родился тут, с левой руки, а твой отец – с правой. Правая рука всегда сильнее левой, но и ты не будь слабым». Чанта помнил это. Отцу его трудно жилось, однако очага своего отец не бросил и коечего достиг в жизни, да и сам он сначала с жаром взялся за хозяйство, но кончил-то чем – в город перебрался на готовые харчи! И это сейчас, когда люди в Лашкыте зажили так, как его отец и мечтать не мог.

Отец, бывало, говорил: «Если ты хорошо кормишь скот, то и он тебя прокормит». Ежегодно, когда начиналась зима, он зарезал двух

или трех больших, разжиревших на горной траве козлов; посолив мясо, он коптил его здесь вот, над очагом. Всю зиму мать жарила на вертеле эту жирную копченую козлятину. Чанта до сих пор помнит ее вкус. Все богатство, вся радость отца была в скоте.

Сейчас лашкытцы живут много лучше, они выращивают чай, табак, сады... Всюду электрическое освещение... Все новые и новые подымаются дома. А скота вот стало много меньше. В чем дело? – размышляет Чанта. Говорят, что места не осталось для пастбищ и кормовой базы нет – всюду чайные, табачные плантации и сады. Это, конечно, верно, если иметь в виду крупный рогатый скот, а для мелкого скота разве нет пастбищ? Мало ли их пропадает зря в лощинах и на склонах гор, где пасли коз и овец наши предки?

Нет, не в пастбищах, наверно, дело; есть и другие, более глубокие причины тому, что перевелся в Лашкыте мелкий рогатый скот. Раньше одни только братья Мдарцы имели до тысячи голов коз и овец, сами пасли их, пастухов не нанимали. Три брата их было. Если бы и сейчас на колхозной скотоферме работали такие, как они, то сколько бы паслось коз и овец на горных пастбищах Лашкыта! Конечно, Мдарцы не чета нашим чаеводам – те были люди неграмотные, ни одной буквы не знали, только на тысячелетнем опыте и держались.

Чанта был в глубоком раздумье, однако заметил, что очаг гаснет. Поднявшись, он подкинул в огонь охапку хвороста и несколько сучьев потолще, а затем снова сел на тахту, прислонился к стене и, вытянув больную ногу, подложил под нее свою палку.

Сидя так, он вспомнил старшего из братьев Мдарцев – Шагу: высокий, мохнатые брови свисают на черные глаза, густые усы опущены книзу. В сельсовете идет заседание, сам Чанта ведет протокол. Шагу объявляют:

– Мы лишаем тебя голоса.

Он не понимает, что это значит – лишить голоса.

– Как вы можете это сделать? Даже осел мой и тот имеет голос, – говорит он.

Его не слушают, ему велят сдать свой скот, говорят:

– Ровно через неделю пригонишь своих коз сюда во двор.

Шагу сердится:

– Я буду жаловаться!

– Не имеешь права – ты лишен голоса, – отвечают ему. Поднимается галдеж. Громче всех кричит задиристый Хизан, нацепивший на себя командирскую портупею:

– Тебя к свету тянут, а ты, дурак, упираешься, одичал в лесу. Выйдешь из леса – и от тебя по крайней мере не будет нести козлом.

Много лет прошло с тех пор, но Чанта все это вспомнил сейчас. Шагу ответил тогда Хизану:

– Видно, что ты сын Маса, известного всем лодыря. Важничаешь, учишь людей жить по-новому, а сам только и умеешь, что трепать языком. – А потом, обратившись ко всем, сказал: – Уважаемые односельчане, не чужими руками вырастил я свой скот – все соседи это знают, но если есть такая нужда, то я не пожалел его.

Через неделю Шагу пригнал свой скот во двор сельсовета.

– Берите на здоровье! – сказал он. – Одно прошу только – не поручайте мой скот таким людям, как Хизан, иначе он весь передохнет.

Сказав это, он поспешил уйти, чтобы не слышать жалобного блеяния сгрудившихся коз. За пастухом побежала его большая собака. За собакой кинулся и старый бородатый козел, а за козлом бросились к воротам и козы. Целый день люди гонялись за ними.

Кажется, еще в том же году Шагу восстановили в правах, но он уже распродал оставленный ему скот и больше не подымался в горы. Сильно тосковал он по ним, потом его стала мучить злая малярия, и года через четыре он помер.

«Сплоховали мы тогда все, и я тоже, – думал Чанта, вспоминая все это, – не разобрались в человеке, лишили его голоса, причислили к чужакам да еще насмехались над ним, а такого пастуха, как он, где найдешь сейчас?»

Подкинутый в очаг хворост уже сгорел, но толстые сучья, лежавшие на надочажном камне, еще жарко пылали. А Чанта все размышлял, как это случилось, что многие крестьяне оторвались от земли, доискивался до самого корня причин тому. «Теперь положение изменилось, – думал он, – многие из тех, что уехали из Лашкыта в город, вернулись назад, строят новые дома». И это радовало его. «Это хороший признак», – решил он, и на этом его размышления оборвались: старика стало клонить ко сну. «Может быть, удастся вздремнуть», – подумал он, протяжно зевнул и закрыл глаза. Немного спустя старик тихонько стал похрапывать; должно быть, от тяжелых видений иногда вздрагивал, постанывал; лежавшая на груди рука падала, но он подымал ее во сне и снова клал на грудь.

Уже занимался рассвет. Все чаще и чаще кричали петухи. Где-то длинно промычала корова. Залаяли собаки, одна их них глухо, как из бочки, гавкала и время от времени выла.

слегка обуглившаяся часть его упала на кучу хвороста. Может быть, эта головешка и потухла бы, но в хворосте оказался сухой папоротник, и он мгновенно вспыхнул. Огонь охватил хворост. Пламя разгорелось, подобралось к торчавшим из развалившейся стены апацхи сухим прутьям и стало подниматься по ним к прогнившей дранке крыши. Бахрома спускавшейся из-под дранки паутины колыхалась, зазывая огонь к себе: скорее, скорее! И вскоре пламя, разгоревшееся вместе с утренней зарей, пробилось из-под крыши. В апацхе клубился дым, с потолка падала горящая сажа. Чанта ничего не видел и не слышал – он спал. Наконец, задыхаясь от дыма, старик проснулся, сел. Он ничего не понимал, ему казалось, что он захлебывается водой. Кинувшись к двери, он споткнулся о чурбан и упал, со стоном, с трудом встал на ноги, схватил свою палку и, отмахиваясь от сыпавшихся на него искр, вырвался во двор.

– Эй, что там? Что случилось? – раздался поблизости чей-то зычный голос, поднялся лай, и Чанта услышал топот бегущих людей.

Первым прибежал соседский парень Шарах. Подхватив по пути бревно, он приставил его к крыше апацхи, чтобы подняться на нее.

– Какой сумасшедший поджег? – прокричал он.

– Оставь, милый, оставь! Ее не спасешь уже, – сказал Чанта, подходя к нему.

– Как?! Откуда вы, Чанта? – удивленно смотрел парень на старика, хозяина горящей апацхи, которого он не видел уже восемь лет. – Вы приехали, а она горит? – Больше Шарах ничего не мог сказать.

Подбежали еще два парня с ведрами воды.

– Оставьте, сыночки, оставьте! Все равно пользы от нее мало, прогнила вся, – говорил Чанта, прикрывая глаза от едкого дыма.

Подбежал Мачагва с цалдой в поднятой руке, словно намеревался с ходу что-то рубить.

– Что такое? Спим, просыпаюсь, гляжу – пожар рядом! – Заметив Чанту, он воскликнул: – Ого! Кого вижу! – Бросив цалду, Мачагва крепко обнял старика.

Собралось уже немало людей.

– Что же вы стоите? Тушить надо! – крикнул Мачагва. Подошла и Гулиза.

– И кому помешала эта апацха? – заговорила она, а потом, увидев Чанту, сказала ему: – Заспалась я и не заметила, как вы вышли. И нужно же было, чтоб это случилось как раз в тот день, когда вы приехали!

Вскоре почти все жители села – мужчины, женщины, дети, – кто поодиночке, кто толпами сбежались к горящей аапацхе. Многие стояли в растерянности, не зная, что делать: то ли приветствовать приехавшего из города Чанту, то ли выражать ему свое сочувствие в постигшей беде.

Люди пожимали плечами, разводили руками, не понимая, что могло вызвать пожар. А огонь жадно поглощал все, что можно было еще поглотить. Он мигом испепелил полуистлевшую дранковую крышу; быстро сгорели и сплетенные из прутьев стены; подняв облако сажи и дыма, рухнул обугливщийся остов аапацхи. Все, что мальчишки не успели растащить на дрова, сгорело дотла, остался только покрытый мертвенно-белым пеплом надочажный камень, поднимавшийся, как снежная вершина горы, над струившимися еще кое-где дымками.

На дороге остановился красный мотоцикл; примчавшийся на нем внук Казаху направился к пожарищу. Было ясное и свежее утро, ветер еще не успел разнести запах гари. Чанта стоял, как всегда опираясь на свою палку, и смотрел на одиноко торчавший надочажный камень. Утомившая его вчера дорога, бессонная ночь и еще пожар – все это тяжело отразилось на нем.

– Друзья мои! – сказал он, подняв голову. – Не доискивайтесь до причины пожара, он произошел по моей вине.

Люди удивленно переглядывались: говорит сам хозяин – как ему не поверить?

Высокий статный мужчина с закинутым на плечо черным башлыком потер лысую голову и, обращаясь к Чанте, сказал:

– Как же так: восемь лет тебя не было, не успел приехать и устроил пожар! Может быть, ты не хотел, чтоб старая апацха напоминала нам о тебе? Очень странно с твоей стороны.

Чанте больно было слушать это, но он не стал отклоняться от того, что хотел сказать людям, и продолжал:

– Вчера вечером я приехал сюда из города. Очень соскучился по вас и хотел побыть здесь два-три дня. Гулиза встретила меня и пригласила к себе. За ужином я порядком выпил ее чудесного вина, и мы долго беседовали с ней. Ночью я не мог заснуть, оделся, вышел подышать

свежим воздухом и оказался возле своей апацхи – какая-то сила потянула меня к очагу моих предков. Мне стало холодно, я зажег огонь, от тепла потянуло ко сну, я пересел на тахту и скоро заснул. Проснулся от дыма и вижу – вся крыша в огне. Вот как сгорела апацха, построенная моим дедом Джанимом.

Замолкнув, старик оглядел стоявших вокруг людей и, ткнув в землю палкой два или три раза, сказал:

– По правде говоря, никому она уже не нужна. Грешно сказать, но, быть может, и хорошо, что ее уже нет. Куда ни посмотришь – всюду новые дома. Моя апацха была бельмом на глазу у нашего села.

Кто-то стоявший поодаль, рядом с бригадиром, сказал ему:

– Не сам ли он и поджег? Если апацха была застрахована, притянет нас в свидетели и денежки получит.

Бригадир покачал головой: все, мол, может быть. Но многим это не понравилось, люди недовольно загудели.

– Послушайте, чего вы там? – раздался голос молчавшего до сих пор Мачагвы. – Друг мой Чанта! Ты говоришь, что к очагу своих предков потянула тебя какая-то сила. А скажи, мне интересно знать, исчезла эта сила вместе с апацхой или нет?

Чанту словно обдало жаром, он снова возбужденно стал тыкать палкой в землю, и взгляд его забегал от одного к другому, точно он только сейчас увидел собравшихся во дворе людей. «Будет ли еще такой удобный случай сказать всем о моей последней просьбе?» – подумал он и громко заговорил:

– Дорогие соседи и братья! Что бы ни привело вас сюда, я счастлив, что вижу вас всех вместе – и старых, и малых. С тех пор как я уехал отсюда, не было ни одной ночи, чтоб я спал спокойно. Душа моя все время тут, и разум, и сердце тянут сюда, но силы мои уже на исходе. Последнее время я чувствую себя плохо, боюсь, что могу умереть, не успев сказать вам о том, что меня мучит.

Чанта уже не в силах был сдерживать себя. До сих пор он крепился, но сейчас эта встреча на пожарище с соседями и родными, которых он не видел много лет, этот грустный разговор с ними так разволновали его, что он совсем размяк; голос его становился все глуше, потом задрожал, оборвался, и из глаз старика брызнули слезы. Он торопливо полез в карман за носовым платком, палка выпала у него из рук. Мачагва быстро поднял ее, подал ему и, положив на плечо Чанты руку, сказал:

– Не узнаю тебя, Чанта, что с тобой? Не ты ли говорил нам: «Мужчина слезы не уронит». С тех пор ты ослаб духом, и это понятно. Но теперь, Чанта, ты должен взять себя в руки. – Мачагва окинул взглядом толпу и повысил голос: – Мужчины и женщины, всех вас прошу выслушать меня. Помните, как нашего дорогого соседа и верного друга Чанту ночью увезли в город? Помните, как в ту ночь, собравшиеся здесь, мы молча стояли, словно на похоронах родного человека? Вскоре после этого, проснувшись однажды, мы увидели, что люди разбирают каштановый дом Чанты. Тогда мы тоже собрались здесь и долго толковали, не понимая, как Чанта мог покинуть нас. И потом при каждой встрече говорили об этом. Гулиза, ты здесь? – спросил Мачагва.

– Здесь я, дорогой, говори, чем могу быть полезной, – отозвалась Гулиза, опустив руку, которой она горестно подпирала голову.

– Дай бог тебе доброго здоровья. Ты была самой близкой соседкой Чанты, но по крови у тебя были более близкие люди и тоже соседи, однако, когда ты овдовела, больше всех помог тебе Чанта. Не так ли, милая Гулиза?

– Пусть бог даст ему долгую жизнь. Мне и детям моим, сколько бы ни прожили, не воздать ему за все, что он сделал для нас.

– Это ты верно говоришь.

– Озган Куаста! – крикнул Мачагва.

– И я здесь! – отозвался рослый мужчина, который стоял, заложив руки за спину.

– А тебе и твоей семье разве не помогал Чанта, когда ты, упав с дерева, три года лежал в постели, вспомни-ка! Справедливость требует признать, что Чанта себя не жалел, помогая другим. А теперь, друзья мои, как говорится, «река возвращается в старое русло» – Чанта приехал домой! Вместе с этой апацхой сгорела и дорога, которая должна была увести его обратно в город. Нет ему уже возврата туда, он должен остаться у нас. Что вы на это скажете, дорогие соседи?

– Правильно!.. Верно! – раздались голоса. – Все в Лашкыте будут рады этому.

– А ты, бригадир, почему молчишь? Подходи сюда ближе! Ждем твоего слова! – крикнул Мачагва.

Бригадир был сыном Озгана Куасты, о котором Мачагва только что говорил. Низкорослый, толстый, с тоненькими, как ниточка, черными усиками, он стоял, засунув за пояс пальцы, и разговаривал с соседом,

тем самым, что сказал про Чанту: «Не сам ли он и поджег?» Бригадир пожал плечами и, не глядя на Мачагву, кивнул в ответ ему:

– А что я скажу? Человек не посчитался ни с кем, бросил колхоз, уехал в город. Никто не виноват, сам себя разорил. Явился сегодня, как проснувшийся после многолетнего сна. Ничего не могу сказать. Меня это не касается. Пусть подает заявление в колхоз, правление рассмотрит, поставит вопрос на общем собрании. Сочтут возможным – дадут право жить здесь.

– Боже мой, что он говорит?! – возмущенно вскрикнул Мачагва. Чанта родился на этой земле. Вся жизнь его прошла здесь. Какое еще право ему нужно! Может, внук Казаху скажет нам это? Он хотя и молодой, но понимающий человек. Чанта не дряхлый старик, сам пешком поднялся к нам на гору, и все вы слышали, какие он умные слова говорит. Разве такой человек не нужен нам? Вот, например, пчелы у нас пропадают – почему бы не поручить их Чанте? Если Чанта останется у нас, он еще долго проживет.

Внук Казаху, подойдя к Мачагве, сказал ему:

– Да, Чанте надо помочь. Я думаю, что правление колхоза не откажет ему в этом. Когда он будет строиться, то пусть только покажет мне место, а я уж постараюсь с вашей помощью.

– Молодец, пусть твоя жизнь будет долгой! Недаром мы прозвали тебя Айнар-кузнец! – сказал Мачагва.

– Дорогие мои! – заговорил Чанта со слезами на глазах и дрожью в голосе. – Я прошу немного – три аршина земли у сосны на поляне, рядом с могилой отца. На это-то я уже, наверное, имею право.

– И на это надо получить разрешение, – дернув головой, буркнул бригадир и, снова заговорив с соседом, пошел с ним прочь.

По толпе прошел гул возмущения, и в нем едва слышно прозвучал голос Мачагвы:

– Вот беда! Оказывается, у нашего бригадира сердце очерствело, а мы и не замечали этого.

* * *

Не знаю, может быть, это только приснилось или примерещилось мне. Чанта Чрыгба стоит у меня перед глазами в ярком свете утреннего солнца, уже обсушившего землю и свежую листву белых акаций, ко-

торые окружают расположенную на склоне горы колхозную пасеку. С цалдой в руке он идет от улья к улью вдоль изгороди и останавливается у пышно цветущей яблони. Вот он уже поднял цалду, чтобы отсечь цепко обвившуюся вокруг яблони ветку колючки, и вдруг до слуха его доносится снизу, из долины, гул идущей в гору машины. Старик оглядывается и замечает, что грузовик с наваленными выше кузова досками въезжает в ворота его заново огороженного двора. Кто-то – наверное, внук Казаху и соседские парни – один за другим спрыгивает на ходу с машины.

Чанта с размаху обрубает колючую ветку. С задрожавшей ветки густо сыплются белые, как снежинки, лепестки цветов, они припорашивают его седые волосы, и земля под ногами старика тоже становится снежно-белой.

1968–1969

СТАРУХА РАСИДАЦ

Рассказ

В тот день Расидац вернулась домой как никогда поздно. Обычно торговля шла бойко, ее мацони и сыр знали, разбирали с лету, но нынче на рынке покупателей было не густо. Стоящие по соседству торговки шушукались, вполголоса обменивались новостями: этого арестовали, того тоже, третий отправился на службу и как в воду канул... И в автобусе, пока ехала, говорили о том же, даже имена называли. Тут-то она и узнала, что в Сухуми идет суд над врагами народа – вредителями, шпионами и заговорщиками...

Старуха едва жива была от усталости, когда наконец ступила на родной двор. Первым делом она разожгла очаг, подвесила котел с водой, чтоб приготовить ужин, но затем передумала – возиться со стряпней не было ни сил, ни желания. Только кофе сварила себе в награду – густой, крепкий, – сидела, расслабленно уставясь в одну точку, тянула его крохотными глотками и чувствовала, как помаленьку приходит в себя.

Но рассиживаться было некогда. Осеннее солнце, посверкивая сквозь облачные разрывы, неудержимо сползало к горизонту, еще какой-нибудь час – и только вершины гор останутся гореть в закатном пламени... Пора идти открывать ворота, встречать Чагу – та как раз в это время являлась с пастбища, шла к дому, издалека оповещая хозяйку о своем приближении протяжным мычанием.

Если, конечно, являлась.

Сейчас Чаги тоже что-то не было слышно, и старуха забеспокоилась. Опять, наверное, отбилась от стада, забрела в чащобу, теперь ищи ее, лазай по колючкам... Если бы не корова, с каким наслаждением вытянулась бы Расидац на постели, давая отдых гудящим от напряжения ногам, – шутка ли целый день простоять на базаре в ее возрасте!

Постанывая от щемящей боли в сведенных мышцах, она поднялась из-за стола и направилась на веранду, отсюда вся просторная, покато уходящая к морю пустошь была как на ладони. Несколько лет назад на этой пустоши располагался аэродром, было шумно, весело, непривычно, а теперь даже взлетных полос не угадать – заросли, покрылись травой. Скотине здесь раздолье... Коли Чага там, пасется со всеми, Расидац ее сразу заметит – одна такая пестрая на все стадо. А на зрение старуха пока не жаловалась, в свои семьдесят лет видела хорошо. Только когда читала, приходилось нацеплять очки.

Но Чаги на пастбище не было.

Расидац вздохнула, в последний раз обвела пустошь взглядом и, прихватив клюку, спустилась во двор. Заслышав шаги, из-за утла резво вывернулась Бажгалам, пустилась следом, но, едва хозяйка с притворным гневом пригрозила ей клюкой, тотчас отстала и вернулась караулить дом. Собака и старуха хорошо понимали друг друга: пока Расидац дома, Бажгалам вольна делать все, что заблагорассудится, когда же та выходит за ворота, значит, пора заступать на службу. И Бажгалам несла ее честно я безропотно.

Старуха пересекла большак, обошла стадо, выглядывая среди отрешенно жующих коров свою Чагу, но ее, ясное дело, не было. И как не хотелось спускаться к морю, шарить в низинках, укрытых от постороннего глаза густо разросшейся лещиной, а ничего другого не оставалось, именно там чаще всего и случалось обнаружить Чагу.

Окрыленная надеждой, старуха ускорила шаг, но вдруг будто на стену наскочила. Сколько уж лет созерцает эту пустошь, вдоль и поперек исходила, изучила до последней кочки, а вот, поди ж ты, только сейчас заметила, что здесь, прямо под носом, можно сказать, произошла явная перемена. Все вольное пространство от края до края оказалось перегорожено, отделено от моря странной оградой из ржавой колючей проволоки, натянутой на колья и заваленной всяким хламом. Наверное, поэтому она и не бросалась в глаза.

«Кому это взбрело в голову огораживаться? Или свалку решили устроить?» – терялась в догадках старуха.

– Чего нужно, старая? – внезапно раздалось за спиной.

Расидац в испуге обернулась – перед ней стоял незнакомый мужчина. На голове черная кепка с большим, надвинутым на глаза козырьком, взгляд цепкий, бесцеремонный.

«Господи, откуда он взялся?! – затрепетала старуха. – Ни души вокруг, одни коровы. Прямо привидение!»

Но виду не подала, обратилась приветливо:

– Что это здесь будет, не слыхал? Жаль, если свалка – у нас тут берег чистый, люди купаются, и приезжие и свои.

– Оглохла, что ли? Тебя спрашивают! – в голосе незнакомца звучала подозрительность.

«Сам-то кто такой, чтоб командовать?» – чуть не вырвалось у старухи. Но, поразмыслив, она сочла, что лучше прикусить язык – кто знает, что у него на уме? Мало ли придурков на свете... А за нее, дай он рукам волю, и заступиться некому...

В это мгновение послышалось обиженное мычание. Чага! Корова неспешно брела вдоль ограды, то и дело останавливалась, зарывалась мордой в траву.

«Да иди поживей, ненасытная!» – мысленно подстегнула ее Расидац. И, не вытерпев, сама двинулась навстречу. На ходу оглянулась, поискала глазами незнакомца, но тот точно сквозь землю провалился. «И впрямь привидение!» – поразилась она.

Расидац отвесила корове хороший шлепок и, пропустив вперед, погнала к дому, спиной ощущая колючий, цепкий взгляд. Но оборачивалась – и никого не видела. Уж не примерещилось ли ей?..

До дома оставалось рукой подать, когда впереди замаячила долговязая фигура. Это был Раста, сосед. Не глядя по сторонам, он быстро удалялся по большаку; на плече посверкивала новенькая цалда[16]. Не заметить карабкающуюся по склону старуху Раста не мог, но вот даже шаг не придержал, чтоб поприветствовать.

Поведение соседа озадачило Расидац: уж кто-кто, а этот не упустит случая поболтать – с кем угодно и о чем угодно.

– Раста, дорогой, подожди минутку! – крикнула она вдогонку. Может, скажет хоть что про ограду внизу? И про того, в кепке. Муторно было на душе у старухи от встречи с ним.

Услышав свое имя, Раста напрягся, втянул голову в плечи, словно ожидая удара, но все же остановился, позволяя себя догнать.

– Голубчик, растолкуй мне, что тут у нас происходит? – с ходу начала Расидац. – Такая благодать была, а теперь то ли свалку хотят устроить, то ли еще что. Вон уж и забор поставили.

[16] Род секиры, топор с широким лезвием.

Некоторое время Раста безмолвствовал, сверху вниз разглядывая старуху, потом медленно, точно шея у него потеряла гибкость и всякое неосторожное движение причиняло нестерпимую боль, повел головой в одну сторону... в другую... убедился, что поблизости никого нет, и только тогда вполголоса произнес:

– Ты стрельбу слышала?

– Бог с тобой, Раста, какую стрельбу?!

– Какую... Три дня уже палят, – уточнил тот и хмуро добавил: – Мой совет: держись подальше от этого места. Там не свалка, там расстреливают...

– Расстреливают?.. Кого?

– Поражаюсь я тебе, соседка. Вроде бы и слух у тебя в порядке, и на зрение не жалуешься, газеты выписываешь. А живешь как в горах – ничего не слышишь, не видишь, ни о чем не ведаешь... Преступников казнят. Тех, что враги народа. Дошло? – И, круто повернувшись, он поспешно зашагал прочь.

Новость, сообщенная Растой, камнем обрушилась на старуху, придавила к земле...

Кое-как добрела она до дома, завела во двор Чагу, но о том, чтобы подоить ее, не могло быть и речи, просто пустила теленка к матери, а когда тот насосался, опять заперла в закут.

Управившись таким образом с делами, Расидац могла наконец заняться тем, что казалось ей сейчас самым важным...

Солнце уже скрылось, по земле все гуще расползалась ночная тьма. Внезапно со стороны моря дохнуло мозглым, пронимающим до костей холодом, и тут же стал накрапывать мелкий ледяной дождь. И так сегодня с утра – то солнце, то тучи, ветер, а в обед и покапало немного.

Расидац разворошила в очаге жар, положила на уголья несколько сухих поленьев, запас которых всегда имелся в доме, и не отошла, пока дрова не разгорелись. Теперь оставалось только поужинать, и можно было укладываться спать. Раньше бы она так и поступила, но сегодня, после того, что сообщил ей Раста, одно лишь представление о еде вызывало у старухи приступ тошноты.

Она придвинула скамью поближе к огню, села, обессилено привалясь затылком к стене, и замерла в неподвижности, только пальцы жили, рассеянно ощупывая забытые на коленях очки. Газеты лежали на столе, рядом, но протянуть руку и взять их не хватало духа. Рой бессвязных мыслей чередой проносился у нее в голове, но ни одной не получалось додумать до конца – стоило сосредоточиться, как в мозгу вихрем проносились слова Расты, и старуха даже приблизительно не могла вспомнить, о чем думала мгновение назад.

«Три дня уж палят», – сказал Раста. Но как же так вышло, что она ничего не слышала?

«Или все-таки слышала? Вчера, по-моему, – начала вспоминать Расидац. – Да, вчера вечером. Еще подумала: опять, наверное, учения у пограничников... Господи, да если бы я хоть догадывалась, что там на самом-то деле творится!..»

Но о чем могла догадываться она, если неделю, не меньше, не заглядывала в газеты? Почту в поселок доставляли раз в три дня, а в последнее время и того реже, да, честно говоря, и не до газет было – замоталась старая! – вынимала из ящика да складывала, рассчитывая как-нибудь выкроить часок и прочесть все разом. А между тем все их страницы были забиты сообщениями об идущем в Сухуми процессе.

«Процесс контрреволюционной, диверсионно-вредительской, террористически-повстанческой, шпионской организации в Абхазии...» – по слогам читала она сейчас. Разбирать такие длинные в сложные, сплошь состоящие из незнакомых слов выражения стоило полуграмотной старухе немалого труда, но она не сдавалась, терпеливо читала все подряд – заметку за заметкой, статью за статьей, газету за газетой. Но скоро от одних только заголовков – убийственных, хлестких, как пулеметная очередь – голова у нее пошла кругом.

«Троцкисты должны быть уничтожены!», «Шпионам нет места на советской земле!», «Никакой пощады!», «Расстрелять бандитов!», «Уничтожить взбесившихся собак!..»

Расидац сняла очки и задумалась... С чего бы это вдруг столько врагов народа объявилось? Вот и Нестор Лакоба – враг. Уж как только не обзывают его в газетах, чего только не приписывают! А ведь честнее, чище, добрее человека на всем белом свете не было, Расидац знает. Искали бы лучше тех, кто в его смерти повинен, загадочной и странной, вот они-то и есть настоящие враги!..

Расидац развернула последнюю из стопки газету. В глаза бросились жирные черные буквы: «Советский суд выполнил волю народа». Следующий заголовок гласил: «Изменники родины понесли заслуженное наказание». Ниже шел список приговоренных – сначала, самый длинный, к расстрелу, потом, покороче, к тюремному заключению. Сроки были разные – от десяти до двадцати лет.

Расидац вздохнула. Ни с кем из перечисленных в списке она не была знакома, но фамилии знала – все это были люди заслуженные, известные всем и каждому, долгие годы стоявшие во главе республики, ее основатели. Еще недавно о них писали и говорили совсем по-другому.

Как можно так быстро перемениться? Значит, или тогда была ложь, или сейчас.

«Лакоба В. Д.», – прочитала Расидац, и сердце у нее сжалось. В. Д., Василий Дмитриевич, Василий... Правда, она никогда не называла его Василием, звала по-домашнему: Хинчаж. Вот и теперь губы сами прошептали давнее прозвище. Он и ее Алиас были неразлучны, вместе ушли на фронт добровольцами, вместе вступили в крестьянское ополчение. Потом, уже после гибели сына, видеться с Хинчажем стало больно и радостно – так схож он казался старухе с ее мальчиком и лицом и характером. Когда разнесся слух, что Хинчаж арестован, не утерпела, бросила все и помчалась в Сухум, к нему домой. Встретила ее Шамина – настороженная, замкнувшаяся, с набрякшими от слез подглазьями. Расидац старалась как могла утешить и обнадежить женщину, уверяла, что случилось недоразумение, что, дай срок, все уладится, мужа выпустят, разберутся и выпустят, непременно!

И вот Шамина вдова, дети сироты, а она, старая, выходит, обманщица...

Ах, Шамина, Шамина! На роду, что ли, написано тебе горе мыкать? Одному богу ведомо, где сейчас ты и твои дети, жива ли вообще, в своем ли доме живешь – ты, жена человека, объявленного врагом народа и казненного именем народа.

– Алиас погиб в бою от меньшевистской пули, но какая пуля сразила тебя, Хинчаж? – вслух спросила Расидац, обращаясь неизвестно к кому. Пальцы ее сжались в кулак, она задохнулась от гнева и ярости.

Господи, еще только вчера она слышала доносившуюся со стороны моря пальбу и наивно полагала, что это обычные стрельбы у пограничников, а там и вчера, и позавчера, и два дня назад убивали людей, которым она привыкла верить, как себе самой, убивали Хинчажа. Бажгалам и та не находила себе места, скулила, выла, точно по покойнику, а она, бесчувственная, даже прикрикнула на собаку... Как же не отвалился у нее язык после этого, как не отпали уши, слышащие, но не внемлющие, зачем еще бьется сердце – слепое, глухое и равнодушное?..

И тут с берега снова донеслись приглушенные далью и непогодой выстрелы. Но теперь старуха знала, что они значат, и каждый залп невыносимой мукой отзывался в мозгу. Не в силах более слышать их, она упрятала лицо в колени и точно оцепенела.

Отчаянный визг собаки заставил Расидац очнуться. Бажгалам визжала так, точно на нее накинулись с палками. Она металась по веранде, царапала, толкала дверь, но та не поддавалась.

– Бедняжка, ты, оказывается, чуяла, какие дела вершатся поблизости, а вот мне, толстокожей, все было невдомек... – и, тяжело поднявшись, старуха пошла успокоить собаку.

Как только дверь приоткрылась, обезумевшая от страха Бажгалам прижалась к ногам хозяйки, а затем, виновато и жалобно скуля, точно прося прощения за слабость, юркнула в комнату.

Опять громыхнули выстрелы. Здесь, на веранде, они слышались отчетливей, чем в доме, но, сколько ни всматривалась Расидац в кромешную тьму, различить ничего не удавалось... Порывами налетал с моря ледяной пронизывающий ветер, сек лицо колючим дождем. Продрогнув, она заперла на ключ дверь и возвратилась в комнату, бесцельно заходила из угла в угол, нянча, убаюкивая, точно больного ребенка, свою душу.

...Она сидит на той же скамье, на которой сидела, когда услыхала первые выстрелы, мертвым взором глядит в потухший очаг. По-прежнему рвут тишину выстрелы, и при каждом залпе Бажгалам скулит, беспокойно возится – собака не понимает, что происходит, но нутром ощущает таящуюся в этих звуках угрозу для себя, для хозяйки, для всего живого, она лежит в своем углу и не спускает со старухи ищущего, растерянного взгляда. А та, зябко обхватив руками плечи, неподвижно, точно неживая, сидит перед черным погасшим очагом и словно бы не догадывается, что угли можно разворошить и снова кинуть пару сухих поленьев.

Темно, холодно, одиноко. Мучительно тянется последняя для кого-то ночь.

На рассвете Расидац уже брела по сухумским улицам. Ночью, когда без сна сидела перед холодным очагом, слушала, бессильная что-либо изменить, как гремят выстрелы, ей в голову пришло во что бы то ни стало выбраться в город, навестить Шамину. «Горькая ты моя, – скажет ей старуха и обнимет женщину, – за что так сурово обошлась с тобой жизнь? Не тебе, а мне, старой, нести бы эту ношу, да что поделаешь? Что случилось, то случилось, а отчаяние – еще больший грех. У тебя дети, ты должна жить ради них, они теперь твой крест и единственное твое спасение...»

Ах, Расидац, Расидац, добрая ты душа, спешишь и не ведаешь, что и твои дни уже сочтены! Как бы ни торопилась ты к дому Хинчажа, помогая себе неизменной своей клюкой, все равно придешь поздно, никого не застанешь из его обитателей, никогда не увидишь их, не узнаешь об их участи. Дом стоит пуст и мертв: хозяин казнен, в тюрьме хозяйка и единственный сын. Им тоже не задержаться на свете –

Шамину расстреляют тотчас же после ареста, но Тенгиза еще потомят, еще поиздеваются всласть, подождут, пока стукнет парню семнадцать. И только тогда, 6 июля 1941 года, его, сына Василия Лакобы, вместе с сыном Нестора Лакобы Рауфом, сыном Михаила Лакобы Николаем и сыном Константина Инал-ипа Кокой по личному распоряжению Берии выведут из Бутырской тюрьмы и убьют...

Дом стоял у подножия горы – одноэтажный, не слишком большой и не слишком маленький, в самый раз для такого семейства. Старуха частенько заглядывала сюда и никогда не чувствовала себя ни чужой, ни лишней. Все были рады ей – хозяин, хозяйка, дети... А про нее, старуху, и говорить нечего. Ближе, роднее их у нее никого не осталось...

Она толкнула деревянную калитку, вошла в знакомый двор – и сразу же ощутила какую-то неладность. Окна и двери закрыты, кругом тишина – нежилая и неживая. С бьющимся сердцем Расидац поднялась на крыльцо, постучала в дверь, сначала деликатно, потом все резче, требовательней. Но никто не отозвался на стук, не скрипнула в доме ни одна половица.

Уже догадываясь, в чем дело, Расидац стояла на крыльце и что есть мочи барабанила клюкой в дверь. Наконец в соседнем доме осторожно приоткрылось окно и какая-то женщина, прячась за занавеской, негромко окликнула ее:

– Эй, не греми, никого там нет – девочка у родственников, а Шамину с Тенгизом увезли. Уходи, уходи от греха!

Расидац хотелось знать, как все случилось, когда, что за родственники приютили малышку, но не успела она и рот раскрыть, как женщина захлопнула окно и задернула занавеску.

Расидац повернула обратно. Слепо тыча клюкой, она шла теми же улицами, по которым спешила сюда утром, и на разные лады повторяла про себя эти, последние слышанные ею слова: «Уходи от греха... Уходи от греха...»

Чем-то они задели старуху.

С автобусом повезло – подошел сразу. И места свободные были. Так что доехала с удобствами и без приключений. Только когда уже выходила у поселка, вдруг мелькнул перед ней тот, в кепке с надвинутым на глаза козырьком, зыркнул вчерашним своим взглядом – цепким, сверлящим и как будто бы все-все про нее знающим, – мелькнул и тут же сгинул, растворился в толпе. Так что старуха не могла наверняка сказать, он ли то был или кто-то похожий. А может, просто померещи-

лось. Поднимаясь по дороге к дому, она почти уверила себя в этом, но на душе все равно кошки скребли.

К вечеру Расидац почувствовала, что ее знобит; кружилась голова. Что ж, не мудрено и простудиться: вторые сутки на ногах – на ветру, под дождем.

«Только бы не слечь, только бы не слечь!» – заклинала она, подкидывая поленья в очаг.

Лампа была уже зажжена, сияла чистым, до блеска протертым стеклом. Старуха сильнее вывернула фитиль, отчего в комнате стало еще светлей и уютней, и села довязывать носок. Неделю с ним возится, а всего-то на пятнадцать петель прибавилось. Пора бы и кончить.

Пора бы, давно пора, да не клеится что-то. Вот и сегодня пальцы, точно позабыв былую ловкость, постоянно роняли спицы, а когда Расидац нагибалась за ними, то упускала с колен клубок, и он катился через всю комнату, норовя попасть в такое место, откуда достать его старухе было совсем непросто.

Вязать она выучилась давно, не всерьез увлеклась, когда осталась одна – уж больно тоскливы бесконечные зимние ночи в пустом доме. А тут вроде и руки заняты, и в голову разные мысли меньше лезут. Опять же польза: покорпишь вечерок-другой, глядь, какая-нибудь обновка. Особенно удавались носки, на диве красивые да теплые. Правда, доходов от своего ремесле Расидац не имела, совестно казалось брать с людей деньги за то, что самой ей не стоило никакого труда. Так, забава.

Хотя если разобраться... Шерсть она покупала на рынке лучшую, за ценой не стояла, потом мыла ее, сушила, чесала, пряла, все своими руками. Но вот не продавала – и баста. Только дарила или отдаривалась за уважение и помощь: кто помог дрова на зиму заготовить, кто стожок сметать, кто крышу подлатал...

За вязанье, если оставались силы и было желание, она принималась после ужина, уже при огне. Конечно, днем, при настоящем-то свете сподручней, да работы невпроворот, едва до темна управишься. Огород, скажем: земли всего ничего, заяц перескочит, а ухода требует – хочешь, не хочешь, но раз в день нужно и с мотыгой пройтись, и полить. Так что бери, старая, ведра, таскай воду, пока руки не отвалятся! А еще стирка, штопка, обед-ужин, ведь не само же все это стирается, гладится, варится да на стол подается?

Но особенно хлопотно было с коровой. Столько сил и времени уходило! Однако деваться некуда, корова для старухи – главная кормилица, кабы не она, Расидац, наверное, давно бы уже ноги протянула. А так жила, сводила концы с концами.

С Чагой ей повезло, грех жаловаться, удойная. Подоит утром, сольет молоко в чан, подогреет на малом огне, чтоб не лишилось оно вкуса и свежести, добавит сычуг, а когда молоко свернется, процедит через марлю; пресный творог в кадушку, кадушку в чулан, вызревать, сыворотку – теленку. Вечерний же надой разливала по банкам и заквашивала. С этим товаром два раза в неделю выбиралась на Сухумский рынок. Оборачивалась быстро – стоять да нахваливать привезенное, завлекая покупателей, нужды не было, всякий, кто хоть раз отведал старухиного сыра или мацони, предпочитал брать у нее. Некоторые даже с утра караулили.

Два раза в неделю, по средам и воскресеньям...

Но не всегда Расидац жила так скудно и одиноко, знавала она и совсем иные времена. Был муж, сын, семья. Да все рухнуло.

День, в который случилось несчастье, ничем не отличался от прочих, это теперь каждый час из той, прежней ее жизни представляется Расидац праздником. А тогда Даут, как обычно, был весел, шутил, играл с сыном – Алиас только начинал ходить, осваивал пространство дома, потешно топоча пухлыми ножками. А ночью мужа внезапно и страшно скрутил сердечный приступ, как она ни билась, ничто не помогло. На рассвете Даут скончался. И осталась Расидац одна с ребенком на руках...

Алиас вырос, Расидац вздохнула свободней. Дальше, верилось, будет еще легче. Присматривала невесту сыну, мечтала о внуках. И тут война.

Когда Алиас объявил, что отправляется на фронт добровольцем, она не удерживала его. Ничего не сказала, когда, возвратившись с фронта, он по примеру друзей, и прежде всего Хинчажа, решил вступить в «Киараз» [17]. Благословила, пожелала удачи и отпустила.

Но Алиас не вернулся, сложил голову за свободную Абхазию...

Жизнь для нее утратила всякий смысл. Так, наверное, и угасла бы, не появись Стичква, племянница мужа. Девочке тоже не повезло – отец сгинул в империалистическую, мать умерла от тифа. Пришлось Расидац взять на себя заботы о сироте. Теперь она не имела права помышлять о смерти.

Стичква прижилась в доме, стала как дочь. И, когда пришло время выдавать девушку замуж, старуха справила такое приданое для молодой, точно и впрямь была ей родной матерью.

[17] Исторически сложившиеся патриархально-трудовые и оборонительные организации крестьян; «мир», «община». С осени 1917 и до весны 1921 года – революционная крестьянское ополчение.

Да, конечно, и радость, и счастье... Хотя с того дня, как сыграли свадьбу и Стичква перебралась к мужу в село Аджра, Расидац опять осталась одна, без помощи и поддержки. Случись что – и воды подать некому. Но не унывала, работала, из кожи вон лезла, чтобы прокормиться. И никто никогда не видел ее хмурой – не терпела, чтобы жалели.

И снова вечер, и снова сидит Расидац перед очагом, и снова со стороны моря внятно доносятся выстрелы. Вот уже пятнадцать дней гремят, как только стемнеет – так и начинается.

– Господи, поневоле глухим позавидуешь, – в сердцах роняет старуха и откладывает вязанье, ждет, обмирая, очередного залпа, втайне надеясь, что его не последует.

Но он раздается.

И, как всегда при этих звуках, Бажгалам принимается беспокойно перебирать лапами и тонко, тихо скулить.

Расидац больше не цыкает на собаку, не стучит ладонью по столу – бесполезно. Да что собака – того и гляди, сама завоешь...

Когда сидеть становится невмоготу, укладывается спать, лежит, с головой закутавшись в одеяло, но сон не идет, тюфяк точно булыжниками набит, подушка колется.

Проворочавшись всю ночь, только под утро забывалась коротким сном. Может, и еще бы полежала, подремала чуток, да уже ревет в хлеву Чага, перекликается с теленком. Голос у Чаги жалобный, в нем обида и недоумение. Что ж, ее понять можно: на дворе осень, урожай с полей убран, скотине приволье – гуляй, где хочешь, не опасаясь ни окрика, ни палки, лакомься напоследок свежей травой, а тут заперли в темном и тесном хлеву, кинули охапку сена... Ску-ууушно!

Расидац до слез жаль кормилицу, иной раз и выпустила бы – сердце не камень, – да вдруг опять удерет с пастбища?.. От одной мысли, что придется снова идти за ней к тому страшному месту, старухе делается совсем худо, кажется, будто земля там насквозь пропиталась кровью.

Но и дома сидеть, слушать в одиночестве, как гремят выстрелы, никаких сил больше нет. Может, к Стичкве податься? Быть в тягость старуха не опасалась – детей у племянницы целый выводок, мал мала меньше, вот и станет при них нянькой. Беем польза. А хозяйка пусть отдохнет немного, отдышится. В последний раз, месяца три назад, Расидац даже не узнала ее сразу – осунулась, бедняжка, вид замученный. И то – легко ли уследить за такой оравой?

А можно и к Арзамету Квачал-ипа наведаться, боевому другу ее Алиаса, вот уж где ей обрадуются. Снова пойдут разговоры, воспоминания, и она в который раз услышит, как пал в бою сын... Арзамет ве-

рен старой дружбе, по сию пору не забывает старуху. То сам навестит, то гостинец с кем-нибудь перешлет. Дом у него полная чаша, хозяйство крепкое. Живи не хочу! Но завидовать грех – двое взрослых сыновей у него, дочь на выданье. Как пчелки трудятся.

Да, хорошо у Арзамета, славно, душа радуется. Но полгода ни слуху, ни духу о нем. «Жив ли, все ли там слава богу? Ладно если просто позабыл про меня, старую, а вдруг что стряслось?» – тревожится она. Как бы там ни было, а приют найти можно, кто-нибудь да примет, не оставит старуху без куска хлеба. Придется переезжать, сниматься с насиженного места. С пожитками сложностей нет, переправит (да и какие там пожитки, смех один!), дом продаст. А не продаст – невелика потеря, заколотит окна, да и бросит догнивать свою развалюху. Только как с Чагой быть, ума не приложит. То, что корову купят, с руками оторвут, в этом Расидац не сомневается. И не о деньгах она думает, не продешевить боится. Сама мысль о продаже Чаги кажется кощунственной, не укладывается в голове. Не корову продавать – кормилицу, друга... Нет, все что угодно, только не это!

«Ну ладно, продам я Чагу, – продолжает рассуждать старуха, – найду хорошего человека и продам, а дальше что? Вдруг – не приведи бог, конечно – не уживемся? Бывает и такое, даже между самыми родными людьми. А ведь я не к отцу-матери, не к мужу перебираться думаю. Разве можно поручиться, что чужая семья станет своей? И куда тогда? Дома нет, корова продана, жить не на что... Побираться, милостыню на Сухумском рынке просить? Не умею!»

За всю свою жизнь Расидац копейкой чужой не попользовалась, любая тряпка на свои кровные куплена. Привыкла ни от кого не зависеть, полагаться на себя, не требуя и не ожидая помощи. И вот теперь продавать корову... Для чего? Для того чтобы в старости остаться у разбитого корыта? Нет, на такое она не отважится.

«Может, не будут больше стрелять?» – с тоскливой надеждой подумала она. Тогда бы и голову не пришлось ломать, как быть и что делать.

– Хоть бы Раста заглянул, все веселее, – сказала Расидац собаке. – Зашел бы, спросил, как бывало: жива, мол, еще, старая? Если нет, скажи... Да куда ему! Забился, как мышь в нору, и носа не кажет. Что ж, такое время: собственной тени и то боимся. А Расте есть из-за чего трястись – сын в милиции служит, должность заметная...

В этот миг на берегу опять раздались выстрелы.

– Господи, когда это кончится? – взмолилась старуха, зажимая ладонями уши. На сей раз выстрелы звучали еле слышно, вязли в сплошной

стене дождя. Дождь начался сразу после обеда и лил не переставая. А потом разыгрался шторм – водяные громады чередой накатывались на берег, с громом взрываясь пеной и брызгами. Под натиском ураганного ветра старый дом Расидац жалобно поскрипывал.

«Хороший хозяин и собаку со двора не выгонит в эдакую погоду, а тем все нипочем, знай стреляют!» – подумала Расидац и стала готовиться ко сну.

Было уже далеко за полночь, когда Бажгалам зарычала и с лаем кинулась к двери. Расидац приподнялась на руке, замерла, насторожилась – и уловила слабый, едва слышный стук и какое-то поскребывание. Через минуту-другую стук повторился, стало ясно: за дверью кто-то был.

«Кого это принесло посреди ночи?» – с испугом подумала она, садясь в кровати.

Но кто бы там ни был, а вставать придется. Спустив ноги, старуха нащупала шлепанцы, набросила на себя платье, оправила наспех постель. Подойдя к столу, прибавила огня в лампе, на ходу повязывая косынку, крикнула:

– Иду, иду!

Снаружи донесся чей-то стон.

Расидац на цыпочках подобралась к двери, приникла ухом и сквозь шум бури с трудом разобрала невнятный, клокочущий голос:

– Ради всего святого... Расидац...

– Кто это? – почему-то шепотом спросила старуха. Ответа не было. Она приоткрыла дверь, бросила в кромешный мрак опасливый взгляд, но никого не увидела. Когда глаза понемногу освоились с темнотой начала различать какую-то бесформенную черную груду перед самым порогом. Придерживая дверь, Расидац присела, чтобы получше рассмотреть, что это, и тут черная груда вдруг ожила, задвигалась, поползла в комнату. – Кто ты?! – помертвевшими от ужаса губами прошептала старуха, отступая в комнату. Сзади истошно залаяла Бажгалам. – Цыц! – замахнулась на нее Расидац. Она уже видела, что в дом к ней пожаловало не привидение, а самый обыкновенный человек, только грязный, промокший до нитки и, судя по всему, попавший в беду. – Кто ты, что с тобой? Откуда знаешь, как меня зовут? – засуетилась старуха, помогая гостю. Руки скользнули по спине, ткнулись во что-то липкое. Она поднесла их к лампе. Кровь...

А мужчина тем временем кое-как добрался до очага и лег ничком на пол, не в силах пошевелиться. Расидац приблизилась, внимательно оглядела его: весь в крови, с головы до ног, будто выкупался в ней.

– Расидац... – прохрипел мужчина. – Прости меня... прости, дорогая...

– Да кто ты, в конце концов?!

– Прости, приполз умирать... Свою смерть притащил к тебе!

Снова не дождавшись ответа, старуха опустилась на колени и бережно приняла в ладони голову незнакомца, приподняла, повернула лицом к свету.

– Господи, Арзамет... – выдохнула она.

Да, это был друг Алиаса. Лицо его почернело от побоев, раздулось, на бровях и усах – струпья запекшейся крови.

Не медля ни секунды, Расидац принялась за дело. Перво-наперво развела в очаге огонь, подвесила полный котел воды. Потом вытащила из сундука несколько простыней и одну безжалостно располосовала на бинты. Принесла из кладовки бутыль крепкой водки, нашла вату... И все это быстро, ловко, уверенно. Точно всю жизнь тем и занималась, что выхаживала раненых. И никакой женской слабости, ни охов, ни головокружений.

«Откуда только силы взялись?» – подивилась мимоходом.

Закончив приготовления, Расидац снова присела над Арзаметом, сдернула с ног грязные, рваные галоши, подвязанные бечевкой, взялась за рубаху, намереваясь оголить спину, но едва потянула, как истлевшая ткань начала разъезжаться... Тело тоже было черно от крови и побоев, чуть выше правой лопатки зияла круглая рана, из нее толчками выбегала кровь. Еще одна пуля царапнула голову, содрала кожу.

Когда раны были промыты и перевязаны, Расидац перевалила стонущего Арзамета на расстеленную простыню, брызнула в лицо холодной водой.

Арзамет разлепил веки, вгляделся в склонившуюся над ним женщину, улыбнулся глазами.

– Арзамет, бедный мой, какой враг пожелал твоей смерти?

– Слышала, как стреляют на берегу?

– Значит, и ты!.. – жалобно вскрикнула Расидац.

– И я, – почти беззвучно подтвердил тот. – Сначала в тюрьме. Три месяца. Потом суд, приговор. К расстрелу... Да вот уцелел, как видишь... – голос его осекся.

Он лежал, прикрыв глаза, дышал тяжело и хрипло, хватал ртом воздух. Расидац поднесла к его губам стакан с водой, Арзамет припал к нему, с жадностью сделал несколько глотков.

– Уцелел, – повторил он после некоторого молчания. – Может, потому, что среди последних оказался... Нас ведь сразу по несколько че-

ловек расстреливали. Ставили лицом к яме – и расстреливали... Дошла до меня очередь, вывели всех, кто остался, поставили, стоим. Потом... Будто во сне все, не описать... Очнулся в яме. Дождь хлещет, тело огнем горит, кругом кровь, грязь... Те-то, видать, торопились, только присыпали. Да еще дождь... Выбрался я наверх, а как, сам не понимаю...

– Господи, да что же надо натворить, чтобы на расстрел осудили?

– Не знаю, матушка, ничего не знаю! Сказали, занимался враждебной агитацией. И вредительством. По заданию Нестора Лакобы. Будто бы лил зимой воду на пол в коровнике. Чтобы, значит, скот застудился и околел... И еще, когда бригадиром поставили, заставлял сажать табак корешками вверх... Не было ничего этого! Оклеветали! Ведь у нас в колхозе и коровника-то нет. И табак не разводят...

– Возьми себя в руки, ты же мужчина! И не бойся, мой дом – твой дом, здесь тебе ничего не грозит.

– Матушка, они меня где угодно найдут, из-под земли достанут! Не успокоятся, пока не прикончат...

Арзамет захлебнулся кашлем. С каждым мгновением дышать ему становилось все труднее. И вода уже не помогала. Да и он не принимал ее, стискивал зубы, когда Расидац пыталась насильно влить глоток. Любое движение, по-видимому, причиняло Арзамету нечеловеческие страдания, и, не в силах более крепиться, он застонал, упер в старуху помутневший взгляд.

– Лежи, не напрягайся, все будет хорошо, вот увидишь, – ласково проговорила та и снова поднесла стакан к закушенным губам.

Но Арзамет еще плотнее сжал их.

– Погоди, дай доскажу... Выбрался я из ямы, ползу, а куда ползу, не соображаю. Одно на уме: доползти, созвать сыновей и поклясться, что чист я, ничем не запятнал себя! Пусть живут спокойно, пусть не верят, что отец их – преступник, бандит, враг народа! Это все выдумки, настрочил кто-то, облил грязью! Да разве я мог? Я же воевал... Потом понял: не доползу, умру в поле. Испугался: ни единая душа не узнает правды... Вот и решил к тебе, матушка. Не хотел, а пришлось. Видно, судьба... Как бы у тебя неприятностей из-за меня не вышло... Дай знать сыновьям, пусть придут. Не застанут в живых, хоть тело заберут, тебя от хлопот избавят. Заклинаю, Расидац...

Он опять зашелся в кашле, лоб покрыла испарина. Начинался жар.

«Отходит», – определила Расидац и стала оттаскивать Арзамета в сторону. Не хотелось, чтобы так и умер здесь, в кровавой луже, на измаранной простыне. Превозмогая боль, Арзамет старался помочь ей, толкался в пол вялыми, непослушными ногами.

Так они перебрались в заднюю комнату...

Уложить Арзамета в кровать Расидац даже не пыталась – не по плечу был старухе такой труд, – устроила постель на полу: раскинула тюфяк, застелила чистой простыней, подсунула под голову подушку.

На заре, едва забрезжило, Арзамет скончался.

Перед тем, как выйти из дому, Расидац в последний раз оглядела комнату. Нигде никаких следов – все вымыто, выскоблено. Кровавые лоскуты, безнадежно испорченные простыни сожжены, зола вынесена. Только вот запах ничем не перебить – запах смерти, сырой могилы, тяжкий дух от замызганных обносков покойного.

Повесив на руку корзину, в которой носила товар на продажу, прихватив неизменную клюку, Расидац заперла дверь и направилась к воротам. По пути зашла к Чаге, подкинула сена, пустила теленка в хлев.

Бажгалам, как всегда, путалась под ногами, просилась вместе с хозяйкой.

– Забыла, кто теперь у нас за главного? А ну на место! – ласково припугнула старуха, и та, опустив хвост, покорно поплелась к веранде.

Расидац спустилась к большаку, не таясь, зашагала по направлению к городу. И впрямь кому какое дело до одинокой старухи, спешащей на рынок? На лбу, что ли, у нее написано, кто лежит на полу в ее доме, в задней комнате?.. А вскоре рядом с ней затормозила попутка, после кратких переговоров водитель помог старухе забраться в кузов, подал корзину.

Отчего так болит ее сердце и чужая горькая участь – точно участь собственных детей?

Никакие кровные узы не связывали Расидац и Василия Лакобу, никакого родства, даже самого отдаленного, не было между ней и Арзаметом Квачал-ипа. Зато была осень 1914 года, был Сухум, до сих пор стоит в ее глазах площадь у пристани, запруженная народом... Тогда Расидац, уже отчаявшаяся отыскать сына в этом столпотворении, вдруг увидела его – он и Василий Лакоба стояли рядом, держа под уздцы своих коней. Еще чуть-чуть, и опоздала бы.

«Хинчаж, дорогой! – метнулась она к Василию. – Ты постарше, присматривай за моим, одергивай, если что. Один он у меня на свете!»

«Не тревожься, матушка, вернемся! Жди с победой!» – И Василий птицей взлетел в седло...

Так Расидац проводила на войну сына...

Три с лишним года ни он, ни Василий не были в Абхазии. Сперва сражались на русско-австрийской границе, потом на румынском

фронте, в других местах – там, куда командование считало необходимым кинуть «Дикую дивизию».

Когда в феврале свергли царя, фронт зашатался, начался разброд и всеобщая неразбериха. Шли бесконечные митинги, солдаты отказывались воевать, братались с противником, разбегались по домам. Армия стала неуправляемой, превратилась в толпу – вооруженную, озлобленную и оттого вдвойне опасную. Любого могли расстрелять тут же, без всякого суда и следствия – порой просто так, для острастки, в упоении собственной властью. Чужая жизнь и прежде не слишком-то ценилась, а теперь и вовсе ничего не стоила. Втянутые в эту кровавую круговерть, Алиас и Василий надолго потеряли друг друга.

Встретились в Киеве при обстоятельствах, едва не закончившихся для Василия трагически. За организацию вооруженного выступления Василий Лакоба был арестован и приговорен к смертной казни. В тот час, когда приговор должен был быть приведен в исполнение, здание тюрьмы, где содержался арестованный, внезапно окружили революционные солдаты, требуя отмены смертного приговора, и Василий, уже выведенный во двор и поставленный к стенке, был возвращен в камеру.

«Хайт, абаапсы![18] Стой гордо, как наши горы!» – услышал он вдруг, когда шел по двору. Оглянулся и среди тех, кто спас его, увидел Алиаса.

Следующая их встреча произошла уже в Абхазии в самом начале 1918 года. Здесь тоже кипели страсти, разгоралась борьба не на жизнь, а на смерть, и двум друзьям некогда было праздновать встречу и предаваться воспоминаниям. Мир раскололся надвое, и победа одних означала уничтожение других, тот же, кто хотел держаться посередине, особняком, погибал наверняка. Пол совету друга, возвратившегося на родину чуть раньше, Алиас вступил в революционную крестьянскую дружину «Киараз», Для них война не закончилась...

Расидац помнит, как однажды ночью ввалились к ней в дом Алиас и Хинчаж – измученные, голодные. С ними был третий, его она никогда прежде не видела.

«Это Арзамет, – сказал сын, – мы с ним в одном отряде. Геройский парень!.. Вот ты жаловалась, переживала, что я у тебя один. Взгляни – три сына, три брата перед тобой! – Улыбнулся, обнял спутников и тихо добавил: – Благослови нас, матушка...»

Не помогло материнское благословение. Той ночью Расидац в последний раз видела живым своего мальчика. Он погиб на следующий день под Новым Афоном, у села Анухва.

[18] Не падать духом! (абх.)

Мутные сумерки, серая наволочь, готовая вот-вот разразиться нудным холодным дождем.

Но дождь сейчас не помеха – помощник...

С того часа, как вернулась домой, Расидац ни на минуту не оторвалась от окна. Понимала, пока не стемнеет, ждать нечего, и все равно ждала, беспокойно ловила долетавшие снаружи звуки.

И вот заурчал внизу на дороге мотор, раздался короткий, боязливый гудок.

Старуха поспешно перешла двор, выглянула за ворота. Машина уже стояла на обочине. С сеном, как условились. Когда мотор заглох, из кабины появились двое. Это были сыновья Арзамета, Лад и Чанчор. Чанчор, подвижный, ловкий, юношески стройный, проворно взобрался в кузов, вытянул из-под сена узкие, наспех сколоченные носилки, перевалил за борт, Лад принял их, аккуратно опустил возле машины. И, пока опускал носилки, а потом разгибался, Чанчор уже накидал на них сена и спрыгнул на землю.

Подхватив носилки, братья двинулись к воротам. Здесь их встретила Расидац, пошла впереди, указывая дорогу. У сарая, служившего одновременно и хлевом, и сеновалом, остановились. Чанчор полез на чердак, Лад остался внизу, подавал брату сено.

Когда носилки опустели, Лад поднял их и направился к дому.

– А я? – спросил Чанчор сверху.

– Иди к машине, открой задний борт. И вообще... – Лад боялся, что младший брат не выдержит, расплачется раньше времени. Увидев, что тот спустился с чердака и нерешительно топчется на месте, жестко повторил: – Ступай, я сказал.

Расидац провела Лада в заднюю комнату и оставила сына наедине с отцом.

Опустившись рядом с телом, Лад бережно откинул простыню, вгляделся в мертвое лицо.

– За что тебя, отец? – глухо произнес он. – За то, что работал, не разгибая спины, здоровья не жалел? Спи спокойно, ты не сделал ничего плохого... Ну, будем собираться домой...

Он сходил, позвал брата.

Войдя в комнату, Чанчор, как и предполагал Лад, тут же разрыдался.

– Помолчи, не до слез теперь! – одернул старший брат младшего.

Братья взялись за тюфяк, подняли за углы, положили вместе с покойником на носилки. Расидац тщательно подоткнула с боков одеяло. Можно и в путь.

И тут раздалась команда:

– Стоять! Ни с места!

В комнату ворвались вооруженные люди. Расидац и Лад еще опомниться не могли, как Чанчор нырнул в заднюю дверь и скрылся в зарослях. За ним метнулся мужчина, крикнул:

– Стой! Стреляю! – Однако в заросли не полез, пальнул наудачу и возвратился в дом. – Утек... – сообщил он и выругался. Потом прибавил: – Ничего, от нас не убежишь, не такие пробовали!

Носилки с покойным задвинули в кузов, выставили охрану. Занялись живыми...

Лад уже сидел в черной легковушке, стиснутый с двух сторон провожатыми, а старуху все никак не могли выгнать из дома.

– Иди, иди! – покрикивали на нее, животами тесня из комнаты.

– Дайте хоть дверь запереть, одна ведь живу! – молила она и рвалась в дом.

– Иди, иди! – кричали ей, теряя терпение.

– Дайте Чаге сена положу. За что скотине-то страдать?

– Иди, сказано! – И толкали старуху в спину.

От одного такого тычка Расидац едва удержалась на ногах.

– Что, влипла? – неожиданно загородил ей дорогу тот самый, из ночных кошмаров. Он и сейчас был в черной кепке с большим, надвинутым на глаза козырьком. – Поделом тебе, ведьма, будешь знать, как по могилам шарить, кровь из мертвецов пить!

Расидац уже миновала двор, а он все кричал вслед, сверлил ее больными, воспаленными глазами.

Оставшись одна, Бажгалам сунулась было за ворота, но выйти не осмелилась, вернулась к веранде. Помнила: когда хозяйки нет, за главного в доме она и ее место здесь, перед дверью. Тем более что сейчас она почему-то распахнута настежь.

В результате проведенного следствия преступная деятельность подсудимого Квачал-ипа Лада Арзаметовича была полностью разоблачена. Доказано, что вышеупомянутый Квачал-ипа Л. А. являлся пособником существующей контрреволюционной организации, возглавлявшейся злейшим врагом народа обер-бандитом Н. Лакобой. Суд приговорил преступника к 10 годам тюремного заключения с зачетом предварительного заключения и с поражением в правах на 8 лет после отбытия наказания...

В 1948 году Лад возвратился домой – седой, изможденный, старик стариком. Левая нога, искалеченная на лесоповале, не сгибалась в колене, ныла. Без палки теперь он не рискнул бы одолеть и сотню метров.

Дома его встретили мать и сестра.

– Сынок мой, что с тобой сделали! – запричитала мать, когда Лад шагнул на отцовский двор. Очертив рукою круг над его головой, прогнала злых духов, потом припала к сыну и разрыдалась. – Ты живой, ты вернулся, а вот Чанчор уже никогда не вернется...

Так Лад узнал о судьбе брата.

...Долго Чанчор не подавал о себе никаких вестей. Скитался, прятался, жил по чужому паспорту. Через полгода сообщил: работает в Ткуарчале забойщиком на одной из шахт. Только пусть не ищут, если не хотят беды ему и себе.

Когда началась война, добровольцем ушел на фронт. Добился – шахтеров в то время еще не брали. И самое главное, под своим именем – ткуарчалский военком оказался хорошим знакомым отца, еще в «Киаразе» вместе воевали. «Давай, парень, на передовой тебе спокойней будет, – сказал он, выслушав Чанчора. – А об остальном пусть голова не болит, то моя забота».

Осенью 1944 года Чанчор погиб. Его письма, вырезку из фронтовой газеты, где писалось о подвиге рядового Квачал-ипа, «похоронку» бережно хранила сестра. Сейчас все это лежало перед Ладом.

«Не сбеги тогда Чанчор, может, и жил бы еще, радовал мать, – задумался Лад и горько усмехнулся: – Жил бы... Как я – больным, ни на что не годным?..» Нет, уж лучше так, как Чанчор, он воевал, сражался, его имя не обесчещено. Да и волей дышал, пусть украдкой, незаконно, но дышал все же. А он, Лад... На что истрачена его жизнь?

Или отец. Вспомнить больно: опозорили, расстреляли, зарыли неизвестно где, как собаку. Мысль об этом не давала покоя. Он слал заявление за заявлением: в прокуратуру, в ЦК, в Верховный Совет, во все инстанции, республиканские и союзные, но даже отписок не получал. А годы шли, и порой Лад ловил себя на том, что уже не надежда им движет, а слепое, не рассуждающее упрямство. Сознавал, чем грозит ему подобная настойчивость, но шел на риск с легким от гибельной радости сердцем: коли нет правды на этом свете, пусть добьют!

Перебирая в памяти пережитое, Лад то и дело наталкивался там на старуху, Расидац ее звали, к которой и приполз умирать отец. Что сталось с ней? Он пытался выяснить это, но безрезультатно: близких у нее не оказалось, единственной племянницы Стичквы уже не было в живых. Соседи...

С соседями было так.

Однажды Лад отправился в поселок, где когда-то жила Расидац, нашел ее дом, вернее, место, на котором он стоял. Теперь там вместо прежней развалюхи высился двухэтажный особняк, обнесенный железной оградой. Вокруг – мандариновые плантации, ни, клочка пустующей, вольной земли.

Лад подошел к воротам. Какой-то парень, обильно заросший смоляным волосом, хозяйничал в глубине сада, обрезал сухие ветки.

– Слушай, дорогой, – окликнул его Лад. – Тут когда-то старуха жила, Расидац. Не знаешь, у кого можно спросить о ней?

Парень надменно повернул голову, смерил оценивающим взглядом пожилого, нищенски одетого человека.

– Тыр-пыр, – передразнил он звуки непонятной ему речи и небрежно махнул рукой: пошел, мол, прочь, оборванец!

«Спокойно, не заводись! – приказал себе Лад. – Ты и не такое видел... не такое пережил...»

Стиснув зубы в бессильной ярости, он оттолкнулся от ограды и, не оглядываясь, пошел к дороге.

И вот настал день великого плача и ликования. Начались массовые пересмотры дел, реабилитация живых и мертвых.

Какого Лад получил повестку – его приглашали в Сухум, в Верховный суд.

Приемная была переполнена, однако люди, входя в кабинет, куда их вызывали, задерживались там ненадолго, очередь продвигалась быстро.

Наконец и Лад оказался за массивной дверью, на которой значилось: «Заместитель председателя Верховного суда».

– Здравствуйте, проходите поближе, – поднялся из-за стола невысокий мясистый человек, весьма энергичный для своих лет. Поздоровался за руку и без обиняков продолжил: – Верховный суд нашей республики повторно рассмотрел уголовное дело по обвинению вас, Лад Арзаметович, в пособничестве контрреволюционной организации, якобы действовавшей в Абхазии, и не нашел в нем состава преступления. Обвинение с вас снято, вы полностью реабилитированы, поздравляю. Обвинение снято и с вашего отца, Арзамета Квачал-ипа... Вот документы, подтверждающие решение Верховного суда о вашей реабилитации.

– Эти бумажки? – Лад взял со стола два листочка, подержал в ладони несколько мгновений, точно прикидывая на вес. – Как у вас все легко и просто...

– Есть еще одно дело, – прервал его тот и принялся поглаживать лысину. – Вы помните женщину, которую судили вместе с вами за укрывательство «врага народа»?

– Расидац? Еще бы не помнить! – буркнул Лад. – Сам хотел про нее спросить.

– Она реабилитирована. Только кому документ вручить, не знаем. Повестку выслали, никто не явился. Не в курсе, есть у нее родственники?

– Нет, по-моему, никого не осталось. А знаете, она ведь из-за моего отца пострадала. Хотя будь на его месте совершенно незнакомый, она поступила бы так же. Так что здесь кровное родство ни при чем, давайте мне ее свидетельство!

– Думаю, вы правы: родство в данном случае ни при чем... Могу сообщить: на допросах держалась достойно, никого не оговорила. А ведь частенько и молодые не выдерживали. Правда, недолго прожила в тюрьме, всего два месяца...

Больше никаких дел у Лада здесь не было, он попрощался и вышел. Шел, приволакивая больную ногу, по сухумским улицам, не замечая пестрой толпы нарядных, беспечно прогуливающихся людей. Если попадалась скамейка, садился передохнуть – мучила одышка, сердце колотилось так, что, казалось, и прохожие слышат. Было самое начало весны, солнце еще не пекло, а лишь пригревало, как всегда в такую пору. А может, подумал он, ничего и не было, просто все примерещилось и его жизнь – чья-то шутка, неумный и жестокий розыгрыш? Лад сунул руку в карман... Документы были на месте.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ
Роман

Книга первая
Перевод И.Бехтерева
5
Книга вторая
Перевод Э.Басария
Перевод стихов И.Евса
329

ЧАНТА ПРИЕХАЛ
Повесть
Перевод Евг.Герасимова
643

СТАРУХА РАСИДАЦ
Рассказ
Перевод И.Бехтерева
681

Баграт Васильевич Шинкуба

РАССЕЧЕННЫЙ КАМЕНЬ

Роман
Повесть
Рассказ

Переводы с абхазского

Составитель и редактор Д.Начкебиа
Корректор С.Лаз-оглы
Художник Р.Габлиа
Верстка Н.Гунба

Формат 60х90 $^{1}/_{16}$. Тираж 1000 экз.
Физ. печ.л. 44,125.
Заказ №

Отпечатано в ООО «Флер-1»
350058, г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2